Иваново, 2014

E. R. Eddison (1882 – 1945)

Романы Эддисона, как ранние произведения высокой фэнтези, заслужили похвалу Дж. Р. Р. Толкиена (Письмо 199 в книге «Письма»), К. С. Льюиса (в статье «Памяти Э. Р. Эддисона») и Урсулы Ле Гуин (в эссе «Из страны эльфов в Поукипси»). Толкиен, правда, находил базовую философию книг отталкивающей и даже поругался с Эддисоном при их единственной встрече, а последний, напротив, счёл взгляды Толкиена «слишком мягкими». Книги написаны тщательно воспроизведенным стилем яковитской прозы середины 17 века (английское рококо), кишат чужими фразами, часто с указанием источника, но не реже честно украденными из его любимых произведений: Гомера и Сафо, Шекспира и Джона Уэбстера, скандинавских саг и французской средневековой лирики. Они демонстрируют чисто аристократическую чувствительность; как герои, так и негодяи сохраняют олимпийское безразличие к условностям. Майкл Муркок писал, что персонажи ЭРЭ, особенно отрицательные, гораздо более живые, чем у Толкиена. Де Камп заметил, что хотя описания сильных мира сего, попирающих низшие классы, соответствуют исторической правде, его персонажи часто с высокомерием и презрением третируют своих подданных, и такое поведение описано как составляющая их величия.

«Зимиамвия» задумывалась не как трилогия, а как часть более обширного цикла, оставшегося незавершенным. Эддисон дописал резюме недостающих глав «Мезенциевых Врат» совсем незадолго до смерти. Некоторые дополнительные материалы к этой книге впервые опубликованы в издании 1992 года.

(c) Андрей Мешавкин, ameshavkin.fantlab.ru

Эрик Рюкер Эддисон

Рыбный ужин в Мемизоне
Мезенциевы врата

Романы

Перевод с английского:
Nebehr Gudahtt © nebehr.blogspot.com

Некоммерческий

Выпуск №4

Все материалы издания взяты из свободных источников с указанием авторских прав. Не для продажи.

Иллюстрации в тексте

24 с., Agostino Carracci, Venus or Galatea Supported by Dolphins
34 с., Caroline Czelatko, Night And Day
57 с., неизв., гравюра «Портрет девушки вполоборота», 1874 г.
73 с., Franz Xavier, Princess Elizabeth Esperovna Belosselsky Belosenky Princess Troubetskoi
131 с., Tomasz Dolabella, Portret Zygmunta III Wazy
167 с., Эдуард Кайзер, «Императорская чета во время верховой прогулки в Зоологическом саду»
255 с., Jacob de Gheyn (II), Hendrick Goltzius, Wilhelmus Koning
318 с., Hendrik Goltzius, The four elements; Aqua
338 с., Franz Xaver Winterhalter, Elisabeth Kaiserin von Österreich
403 с., Photo by Rolf Maeder
455 с., фрагмент ленты гравюр «Триумфальная процессия императора Максимилиана I»
461 с., Johann Theodor de Bry, Nova Alphati effictio, letter «M»
539 с., Vilhelm Pedersen, Illustration for «Ugly duckling»
540 с., Aphrodite

В серии подготовлены макеты:
1. Э. Р. Эддисон. Змей Уроборос
2. Б. Хьюарт. Хроники мастера Ли и Десятого Быка
3. Э. Р. Эддисон. Владычица из владычиц
4. Э. Р. Эддисон. Зимиамвия
5. Дж. Макдональд. Томас Уингфолд

Готовятся:
6. Дж. Макдональд. Донал Грант. Сказки
7. Т. Тайганова. Избранное

Оглавление

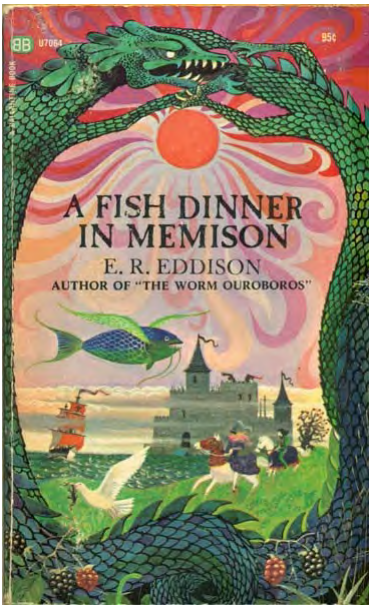
Рыбный ужин в Мемизоне.....7
Комментарий.....10
Вступительное письмо.....12
I. Афродита в Вероне.....25
II. Мемизон: король Мезенций.....35
III. Матч и зрители.....43
IV. Леди Мэри Скарнсайд.....58
V. Дама Червей и Дама Пик.....74
VI. Кастаньеты между мирами.....85
VII. Семеро против короля.....106
VIII. Леди Мэри Лессингем.....132
IX. Ninfea di Nerezza.....160
X. Управитель Рейсмы.....168
XI. Музыка ночи: Аппассионато.....173
XII. Возвещение утра.....190
XIII. Короткое замыкание.....201
XIV. Рыбный ужин: Прелюдия.....241
XV. Рыбный ужин: Симпосий.....253
XVI. Рыбный ужин: Икра.....270
XVII. В каком же мраке.....280
XVIII. Бездна кромешной тьмы.....293
XIX. Десять лет, десять миллионов лет, десять минут.....299
Действующие лица.....319

Мезенциевы врата.....321
Вводные замечания.....324
Вступительное письмо.....325
Прелюдия.....330
Лессингем в Рафтсунде.....330
Книга I: Начала.....339
1. Начала в Ререке.....339
2. Начала в Фингисволде.....352
3. «И Чернолесия, где черти пляшут».....367
4. Запертые двери.....376
5. Принцесса Марессия.....380
6. Вид на север из Аргъянны.....386
Книга II: Возвышение короля Мезенция.....398
7. Зевс Терпикераунос.....398
8. Принц-протектор.....404
9. Леди Росма в Акрозайане.....406
10. Пробуждение Евменид.....406
11. Польза от племянников.....407
12. Еще одна чудная лунная ночь.....407
Книга III: События в Ререке.....410
13. Наковальня под периной.....410
14. Лорд Эммий Парри.....411

Книга IV: События в Мезрии.....413
15. Королева Росма.....413
16. Фрейлина.....414
17. Аккама прибавлена к выкупу.....414
18. Прирученная волчица.....416
19. Герцогиня Мемизонская.....417
Книга V: Тройственное королевство.....418
20. Dura Papilla Lupæ.....418
21. Ангурингский Поджог.....419
22. Pax Mezentiana.....420
23. Двое герцогов.....421
24. Принц Валеро.....421
25. Лорнра Зомбремар.....422
26. Мятеж в Марке.....423
27. Третья война с Аккамой.....424
Книга VI: La Rose Noire.....426
28. Анадиомена.....426
29. Астарта.....432
30. Любящая смех Афродита.....456
31. Лаймакский зверь.....456
32. «И ты не обличай…».....458
33. Афродита Эликоблефарос.....459
Рыбный ужин и его последствия.....459
Книга VII: Знать или не знать.....462
34. Рыбный ужин: усвоение.....462
35. Пища как причина.....473
36. Rosa Mundorum.....473
37. Завещание энергейи.....486
38. Крик вороны.....497
39. Омега и альфа в Сестоле.....507
Генеалогические таблицы.....541
Алексей Бойков. Российская история ЭРЭ.....543

E. R. Eddison

A Fish Dinner in Memison



Рыбный ужин в Мемизоне

Первое издание: март 1941

Перевод с английского
Nebehr Gudahtt © nebehr.blogspot.com

Моему зятю,
старшему лейтенанту авиации
Кеннету Хескету Хигсону,
который в воздушном бою над Италией спас жизни четверых
своих товарищей ценою своей собственной,
ПОСВЯЩАЮ Я
ЭТУ КНИГУ,
которую он дважды прочел.

Божественная красота очевидна, мимолетна,
неуловима и бесприютна в мире материальных фактов;
однако же, она, несомненно, индивидуальна и самодостаточна,
и, хотя быстро тускнеет, никогда окончательно не гаснет,
ибо во времени она лишь гостит, принадлежит же вечности.

Джордж Сантаяна

χρόνια μὲν τὰ τῶν θεῶν πως, ἐς τέλος δ' οὐκ ἀσθενῆ[1]

Эврипид, «Ион», 1615

…ведь возможно, что Земля
Лишь тень Небес, и то, что там и здесь
Вершится, больше сходства меж собой
Оказывает, чем сдается вам[2].

Мильтон, «Потерянный рай», V

Ces serments, ces parfums, ces baisers infinis,
Renaîtront-ils d'un qouffre interdit à nos sondes,
Comme moment au ciel les soleils rajeunis
Après s'être lavés au fond des mers profondes?
—O serments! ô parfums! ô baisers infinis![3]

Бодлер, «Балкон»

ἔλθε μοι καὶ νῦν, χαλεπᾶν δὲ λῦσον
ἐχ μεριμνᾶν, ὄσσα δέ μοι τελέσσαι
θῦμος ἰμέρρει τέλεσον· Σύ δ' αὔτα
σύμμαχος ἔσσο[4]

Сапфо, «Ода Афродите»

---

1 «Боги медленны в решеньях, все же воля их тверда» (пер. И. Анненского).
2 Пер. А. Штейнберга.
3

«Эти благовонья, клятвы, поцелуи,
Суждено ль им встать из бездн, запретных нам,
Как восходят солнца, скрывшись на ночь в струи,
Ликом освеженным вновь светить морям?
— Эти благовонья, клятвы, поцелуи!» (пер. К. Бальмонта).

4

«О, приди ж ко мне и теперь! От горькой
Скорби дух избавь и, чего так страстно
Я хочу, сверши и союзницей верной
Будь мне, богиня!» (пер. В. Вересаева).

Комментарий

Имена собственные читатель вне сомнения будет произносить так, как ему заблагорассудится. Но, возможно, чтобы угодить мне, он станет выговаривать звуки и в слове *Зимиамвия* коротко, делая ударение на третьем слоге, а в слове *Зайана* — на втором, с открытым а (как в «Гайана»). В слове *Мемизон* ударение приходится на первый слог, также как и в *Ререк*, рифмующемся с «берег». Помните, что имя *Фьоринда* имеет итальянское происхождение, *Амори* и *Бероальд* — французское, а *Антиопа*, *Зенианта* и множество других — греческое.

В афоризмах Вандерماста последователи Спинозы распознают слова своего наставника, которые, несомненно, повлекут за собой следствия, изначально в высказывание не вкладывавшиеся. Читатели, словно на острове Амбремерин обретающие отдохновение, перечитывая немногочисленные сохранившиеся строки Сапфо, заметят, что я не постеснялся обогатить свое повествование отголосками ее творчества помимо собственно цитат, и поступил я так по той причине, что она, в отличие от всех прочих, воспевает не «эту загадочную Венеру, что живет под холмами»[5], но величественную, златовенчанную, прекрасную Афродиту.

Что касается стихов, то все они мои, если в примечании не указано иное. Стихотворение Бодлера *«Балкон»*, напечатанное на форзаце и служащее своего рода эпиграфом, оказалось для этой роли чрезвычайно уместно (вплоть до мельчайших деталей), хотя стоит пояснить, что я впервые прочел его уже после того, как была написана настоящая книга. Отсылка к нему Лессингема («reine des adorées» в главе *Риалмар в звездном свете*) была добавлена при окончательной переработке.

Все цитаты Сапфо за одним исключением даны по изданию Х. Т. Уортона (John Lane, 1898). Вместо искаженной третьей строки в пятой строфе *Оды Афродите* (гл. 22) я воспользовался исправленным текстом из *Loeb Classical Library*.

Троих друзей своих я никогда не смогу достойно отблагодарить: Кита

5 Отсылка к стихотворению А. Суинберна «Ave atque vale (памяти Шарля Бодлера)».

Хендерсона за иллюстрации, обогатившие эту книгу и почти волшебным образом уловившие ее настроение и дух; Джорджа Ростревора Хэмилтона за вычитку рукописи и его деликатные суждения и конструктивную критику по сотне важных пунктов; Джеральду Рэйвенскорту Хэйсу за подобную же помощь, а также за изумительные карты, которые помогут читателям представить себе страну, где разворачивается действие. Наконец, я весьма признателен за разрешение, данное мне месье Хайнеманном на приведение отрывка (во *Вступлении*) из *«Баллады смерти»* Суинберна, мистером Клодом Коллиером Эбботтом и его издателями — на цитирование из его замечательной коллекции *«Французской лирики раннего средневековья»* (Constable, 1932), а также Clarendon Press — на использование текста *«Сонета»* Марка Александра Бойда, напечатанного в *«Оксфордском сборнике английской поэзии»*. При цитировании из Уэбстера я следовал тексту изумительного издания мистера Ф. Л. Лукаса (Chatto & Windus, 4 vols., 1927).

P. S. В двух небольших неточностях на картах виноват я, а именно: (1) ошибка в названии Табарейского Залива, и (2) неуказание маршрута, по которому адмирал двигался к *востоку* от Лошадиной Сопки, а также его атаки с востока на эту местность.

Э. Р. Э.

Вступительное письмо

Джорджу Ростревору Хэмилтону

Дорогой Джордж,

При написании обеих моих книг о Зимиамвии ты столь замечательно играл роль Афины Паллады — для меня, что был то Ахиллесом, то Одиссеем, — советуя, подбадривая или сдерживая и подобно брату разделяя со мною мои чувства ко всему тому, что мы оба так любим, и потому именно тебе, а не кому бы-то ни было иному и адресовано это письмо. Тебе, поэту и философу, от меня, который не является ни поэтом (ибо моя стихия — драматическая проза), ни философом. Если только имени этого не заслуживает смиренный искатель истины, тот, кто в своих повествованиях уделяет внимание не вещам не от мира сего, но вещам обыденным, которые он полагает наиболее важными, и потому наиболее реальными.

Непосредственные события в моем повествовании покрывают годы с апреля 1908 по октябрь 1933; что же до месяца, прошедшего за это время в Зимиамвии (с Иванова дня[6], Anno Zayanæ Conditæ[7] 775, когда герцог впервые повстречал свою Темную Леди, по 25 июля, когда его мать, графиня Мемизонская, устроила этот необычайный ужин), — достаточно указать, что основное отличие между землею и небесами может заключаться в следующем: здесь мы рабы Времени, там же властвуют Боги.

В книге нет скрытых смыслов, умышленно введенных символов или аллегорий. Проблема аллегории и символизма в том, что они ставят общее превыше частного, абстракцию превыше конкретики, идею превыше личности. Я придерживаюсь противоположной точки зрения: для меня ценность заката не в том, что он наводит меня на мысли о вечности; скорее, сама вечность обретает для меня значение потому лишь, что я созерцал ее (как, впрочем, и многое другое) в красках заката, а также (почему бы и нет?) в горделивой бледности лба и щек Фьоринды, — да даже и в твоем любимце, этом свире-

6 Иванов день — 24 июня.
7 Anno Zayanae Conditae (лат.) — «со дня основания Зайаны».

пом, жестоком, храбром как лев хитреце, наместнике Ререка, — вкусив от всей ее полноты.

Личность есть загадка, и загадка эта лишь усложняется, когда мы позволяем своему воображению рассуждать о проникновении в человеческую личность божественного и vice versâ. Возможно, три моих пары возлюбленных в конечном счете — лишь одна пара. Возможно, было бы вполне справедливым утверждение, что Лессингем, Барганакс и король (с одной стороны) и Мэри, графиня и Фьоринда (с другой) — лишь два человека, каждый из которых находится на одной из трех стадий «пробуждения», что и позволяет называть их шестью отдельными личностями.

* * *

Есть и другие дразнящие воображение загадки помимо этой, связанной с личностью. Например: кто я? Кто ты? Откуда мы взялись? Что нас ожидает? Как мы оказались здесь? Что значит «здесь»? Были ли мы когда-либо где-то не «здесь» и, если так, то где? Попадем ли мы однажды куда-нибудь еще? Если да, то куда? Если нет, если мы все-таки умрем, то что есть Смерть? Что есть Время и зачем оно? Было ли у него начало, будет ли конец? Каков бы ни был ответ на последние два вопроса (если у времени есть начало и конец, или если их нет), мыслима ли альтернатива? Не одинаково ли немыслимы оба варианта? Что насчет Пространства (относительно которого возникают подобные же проблемы)? Далее, Зачем мы здесь? К чему все это? Что люди вкладывают в понятия Вечности, Всемогущества, Бога? Что они понимают под Истинным, Благим, Прекрасным? Соотносятся ли эти громкие и возвышенные слова с некой объективной действительностью, или же это просто пустая риторика, призванная подбодрить или впечатлить нас самих и окружающих, неясные высказывания, которыми пытаемся выразить свои столь же неясные потребности, желания, страхи, пристрастия мы, чьи силы малы, а век короток, кто почти ничего не знает (а значит для нее и того меньше) об этой громадной, слепой, безучастной, непостижимой, загадочной машине, этой силе, этом темном океане небытия, на краю которого вспыхивают на мгновение наши краткие жизни, чтобы затем погаснуть?

И если именно так и обстоит дело с нами, нашими жизнями и желаниями, со всем, что мы любим, то Почему это именно так?

Любовь моя! Когда бы Он вручил
Нам этот мир, который так уныл, —
Его в куски разбили б мы и вновь
Слепили так, чтоб сердцу стал он мил[8].

Почему не иначе? Почему существует на свете Зло?

Таков краткий и поверхностный обзор основных проблем бытия, «загадок Сфинкса», что в том или ином виде занимали умы людей, оставаясь при этом без окончательного ответа, с самого начала времен, и, несомненно, будут продолжать ставить нас в тупик и ускользать от нашего понимания до тех пор, пока на этой планете существует человечество.

Однако, хотя и справедливо то, что (в отличие от прикладных наук) философия не слишком-то сдвинулась с места, что мы и по сей день не превзошли Платона с Аристотелем в том смысле, в каком современная медицина превзошла Гиппократа с Галеном[9], в некоторых областях, в частности, в метафизике, определенные успехи достигнуты были.

Декартово «Cogito ergo sum» — «мыслю, следовательно, существую» — подвергалось критике не за то, что заложенные в этом высказывании посылки чересчур ограниченны, а за то, что они слишком масштабны. Логически его можно свести к cogito, отсекая к тому же подразумеваемое ego. Иными словами, мгновенная реальность мышления есть единственная реальность, которую невозможно логически подвергнуть сомнению, ибо акт сомнения, будучи актом мышления, сам по себе служит непосредственным доказательством реальности того, что было объектом сомнений.

Таким образом, сознание есть фундаментальная реальность, а все метафизические системы или догмы, базирующиеся на какой-либо иной основе очевидно фантастичны. В частности, фантастичны материалистические доктрины любого рода.

Но, хотя и очевидно фантастичные, они при этом не обязательно очевидно ложны. К примеру, рассуждая здраво, мы не можем утверждать, будто некая внешняя сущность под названием «материя» является первичной или служит условием для существования сознания; однако не с большим успехом можем мы отрицать саму возможность подобного положения вещей. Ибо

8 Э. Фитцджеральд, «Рубайат Омара Хайяма» (пер. О. Румера).
9 Клавдий Гален (ок. 130 - ок. 200) — античный медик.

с точки зрения логики отрицание столь же неприемлемо, как и утверждение, если рассматривать основные проблемы бытия за пределами того конкретного мига сознания, а только это нам и остается в результате картезианского анализа. Хоть Декарт на этом и не остановился, но он расчистил путь Юму и Канту, которые показали, если вкратце, что любое допущение, которое он или любой другой метафизик мог бы подобно кролику вытащить из шляпы, должно было быть в эту шляпу засунуто прежде, чем его оттуда достанут. Иными словами, научный подход, примененный к этим проблемам и доведенный до логического завершения, ведет к агностицизму, который должен тогда охватывать все сферы бытия, как у Пиррона[10], а не останавливаться у произвольно избранных пределов, как агностицизм девятнадцатого столетия. А это ведет к совершеннейшему и бессловесному скептицизму.

Если принять данное заключение за reduction ad absurdum[11] и продолжить поиски какого-либо иного критерия ложности и истинности, то искать нам следует за пределами постижимого разумом. Это означает (раз уж мы всерьез занялись размышлениями об основных проблемах бытия), что на этом этапе нам придется отбросить научный подход и пустить в ход поэтический. Под поэтическим я понимаю подход, утверждающий, что все фундаментальные истины если и могут быть постигнуты, то лишь напрямую: посредством зрения, видения, а не логических умозаключений.

Как же тогда быть поэту, оказавшемуся, словно между Сциллой и Харибдой, меж двух опасностей, продемонстрированных картезианско-кантовским критицизмом: между немым бессилием чистого разума с одной стороны, а с другой — сонмом перепутанных фантазий, среди которых разум сам по себе не способен найти дорогу, ибо для разума (в том, что касается этих проблем) «все возможно»[12], и ни одна из фантазий не представляется истинной в большей степени, нежели любая другая?

Разум, как мы убедились, достиг известного базиса — крошечного, но непоколебимого, — и достиг он его посредством основанного на понятии достоверности критицизма; он развеял огромное множество ни на чем не основанных теорий и догм, избавившись ото всех убеждений, какие только можно было подвергнуть сомнению. Нельзя ли подобным же образом найти

10 Пиррон (ок. 360 до н. э. — ок. 270 до н. э.) — древнегреческий философ, основатель школы скептицизма (пирронизм).
11 Reductio ad absurdum (лат.) — «доведение до абсурда».
12 Марк 9:23.

некий базис и в хаосе фантазий — при помощи критицизма, в основе которого лежит не достоверность, но ценность?

Мы можем предположить, что ни одно обладающее способностью мыслить существо не обходится без желаний; если определенные философские и религиозные течения и приняли за идеал спасения и блаженства состояние отсутствия желаний, какого можно достичь через аскетизм, всякое желание подавляющий и сдерживающий, это означает лишь то, что последователи данных учений по сути дела применили ценностный критицизм развенчавший все меньшие ценности и оставивший одно лишь это блаженное состояние, которое (несмотря на их отречение от желаний) остается (по крайней мере, в их воображении) чем-то единственно желанным. В целом можно сказать, что ни одна религия, философская доктрина или взвешенный взгляд на мир, человеческую жизнь и судьбу не обходились в своих формулировках без некоего утверждения, прямого или подразумеваемого, касательно того, чего следует или не следует желать; это та самая звезда, вечно недостижимая, но вечно искомая, что сияет во всех великих поэтических произведениях, во всей прекрасной музыке, живописи, архитектуре и прочих людских творениях, во всех благородных деяниях, в любви, в размышлениях, страданиях и устремлениях, во всем великолепии «синего моря и бездонного небосвода» с начала времен, и иногда (озаряя их своих сиянием) наполняет божественным совершенством какое-нибудь крохотное живое создание, какой-нибудь доломитовый утес, освещенный будто изнутри алыми лучами заходящего солнца, плывущие в небе облака, глаза женщины.

Именно это, как бы мы его ни назвали, и есть вещь единственно желанная, не как средство для достижения чего-либо иного, будь то благое или дурное, возвышенное или низменное (как пища желанна ради насыщения, деньги — ради власти, власть — как способ либо тиранить других, либо облагодетельствовать их, долгая жизнь — как возможность совершить великое деяние или надуть своих наследников, рассудительность — ради успеха в делах, распутство — ради будущего наслаждения, ветер в холмах — ради вдохновения, умеренность — ради счастливой и гармоничной жизни), но только лишь ради себя самой — это, как представляется, и будет единственной фундаментальной и бесконечной Ценностью. Пользуясь схожей с примененной Декартом процедурой, когда тот, подвергая сомнению все подряд, выделил методом исключения нечто, в чем уже не мог усомниться, мы, отбросив все те вещи, чья желан-

ность зависит от их полезности в качестве орудий к достижению неких внешних по отношению к ним целей, нашли нечто, желанное само по себе. Что это есть конкретно — вопрос, у которого может быть столько же ответов, сколько и умов («В доме Отца Моего обителей много[13]»). Однако отрицать его существование, пусть это и не является очевидным противоречием здравому смыслу (как отрицание картезианского cogito), значит утверждать полную тщетность и никчемность всего Бытия и Становления.

Нельзя отрицать, что позиция полного скептицизма и полного же нигилизма в отношении объективной реальности и объективной ценности логически неприступна. Но, если следовать логике, тот, кто занимает эту позицию, должен хранить молчание (ибо, ex hypothesi[14], нет ничего, что можно было бы утверждать, и никого, кто мог бы внимать утверждению), ничего не желать (ибо нет ничего, чего можно было бы желать) и ничего не делать (ибо нет ничего, что стоило бы делать), а потому «дальнейшее — молчанье[15]».

Переходя, таким образом, к альтернативной гипотезе — иначе говоря, признавая факт мышления за фундаментальную действительность, а то неопределенное и неустранимое «единственно желанное» за фундаментальную ценность, — мы вольны рассуждать об основных метафизических проблемах, используя для своих исследований наш разум, который среди прочего обладает способностью к аналитическому мышлению (но не ограничивается им). Именно такие рассуждения я за неимением лучшего слова и назвал поэтическими. Их еще можно было бы назвать (рискуя быть истолкованным неверно) рассуждениями, свойственными безумному или любовнику, ибо

Безумные, любовники, поэты —
Все из фантазий созданы одних[16].

Здесь можно коснуться трех общих идей:

1) Не представляется обязательным требовать множественности фундаментальных ценностей. В качестве таковых обычно постулируются Истина, Красота, Благо. Требование Истины, однако, едва ли способно выдержать более пристальное рассмотрение. С одной стороны, эмпирические научные

13 Иоанн 14:2.
14 Ex hypothesi (лат.) — «согласно гипотезе».
15 У. Шекспир, «Гамлет»., V, 2 (пер. Б. Пастернака).
16 У. Шекспир, «Сон в летнюю ночь», V, 1 (пер. Т. Щепкиной-Куперник).

и абстрактные математические истины служат «ценностями» либо как средства к обретению власти, либо вследствие правильности или совершенства, которыми они будто бы обладают, совершенства, ценность которого заключается в своего рода Красоте. С другой стороны, Истина в абстрактном понимании (некое вполне нейтральное утверждение, «существует то, что существует») не может иметь какой бы-то ни было ценности: ценность она приобретает лишь постольку, поскольку «то, что существует» желанно само по себе, а не по причине самой своей «истинности». Если истинен Шопенгауэров труд «Мир как воля и представление[17]», то в конечном счете истина имеет отрицательную ценность и нам куда лучше без нее (не считая случаев, когда она служит средством к обретению власти и т. п.). Следовательно, истина является фундаментальной ценностью, только если она есть благо. Однако понятие «Блага», опять-таки, двусмысленно, так как означает одновременно: а) благо как самоцель, и б) духовное благо. В смысле а) будет тавтологией отделять «благое» от прекрасного; в смысле б) можно утверждать (и, как я сам считаю, справедливо), что поступки являются «благими» с духовной точки зрения лишь в той мере, в какой они, если их тщательно проанализировать, направлены на создание и сохранение Красоты и служение ей. Таким образом, три так называемых «фундаментальных ценности» свелись к одной.

2) Ни одна здравая теория ценностей не сможет в конечном итоге полностью согласоваться с фактами мира сего, каким мы знаем его «здесь и сейчас». Однако фундаментальная ценность, как мы убедились, является одним из базисов, в отличие от мира, который мы познаем лишь эмпирически как одну из сторон другого нашего базиса (а именно, мышления). Соответственно, критерием для любой метафизической теории служит не то, как она согласуется с миром, каким мы его знаем, но то, как она соотносится с фундаментальной ценностью (ср. слова Вандерманста во «Владычице из владычиц», <стр. 253>: «Во всем, что касается Богов, определение того, что Есть, неопровержимо и неизбежно проистекает из того, чему Должно быть»).

3) Конкретная реальность, будь это реальность мышления или ценности, имеет два аспекта, которые никогда по сути не отделяются и неотделимы друг от друга: Единичное и Множественное, Всеобщее и Частное, Вечное и Преходящее, то, что всегда остается собой и что изменяется беспрестанно.

17 А. Шопенгауэр (1788 - 1860) — немецкий философ; «Мир как воля и представление» (1819) — его основной философский труд.

Именно неотделимость друг от друга двух этих модусов Бытия и делает тщетным поиск абстрактных Красоты, Истины, Блага в отрыве от их частных проявлений, и равно же тщетным — наоборот, попытки изолировать эти частности. Множественное постижимо только через проявления Единичного, Единичное — только через конкретное воплощение Множественного. Таким образом, абстрактные высказывания, что занимали наше внимание на предыдущих страницах, имеют не больше отношения к конкретным истинам, которые они описывают, нежели, к примеру, система широты и долготы — к земной тверди, на которой мы обитаем.

* * *

Итак, лишь в таком ключе (как и при истолковании наших «широты и долготы») становится возможным подытожить в нескольких строках тот замысел, что положен в основу «Владычицы из владычиц» и «Рыбного ужина в Мемизоне».

Согласно этому замыслу фундаментальная реальность воплощается в дуализме Мужского и Женского начал, в котором проявляется все та же троица из Истины, Красоты и Блага, охватывающая собою все Бытие и Становление; Истина же заключается в том, что Бесконечная и Всемогущая Любовь создает и сохраняет Бесконечную и Совершенную Красоту (Infinitus Amor potestate infinitâ Pulchritudinem infinitam in infinitâ perfectione creatur et conservatur). Любовь и Красота здесь равноценны и равно бесконечны; исключительная же антиномия состоит в том, что Любовь обязана самим своим существованием тому беспомощному олицетворению совершенства, которое пребывает в ее власти, которому она поклоняется и которым покорена, в то время как Красота (в результате подобной же антиномии) царит над тем самым всемогуществом, что сотворило ее и лишь одно ее и бережет.

Фундаментальная реальность, как было сказано выше, обязана быть конкретной; при этом бесконечная власть, творящая бесконечную ценность и наслаждающаяся ею, не может быть прикована к какому-то одиночному своему проявлению. Напротив, она должна являться разным умам в разные моменты времени в бесконечном множестве аспектов, и каждый из этих аспектов должен быть истинным и (как ни парадоксально) полным, тогда как ни одно абстрактное высказывание, плодом сколь бы основательного анализа оно ни являлось, не способно быть ни полным, ни истинным. В этой многогранной

природе истины лежит философское обоснование религиозной терпимости, ибо почти невозможно представить, чтобы истина, воплощенная во всем богатстве некой конкретной реальности, могла явиться двум умам в одном обличье. Церкви, верования, учения или философские доктрины — все это лишь орудия; полезны они или вредны, зависит от обстоятельств. Подлинный же Образ для них, та действительность, та «плоть и кровь», что скрывается за этими символами и формулами, — что живое тело по отношению к одежде, которая прячет, скрадывает, подчеркивает или украшает всю безупречность этого тела.

Так вот, основополагающий дуализм этих «плоти и крови», в той степени, в какой они обрели форму во «Владычице из владычиц» и еще четче обрисовываются в «Рыбном ужине», проявляет себя в виде двух Сверхличностей; это божественные, совершенные и вечные Он и Она, Зевс и Афродита, «что прекрасней и полней, чем живущий человек»[18]. Все мужчины и женщины, все живые существа, весь воспринимаемый нами материальный и духовный мир, даже сами формы Бытия — время, пространство, вечность — существуют лишь через этих Двоих, либо по их воле, неся в себе частичку (можно предположить, каждая живая душа — в разной степени) Их божественной природы. «Господь имел меня началом пути Своего, прежде созданий Своих, искони; от века я помазана, от начала, прежде бытия земли. <…> Когда Он уготовлял небеса, я была там. Когда Он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основания земли: тогда я была при Нем художницею, и была радостью всякий день, веселясь пред лицем Его во все время <…> Кто нашел меня, тот нашел жизнь, и получит благодать от Господа; а согрешающий против меня наносит вред душе своей: все ненавидящие меня любят смерть» (Притчи, гл. 8; там эти слова принадлежат Премудрости; для не столь приземленных материй, однако, они еще более справедливы. Ибо премудрости никогда не стать фундаментальной ценностью, это лишь средство для достижения чего-то внешнего по отношению к ней: например, она может служить руководством к действию; в то же время Она (l'inutile Beauté[19]) есть не средство, но цель, первопричина всякого

18 П. Б. Шелли, «Освобожденный Прометей» (пер. К. Бальмонта).
19 L'inutile Beauté (фр.) — «бесполезная красота», название новеллы Г. де Мопассана.

действия, единственное, что желанно само по себе, causa immanens[20] всего мира, всего Бытия и Становления: «От начала дней Я Та же»[21]).

* * *

Повседневная жизнь, следует признать, в целом всему этому противоречит: в ней обнаруживается немного свидетельств существования всемогущей любви, но предостаточно — любви слабой, мимолетной, глупой, а также жгучей ненависти, боли, страха, жестокости. «Tout passe, tout casse, tout lasse»[22]: смерть, недуги, уродства приходят ко всем смертным без разбора. «И праведность на службе у порока»[23] — и этот, и все прочие упреки из шекспировского сонета LXVI справедливы для «сего суетного мира», и были таковыми всегда. Самое лучшее, что можно сказать об этом мире — то, что он всегда был одновременно и хорошим и плохим; это поток, в котором изменения в целом компенсируют друг друга.

Но (глядя с позиции дуализма Зевса-Афродиты) мы сталкиваемся в этом несовершенстве повседневной жизни с проблемой Зла; и (все с той же позиции) единственным приемлемым для нас решением будет признать Зло чем-то не вполне реальным. Неубедительные отговорки насчет бессилия, неумелости, невнимательности, бессердечия или просто злобности Всесильного Бога, к которым сводятся все прочие решения проблемы, несовместимы с понятием всемогущества Любви, которой едва ли возможно приписать в ее деяниях черты идиота или дьявола. (Можно, разумеется, сказать, что Любовь не всемогуща, но подчиняется некой темной Ἀνάγκη, неизбежности, что связывает даже Бога. Очевидно, это невозможно ни доказать, ни опровергнуть, но это противно моему разуму, ибо, если это правда, то Система и впрямь прогнила до основания.)

Итак, sub specie æternitatis[24], сей окружающий нас мир постижим только исходя из предположения, что реальность не окончательна, частична. Это можно объяснить двумя альтернативными гипотезами, в соответствии с которыми он:

---

20 Causa immanens (лат.) — «имманентная причина», причина, заключающаяся в действующем объекте, а не действующая извне.
21 Ср. Исаия 43:13: «От начала дней Я Тот же».
22 «Tout passe, tout casse, tout lasse» (фр. посл.) — «все проходит», «ничто не вечно под луной».
23 У. Шекспир, сонет LXVI (пер. С. Маршака).
24 Sub specie æternitatis (лат.) — «с точки зрения вечности».

1) является неким неоконченным творением, которое в отдаленном будущем достигнет совершенства;

2) есть орудие для ἄσκησις[25], тренировочная или испытательная площадка.

Обе гипотезы, однако, содержат противоречия: 1) Зачем всемогущей силе дожидаться отдаленного будущего? Зачем вообще допускать несовершенство? 2) (то же противоречие, но в ином аспекте) Если совершенство достижимо — а что не является таковым для всемогущей силы? — то зачем ей устраивать испытания или тренировки?

Таким образом, мы снова возвращаемся к вопросу: если это иллюзия, то зачем существует эта иллюзия?

На этот вопрос, как будто бы, нет ясного ответа, как нет и надежного способа (помимо опыта) проверить истинность того или иного события. Этот мир необходимо пережить, и то, как это сделать наилучшим образом, есть вопрос этики — науки о Благих поступках. «Благой» поступок есть поступок во имя Любви, т. е. (см. стр. 7) такой, который служит Красоте. Следовательно, «благой» мужчина — в той мере, в какой поступки его благи, и насколько хватает его силы — делает то же, что и божественный извечный Мужчина: творит, служит, преклоняется, наслаждается и любит Ее, божественную извечную Женщину. И с другой стороны, «благая» женщина, насколько это от нее зависит, делает то же, что и божественная извечная Женщина: она дополняет и довершает своей уникальной личностью, своими поступками, своей пассивностью «то самое желанное, что только есть иль будет, на земле иль в небесах». И потому, в сущности, «Вот знанье все и все, что надо знать».[26]

Но человек по натуре не только πράκτικός, но и θεωρητικός — его занимают не только действия, но и размышления — и заданные три абзаца назад вопросы остаются без ответа. Возможно ли, чтобы ответ на оба вопроса оказался одинаковым, а именно: нет никакой необходимости в этих странных и неприятных (для нас) мерах, за исключением того, что они — в данный момент — служат забавой?

То, что они, здесь и сейчас, далеки от «забавных» для нас, — что они ежедневно становятся для той или иной из своих беспомощных жертв причиной мук и страданий настолько ужасных, что невозможно не только их вынес-

25 ἄσκησις (древнегр.) — «упражнение», «практика».
26 Дж. Китс, «Ода греческой вазе» (пер. И. Лихачева).

ти, но даже помыслить о них, — вероятно, происходит оттого, что мы в глубине души не верим ни в свое собственное бессмертие, ни в бессмертие тех, кого мы любим. Если для нас с тобой как личностей наш мир — это и все, что есть, то многое в нем (да и весь он в целом) определенно не похоже на забаву. Но для разума, подобного разуму фанатика-магометанина, разбойника-душителя[27], христианского мученика, так ли уж немыслимо, чтобы (исключая, пожалуй, жестокие физические мучения) «удары и щелчки обидчицы судьбы»[28] причиняли не больше страданий, нежели воображаемые события трагедии, и переживались и расценивались бы с той же отстраненностью? Смерть твоих самых близких и родных людей, к примеру, стала бы для тебя лишь еще одним ярким событием, если бы только ты был в состоянии верить и знать (без каких-либо сомнений, столь же непосредственным образом, как это происходит с чувственным опытом), что смерти нет, что умирание тела служит лишь завершением этой мимолетной и неудовлетворительной жизни; что Истина и в самом деле заключается в этой извечной двойственности, где Единая Ценность создается и лелеется Единой Силой, что Истина не абстрактна и бесплотна, но воплощается во всем богатстве духа и чувств, какое только можно вообразить; что разлука, поэтому, лишь временна; и наконец, что вся человеческая история, весь познанный наукой материальный космос, суть лишь ничтожные эпизоды, возможно, созданные, а затем отложенные в сторону, как и сами мы могли бы в беседе после ужина построить и через несколько минут отбросить какую-нибудь теорию вселенной.

Возникает вопрос, а не является ли тогда самоубийство способом освободиться? Разве это не логично для такой вот сверхъестественной философской теории? Ответом, несомненно, будет напоминание о том, что существует понятие красоты поступка (об этом знали норманны), а самоубийство очень редко оказывается возвышенным деянием. Если не настало время поступить «как римлянам бесстрашным подобает»[29], если мы не находимся в положении Отелло или Клеопатры, то самоубийство есть постыдный поступок и (как таковой) не может оказаться по душе Ей. Поэтому, чем крепче мы верим в Нее, тем менее вероятно, что мы в отчаянии прибегнем к этому прыжку во тьму, который (хоть и не является, как обычно говорят, проявлением трусости; он требует большой смелости, если выполняется осознанно) по сути есть уклоне-

27 Член религиозной секты убийц в Индии, уничтоженной в XIX в.
28 У. Шекспир, «Гамлет», III, 1 (пер. Б. Пастернака).
29 У. Шекспир, «Антоний и Клеопатра», IV, 13 (пер. М. Донского).

ние от игры, что Она для нас устроила. И игра эта (в чем не усомнится ни один из тех, кто смотрел в глаза «пестрым троном славной Афродиты, Зевса дочери, искусной в хитрых ковах»[30]) есть такая игра, в которую мы, чтобы угодить ей, должны играть по всем ее строжайшим правилам.

Эту книгу можно читать как до, так и после «Владычицы из владычиц». Основные персонажи появляются в обеих книгах, но каждая из них сама по себе является самодостаточным произведением.

С любовью,
Э.Р.Э.

Дарк Лэйн
Мальборо
Уилтшир
29 июля, 1940

30 Сапфо, 1, пер. В. Вересаева.

I. Афродита в Вероне

— Ça m'amuse[31].

Эти слова, праздно и неторопливо оброненные мягким ленивым голосом, тем не менее, вдруг будто пронизали ночь — нет, само Время; так то трехоктавное «ми» — верхняя нота у первой скрипки, нижняя у виолончели — пронзает стрелою завороженное спокойствие andante третьего квартета Разумовского[32]. Удивительно, как женский голос способен одною лишь своей фразой, нечаянно услышанной странствовавшим в лодчонке меж незримых берегов разумом, захватить его и унести в предвечные горные выси, откуда, надежно упершись кошками в скалу и будто придя в себя ото сна, ты только и можешь понять подлинную природу вещей. И вот, в этот вечер, здесь, в Вероне…

Лессингем оглянулся достаточно быстро, что успеть заметить полунасмешливый, полунастороженный наклон ее головы, ее уста, только-только сомкнувшиеся на последнем протяжном слоге этого тихого «m'amuse». Слова, очевидно, не были адресованы кому-либо, так как она сидела за столом одна; уж во всяком случае, они предназначались не ему, и даже (как ни странно) не себе самой, но — как сестра обращается к сестре — бархатно-бездонной Ночи, и летучим мышам, и безучастным звездам, и этому гулу латинской ночной жизни, белым столикам со стоящим на них кофе, vino rosso, vino bianco[33], графинами и бокалами, музыке и беседам, клубам сигарного и сигаретного дыма, что повисли в воздухе, разгоняемые дуновениями ветерка, который приносил с цветочных клумб посередине пьяццы весенние ароматы и смешивал их с запахами еще более экзотичными и волнующими — со сладким благоуханием духов женщин. Над всем этим в сиянии дуговых ламп одиноко высился грандиозный фасад разрушенного в незапамятные времена Диоклетианова амфитеатра[34]. В застывшей на столешнице руке Лессингема догорала сигара. Все это: громада амфитеатра, электрические огни, Древность и Современность, кипящая вокруг жизнь, пронизанная полетом летучих мышей ночь, зи-

31 «Забавно» (фр.)

32 Один из трех квартетов Л. ван Бетховена (ор. 59, 1805-1806), посвященных графу А. К Разумовскому.

33 Красное вино, белое вино (ит.)

34 Римский амфитеатр (Арена) Вероны, одно из самых крупных сооружений этого типа, был построен во времена правления римского императора Диоклетиана (около 290 г. н. э.).

яющая бездна мрака — будто замерло, а затем неспешно, как катящаяся волна, устремилось к некоему мигу в вечности, которым, казалось, и была она; к мигу, что словно бы оставался неподвижен, а жизнь и время струились мимо, неуловимые, как неуловимы водные брызги, на которые рассыпается поток, обрушивающийся вниз с огромной высоты: Ça m'amuse.

А затем, как нескончаемая процессия арпеджио в andante, Время словно восстановило равновесие, затаило дыхание, а затем вновь продолжило свое непостижимое, неуловимое, неотвратимое течение. Необъяснимое, озарилось оно этим эхо; неуловимое, оно (в тот краткий миг) неожиданно подпустило к себе на расстояние вытянутой руки; необратимое, оно вдруг признало, что, возможно, его и ни к чему поворачивать вспять. Она подняла глаза, и их взгляды встретились.

— Vous parlez français, madame?[35]

— O, dipende dello soggetto: dipende con cui si parla[36]. С англичанином — по-английски.

— Вперемешку с итальянским?

— Когда обращаюсь к особе столь многоликой. Или я не угадала?

Лессингем улыбнулся и ответил:

— Вы сделали мне сомнительный комплимент, синьора. Разве не говорится в пословице: «Inglese Italianato è Diavolo incarnato»[37]? Но возвращаясь к предмету беседы, — продолжал он, — если синьора позволит задать вопрос: стало быть, французский чем-то особенно хорош для рассуждений о забавном?

— Просто о забавном — пожалуй, нет. Но когда речь идет об этом — да.

— А под этим вы понимаете..?

Ее рука в малиновой перчатке, на которую она до сего момента опиралась щекой, небрежно очертила, ладонью вверх, небольшой полукруг, как бы включающий в себя все на свете:

— Есть во французском нечто логичное, некая точность, которая весьма уместна в этом вопросе. Чтобы говорить об этом подобающим образом, вам придется воспользоваться французским; годится только этот язык.

— В латыни также есть точность.

— О, ну конечно, и в паровом катке тоже, только не слишком-то она

35 «Вы говорите по-французски, мадам?» (фр.)
36 «О, зависит от темы беседы, зависит и от того, с кем говорю» (ит.)
37 «Итальянствующий англичанин — дьявол во плоти» (ит.)

spirituelle[38]. Il faut de l'esprit por savourer nettement cette affaire-là[39], — и ее рука вновь изящным жестом подтвердила сказанное. — Этот искусственный мир, эта подделка всецело находится под властью Времени, а также нескончаемой цепочки причин и следствий. Только задумайтесь, — промолвила она, — Время до гениального просто, оно работает как совершенная машина. Как часы. Скажем, вы — Бог; вам нужно всего лишь завести его, и оно будет тикать себе; никаких хлопот.

— До тех пор, — сказал Лессингем, — пока его не понадобится завести снова?

Леди пожала плечами.

— Синьора, — спросил он, — вы помните месье д'Анктиля на том восхитительно непринужденном ужине в La Rôtisserie de la Reine Pédauque[40]? «Je vous confierai que je ne crois pas en Dieu»[41].

— Так позвольте мне, сэр, закончить цитату из сей увлекательной книжки, — подхватила она. — «Pour le coup, dit l'abbé, je vous blâme, monsieur»[42]. И все же, я рада, ибо такой изъян в молодом человеке, как вера в Бога, поистине достоин сожаления. Но предположим, сэр, что вы и в самом деле… как бы это сказать… наделены подобной властью; завели бы вы его снова?

Прежде, чем ответить, он помолчал, зачарованный ее видом: ее неподвижными губами, что были словно безмолвие необъятных небес перед рассветом или колышущееся бессчетным множеством волн море после заката, замершее в ожидании наступления темноты; некой уверенностью, которая могла бы быть присуща силе, настолько превосходящей собою всемогущество, что ей остается только лишь существовать и сохранять эту неподвижность, а всемогущество будет ей служить.

Как летит по широкой дуге стриж, то устремляясь к земле, то вновь взмывая ввысь, под небеса, так метнулось прочь и это обретшее крылья мгновение: сначала на двадцать лет назад, в раннее детство, к теннисной лужайке, к июньскому вечеру, к старой башне, где он появился на свет, младшим

38 «Духовная» (фр.)
39 «Чтобы прочувствовать это, нужна сила духа» (фр.)
40 «Харчевня Королевы Гусиные Лапы» (1893) — роман А. Франса. Далее цитаты в пер. Н. Жарковой.
41 «Признаюсь, я не верую в бога» (фр.).
42 «А вот за это, — промолвил аббат, — я вас пожурю» (фр.).

из семи детей в большой семье, жившей у границы, меж Солуэем[43] и холмами Камберленда, к церковным колоколам, длинным теням и сирийским розам с их приторным ароматом; в Итон[44]; затем — и ему уже восемнадцать (а было это восемь лет назад) — в Гейдельберг, к тому несчастливому случаю, что оборвал его обучение там. Потом были годы в Париже, в Сорбонне, сосредоточенность и одержимость своей работой в студиях Монмартра, окончившиеся дуэлью на ножах с тем отвратительным еврейским музыкантом, чьей возлюбленной-испанке Лессингем со всей неопытностью, пылкостью и донкихотством юности опрометчиво предложил свое покровительство. Оттуда, едва избежав тюремного заключения, — в Прованс, к своей Амариллис из Эстремадуры. Далее было последовавшее через пару недель расставание по взаимному согласию, решение (когда карманные деньги подошли к концу, а также на тот случай, если последний из его соперников, также оказавшийся в больнице, умрет, и в его смерти обвинят его) вступить в Légion Etrangère[45] под вымышленным именем. Дезертирство после нескольких месяцев с чувством разочарования от обучения, но и удовольствием от ощущения могущества, которое оно ему дало, бегство через Марокко в Египет. Прибытие без гроша в кармане в британское консульство; известия о том, что его отец, взбешенный его деятельностью, прекратил высылать ему деньги и исключил его из своего завещания. Плавание домой в качестве кочегара на судне P & O[46], прибытие в Тилбери в свой двадцать первый день рождения, двадцать четвертого ноября 1903 года, и (благодаря своей матери, этой королеве среди женщин, чьи усилия подкрепили чувства привязанности и родства) примирение с отцом незадолго до Рождества; год, проведенный в Англии, хозяином самому себе и с достаточным количеством денег для того, чтобы позволить им заниматься тем, для чего деньги и предназначены: делать свое дело, предоставив своему владельцу свободу. Затем жизнь на востоке, в основном в Индии, два года исследований и скалолазания в Восточных Гималаях и Каракоруме. Опасное путешествие домой, вопреки официальным рекомендациям и без официального разрешения, через Афганистан и Персию, а потом почти целый 1906 год, проведенный в Греции, в седле, в плаваниях меж островов, в учебе в Афинах. Затем — девятнадцатое декабря 1906 года. Шестнадцать месяцев назад.

43 Река в северной Англии.
44 Город в Англии, где расположен Итонский колледж (осн. в 1440 г.).
45 Иностранный Легион — войсковое подразделение, входящее в состав сухопутных войск Франции. Комплектуется добровольцами любой национальности.
46 «Peninsular and Oriental Steamship Company» — крупная британская судоходная компания.

Девятнадцатое декабря: Бетельгейзе, его звезда-покровительница, в полночь стоит в зените. Завязка: обед у его сестры Анны, откуда они вместе с собравшейся там компанией отправились на тот исторический бал в испанском посольстве. Чудная пьеса, в которой тема вступает вот так вот, pianissimo[47], под сурдину, неслышимая за ревом труб. Удивительно, как это было: как озадачен он был под конец вечера при виде нацарапанных собственной рукой на программке слов «Дижонская Фьямметта[48]» напротив следующего вальса, как, наконец, вспомнил, что же они означали: «Fiammetta» — «огонек»; золотисто-рыжие волосы, чайная роза в них и кремового цвета платье, подобное розовым лепесткам. Как они танцевали, как потом, беседуя на лестнице, пропустили другой танец, как (словно по невысказанному взаимному согласию предоставить своих позабытых партнеров самим себе средь огней и веселья праздничного зала, а самим вкусить еще немного этой тишины) пропустили и два последующих. То ли Мэри была утомлена, то ли решила уступить ему право поддерживать беседу, но говорили они мало. Темноволосые девушки были будто звуки труб в той симфонии; за вечер он не испытывал недостатка в возможностях — да и не пренебрегал ими — насладиться шармом, цирцеевскими чарами[49], непринужденным обаянием и остроумием нескольких своих партнерш, обладавших этим, его любимым, цветом волос. Что же за насмешка это была, когда вступление столь величественной темы прозвучало приглушенной мелодией струнных и потому осталось незамеченным! Незамеченным до такой степени, что на следующее утро, восстанавливая от безделья в памяти события прошедшего вечера, он о ней забыл.

Однако неделю спустя, празднуя Рождество вместе с Анной и Чарльзом в Таверфордском поместье, он позабыл об остальных и снова вспомнил ее: сначала то, как она говорила о «Грозовом перевале»[50], весьма особенной для него книге; затем то или иное ее высказывание, сами слова и то, как она их произносила. Тем вечером она была немногословна, но в том немногом из сказанного, хоть и лишенном самолюбования, была вся она; это были настоящие Мэри-измы, подобные нарциссам или звездочкам терна, что обращены к зеленой траве или к солнцу. Например, вот такая фраза (сравнивавшая шот-

47 Pianissimo (ит., муз.) — «очень тихо».

48 Фьямметта — псевдоним, которым итальянский писатель Джованни Боккаччо именует в ряде произведений, в том числе в одноименной повести, свою возлюбленную.

49 Цирцея (Кирка) — в др. греч. мифологии могущественная волшебница, нимфа острова Эя. Заманивала моряков на берег магическим пением и превращала в животных с помощью заклинаний.

50 Роман английской поэтессы Э. Бронте (1847).

ландских горцев с тирольцами): «Горные жители кажутся все на одно лицо: рассеянные и порхают. Если потеряют что-нибудь — ну и Бог с ним. Наверное, у них и вся жизнь такая — то вверх, то вниз». Или такая (о крошечности людей в альпийской долине): «Совсем как мыши!» А еще, в уголках ее рта было «нечто», то засыпавшее, то пробуждавшееся. Он лениво спрашивал себя, кто она такая и происходит ли с ее устами что-либо подобное и при дневном свете. А потом, на следующей неделе, была встреча в Западном Норфолке, где они заново были представлены друг другу, и он получил ответ на оба вопроса: что касалось второго, то он был утвердительным.

Затем, шесть месяцев спустя, — двадцать четвертое июня. Тот пикник у реки, то тщательно спланированное, рассчитанное и уверенное предложение; отказ (поражение, которое потерпел не он один; если верить слухам, он был девятым или десятым по счету). И самым опустошающим было что-то в самой манере ее отказа: решимость Артемиды, трепет испуганной лани, от которого шоры спали с его глаз, и он вдруг увидел ее как никогда не видел прежде, как то единственное, что абсолютно необходимо ему, чтобы продолжать жить, а иначе пускай весь мир катится в тартарары; и словно удар грома поразил его, когда в этом единственном ему было отказано. Потом были те лихорадочные две недели, окончившиеся (хвала небесам) наилучшим исходом, какого он только мог добиться (ее кузен Джим Скарнсайд выступил в роли беспристрастного посредника): то мрачное «нет» было похоронено при условии, что он сам покинет страну и вернется за ответом не ранее, чем через пятнадцать месяцев; поначалу речь шла о восемнадцати месяцах, каковой срок он хотел сократить, ограничив следующим августом (страдной порой); однако Мэри наотрез отказалась согласиться на более раннюю дату, нежели Михайлов день[51]: «Это тоже знак, если ты достаточно мудр, чтобы его увидеть: пора сбора урожая».

Сбор урожая. Vindemiatrix[52] — та, кто собирает виноград; неяркая звездочка, в чьем доме пребывает осенью солнце и чьи мягкие лучи делают солнечное сияние еще более золотым, еще более безмятежным и умиротворяющим.

Прошло девять месяцев: Дагомея, Испания, Корсика. И вот, апрель, двадцать второе число. Осталось сто пятьдесят девять дней.

51 29 сентября.
52 Vindemiatrix (лат.) — «сборщица винограда»; также Виндемиатрикс — звезда в созвездии Девы.

Чернокрылое мгновение взметнулось в своем полете высоко в необъятное будущее, на десять, пятьдесят, может даже шестьдесят лет; затем устремилось за окоем, в то лишенное тепла, избегаемое мыслями безвременье, когда не останется ничего кроме надгробия со словами, которые подходят любому (кроме, разве что, самых несчастных) из людей: «Меня не было. Я жил и любил. Меня нет». Потом (или это была летучая мышь, из тех, что сновали между фонарями пьяццы и звездами?) оно тенью пронеслось мимо неподвижных уст этой Темной Леди, в уголках которых что-то трепетало; и удивительным образом это было то самое нечто, дремавшее и бодрствовавшее в уголках рта Мэри.

Дама Червей… Дама Пик… «Inglese Italianato»… борьба между севером и югом в его крови, счастье этой — да и любой другой — борьбы. Которое, однако, так легко разрушить. Как и женскую красоту, ее разрушить столь же легко. Двойственность, что лежит в самом сердце вещей, тот риф, на котором потерпели крушение столь многие художники. Омерзительный Ренуар[53] с его похожими на овец женщинами с распущенными губами, обезьяньими бровями и изобилием плоти; их короткие конические пальцы, пухлые крохотные ручонки, груди и ягодицы надувных кукол, делающие тщетной всю магию его красок и сияющего воздуха. Тулуз-Лотрек[54] с его подпитываемым борделями воображением и холстами, полными горячего пота и выдохшейся браги. Тонкая чувственность Этти[55], грубо обузданная и связанная привходящими условностями и тем самым лишенная души, которой могла бы быть наполнена его красота. Словно морозом побитые прекрасные образы Берн-Джонса[56], отягощенные грузом духовного обжорства работы Россетти[57], Бирдсли[58], продажный сутенер, растративший свое мастерство на изображение изъеденных отвратительными червями бутонов. Даже великие, даже Тициан в своей «Любви земной и Любви небесной», даже Боттичелли[59], творивший свою божественную Венеру, был (как он сам сказал) «ограничиваем всевозможными помехами как внутреннего, так и внешнего характера, каковые мешали мне достичь со-

53 Пьер Огюст Ренуар (1841 - 1919) — французский живописец, график и скульптор.
54 Анри Мари Раймон де Тулуз-Лотрек-Монфа (1864 - 1901) — французский живописец.
55 Уильям Этти (1787 - 1849) — английский живописец.
56 Эдвард Коли Берн-Джонс (1833 - 1898) — английский живописец и иллюстратор.
57 Данте Габриэль Россетти (1828 - 1882) — английский поэт, переводчик, иллюстратор и живописец.
58 Обри Винсент Бирдсли (1872 - 1898) — английский художник-график, иллюстратор, декоратор, поэт.
59 Тициан Вечеллио (1477 - 1576), Сандро Боттичелли (1445 - 1510) — итальянские живописцы эпохи Возрождения.

вершенства, которого я, как художник (подобно Капанею[60], θεῶν θελόντων ἐκπέρσειν πόλιν, ἤ μὴ θελόντων φησι — «независимо от воли божьей»[61]) стремлюсь достичь». Пытались ли греки в своих полотнах, тот же Апеллес с натурщицею Фриной[62], достичь этого? Увенчались ли их попытки успехом? Мы никогда не узнаем. Так умирают ли тогда подобные вещи? Вещи, наделенные душой? Сожженные поэмы Сапфо? Обладавшие тем же качеством картины Боттичелли, изображавшие «прекрасных обнаженных женщин» — быть может, его Венеру и весенних нимф?.. Слабым утешением будет то, что сжегший их сгорел и сам.

Да, они умирают σὺ δ᾽ ἐν στροφάλιγγι κονίης κεῖσο μέγας μεγαλωστί λελασμένος ἱπποσυνάων· — единокровный брат Гектора мужеубийцы, его возничий; под грохот Илионской битвы, «забыв о боях колесничных, в вихре пыли лежал на огромном пространстве, огромный»[63]. Все былое с его борьбой и сердечными муками (он взглянул на скелет амфитеатра, призывая его в свидетели) застыло. Он посмотрел на нее; ее глаза были неподвижны, словно в тот кратчайший миг ожидания меж вспышкой молнии и грохотом грома. Нет. Не застыло, ибо это равносильно смерти. Здесь же не было места смерти; было лишь напряжение мышц, как у пантеры перед прыжком; таким он видел этим утром, в ясном свете дня, надгробие Кангранде[64]. Фигура великого полководца на смертном одре, покоящаяся под высеченным из камня готическим пологом, смиренная, недвижная, с руками, сжатыми на груди будто в молитве: «requiescat in pace», «Domine, in manus tuas» и т. п.[65], вернувшаяся припевом песни детская слабость, устремленные ввысь невидящие глаза. А вверху, высоко над этим пологом, — демоническая фигура всадника в седле; это он в самом соку своей неистовой юности, в шлеме и латах, воздевший ввысь меч, смеющийся, восседающий верхом на покрытом чепраком коне, которого тоже будто переполняет тайное веселье, хохочущий под звуки труб; смешение воедино могущества, величия, гордости, победоносности и стремительности, всего многообразия миров в одном язычке пламени, вечное

60 Капаней — в др. греч. мифологии один из семи героев, принявших участие в походе против Фив.
61 Эсхил, «Семеро против Фив» (пер. С. Апта).
62 Апеллес (370 – 306 гг. до н. э.) — древнегреческий живописец, автор картины «Афродита Анадиомена», натурщицей для которой по одной из версий была знаменитая афинская гетера Фрина.
63 Гомер, «Одиссея», 24:39 (пер. В. Вересаева).
64 Кангранде (наст. имя Франческо делла Скала, 1291 – 1329) —итальянский дворянин и воин, правитель Вероны с 1311 по 1329 гг., лидер гибеллинов в северной Италии.
65 Requiescat in pace (лат.) — «покойся с миром»; Domine, in manus tuas (лат.) — «в руки Твои, Господи».

и единственно реальное, что уподобится в своей недвижности смерти не ранее, чем будет испепелен лед или замерзнет огонь.

Все это пронеслось перед ним за считанные секунды, будто откровение.

Лессингем ответил ей:

— Синьора, если бы я был Всемогущим Богом, то был бы и его хозяином. И, будучи его хозяином, я бы не позволил ему влечь себя за собой, словно туриста, купившего билет на морской круиз. Я бы приставал к земле там, где мне вздумается, заходил бы в те порты, куда захочу, и отплывал бы, когда мне заблагорассудится, по собственному желанию ускоряя или замедляя его ход. Я бы завел его, если бы захотел.

— Это, — промолвила она, — было бы очень сложно устроить. Нельзя отрицать, это могло бы быть приятным времяпрепровождением. Но, боюсь, французская точность едва ли казалась бы столь же уместной, если бы положение вещей было именно таково.

— Неужто вы предпочли бы, чтобы я выбрал иное?

Медленно стянув перчатку с правой руки, она улыбнулась своей обычной улыбкой:

— Полагаю, сэр (по крайней мере, в моем нынешнем настроении), я хотела бы, чтобы вы несмотря ни на что играли в эту игру по всем ее строжайшим правилам.

— О, — произнес Лессингем. — И все это (если дозволено будет поинтересоваться) — чтобы оценить мои способности? Или мое терпение?

Ее пальцы скрылись в маленькой сумочке, украшенной золотой сеткой, в поисках лиры за вино; Лессингем достал пригоршню монет, но она изящно отклонила его предложение заплатить.

— Не знаю, — сказала она, опустив глаза и вновь надевая свою малиновую перчатку. — Не знаю. Возможно, сэр, достаточно будет, если я отвечу: Потому что меня это забавляет.

Она поднялась. Лессингем также поднялся.

— Этого достаточно? — спросила она.

Лессингем не ответил, глядя на нее. Она была высока; одного роста с Мэри вплоть до дюйма и невероятно на нее похожа: едва заметные движения головы или рук, что-то в ее взгляде, а также то нечто в уголках рта (доселе

невиданное среди живущих женщин). В отличие от Мэри она была темноволоса: черные как смоль волосы и чистая бледная кожа.

— Доброй ночи, сэр, — промолвила она, протянув руку.

Словно воспитанный в традициях этой иностранной учтивости и любезности, он поклонился и поднес ее руку к губам. Как ни странно, он даже не попытался последовать за ней, лишь наблюдал за ее походкой и осанкой, за тем, как она уходит, нечеловечески прекрасная, и растворяется среди толпы. Потом он надел шляпу и медленно уселся обратно за свой стол.

Так он сидел еще, наверное, полчаса: наблюдатель, вглядывающийся в лица, предоставленный своему воображению, играющий с рождавшимися в нем образами. Вокруг сверкал ночной город, предлагая бессчетные возможности, и его жилы переполняло ощущение свободы. Погрузившись в мечты, он не замечал, как звезды заволокло тучами, как стал душным воздух, пока не посыпались крупные капли дождя и все небо не расколола молния, давая волю оглушительному грохоту грома. Торопясь обратно в гостиницу, насквозь промокнув и подняв воротник, шлепая в миллионах брызг по залитому водой тротуару, он, будто охваченный внезапной и невыносимой жаждой, произнес про себя: «Прошло достаточно времени. Не стану ждать еще пять месяцев. Завтра домой».

Она же в это время (если, конечно, можно говорить о каких-либо «до» и «после» применительно к путешествиям между одним Миром и другим), пройдя еще десяток шагов после того, как взгляд Лессингема потерял ее, шагнула из апрельской реальности в июньскую, из ночной Вероны на усыпанную ромашками лужайку возле колоннады из прохладного пурпурного песчаника, в звучное и сияющее белизной великолепие летнего полдня.

II. Мемизон: король Мезенций

Пройдя по лужайке, эта леди остановилась у пруда с лилиями под сенью тополей и постояла там с минуту, вглядываясь в водную глубь, откуда, обрамленное малиновыми и золотистыми лилиями, взирало на нее отражение ее собственного лица. Линии ноздрей застыли; внезапно вся ее поза преисполнилась некоего ощущения первозданности, как если бы эта юность, это находившееся в самом разгаре лето ее девичества не были для нее чем-то временным и преходящим, порой, которой предстоит минуть, уступив в будущем место зрелости, полному расцвету сил, а затем увяданию и упадку; состояние это казалось неизменным, вечным. Ее шея, ее руки, линии ее волос, убранных с висков назад, где темные пряди переплетались с еще более темными и блестящими, завиваясь кольцами и локонами на затылке, где непокорная поросль крохотных шелковистых волосков, похожих на черные черточки на белокрылых цветках ириса, оттеняла белую кожу, ее губы, хрустально-холодные на вид, четко очерченные, красные будто кровь? и поблескивавшая меж ними тоненькая полоска зубов — все это казалось исполненным совершенства, неподвластного времени и оттого ужасного.

Невидимый, лорд канцлер Бероальд, наблюдал за нею из увитой жимолостью беседки на некотором отдалении от того места, где она стояла. В его взгляде не было и следа того благоговения, с которым, казалось, взирала на нее бессловесная природа; скорее в нем сквозила оценивающая ирония, что способна, сопоставляя слова с делами, факты с видимостью, находить в их вычурных плясках не только развлечение, но и ведущее к власти знание.

— Твой муж во дворце? — некоторое время спустя спросил он.

— Откуда мне знать?

— Я думал, ты пришла оттуда.

— Так и есть. Но занималась я там отнюдь не его розысками.

— Ого, это был намек?

Когда она приблизилась, он поднялся на ноги. Молча они смотрели друг на друга. Потом, легко, словно прошелестел в кронах тополей над их головами ветерок, она рассмеялась, протянула ему руку, которую он после заминки покорно поцеловал, хотя в движении его угадывался некий тончайший оттенок иронии.

— Вашу милость что-то развеселило?

Она уселась, элегантно устроившись на скамье из розового мрамора и столь же элегантно притянув к себе побег жимолости, чтобы вдохнуть его аромат. Она втянула в себя благоухание восьми крошечных рожков малинового, абрикосово-золотистого и кремового цвета, и глаза ее скрылись под черными ресницами. Потом, выпустив цветок из рук, она взглянула на него, присевшего рядом с ней.

— Меня позабавил твой вид, мой благородный братец, — промолвила она. — Такое же выражение лица, как мне помнится, было у тебя, когда ты вовлек меня в свой расчудесный план касательно моего бывшего мужа.

— Чем выше взбираешься на гору, — сказал канцлер, — тем более широкий вид тебе открывается. Это было только начало.

— О нет, какое там начало. Ты же сущий Борджиа[66]. Я говорила о том, что произошло на ступенях перед площадью в Крестенайе.

— Смени-ка тему, — сказал канцлер.

— Сначала подсунул его мне, будто фальшивую монету, а сам преследовал только свои собственные интересы, — произнесла она. — А как только мы от него избавились, упросил меня выйти за этого Морвилля. Чего уж, куда как более выгодный для тебя союзник, может похвастаться родством с Парри в каком-то там десятом колене. Полагаю, тебе кажется, будто, обладая дамой пик — мной, — ты всегда сможешь заполучить и туза, которым можно побить валетов?

— Фи, сестрица!

— Фи, братец! Вот увидишь, теперь я буду играть на любовь, а не на расчет. В следующий раз тебе придется выложить мне короля червей, который был бы под стать моему тузу.

— Это еще что за речи? — поинтересовался из-за их спин король. — Канцлеры, распоряжающиеся королями? Это всегда приносило одни несчастья, причем как первым, так и вторым.

— Ваша светлость, — воскликнул канцлер, вставая и поворачиваясь навстречу своему господину. — Вы же меня знаете, я никогда не играю в карты.

Король расхохотался:

66 Чезаре Борджиа (1475 – 1507) — политический деятель, известный своими жестокостью, коварством и политическими способностями.

— Также как и я. Разве что, перекинусь разок-другой с Дьяволом, да и то только когда это нужно и идет во благо.

Рост ладно скроенного и обладавшего солдатской выправкой канцлера достигал добрых шести футов, но сверху вниз взирал на него своими орлиными глазами из-под украшенной перьями черного орла шапочки облеченный величием чернобородый король. Герцогиня Мемизонская, которую король держал под руку, была своей красотой подобна клонящимся к ночи осенним сумеркам, когда облака полыхают огнем, а красно-золотое закатное сияние озаряет косыми лучами вершины сосен и папоротниковые листья, когда легкий туман взбирается по склонам холма и улетающие дикие утки проносятся в вышине через западные небеса. Темная Леди, по-прежнему сидя к ним спиной, только протянула свою унизанную украшениями руку к побегу жимолости, чтобы снова поднести его к лицу и понюхать.

— Госпожа Фьоринда.

Она обернулась, увидела их и поднялась, само почтение и покорность, но с неторопливым достоинством пенной морской волны, набегающей на берег в тихий июньский день.

— Покорнейше прошу вашего прощения, я не узнала голос вашего высочества. Ваша покорная слуга, госпожа моя.

— Я прощал и худшее, — сказал король. — Тем более Валькирии.

— Валькирии? Разве я — Валькирия?

— Ответьте ей, госпожа моя.

— О, — промолвила герцогиня, — она не из моих служанок. Пускай ответит за себя сама.

— Не из ваших? Это в прекрасном-то Мемизоне? Где даже птицы слетаются на ваш зов? Благодаря кому же, как не вам, повстречал я ее, скакавшей на белом коне на самом рассвете дня, нынче утром, когда ехал к вам через дубравы?

— Раз уж речь зашла о Валькириях, — заговорила Фьоринда, — то я полагала, что ваше высочество подумает, будто это не я правила конем, а конь мной, столь быстро вы меня нагнали и ухватили его под уздцы.

Король взглянул в ее глаза, зеленые и холодные.

— Так и следует обращаться с Валькирией, — произнес он. — Безопаснее вести себя с Богиней как с женщиной, нежели с женщиной как с Богиней.

Ну а насчет прощения — не рассказывайте мне небылиц! Все вы узнали. И нарочно продолжали сидеть, дабы посмотреть, окликну ли я вас.

Она стояла, молчаливая, потупив взор, бесстрастная будто статуя, если не считать подобного взмаху крыльев крачки едва заметного движения ее тонких черных бровей да неуловимой метаморфозы, произошедшей с ее устами; теперь от нее словно исходил холод пустоты меж мирами.

— Я устроил вас к герцогине фрейлиной, — промолвил король. — Не поблагодарите меня за это?

Она подняла глаза, посмотрев сначала на герцогиню.

— Я поблагодарю обоих, чтобы не задеть никого. Но если вашей светлости будет угодно, я сначала испрошу разрешения у своего мужа.

— Нет нужды, — отозвался король. — Уже испрошено и дано еще час назад. А теперь следуйте за мной, Бероальд.

А герцогине он тихо сказал, глядя в ее зеленые глаза и поднося ее руку к своим губам:

— Вот видите, мадонна, я повинуюсь вам.

— Насчет канцлера? О, я рада, — промолвила она, и показалось, будто благословение снизошло на благоухающий сад дуновением аромата жимолости.

— Что ж, леди, позвольте нам покинуть вас на часок. Клянусь Богом, государственные дела здесь, в Мемизоне, — что соленые или копченые сардины к вину; без них мы бы пресытились сладостью. Прекрасный Мемизон и ваше прелестное общество, госпожа моя, для меня будто тень в полдень и зеленый оазис в пустыне дел.

— А вы, — добавила герцогиня, — будучи повелителем нас всех, томитесь в неволе этой самой пустыни.

— Лишь у одной вещи на свете томлюсь я в неволе.

— И что же это?

— Моя собственная воля, — промолвил король, улыбнувшись ей. — Пойдемте, канцлер.

Вдвоем они не спеша двинулись прочь, пройдя по лужайке, миновав колоннаду и оказавшись на другой лужайке около ста пятидесяти шагов в длину и сорока в ширину, ограниченной с дальней стороны длинной обращенной на восток стеной. По этой лужайке они и принялись расхаживать

взад и вперед, задумчиво меряя ее неторопливыми шагами, то беседуя, то замолкая, будто для того, чтобы взвесить сказанное. Беседа их была негромкой, да и не было опасности быть подслушанными в этом залитом солнцем месте, если только их разговор не могли услышать и понять приплясывавший и покачивавший неподалеку хвостом дрозд или проносившаяся туда-сюда черно-серебристым проблеском ласточка, то и дело возвращавшаяся к своему гнезду на колоннаде.

— У меня масса дел, Бероальд.

— Знаю, — очень серьезно проговорил канцлер.

— Откуда вам знать? Я никогда ам не говорил.

— Чую, несмотря даже на это благоухание лилий.

— Бероальд, я надумал поручить вам дело, которое до сего утра я не собирался доверять никому, кроме себя самого. Как вы думаете, это будет благоразумно?

— Если ваша светлость изволит спрашивать, благоразумно ли это предприятие, то как же я могу ответить, не зная наверняка, о чем речь?

— Я имею в виду, — сказал король, и в голосе его прозвучало раздражение, — благоразумно ли мне будет поведать кому-либо, пускай даже и вам, о столь важном и опасном деле?

Канцлер помолчал, затем промолвил:

— На этот вопрос, господин король, не сможем ответить ни вы, ни я. Ответить на него сумеет только время.

— То есть вы говорите, время покажет, был ли я дураком, доверившись вам? Покажет, действительно ли вы, как я думаю, человек отважный и рассудительный, мой человек?

— Ваше высочество выразили мои мысли своими собственными устами.

— И это все?

— Ну, есть и еще кое-что, — откликнулся канцлер. — Вы всегда были моим покровителем, и я, прожив на этом свете пять раз по семь лет, набрался достаточно мудрости, и всегда «поклонюсь дереву, под которым нашел приют»[67].

— Это мог бы сказать и не самый надежный из друзей, — проговорил король, внимательно всматриваясь в его лицо. — Мы же входим в воды неизведанные.

67 «Всякий поклонится дереву, под которым нашел приют» — шотландская пословица.

Канцлер ответил:

— Ничего более не могу сказать, помимо того, что, если тут и впрямь предстоит потрудиться в том смысле, в каком ваше высочество всегда (за все то время, что я вас знаю) понимали труд, то, избрав меня или кого-либо иного, вы обретете опору весьма непрочную.

— Довольно. Бероальд, меня интересует Парри.

— Так же как и прочих.

— Вот уже четыре года.

— С тех пор, как он подавил для вас мятеж Валеро в Ульбской Марке. Вы не торопились.

— Я хотел дать ему возможность растрачивать жизнь и дальше.

— Помните, — промолвил канцлер, — он ведет себя подобно утке: над водой едва шевелится, а под водой изо всех сил гребет к своей цели.

Король сказал:

— Я знаю и то, что выдра может ухватить эту утку за ногу, когда та меньше всего ожидает.

— Теперь чтобы обуздать его потребуется гражданская война.

— Он мой наместник в Ререке. Разве не окажусь я неумелым правителем, если после двадцати пяти лет на престоле, после всех бесчинств и волнений, не смогу присмирить своего собственного подданного, не развязав против него войны?

— Возможно, ваша светлость обладает сведениями, которых у нас нет. Но совершенно бесспорно, что, задрав нос после подавления тех беспорядков, он пользовался пожалованными ему полномочиями будто щипцами, и уже прибрал ими к рукам всю внутреннюю часть королевства между Мегрой и Зеннером. Я не утверждаю, что он в открытую стремится стать верховным правителем. Я так не думаю. Он просто выжидает.

Они дошли до края лужайки и в молчании повернули обратно. Затем король заговорил, и его правая рука, до сего момента небрежно приобнимавшая лорда Бероальда за шею, соскользнула вниз, позволив пальцам сильно сжать плечо канцлера:

— Помните, как мы недавно раскрыли заговор нескольких недовольных из Ререка и Марки, которые затевали что-то недоброе, и, хотя сучья мы с легкостью пообрубали, ясно было, что невидимый и куда более опасный корень остался цел. С того времени я разными путями разузнал побольше; я шел

к правде, как стремятся к гномону тени. Их пятеро или шестеро, этих его орудий, и имена их таковы, что, назови я их, вы бы ни за что мне не поверили. Сплошь друзья на словах, а на деле недруги. У меня их письма, этого для меня достаточно. Посоветуйте, как мне быть?

— Соберите их у себя, его самого и всех этих его приспешников, и призовите к ответу. Если ответ окажется неудовлетворительным, отрубите им головы.

— Что? Да уже заслышав «Киска, киска, где ты есть»[68], они до того перепугаются, что устроят открытый мятеж. Давайте-ка другой совет, господин мой канцлер, этот не годится.

— Ваше высочество, я правовед, и негоже мне лезть куда не следует. Но разве не лежит в основе всякого права понимание того, что король, стоит только возникнуть поводу, может с полным правом действовать этому праву вопреки? Вы — наш предводитель, к которому обращены наши глаза и в котором ищем мы безопасности. Ради безопасности вашей персоны было бы неплохо избавиться от наместника. Совет мой, стало быть, таков: хорошенько убедитесь в своих силах, а покончив с этим, ударьте, причем неожиданно.

Король рассмеялся в свою густую черную бороду:

— Вы укрепили меня в моем решении; так я и сделаю. Но с двумя оговорками. Во-первых, я не стану как неотесанный неумеха убивать доброго сокола лишь за то, что он одичал. Я намерен приручить Гория Парри, а не прикончить его.

— В таком случае мне жаль, — произнес канцлер. — Это не сокол, а канюк; он никчемен, вам не удастся заставить его делать хоть что-либо.

— Кто вы такой, чтобы столь невысоко судить о моих способностях?

— Было бы бесчестно с моей стороны льстить вам. Более того, ваше высочество убедились: этот человек не только не верит ничему из того, что ему говорит другой, но и сам не говорит ничего, чему стоило бы верить.

— Говорю вам, я присмирю его, — уверил его король. — Как иные укрощают воронов, пустельг, сорок, да и прочих птиц, приучая их к себе забавы ради, так и я не обходился ли с ним достойно все эти долгие годы? Я не отдам его и за двойную цену тех владений, которыми он от моего лица управляет.

Бероальд сказал:

68 Цитата из анонимной английской пьесы «Король Дарий» (1565).

— Если мои слова недостаточно убедительны в столь трудных обстоятельствах, пускай ваше высочество попросит совета у других; спросите у господина адмирала, или у графа Родера, или у старого Боденая, вашего королевского судьи в Риалмаре, каково их мнение; или спросите своих принцев-данников из северного Ререка. Все они скажут то же самое.

Но король отвечал ему:

— Даже если все вы станете на колени, Бероальд, даже если все мои вассалы из всех Трех Королевств будут упрашивать меня, я от своего не отступлюсь. К тому же, — добавил он, остановившись и повернувшись, чтобы взглянуть Бероальду прямо в глаза, — есть и вторая оговорка: королями становятся — таковым всегда и было мое кредо, в соответствии с которым я всегда поступал, — благодаря умению, а не привилегиям. Если я сам не способен выполнить эту задачу, лучше мне откланяться и дать дорогу новому королю.

Потому слушайте и слушайте внимательно. Неслучайно я две недели назад так мило гостил у него в Лаймаке, проезжая по стране с многочисленным войском; неслучайно я с большой помпой уехал оттуда на юг, в Мезрию. Это было нужно, чтобы усыпить их бдительность. Ибо делал я все это, уже зная, что он планирует встретиться в одну из ночей в каком-нибудь укромном и отдаленном месте в верховьях Зеннера с пятью или шестью из них (с теми самыми, о ком я упоминал), дабы обсудить свою затею захвата Ререка и превращения его в отдельное королевство с самим собой во главе. Что до времени, места и прочих подробностей этой встречи, то я ожидаю сведений с часу на час. Мы с вами, только мы вдвоем отправимся на эту встречу к ним, и если я не покончу с остальными, а его не подчиню своей воле, то, по крайней мере, умру, пытаясь сделать это.

Ну что? Поедете или останетесь тут?

Очень бледный, канцлер, всматривался куда-то вдаль с серьезным выражением лица, а через минуту сказал:

— Поеду, господин король.

Король взял его за обе руки и поцеловал.

— Однако, — продолжил канцлер, глядя теперь тому прямо в глаза, — с позволения вашего высочества, я хотел бы кое-что сказать.

— Говорите же, что вашей душе угодно.

— Так вот. Я считаю, что вы выжили из ума. И все же, — промолвил

тот, поджав губы, — возможно, моего господина и повеселит, если меня прикончат с ним заодно; сам же я смерти не боюсь.

Король посмотрел на него странным взглядом; так могла бы неподвластная даже орлам гора смотреть на свое неколебимое отражение на воде, подернутое рябью и оттого неясное; так, вероятно, мог бы взирать с вершины Иды[69] собирающий тучи Зевс.

— Если жизни моей суждено окончиться именно так, то тем и лучше. Это будет нашим моментом истины, моментом, что послужит мерой всем прочим. Назад я не поверну, Бероальд.

III. Матч и зрители

— ВРЕМЯ, знаете ли, занятная штука, — произнес лорд Энмеринг, чуть наклонив голову вперед, чтобы заслонить глаза от солнца полями своей панамы; было время послеобеденного чая, и полуденное солнце за крикетным полем светило с безоблачного голубого неба прямо им в лицо. — Говорят, любовь к деньгам — корень всех зол. Вот еще! Я считаю иначе. Я думаю, Время разит куда глубже.

Леди Саутмир заполнила вакуум образовавшейся паузы одним из своих протяжных, задумчивых и неопределенных, неподражаемых заокеанских «угу».

— Взгляните на Мэри, — продолжал он. — Взгляните на меня. Если бы я не был ее отцом, если бы я не был на тридцать два года старше, разве были бы у меня сомнения, как с ней поступить?

— Полагаю, не было бы.

— Все очень просто, если они не ваши, — произнес он.

Неторопливо шагая, они дошли до верха лестницы, которая сбегала двумя пролетами невысоких ступенек из сада к полю, и остановились там.

— Но когда они ваши… Боже милостивый, вот это да!

Мяч после великолепного форвард-драйва[70] под крики и аплодисменты перелетел через дальнюю ограду, принеся бьющей команде шесть очков.

69 Гора на острове Крит в Греции, где по преданию рос Зевс.
70 Вид атакующего удара в крикете.

— Так и знайте, если ваш парень разобьет мне стекла в оранжерее, вот так вот лупя по мячу, я не стану иметь с ним больше никаких дел. Не следует забывать, — продолжил он, снова понизив голос, — что она еще очень молода. Ни к чему торопить события.

— О, но разве я спорю? Она такая прелестная, милая…

— Вы знаете ее не хуже моего. Хотя нет, не знаете. А ну-ка… — промолвил он, надевая очки, чтобы взглянуть на табло. — Восемьдесят. Восемьдесят-сто шестьдесят три; до победы восемьдесят четыре очка. Не так уж плохо, всего трое человек отыграно. Это все ваш парень: у него чудесная, уверенная игра, да к тому же и отличный стиль. Хотелось бы посмотреть, как он сделает сенчури[71]. Двое лучших наших бэтсменов, Чедисфорд и этот юный Макнотен, не заработали и десяти очков, вместе взятые, а у Хью дело спорится. Посмотрите на это! Довольно-таки мощная подача. Какую же сильную команду привез к нам из Хирнбастуика старый Плейтер… Бог ты мой, хотел бы я, чтобы им в этот раз задали взбучку. Ну что ж, Хью с Джимом, кажется, этим и занимаются. Не хотите ли спуститься туда, в тень?

— Я готова на все, что мне предложат. Тут слишком прекрасно.

Перед тем, как начать спускаться по ступенькам, она обернулась и замерла ненадолго, глядя на грандиозный западный фасад Энмеринг Бландз, что высился за зелеными газонами, цветочными клумбами и опрятными живыми изгородями, образованными аккуратно подстриженными густо-зелеными кустами самшита, барбариса и тиса; на длинные ряды окон, в которых отражалось солнце, в чьих лучах древний кирпич пылал будто золото. Это крыло, выстроенное Иниго Джонсом[72], было новее остальных и закрывало собой сложенный из камня дом, принадлежавший еще старому сэру Роберту Скарнсайду, которому Генрих VIII[73] пожаловал титул графа Энмеринга. Справа, в прилегавшем к дому парке, угловатый и серый, возвышался церковный шпиль Энмерингов. Обступавшие поместье дубы, ясени, буки и сикоморы загораживали дом, церковь и сад с востока, и летняя листва этих деревьев в этот час казалась напоенной золотистым светом. На севере расстилались широкие просторы; местность круто уходила вниз, к заливу, к топким низинам и песчаным дюнам, где за морем лежал Северный полюс. На юге, в противоположной от моря стороне, за парком и лесом, за лугами и пашнями простирались

71 В крикете — сто очков, набранные одним бэтсменом в одном иннинге.
72 Иниго Джонс (1573 —1652) — английский архитектор, дизайнер и художник.
73 Генрих VIII Тюдор (1491 — 1547) — король Англии (1509 — 1547).

вересковые пустоши и общинные выгоны: Бестартон, Спраусвуд, Тофтрайзинг. Леди Саутмир, постояв минуту в тишине, уже могла расслышать за шумом крикетного поля (за голосами игроков и зрителей, а также шлепками дерева по кожаному мячу в моменты, когда вступал в игру бэтсмен) тихий и отдаленный шепот волн на усыпанном галькой берегу; из леса же доносилось простодушное и сонливое, то затихавшее, то вновь возобновлявшееся воркование: «Ту-ку, так, ту-ку, таффи так, ту-ку, таффи так…» Бабочка-махаон перепархивала в жарком воздухе от золотой розы к цветку живокости.

— Слишком прекрасно, чтобы передать словами, — отвернувшись, проговорила она, наконец.

Они спустились по ступенькам и двинулись на север, обогнув дальнюю сторону крикетного поля и направляясь к палаткам.

— Буду откровенна, — проговорила она. — Я живу в центральных графствах вот уже двадцать шесть лет и стала настоящей англичанкой, но Бландз летом… он заставляет меня тосковать по дому.

Подобно тому, как за голосами и звуками игры угадывался отдаленный шум моря, и в речи леди Саутмир слышались милые и естественные интонации говора южных Штатов.

— Тосковать по дому? — переспросил лорд Энмеринг. — По Вирджинии?

— Нет-нет-нет, по Норфолку. Разве я не англичанка? И разве Норфолк не есть самая настоящая Англия, какой ей и надлежит быть?

— Ну так уговорите Саутмира устроить обмен: мне дайте дом в Лестершире, а себе берите Бландз.

— Ну а вы бы на это согласились? Смогли бы разорвать майорат?

— Дорогая леди, — сказал он, — есть много вещей, которые я сделал бы ради вас…

— Но только не это?

— Боюсь, что да.

— О, какая жалость! — воскликнула она, когда Джим Скарнсайд, отбивая йоркер[74], позволил мячу попасть в средний столбик калитки.

За игрой наблюдало около пятидесяти или шестидесяти человек, собравшихся на западной стороне, где под прохладной сенью буков, каштанов,

74 Мяч, ударившийся о грунт прямо у биты бэтсмена.

лип и сикоморов, чьи тени уже добрались до крикетного поля, стояли палатки, садовые стулья и скамейки — сцена столь милая, какую только можно было пожелать; звуки в ней смешались с тишиной, движение с покоем; белые шляпы и фланелевые брюки, разноцветные кепки и блейзеры контрастировали здесь и там с более строгими темными костюмами; изобилие пышных муслиновых платьев, цветных шелков, газа и лент, шелковых зонтиков и соломенных шляп; молодежь, старики, люди средних лет; девушки, юноши, мужчины, женщины; кто-то болел за местных, кто-то — за тех одиннадцать человек, что приехали вместе с полковником Плейтером из Хирнбастуика; соседи или знакомые из округи; жены, друзья, родители, сестры, кузины, тетушки. Проходя мимо них вместе с леди Саутмир, хозяин поместья здоровался с каждым, как подобает, будь то слово, улыбка, формальное приветствие или личная шутка. Там были: девицы Плейтер, Нора и Сибил, только окончившие школу, старая леди Дилстед, мать сэра Оливера, а также его сестра Люси (помолвленная с Найджелом Говардом), молодая миссис Маргессон, жена племянника лорда Энмеринга, Роумер, стипендиат Тринити[75], Лимпенфилд из Олл-Соулз[76], генерал Макнотен со своими женой и сыном, Траусли из лейб-гвардии, Том и Фанни Чедисфорд, мистер и миссис Дагворт из Семмеринга, сэр Родерик Бейли, адмирал, чей непредсказуемый сын Джек набрал нынче утром за приезжую команду больше всех очков (пятьдесят), ректор со своей женой, Денмор-Бентамы, мистер и миссис Эверард Скарнсайд (родители Джима) и принцесса Мицмезжинская (его сестра), Бреммердейлы из Таверфорда, Стерраморы из Бернхэм Овери, Дженет Растхэм и два ее маленьких сына, капитан Фиверингей и многие другие.

— Простите, дядя, — сказал Джим Скарнсайд, встретив их по пути к шатру. — Я бесславно выбыл всего лишь с тремя очками.

— Мне всегда говорили, — заметила леди Саутмир, — что йоркер надо блокировать.

— Дорогая леди Саутмир, думаете, я сам не знаю? Однако (знаю, вы не поверите) все это произошло по вашей вине.

— А вот это уже весьма интересно.

— Правда-правда.

— Как же это, позвольте узнать?

75 Тринити колледж в Кембриджском или Оксфордском университетах.

76 Олл-Соулз, Колледж всех душ — научно-исследовательский колледж в Оксфордском университете.

— Ну, этот малый, Говард, как раз отходил назад, как он это обычно делает перед подачей. А потом мчится на тебя, как буйвол, так, что у такого бедного маленького бэтсмена как я душа уходит в пятки…

— Бедный маленький шестифутовый верзила! — воскликнула она.

— И в этот самый момент на горизонте показался ваш черно-белый зонтик! И тут я вспомнил: Боже, ведь Мэри заставила меня пообещать, что леди Саутмир обязательно отведает свежезаваренного земляничного чая со сливками, ведь он самый лучший! А уже-то время чая, и вот она идет, и уже слишком поздно, они все уедут. Ну и тут Найджел Говард подает этот свой дурацкий йоркер. Разве это честно? В самом деле, дядя Роберт, вам не следует позволять леди наблюдать за такими серьезными играми как наша. На «Лордз»[77] и в ему подобных местах еще куда ни шло, но тут это чересчур отвлекает.

— Но что вы будете делать без нас? — рассмеялась она. — Ведь тогда будет не на кого свалить всю вину. Джим! — окликнула она его, когда они уже, было, разошлись. Он обернулся. — Было весьма благородно и мило с вашей стороны подумать о земляничном чае.

— Пойду его спасать, — ответил он, и, опираясь на свою биту как на трость, поспешно зашагал в направлении палатки с напитками.

Сент-Джон, следующий бьющий, выбыл из игры на первой же подаче. Зрители загудели в ожидании, что Говард сделает хет-трик[78], но вышедший следом Денмор-Бентам работал битой чрезвычайно расчетливо и весьма успешно (в том, что касалось защиты калитки, но не набора очков).

— Как звать того юношу, что зарабатывает все очки? Рэдфорд? Брэдфорд? Я не расслышал имени, — поинтересовался пожилой джентльмен в белом жилете, с седыми бакенбардами и золотистым цветом лица, какой бывает от долгого пребывания к востоку от Суэца. Его жена отвечала:

— Лорд Глэнфорд, сын лорда Саутмира. По-моему, они гостят здесь, в поместье. А вот и его сестра, та милая темноволосая девушка в розовом, что разговаривает сейчас с леди Мэри.

Его взгляд устремился в указанном ею направлении и вдруг остановился, но отнюдь не на леди Розамунде Кирстед. Ибо Мэри, которая как раз поднялась и, направляясь прочь, обернулась, чтобы что-то со смехом возразить

77 «Лордз» — известный крикетный стадион в Лондоне.

78 Ситуация, когда боулер (подающий) выбивает из игры трех бэтсменов соперника тремя последовательными подачами.

своим друзьям, чем-то привлекла к себе внимание в этот миг; так кренится на морском просторе под внезапным порывом ветра видимый в просвет меж деревьев белый парус: кренится, замирает, затем выпрямляется и продолжает свое грациозное путешествие. Странное, удивительное выражение можно было прочесть в глазах этого старого губернатора колонии, как будто бы многие поколения людей столпились, чтобы выглянуть сквозь эти обыкновенные глаза, как сквозь окно.

Глэнфорд же вместе с новым напарником, казалось, вознамерился выиграть матч, играя осмотрительно и уверенно, не идя на риск, но и не упуская ни единого шанса. Когда через полчаса игры на табло, наконец, появилось число сто, самые нетерпеливые из зрителей начали давать волю чувствам.

— Дорогая Анна, — говорила Фанни Чедисфорд, рука об руку с леди Бреммердейл, — больше я этого просто не вынесу: шлеп, шлеп, шлеп. За шашками наблюдать, и то интереснее. Ради всего святого, пойдем и утопим наши печали за игрой в крокет.

— В крокет? Мне казалось, ты согласилась с Мэри…

— Я всегда соглашаюсь. Когда именно?

— Когда она сказала, что он годится только для священников и пожилых вдов, да и то если они сперва прошли лечение в приюте для душевнобольных и преступников.

— О, после такого это как раз для нас. Попробуем вчетвером; вот идут Джим с мистером Маргессоном, попросим их присоединиться.

— Мне показалось, или кто-то произнес мое имя без должного уважения? — поинтересовался Джим Скарнсайд.

Фанни рассмеялась из-под своего белого зонтика:

— Ах, это моя уважаемая и вечно недооцениваемая мисс Чедисфорд. Вы знаете, — обратилась она к Катберту Маргессону, — мисс Чедисфорд так и не простила нас за то, что мы не устроили смешанный матч.

— Ага, с метлами в руках? — съязвил Маргессон.

— Отнюдь нет, — сказала Фанни.

— Ну еще бы, конечно нет! — подхватил Джим. — Слушайте, Маргессон выходит следующим. Это прозвучит довольно дерзко, особенно в отношении капитана, но, в конце концов, он им стал благодаря своим дьявольским подачам, а также своей знаменитой дипломатичности. Давайте-ка возьмемся за него и слегка поучим бить по мячу.

Анна Бреммердейл улыбнулась:

— Это будет получше крокета.

Они двинулись к огороженной сеткой части поля.

— Будете отбивать, мисс Чедисфорд, или подавать? — спросил Маргессон.

— Ну, отбивать я могу получше, чем они, — Фанни бросила пренебрежительный взгляд на играющих. — Брат меня научил.

— Ну и ладно, — сказал Маргессон. — Глэнфорд отлично играет. Мы вам еще покажем, леди Бреммердейл. Как это вы не привезли своего брата, чтобы он сыграл за Хирнбастуик?

— Какого из них? У меня их пятеро.

— Я знаком только с одним. С младшим. Его зовут Эдвард, не так ли?

— Она не могла привезти его, потому что его с ней не было.

Фанни сказала:

— Я думала, он у вас в Таверфорде.

— Нет, уехал еще в начале мая.

— Вот человек, — заметил Джим. — Никогда не знаешь, где он.

Фанни выглядела удивленной.

— Я готова была поклясться, — произнесла она, — что именно Эдварда Лессингема я видела этим утром. Наверное, это был его двойник.

— Антифол Эфесский, — сказал Джим. — Антифол Сиракузский[79].

— Это было около восьми часов, — продолжала Фанни. — Утро было сказочное, какое увидишь только во сне. Все было в каплях росы. Я проснулась с жаворонками и перед завтраком пошла выгулять собак к Келлинг Хит. Могу поклясться, никто в этих краях не сидит на лошади так, как он. Столь же непринужденно. Господи, да я ставлю все что угодно, это был он! И скакал он на юг, к Хольту.

— Брось, Фанни, это не мог быть он, — сказала Анна.

— Не так много на свете молодых людей, которых можно было бы принять за него, — ответила Фанни.

Джим прервал их:

— Раз уж речь зашла о Келлинг Хит, расскажу вам об одной моей идейке: почему бы нам не устроить там этой осенью скачки? Что скажешь, Катберт.

79 Антифол Эфесский и Антифол Сиракузский — братья-близнецы, герои пьесы У. Шекспира «Комедия ошибок» (ок. 1591).

— Я обеими руками за.

— Сегодня за ленчем я упомянул об этом полковнику Плейтеру. Весьма важно получить его одобрение, ведь он глава охотничьего сообщества. По сути, именно ему и следовало бы этим заняться, если мы хотим, чтобы вышло стоящее зрелище. Ему идея нравится. А вы не расспросили Чарльза, Анна?

— Расспросила. Он прямо загорелся этой идеей и собирается перемолвиться с вами нынче вечером. Да, у вас выйдет великолепная гонка от Уэйберн Хит к Солтхаус Коммон и обратно, хотя местами дорога там довольно крутая и ухабистая.

Фанни не возражала против смены темы, хотя, возможно, и продолжала размышлять все о том же.

Бентам вышел из игры: мяч чиркнул по его бите и угодил в руки игрока подающей команды. Он был шестым из выбывших; команда к этому времени имела сто девять очков, из которых Глэнфорд заработал шестьдесят своей собственной битой. На поле вышел Маргессон и (отнюдь не благодаря подначкам нетерпеливых юных леди — если только они не использовали телепатию, потому что очки набирал Глэнфорд) игра оживилась. Майор Растхэм, капитан команды из Хирнбастуика, заменил Говарда на сэра Чарльза Бреммердейла, чьи подачи — медлительные, эксцентричные, обманчиво простые на вид — таили в себе (подобно опасным течениям под будто бы спокойной поверхностью воды) удивительное разнообразие в скорости и силе, и мяч после них то и дело самым неожиданным и обескураживающим образом менял траекторию. Но Глэнфорд определенно его раскусил, также как и Маргессон.

— Мы побеждаем, Нелл, — обратился лорд Энмеринг к супруге своего племянника, миссис Маргессон.

— Вот чертова парочка! — воскликнула Сибил Плейтер.

— Прекрати ругаться, — одернула ее сестра.

— Сама прекрати. Я и не ругаюсь.

Люди хлопали в ладоши и приветствовали возгласами удары Глэнфорда. Чарльз Бреммердейл ничего не мог с ним поделать: вот мяч улетает к мид-оффу — два очка, вот к мид-ону — еще два, вот уайд[80], затем мощный драйв над головой кавера и за линию поля — четыре очка, вот мяч попадает к лонг-

80 Ситуация, когда мяч после подачи проходит слишком далеко от калитки; отбивающая команда при этом получает дополнительное очко.

легу[81] у самого края поля — два… нет, три: Джек Бейли промахивается своим дальним броском по калитке и отбивающие успевают сделать еще одну перебежку. «Давай!» — вот уже четыре очка; принимающий ловит мяч и поворачивается, чтобы бросить его обратно. «Нет!» — восклицает Маргессон, но Глэнфорд кричит: «Да! Давай!» Они бегут; Бреммердейл припадает к земле у самой калитки, ловит летящий ему прямо в руки мяч и сносит им перекладину; Глэнфорд выбывает.

— Вот же не везет! — воскликнул Джим Скарнсайд, стоявший рядом с Томом и Фанни Чедисфорд возле табло. Глэнфорд набрал девяносто одно очко. — Ну какого же черта он постоянно пытается выжать из подачи все до последней капли?

Зажав биту подмышкой, Глэнфорд ушел с поля. Он мрачно покачал головой, расшнуровывая свои перчатки, потом направился к палатке, чтобы надеть свой блейзер, а оттуда двинулся напрямик к Мэри.

— Какое ужасное расстройство, — промолвил он, садясь рядом с ней. — Я так хотел подарить вам на день рождения сенчури.

— О боже, нет, вы чудесно играли, — ответила она. — «Что мне до цифр иль цифрам до меня?» Все было превосходно.

— Весьма мило с вашей стороны так говорить. Хоть я и осел, что позволил себя выбить.

Ответная улыбка Мэри способна была смягчить любую горечь; потом она возобновила свою беседу с Люси Дилстед:

— Их можно перечитывать снова и снова, как и Джейн Остен[82]. Полагаю, все оттого, что там совсем нет «воды».

— Я пока прочла только «Шигпэта», — сказала Люси.

— О, эта книга отличается от остальных. Но разве она не восхитительна? Все так серьезно. Комедию всегда портит фиглярство, не правда ли? Хочется жить в ней, смеяться вместе с ней, а не над ней.

— Мэри окончательно и безвозвратно помешалась на Джордже Мередите[83], — сказал Джим, присоединяясь к ним.

— И кого же надо в этом винить? — отозвалась она. — Кто кому подсу-

81 Мид-офф, мид-он, кавер, лонг-лег — в крикете позиции полевых игроков.
82 Джейн Остен (1775—1817) — английская писательница.
83 Джордж Мередит (1828 —1909) —английский писатель викторианской эпохи. «Бритье Шигпэта» (1855) — его вариации на темы арабских сказок.

нул эту книгу? Да к тому же бился об заклад, будто ей не понять, что там к чему, пока она не прочтет… сколько глав по сколько раз?

Джим сжал пальцами виски, наигранно изображая смущение. Хью не улыбался. Матч продолжался; счет теперь менялся довольно медленно, благодаря осторожной игре Маргессона. Генерал Макнотен твердил мистеру Ромеру:

— Нет-нет, ей всего двадцать. Это и впрямь довольно необычно, но ведь она единственная дочь, да к тому же без матери, вот и хозяйничает в доме своего отца последние два года; да и в Лондоне тоже, вот уже два лондонских сезона. Это многое меняет.

Выбыл еще один игрок; счет достиг ста пятидесяти трех очков. «Теперь повеселимся», — слышалось в толпе, когда на поле появился Том Эпплъярд, но Маргессон шепнул тому на ухо:

— Ну смотри, старик, давай без этих джессопских штучек[84]. Все чертовски серьезно.

— Есть, сэр.

Маргессон в великолепном стиле отбил последний бросок серии. Эпплъярд послушно блокировал все подряд. Но все оказалось напрасно, ибо мяч после одной из мастерских подач Бреммердейла, на вид невинных, но на поверку чрезвычайно коварных, скользнул мимо защиты Маргессона и попал в левый столбик. Выбыли девятеро, набрано было сто пятьдесят семь очков, из них девять — последним игроком. Охваченные ликованием, игроки Хирнбастуика перебрасывались мячом между собой, пока Дилстед, следующий (и последний) из энмерингских бэтсменов, направлялся к калитке. Маргессон сказал Тому Эпплъярду:

— Теперь все в твоих руках, парень. Задай им жару, лупи со всей мочи. Но, черт подери, мы просто обязаны вытащить эту игру. До победы всего семь очков.

Эпплъярд засмеялся, потирая руки.

Все посторонние разговоры смолкли, воцарилось напряженное ожидание.

— Если сэру Оливеру выпадет отбивать, нам крышка; он пока ни разу и по мячу не ударил.

84 Гилберт Л. Джессоп (1874 — 1955) — английский крикетист, известный своим умением быстро набирать очки; в крикете это означает склонность к рискованным ударам вместо защиты калитки.

— Зачем же его выпустили?

— Ну как же, дуралей ты этакий, он же превосходный уикит-кипер[85].

Стоявший подле лорда Энмеринга Джордж Чедисфорд, примерно шестнадцати лет, вернувшийся домой из Уинчестера[86] из-за кори, сохранял самообладание:

— Хотел бы я, чтобы мой frater[87]… хотел бы я, чтобы мой брат снова вышел на поле, сэр. У него бы все получилось.

— Наблюдай за мистером Эпплъярдом, он хорошо бьет.

К счастью, мяч, выбивший из игры Маргессона, был последним в серии, и поэтому отбивать нужно было Эпплъярду, а не Дилстеду. Подавать снова вышел Говард — отдохнувший Полифем[88]. Первый его мяч оказался йоркером, но Эпплъярд его заблокировал. На следующей подаче Эпплъярд, отбросив всю рассудительность, шагнул вперед, размахнулся и нанес могучий удар. Удар за линию: четыре очка. Раздались аплодисменты; детишки пастора и двое маленьких сыновей Растхэма подскакивали и толкались с ожесточенностью гвельфов и гибеллинов[89]. После следующей, очень мощной, подачи, мяч ударился о площадку и снова подпрыгнул на уровень головы бэтсмена. Эпплъярд приложился по нему хлестким ударом со всего маху: еще четыре. «Получилось!» «Победа!»

А на четвертой подаче Эпплъярд попытался сделать слог[90], мяч срезался и оказался в руках полевого игрока. И под радостные возгласы, шутки и взаимные поздравления игра окончилась.

— Пойдем в Прибежище, — предложил Джим Скарнсайд, догоняя Мэри по пути в свои комнаты, чтобы там переодеться перед ужином. — Всего на пару минут. Я оставил там свое скромное подношение, которое хочу тебе вручить.

85 Игрок подающей команды, стоящий непосредственно за калиткой; его задача — поймать мяч, отскочивший от биты и тем самым вывести из игры бэтсмена.

86 Уинчестерский колледж — одна из девяти старейших престижных мужских привилегированных средних школ в Англии.

87 Frater (лат.) — «брат».

88 Полифем — в др. греч. мифологии жестокий циклоп. В «Одиссее» Гомера Полифем берет в плен Одиссея и его спутников, запирает в пещере и пожирает их по одному на ужин. Одиссею и остальным пленникам удалось сбежать, выколов Полифему единственный глаз.

89 Гвельфы и гибеллины — враждовавшие между собой политические группировки в Италии XII—XIII вв.

90 В крикете — рискованный вид удара, при котором бэтсмен пытается отбить мяч как можно дальше, чтобы заработать четыре или шесть очков.

— О, — отозвалась она, оглянувшись, стоя одной ногой на пороге большого французского окна. — Но я думала, у нас уговор, что с подарками покончено. Я больше не могу позволить тебе потратить на меня ни пенни.

Правой рукой она дотронулась до свисавшего в дверном проеме побега глицинии, в левой она несла свою шляпу, которую сняла по дороге через сад. Косые лучи вечернего солнца пылали в ее великолепных волосах цвета киновари, и каждый гладкий локон, каждая прядь, каждый непокорный маленький завиток сверкали своим собственным цветом: цветом жаркого пламени, цветом каштана, цветом сияющего коричневато-красного циркона, полированной меди, реальгара, выбеленного солнцем золота; и цвета эти переливались и меняли оттенок с каждым движением ее головы или дуновением шевелившего ее волосы ветерка.

— Всего-то двадцать пенсов, — сказал Джим. — Это и нарушением уговора не назовешь. Пойдем. Пожалуйста.

— Ладно, — она улыбнулась и, сопровождаемая им, направилась через небольшую комнату для чаепитий с ее ароматами, через просторный зал с его портретами, доспехами и охотничьими трофеями, с обшивкой из древнего дуба и старой кожи, с персидскими коврами и огромным открытым очагом, в это время года полным роз и летней зелени, по длинному устланному мягким ковром коридору в комнату, которую они называли Прибежищем. Это была уютная солнечная комната, не принадлежавшая ни лично Мэри, ни лично ее отцу, но обоим; туда было разрешено заходить и всем собакам (по крайней мере, тем из них, кого впускали в дом), что жили в Бландз, а также всем близким друзьям и родственникам. На тех участках стен, что не были скрыты книжными шкафами или картинами, виднелись бледно-красные обои с моррисовским узором из ивовых ветвей[91]; на фризе темнели ночной синевой изображенные им фрукты, а под самым потолком комнату обегали оранжевые, лимонные и гранатовые украшения, перемежаемые малиновыми и бледно-розовыми цветами. Посреди комнаты размещался квадратный стол, застеленный темно-зеленой скатертью, а на нем — серебряная ваза с розами и письменные принадлежности. Вокруг стола выстроились стулья, а возле камина — большие и удобные кресла; за дверью прятался мешок с инструментами (пилами, молотками, отвертками, клещами и им подобными); в одном углу

91 Уильям Моррис (1834 —1896) — английский поэт и художник. «Ивовая ветвь» — созданный Моррисом узор для обоев, (ок. 1895).

стоял кожаный ружейный футляр и удочки, в другом — трости и охотничьи хлысты, на полке лежал бинокль и кое-какие собачьи лекарства, на камине — трубки и коробки с сигарами, а на комоде — большая музыкальная шкатулка из красного дерева; еще там были викторианский рабочий столик, заваленная газетами этажерка, висевшая над камином акварель Котмана[92], старинный окованный латунью сундук, укрытый восточным ковриком или шелковой попоной, швейцарские часы с кукушкой, целая полка путеводителей Бедекера[93] в красных переплетах, еще одна с желтыми; на столике лежал открытый «Грозовой перевал», на стуле — «Масса выдумок» Киплинга[94], а сверху — какой-то гомеровский текст; рядом с ними — коробка оловянных солдатиков и детская крикетная бита, а чуть поодаль — пара кукол и бумажный театр[95] с целым сонмом мохнатых обезьянок, многие из которых были облачены в латы из фольги и сжимали в лапках булавки, изображавшие мечи; на коврике у камина спал кокер-спаниель, а в кресле — маленькая лохматая темно-серая собачонка, похожая на скай-терьера, с огромными обвислыми ушами и милой мордочкой. Комнату эту наполнял аромат, неподвластный порывам свежего воздуха, врывавшегося из сада через распахнутые окна и дверь, удивительно сложный и удивительно приятный, аромат всех этих собранных в ней вещей. Это было самое что ни на есть Прибежище, и не просто потому, что его так назвали: прибежище, где можно было укрыться от порядка, от всех обычаев, традиций и предписаний этого мира; здесь приютилось маленькое Телемское аббатство этого обширного поместья, чей единственный закон гласил: «Fay ce que vouldras»[96].

Мэри присела за стол, в то время как Джим достал откуда-то небольшой сверток и вручил его ей вместе с ножницами с рабочего столика, чтобы разрезать веревочку.

— Как видишь, их двадцать, как раз для праздничного торта, — сказал он, когда она высыпала на зеленое сукно пригоршню крохотных разноцветных свечек.

92 Джон Селл Котман (1782 —1842) — английский художник.
93 Карл Бедекер (1801—1859) — немецкий издатель, основал издательство путеводителей по разным странам.
94 Джозеф Редьярд Киплинг (1865 — 1936) — английский писатель, поэт и новеллист. «Масса выдумок» — сборник рассказов (1893).
95 Бумажный театр — популярный в Европе в XVIII-XX вв. миниатюрный театр из картона с вырезанными из бумаги актерами и декорациями.
96 Телемское аббатство — описывается в первой книге романа Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» (1534); устав этой обители состоял только из одного правила: «Делай, что хочешь».

— Ты такой смешной.

— Ну, у нас ведь обязательно будет торт, — сказал он. — Хотя сейчас не до него. Смотри, тут куча самых разных оттенков. Знаешь, что они означают?

— Откуда мне знать?

— Я покажу тебе, — он принялся раскладывать их одну к другой. — Они чрезвычайно символичны. Девять белых. Это твои первые девять лет; для меня это как tabula rasa[97]. А вот, видишь, красная; это тот памятный день, когда ты впервые меня встретила.

— Мне тогда было десять? Я и забыла.

— La Belle Dame sans Merci[98], ты всегда забываешь. Теперь смотри: фиолетовая, синяя, зеленая, желтая, оранжевая, розовая.

— Радуга?

— Разве не здорово я придумал?

— А потом три золотистые. В них золотая пыль, — проговорила она, дотрагиваясь до них пальцем.

— Это дары, — сказал Джим. — Дары, которые я в эти последние три года хотел бы преподнести тебе, если бы был Мидасом или Джоном Д. Рокфеллером. А последняя, как видишь, черная. Это моя печаль, потому что ты собираешься выйти замуж.

— Мой дорогой Джим, какая ужасная чепуха! Кто тебе такое сказал?

— Еще не хватало. Разве это не так? — он отошел к камину и встал там, разглядывая ее.

Когда она посмотрела на нее, внезапный румянец залил ее щеки, сделав ее (если такое было возможно) еще прекраснее.

— Это неправда, — ответила она. — И никогда не было правдой. И Боже упаси, чтобы когда-нибудь ею стало.

— О, это опасное решение. Но на самом деле необычайно мило с твоей стороны так говорить, Мэри. Разумеется, сам я оставил надежду давным-давно; если ты заметила, я даже перестал просить твоей руки в эти последние… два года, да? Нет, с твоего прошлого дня рождения.

Мэри встрепенулась. Он подошел к окну и стал так, чтобы не смотреть на нее.

97 Tabula rasa (лат.) — «чистая доска», «нечто нетронутое».
98 La Belle Dame sans Merci (фр.) — досл., «прекрасная дама, не знающая милосердия»; тж. стихотворение Дж. Китса (1819).

— По сути именно тогда я и решил: лучше отступить. Но мое самолюбие тешил хотя бы тот факт, что на горизонте больше никого не было, — произнес он, столь же беззаботно, как и прежде, играясь с ножницами. — Можно мне передать остальным радостные новости?

— Конечно же, нет. С какой стати тебе вмешиваться в мои дела? По-моему, это весьма нахально.

— Ну, я думал, может, ты бы хотела, чтобы я сказал… тому же Глэнфорду; пускай бы бедняга узнал.

Повисла мертвая тишина. Он обернулся. Лица Мэри было не видно; казалось, она пересчитывает крохотные свечки, касаясь их пальцем. Внезапно она поднялась на ноги и подошла к камину.

— Шейла, негодница, — воскликнула она.

Свернувшаяся в кресле калачиком собачонка дернула кончиком пушистого хвоста и, с извиняющимся видом навострив и вновь опустив свои обвислые уши, бросила на Мэри самый трогательный из взглядов.

— Слопала утром в кладовой четверть фунта масла, а теперь смотрит как ни в чем ни бывало, будто это и не она была.

Она наклонилась и поцеловала крохотное создание между глаз, лишь коснувшись его губами, а затем, распрямившись, повернулась к Джиму.

— Это было дьявольски нагло с моей стороны, — сказал он. — Однако между старыми друзьями…

Мэри собрала свечи:

— Мне пора бежать переодеваться.

Затем, остановившись на мгновение в дверях и оглянувшись, высокая и стройная в своем белом платье, будто нимфа Артемиды, промолвила:

— Спасибо за достойные слова, mon ami[99].

99 Mon ami (фр.) — «мой друг».

IV. Леди Мэри Скарнсайд

То неуловимое создание, что, дремля или бодрствуя, обреталось в уголках губ Мэри, украдкой глянуло на себя в зеркало в недоступном ее пониманию тайном обмене знаниями со своим отражением. Она отвернулась от туалетного столика к окну. Море было спокойно, начинался прилив. Водная гладь в бухте сверкала в лучах солнца жидким золотом. Вдали неясно виднелся мыс с его домиком береговой охраны. Горизонт за горизонтом суша и море простирались туда, где сливались воедино земля и небо, и место это — возможно, из-за обилия ставших заметными тончайших оттенков небосвода — казалось куда более отдаленным теперь, с наступлением летнего вечера, нежели в разгаре дня. Мэри с минуту стояла, глядя в окно и вдыхая доносимые ветерком аромат жимолости, благоухание роз и острые запахи топей и моря.

Внезапно она повернулась обратно к зеркалу.

— «Итак, решено, сеньорита Мария. Сегодня вечером я вас увезу». Ничего себе, — произнесла она вслух, поглядывая на свое отражение тем язвительным и насмешливым взглядом искоса, что унаследовала от своего отца, — Ничего себе нахальство.

Раздался стук в дверь.

— Войдите. О, Энджи, я позвоню, когда буду готова, минут через десять.

— Да, госпожа. Я полагала, вашей милости будет угодно, чтобы я уложила вам на ночь волосы.

— Да, я позвоню, — сказала Мэри, улыбнувшись в зеркало своей служанке.

Та удалилась со словами:

— Уже почти полвосьмого, госпожа.

Полвосьмого. А это было в полвосьмого утра. Двенадцать часов назад. На ковре появилось радужное пятно света от солнечного луча, что отразился от ее кольца; ее белый котенок прыгнул, пытаясь схватить загадочное пляшущее нечто, которое то появлялось, то пропадало. И завтра будет полвосьмого. Похоже, все, все на свете находится в вечном движении. Ничего не остается. Она шевельнула пальцем, и переливчатый фантом вновь метнулся по ковру и по стене, где его не могли достать бархатные лапки охотника. И все же, в это

невозможно поверить. Вся суть моментов, подобных этому утру, заключается в том, что они остаются; где-то, да остаются. И более всего желанно — узнать, как вернуться к ним назад… или же вперед? Ведь это и движение вперед тоже. А может быть, «назад» и «вперед» вообще не имеют с этим ничего общего: они просто есть. Возможно, вообще нет никакого «назад» и «вперед». Возможно, возможно, возможно.

Вот так вот ее нагнать… а если бы кто-нибудь их увидел. «Непростительно», — произнесла Мэри, усаживаясь перед зеркалом и начиная распускать волосы. А Тесса — отличная кобылка, целую милю или около того показывала ему только пятки. Нечто в сумрачных глубинах зеркала удивительным образом приняло облик красивой морды породистой лошади и, к ее потрясению, сказало Мэри: «Разве я не умница? Все поняла и самую чуточку сбросила темп, как раз когда…»

Садившееся на северо-западе солнце нагрело комнату своими лучами. Чтобы сберечь прохладу на ночь, дверь в спальню была закрыта: в спальню, чью окна выходили на север и восток, навстречу утру. После купания она была в неком подобии кимоно из бледно-голубого шелка, и вот, из-за жары, усевшись расчесать свои волосы, она распустила поясок и, поведя плечами, позволила мягкому одеянию упасть, собравшись складками у бедер. «Сегодня вечером я вас увезу». Это и впрямь было уже чересчур. Как необычайно спокоен он был — и это после той ужасной сцены в конце апреля, когда он объявился за пять месяцев до срока, и она… что ж, казалось бы, она наговорила достаточно, чтобы для большинства мужчин все было кончено. Однако нынче утром, после шести недель послушного отсутствия и молчания… Она довольно часто охотилась с гончими, но самой быть загнанной, будто зайцу! Правда, она в некотором смысле сама все начала, поскакав в противоположном направлении, только его увидев. И все же. Ее грудь вздымалась и опадала при воспоминании об этом; всю необъятную вселенную вдруг будто охватил охотничий азарт, а добычей была она, она и бедная быстроногая малютка Тесса; возбуждение, подобное тьме, в которой словно рокотали отдаленные барабаны, и деревья, твердая почва, распускающиеся лютики и таволга с росою на лепестках, пеночка на колючем кусте, малинник у лесной опушки, невидимые жаворонки, выводящие свои трели в небесной синеве, сама горная свежесть летнего воздуха, в это утро дня рождения — все словно смешалось в этой неистовой гонке; все краски, звуки, ритмы множились и сливались с музыкой копыт лошади

Лессингема: то громкой, то едва слышимой, то становившейся громкой вновь. А потом это его спокойствие после бешеной скачки, поразительная уверенность, прозвучавшая в его предложении, высказанном ей с такой же легкостью, как будто бы это было проще всего на свете; и то, что у него есть авто, и их не должны поймать. И самое чудовищное из всего этого — насчет багажа: он приготовил багаж и для нее, все, что она только могла бы пожелать, любые наряды.

Как он узнал? Мэри отложила гребень, откинулась на спинку сиденья и некоторое время всматривалась в свои собственные глаза в зеркале. Потом, после минутной неподвижности, некая смешинка сверкнула в уголках ее глаз.

— Как он узнал? — спросила она, но не у своего отражения, а у видневшейся в зеркале за его спиной двери, как если бы кто-то вошел и остановился там, в дверном проеме. Затем, снова обратив глаза на себя, она вдруг добавила про себя: «Вот как мне надо было… Если мы… Если мы когда-нибудь… Но нет, друг мой. Меня не унесешь с собой как… как пригоршню свечек».

Они с ее зеркальным отражением изучали друг друга некоторое время: спокойно, внимательно, не глядя более ни друг другу в глаза, ни на дверь за спиной. Наконец, отражение в зеркале сказало, беззвучно, только для ушей Мэри: наверное, мужчине это видится иначе. Думаю, я отчасти понимаю, как он это видит: как нечто весьма хрупкое, легко ранимое, легко уязвимое, но столь невыносимо нежное. Словно мышь-полевка, или подобное ей создание, или ребенок. Но нет, ведь важнее всего в ребенке — то, кем он станет, а здесь… здесь это и есть одновременно то, что есть, и то, чем должно стать, оно желает не меняться, но просто быть. И этого всякому будет довольно. И сила этого такова, какой и надлежит быть всякой силе: она служит, чтобы подчинять себе не слабых, но сильных. На самом деле у этой сущности нет никакой силы; однако достаточно ей лишь шевельнуть пальцем, и вся сила, что есть или только может быть на свете, поднимется на ее защиту.

Но это не так (сказало зеркальное отражение, рассматривая задумчивым и безмятежным взглядом ту, что сидела перед ним: подбородок, шею, кусочек плеча меж прядей распущенных волос цвета пламени, руки, чьи очертания таили в себе лебединую грацию и лебединую белизну, крепкие и налитые, словно у греческой статуи, груди с их нежной и безупречной кожей и венчавшими их прекрасными розовыми цветками, и непокорные крохотные волоски того же огненного оттенка в ложбинках подмышек, что дополняли ее

совершенный облик), это не так. И при этих словах (может, на каких-нибудь пару секунд) в зеркале что-то произошло: будто нечто угрожающее взметнулось там на мгновение подобно дыму от взрыва, обнажив за собой зияющие бездны, безрадостные и бессмысленные, которым нет дела до червя, каким является человек; и пустота эта в тот миг, казалось, засосала в себя все тепло уютной комнаты, дом, близких, веселье молодости, сладкую ностальгию по детству, что рождается в покое июньского вечера, его ароматы, его спокойствие и нашептываемые им обещания, знакомые окрестности, служившие фоном всему этому: море и опоясывавшие Англию острова, ее плодородную землю, основу и исток всей ее истории, — засосала, поглотила, обратила в ничто. И, нагая перед этим бесприютным вселенским Ничто, предстала она — неизмеримо одинокое живое существо, крошечная женщина, смертная, но прекрасная.

Но прошло всего две секунды, и кровь застучала снова. Мэри вскочила на ноги, накинула халат и позвонила в колокольчик.

Она была почти готова, когда прозвучал стук в дверь ее отца и раздался его голос:

— Можно мне войти?

— Входи, папа, — она проплыла к нему, словно герцогиня Дюморье[100], и с деланной манерностью обменялась с ним рукопожатием. — Так очаровательно, что вы зашли, лорд Энмеринг. Так очаровательно с вашей стороны уделить нам время в эту пору года, когда охота не прекращается, а лисицы объедают весь цвет с грушевых деревьев.

Он ответил на рукопожатие с той же церемонностью, а затем отступил назад, чтобы полюбоваться ею, ее театральной позой, шлейфом ее платья и кружевным веером. Ее взгляд скрестился с его.

— Выглядишь весьма мило, — сказал он, целуя ее в лоб. — Со столом определилась? Полагаю, ты подсунула мне леди Саутмир? А справа от себя усадила Хью?

— О да. Это званый ужин: сперва долг, развлечения потом.

100 Джордж Луи Палмелла Бюссон Дюморье (1834—1896) — английский график, карикатурист и писатель. Герцогиня (Тауэрская) — персонаж его романа «Питер Иббетсон» (1891).

Он заметил выражение ее лица, когда она повернулась к туалетному столику за перчатками; это, а также напряженную нотку в ее голосе.

— Не слишком-то любезно так говорить о наших друзьях, — промолвил он.

Стоя перед зеркалом, Мэри ничего не ответила.

Лорд Энмеринг встал у окна, подравнивая свои ногти и повернувшись к ней спиной. Вдруг он тихо проговорил:

— Меня начинает утомлять это отношение к Глэнфорду.

Мэри расстегивала свое жемчужное ожерелье, чтобы заменить его на сапфировый кулон; ожерелье выскользнуло из ее рук и упало на столик.

— Черт! — воскликнула она и замолкла.

— Ты понимаешь, о чем я говорю?

— Отношение? Нет у меня никакого отношения. К нему так уж точно, — она защелкнула застежку у себя на шее, повернулась и подошла к нему, по-прежнему стоявшему спиной к ней у окна; ее рука скользнула в его руку. — И нечего угрожать мне в мой день рождения.

Его рука крепко сжалась, он будто успокаивал ее: конечно же, не буду.

Он взглянул на часы:

— Пять минут девятого. Пора нам спускаться.

— О, и еще, папа, — сказала она, снова поворачиваясь к нему, уже находившемуся на полпути к двери. — Наверное, я не сказала тебе (такая суматоха весь день): кого бы ты думал я встретила нынче утром на прогулке и пригласила сегодня на ужин? Эдварда Лессингема. Он только что из Италии и не знаю уж откуда еще, приехал в прошлом месяце.

Лорд Энмеринг застыл на месте:

— Ты пригласила его на ужин?

— Да.

— И зачем ты это сделала?

— Обыкновенная вежливость. И, к тому же, это весьма удачно: иначе нас было бы трижды по тринадцать, так как придет леди Дилстед.

— Пф! Нас было бы трижды по тринадцать вместе с ним, когда ты его приглашала. А так нас было тридцать восемь.

— Тридцать девять вместе с мадам де Росас.

— Дорогая моя девочка, нельзя позволять этой танцовщице сидеть вместе с нами.

— Почему же нет? Она очень милая. Абсолютно респектабельная. Думаю, было бы некрасиво не пригласить ее. Все остальные пригласили бы.

— Это безобразие, а ты уже достаточно взрослая, чтобы быть более рассудительной.

— Ну что ж, я ее пригласила, как пригласила и его. Если хочешь устроить сцену, можешь выпроводить их обоих.

— Не говори так со мной, — произнес ее отец.

Она пожала плечами и отвернулась, упрямая и сердитая.

— И я думал, тебе отлично известно, — сказал он, — что я не желаю, чтобы этот юный Лессингем ошивался здесь.

— Не понимаю, что ты имеешь в виду под «ошивался».

— Мне он не по душе.

— Не пойму, с чего бы это. Тебе всегда нравилась Анна Бреммердейл. Что, его семья недостаточно хороша для тебя? Она столь же древняя, как и наша. Даже, наверное, подревнее. Да ты его почти и не видел.

— Я не собираюсь обсуждать его, — произнес лорд Энмеринг, пристально глядя на нее сквозь монокль, а потом замолк, будто размышляя, стоит или нет высказывать все, что было у него на уме. — Послушай меня, дочка, — заговорил он наконец, подняв бровь и позволив моноклю выпасть. — Настало время выложить карты на стол. Я всерьез рассчитывал, что в один прекрасный день ты выйдешь за Хью Глэнфорда. Я не намерен заставлять тебя или далее об этом распространяться. Но с учетом положения вещей ясность внести не помешает.

— Мне казалось, все было достаточно ясно уже давно. Крутится вокруг все лето, да и всю зиму тоже. Люди уже, наверное, начинают поговаривать.

— Какая чепуха.

— Неважно. Весьма мило, что ты все мне рассказал, отец. Ты и с ним внес ясность?

— Он заводил со мной разговор некоторое время назад.

— И ты дал ему свое..?

— Я пожелал ему удачи. Но он, естественно, осознает, что в подобных вопросах моя девочка должна решать за себя сама.

— Как это любезно с его стороны, — Мэри рассмеялась. — Очаровательно, совсем как в балладе:

Отцу и матери он рассказал,
Все уверяют меня.
А ей ничего говорить не стал
До самого свадьбы дня[101].

Ее голос стал ледяным:

— Вот бы мне было двадцать один. Поступала бы, как захочу. Вышла бы за первого же встречного…

— Мэри, Мэри…

—…при условии, что это был бы не Хью.

Мэри задохнулась и скрылась в своей спальне, захлопнув за собой дверь. Ее отец стоял, широко расставив ноги, посреди туалетной комнаты, ожидая и задумчиво протирая свой монокль белым шелковым платком, надушенным одеколоном. Через три минуты она вернулась, лучезарная, вновь взяв себя в руки, но когда она ступала ему навстречу, в уголках ее рта и глаз таилось озорство, и проще было бы отличить черноту от зелени на сверкающей шейке райской птицы, нежели определить, даровала ли она грациозно прощение в этом примирительном жесте или столь же грациозно о нем просила.

— С днем рождения? — промолвила она, кротко подставляя ему свой лоб для поцелуя. — Пора спускаться, скоро соберутся гости.

Среди собравшихся в гостиной появление Лессингема имело тот же неуловимый, но очевидный эффект, как когда на солнце набегает легкое облачко, или когда это облачко уплывает и солнце вновь начинает сиять в полную силу. При обмене рукопожатиями Мэри сказала:

— Ты знаком с мистером Лессингемом, папа? Помнишь, они с Джимом вместе учились в Итоне.

От приветствия лорда Энмеринга веяло морозом.

— Об этом я забыл, — проговорил он. — Когда мы с вами в последний раз встречались?

— Около года назад, сэр, — сказал Лессингем. — Я уезжал из Англии.

— Кажется, припоминаю. Вы долгое время жили за границей?

— Да, сэр. То там, то здесь, вот уже семь лет.

— И зачем же вы вернулись домой?

101 «Кэтрин Джаффри», старинная шотландская баллада (пер. А. Вироховского).

Глаза у Лессингема были серы, а взгляд их прям, но прочесть их выражение было непросто, а в их глубине словно тлел некий огонь. Он отвечал:

— Чтобы уладить кое-какие дела.

— А потом опять за границу?

— Я пока не решил.

— На месте не сидится?

Лессингем улыбнулся:

— Боюсь, так и есть, сэр.

К ним присоединился Джим:

— Я рассказывал вам, дядя, как Лессингем столкнулся кое-с кем из ваших гуркских[102] носильщиков, когда был в Индии два или три года назад? С теми, что совершали восхождения вместе с вами и мистером Фрешфилдом в Сиккиме?

— Так вы, стало быть, альпинист? — спросил лорд Энмеринг у Лессингема, смерив того взглядом с ног до головы; тот был весьма высок, около шести футов и трех дюймов ростом, черноволос, загорел, хотя, как явствовало из цвета его лба, от природы обладал гладкой белой кожей; у него был вид человека, способного управлять как собой, так и другими — качество, нечасто встречающееся у людей двадцати пяти лет от роду.

— Лазал немного.

— Предостаточно, — поправил его Джим. Лессингем покачал головой.

— И в Гималаях? — спросил лорд Энмеринг.

— Немного, сэр.

— Немного! — воскликнул Джим. — Только послушать, как эти два скалолаза разговаривают друг с другом! Однажды он взошел на двадцать две тысячи футов на… как бишь его?.. на один из спутников Нангапарбата[103]. Страшное дело, об этом еще писали в «Альпийском журнале». Пойдем, — сказал он, беря Лессингема за руку. — Я хочу представить тебя своей сестре. Она вышла замуж за русского; никто из нас не в состоянии выговорить его имя, так что, пожалуйста, не удивляйся и не пробуй. За ужином ты будешь сидеть рядом с ней… правильно, Мэри?

Мэри улыбнулась в знак согласия. На миг, когда она оборачивалась, чтобы поприветствовать только что пришедших Денмор-Бентамов, их с Лес-

102 Гурки — народность, живущая в Непале.
103 Нангапарбат — высочайшая гора в Кашмирских Гималаях (8126 м).

сингемом взгляды встретились. И, видимое лишь им, но неподвластное всякому прочему глазу, нечто (в тот краткий миг) сверкнуло в воздухе между ними: «Но после ужина…»

Ужин проходил в картинной галерее (где впоследствии им также предстояло танцевать) — единственном помещении, достаточно большом, чтобы с удобством вместить сорок человек за одним столом. Это была изысканная комната футов, пожалуй, восьмидесяти на двадцать пять, с рядом высоких окон с низкими подоконниками, что тянулся вдоль всей западной стены. Занавески на этих залитых закатными лучами окнах во время начала ужина оставались незадернутыми, а нижние их створки были распахнуты, чтобы впустить немного вечернего воздуха. Десятки свечей, каждая из которых была увенчана аккуратным маленьким розовым колпачком из гофрированного шелка, освещали белизну скатерти, стекло, серебро, фарфор и отобранные Мэри цветы и изящные зеленые веточки, озаряя своим мягким, теплым и рассеянным светом вечерние платья, украшения, черно-белые мужские костюмы, лица хозяев и гостей: лица, которым, будь они молоды, стары или неопределенного возраста, это сияние свечей придавало некое сходство между собой, собирая их все воедино в общей картине, и подкреплялось это сходство неким более воздушным, но и более глубинным, качеством, что таится в чистой английской крови: спокойствием, легкостью, беспечностью и беззаботностью. И (словно в доказательство того, что Англия изменила бы своей натуре, не сумей она вобрать в себя экзотику) даже испанка, сидевшая посередине, между Джимом Скарнсайдом и Эспером Дагвортом, словно растворилась среди них, как чистейший «адский огонь»[104], что подчиняет и поглощает все самые неподатливые элементы, включая само золото.

Беседа, танцевавшая подобно крохотным зверькам (которые были гостями на обеде королевы Алисы в Зазеркалье, когда началось что-то несусветное), подпрыгивала, замирала, чинно выступала, выписывала пируэты, уносилась прочь и возвращалась к лицам, бокалам, платьям и яркому свету. Во главе стола она поначалу кружилась в фигурах более классического танца, ведомая лордом Энмерингом, мистером Роумером, генералом Макнотеном и мистером Эверардом Скарнсайдом. Леди Розамунда Кирстед, сидевшая

104 «Адский огонь» — в алхимии универсальный растворитель, растворяющий любую субстанцию.

неподалеку от этого Парнаса, спиной к окнам, разбавляла разговор образами февральских горнолыжных склонов близ Вилляра[105] (это был ее любимый зимний вид спорта) и, в конце концов, ей удалось отвлечь Анну, Маргессона и мистера Скарнсайда от интеллектуальных бесед (в которых Анна преуспела, но которые Розамунда считала скучными) на более приятные общие темы: прошедшие и будущие соревнования в Эскоте[106], Хенли[107] и на «Лордз», Франко-Британскую Выставку[108], что надевать, а что нет, предстоящие август и сентябрь и куропаточьи пустоши и охотничьи тропки Инвернессшира и Сазерленда.

Лессингем, сидевший чуть дальше с той же стороны стола, поддерживал трехстороннюю беседу с Амабель Мицмезжинской справа от себя и Фанни слева; здесь разговор приплясывал под более веселые и чудные мотивы, наряжаясь то в одни одеяния, то в другие, как будто бы гардеробом ему служили все пять континентов и все прошлое с настоящим. В этот водоворот оказались вовлечены и Том Чедисфорд с миссис Бентам по другую сторону стола, а Джек Бейли остался в одиночестве, ибо миссис Бентам, его законная партнерша, доселе весьма любезно выказывавшая интерес к понятным ему вещам, начала бессовестно игнорировать его в пользу кватроченто[109], а Люси Дилстед по другую сторону от него предавалась едва слышным шушуканьям со своим женихом, и оставленный наедине с собой Джек, заслышав, наконец, знакомое название («Примавера» Боттичелли), улучил момент, когда все замолкли, чтобы с подлинно мещанской убежденностью выдать «До чего гнусная картина». Джим с Эспером Дагвортом по очереди ставили эксперименты при участии мадам де Росас: Эспер — над своим испанским, Джим — над ее английским, тем самым отвлекшись от более серьезных дискуссий между Бреммердейлом, полковником Плейтером и Джимом на тему скачек с препятствиями. Эпплъярд со своими прибаутками то и дело вызывал взрывы хохота у дочерей Плейтера, так что те, в конце концов, принялись бомбардировать его шариками из хлебного мякиша, каковое мероприятие закончилось столь же внезапно, как и началось, после шокированного замечания жены пастора, а также куда более действенного отцовского взгляда.

105 Вилляр — горный курорт в Швейцарии.
106 Эскот — ипподром близ города Виндзор, где в июне проходят ежегодные четырёхдневные скачки.
107 Хенли — город на р. Темзе, где проводятся ежегодные соревнования по гребле.
108 Франко-Британская Выставка — большая ярмарка, проходившая в Лондоне в 1908 г.
109 Кватроченто — эпоха Раннего Возрождения в Италии (XV в).

У противоположного конца стола у Мэри, хозяйки пира, как казалось поначалу, не было и минуты передышки: справа от нее с довольно угрюмым видом восседал Хью, почуявший (вероятно), что обстановка для запланированного им предложения неблагоприятна, и чем дальше, тем все сильнее нервничавший; слева же самым вопиющим образом оживленно флиртовал с миссис Дагворт адмирал, хоть та и казалась несколько рассеянной и не спускала глаз с Эспера и госпожи де Росас. Однако остроумие и само присутствие Мэри были подобны теплой весенней погоде, что наполняет все живое на свете соками и гармонией.

Оторвавшись в танце от остальных, Лессингем с Мэри быстро выскользнули за дверь и, миновав чайную комнату, оказались вдали от музыки, шума и огней, на террасе. Они постояли там минуту, вдыхая свежий воздух, все еще держась за руки и всматриваясь в бездны окутывавшего все вокруг мрака и звездного света. Благоуханная ночь была полна жизни, но безмолвна.

Мэри высвободила свою руку.

Лессингем сказал:

— Ты собираешься взять вот это за привычку? И поступать так и впредь?

— Что именно?

— То, как ты вела себя со мною нынче вечером.

— Не знаю. Наверное.

— Хорошо.

Мэри махнула веером. Он взял веер из ее рук и стал опахивать ее. Из картинной галереи доносилась музыка, ритмичная и благозвучная.

— Было весьма мило с твоей стороны сказать «хорошо», — промолвила она.

— Чрезвычайно мило — если бы я был свободен. Но, как ты могла заметить, это не так.

— Ты думаешь, я свободна? — откликнулась Мэри.

— Совершенно, сказал бы я. Совершенно свободна и удивительно неуловима.

— Неуловима? Иногда в словах человека больше истины, чем ему кажется.

— Ты довольно успешно ускользала от меня весь вечер, — произнес Лессингем, когда она забрала веер обратно.

Музыка затихла. Мэри сказала:

— Пора возвращаться.

— Зачем? Ты не замерзла?

— Я так хочу, — она повернулась, чтобы идти.

— Ну пожалуйста, — взмолился он из-за ее спины. — Что я такого сделал? Мы станцевали всего один танец, а вечер уже почти закончился…

— Я чувствую себя… мерзко.

Лессингем ничего больше не сказал, но последовал за нею к дому мимо изгородей, увитых спящими цветами. В дверях им среди прочих встретился выходивший на улицу Глэнфорд. Он покраснел и, судя по виду, не знал, куда деваться. Мэри также покраснела, но прошла мимо, равнодушная и невозмутимая. Они с Лессингемом проследовали через чайную комнату и просторный коридор в гостиную, в дальнем конце которой с самого начала ужина был устроен своего рода помост или сцена; вдоль переднего края этой сцены размещались огни рампы, а вся остальная часть комнаты была занята стульями и диванами, будто расставленными для представления. Стоявшие на стойках и на столах вдоль стен и по углам комнаты лампы с абажурами светили спокойным колеблющимся золотистым светом.

— Думаю, тебе доводилось слышать кастаньеты? — спросила Мэри.

— Да. Но по-настоящему только раз, в Бургосе[110].

— Надо полагать, кастаньеты и кафедральные соборы хорошо сочетаются друг с другом.

— Да, — промолвил он. — Я об этом никогда прежде не думал, но так оно и есть. Удивительное смешение противоположностей: чувство беспрестанно убегающего прочь Времени, и в то же время… так, будто остается и нечто неизменное.

— Как горы, — сказала Мэри, — и забавное журчание ручейков, что день за днем, месяц за месяцем сбегают с их склонов.

Лессингем прошептал:

— А иногда и лавины.

Они стояли перед камином, полным цветков белой лилии. Над каминной полкой, освещенная сверху скрытой от глаз электрической лампой, висела

110 Бургос – город в Испании.

написанная маслом картина, портрет леди с гладкими черными волосами и очень бледной кожей лица, изображенной почти точно в анфас, в воздушном платье, с покатыми плечами и изящной тонкой шеей (απαλή δειρή, как сказал Гомер в своем гимне). Ее лоб был высок, лицо продолговато и овально, брови изогнуты и тонки, нос довольно длинен и очень прям, а кончик его едва заметно вздернут, что придавало лицу выражение несколько высокомерной, но не злобной, презрительности. У нее были большие широко расставленные глаза, велико было и расстояние меж веком и бровью. Каждое веко, чуть выгибаясь от внутреннего уголка, оканчивалось еще одним неожиданным восходящим изгибом: это было слегка восточное лицо с примесью, возможно, чего-то японского и необузданно-татарского.

— Рейнольдс[111], — произнес Лессингем после минутного молчаливого изучения портрета.

— Да.

— Кто-то из предков?

— Нет. Никакого родства. Взгляни на имя.

Он наклонился поближе, чтобы прочесть в углу холста: «Анна Хортон 1766»[112].

— Написан, когда ей было около девятнадцати, — сказала Мэри.

Она смотрела на портрет, и во всей ее манере поведения что-то неуловимо изменилось, как бывает, когда подруга смотрит с симпатией и теплотой на подругу.

— Ну как?

С лицом Лессингема, все еще вглядывавшегося в картину, произошла подобная же метаморфоза.

— Мне нравится.

— Потом с ней приключилась жировая дистрофия, и она стала герцогиней Камберленд. Позже ее несколько раз рисовал в этом качестве Гейнсборо[113].

— Я не верю, — проговорил Лессингем. Он обернулся и посмотрел на Мэри: — Ни в ожирение, ни в дистрофию. Кажется, я видел эти более поздние картины, и теперь я им не доверяю.

— В них нет ничего интересного, — произнесла Мэри. — Но на этой

111 Джошуа Рейнольдс (1723—1792) —английский исторический и портретный живописец.
112 Анна Хортон (1742 — 1808) — жена принца Генри, герцога Камберленда и Стратерна.
113 Томас Гейнсборо (1727—1788) — английский живописец, график, портретист и пейзажист.

она определенно не выглядит принадлежащей к восемнадцатому столетию. Удивительно, но здесь она, можно сказать, не принадлежит ни одной эпохе.

— Или принадлежит всем сразу.

— Да, или всем эпохам сразу.

Лессингем снова взглянул на миссис Анну Хортон — на чуть раскосые глаза, на абсолютно безмятежное, абсолютно осмысленное, непроницаемое, взвешивающее выражение лица, на губы, будто только что сомкнувшиеся, как в Вероне, после того сказанного самой себе «ça m'amuse». Он быстро перевел взгляд на Мэри. И четко увидел, как то, что жило в уголках губ Мэри словно пробудилось ото сна, обнаружив в портрете подобие себя самого.

Обнаружилась также (как можно предположить) и причина для «ça m'amuse». Возможно, леди на картине уловила досаду Мэри от неуместно настойчивых предложений Глэнфорда, от собственного довольно немногословного отказа и от поведения Лессингема, с которым, как бы нелепо это ни выглядело, они из-за этого словно оказались одним миром мазаны (да и отца ее это миро также коснулось); уловила также в мыслях Мэри и раздражение от того, что она всецело принадлежит Лессингему, что ее вынуждают сделать выбор, который она делать не хочет, и что Лессингем самым непростительным образом (хотя в этом едва ли было что-то странное, ибо в эти секреты он посвящен не был) не понимает ситуации.

Мэри рассмеялась. Казалось, сам лик ночи вновь прояснился от ее смеха.

Комната начала заполняться людьми. Мадам де Росас в шали и черной мантилье заняла место на помосте, а внизу и справа от нее музыканты начали настраивать свои инструменты. Лессингем с Мэри устроились в мягких креслах в заднем ряду, у самой двери. Потушили все лампы, кроме тех, что освещали картины, зажглись огни рампы.

— А моя картина с Кипра тоже тут? — шепнул Лессингем на ухо Мэри. — Знаешь, почему я послал ее тебе?

Мэри покачала головой.

— Знаешь, что на ней?

— Да, ты рассказал в своем письме. Восход над Олимпом. Это изумительная картина. Ощущение высоты. Ветреные небеса. Поднимающееся из-за спины солнце. Холодные тени на склонах гор и золотое сияние на их вершинах. Серебристые лучи зари. И эта отбрасываемая самим Олимпом испо-

линская тень, а по краю ее — словно каемка алого огня. Я видела такое в Альпах.

— А знаешь, что это вон там, где виднеется крошечный клочок моря, слева, далеко за горной грядой?

— Что?

— Пафос[114]. Там якобы восстала из моря Афродита. Я пару недель жил там, на Троодосе[115]; каждый раз поднимался около четырех часов утра и забирался туда, чтобы застать восход и нарисовать его. Вот, что я тебе скажу, — он говорил очень тихо. — По сути, я почти поверил во всю эту историю, в Гомеров гимн, в картину Боттичелли в Уффици[116], во все это. Почти поверил, как это ни странно, когда на рассвете озирал оттуда все вокруг. Но…

Скрипки заиграли ритм старинной андалузской сегидильи[117]; испанка вышла в центр сцены, запахнув шаль на плечах, и замерла там, неподвижная, подобно статуе, в сверкании огней. Мгновение Лессингем смотрел на нее, затем вновь повернулся к Мэри. Глаза Мэри обратились от картины к сцене, но его глаза были устремлены в полумраке на одну только Мэри, на профиль ее лица, на мерцание сапфирового кулона, что, безмятежный в сладком волнении, словно дышал вместе с ее дыханием.

— Но, — закончил он, — это была ты.

Тусклый сапфир на миг замер, затем продолжил вздыматься и опадать, будто корабль на морских волнах.

— Это оказалось бы всего лишь глупым мифом, если бы это был кто-либо, кроме тебя, — прошептал он.

И едва слышно, одним намеком на звук, затрепетав, вступили кастаньеты.

Андалузский танец, исполненный наемной танцовщицей для увеселения гостей в английской усадьбе в год от Рождества Господа Нашего 1908. Но музыка словно слилась с пейзажем и портретом под дыханием стучавших в крови давних воспоминаний, плывших на этом согретом их теплом сапфировом корабле по этому сладостному морю, и в ритмах танца, казалось, зазвучали слова:

Αἰδοίην χρυσοστέφανον καλήν Ἀφροδίτην…

114 Пафос — город на о. Кипр, посвященный Афродите.
115 Троодос — горная система на о. Кипр, высшей точкой которой является гора Олимп (1952 м).
116 Уффици — музей живописи, скульптуры и графики во Флоренции.
117 Сегидилья — испанский народный танец.

Песня моя — к Афродите прекрасной и златовенчанной…

И окончание:

Славься, с ресницами гнутыми, нежная! Даруй победу
Мне в состязании этом, явись мне помощницей в песне!
Ныне ж, тебя помянув, я к песне другой приступаю[118].

Кастаньеты, чей протяжный звук напоминал стрекотание кузнечиков летом на жарком склоне холма, затрепетали и затихли. Затем был взрыв аплодисментов, улыбки и благодарные реверансы с помоста, а разговор загудел и зажурчал снова, прорезаемый звуками подтягиваемых струн. И в этом шуме Мэри тихо произнесла, не сводя глаз с кипрской картины:

— Ты ведь по правде в это не поверил?

— Нет. Разумеется, я не поверил.

— Или, может, на какой-то миг, — промолвила она, — когда вот так пылала эта кромка тени? Всего на миг, торопясь нарисовать все это?

Казалось, Лессингем отвечал не ей, но той загадке, что взирала на него из полумрака с ее обращенного к нему лица. На полуслове, то ли от ее сладкого аромата, то ли от ее близости, у него перехватило дыхание и слова прозвучали сбивчиво.

— Наверное, какая-то часть человека, — сказал он, — способна поверить в самые невероятные вещи, когда он рисует или пишет.

— Только часть? А потом уже он в это не верит?

В тумане перед его глазами сапфир пробудился и уснул снова, когда при легкой перемене ею позы эта молочно-белая долина мускусных роз углубилась и сузилась.

Очень тихо она произнесла:

— Так вот как это бывает? И так со всем на свете?

— Не знаю. Хотел бы я знать.

118 Гомер, гимн «К Афродите» (пер. В. Вересаева).

V. Дама Червей и Дама Пик

В полумиле к северо-востоку от летнего дворца в Мемизоне на гребне холма располагается ровная площадка размером с теннисный корт, подобно гнезду пустельги нависающая над утесами, что в этом месте отвесно обрываются к устью реки Зешмарра, к ее заливным лугам и изобилующим птицами заболоченным низинам. Здесь годы назад, закончив работы по возведению на месте небольшого мемизонского форта просторного замка с множеством залов и палат и помещениями для сорока десятков солдат и всякого прочего люда, какому надлежит обитать при государевом дворе, а также достроив роскошный приземистый летний дворец, окруженный рощами и аллеями, висячими, травяными и водными садами и колоннадами, так что не было такой поры года или такой ненастной погоды, чтобы в любое время дня не нашлось в этих пышных садах подходящего уголка или укромного местечка, и подарив все это с герцогским титулом в придачу Амалии, своей возлюбленной, король Мезенций, использовав для этой цели бивший там ключ чистой воды, устроил для нее на этой травянистой полянке купель как у божественной Охотницы, в тени деревьев. Край скалы, заросший ладанником и ползучим можжевельником, загораживал ее от замка и садов; к ней вели вырубленные в скале ворота и лестница. С другой стороны вдоль парапета стеной тянулись дубы, ореховые деревья, мимоза и раскидистые вечнозеленые магнолии, между которыми открывался вид на озеро Рейсма и простиравшуюся слева долину с ее квадратами полей, живыми изгородями и округлыми купами деревьев, здесь и там собиравшимися в колышущиеся массы рощиц и лесов. Кое-где виднелись хутора с поднимавшимися ввысь дымками; вся долина была застлана синевой летних сумерек; солнце уже отошло ко сну, и горы на востоке и северо-востоке синели на фоне безмятежного неба. Ветры улеглись, однако духоты не было, ибо, как не найдется в мягком климате мезрийских нагорий такого зимнего дня, что не таил бы в себе привкуса июня, так не бывает и летом дня, до такой степени опаленного солнцем, чтобы не осталось в нем острого аромата зимы, принесенного с гор или с моря. Не шевелился ни один листок. Лишь на краю пруда расходились по поверхности круги от поднимавшихся из источника пузырьков; движение это было едва заметным, и его можно было различить только по тому, как колебались в воде отражения

неподвижных роз и царственных ирисов темных и роскошных пурпурных и ржаво-золотых тонов. В этот волшебный час тени покинули землю и небеса, оставив лишь форму и цвет; однако формы определялись лишь сменою цветов, а не линиями или гранями (которые исчезли вместе с тенями); цвет же — густой, самодостаточный, не тронутый примесями — отличался от цвета не оттенком, но самой своей сущностью: оливковые тона каменного дуба, темная зелень сосновых зарослей, прохладная белизна ониксовой скамьи у воды, нежная голубизна кружевной купальной накидки герцогини, бледно-розовые изгибы обнаженных или чуть прикрытых одеждою безупречных рук, плеч, бедер, ее распущенные волосы цвета красно-золотого букового леса на весеннем солнце и ее (едва различимое в этом неверном сумеречном сиянии) лицо. Ее пожилая няня, седовласая, со сморщенными как пепин щеками и глазами, в которых словно искорками сверкала красота ее повелительницы, обтирала полотенцем ноги герцогини, в то время как та, положив щеку на правую руку и опершись локтем на подушки серовато-сизого бархата, взирала через пруд на юг, на поблескивавшее вдали за парапетом озеро, на леса и холмы, через которые пролегает дорога на юг, на Зайану.

— Солнце зашло. Вашей милости не холодно?

— Холодно? Сегодня?! — воскликнула герцогиня, и тень веселья пробежала по ее лицу, словно пара желтых трясогузок, чьи крохотные пернатые фигурки, трепеща крылышками и развернув хвостики веерами, зависли над прудом. — Подожди до завтра, тогда, глядишь, и похолодает.

— Его высочество, конечно, вернется, как и всегда.

— Вернется? Так и лето возвращается. Но, старея, мы приучаемся сожалеть о каждом уходящем лете, как если бы на этом все заканчивалось, и не было бы уж больше лета.

— Через двадцать лет я, может, и позволю вашей сиятельнейшей милости заводить подобные речи, но не сейчас; я, что качала вас, завернутую в пеленки, в колыбели, и не было нам дела ни до королей, ни до герцогов.

— Через двадцать лет? — повторила герцогиня. — Да моему сыну уже двадцать два.

— Приедет ли сегодня его светлость, герцог Зайанский? — спросила Мирра, сидевшая в траве у ног герцогини рядом с Виолантой; обе они были фрейлинами.

— Кто может загадывать, куда двинется блуждающий огонек?

— Если кто и может, так это ваша милость, — произнесла старуха. — Ведь он во всем подобен вашей милости, точь-в-точь как вы.

— От отца в нем тоже немало, — промолвила герцогиня. — По крайней мере, упрямство, гордость, уверенность и высокомерие; к тому же, он никогда не сидит на месте, ни ночью, ни днем. Вам же, пташки мои, нечего вмешиваться в это. Я-то знаю, какие сумасбродные делишки творятся в последнее время в Зайане. Помните, спаниель вспугивает не одну утку. Расчеши мне волосы, — сказала она няне. — Вот так. Это не мы стареем, няня. Мы просто сидим и наблюдаем. И рождение, юность, расцвет сил, увядание, угасание — словно картины, что проносят мимо, дабы развлечь или раздразнить нас, или словно поры года по отношению к природе. Природа не меняется, не меняемся и мы. И смерть — лишь преддверие нового лета.

— Грустны эти мысли для столь приятного вечера, — сказала няня, расчесывая ее волосы.

— Почему же? Ведь именно летом и жаждут тени, хотя (и, боюсь, так оно и есть) в моей жизни уже настала пора листьям опадать. Нет, я, конечно же, молода, раз грустные мысли забавляют меня. Но все же есть и налет надежды, что смягчает для меня горечь сей чаши; не могу я более наслаждаться ею одной, как свойственно молодости. Стареть хуже, нежели быть старой, — добавила она после паузы. — Взросление болезненно.

— Мне нравятся ваши волосы летом, — сказала няня, приподнимая блестящие массы волос как нечто слишком прекрасное и изысканное, чтобы его касалась рука обыкновенного человека. — Солнце высвечивает в них все золото, тогда как зимою остаются одни жгуче-красные огненные цвета.

— Золото хорошо, — произнесла герцогиня. — Хорош и огонь. А вот серебро выдергивай.

— Я покуда его не нашла, — ответила та. — Так, стало быть, леди Фьоринда займет место графини среди фрейлин? Мне казалось, ваша милость ее не выносит.

Герцогиня улыбнулась, потянувшись за своим ручным зеркальцем из золота и изумрудов:

— Сегодня, как раз когда накрывали к завтраку, я приняла решение выбирать своих служанок так же, как я выбираю платья. А черный мне весьма идет. Мирра, что за духи ты мне принесла?

— Розовый цвет Армаша.

— Это чересчур обыденно. Нынче вечером мне нужно что-то более необычное, что-то неуместное для разгара лета, что-то, напоминающее о весне. Филадельфийские лилии в золотом флакончике подошли бы. Но нет, — промолвила она, когда Мирра поднялась на ноги, чтобы принести эти духи, — это слишком приземленно. Сегодня нужно что-то неземное. Принеси мне лесную горечавку; ту, что цветет множеством цветков на одном стебельке, и поначалу можно поклясться, будто это купена, но бледные колокольчики той никнут к земле, а эта смотрит в небо, что проглядывает меж крон горных сосен, и в конце концов синеет, под цвет небес, к которым так тянется.

— Госпожа, у нее же нет запаха.

— Откуда тебе знать? Разве нынче вечером есть хоть что-то невозможное? Разыщи ее. Хотя подожди… ни к чему, — сказала она. — Фьоринда! Это поручение прямо создано для тебя, как орленок для полета.

— Я привыкла служить только себе, — промолвила та, спускаясь по ступенькам под аркой, образованной темными кронами пиний слева от нее и густо сплетшимися ветвями старого сучковатого земляничного дерева справа. В руках ее был пучок синих цветов горечавки; за нею следовали два маленьких мальчика в зеленых ливреях, один из которых нес поднос с графином гипокраса и золотыми кубками, а второй — абрикосы и сладкие персики на серебряных блюдах.

— Так есть ли у них запах? — спросила герцогиня, принимая от нее цветы.

— Пусть ваша милость понюхает.

Герцогиня поднесла цветы к лицу.

— Волшебно.

— Нет. Это просто ночь, — сказала Фьоринда, велев мальчикам поставить свою ношу на землю и удалиться. Тень улыбки скользнула по ее губам, когда зеленые глаза ее и герцогини встретились над барьером из небесно-синих цветов. — Ваша милость должны поцеловать их.

Герцогиня так и сделала. Снова их взгляды встретились. Благоухание этих лесных цветов, нежное и неуловимое, словно шептало на ухо той, что его вдыхала, тихо говоря ей: «Я покончил с войной. Они оказались под моей пятой пятью месяцами ранее, чем я обещал. И пятью месяцами ранее назначенного срока… я приду к вам, Амалия». У нее перехватило дыхание; аромат же этот, плывший по воздуху, столь тонкий, что никто кроме нее не мог вкусить

его, снова заговорил в крови Амалии: «Это было в той комнате в высокой башне Акрозайаны, чьи окна, выходящие на запад, на Амбремерин, вбирают в себя закат; опочивальня же глядит на восток, на море; в этих комнатах теперь обитает ваш сын, Барганакс. И было это такою же точно ночью, в середине лета, двадцать три года назад». Взмахом руки она отпустила своих служанок, Мирру с Виолантой, и, пока няня расчесывала, заплетала и укладывала ее волосы, поцеловала цветы вновь, потерлась о них щекой, словно грациозная кошка, и прижала их к груди.

— Пресвятые Боги! — воскликнула она. — Не будь это богохульством, я бы представила себя Царицей Небес в Ее благоухающем фимиамом храме на Кипре, перебирающей свои золотые украшения и душистые мягкие одеяния, как поется в священном гимне, и мчащейся с ветром к Иде, к тому царственному пастуху,

ὅς τότ᾽ ἐν ἀκροπόλοις ὄρεσιν πολυπιδάκου Ἴδης,
βουκολέεσκεν βοῦς, δέμας ἀθανάτοισιν ἐοικώς·

Пас в это время быков на горах он высоковершинных
Иды, богатой ключами, — осанкой бессмертным подобный[119].

— Богохульством? — переспросила Фьоринда. — Вы думаете, Боги когда-либо гневались на богохульства? Мне казалось, это могло бы уязвить лишь лживых богов.

— Даже если бы они и не разгневались, я все же опасалась бы в этом греха, — промолвила герцогиня. — Той самой ὕβρις[120] человека, что возомнил себя равным Богу.

Фьоринда сказала:

— Сомневаюсь, что такая вещь как грех на самом деле существует.

Воззрившись на нее снизу вверх, герцогиня была на мгновение словно ошеломлена и сбита с толку выражением — чуждым, жестоким и равнодушным, — которое, казалось, приняли с наступлением сумерек холодные черты лица ее собеседницы.

— Дай мне мою накидку, — обратилась она к няне, и, вставая на ноги и закутываясь в нее, добавила: — Отправляйся и проследи, чтобы в моей

119 Гомер, гимн «К Афродите» (пер. В. Вересаева).
120 ὕβρις (др. греч.) — «наглость», «дерзость».

гардеробной все было готово. Потом возвращайся с факелами. Мы скоро пойдем туда.

Потом, когда няня ушла, она заговорила:

— Я приведу тебе пример. По моему разумению это ужасный, адский грех — повелеть заколоть своего мужа кинжалами на ступенях перед площадью в Крестенайе.

Фьоринда подняла бровь с видом спокойного и невинного удивления.

— Это грех? Не думаю, что Богам есть до этого дело. Кроме того, я не имею к этому отношения. Хотя, по правде говоря, — добавила она все так же безмятежно, будто любуясь ленивым звучанием своего голоса, — это было достойной отплатой ему за то, как он со мной обращался.

— Это произошло под новый год, – сказала герцогиня, — а уже теперь, в мае, начинают приходить письма, в которых твоего мужа жалуют чином управителя Рейсмы — я имею в виду лорда Морвилля, твоего нынешнего, второго, мужа. Чем это Морвилль заслужил такой титул?

— Не стану разочаровывать вашу милость своим ответом. Он заслужил это тем, что является моим мужем, хотя браку этому всего три недели.

— Ты умна, как я вижу. Скажи же мне, достойный ли он муж?

— Честно говоря, — ответила та, — я над этим не особенно думала. Но если поразмыслить, то, полагаю, он один из тех простофиль, которым свойственно обзаводиться рогами в течение первого же года.

— Какое бесстыдство говорить такое. Однако поговаривают, ты в этих делах поднаторела рано.

Фьоринда пожала плечами.

— Простолюдины, — промолвила она, — всегда норовят поверить в самое худшее.

— Простолюдины? Это камень в мой огород?

— О нет. Ни разу не слышала, чтобы кто-либо отрицал знатное происхождение вашего отца.

— Сколько тебе лет? — спросила герцогиня.

— Девятнадцать. Сегодня мой день рождения.

— Странно… и мой тоже. Девятнадцать… такая молодая, а уже такая…

— Надеюсь, ваша милость не собирается записать мою молодость в мои недостатки. Также как и нетерпимость к дуракам…

— О, мне нет дела до недостатков вашей светлости. Довольно и достоинств: убийства, а может даже и poudre agrippine[121].

Фьоринда пригладила свое белое платье.

— Тем более удивительно, — сказала она с подчеркнутой вежливостью, — что ваша милость приложили столько усилий, чтобы пристроить меня ко двору.

— Ты считаешь это удивительным? — промолвила герцогиня. — В таком случае, необходимо, чтобы ты поняла, как обстоят дела. Я не собираюсь перечить вкусам любимого. Я лишь хочу окружить себя дюжиной или около того женщин наподобие тебя, дабы те оттеняли мои собственные качества, а также на тот случай, если ему вдруг вздумается побаловать себя изысканными лакомствами.

Леди Фьоринда промолчала, глядя на воду у своих ног. Полная луна поднималась из-за холма на дальней стороне долины, и на фоне лунного лика четко вырисовывались два дерева на горизонте, похожие на лапки какого-то крохотного создания. Над прудом пронеслась туда и обратно летучая мышь. Медленно взмахивая крыльями, высоко в небе пролетела цапля, трижды или четырежды резко вскрикнув. Бледный лунный свет озарял повернутое в профиль, обращенное вниз лицо этой леди, ее обнаженную до плеча руку, ее белое платье, что наполнялось жизнью от каждого девственно-прекрасного изгиба тела ее, стоявшей спокойно и неподвижно, а чернота ее волос заставляла мрак пробуждающейся летней ночи лучиться светом. Она подняла руку, чтобы поправить заколку в волосах, и бледное сияние прорезала вспышка черной молнии, что тут же пропала, заставив после себя затрепетать и замереть в вожделении сам воздух. Наконец, по-прежнему стоя боком к герцогине и вглядываясь в тихие воды, она заговорила:

— Дюжиной? Наподобие меня? Должны ли они быть подобны мне внешне? Или достаточно, если они будут..? Но не стану повторять слова вашей милости.

Когда ее голос затих, что-то шелохнулось в прогретом воздухе, будто томно взмахнул опахалом некий олимпийский бог. Словно взирающий на наступление Ночи закат, герцогиня стояла и смотрела на нее, будто говоря: Ты и Я есть одно: одни и те же небеса, один воздух, великолепие, цвет, пламя. Ночь молода, она наступает, когда угасает закат; Ночь, облаченная в одеяния

121 Poudre agrippine (фр.) — приворотное зелье.

из тьмы и стального сверкания звезд; взмахи крыльев летучих мышей и сов, летящих бесшумно как сон; и, разгорающиеся и затухающие в бездонных пучинах мрака, пара глаз, бестелесные, будто зеленые луны, и тихий шелест невидимо скользящих мимо змей. И Ночь вступает в свои права, под страстные горько-сладостные напевы соловьев, и все живое на земле, в небесах и в воде прячет свои лица перед нею; она молода («достаточно молода, — сказала себе герцогиня, — чтобы быть моей дочерью»), но она старше их всех, старше самого света, старше Богов. И все же и у заката есть своя кульминация, она повторяется с каждым заходом солнца, когда тени небесного огня распускаются невообразимыми цветами, будто разгорается костер, на котором пылает, сгорая от собственного жара, все былое увядшее великолепие подлунного мира, и красный дым клубится в его лучах раскаленными туманами, и небеса над головою, будто крылья зимородка, испещрены бирюзовыми и золотыми пятнами и прожилками зеленоватого хризолита, что прозрачнее самого воздуха, и море расстилает свои необъятные просторы сумрачного пурпура, где находят приют и покой ветра.

Внезапно Фьоринда взглянула сквозь густеющий сумрак в лицо герцогине; глаза ее, казалось, приняли оттенок того самого хризолита небес.

— Слова! — воскликнула она. — Неужто ваша милость променяет свое благородство на слова, притом сегодня, из всех вечеров? Разве слова так уж могущественны в Мемизоне? О, откройте же глаза, очнитесь.

Казалось, герцогиня на миг затаила дыхание. Затем величаво и с достоинством заговорила.

— Оставь свою досаду, — промолвила она, — и прости меня. Владычицу большого дворца часто посещает грусть; так вышло сегодня и со мною, и вины твоей в том нет. Я вцепилась в ту руку, что была ближе остальных.

— Ваша милость оказали мне честь, будучи откровенной со мной. Я также буду откровенна. Я не просто полезная безделица, и не стану таковой ни для одного мужчины.

— Да, — сказала герцогиня, вглядываясь в лицо Фьоринды. — Думаю, так оно и есть. — Она помолчала, а затем добавила: — Что же ты есть?

Сумерки словно сгустились.

— Этот вопрос вашей милости стоит задать самой себе.

— Какой именно? Спросить у себя самой, что есть я? Или что есть ты?

— Что угодно. Любой ответ подойдет.

— Что ж, — сказала герцогиня. — Что касается меня, то я женщина.

— Мне такое тоже говорили. И такой ответ вас устраивает?

— Женщина довольно красивая.

— Вне всяких сомнений.

— Однако это не ответ на мой вопрос.

— Да, — согласилась Фьоринда. — Это лишь слова.

Герцогиня сказала:

— Нужно искать глубже.

— Вперед, как сказала леди своему кавалеру. Найдете кое-что стоящее.

— Обе мы, в каком-то смысле, влюблены.

— О, самое уродливое и ничего не значащее слово из всех. Сказать — обо мне — будто я влюблена!

— Мне поведать тебе, к кому ты пылаешь любовью? — спросила герцогиня.

— Желаю всем сердцем, чтобы ваша милость это сделали.

— К себе самой.

То ли оттого, что лица их стали едва различимы в угасающем свете, то ли потому, что мысли, одолевавшие каждую из них, затихли, как скрывается среди листвы птица, что лишь иногда встрепенется, оставляя после себя только свою песню, но выражения этих лиц стало труднее прочесть, а красота каждой теперь была в меньшей степени вещью в себе, и в большей стала сродни красоте той (столь иной, непохожей), на которую каждая из них взирала. Из всего, что было в них различного, более всего различались уста этих женщин; губы Амалии были очерчены четкими как у греческой статуи линиями, что придавали силу и ощущение некой пылавшей внутри гордости и решимости этим губам, которые в противном случае казались бы чересчур приторными; от сомкнутых же уст Фьоринды веяло холодом и суровостью, каких не найти даже в камне, или в сером рассвете над зимним морем, или в кромке ледника, что высится на фоне морозного неба в сиянии луны. Однако же, в уголках уст каждой, делая их, столь разные, в чем-то глубоко подобными, жило нечто; оно то замирало, то скользило, поблескивая чешуйками, вдоль контуров этих губ, где было его гнездо и избранное им потайное местечко для развлечений. Вдруг проснувшись в уголках рта герцогини, это нечто, словно в зеркало, взирало на свое подобие в изгибе губ Фьоринды, когда та изящно откинула голову в беззвучном смешке со словами:

— К кому же еще можно питать любовь?

— Да ко всем остальным, — ответила герцогиня. — Скорее уж так, чем к себе.

Фьоринда приблизилась:

— Дайте-ка мне взглянуть на вашу милость. Представьте, будто вы преобразились, избавились от женского начала в себе. Скулы ваши стали шире, лоб массивнее; эти ваши брови дриады погустели, будто у фавна; появились завитые усы; рот стал более волчьим… нет, правда, есть в женских устах нечто такое, чего нет в мужских. Поцелуйте меня.

Высвободившись из ее объятий, герцогиня стояла, ошеломленная, дрожащая, будто кто-то схватил ее и вознес на надмирный пик, откуда, бросив один только взгляд и затаив дыхание, она устремилась обратно вниз, к обыденным земным голосам: к пению дрозда и крапивника, к шепоту бегущей средь ольх и ив воды, к тихому позвякиванию коровьих колокольцев в холмах, на пастбищах вокруг Мемизона.

Послышался звук шагов, оклик стражника, шум отворяющихся ворот за деревьями; закачались среди листвы огоньки. Появились шесть маленьких мальчиков с факелами, выстроившиеся полукругом около пруда, так что пульсирующее пламя факелов озаряло обеих женщин; однако сгустившиеся по краям этого светлого и яркого круга тени обратили то, что прежде было полупрозрачным ультрамарином и пурпуром надвигающихся сумерек, во мрак. И вот, спустившись по ступеням, из-под сени сосны и земляничного дерева показался король.

— Оставьте факелы и идите, — приказал он.

Мальчики установили факелы на подставки и удалились той же дорогой, какой и пришли. Фьоринда, сделав реверанс, последовала за ними, поднявшись по ступеням в вечно колеблющемся свете факелов, смешивавшемся с безмятежным сиянием среброногой луны.

— Появились известия, — произнес король, когда она скрылась. — Лисы затеяли игру.

— Этих известий вы и ждали?

Король кивнул в знак согласия.

— Стало быть, даже этот вечер мы не проведем вместе?

— Кони оседланы.

— Не останетесь даже на ужин?

Он покачал головой:

— Слишком многое на кону. Рапира должна вонзиться в их грудь, когда они еще ничего не подозревают.

— Что ж, — промолвила она, беря его за руку и сжав ее, не как возлюбленная, но как его собрат-полководец. — Пусть десница ваша искоренит ненавистное вам, мой друг.

Король уселся на заваленную мягкими подушками скамью из оникса; она встала подле него. Он по-прежнему держал ее руку в своей, слишком крепко, чтобы она могла высвободиться, даже если бы хотела. Внезапно она подняла глаза и встретилась с взглядом темных глаз короля, глядевших на нее.

— Почему вы не уходите? — спросила она.

— Потому что я соблюдаю должный порядок во всем.

С этими словами он притянул ее к себе, усадив рядом с собой на скамью и шепча ей на ухо; его дыхание напоминало прикосновение чертополохового пуха, а руки его обнимали ее, необоримые, будто поднимающийся морской прилив:

— Амалия, какое счастье, что я избрал вас своей возлюбленной.

Герцогиня заговорила:

— Пусть это и будет прощанием. Я не буду вас провожать. Лучше будет пасть теперь, нежели, как водится в этом мире, вновь низринуться с высоты… Но скажите мне, — промолвила она после паузы; стояли уже оба, но он все еще обнимал ее, и щека ее прижималась к его щеке, ибо она была высока ростом, а голова его склонилась к ее голове. — Если бы мы были Богами, способными творить миры по собственному желанию, а потом отбрасывать их прочь, будто наскучившие наряды, и воссоздавать их заново, когда нам заблагорассудится, какой мир мы бы избрали, мой друг?

И король ответил ей:

— Этот мир, и никакой другой; этот мир, который я обуздал, будто дикого зверя; с прекрасным Мемизоном, что словно драгоценный камень на моей шее, и с вами, моя любовь, моя голубка, прекрасная моя, что словно заключенная в этом камне роза.

VI. Кастаньеты между мирами

ЛЕССИНГЕМ сидел, словно окаменев. Вновь зазвучала музыка: болеро. Мадам де Росас, с обнаженными руками, охваченными чуть выше локтей гранатовыми браслетами, с непокрытой головой, с одинокой красной камелией в волосах, очень медленно, очень плавно начала танец, покачивая и поводя бедрами. Чтобы не смотреть на сапфир, он смотрел на нее: на ее алые губы, на белки ее черных глаз. Но вдруг оказалось, что вовсе не она, а тот самый сапфир выступал по помосту в ритмах танца, а от ощущения близости Мэри грубая плоть обернулась чистым духом, плоть и дух слились воедино, став неотделимыми друг от друга.

Медленно, неравномерными и слабыми постукиваниями дерева о дерево, едва различимыми даже на фоне бледной текстуры заигравших приглушенно струнных, кастаньеты вновь пробудились ото сна; пока еще тихие, они ускорили свой ритм и с все нараставшей напряженностью начали набирать силу, подобные стуку копыт приближающейся лошади, что скачет из дальних далей. Несомненно, физически это и был тот самый звук, что звучал здесь, в этой гостиной в Энмеринг Бландз: достигавшие уха кого-либо из присутствующих волны оказывали на того то или иное воздействие, чей-то мозг вбирал их в себя, а чей-то игнорировал, и гудели диковинные рога, и мчались быстроногие гончие и неистовые охотники по сумрачным полям, и было их столько же, сколько умов, что заразились этой предвечной музыкой постукиваний, столь милой козлоногому лесному богу. Однако потаенные источники, где рождалась эта музыка, ее душа, проникали куда глубже; так душа бурного речного потока, журча, гонит и увлекает за собой (но не гонима и увлекаема ими) листья, палочки, опавшие лепестки цветов, водных насекомых, пузырьки, клочки пены, рябь и пряди элодеи, что, плывя вслед за ним, кружась вместе с ним, дают лишь смутное представление о природе той силы, что их несет.

В двадцати милях к северу от Мемизона, по низменным долинам Руйара, скакали бок о бок король Мезенций с канцлером. Они то давали своим коням передохнуть, то переходили на шаг, преодолевая длинный подъем через луг к северу от Мавии, то пускались легким галопом по росистым пастбищам

Терайншта. Лицо короля выглядело окаменевшим в сиянии луны; казалось, в голове его работают кузнечные молоты. Однако его посадка в седле была свободна и небрежна, как будто бы они с его могучим черным конем составляли единое целое. Так ехали король и Бероальд, не произнося ни слова, и в стуке копыт их коней, что нарушал спокойствие летней ночи, звучали кастаньеты, милые сердцу козлоногого Пана[122].

В прекрасном же Мемизоне, где, окруженная своими фрейлинами, наблюдала за праздничными салютами в ночных небесах герцогиня, прикосновение этой таинственной музыки, мурлыкавшей, будто дремавшая рядом с нею пушистая кошка, было не столь тревожно.

Те же самые умиротворенность и спокойствие светом летних звезд в безветренной ночи снизошли и на Мэри — то ли из-за музыки, то ли из-за того, что ее сердце и разум раскрылись, подобно ночным цветам с заходом солнца, то ли из-за исходившего от Лессингема чувства безопасности: от того, как легко, словно мотылек, прикасался к ее обнаженной руке между плечом и локтем рукав его фрака.

— Милая Виоланта, — промолвила герцогиня, — пойди и вели накрыть для его светлости небольшой столик здесь, подле меня; пускай принесут легкие закуски, икру и что-нибудь еще, на твое усмотрение, а еще малины и рианского вина. Ибо это превосходное вино, красное вино Риана, лучше всего подходит для такого вечера.

Легко подобрав обеими руками платье, Виоланта спустилась по полудюжине ступеней — широких, невысоких, высеченных из камня пантерон[123] и устланных посередине ворсистым ковром цвета зеленых падубовых листьев, — что вели с галереи на площадку для танцев. Летний дворец в Мемизоне напоминает в плане букву Т, и как вдоль длинной (что обращена к югу), так и вдоль короткой (смотрящей на запад) его стороны тянется эта галерея с ее дверями, огромными окнами и колоннами из какого-то гладкого белого камня с серебряными искорками; колонны эти, возвышающиеся через каждые пятнадцать футов, поддерживают свод крыши и верхний ярус дворца. Перед галереей располагается травянистая лужайка, шагов ста в длину и шестидесяти

122 Пан — в др. греч. мифологии бог пастушества и скотоводства, плодородия и дикой природы.

123 Вид полудрагоценного или отделочного камня, упоминаемого в некоторых средневековых трудах; возможно, яшма или серпентин.

в ширину, с юга ограничиваемая садом с аккуратно подстриженными вековыми тисами, а с запада — высокой, густой и темной живой изгородью из тех же деревьев; на траве в северо-западном углу этого четырехугольника в эту ночь был устроен дубовый настил для танцев, окруженный со всех сторон висячими светильниками, факелами и покачивавшимися на цепях фонарями, что освещали площадку для танцующих. Пятьдесят или шестьдесят пар танцевали сейчас коранто, и переменчивое великолепие блистающих драгоценностей, разноцветных тканей камзолов, туник, женских платьев, богато выделанных вееров и украшений напоминало лесной водопад, что низвергается с отвесной каменной стены в лучах вечернего солнца, где каждая струйка, каждый поток, обрушиваясь вниз, превращается в каскад драгоценных камней: аметистов, золотистых топазов, рубинов, сапфиров, изумрудов, сверкающих и переливающихся с каждым движением наблюдающего за ними глаза.

Но подобно тому, как при перемене освещения в одном участке водной глади или в одном из столбов низвергающейся воды вдруг отражается само лучезарное солнце, перед которым тускнеют все эти прочие сокровища, было и появление среди собравшихся герцога Зайанского. Он подошел безо всяких церемоний, легким и широким шагом, так что Медору с Мелатом, которые только и сопровождали его, пришлось потрудиться, чтобы не отстать от него; безо всяких церемоний, если не считать того, что при известии о его приближении музыка смолкла, танцующие замерли, и два трубача, выступив вперед из-за трона герцогини, протрубили фанфары.

Герцог Барганакс остановился на ступенях и, взмахнув своей пурпурной мантией, поприветствовал гостей; затем, опустившись на одно колено, поцеловал руку герцогини. Та заставила его подняться и в свою очередь поцеловала его в лоб.

— Ты опоздал, — промолвила она, когда герцог, позволив пажу унести свою мантию, усаживался подле нее в золотом кресле.

— Простите, матушка. Мне сказали, сегодня здесь был король?

— Да.

— И опять уехал? Почему же это?

Она покачала головой.

— Собирается гроза?

Амалия грациозно пожала плечами.

— А ты-то почему опоздал? — спросила она.

Они были похожи друг на друга, как львица и ее детеныш.

— Я просто решил во что бы то ни стало дорисовать голову на новой картине, которой сейчас занят. Это будет фреска с изображением пира в честь помолвки Гиппоклида[124]. Так что было уже три пополудни, когда я наконец сел в седло.

— «Гиппоклид, ты протанцевал свою свадьбу». В этом деле необходима деликатность! И чью же голову ты рисовал?

— Ну, одной из ваших новых фрейлин, Беллафронт.

— Беллафронт? Она рыжая, как у Тициана… наш цвет волос. А ты не мог отложить это до завтра, это свое рисование?

— Она может быть уже мертва, когда я вернусь домой.

— Мертва? Она, что, больна?

— Нет! — расхохотался герцог. — Я просто следую мудрому изречению моего отца; когда я был маленьким и откладывал самую лучшую клубнику на край тарелки, чтобы съесть ее в последнюю очередь, он говорил мне съесть ее сейчас, потому что я могу не дожить до того момента, когда собираюсь это сделать.

— Глупенькие, — сказала Амалия. — Что ты, что твой отец. Не так ли, граф Медор?

— Плохим слугой был бы я, если бы называл своего повелителя глупым, — ответил Медор, — и еще худшим придворным, если бы взялся перечить вашему превосходительству в вашем же доме. Что ж, так все и есть. Он поступает нелепо. Но всегда по собственному желанию, и никогда — по принуждению.

— О, каков подхалим! Но и впрямь, мужчины нелепы по своей природе; и если бы ты, благородный мой сын, не был столь нелеп, ты был бы в меньшей степени мужчиной. И тогда… Фу! Не хотела бы я ни породить такое, ни иметь с этим что-либо общее.

Ужин окончился, и они (Барганакс с лордами Мелатом и Медором и герцогиня с Миррой, Виолантой и прочими) сидели в креслах, наблюдая за происходящим в удовлетворенном молчании, которое то и дело прерывалось шутливой беседой, что протекала лениво и спокойно. Светильники вокруг них и над их головами изливали навевавшее дрему колеблющееся сияние. В массивных каменных кадках, расставленных вдоль края террасы, росли

124 Гиппоклид — афинский аристократ VI в. до н. э. Известен по рассказу Геродота.

пышные и удивительные орхидеи с темными, гладкими и бархатистыми лепестками, испещренными прожилками и пятнышками и покрытыми волосками, наполнявшие теплый воздух своим тяжелым и пьянящим благоуханием.

— А ваша светлость не будет сегодня танцевать? — наконец поинтересовался Медор у герцога.

Барганакс покачал головой.

— Почему же? — спросила герцогиня. — Но нет… было бы нехорошо упрашивать тебя. Ведь ты влюблен.

— Я никогда не был влюблен, — сказал Барганакс.

— Так стало быть, все эти слухи ложны?

— За последние семь лет, — произнес Медор, — герцог только и делал, что пребывал в состоянии влюбленности. Это доподлинно известно.

— Что ты на это скажешь? — спросила герцогиня. — Уж он-то, начальник твоей гвардии, должен знать наверняка.

— В этих делах, — промолвил Барганакс, — влюбиться — первейшая ошибка. Женщины подобны привычкам: если они хороши, то прилипают накрепко, а это наскучивает; если же дурны, а ты все же любишь их, то любовь вцепляется в тебя как пиявка, хотя самой женщины уже и нет рядом. Нет уж, я перенял кое-что из их арсенала, и обращаюсь с ними, как они обращаются с нарядами: поносят некоторое время, а потом разыскивают новый.

Амалия обмахнулась веером.

— Отличная доктрина. Послушав тебя, воображаешь, будто твоими устами говорит человек, повидавший видов и до срока облысевший от чрезмерного увлечения этими играми. Если ты еще втайне от всех не влюбился, поберегись, ибо мне кажется, ты находишься в опасной близости от этого.

Герцог рассмеялся.

— К сожалению, я никого никогда не любил, кроме вас, матушка, — с этими словами он взял ее руку в свои и поцеловал ее. — Но меня в этом винить нельзя. Разве хорошему сыну не подобает брать пример со своих родителей? А тут передо мною пример высочайшего государя, так что на прочих я уж особо и не стану смотреть.

Он откинулся в кресле, вытянув перед собой скрещенные ноги, и на минуту замолк. Его пальцы рассеянно поигрывали с пальцами герцогини, а глаза из-под прикрытых век наблюдали за многоцветным вихрем танца на фоне синего ночного полога.

— Что же до ваших умудренных жизнью игроков, то нет, это не обо мне. Мне слишком сложно угодить. Я художник. Но печальный факт состоит в том, что нет ничего вечного. Все умирает или меняется.

— Ваша светлость художник, — произнес Медор. — Ну так картина, единожды написанная, уже не изменится.

— Дай срок, дорогой Медор, и она сгниет. Но задолго до этого ты обнаружишь, что изменился сам художник. Вот почему, думаю я, от картин нет никакого проку после того, как они окончены.

— Как, очевидно, нет проку и до того, как их начнут рисовать, — заметила герцогиня. — Ведь разве не в самом акте творения картина и обретает жизнь?

— Это несомненно.

Медор сказал:

— Я уже давно начал подозревать, господин герцог, что вы атеист.

— Ни в коей мере.

— Во всяком случае, — сказала Амалия, — ты оскорбляешь Киферею[125] фиалковенчанную, святую Богиню и Царицу Всего Сущего.

— Боже упаси! Я просто не желаю угодничать перед Нею, подстраиваться под Ее капризы. Она изменчива как море. Ее невозможно постичь. Мы вынуждены верить в то, что Она вечна и неизменна, ибо как может изменяться совершенство? Однако, в насмешку над нами, Она изменяется беспрестанно. Над всеми влюбленными мужчинами насмехается Она; и, будь влюблен я (хоть я, за что Ей спасибо, не испытываю и не собираюсь испытывать подобных чувств), нутром чую, Ее насмешки надо мной оказались бы невыносимы. Да сама сущность, сама природа нашей здешней, земной, любви — что это, как не средство для Нее посмеяться над нами?

— И обучил тебя этим фундаментальным идеям твой ученый наставник, старый седобородый доктор?

— Нет, госпожа. Этому я научился сам.

Медор усмехнулся:

И гибель в страсти нежной
Считал я неизбежной,
Один букварь —
Любви словарь

125 Прозвище Афродиты.

Я изучал прилежно[126].

— И что же, Медор? Как насчет той юной девицы с севера, дочери принца Эркеля, о которой ты мне рассказывал? Она-то чему тебя научила?

Посерьезнев, Медор отозвался:

— Не заводить при ней подобных дискуссий.

— Прости меня, — сказал герцог. — Не знаю, что за дух дерзости и язвительности тащит меня за рукав нынче вечером, — он наклонился, чтобы сорвать бледный цветок орхидеи. — Цветы, — произнес он, рассматривая элегантные линии и изгибы чашечки и гладких распростертых лепестков и поднося цветок к ноздрям, чтобы вдохнуть его аромат. — Совсем как губы, — сказал он, снова глядя на него.

Он уронил цветок и поднялся на ноги, небрежно опершись на одну из испещренных серебряными искорками колонн и оглядывая собравшихся.

— Нынче вечером в Мемизоне вы превзошли саму себя, госпожа, — вдруг проговорил он. — Половины гостей я доселе ни разу и не видел. Скажите, кто та дама в черном платье с серебряными блестками, что танцует с этим пронырой Зафелем?

Герцогиня отвечала:

— Это Нинетта, младшая дочь Ибиана, она недавно при дворе. Я думала, ты ее знаешь.

— Отнюдь, — произнес герцог. — Взгляни, Мелат, как она танцует: как будто от самых бедер у нее нет ни единого сустава, гибкая и изящная, будто сирена. Я зарекся танцевать сегодня, но, клянусь небесами, — воскликнул он, — я начинаю колебаться, не стоит ли мне попытать счастья и проверить, кого предпочтет она для следующего танца, меня или Зафеля. Хотя сейчас это было бы недальновидно. Я пытаюсь покорить этого лиса добротой; раздосадовать его сейчас — самый легкий путь все испортить.

— Что ж, есть ведь и Пантасилея, — промолвила герцогиня, когда мимо них лениво проплыла в танце томная красавица с тяжелыми веками и подобными сочно-малиновой розе губами. — Она твоя подруга.

Однако глаза герцога (от которых, хоть и казались они праздными, не ускользала ни одна мелочь) заметили, как при этих словах побагровел и прикусил губу Мелат.

126 Т. Мур, «Безрассудство» (пер. И. Трояновского).

— Я уж давным-давно сдался, — сказал герцог, — уступив другу. А эту леди, госпожа, вы, подозреваю, избрали сами, — добавил он после паузы. — Вон ту, с волосами цвета бледного лунного света, уложенными короной вокруг ее головы; ту, что я бы изобразил Королевою Страны Эльфов в зеленом платье. Это девица или чья-нибудь жена?

— Я и впрямь избрала ее; это Лидия, жена моего камергера.

— Он хорошо с ней обходится?

— Надеюсь, что так. Думаю, он ее любит.

Герцог опять уселся.

— Довольно. Иди, Мелат. Я танцевать не буду; сегодня я, пожалуй, понаблюдаю. Нет, правда, я не шучу. Ты же иди, танцуй. И ты тоже, Медор.

— Я охотнее составлю компанию вашей светлости, — сказал Медор.

Поклонившись, Мелат удалился.

— Медор безнадежен, — сказал герцог. — Все равно, что уже женат.

Амалия улыбнулась графу из-за своего веера из павлиньих перьев.

— И выглядит так, — добавила она, — будто молит Господа: «Пусть так оно и будет».

Их беседа лениво потекла дальше.

Внизу, в перерыве между танцами, держась за руку Мелата и ожидая, когда вновь заиграет музыка, Пантасилея осведомилась:

— Вы пришли сегодня вместе с герцогом?

— Да.

— Они с отцом так непохожи.

Мелат поднял брови:

— А по-моему, весьма похожи.

— Один рыжий, другой черноволосый.

— И что же?

— Один превыше всего ценит любовь, другой — действие.

— У меня есть два копья, — промолвил Мелат. — Оба они сделаны из золота и стали; одно из них и выглядит стальным, а другое — золотым. Но оба они прекрасны видом, и каждое готово сослужить службу, когда потребуется.

— У этого, я уверена, куда больше способностей укладывать в постель девиц, нежели управлять королевством.

— Это вы напрасно, — возразил Мелат. — Правильнее сказать, что он

уже в столь раннем возрасте достиг определенных высот в обучении обоим этим высоким искусствам.

— Бросьте, — сказала она. — Вы защищаете его, я обвиняю, беда же состоит в том, что мы оба обязаны его почитать.

Тут, медленная и величавая, началась павана. Барганакс, вновь оказавшись на ногах, но по-прежнему безучастно наблюдая, то и дело склонялся к уху своей матери, Медора или одной из ее служанок, чтобы что-то спросить, что-то ответить или отпустить какую-то шутку. Но вдруг, неожиданно, он замер на полуслове, опираясь ладонью о колонну, чуть наклонившись и пристальным взглядом провожая одну из танцующих пар. Герцогиня что-то сказала. Он ничего не ответил. Она обернулась и поняла, что он ее не слышит, увидела этот его взгляд, напряженный, будто натянутая тетива, и проследила за ним. Целых две минуты, очень осторожно и незаметно, наблюдала она за ним, и в ее устремленных на него глазах пряталась усмешка.

— Ты помнишь? — спросила Мэри. — Помнишь тот танец в испанском посольстве?

— Помню ли я! — воскликнул Лессингем, и под его взглядом трепетавшая в сапфировых недрах бархатная темнота сгустилась тенью, в которой таился намек на нечто более глубинное, живое, будто глаза и губы всех живших на свете от начала времен людей устремились туда и утонули в нем, ослепленные, слившись в поцелуе.

— Как чудно все это было, — очень тихо произнесла Мэри. — Наша первая встреча, а мы даже не догадывались об этом.

Герцог вдруг заговорил на ухо Медору, который сидел к нему ближе остальных:

— Кто она?

Медор посмотрел туда, куда указывал герцог. В глазах его появилась некая уклончивость.

— Не могу сказать. Доныне я ни разу ее не видел.

— Так узнай и скажи мне, — велел герцог, выпрямившись и впившись в нее глазами.

Свет ламп озарял олимпийский изгиб его губ под подкрученными кверху усами — губ, чьи контуры, в отличие от губ прочих людей, были тем

изящнее и красивее, чем жарче пылало вокруг пламя роскоши, и тем утонченнее и тверже становились их линии, преисполненные силы и самообладания.

— Ступай, — сказал он. — Я желаю знать имена и положение каждого из присутствующих здесь сегодня; ни к чему, чтобы герцогине навязывали свое общество всякие никчемные людишки. Дай мне подробный отчет.

Тем временем герцогиня Амалия, неторопливо и спокойно помахивая веером, (как казалось внешне) оставалась отстраненна и совершенно ни о чем не подозревала.

Полночь уже прошла, и к двум последним танцам герцогиня и большая часть ее служанок уже удалились, разошлось и большинство гостей. Полная луна, находившаяся в зените, хоть и невысоко над горизонтом, в знаке Козерога, заливала поднимавшийся уступами западный склон за рвом безмятежным серебристым сиянием. Неторопливыми, размеренными шагами герцог с Мелатом прохаживались туда-сюда вдоль террасы, за раз проходя, наверное, шагов двести. На востоке мерцали за тисовыми деревьями огни летнего дворца; музыка не играла, не было ни звука, помимо похрустывания гравия под их шагами, слабого ночного шелеста листвы и доносившегося из-за рва громкого пения соловьев. Дорожка казалась белой в свете луны; подстриженная трава по обе ее стороны была влажной от росы; заросли розовой асфодели, что примерно через каждые десять футов возносила к небу свои изящные шпили в рост высокого человека, также побелели смутной нематериальной белизной.

Продолжая прогуливаться, они вдруг обнаружили, что с дальнего конца на террасу вышли еще какие-то люди: мужчина и женщина, державшиеся под руку и медленно приближавшиеся к ним. Посередине они встретились и разминулись. Улыбка леди, кивнувшей в ответ на снятую Барганаксом шляпу, сверкнула, будто мертвенная белизна неведомого морского пролива в просвете меж кроваво-красными лилиями.

— Ты знаешь эту леди? — спросил герцог на ходу.

Мелат ответил:

— Знаю. Но назвать ее не смогу.

— Я тебе скажу, кто она такая, — сказал герцог. — Это юная сестра господина канцлера.

— Что ж, тогда я знаю, где ее видел. Он ревностно удерживал ее при

себе; по-моему, до сих пор она и в свете не появлялась. Я уж точно не видел и не слышал о ней при вашем дворе в Зайане, господин герцог.

— Я и сам никогда не видел ее до сегодняшнего вечера, — признал герцог. — Я заметил, как она танцевала павану с этим человеком, который, как мне сказали, является ее новым мужем.

— Ваша светлость, несомненно, помнит о том печально известном убийстве. По сути, виновного ведь так и не нашли.

Герцог минуту помолчал. Затем заговорил:

— Твои люди, Мелат, умеют устраивать подобные штучки, когда это необходимо, не вынося сора из избы и не доводя до скандала.

— Ну, там-то сора было достаточно, — заметил Мелат. — Шестеро наемных головорезов накинулись на него средь бела дня на базарной площади Крестенайи. Однако никто не осмеливается утверждать, будто за этим стоят господин она или канцлер, разве что шепотом, да за задернутыми шторами. А красивых оправданий у них хватает

— Я их слышал.

— В то же время, — продолжал Мелат, — он, бывало, обезглавливал и вешал десятки простых людей и за меньшие прегрешения.

— Таковы пути этого мира, — сказал Барганакс. — Кто-то скажет, это и хорошо: пускай лучше умрут сотни таких как они, чем столкнется с преградами великий муж.

— Но чрезмерная жестокость, — возразил Мелат, — может породить такое недовольство, что погибнем мы все, как уже бывало в истории.

— Никогда еще великие люди не гибли от рук всякого сброда, — сказал герцог, — если к тому моменту уже и сами не начинали утрачивать свое величие. Никогда, ни в этом мире, Мелат, ни в каком-либо ином. Ибо правило это справедливо для всех мыслимых миров.

— Мудры слова вашей светлости. Вас обучил этому ваш помощник (а с недавних пор и наставник), доктор Вандермаст?

— Я многому научился у доктора; например, вот этому: когда кажется, что изрекаешь мудрость, никогда не говори, кто тебя научил. Следуя этому совету, я со временем, вне всяких сомнений, обзаведусь седой бородой и репутацией великого мудреца. Если только, что более вероятно, холодная сталь… — герцог подождал, пока леди со своим мужем под руку вторично пройдут мимо них. В лунном свете блеснули зеленью ее глаза, смотревшие прямо

перед собой; сверкнула на ее зубах луна, когда она что-то отвечала своему супругу; подобно заключенной в хрустале лилии плыла она, и движения ее лишь подчеркивались облекавшим ее тело платьем, более похожие на покачивания нежного стебля некоего невиданного цветка, нежели на поступь обыкновенной женщины, цветка, рядом с изящными обводами темных и сладко благоухающих лепестков которого те орхидеи на внутренней террасе могли бы показаться обычными сорняками. — …или укус кошки, — добавил герцог, когда они оказались за пределами слышимости, — не прикончат меня раньше.

Они шли молча, пока не достигли южного конца террасы. Здесь, в тени каменного дуба, герцог помедлил, наблюдая за пробивавшейся сквозь листву луной.

— Это король, — произнес он, глядя на луну. — Это мой отец во что бы то ни стало хотел, чтобы эта женщина оказалась в Мемизоне. Герцогиня поначалу не желала ее видеть.

Мелат хранил молчание.

— Ему нравится, когда здесь много красивых женщин, — продолжал герцог. — Признаю, выбирать он умеет. Что скажешь? — обернулся он к Мелату. — Разве это плохо? Отвечай же. Не годится мне все время говорить, а тебе помалкивать.

— Не годится мне, господин герцог, судить об этих высоких материях.

— Ну так что? Кажется, в тебя вселился какой-то вздорный бес, которого мне придется изгнать. Выкладывай, считаешь ли ты, что моей матери, герцогине, разумнее было бы выставить их всех, указав им на дверь?

— Ваша светлость, умоляю вас, это не мое дело.

— Ей-богу, — воскликнул герцог, — я уже чую твои мысли, Мелат, и разит от них, как от мыслей обыкновенного конюха. Говорю тебе, среди них ее светлость, моя матушка — что королева среди роз, что богиня. Клянусь небесами, не подобало бы ей и было бы неуважительным по отношению к рассудительности его королевского высочества, если бы она позволила этой робкой и ревнивой мнительности омрачить здешнюю прелестную атмосферу. То, что я говорю тебе, — истина. Веришь ли ты в это? Отвечай обдуманно, ибо, ей-богу, если промолчишь, ты мне более не друг.

Но Мелат, будто человек, пытающийся задобрить выжившего из ума монарха, отвечал:

— Ваша светлость весьма несправедливы ко мне. Я верю и всегда верил в это. Как же иначе?

Они повернулись, чтобы вновь направиться на север по росистым травам в полном шорохов сумраке. Перед ними бежали их тени, черные и резко очерченные на фоне залитой бледным лунным светом дорожки.

— Ты когда-нибудь любил, Мелат?

— Я пытался придерживаться манеры вашей светлости.

— Манеры любить?

— Не знаю.

— Или манеры держаться от любви подальше?

Шаг за шагом они шли все медленнее и медленнее. И вот, в сорока или пятидесяти шагах впереди они увидели тех двоих, направлявшихся к ним; увидели, как мужчина отделился от своей спутницы, бросился к парапету, что возвышался слева над рвом, и схватился рукой за балюстраду, будто собираясь перемахнуть через нее. Затем он вернулся к ней и они двинулись дальше, рука об руку.

Вновь встретившись посреди террасы, они, будто повинуясь обоюдному порыву, остановились. Некий озорной огонек плясал в глазах Барганакса.

— Я рад, сударь, — промолвил он, — что вы в конце концов одумались и не стали топиться.

Леди оставалась молчалива и неподвижна, если не считать легкого, неторопливого, изящного, полуудивленного, полунасмешливого наклона головы в ответ на его слова, как будто бы она была неким заблудшим божеством, грациозно и безразлично взиравшим на происходящее свысока. Пальцы ее руки в изгибе локтя ее супруга казались серебристо-белыми в мерцании украшавших их драгоценных камней; руки нежной, красивой, способной (судя по ее виду), подобно руке мастера, уверенными и умелыми движениями заставить бархатистые ноты пульсировать, смешивая и сплетая их в невообразимых гармониях. Так стояла она, прильнув к этому мужчине, безмолвная и недвижная в безмятежном и незамутненном сиянии луны, девственно-прелестная, словно лесная лилия, но, как Мелюзина[127] из древнего предания, таившая в себе способность временами оборачиваться ниже талии змеей.

Мужчина улыбнулся под шутливым взглядом герцога.

127 Мелюзина — фея из кельтских и средневековых легенд, дух свежей воды в святых источниках и реках. Часто изображалась как женщина-змея или женщина-рыба от талии и ниже.

— Если бы вы только знали, господин герцог, — сказал он, — о чем я на самом деле думал в тот миг!

И внезапно Барганакс осознал, что глаза этой леди оценивающе смотрят на него, совершенно спокойные, совершенно непроницаемые. Глубже самой его сути, глубже смятенного рассудка, казалось, проник этот взгляд, коснувшийся его лица; сначала он скользнул по его щекам и скулам, затем обежал его с головы до ног, и, наконец, вновь обратился к его лицу, к его глазам, и замер все в той же сфинксовой непоколебимости спящих зеленых огней.

— Как чудна была наша первая встреча, а мы даже не догадывались об этом.

И в первый раз Мэри промолвила это очень тихо, а теперь, во второй, — настолько тихо, почти про себя, что слова, подобно вспархивающим над гнездом птенцам пустельги, что пока не готовы довериться крыльям и неизведанным воздушным просторам, замерли, не произнесенные, на ее губах.

— Но нет, — зазвучал ее голос, будто заговорила некая более глубинная ее сущность, доселе дремавшая. — Я знала. Я выделила тебя из толпы уже тогда, мой друг, я помню, хотя это и было почти бессознательно… да, совершенно бессознательно. Я знала, мой друг. Я знала и то, что ты пока еще не знал.

И слова эти окружало мерцание, подобное мерцанию солнца на морских волнах у Пафоса, на бессчетных волнах смеющегося океана.

Они разошлись по двое, следуя своими дорогами. Когда герцог наконец заговорил, казалось, говорил человек, пытающийся стереть, вычеркнуть из памяти пламенеющее видение, хватаясь за надежную и привычную действительность.

— Сказать тебе, Мелат, что было на уме у того человека, когда он, будто обезьяна, подбежал и вскочил на парапет? Он думал о том, что этой самой ночью, в течение какого-нибудь получаса он овладеет этой женщиной там, где ему вздумается.

Они шли в молчании. Наконец, герцог произнес:

— Как бы ты ее назвал?

— Назвал кого?

— О ком еще можем мы говорить? Эту женщину, конечно.

Мелатес брякнул:

— Я назвал бы ее пиявкой.

— Пиявкой?! — луна была позади них, и лица герцога было не разглядеть. — Что ж, одна из Богинь слыхала такие слова от другой и прежде, — и он рассмеялся, будто какой-то ведомой лишь ему шутке.

Они обернулись и увидели, что терраса опустела и на ней не осталось никого, кроме них самих.

— Оставь меня, — сказал Барганакс. — Мне нужно кое-что обдумать. Я поразмыслю тут в одиночестве.

Леди же Фьоринда, шагая в сумраке под тисовыми деревьями и забыв о руке, на которую опиралась, обратила свои помыслы к иным вещам. Когда Морвилль в третий или четвертый раз переспросил, о чем она столь молчаливо размышляет, она наконец ответила:

— О кое-каких из своих нарядов.

— Нарядов? Из какой материи? Какого цвета?

— О, из самой тонкой и изысканной материи.

Он заметил в уголках ее рта усмешку того крохотного создания, которое ни теперь, ни когда-либо еще, не обращало на него никакого внимания, но, казалось, постоянно предавалось неким тайным дьявольским забавам, не сулившим ничего хорошего.

— Что же до цвета, — добавила она (наблюдая, возможно, из того портрета над каминной полкой, из раскосых глаз Анны Хортон, за теми влюбленными), — то это красно-золотой цвет огня, цвета самого-самого краешка язычка пламени.

— Этот цвет будет смотреться на вас превосходно.

— Думаете, лучше, чем этот черный? — и то крохотное нечто, преисполненное недоступной ему иронии, подмигнуло ему (сравнивая, вероятно, два наряда этого огненного цвета, столь похожие друг на друга: один — почти ее возраста, там, подле Лессингема, второй — здесь, в Мемизоне, старше первого на двадцать лет; наряды, в которые она облачалась словно во сне, чистая, невинная, забывшая о своем доме на Олимпе).

— Черный? — рассмеялся он. — Вы грезите! Сегодня вы в желтом и золотом.

— О, сколь зорок и проницателен этот глаз! Сколь всезнающ в вопро-

сах супружества! — и на этот раз уголок ее губ выгнулся вверх движением крошечного чешуйчатого тельца (в тот миг, когда это нечто, возможно, тайком шепнуло ей на ухо, как до ужаса печально будет, если такой неотесанный сыч в самое ближайшее время не обзаведется рогами).

Но вдруг, когда эти желанные превыше всего на свете уста раскрылись и Она снова заговорила, то прозвучавшие слова были словами Ее поэтессы, произнесенными на сладкозвучном эолийском наречии; нестареющие, неувядающие, оплетенные лилиями строфы вновь обрели юность; это был не столько звук, не столько движение звуков или их последовательность, сколько нечто едва уловимое, рассыпавшаяся серебристым ливнем темнота, дрожь чувства, что подобно метеорам уносится под самые небеса:

φαίνεταί μοι κήνος ἴσος θέοισιν
ἔμμεν ὤνηρ ὅστις ἐναντίος τοι
ἰζάνει, καὶ πλασίον ἄδυ φωνέ-
σας ὑπακούει
καὶ γελαίσας ἰμερόεν, …

Равный бессмертным кажется оный
Муж, пред твоими, дева, очами
Млеющий, близкий, черплющий слухом
Сладкие речи, —

Взором ловящий страсти улыбки!..
Видела это — оцепенела;
Сжалося сердце; в устах неподвижных
Голос прервался! —

Замер язык мой… Быстрый по телу
Нежному пламень льётся рекою;

Света не вижу; взоры померкли;
В слухе стон шумный! —

В поте холодном трепет; ланиты
Былий, иссохших зноем, бледнее;

Кажется, смертью, таю, объята;
Я бездыханна[128]*!..*

Все листья в мемизонском саду затрепетали. Затрепетал, прильнув к своей возлюбленной, и Лессингем. И Мэри, взволнованная и трепещущая, ощутила, как все ее существо растворяется, тает под его взглядом, а также под взглядом взиравших на самое себя бессмертных очей Той, что на миг выглянула из его глаз.

Низко, гулко прозвонил полночь колокол в Энмерингской церкви. Мэри с Лессингемом, держась за руки и не шевелясь, стояли у дальнего, обращенного к морю, края сада. Мэри вслушивалась в звон колокола, вслушивалась в произнесенные шепотом слова Лессингема:

— Пора идти.

— Не уходи. Не сейчас, — попросила она.

— И не думаю. Я никуда не уйду без тебя.

— О, давай не будем… все заново. Я уже сказала тебе, сказала, что не могу.

— Ты сказала, что хотела бы.

— Знаю, но мне не следовало этого говорить. Я не могу. Не могу.

— Можешь. Я позабочусь о том, чтобы ты смогла, милая моя, это моя забота.

Мэри покачала головой. Они развернулись и очень медленно зашагали прочь.

— Ты же знаешь, в чем вся загвоздка, — сказал Лессингем после паузы. — Я не могу без тебя. Не могу жить без тебя. Ты это знаешь.

Она снова покачала головой, промолвив, почти неслышно:

— Нет, не знаю.

— Я не собираюсь стреляться или заниматься подобной ерундой. Я просто перестану жить, если тебя со мной не будет, только останется бродить по земле мое мертвое тело.

Ее лицо оставалось непроницаемым.

— Самое дьявольское в тебе, — промолвил он, — это то, что прежде у меня была масса вещей, которые я мог бы делать, и делать чертовски хорошо. Я знал это. Но с тех пор, как встретил тебя… все изменилось. Нет ничего

128 Сапфо, Ода 2, пер. А. Мерзлякова

на свете, чего я не сумел бы совершить, даже стоя на голове, если бы это только было нужно тебе; без тебя же нет смысла делать что-либо. Да ты не понимаешь, — сказал он. — Откуда тебе понять? Но ты хотя бы веришь?

Она ответила, будто прошелестел крыльями мотылек:

— Да.

— О, моя любимая, — он схватил руку, державшуюся за его локоть, и поцеловал ее: эта крохотная рука была слишком холодна для июньской ночи. — Так пойдем же. Все готово: сменные туфли, если ты промочишь ноги на выгоне, новое меховое пальто (завтра можем отдать его кому-нибудь, если тебе не понравится)…

Мэри остановилась, высвободила руку и осталась стоять, опустив глаза, отвернувшись, тяжело дыша, крепко сжав кулаки.

— Как смеешь ты так поступать? — произнесла она шепотом. — Как смеешь ты говорить мне все это? Зачем ты явился? Зачем? Я же говорила тебе не приходить. Как ты смеешь?

Лессингем пристально смотрел на нее.

— Было довольно трудно, — не шелохнувшись, выговорил он через некоторое время. — Трудно ждать. К чему все эти терпение и покорность?

С минуту они так и стояли; потом она снова взяла его за руку и они возобновили шаг.

— Мы с тобой, — вдруг сказал он, — никогда себе этого не простим, если повернем назад.

— Не проси меня об этом, мой друг. Я не должна.

— Ты моя, — произнес он, коснувшись губами ее волос над ее ухом, затем очень мягко добавил: — Ты должна.

— Да... я твоя. Но я не должна.

— Должна. Почему нет?

— Я не только твоя, — сказала она, глядя на дом и темные окна верхнего этажа.

Они шли дальше. Молчание стало пугающим, а также то, как застыла рука Лессингема под ее пальцами, и то, как выглядело его лицо, когда она взглянула на него. Он смотрел себе под ноги, отмеряя шаг за шагом.

— Ну пожалей меня.

— Ты не слишком-то меня жалеешь, — сказал он. — Не уверен, что я не свалял дурака, когда был чересчур терпеливым и покорным… — при этих

словах Мэри издала тихий удивленный возглас, а он продолжал: — …не уверен, что я не опоздал.

— О чем ты таком говоришь?

— Давай не будем прикидываться.

— Ты думаешь, когда я сказала «не только твоя»…

Ночь, казалось, внезапно стала душной, гнетущей и недоброй.

— Неужто ты не можешь признать, — сказала Мэри, — что и я была терпелива? Покорна?

— Покорна! Сомнительное достоинство.

Она снова остановилась; они отодвинулись друг от друга.

— Давай не будем играть в прятки. Меня пугает, если ты думаешь, будто я… Ты подумал, что..?

Лессингем ничего не ответил.

— О боже мой! — она простерла к нему обе руки, смеясь, будто все это было лишь шуткой, которой они могли насладиться вместе. — Так что, сказать тебе? Я ответила отказом… да уже, наверное, часа два назад. Но почему мне нужно тебе это говорить?

Он взял ее руки в свои и притянул ее к себе: трепетная, сказочная близость, в которой душа с душой сплелись столь тесно, что все чувства — зрение, осязание, обоняние — (подобно стрекозе, только вылупившейся из плена куколки) словно ослабли, затерялись меж двумя формами бытия. Лишь то крохотное нечто, привычное ко всем его формам и зависящее только от себя, а теперь — дерзко пробудившееся и бодрствующее, — разглядывало его из уголков ее губ. В ответ на это в глазах Лессингема засияло веселье.

— Так вот что заставило его выглядеть, будто… Ей-богу, хотел бы я…

— Что?

— Свернуть этому малому шею, — едко произнес он, — за нахальство… Но это лишь подтверждает: давление есть. А ты одна.

— А что если люди скажут… если он подумает: «О, ну конечно, она та еще девица. Мы с нею не поладили, и теперь, смотрите-ка, она с расстройства…»

— Тсс! Они говорят. Что говорят они? И пусть говорят![129]

Но луна, озарявшая своим безмятежным светом белое вечернее платье Мэри и эти темные окна Энмеринг Бландз, вдруг словно явила ему, приведя

129 Девиз со здания основанного в г. Абердин в 1593 г. графом Маришалем колледжа.

в замешательство, всю пустоту этих напыщенных слов — по крайней мере, сказанных о Мэри, сказанных им.

Он отпустил ее руки и замер — не то чтобы колеблясь, но будто погрузившись на мгновение в какие-то свои раздумья; тишина начала становиться опасной, как бывает, когда прислушиваешься к приглушенным звукам бодающихся и толкающихся за закрытыми дверями быков. Мэри наблюдала, как бессознательно принятая им поза застыла линиями, что, увековеченные в бронзе или мраморе, иногда встречаются в шедеврах Донателло[130]. Он поднял глаза.

— Можно сорвать одну?

Они стояли возле каменной колонны беседки, увитой розами «Слава Дижона». Мэри кивнула в знак согласия.

— Можно подарить ее тебе?

Она взяла ее, очень тихо и кротко.

— Давай погуляем еще немного, — попросил он. — Дай мне подумать.

Наконец он сказал:

— Итак, как же нам быть?

Ответа не было, если не считать прикосновения руки, которой она сжимала его локоть.

— Ты выйдешь за меня?

— Я пообещала.

— Как ты можешь обещать? Что, если они тебе не позволят?

— Дай мне два месяца; возможно, три.

— О, эти месяцы. Что же потом?

— К тому времени я все улажу. А если нет…

— Если нет?

— Если нет… что ж, я пообещала.

— То пообещала уехать со мной сегодня, — сказал он.

Внезапно он опустился на землю, обхватив руками ее колени, прижавшись к ней щекой. Он ощутил, как ее рука начала очень нежно перебирать коротко остриженные волосы на его затылке, услышал ее голос, такой ласковый и дрожащий:

— Милый. Мы не должны уезжать сегодня. Я не понимала… то, что между нами, это слишком важно… это Все. Разве можем мы сказать: «Бог

130 Донателло (ок. 1386—1466) —итальянский скульптор эпохи Возрождения.

с ним, с остальным, у нас есть это»? С остальным? Но оно — часть всего этого. Это означало бы испортить все собственными руками. Это было бы ужасно. Мы не можем так поступить. Мы не заслуживали бы друг друга, если бы смогли.

Казалось, на залитых луной лужайках и крикетном поле звучала музыка, певшая об иной жизни, к которой эта служит лишь вступлением. Он услышал ее голос:

— Этого у нас не отнять, наверное, даже если бы мы умерли.

— Однажды мы умрем. Что тогда?

— Не знаю, — сказала Мэри. — Может быть, это всего лишь тень.

— Не верю. Это и есть все.

Его объятия стали крепче; теперь он уткнулся ей в бок не щекой, а лицом, спрятав глаза.

Внезапно Мэри, стоявшая перед ним совершенно неподвижно, заговорила задыхающимся, чуть надломленным голосом:

— Ты мог бы, мог бы заставить меня уехать сегодня. Но ты не будешь. Это все испортит. Это причинит мне боль. Мне всегда казалось, ты слишком меня любишь, чтобы так поступить, казалось, ты, из всех людей на свете, ни за что не сделаешь мне больно.

Сквозь шум крови, молотом стучавшей в его венах, он почувствовал, как она дрожит и слабеет ее тело, податливое, будто тельце птички в его объятиях, почувствовал прикосновение ее руки на своем затылке, услышал ее голос, звучавший ближе и тише:

— Но назад я не сверну. Я не сомневаюсь в тебе, мой друг. Вот она я. Твоя преданная Мэри.

Летняя ночь, казалось, вдруг застыла, безмолвная.

— Я вся твоя. Делай со мной, что хочешь.

Но Лессингем, в душе которого бушевала эта новая, еще более яростная, борьба, держался крепко; он также остался недвижим, будто застыл, а потом сделал только одно: по-прежнему стоя на коленях, поймал обе ее руки и поцеловал их, поцеловал цветок «Славы Дижона», все еще зажатый в одной из них; затем, поднявшись на ноги, обнял ее:

— Спокойной ночи, милая моя, любимая, красивая. Слишком прекрасная, слишком совершенная для меня, но моя. Мне стыдно. Поцелуй меня напоследок; я ухожу.

И в последнем прощании Мэри, хозяйка положения, коснувшись кончиком носа самой чувствительной части его уха, прошептала:

— Разве не говорила я: это тоже знак, если ты достаточно мудр, чтобы его увидеть? Михайлов день… пора сбора урожая.

VII. Семеро против короля

КОРОЛЬ Мезенций и лорд-канцлер Бероальд, передохнув несколько часов в Румале, спустились по Завеси в Рубалнардал, преодолев самое восточное, самое короткое и самое труднопроходимое, а потому и самое безлюдное из ущелий, что вели из Южной Мезрии через горы на север, к зеннерским рубежам. Они ехали при полном вооружении, но были закутаны в плащи с капюшонами. Они были одни, также как и когда выезжали из Мемизона предыдущим вечером. Сразу за Илкисом они начали забирать к северу, покинув наезженную дорогу и держась поодаль от города Кутармиша, намереваясь достигнуть реки в десяти или более милях выше по течению и пересечь ее там по редко посещаемому людьми броду, а оттуда лесными тропами двинуться к Гильгашу, где и находилось намеченное место. Перевалившее через отдаленные заснеженные хребты горной цепи Рамош Аркаб солнце затопило долину Зеннера чистым сиянием безоблачного летнего утра.

— Бероальд, — заговорил король, натянув поводья на гребне холма, откуда расстилавшаяся к северу пустошь начинала сбегать поросшими вереском и серебристой березой волнами к подцвеченным от расстояния пурпуром зеленым равнинам, заливным лугам, перелескам и петляющей среди них реке. — Я передумал насчет этой затеи.

С весьма угрюмой улыбкой канцлер промолвил:

— Рад это слышать.

— Рад? Да вы ведь еще даже не знаете, о чем речь.

Король откинул капюшон своего плаща и снял шлем, позволив буйному и нежному утреннему ветерку ненадолго коснуться своего лба, взъерошив прекрасные кудри. Чист и гладок был его лоб, словно полированная слоновая кость; остальная же часть лица вплоть до окладистой черной бороды и усов, загрубелая от непогоды и пережитых страстей, несла в себе черты стальной ре-

шимости и смелости, недоступной обыкновенному человеку, а также остроумия и орлиной внезапности мыслей и поступков. Он рассмеялся, и, казалось, некая заразительная и неугасимая искра в короле, некая стремительность и безудержность, что подобна молнии или неистовой и пылкой любви, зажглась холодным пламенем и в наблюдавших за ним глазах канцлера.

— Хоть убейте, — сказал он, — не могу я заставить себя позволить даже вам, Бероальд, — теперь, когда дошло до дела, — разделить со мною право совершить это великое деяние.

Канцлер покачал головой:

— Я давно уже оставил попытки постичь вашу светлость и понять, к чему вы иной раз клоните. Стало быть, вы поедете один?

— Один.

Бероальд промолчал.

— Ну же, — промолвил король, вновь надевая шлем и накидывая сверху капюшон. — Вы же политик — и по-прежнему не видите в этом смысла?

— Мне представляется бессмысленной уже сама эта поездка. Если бы я обладал вашими полномочиями, я бы просто снял его с наместничества и дело с концом. Но спорить об этом я больше не хочу. Здесь ваша светлость взяли надо мною верх.

— Помните, — сказал король, — я направляюсь туда, чтобы укротить одичавшего и беспокойного сокола. Если я поеду в чьем-либо сопровождении, он может испугаться, что честолюбивые планы, безумным червем извивающиеся в его голове, теперь будут раскрыты и явлены на обозрение всему свету. Это может подтолкнуть его к необдуманному применению силы: наброситься на нас прямо на месте и тем самым все загубить. Потому что, поступи он так, произойдет одно из двух, причем и то и другое плохо: в худшем случае мы с вами погибнем, сражаясь вдвоем со столь многими, или же (и это будет меньшее зло) убьем его — а этого я решил не делать, так как собираюсь всего лишь приструнить его.

Он замолк. Канцлер лишь поджал губы, несомненно, считая бессмысленным биться головой о стену.

— Поэтому, — сказал король, — вы будете дожидаться меня в одном месте, которое я вам покажу; это на опушке леса, по эту сторону от Гильгаша. Если я не появлюсь до полуночи, то не сомневайтесь: произошло самое худ-

шее; потому спешите, спешите что есть мочи обратно в Сестолу, и сделайте там то-то и то-то, — и он подробно разъяснил, как быть дальше.

Между тем в сорока или более милях к северу оттуда, в крепости Лаймак, этой ютившейся на холмике неприступной серой цитадели, что испокон веку служила роду Парри убежищем, ключом и опорой могущества, благодаря которому они многие годы, в открытую или тайно, правили Срединным Королевством, богатея на ререкских землях, этим прекрасным утром двадцать пятого июня лорд Горий Парри остановился у окна своих покоев, взирая на юг. Взгляд его был исполнен безмятежности; безмятежен был и его не изборожденный морщинами лоб. Поросль похожих на бархатный ворс коротко остриженных волос покрывала всю его круглую голову вплоть до толстой бычьей шеи; рыжие волосы, жесткие, как кабанья щетина, росли и на его спине. Его борода, также коротко обрезанная, заканчивалась на подбородке тупым клином. Его глаза светло-орехового оттенка были невелики и близко посажены, будто медвежьи, а острый их взгляд сверкал подобно бриллиантам. Его ноздри шевелились и раздувались, как у возбужденного зверя, и, глядя на него, можно было бы поклясться, что он бьет хвостом. Однако над всем этим царила безмятежность, безмятежность разума, находящегося в мире с самим собой; все его могучее тело было спокойно, как сокол под колпачком, или как тихие морские воды, скрывающие в своих глубинах подводное течение. Крупного сложения, широкоплечий, лет, наверное, пятидесяти от роду, был он, однако, крепок; это была наступающая от жизни воина и охотника подтянутость, переходящая в дородность, которая в противном случае могла бы проистекать от чрезмерной склонности к застольям и постели. Роста он был чуть ниже среднего, но взгляду его и осанке была присуща такая величавость, что он выглядел человеком, который может казаться высоким, не становясь на цыпочки.

— Ему же лучше было бы убираться отсюда, — произнес он, не оборачиваясь. — Ты собрал мне тот эскадрон всадников?

Сидевший за широким дубовым столом в окружении бумаг, чернильниц и пустых кресел Габриель Флор ответил:

— Через полчаса будут ждать у главных ворот, ваше высочество. Что же до него, то он не желает ничего слушать.

— Ну и наглец. Он, что, спятил?

— Весьма похоже.

— Веди его сюда.

— Если вашему высочеству будет угодно, я могу отправить двух парней окунуть его в ров. Может, это его чему-нибудь научит.

— Веди его сюда, ты, поросятина.

Габриель ушел и вскоре вернулся.

— Лорд Сормс, — громко объявил он, чуть замешкавшись, чтобы позволить тому войти первым.

Однако комната была пуста. Сормс, опешив, в гневе обрушился на Габриеля.

— Проявите терпение, господин мой. Его высочество наверняка скоро будет здесь.

— Ах ты, подлец, я уже устал терпеть. Где деньги, что я тебе дал?

— Ваша светлость получили все сполна, да еще и втрое больше, в виде моих мудрых консультаций.

— Что? Да почему я должен неделю торчать в Лаймаке, чтобы добиться справедливости? Аркез причинил мне ущерб. Вот уже шесть месяцев, как я, с разрешения наместника, переданного мне твоими собственными руками, начал тяжбу, пытаясь всеми доступными способами отстоять свои гарантированные королем права. Но все впустую. Кто-то строит козни против меня. Земли у меня нет и привилегий немного. Эта поездка на юг обошлась мне недешево. Три дня назад я посылал к наместнику, прося об аудиенции, но он не пожелал разговаривать. Я говорил с Россильоном, вчера — еще раз с тобой; с тем же успехом можно было бы пытаться надоить в сито молока у козла. Потом я еще раз послал к наместнику, но он не мог присутствовать по причине охоты. Или я получу желаемое нынче утром, или отправлюсь на охоту с ним вместе, клянусь Богом.

Он принялся расхаживать по комнате взад и вперед. Габриель возился с бумагами на столе. Вдруг он поднял голову:

— Ради вашего же блага дам вашему сиятельству один мудрый совет. Непрошенным гостям в Лаймаке не место. У его высочества наместника хватает забот и без вас с вашими мелкими распрями. Он уже и так разгневан вашей назойливостью. Будь я на месте вашей светлости, я бы убирался из Лаймака, покуда еще есть такая возможность. Пока ярость его высочества не уляжется, не показывайтесь ему на глаза.

— Я добьюсь справедливости, — отозвался лорд Сормс. — А пока что я намерен вести себя с вами так, чтобы поскорее вас вымотать. Что же до тебя, так, сдается мне, правду говорят: мастеровой не худ, да в душе плут. И ты, и твой хозяин тоже, — тут его челюсть отвисла, когда, обернувшись на шум за своей спиной, он очутился лицом к лицу с Парри собственной персоной, незаметно вошедшим через крохотную потайную дверцу.

— Что ж, господин Сормс, — промолвил тот дружелюбным и ласковым голосом, — с проблемой вашей светлости я ознакомился. И мне хорошо понятно, сколь неприятно было вам находиться здесь так долго, томясь в неведении относительно того, будет ли ваше дело каким-либо образом улажено или нет, и как скоро.

— Благодарю ваше превосходительство. Все это, хоть и пустяк для вас, для меня — вещи весьма важные и значимые. Мои бумаги вот уже шесть месяцев рассматривает ваш сеньоральный суд в Леверингее. Этот ваш помощник еще в апреле получил мою апелляцию на имя вашего превосходительства как верховного королевского наместника в Ререке. Дело застопорилось. И теперь, немало удивленный проявленной по отношению ко мне холодностью и небрежностью, я, сопоставив слова с делами, не могу не признать, что все это — всего лишь увертки. Я вынужден полагать, что ведутся махинации, которые…

— Ага, махинации, — тихо промолвил наместник, бесшумно подступая ближе к Сормсу; хорьи глаза Габриеля следили за своим господином. — Есть один очень большой секрет, и, пожалуй, будет только справедливо, если я теперь же разъясню вашей светлости, почему столь мало внимания уделял вашим провинциальным заботам. Итак, суть вот в чем: в своей завистливости, алчности и мстительности я в самом скором времени намереваюсь, ни много ни мало, преступным образом и вопреки всяческим законам узурпировать и присвоить себе титул верховного короля Ререка. А чтобы вы не проболтались, получите-ка вот это… — и, прыгнув вперед, словно спущенный с цепи Цербер, ударил того выхваченным из-за пояса кинжалом сначала чуть позади уха, потом под ребра, и наконец, под ключицу.

Габриель, который бел невелик ростом, отшатнулся к столу, наблюдая за происходящим; его зубы, заостренные и неровные, желтели среди темной бороды и усов.

— Я научу этих мелких лордов уму-разуму, — произнес наместник, швыряя окровавленный кинжал на пол и тяжело дыша после этой вспышки.

— Хныкают тут передо мною из-за всякой ерунды, когда у меня полно более серьезных дел. Иди-ка сюда, малютка мой.

Габриель приблизился; его лицо посерело, а глаза расширились от страха. Наместник схватил оба его запястья одной рукой, в то время как другой, широкой, будто сушеная пикша, покрытой веснушками и мерцающей в солнечном свете рыжеватой порослью волосков, сдавил Габриелю горло.

— Слышал, что я сказал мерзавцу?

— Да.

— Веришь? — его глаза, ищущие и колючие как иголки, впились в глаза Габриеля.

— Нет, пока ваше высочество не повторит то же самое мне.

— Как смеешь ты даже воображать, будто это не ложь?

— Не надо вашему высочеству так лютовать. Я и не смею.

— Ну а если бы так все и было? Что тогда? Говори, мразь, или я с тобой разделаюсь.

— Кто у меня есть кроме вашего высочества? Я весь ваш. Я — что воск в ваших руках.

Глаза наместника вонзались в его глаза, как нож вонзается в рану. Габриель затаил дыхание. Внезапно наместник притянул его к себе, будто женщину, и поцеловал.

— Даже тебе, дорогуша, опасно слишком много знать о моих планах. Излишняя прямота и опрометчивость, также как и глупость с поспешностью, никого до добра не доводила. Ступай, не нужны мне никакие игры кроме тех, что заканчиваются в постели. Они увидят мою спину, но лицо мое останется невидимо. А ты навостри уши и иди за мною по пятам, если хочешь пережить эти несколько опасных дней. Так что, — закончил он, отпуская его, — надо быть осторожными. Убери тут. Скорми падаль псам. Потом присоединяйся ко мне у главных ворот. Нам нужно до заката быть в одном месте, сам знаешь каком.

Был вечер того же дня и солнце уже садилось, когда граф Мандрикард натянул поводья, выехав из-за деревьев на северный край прогалины, к старому, заброшенному и развалившемуся дому, что стоял одиноко посреди сосновых лесов в миле за деревенькой Гильгаш у самых границ Ререка. Это был крупный человек с тусклыми глазами и лошадиным лицом, с загрубевшей

и сморщенной коричневой кожей и длинной клочковатой бородой, в которой не было ни единого завитка. Все на прогалине словно замерло. На западе закатные отблески здесь и там пробивались сквозь пурпурно-зеленоватую темень сосновых крон и частокол тесно стоящих стволов. Он направил своего коня к двери дома. Со всех сторон к стенам подступали заросли крапивы. Окна были закрыты ставнями. Он повернул коня и, перегнувшись в седле вбок, дотянулся до двери и сильно ударил по ней рукоятью своего меча. Тишина словно сгустилась от звука этого удара, а также от топота маленьких лапок (вероятно, крысиных), что за ним последовал. Мандрикард подождал минуту, затем, проворчав какое-то ругательство, соскочил с коня, дернул задвижку и вошел. Дом был пуст и неприятно попахивал гнилью, пауками, могилой. Он сплюнул и направился обратно, потом снова вскочил в седло. Быстро темнело; последние угли заката угасали меж стволами сосен, словно кровь под виселицами. «Зуб за зуб — вот это было бы по-честному, — сказал он про себя. — Черт возьми. Если уж я постарался прибыть на этот дьявольский пир к назначенному часу, почему их-то нет?» Он сплюнул. «Клавий, — продолжал он, — юный пронырливый сукин сын. Вот мерзавец, вечно так и вертится, что платяная вошь, но доверять ему меня не заставишь. Зачем он ему сдался, вот загадка, да еще и после того, как отрубил голову его же отцу за то, что тот сглупил в ульбской заварухе, а ведь он был лордом-председателем Марки. Или вот, Гильман. Хотя после того, как он продал ему своего родного брата, чтобы того порубили на куски в темницах Лаймака, он, видимо, может ему доверять. К тому же этот малый коршуном смотрит на Эркеля с Арамондом; знает, что, покуда Парри правит в Ререке и благоволит к нему, он может не выпускать из своих когтей Вейринг с Теллой, которые в противном случае тут же переметнулись бы на сторону принца Эркеля. Знает и то, что его следовало бы лишить титула лорда уже давным-давно за его неумение руководить; дело его было безнадежно, да наместник вступился и сумел его отмазать. Да, на Гильмана он может рассчитывать. Статмар… что ж, я боюсь лишь его добродетельности. Однако без него ничего не выйдет. Тот, чей зад прочно устроился в Аргъянне, может одной левой управлять всем порубежьем. Ольпман… его я считаю простым трепачом. С него толку мало. Аркез… Аркеза я ненавижу. Кто он, как не обыкновенный головорез и негодяй, разжиревший на присвоенном себе чужом добре? Он и раньше давал ему поручения, это верно; и потом, он собирается (об этом болтают все подряд)

вышвырнуть Сормса ради него… Вот и все. Думаю, для этой затеи ему не помешали бы помощники и получше».

Он отпустил поводья, повисшие на седельной луке. Тихий мерный шум пережевываемой травы в этой зловещей тишине нес в себе угрозу, напоминая об убегающих песках Времени. Кто-то будто нашептывал ему: а что если все это было устроено лишь для того, чтобы оценить преданность его персоне? Может, он и не собирался наносить удар, а для начала — собрав нас всех здесь, в этом самом отдаленном уголке королевства — отобрать лучшие из клинков, а худшие разломить надвое и выбросить на помойку? Удивительно, как все мы вынуждены, словно неразумные создания, преклоняться и хранить верность ему, который сам по себе всегда был лжив и двуличен. Может быть, в этих случайных проволочках кроется какой-то замысел: то ли замысел небес, то ли его собственный. В то же время опасно проявлять неповиновение монарху… «Как бы там ни было, сделаем вот что, — вдруг сказал Мандрикард. — Надо уматывать, пока не поздно». С этими словами он встряхнул поводья и двинулся через леса на север.

Прошло лишь несколько минут с тех пор, как он удалился, когда начали появляться остальные: первым показался принц Гильман на белом коне, его догнал граф Ольпман.

— Я вижу, ваше превосходительство едет при всеоружии.

— Как и вы, — заметил принц.

— С кем нам предстоит сегодня встретиться?

— Ответ вам известен так же хорошо, как и мне.

— Наш хозяин, мы двое, да еще четверо избранных им. Что вы думаете об этих четверых?

— Назовите мне сначала их имена.

Ольпман хитро ухмыльнулся:

— С позволения вашего превосходительства я сперва взгляну на них, а уж потом назову.

— О Боже! — воскликнул принц. — Мы, что, дети, чтобы ходить вокруг да около, когда каждому все известно, и каждый знает, что остальным известно тоже? Неважно… может, так и надежнее. А что вы о них думаете?

— Я верю, что он выбрал наилучших.

— Верите? Странновато звучит после таких-то речей, да еще из уст законника.

— Когда доходит до дела, лучше не суетиться, покуда не прижмет.

— Я скажу вам, Ольпман, во что верю я. В ненависть, а не в любовь, в честолюбие, а не в преданность, но прежде всего — в выгоду. Вот почему я верю наместнику.

— Почему же? Из-за выгоды?

— Именно. Из-за выгоды. Он выгоден мне, а я ему. Вам же я доверяю по причине ненависти, которую вы питаете к Бероальду.

— Ну, у вашего превосходительства, полагаю, тоже немного причин его любить.

— Это еще почему?

— Из-за этой развратной и кровожадной бабы. Ведь это вашего племянника закололи кинжалами в Крестенайе.

Принц еле заметно пожал плечами. Он казался суровым и надменным, холодным и меланхоличным человеком, не лишенным определенного обаяния.

— О, насчет этого я не уверен. Подобные обстоятельства и нас подталкивали к подобной же жестокости. У вас, господин мой, более веские причины ненавидеть этого Бероальда, некогда вашего ученика, который моложе вас лет на десять и которого вопреки всякой справедливости и здравому смыслу предпочли вам на это видное место верховного канцлера Фингисволда. Нечего им тогда и удивляться, что мы решили позаботиться о себе иным способом, присоединившись к противоположной стороне, раз уж у них мы не нашли признания и поддержки… А вот и Аркез с Клавием. Этими двоими движет страх.

— Думаете, они страшатся из-за того, что ему о них известно?

— Именно. А также потому, что он может разделаться с ними, когда пожелает… Вот и Статмар. Неплохо. Статмар вселяет в меня спокойствие.

В меркнущем свете было почти невозможно различить лиц, а луна еще не взошла. Сам наместник на огромном гнедом скакуне приехал последним; за ним по пятам следовал Габриель на бурой лошаденке, ведший в поводу еще одну лошадь, навьюченную переметными сумами и двумя винными бочками.

— Доброго вечера вам, — промолвил наместник, соскакивая с коня и передавая поводья Габриелю. — Пятеро. Что ж, пошли. Каждый нынче сам

себе конюх. Заведите их во двор за домом; не стоит рисковать в момент, когда расхлябанность может все погубить. Габриель, закрой ставни вон в той комнате, щели занавесь плащами, потом зажги свечи и расставь на столе вино и мясной пирог. Побеседуем за ужином.

Потом он незаметно прошептал Габриелю:

— И не забывай, что я тебе сказал. На всякий случай.

Габриель в ответ сверкнул своими бегающими глазками и в следующий миг послушно удалился.

Они уселись за ненакрытый стол на козлах; наместник устроился в ближнем конце стола, возле двери, справа от него сидел по шею закованный в латы Ольпман, а слева — Статмар с отважными и честными карими глазами, квадратной коричневой бородой и бритой головой: человек крупный и сильный, лет около сорока. Справа от Ольпмана огромной тушей высился Аркез, его крохотные свиные глазки терялись в складках плоти; с противоположного конца стола, лицом к наместнику, расположился Гильман, справа от которого находился Клавий, а потом Статмар. Младшим из всех казался этот Клавий, вида нахального и вызывающего, с пушистой желтой бородой и блеклыми рыбьими глазами. Габриель по распоряжению наместника то входил, то выходил, стоя на страже, держа мясо в одной руке, а обнаженный меч в другой, и время от времени пригубливая вина.

Наместник уже снял свой плащ и сидел в камзоле из дубленой кожи, обшитом чешуйками и бляшками из полированной стали, с золотыми пряжками на шее и талии, и в стальном латном воротнике, украшенном золотом и серебром. Выпрямившись и положив ладони на стол перед собой, он оглядел собравшихся одного за другим.

— Вы сразу же начали с ослушания, принц, — заговорил он, выпятив челюсть. — Нарушили обещание еще до того, как мы сели за стол.

Гильман изменился в лице:

— Не понимаю, что ваше превосходительство имеет в виду.

— Привели с собой отряд солдат, тогда как я поставил условием, чтобы все явились в одиночку. Я самолично видел их в Гильгаше.

— Прошу прощения. Их там всего трое или четверо, сугубо ради моей безопасности.

— Я сам могу позаботиться о вашей безопасности, господин мой. Разбойники и грабители не расхаживают безнаказанно здесь, в Южном Ререке,

как они имеют привычку это делать у вас на севере. Если я доверяюсь человеку, ему надлежит для начала довериться мне, зуб за зуб. Кто еще поступил так же? Ольпман, проезжая через деревню, я видел вашу эмблему на куртках у дюжины человек.

— Надеюсь, ваше превосходительство простит меня, если я неправильно истолковал уговор, — сказал граф.

— Не надо мне этих «если». Все это остается за вами до тех пор, пока вы не искупите свою вину.

— Я полагал, нам можно было доехать с ними до Гильгаша, а уже оттуда в одиночку добираться сюда, в Середов Луг.

— Дьявол вам в бороду! Вы, законники, словно каракатицы: вечно норовите замутить после себя воду своими чернилами. Статмар?

— Со мною ни души, господин мой.

— Вот это слова мужа. Клавий?

— Я не осмелился показываться без сопровождения на мезрийской границе из-за Ибиана.

— Вашего прежнего мезрийского хозяина? Что ж, пожалуй, это уважительная причина, — наместник коротко хохотнул; это было нечто среднее между рыком и лаем. — Если бы я был столь суров, чтобы выдать вас Ибиану связанным, когда он меня об этом просил, я поставил бы пять бочонков муската против пары горошин, что вам бы уж больше не довелось тут шнырять... Аркез?

Аркез мрачно ответил:

— Нет.

— Что нет? А я говорю, вы привели с собой людей, несмотря на заключенный между нами уговор. Отвечайте мне прямо и без уверток, так это или нет.

— Отвечаю прямо, ваше высочество, это не так.

Устремленные на него глаза наместника потемнели, словно налившись черной как сажа желчью. С минуту стояла тишина. Потом наместник снова заговорил, откинувшись на спинку кресла и сложив руки на груди:

— Клянусь шерстью на ушах Сатаны! Я бы охотно покончил со всеми вами. Господин Статмар и я явились сюда одни, как и было условлено, — здесь Габриель, по-прежнему сновавший к двери и обратно, никем незамеченный,

усмехнулся себе в рукав. — Остальные нарушили уговор, даже в такой мелочи, с той же легкостью, как собака сжирает кровяную колбасу.

Будто кролики перед горностаем сидели молча эти знатные лорды, в ужасе не осмеливаясь отвести глаза от взгляда, что переходил от одного к другому.

— Где Мандрикард?

Никто не знал, где он.

— Если он взялся хитрить… что ж, говорят, у королей длинные руки, так он убедится, что мои еще длинней. Я отрублю ему голову как оленю, и буду хлебать вино из его черепа. Так вот, слушайте, — сказал он, внезапно грохнув кулаком по столу, так что все повскакали с мест. — Если кто-нибудь здесь сомневается, стоит ли доверяться мне в этом деле, пускай отправляется восвояси сейчас. Клянусь честью, я не затаю на него ни злобы, ни неприязни. Но так будет, только если он уедет сей же миг; после того, как я поведаю вам о деле, пошедший на попятный поплатится за это не чем иным как собственной жизнью.

Но они все в один голос принялись клясться и жарко заверять его в своей преданности.

— Тогда, — сказал он, — перейдем прямо к делу. Здесь нет никого, кто не рожден или не вырос в Ререке. Все эти десять или более лет в этой земле наших отцов происходили перемены. Мы — лояльные вассалы нашего властелина, короля (да пошлют ему Боги вечную жизнь). Несмотря на это мы ощущаем перемены, ощущаем над собою иноземную власть. Например, я: Лаймак уже на протяжении тридцати поколений оставался самому себе хозяином, теперь же это королевский феод, а мы вынуждены нести службу и хранить преданность. Что до более мелкой рыбешки, то где бы они были сегодня, если бы я не стоял между ними и утратой ими своих привилегий? Где был бы Мандрикард? Граф Ольпман, где были бы вы? Когда руки палача уже нащупывали ваш ворот, чье милосердие как не мое помогло бы удержать эту вашу голову у вас на плечах? То же касается и дюжины других, оказавшихся в столь же плачевном положении после измены Валеро. Вы, да и вы тоже, господин Статмар, свидетели того, сколь сурово я покарал этого изменника; столь же сурово покараю я и любого, кто вздумает притеснять своих соседей в этот час, когда королевство погрязло в раздорах. Я срезал бы им бороды начисто, этим наглецам, этой дворцовой знати, что раздувается сейчас от важности: Иеронимию,

Бероальду, Родеру и им подобным, кто до отвала обжирается пищей, по праву принадлежащей людям получше их. И с божьей помощью одного-другого я с их насеста сдерну еще прежде, чем доживу до седин. Теперь вы, Гильман. Помните, король отнял у вас Кайму — богатейший и драгоценнейший из камней в вашей монаршей короне — из-за этой неурядицы с вашим братом Валеро, но по моей просьбе вернул ее вам обратно. Я также помог вам справиться с вашими соседями-принцами, Эркелем и Арамондом, которые в своей застарелой многолетней злобе так докучают вам у ваших границ. Лишь благодаря быстроте моей разведки вы прошлой зимой ускользнули из вашего нищего городка Вейринг невредимым. Я помогал и поддерживал вас в подавлении мятежей в различных городах на ваших землях, которые могли подстрекнуть и повлечь за собою и прочие города. Вам же, Аркез и Клавий, я скажу лишь одно: у меня в шкатулке предостаточно свидетельств против вас, чтобы (если вы в чем-либо не угодите мне) передать вас тем, кто отрежет вам головы и ноги, а то, что останется, вывесит pro bono publico[131].

Открой еще бочонок, верный мой слуга, — велел он Габриелю. — От этих дружеских наставлений удивительным образом пересыхает в горле, — он принялся выстукивать пальцами по столу моррис[132], пока разливалось вино. Когда он поднял глаза, грозовые тучи исчезли с его лица. — Мы все — лояльные вассалы, — сказал он. — Однако печальная истина состоит в том, что ни один король не живет вечно, и лишь благоразумно будет поразмыслить, что ожидает нас за следующим поворотом. Неудивительно будет, если некоторые из тех, кто верой и правдой служил королю Мезенцию, окажутся неугодны, когда очередь дойдет до короля Стиллиса.

— Что по закону и должно произойти, — заметил граф Ольпман. — Он рожденный в браке сын и бесспорный наследник.

— Неопытный мальчишка, — промолвил Статмар.

— Гордый, спесивый, алчный до всего по-настоящему ценного, — добавил Гильман.

— Да сотрется память о нем, — сказал Клавий.

Аркез скрипнул зубами.

— Подобные затруднения, — заговорил наместник, — легко обратить в преимущества, если подойти к этому с умом. Но у него в наставниках него-

131 Pro bono publico (лат.) — «ради всеобщего блага».
132 Моррис — народный театрализованный английский танец.

дяи. Будьте уверены вот в чем, господа мои: когда придет этот день, вы увидите, как триумвират придворных лизоблюдов под знаменем юного Стиллиса захватит власть в Трех Королевствах: Родер — потому что мальчишка до сих пор льнет к нему, как к няньке, жирный адмирал — потому что все законно, и все должно оставаться как было, а Бероальд — потому что у двух других в их бараньих головах и на двоих-то недостанет мозгов прожить и недели, чтобы не влезть в какие-нибудь неприятности, также как и решимости придерживаться какой-либо ранее принятой линии поведения; они сами к нему прибегут.

— И помимо всего этого, — заметил Статмар, — вашему превосходительству следует считаться с Зайаной.

— Да, я как раз переходил к этому.

— О, я от него ничего особенного не жду, — сказал Ольпман. — Пока у него есть эта красотка, с которой можно обжиматься, он безвреден. Бездельник…

— Тут ваши глаза, господин Ольпман, прежде столь проницательные и острые как иглы, оказались слепы, словно жучьи, — сказал наместник. — За прошедшие пять лет он проявил себя в управлении своим герцогством столь же дальновидным, как и его отец. Пусть то, что он по своей незрелости и лености ест, пьет и флиртует с женщинами, не вводит вас в заблуждение, будто это и все, на что он способен. У ублюдков часто дерзость и храбрость в крови, особенно у вышедшего из чресл короля Мезенция. И если мы не позаботимся об этом юном герцоге, он может сыграть решающую роль в нашем крахе. Если Стиллис, Барганакс и эти трое объединятся против нас, дело наше наверняка полетит к чертям. Но если мы будем подпитывать раздоры между ними и не давать им стакнуться (например, по отношению к нему мы можем воспользоваться обидами, которые не по-братски нанес и наверняка еще нанесет ему Стиллис), — что ж, при таком подходе я готов прозакладывать свою жизнь, что Ререку найдется, где укрыться от любого дождя.

Наступила тишина. Под беззаботным на вид, но таким до неприятного проницательным взглядом наместника глаза присутствующих начинали бегать, будто каждый ожидал, что кто-нибудь другой расколется первым, показав, что скрывается под этими нервными намеками, общими местами и недомолвками.

— Позвольте мне напомнить вам, если вы забыли, — сказал наместник, — что именно вы, а не я, первыми стали добиваться этой встречи,

неоднократно в своих письмах прося быть взятыми под мою защиту. И чтобы вы видели, что я принимаю в этом участие только ради общего блага, вот что я вам скажу: если есть среди живущих хоть один, кто окажет вам больше помощи, нежели я, в тех трудных обстоятельствах, о которых мы только что говорили, покажите его мне. Я уступлю ему место, поклянусь в преданности и пообещаю поддержку.

Все оставались немы как рыбы.

— Вот вы, принц Гильман, возьмете это на себя? Говорите?

Под сердитый ропот Гильман поспешил отказаться от столь неприятной обязанности.

— Стало быть, решено? Что если нам послать к Эркелю в Эльдир и предложить ему нас возглавить?

— Прежде Бог поразит его!

— Тот древний лютый тигр, что нас столь долго ждал[133]?

Клавий принялся мурлыкать песенку, которую распевали приспешники Гильмана на улицах Вейринга:

Эльдирскому брату
Здесь у нас не рады!

Вновь получив слово, Гильман сказал:

— Если Ререку надлежит говорить голосом одного человека, чей голос это может быть, как не Парри?

Габриель Флор, зоркий и бесшумный как ласка, скользнул между лавкой и стеной, налив вина сначала своему хозяину, а потом и всем остальным. Все осушили кубки. Потом наместник произнес.

— Если я и наговорил вам нынче вечером резких слов, — сказал он, — то уверяю вас, делал я это, лишь желая отделить верных и испытанных друзей от ложных, перед тем как отбросить все реверансы и перейти непосредственно к сути этого великого замысла. Давайте признаем, радости в Ререке не стало с тех пор, как вознесся ввысь Фингисволд. И это, пусть и подается оно как произошедшее per jus regale[134], есть тирания. И было бы омерзительно, недопустимо и навеки позорно для нас — учитывая установившуюся между мной и вами дружбу, а также многочисленные письменные обещания (которые, доложу я вам, на деле означают армию более чем из пяти тысяч солдат, сплошь

133 Цитата из стихотворения У. Данбара «О Воскресении Христовом»; под тигром здесь имеется в виду Сатана.
134 Per jus regale (лат.) — «по праву короля».

ветеранов, готовую прибыть куда угодно в десятидневный срок и расположившуюся под Кутармишем) — если мы эту тиранию не опрокинем.

Он замолчал. Слушая его, они, казалось, все сильнее запутывались в его силках.

— Иными словами, — промолвил он, — возможность у нас есть.

Некоторое время никто ничего не говорил: все наблюдали друг за другом. Затем Гильман, окинув стол своими вытянутыми бледными глазами и облизнув языком свои тонкие бескровные губы, проговорил:

— Меня тревожит лишь одно, господа мои. Его высочество сказали: «возможность есть». Но разве у противника не больше возможностей? Посмотрите, сколь он могуч и сколь безраздельно правит в Ререке, дойдя уже до того, что низвел нас из принцев в пажи. Полагаю, и у него самого найдутся в Ререке приспешники; к тому же он склонен держать свое недовольство при себе, а уж потом, подобно карающей деснице Бога, с ударом не промедлит.

Воздух в комнате вдруг словно стал спертым. Снова они обменялись взглядами.

— Тогда пускай Бог пошлет его сюда, — с низким самодовольным смешком произнес Аркез, — и позволит мне выпустить ему кишки.

Наместник посмотрел на Аркеза, потом искоса взглянул на Гильмана из-под прикрытых век.

— Это довод. Следовательно, нам не следует медлить, но ударить первыми?

— Да, — подхватил Клавий, — причем ударить в самое сердце.

— Кто выскажется против? — спросил наместник. — В столь сложном и опасном деле, какое вы мне предлагаете, необходимо всем держаться вместе или все пойдут ко дну in solido[135].

— Лучше так, — сказал Гильман, — чем томиться в неволе, будто звери или рабы.

— Кто выскажется против?

Но все они громко загалдели, крича «Рази, за Парри и Ререк!», «Смерть Мезенцию!» «К дьяволу злобного тирана!» «Порубить его на куски!»

— Вы, Статмар? — спросил наместник, видя, что тот сидит молча посреди всего этого гама.

135 In solido (лат.) — здесь, «все вместе», «скопом».

— Я просто не хочу быть одним из тех, — ответил тот, — кто опрометчиво болтает языком перед великими мира сего, когда его о том не просят. По моему мнению, мечу лучше быть обнаженным, нежели убранным в ножны. Однако же…

Наместник трижды погладил свою бороду. Огромным как лев он казался, сидя в своем высоком кресле, рыжим как лисица и скользким как угорь, когда того пытаются ухватить за хвост; казался он королем in potentia[136], которому не хватает лишь королевской короны и скипетра, и королем весьма злобным. В этот самый миг, прежде чем он успел заговорить снова, дверь перед Габриелем распахнулась и перед ними во всем своем величии предстал король.

Все вскочили на ноги и все кроме наместника с Гильманом схватились за эфесы своих мечей. Само мгновение будто зависло в неустойчивой неподвижности, в то время как их опешившие умы ожидали указаний, как им быть дальше. Лишь лорд Горий Парри, молниеносно оценивший положение дел и все варианты, все хитросплетение хорошего и плохого, известного и неизвестного, неотвратимого и в конечном счете неизбежного, сулившего жизнь или смерть, казалось, встретил случившееся в холодном рассудке. Тут словно лопнула натянутая чересчур сильно тетива и Габриель услышал, нарушившие молчание слова короля:

— Добрый вечер, кузен.

Он услышал в глубоком и звучном голосе короля, беззаботном и уверенном, почти неуловимую нотку иронии, что отзывалась не столько в ушах, сколько в самом мозгу костей, увидел поклон наместника, увидел, как на миг скрестились их взгляды, его и короля, как будто каждый пытался искусно прощупать мысли другого.

Все отсалютовали королю, неискренне, но с деланным смирением и покорностью, затем выпили за него, за его здоровье, процветание и победу над его врагами. Наместник освободил для него место во главе стола, а сам устроился справа от короля, между ним и графом Ольпманом.

— Лишь пара недель прошла с тех пор, как я пировал у тебя в Лаймаке, кузен, — промолвил король, поднося к губам кубок, из которого наместник лишь только что пил за его здоровье, и выпивая за каждого из них по очереди.

136 In potentia (лат.) — «потенциально».

— И вот, застигнутый ночью в этих лесах, мог ли я надеяться на более удачную находку, чем сии гостеприимные покои? Или на более удачную компанию любящих друзей и подданных, собравшихся здесь? — его глаза казались веселыми, как у человека, окруженного своей семьей и не подозревающего ни о чем на свете.

— Увы, — промолвил наместник, — могу предположить, что это место должно казаться вашему высочеству странной конурой. И, говоря по правде, собрались мы здесь по странному делу.

Более мудрые при этих словах встрепенулись, а те, что попроще, заулыбались про себя. Но король беспечно сказал:

— Я полагал, вы, как и мы, собрались на охоту.

— Можно и так сказать. Надеюсь, ваша светлость хорошо поохотились?

— Выследил огромного медведя в самой его берлоге, — ответил король. — Но он покуда не убит.

Наместник встретил его взгляд, не дрогнув.

— Что до нашей охоты, — произнес он, — то ваше высочество посмеется над нами. Вы, возможно, слышали историю об этом самом хуторе: о том, что в давние времена жил в этом месте один землевладелец, и было у него полно добра и скота. Жил он совсем один, если не считать рабов. И рабы эти, видимо, недовольные его жестоким и злобным обращением, однажды ночью сговорились и убили его.

Говоря, он оглядывал стол и видел, как они сидят бессловесными тварями, словно боясь встретиться с чьим-либо взглядом — его или кого-то другого, — если поднимут глаза. Лишь король, лениво водя пальцем по краю кубка, ответил ему взглядом на взгляд; лениво, как человек, смакующий вино какой-то тайной шутки, еще более восхитительной потому, что она скрыта от всех остальных. Наместник же продолжал:

— С тех пор и до сего дня никто не отваживается поселиться в этом месте из страха перед мертвым духом, который, говорят, скачет ночами по крыше, ломает шеи людям и зверям и тому подобное. И потому этот дом заброшен уже, наверное, на протяжении трех поколений, и совсем развалился. Так вот, принц и господин Ольпман заключили со мною пари на тысячу дукатов, что все эти истории правдивы, и что нечто недоброе и впрямь посещает дом; я же утверждаю, что все это вздор и дурацкие бабьи россказни. И чтобы разобраться, кто прав, мы намерены просидеть здесь ночь, выпивая и беседуя,

вместе с этими четырьмя лордами, которые смогут засвидетельствовать, случится ли с нами что-либо необычное.

Король усмехнулся.

—Готов поклясться, в этом доме найдутся вещи, которые стоило бы выяснить. Когда я проезжал мимо, полагая его пустым, а, открыв дверь, обнаружил внутри эту вот честную компанию, мне пришла на ум древняя легенда о пастухе, заночевавшем у Святой Горы в Исландии. Он увидел, как гора раскрылась с северной стороны, а внутри горы он увидел жгучее пламя и услышал оглушительный шум и звон рогов с вином; а еще он услышал, что там приветствуют Торстейна Трескожора и его команду[137]. Его и его команду. Помните?

— Тех, которые, как стало известно позднее, утонули в море?

— Да, мертвецов, — сказал король. — Той ночью они пировали в Святой Горе. Разница лишь одна: здесь покуда что все живы.

Украдкой, будто их начал охватывать странный и непривычный для них ужас, они стали искать взглядами глаза наместника. Наблюдавший за всем этим Габриель Флор подумал о том, что у большинства вещей есть две стороны. Что если один из этих заговорщиков выболтает все королю раньше времени? Что если его хозяин, сидящий столь задумчиво, подозревает то же самое? Габриель ждал от него знака. Но наместник, улыбаясь самому себе, спокойно вертел на большой пальце левой руки массивный перстень с печаткой и не смотрел ни на кого.

— Стало быть, ваше высочество усматривает некую опасность?

— Вполне определенную опасность, — легко отозвался король, но ни один из присутствовавших не ощутил той же легкости, когда он окинул взглядом стол. — Опасно заниматься такими делами, как то, что привело вас сюда.

Все еще улыбаясь, наместник кивнул головой; он по-прежнему не сводил глаз с перстня. Остальные смотрели на него, будто зная: сколь бы безмятежным он ни выглядел, внутри него таился дьявол.

— Беря пример с вашего высочества, — после паузы проговорил Гильман, и его зубы сверкнули, — мы приучили себя к опасностям.

— И все же, — сказал король, — во всем нужна мера. Храбрость бывает присуща как мудрому, так и глупцу.

137 Пересказывается эпизод из исландской «Саги о Людях с Песчаного Берега», гл. XI.

— Со второй частью все понятно, — сказал наместник. — А что же насчет первой?

— А разве это не неотъемлемая часть мудрости? К примеру, мудрый король, вверяющий свою беззащитную персону своим верным и любящим подданным.

Остальные начали ерзать на своих местах, как раскачиваются и колышутся на волнах незагруженные суда. Клавий, захмелевший от выпитого вина, выкрикнул:

— Ага, а за дверью стоит сотня мечников, готовых защитить его.

— Это, — ответил король, — было бы неразумным проявлением недоверия к тем, кто мне верен. Однако шутки ради представим эту в высшей степени невероятную ситуацию. Допустим, вы оказались никудышными людишками, задумавшими свергнуть меня. Тогда я, обладая определенной мудростью и, как и подобает королю, прознав обо всем, действительно явился бы сюда, но с отрядом людей, чтобы схватить вас всех; вместо этого (как оно и есть на самом деле) я окружен своими друзьями, и нет при мне ни единого охранника.

Ольпман прошептал на ухо наместнику:

— Все это затеяно, чтобы сбить нас с толку. У него люди наготове. Наша единственная надежда — ударить, и ударить внезапно.

— Тише, болван, жди моего знака, — сказал наместник.

Он помолчал, улыбаясь и теребя перстень, потом жестом приказал Габриелю вновь наполнить кубки вином. Они с Габриелем обменялись многозначительными взглядами, быстрыми и неуловимыми, как то мгновение между отливом и приливом, когда морские волны поворачивают вспять и начинают набирать силу. Разлив вино, Габриель вышел за дверь. Наместник улучил момент под шум всеобщей беседы шепнуть Ольпману:

— Я так все и устроил заранее. Нам лишь нужно выиграть немного времени. Когда услышите, как я говорю Габриелю «А почему бы не выпить армашского?», это будет знак ему впустить тех, кто разделается с королем прямо на месте. Передайте это остальным. И вот еще что: пусть ни один под страхом смерти не шелохнется, пока я не прикажу.

Пока Ольпман осторожно пересказывал все это Аркезу, наместник украдкой шепнул королю:

— Ваше высочество, умоляю, давайте сделаем такой вид, чтобы никто

и не подумал, будто мы разговариваем о чем-то важном. И если я скажу что-то невероятное, верьте мне…

— Довольно, — прервал его король столь же незаметно и с той же показной беззаботностью. — Я сам все тебе скажу. Ты наткнулся сегодня вечером на осиное гнездо. Я же нарочно явился сюда, чтобы разорить его. Все присутствующие, исключая лишь тебя, интригуют против моей королевской персоны. У меня есть доказательства, есть и письма. Твоей задачей будет сделать так, чтобы ни один из них не ускользнул.

— Примерно в полумиле от хутора стоит эскадрон всадников, моих собственных, — промолвил наместник. — У этих же, подозреваю, вдвое больше людей против нашего. Хотя что толку в солдатах, когда лишаешься головы?

Король рассмеялся.

— Рад, что ты не оказался дураком, кузен.

Наместник, как и прежде вертевший на пальце массивный перстень, сказал:

— Кстати, думаю, здесь нет никого, кроме одного лишь меня, кто бы поверил, будто ваше высочество действительно явились сюда одни и без сопровождения.

— Но ты-то, кузен, не дурак, — сказал король.

— Вот уж не знаю. Я доверяю свою жизнь в руки вашего высочества.

— Это как?

— Сижу справа от вас. Ваша рука возле моего сердца. А ваш кинжал, как я вижу, у вас наготове.

— Ни один из нас не тугодум, — промолвил король. — И, думаю, каждый из нас будет сожалеть, если утратит другого.

Им удалось тайно обменяться еще парой слов. Потом опять появился Габриель Флор с полным графином вина.

— Сейчас, — произнес наместник, — я предоставлю вашему высочеству четкое и ясное доказательство моей любви и преданности.

Габриель налил сначала королю, а потом наместнику, который прошептал ему на ухо какие-то наставления.

— Также вы убедитесь, что я умею играть в бадминтон обеими руками, — добавил наместник шепотом. — Зачастую мне это неплохо удается.

Когда Габриель проходил за спинкой кресла графа Ольпмана, его глаза

встретились с глазами его хозяина, и он остановился. Гильман, Клавий и Статмар, склонившись друг к другу, были погружены в беседу у дальнего конца стола. Ольпман, кусая губу, незаметно обнажил под столом свой меч. Вдруг наместник рявкнул на Габриеля:

— А почему бы не выпить армашского? — и, едва эти слова покинули его уста, швырнул тяжелый кубок в лицо Гильману, в то же самое время метнув другой рукой свой кинжал, пригвоздивший правую руку Клавия (поднятую, чтобы защититься) к его щеке. Габриель, изо всех сил обрушивший винный графин на лысую макушку Ольпмана из-за спины, размозжил тому голову. Король вскочил на ноги, выхватив меч; наместник встал рядом. В начавшейся суматохе, среди мечущихся по стенам и потолку теней, бросаемых ножей, перевернутых стульев и лавок король скрестил клинки со Статмаром. Оба они были выдающимися фехтовальщиками. Аркез кинул в короля блюдом из-под пирога, оцарапав тому скулу, а потом и стул, который, впрочем, не долетел, сметя со стола все (кроме одной) свечи. После пятого или шестого выпада в ее неверном свете Статмар упал, пораженный в сердце. Видя это, видя распластавшегося на столе в луже крови Ольпмана, видя валяющегося без чувств Гильмана и раненого Клавия, Аркез, не зная, бежать ли ему или сражаться, швырнул еще один стул, заставив споткнуться кровожадно ринувшегося на него наместника, а потом еще один в короля. Стул пролетел мимо. Аркез прыгнул к окну. Король словил стул в воздухе и бросил его обратно, попав тому в зад и едва не сломав ему копчик. Тот вывалился из окна, и Габриель несколькими выверенными ударами, обрушенными ему в лицо и живот, вскоре заставил его утихнуть.

Клавий, простершись у ног короля, выкрикивал, что, если только его пощадят, он сознается во всем:

— Я не был ни зачинщиком, ни участником… меня уговорили и притащили с собой Ольпман с Гильманом и… — слова застряли у него в глотке, когда, бешено озираясь, он увидел, как наместник смотрит на него взглядом столь же лютым, столь же злобным и жестоким, как взгляд смертоносной змеи.

— Свяжите их, — велел король. — Этих троих, что еще живы.

Габриель связал их по рукам и ногам веревкой из вьюков, усадил их на лавку, прислонив к стене и собрал с пола свечи, чтобы осветить комнату получше. Гильман с Аркезом уже пришли в себя. Выглядели они не слишком

довольными своей судьбой, особенно когда заметили, как король вынул из-за пазухи пачку бумаг. Однако они не вымолвили ни слова.

Лицо короля было чернее черного неба, на котором не разобрать ничего, даже звезд, чьи движения определяют судьбы людей.

— Что-то из этого можно доказать, что-то нельзя, — заговорил он. — Я не знаю, сколько было зачинщиков, а сколько соучастников. Я утверждаю (и у меня достаточно свидетельств в виде ваших собственных писем), что вы собрались здесь, замышляя зло против меня, своего короля и повелителя. Какие у вас были основания для подобной неблагодарности и незаслуженной злобы?.. Вы, Гильман? Разве четыре года назад я не пощадил вас только ради вашей седой бороды, а потом не сносил терпеливо все ваши бездушие и жестокость по отношению к моим вассалам? Но ваша неблагодарность и неслыханная злоба обрушится теперь на вашу же голову… А вы, Аркез? Надеялись, что вам сойдет с рук притеснение ваших соседей, если королевство охватят беспорядки и волнения? Вы награбили у моих добрых подданных уже под пятьдесят тысяч дукатов, но проверка уже близко…Вы, Клавий? Снова и снова рука моя была к вам щедра, а вы несмотря на все это остались самым отъявленным нашим недоброжелателем, да к тому же, как мы убеждаемся, еще и дураком и трусом.

— Посему я повелеваю, — обратился он к наместнику, — снести головы этим троим: Клавию, Аркезу и Гильману — прежде, чем кто-либо покинет эту комнату или войдет в нее. Ольпману тоже следовало бы. Это уже второй укус, после того как я простил ему участие в мятеже Валеро; но это уж чересчур. Однако эта крыса, твой помощник, избавил нас от хлопот. Статмара я бы пощадил. Человек был неплохой, но после всего этого негоже было бы ему оставаться в стране, особенно с учетом того, сколь высокий титул он занимал и сколь обширными землями правил. Его бы я отправил в изгнание. Но Судьба, как видишь, изгнала его дальше, чем мне по силам.

Минуту стояла мертвая тишина. Потом наместник мазнул Габриелю:

— Работенка для твоих рук. Приказ короля ты слышал. Так давай.

Габриель взял свой меч и шагнул вперед, трогая лезвие пальцем. Наместник повторил:

— Давай же, песик.

Но Клавий принялся кричать на наместника:

— А как же этот лютый черт, источник всех наших бед? Это он все устроил, он самый главный мятежник!..

— Стой! — голос наместника был, словно раскат грома, и Габриель опустил меч, торопливо поднятый для удара.

—… Прежде чем вы вошли, — выкрикивал Клавий, — он вел перед нами бунтарские речи, полные столь неуместных слов, столь чудных замыслов, что я поспешил прочь, но к счастью как раз в тот момент ваше высочество вошли…

Лицо наместника побагровело и стало непроницаемым, как каменное. В глазах же короля лишь сверкнула ироничная усмешка. Он щелкнул пальцами:

— Почему их головы еще при них?

И Габриель поспешно разделался с ними, сначала отрубив голову Клавию, потом Аркезу (двумя ударами, по причине толщины его шеи), и, наконец, Гильману.

— Помощник твой, как я погляжу, — промолвил король, беря наместника под руку и выводя его на улицу, — обладает кое-какими полезными способностями, которых обычно не ожидаешь от писаря. Что ж, туда им и дорога, — сказал он. Они стояли одни под звездным небом; глаза их еще не привыкли к темноте. — Таким людям, будь они живы или мертвы, недостает чего-то важного. Они в некотором роде не существуют. Если не считать Статмара (которого я прикончил, потому что он не оставил мне иного выбора), я не стану сожалеть ни об одном из них; они того не стоят.

Что же до тебя, кузен, зачинщика и самого главного устроителя… нет, не надо отрицать… этой чудовищной измены. Что они такого сделали, чего не сделал ты? Они убиты, так зачем отпускать тебя?

Могучие мускулы на руке Парри, сжимаемой сильной рукой короля, застыли. Он отозвался из непроглядной тьмы:

— У вашего высочества нет ни единого свидетельства против меня.

— Нет. Как я и сказал, ты не дурак.

— К тому же, то, что я спас вашему высочеству жизнь, как я полагал, тоже кое-чего стоит.

— И зачем же? — спросил король. — Зачем ты это сделал?

Медленным и размеренным шагом они удалялись от дома. На какое-то мгновение словно сама кровь заговорила с кровью в беспокойной неподвижно-

сти их сцепленных рук в сумеречной летней темноте. Потом наместник издал странный и неуклюжий смешок.

— Не тот это момент, — сказал он, — чтобы пытаться поймать ваше высочество на крючок. Я мог бы привести вам дюжину правдоподобных, но ложных причин, в которые вы бы не поверили. Истина же такова: из-за внезапности и неожиданности вашего появления я не знаю, почему я так поступил. Если бы у меня только было время немного подумать…

Король взял его за оба плеча и минуту стоял, вглядываясь ему в лицо. Сияли звезды, и при том сумеречном свечении, что в это время года длится всю ночь, света было достаточно, чтобы разглядеть странное и необычное выражение глаз наместника, почти такое же, какое сам он привык видеть в глазах Габриеля Флора. Король расхохотался, наместник тоже.

— Истина такова, — сказал король. — Если взглянуть на вещи беспристрастно, то есть нечто, держащее нас с тобою вместе, и ни жизни, ни смерти не дано разъединить нас. И даже ты, самый жестокий, самый хитрый из всех приспешников Дьявола, не способен позабыть об этом, когда я смотрю на тебя (как говорится, ex visu amor[138]). Но если тебя предоставить самому себе слишком надолго, ты, случается, и забываешь.

— Клянусь вашей светлости всеми самыми страшными клятвами, каких вы только потребуете… — заговорил наместник.

— Прибереги свои клятвы, — промолвил король, — также как и свою находчивость. Мы с тобой хорошо понимаем друг друга; давай на этом и остановимся. Пожалуй, если ты будешь продолжать лгать, я могу и вспылить. Отправь этого своего шакала за своими людьми, о которых ты упоминал; можешь объяснять произошедшее с этими пятью дворянами как тебе заблагорассудится. Если желаешь, можешь присвоить всю славу себе, мне не жалко. Спокойной ночи, кузен. И хорошенько обдумай тот урок, что я преподал тебе этим вечером. Вон и мой конь, привязан у ворот.

— А люди вашего высочества? — подводя к королю его коня, поинтересовался наместник.

— Я же уже сказал тебе, я один, — он вскочил в седло легко, будто двадцатипятилетний.

— Один? — переспросил наместник, не сводя с него взгляда. — Не может быть. Но я думал…

138 Ex visu amor (лат.) — «любовь с первого взгляда».

— Неужто, кузен, — промолвил король, берясь за поводья, — ты и впрямь столь законченный лжец, что видишь ложь даже в правде, даже когда она предстает перед тобою, ничем не прикрытая? Совсем как пьяница, что вместе с пивом проглотил настоящую живую лягушку, думая, будто это еще один фантом, к которым он уже привык. Доброй ночи.

— Один? — снова повторил наместник, уже про себя, когда стук копыт королевского коня замер вдали, оставив после себя лишь тишину и ночь. — Ну, этим-то боязливым и неблагодарным подонкам я поверил. Может, все вышло и к лучшему. Однако же, правда, неприкрытая и обнаженная, если взглянуть на нее с иной стороны… могла бы побудить меня сделать то, о чем бы я сейчас жалел. А теперь — если посмотреть на все это хладнокровно… да ну, в это поверить невозможно!

VIII. Леди Мэри Лессингем

СТОЯЛО двадцать четвертое июня тысяча девятьсот четырнадцатого года, девять часов утра, и в небе над Волькенштайном, что в долине Грёднер в Доломитах, не было ни облачка. Высоко над церковным шпилем, над рекой и лугом, над шале и холмами, над сосновым лесом и круто уходившим вверх травянистым альпийским пастбищем, нависали утесы Селлы. Проступавшие сквозь дымку и лучезарное сияние солнца миллионы и миллионы тонн камня будто стали нематериальными: воздушные, залитые светом и укрытые бирюзовыми тенями, еще более прозрачные и невесомые, чем самые легкие облачка, но все такие же непоколебимые и четкие, словно вырезанные из хрусталя. Казалось, каменные плиты, расселины, осыпи, контрфорсы и тянувшиеся на многие мили цепи отвесных скал, отрезанные от земли и утратившие все то лишнее, что свойственно изменчивым земным явлениям, стояли, обнаженные в своей необъятной реальности, рожденными в небесах вечными и бессмертными фантомами.

На террасе перед постоялым двором завтракали за дюжиной небольших столиков люди. Липы и огромные зонтики в белую и алую полоску осеняли зелено-белые клетчатые скатерти, посыпанную гравием площадку и мощеные дорожки. За пределами этих омутов тени все было залито солнечным светом. Там и тут поблескивали среди розовых кустов стеклянные шары, голубые, желтые или серебристые, размером с кулак, насаженные своими узкими как у бутылок горлышками на верхушки бамбуковых шестов, чтобы отводить дурной глаз. Под позвякивание столовых приборов, выступая уверенно и грациозно, туда-сюда беспрестанно сновали две дочери хозяина постоялого двора: ловкие, спокойные, с исконно присущими им непринужденностью и заразительной смешливостью, очаровательные в своих красных юбках, разноцветных фартуках, белых льняных тирольских блузах и вышитых поясах с серебряными застежками. Фоном ко всем этим звукам и движению служил шум падающей воды, а также не столь отдаленное гудение пчел среди лип, на которых как раз теперь распустились нежные и благоухающие соцветия. И пьянящим вихрем лилейного аромата во всей этой скромной красоте за самым дальним столом, наполовину находившимся на солнце, а наполовину в тени, восседала Мэри.

Казалось, утренняя свежесть, будто роса на несорванной лилии, наполняла ее, не замечавшую всех тех глаз, что, единожды взглянув на нее, не могли не взглянуть вновь, как пчелы, влекомые медовой сладостью источника Аганиппы[139]. Не обращая внимания на эти взгляды, она то вкушала хлеб с медом, то (словно пробудившаяся в ней маленькая девочка брала верх над женщиной) окунала кусочек сахара в свой кофе, посасывала его и окунала снова, то прикрывала ладонью глаза, чтобы взглянуть на исполинские бледные очертания доломитовых стен, высившихся вдали в сиянии солнца.

При звуке донесшегося из дома голоса, одного среди многих, она подняла глаза. Невнимательному наблюдателю едва ли удалось бы заметить даже малейшее изменение в чертах ее лица. Однако пробиравшийся к ее столику от дверей кофейни под сенью ломоноса Лессингем в едва заметном оживлении ее лица, в неслышной музыке ее тела, в видимой или ускользающей от взгляда плавности ее движений, различил тайное приветствие, взмывающее ввысь как трель жаворонка, приветствующего наступление дня. Он уселся напротив нее, на самом солнцепеке. На нем был его дорожный костюм. Оба засмеялись.

— Моя дорогая сеньорита, сколь удивительно встретить тебя не где-нибудь, а именно здесь!

— Весьма удивительно. И это весьма смущает.

— Разумеется, я понимаю, это самое последнее место на свете, где ты ожидала бы меня увидеть.

— Самое последнее на свете. Уж очень тут цивилизованно. Гораздо естественнее было повстречаться с тобой в той ужасной грузинской деревеньке в Сванетии несколько лет назад… помнишь? После того, как я вышла замуж.

— Ты? Замуж? Вот беда! А я тогда об этом знал?

— Вел себя так, будто не знал.

— О, тогда я буду так себя вести и впредь. Ты не против?

— Думаю, так мне даже больше нравится, — сказала Мэри, и ее нога под столом коснулась его ноги. — Нам нужно следить за своими словами. (Не оборачивайся)… джентльмен позади тебя, у которого на голове ни волоска… я прямо таки ставлю его в тупик. Уверена, теперь подтвердятся самые худшие его опасения. По-моему, этот джентльмен немец. Два дня назад мы ехали

139 Аганиппа — в др. греч. мифологии дочь речного бога Пермесса, нимфа источника у подножия горы Геликон; также сам этот источник. Пьющие из источника согласно мифу исполнялись поэтического вдохновения.

с ним в поезде из Бозена[140]. Он чудно заикается, и каждый раз, когда заикается, брызгает слюной. Его жена убеждена, что я самая настоящая блудница в пурпуре, бесстыдная английская потаскушка, разъезжающая вот так, в одиночестве.

Старшая из девушек принесла Лессингему кофе.

— Большая чашка, — сказала она, с реверансом ставя ее на стол.

— Ну и память у тебя, Паула!

— О, есть вещи, которые запоминаются.

— Сегодня вечером будет шуплаттер[141]? — поинтересовалась Мэри. — Вы с Андреасом станцуете? Полагаю, вы уже изучили все коленца?

Девушка рассмеялась.

— Может быть, завтра. Сегодня нет, никак. Сегодня какие-то танцоры из Вены. Мы их не любим. Но отец говорит, один раз можно.

— Почему же вы их не любите?

Паула сморщила носик и притворно содрогнулась.

— Они не такие как надо, — сказала она. — Слишком развязные… Я принесу вам еще масла, еще меда.

Она удалилась, столь же целеустремленная, как водяная курочка, что спешит через всю лужайку, чтобы накормить своих птенцов.

— Герр Биркель такой душка, — промолвила Мэри. — Так взволновался, когда я приехала. Взял мою руку в свои. «Добро пожаловать, Миледи. Если не ошибаюсь, вы стали выше, чем когда бы-то ни было»… А потом, так доверительно и страстно: «И прекраснее!»

— Истинная правда. Даже за эти десять дней.

— Десять дней! Они как десять месяцев. Или, в некотором смысле, как десять минут… А ты выглядишь таким бодрым и оживленным после целой ночи в пути.

— Отоспался как следует в Вайдбруке: тридцать один час кряду. До того не спал пять ночей. Проснулся около полуночи, пообедал, или, скорее, позавтракал, супом и омлетом, шницелем по-венски, куском пряничного домика, красным вином и кофе, распорядился подать коляску, и вот, я здесь.

— Я была так рада, когда получила твою телеграмму, — сказала Мэри. — Стало быть, в Париже все прошло хорошо?

---

140 Бозен — немецкое название города Больцано в Италии.
141 Шуплаттер — баварский народный танец.

— В конечном счете. Единственный вариант — утомить их. Пора было привести все в порядок: уже два года прошло, как скончался Фред, а концов до сих пор не найти. Так что мне пришлось просто тыкать их во все это носом, покуда они не подписали все, что я хотел, просто чтобы от меня отделаться. Это почти столь же забавно, как драться с болгарами. Намного забавнее, чем было в Берлине в тысяча девятьсот двенадцатом… Эй, а это кто? — воскликнул он, когда крохотный белый котенок вскарабкался по балюстраде и прыгнул на колени Мэри.

— Митзи, — ответила она, протягивая котенка над столом Лессингему. — По сути, тебе просто нравится быть в гуще дел.

— Я написал из Парижа твоему отцу, как только со всем было покончено, а также Джиму, так как он твое доверенное лицо. Сообщил ему, что всего выходит две части по двенадцать сотен тысяч: одна идет по брачному контракту, а вторая причитается тебе лично. Итого получается почти третья часть от общей суммы. Это на тот случай, если однажды я помешаюсь на деньгах, влезу в крупные финансовые операции и обожгу на этом пальцы. Ты считаешь, это проявляется еврейская кровь?

Мэри улыбнулась.

— Никогда нельзя сказать наверняка! Полагаю, дело вполне может быть и в крови Медичи.

— Звучит получше. Однако, что если результат будет тот же? Знаешь, на самом деле я не хотел бы провести свою жизнь, занимаясь стяжательством. Совсем не хотел бы, — промолвил Лессингем, подняв котенка в правой ладони, где тот свернулся, будто в кресле, и поднося его все ближе и ближе к своему лицу. — Совсем, совсем, совсем.

Митзи, будто загипнотизированный, оставался совершенно неподвижен и взирал на него своими глазами цвета голубой утренней зари, какие только и бывают у маленьких котят; оказавшись же достаточно близко, он неуверенно протянул свою бархатную лапку, чтобы дотронуться до щеки Лессингема.

— У нас та же комната, что и тогда?

— А ты не зашел посмотреть?

— Думаешь, я бы стал тратить на это время, узнав, что ты на террасе?

— Да, та же самая, — сказала она. — А твоя гардеробная сразу за ней.

— Они по-прежнему трубят в рог в половине седьмого, когда открывают ворота и выпускают скот на пастбище?

— Да. И гонит скот одно микроскопическое дитя!

— Возьмешь своего котика?

Она подставила руки и забрала крохотное создание. Лессингем зажег сигару. Несколько минут они не произносили ни слова, возможно, полагая горы и деревенскую жизнь вокруг, и присутствие друг друга поблизости более непосредственным способом общения, нежели собственно речь.

Через некоторое время он заговорил:

— Ты когда-нибудь чувствовала внутри двойственность?

— Нет, — ответила она с наполовину насмешливой, наполовину ласковой ноткой в голосе, как если бы это «нет» было пропитано медом.

— Одна часть — Амбициозо, жаждет подчинить себе весь мир и поработить человечество. Другая — Луссуриозо и Супервако[142], подбивает меня похитить тебя и увезти на какой-нибудь неизвестный блаженный островок в южных морях, и там рисовать, писать и вкушать сладости, и провести целую вечность в волнующих и печальных раздумьях о том, что жизнь человеческая столь же эфемерна, как цветок. Но вместо всего этого, — сказал он, поднимаясь из-за стола, — как насчет ленча на перевале Селлы?

Доктор Вандермаст, ученый старец, ныне помощник, а прежде наставник герцога Зайанского, прогуливался на рассвете перед Мемизоном по натоптанной тропинке, что вилась на юго-восток вдоль берегов озера Рейсма. Было между тремя и четырьмя часами утра; пошел двадцатый день после того тайного и изящного хода короля, сделанного им в Ререке. Озеро Рейсма, гладкое как полированная сталь, простирало вдаль свои окутанные туманом прохладные воды. Водная гладь, луг, дубравы и буковые леса, березняки и отдаленные горные цепи выделялись лишь разными оттенками неопределенного серого, таившего в себе робкие проблески пробуждающейся синевы, что залила весь небосвод. Лишь на северо-востоке исполинские пики начинали постепенно обретать кристальную четкость и окрашиваться в более холодные лазоревые тона, в то время как небо вдали пронизали шафрановые прожилки,

142 Амбициозо, Луссуриозо, Супервако — персонажи пьесы «Трагедия мстителя» (1606), приписываемой С. Тернеру. В переводе с латинского эти имена приблизительно означают «честолюбивый», «жадный до наслаждений», «бесцельный».

а над ними одно или два маленьких облачка (доселе невидимые) стали пурпурными и зажглись снизу золотым огнем. Нежное лимонное сияние затопило восток, отражаясь в неподвижном озере, и подала голос кукушка, ответив на последний ночной крик совы. Ученый доктор, оставшись наедине с этим мгновением, в то время как прочие смертные спали, остановил его своим искусством, заставив его задержаться с ним на время прогулки к своему вящему удовлетворению и наслаждению.

За его спиной осталось восемьдесят лет. Однако, будучи худощав сложением, как стрекоза, он шагал, выпрямившись, и без старческой неуверенности. Ввалились от раздумий его глаза под встопорщенными бровями, бледными и впалыми от дум были его щеки, но никуда не исчезла искра того духа, что пылал в его глазах. Его белая борода ниспадала на его кушак. Он был облачен в свободный габардиновый кафтан имбирного цвета, а на голове его была алая шапка из сермяги. Позволив посредством своего искусства времени продолжить свой бег, он остановился на мостике через ручей, что, заросший водными травами, едва струился в сторону озера. На дальнем берегу, под нависавшими над берегом зарослями ольхи, свернулась калачиком водная крыса, словно белка сжимавшая в своих крохотных лапках кусочек травинки и умильно его поедавшая. Доктор окликнул ее:

— Доброе утро, мышка.

И та, робко взглянув на него черными глазками-бусинками, поблескивавшими на круглой мордочке между крошечными закругленными ушками, ответила на его приветствие тоненьким голоском, в котором, однако, прозвучала человеческая речь.

— Где госпожа Антея? — спросил доктор.

— Она проходила здесь, почтенный господин, около полуночи, направляясь к своим снегам. Напугала меня, ведь я была в этом обличье, а она — в своих зубах и когтях.

— Что, вы напугались собственной сестры? Как же это назвать, если не вопиющим незнанием путей Бога? Она не смогла бы причинить вам вред, моя Кампаспа, даже если бы захотела.

— Не годится ей являться в своих обличьях, когда я ношу свои. Ее — чересчур грубы, а мои слишком легко порвать.

— Вы можете принять свой подлинный облик.

— Мне нравятся мои крохотные одеяния. Нужно иногда поиграть и по-

развлечься, отдохнуть немного от службы и обязанностей, — она соскочила с плавучего скопления травы, на котором сидела, взобралась на берег и уселась там, умывая мордочку и ушки. — О, у всех нас свои причуды; как вы можете догадаться, все мы немного взволнованы этими недавними делами.

Прямо перед носом у Вандерماста крошечная нимфа в мгновение ока сменила свое меховое одеяние на птичьи перья: на шелковисто-гладкий, коричневато-зеленый, переходящий книзу в зеленовато-желтый, наряд пеночки; взмахнула крылышками и пропала. Из укромного местечка среди ветвей сладкой нисходящей лесной трелью донеслось ее пение. Он повернулся на звук и заметил движение среди ольховой листвы, и вот она уже была перед ним.

— В последнее время кругом сплошные загадки, — сказала она. — Ни один из них другого не видит, даже не знает о существовании другого или о его приближении, — она перескочила с сучка на сучок, грациозно склевав одного или двух жучков. — Скажите же, кто такой этот король? И этот его сын, герцог?

— Вопрос этот, — промолвил Вандермаст, — поднимает множество других важных вопросов: вопрос de natura substantiarum[143], проблему сущности души. Не под силу человеку разрешить ее, разве только непредумышленно и наугад.

— И каковы же ваши догадки? — теперь она восседала среди листвы на самом конце ольховой ветки, качаясь и вертя хвостиком и посматривая на него сверху вниз.

— Вам придется довольствоваться своими догадками, моя пташка, а мне — своими.

— Почему?

Она на миг замерла на веточке, а затем слетела в траву к его ногам.

— Что ж, я расскажу вам, каковы мои догадки на сей момент, — сказала она. — Они суть одно, также как едина и Она в своих обличьях, но все же они разные. И мир этот — его мир, также как и короля. И дарован он Ею.

Весь безбрежный небосвод перед ними постепенно заливал золотой свет зари. Старец возобновил свою прогулку, неспешно зашагав дальше.

Она полетела следом и уселась на его палец.

— Мне принять мой подлинный облик?

— Как пожелаете. Но вам и так весьма идет.

143 De natura substantiarum (лат.) — «о природе субстанции».

— Но я хочу сделать что-нибудь, чтобы порадовать вас. У вас такие чудные предпочтения. Почему вы такой?

— Ну, например, — улыбнулся Вандермаст, — вам следует помнить, что я с годами стал весьма педантичен.

— Так что же вы выбираете?

— Из ваших нарядов? Думаю, нет прекраснее наряда милой водяной крысы.

Она сбежала по рукаву к его локтю и уселась там, глядя на него и умывая лапками мордочку.

— Почему?

— На подобные вопросы есть только один ответ.

— Наша Леди? Так больше нравится Ей?

— Несомненно.

— Я нравлюсь Ей любая. Мы — часть Ее империи. Разве не так?

— Разумеется, — промолвил ученый доктор. — Так и есть.

— Вы как-то произнесли одно слово, deificatio[144]. Что оно значит?

— Это, — отвечал доктор, — ученый термин, обозначающий состояние, которое нам проще представить, нежели постигнуть: слияние, соединение Бога и души.

— Зачем?

Крохотная, будто мышиная, рука внезапно принявшей свое собственное обличье Кампаспы, по локоть обтянутая перчаткой из мягкой коричневой кожи, издававшей резкий аромат водных трав на жарком солнце, легкая, словно пушинка, покоилась на его рукаве. Она шла рядом, и ее платье из светлого сатина, все расшитое красной шелковой нитью, шуршало подобно тихому летнему ветерку, шелестящему среди камыша и ив.

— Зачем?

Вандермаст улыбнулся и покачал головой.

— Наяда… дриада… — медленно заговорил он, — гамадриада… ореада… нимфы лесов, тихих вод и неприступных гор, чему можете вы научиться у меня? Ведь вы знаете все, что следует знать, знаете это врожденным знанием, не зная даже, как узнали это, зная это изнутри. В то время как я — лишь сторонний наблюдатель…

Кампаспа заглянула ему в лицо своими похожими на бусинки глазами.

144 Deificatio (лат.) — «обожение», приобщение к Богу.

— Но кто тогда вы сами? — спросила она, и ее рука сжалась на его локте.

Подобно разрыву в тучах, сквозь который столб солнечного света озаряет холодное море, было в этот миг изборожденное думами лицо Вандерманста.

— Полагаю, — произнес он, — я старик, который по-прежнему влюблен в юность.

— О юности я не думала. Почему в юность? — спросила она. — Что есть юность?

Но ученый философ, сопровождаемый столь удивительной ученицей, лишь зашагал дальше в молчании.

Мэри, взбиравшаяся к перевалу первой (что по молчаливому согласию было обосновано двумя вполне самодостаточными причинами: чтобы радовать глаз шедшему позади и чтобы предоставить ей самой выбирать темп), остановилась в укоротившейся тени сосны. К этому времени они поднялись уже на тысячу футов от дна долины, туда, где склон горы превращается в лабиринт холмиков и лощин, к просторным лужайкам, поросшим травой и сплошь усыпанным звездочками цветов. Повсюду были ручейки: где-то журчавшие на порогах и водопадах, а где-то — лишь сухие русла, по которым вода стекает после дождей. И с каждым поворотом, с каждым извивом этой своенравной каменистой тропки, утесы Селлы постоянно видоизменялись, все больше отступая назад в искаженной перспективе, по мере того, как дорога подходила все ближе и ближе к их подножию, и то и дело являя взгляду новый отрог или уступ, что в иллюзорном движении выпячивался из тела горы, закрывая собой более отдаленные вершины. Под нещадно палившим солнцем весь склон так и кишел кузнечиками, большими и маленькими, что перепархивали по перекрещивающимся дугам туда-сюда — одни с алыми крыльями, другие с оранжевыми, третьи с голубыми — и наполняли воздух своим резким металлическим стрекотанием. Остановившись в нескольких шагах позади нее на прогалине, Лессингем прикрыл глаза рукой, чтобы взглянуть на нее, смотревшую вверх, на просвечивающий полог, сотканный из крон сосен. В ветвях шелестел ветер, отбрасывая постоянно меняющиеся мозаичные узоры из белого солнечного света и аметистовых теней на обращенное кверху лицо Мэри; ее прекрасные огненно-рыжие волосы, уложенные в красивом австрийском

стиле, сверкали там, где их касалось солнце, подобно полированному металлу, и каждая развевавшаяся на ветру заблудшая прядь то становилась в один миг невидимой, то в следующий превращалась в трепещущий язычок пламени.

— Недвижность ствола, — промолвила она. — Беспрестанное движение крохотных веточек у верхушки. Как ты думаешь, корни мира находятся в небесах, а ветви тянутся к земле?

Лессингем уселся на камень у ее ног.

— Какое счастье, — воскликнула она, — что ты хоть раз в жизни предался праздности. Это первый по-настоящему праздный денек, что был у нас за три года. Ни разу после Египта, после той зимы, когда родилась Дженет.

— Ну, все было не так уж печально. Медовый месяц в Греции в тысяча девятьсот восьмом. Кавказ в тысяча девятьсот девятом: полная праздность…

Он взглянул на нее: на ее греческий профиль, прекрасный и безмятежный лоб, маленькую впадинку переносицы, расходящиеся от носа широкими дугами, а затем распрямляющиеся брови, изящный точеный нос, прямой, заостренный и едва заметно вздернутый, скулы, выдающиеся ровно настолько, чтобы придать жесткости мягким обводам ее щек, решительный подбородок, тонкую, нежную и сильную шею и горло, губы, подобные губам Богини, спокойные и невозмутимые, но обладающие подвижностью ртути и способные передать любую мысль, настроение или чувство. Сейчас, когда она заговорила, это была некая насмешливая веселость сатирической комедии, одновременно и жалящей и благословляющей:

— Да уж, сколько в нем было безделья, в том кавказском путешествии. И ничего не осталось после него… кроме, разумеется, Ушбы и еще пятка девственных пиков!

— Ну а на следующий год, в тысяча девятьсот десятом, — произнес он, — когда мы отправились в начале лета на яхте на Лофотен… да, я и впрямь заскочил в Стокгольм насчет тех статуй, что были им от меня нужны. Но в целом — сплошная праздность; и тогда, и осенью, в тот месяц, проведенный на итальянских озерах. Однако же я обещаю побыть сейчас праздным еще немного. Первое подтверждение: вчера (из Парижа) я написал брату Эрику, чтобы тот убирался к дьяволу со своими вопросами насчет парламента. И без того дел хватает.

— О, я так рада! — промолвила она.

— А адреса я ему не оставил. Я очень люблю Эрика, и Жаклин очень

люблю, но ведь нам совершенно ни к чему, чтобы они снова вмешались в нашу поездку на Киферу[145], как это было в Авиньоне.

Они продолжили путь. Мэри шла впереди, большую часть часа храня молчание, благодаря которому каждый тем глубже и трепетнее ощущал присутствие другого. Десятиминутное карабканье по крутым травянистым склонам и осыпям привело их из седловины на край усыпанного цветами альпийского луга, откуда можно было невидимыми с тропинки взирать на восток, на квадратные Башни Селлы, и на запад, в дали за седловиной, на фантастические розовые шпили и гребни Лангкофельского массива: Лангкофель, Платткофель и Фюнффингершпитце — на первый взгляд невероятное зрелище, что развернулось в этот миг под расступившимися облаками в необъятном небе.

— Словно нектар! — воскликнула она, глубоко дыша и вбирая глазами все вокруг. — Ты бы хотел все подниматься и подниматься ввысь?

— До определенного момента.

— И где бы ты остановился?

— Здесь.

Мэри снова втянула в себя воздух, привстав от волнения на цыпочки и застыв на месте подобно какому-нибудь лесному или полевому созданию, до такой степени слившемуся с собственным телом, что даже в малейшем его движении музыкой воплощается весь его настрой. Так, вероятно, двигались те лебединые девы, дочери конунга, что прилетели с юга над дремучим лесом, чтобы найти свою судьбу; те самые, которых застиг во время купания в горах кузнец Вёлунд со своими братьями, похитившие их лебяжьи одежды и тем самым поймавшие их, а затем на них поженившиеся и жившие какое-то время в мире и согласии[146].

— О, а я бы не останавливалась. Я бы взбиралась все выше. Ты бы не пошел со мной?

— А как ты думаешь, пошел бы я?

— Обязан был бы!

— Допустим, но, тысяч на двадцать футов; там мы были бы вынуждены остановиться. На такие высоты я взбирался в Гималаях. Дышать толком невозможно, силы покидают тебя, спать не получается. А еще эта ужасная угнетенность, ощущение, как будто кто-то следит, следит, следит за тобой, и все время

145 Кифера (Китира) — остров в Эгейском море, принадлежит Греции.
146 См. «Песнь о Вёлунде» («Старшая Эдда»).

откуда-то сзади. Так могла бы себя чувствовать, имей она воображение, устрица, когда повар раскрывает ножом раковину и смотрит на нее.

— Я знаю. Но мы бы стали существами, которым это по душе… Я хотела бы быть одним из них, — промолвила она, указывая на стайку альпийских галок с блестящим черным оперением и желтыми клювами, что скользили, пикировали и взмывали над гребнем холма, зависая в воздухе и издавая свои негромкие вибрирующие клики.

Она подошла и села рядом с ним, принявшись раскладывать ленч, который Лессингем вытащил из своего рюкзака.

— Целая куча яиц… надеюсь, их окунули в холодную воду, чтобы их было легко чистить. Рулеты с ветчиной. Курятина… я попросила сегодня ее вместо телятины. Обрезки сосисок. Персики. Сливы… о, ты их все раздавил! Все эта твоя тяжеленная камера! Огромный кусок масла… Постареем ли мы когда-нибудь? — произнесла она, когда они приступили к еде.

— Нет.

— Постареем. Мне сегодня исполняется двадцать шесть. Тебе в ноябре будет тридцать два. Нам придется научиться быть «среднего возраста». Каждые тридцать три года — новое поколение.

— Ты еще не вручила мне мой подарок ко дню рождения, — сказал Лессингем, когда они закончили есть и закопали остатки.

— А ты хочешь?

— Это часть сделки.

— О, дурацкая сделка.

— Я предпочитаю придерживаться ее. Мне нравятся физические, видимые признаки.

— Мне тоже. Но сама эта затея — я имею в виду снимание — утратила свой смысл. Милый, дорогой мой, это действительно так. В первый раз — да, даже во второй, но потом…

— Что ж, думай об этом, как о своего рода упражнении — ἄσκησις· — выполняемом ради меня. Давай же. Это только раз в год.

— Хорошо.

Она сняла свое обручальное кольцо и отдала его ему.

— «Наше», — сказал он, разглядывая его, всматриваясь в греческие буквы, вырезанные изнутри кольца. — НМЕТЕРА. Единственное число женского рода. Множественное среднего. Наше с тобой.

Замолчав, они замерли на минуту, устремив друг на друга серьезные взгляды; между ними будто натянулась невидимая цепь.

— Допустим, — проговорил Лессингем после долгой паузы, — один из нас умрет. Как ты думаешь, останется ли еще что-либо «наше»?

При этих словах словно завыли где-то на пустынном берегу собаки. Мэри отвернулась, вглядываясь в белесые утесы Лангкофеля, вздымавшиеся в небеса над расходившейся веером осыпью, что протянулась до самой заваленной валунами низины под названием Штайнерне Штадт.

— Почему ты об этом заговорил? — спросила она.

— Чтобы услышать твое «да». Если бы я только мог сказать «credo quia absurdum[147]», как ты умеешь.

— Отнюдь. Да, я верую. Но не потому, что это нелепо.

Между Лангкофелем и Платткофелем, не столь высокий, но более угрожающий с виду, чем они, увенчанный острым как нож красноватым пиком, высится Фюнффингершпитце.

— Я забирался на него дважды, еще до того, как у меня появилась Мэри, — сказал он. — Оба раза в одиночку, безумец. По Шмидт-Камину. Вполне мог разбиться. Нет, это не нелепо, то, о чем мы говорим, — продолжал он. — Это просто невероятно. Во всяком случае, для меня, — он вогнал подбитый гвоздиками каблук в землю. — Как, к сожалению, не является нелепой и альтернатива. И для меня это невыносимо, невыносима сама мысль об этом.

Она содрогнулась, по-прежнему глядя на горы.

— По-моему, — промолвила она, — мы и сами толком не знаем, что имеем в виду, когда рассуждаем о Смерти.

— Пожалуй не знаем, — сказал Лессингем. — Но все философствования на эту тему в конечном счете сводятся обратно к несчастью и тьме. Как во сне Черного Короля в «Алисе». Фьють! — потухнешь, как свеча.

— Мне не нравится, когда ты так говоришь.

— Раньше мне было все равно. Теперь нет.

Они замолчали. Он снова принялся рассматривать поблескивавшее на солнце кольцо, вертя его в руках и надевая сначала на правый, затем на левый мизинец; оно не налезало дальше второго сустава. Наконец, исполненным учтивости и серьезности движением он протянул его ей.

— Сеньорита, — произнес он, — вы примете его у меня обратно?

147 Credo quia absurdum (лат.) — «верую, ибо нелепо».

Но Мэри уже поднялась на ноги и застыла на фоне неба, глядя на него сверху вниз. И тут живший в уголках ее рта дьяволенок заметался в неге сна, словно посещенный неким озорным сновидением, и она ответила:

— Нет. Не приму. Из-за своего же упрямства ты теперь больше не женат. Я еще обдумаю все это на холодную голову и, возможно, отвечу на твое предложение завтра.

— Я явлюсь за ответом этой же ночью.

— И обнаружишь, что дверь заперта.

— Я заберусь через окно, когда ты уснешь.

— Не заберешься. Я закричу, устрою ужасный скандал! Да-да, я не шучу.

— Ты жестокая и злая девчонка.

— Если не начнешь вести себя как следует, будешь ждать до послезавтра.

Он встал, пряча кольцо в карман.

— Ладно. Не могу ли я получить хотя бы поцелуй?

Робко, боком, как она делала это до того, как в ее жизни наступила эра грациозности, Мэри подставила свою такую нежную, но и такую прекрасную, щеку. Его губы едва не застигли крохотное рогатое создание врасплох на его ложе, но Мэри отпрянула назад. И когда они стояли и смеялись друг над другом, это создание тайком шепнуло Лессингему:

— Да, жестокая и злая девчонка. Вот беда. Но что была бы за радость, будь она иной!

Было десять часов утра среды, пятнадцатого июля. Хозяина поместья, управителя Рейсмы, дома не было. Домочадцы заготавливали сено в поле на берегу озера. Дом стоял на солнцепеке, опустевший, если не считать его хозяйки, нежившейся на скамье из драгоценного звездчатого сапфира, в тени увитой лозой решетки во дворе перед домом. Чтобы ей было удобнее лежать, на скамью были уложены подушки. У ее ног сидела Кампаспа, державшая перед нею зеркало в оправе из бледного горного золота, украшенное искорками крохотных бриллиантов, искорками аквамаринов и искорками изумрудов. Присев боком на скамью, Антея обмахивала свою повелительницу веером из белых павлиньих перьев, которые при каждом движении переливались, будто ореол вокруг луны. Ногти Антеи были заострены как

когти, волосы ее словно освещало изнутри солнечное сияние; была она белокожа, а холодные черты ее лица — классически совершенны; зрачки ее глаз представляли собой вертикальные щели, в которых сверкал некий потаенный и жаркий огонь, а когда она улыбалась, алые губы обнажали зубы горной рыси. Позади Кампаспы, опершись на колонну, стоял возле решетки старый ученый, словно в раздумьях о вещах более возвышенных, нежели земные, обративший свой взгляд на хозяйку поместья.

— Синьор Вандермаст, — промолвила она, — лето уже в разгаре, а дни жарки и долги. Герцог Зайанский чересчур много глазеет на мою красоту и не перестает упрашивать и подталкивать меня к тому, что противозаконно. Мой ревнивый муж что-то чует. Молю вас, дайте же мне испить из вашего неисчерпаемого кладезя мудрости и поведайте, почему я (будучи той, кто я есть) должна все это терпеть?

— С чего бы вашей милости задавать мне вопрос, — отозвался доктор, — на который Вы (будучи той, кто вы есть) сами же и являетесь единственным и безупречным ответом?

— Такой ответ, — сказала она, — я могла бы получить в любое время в течение последней пары недель, даже ни о чем не спрашивая — от его светлости, который, будучи моим подлинным поклонником и не просящим никакой награды смиренным слугой, наводит такую же скуку, как мартовский кот. Но мне ни к чему ответы поклонников, также как и ответы льстецов. Мне нужен ответ философский.

— Мой ответ и был философским, госпожа, пусть он и не был в полной мере подкреплен логикой; это была своего рода демонстрация на пальцах, или, как мы это называем, наглядный эксперимент. И это единственный ответ.

— Иными словами, если разобраться, то вся вина лежит на бедной мне? — она протянула руку, чтобы выдернуть одно из перьев оттенка лунного света из веера Антеи, и некоторое время внимательно наблюдала за его переливчатым блеском. — О, ну почему природа сделала так, что в законном нет никакого удовольствия?

— Здесь, — ответил ученый доктор, — я не могу не опровергнуть вашу основную посылку, которая по существу является лишь суждением эмпирика о несовершенстве законов и несовершенстве удовольствий. Если мы должным образом рассмотрим бесконечное существование Бога и Богини — infinitam Dei atque Deæ existentiam — иначе говоря, взглянем на него sub specie

æternitatis, то увидим, что оно выходит за пределы милых и легкомысленных воззрений, отделяющих благое от прекрасного. В этом мире благо есть то, что служит прекрасному. И если есть такой мир, где это не так, то мир этот плох.

— Я могла бы представить себе такой мир, — сказала она, легко водя пером по своим коленям. — Вы, синьор, признанный ученый, добившийся совершенного знания во всех науках и дисциплинах, способный при помощи своей мудрости открыть потаенные первопричины всех вещей, и к тому же человек строгий и избегающий всяческих чувственных удовольствий, — можете ли вы разъяснить мне, почему я, будучи той, кто я есть, должна обладать телом?

Повисла тишина, лишь от цветов жасмина временами доносилось пчелиное жужжание.

— Я могу ответить лишь теми же самыми словами; вашей милости нужно лишь еще раз взглянуть на себя в свое себялюбивое зеркало. Есть такие, кто измышляет философские обоснования для существования некоего ὕλη[148], prima materia или первичной материи, из которой (как им кажется) состоят все реальные объекты, а также духа, который эту материю наполняет и преобразует, обуславливая ее бытие. Но подобные незрелые гипотезы весьма далеки от разрешения божественных загадок, ключ к которым, способный сии двери как запереть, так и отпереть, состоит в священном и бесконечном дуализме и единстве реального и божественного, вследствие чего Красота и Всемогущество неотделимы друг от друга.

— Всемогущество… Красота… — произнесла она, поворачивая перо в своих пальцах то в одну сторону, то в другую, и следя за сверканием бледных многоцветных огней, в своей переменчивой, но неизменной последовательности то вспыхивавших, то гаснувших, то вспыхивавших снова. — Реальное… Божественное… Дуализм… Материя… Дух… Неуклюжие слова, что лишь вздымают завесу пыли между нами и вещами подлинными и совершенными, неясно виднеющимися сквозь нее, подобно солнцу, светящему из-за белых облаков. Полагаю, это означает (если дойти до самой сути), что Бог и сам не совершенен, и потому Он и сотворил Меня?

Доктор некоторое время молча смотрел на нее. Затем он заговорил:

— Да. Схоласты пользуются этими общими терминами в качестве неких условностей для выражения тех понятий, посредством которых деяния

148 ὕλη (др. греч.) — здесь, «вещество», «материя».

Бога хотя бы отчасти могут быть постигнуты человеческим умом или рассудком. Ваша милость и тот Другой — Он, великий Отец Всего — вы имеете столь много разнообразных обличий, что можно было бы с тем же успехом пытаться нарядить в платье луну, как и привести перечень особенностей бесконечной природы Богов. Например, мы говорим о Квезмодийских островах: «Это девять маленьких островков, вытянутых в цепочку». «Островки»? Но это всего лишь намек, дергание вас за рукав, дабы вы рассмотрели их сообща и по отдельности во всем их многообразии, как уникальную и неделимую реальность, также как и эту березку, этот сучок, эту птицу на сучке, это белое облако, этот порыв ветра, что колышет подобные волосам стебли песколюба, этого дождевого червя, этот пузырек в этом роднике, эту песчинку, непохожую ни на какую другую, но вместе с тем и обладающую сходством с каждой из них. Точно так же, только еще более возвышенными общими фразами, говорим мы о Красоте, подразумевая под этими словами все то на этом шаре, что сродно вашей милости, восходит к вашей милости или же способствует развлечению вашей милости.

Фьоринда едва заметно кивнула; ее движение было лишь тенью кивка.

— И потому Он сотворил Меня?

Ее голос, канувший в тишину, будто в медлительные, неотвратимые и неизведанные воды Леты, казалось, оставил после себя некий аромат, дуновение пылкого ветерка, благоухавшего всем тем, что было любимо и утрачено с начала времен, или звездами небесными и их созвездиями.

— Сотворил Меня столь безупречно совершенной, что не найдется на земле или небесах ничего такого, что он счел бы достойным разделить со Мною (столь прекрасной) единоличное господство?.. Что ж, это похвально!

Снова наступила тишина, лишь гудели в жасминовых цветах пчелы.

— Как бы я хотела, — промолвила она, — подслушать какие-нибудь из ваших с герцогом бесед. Обучили ли вы его вещам, которых монарху надлежит сторониться? К примеру, не терять головы из-за женщин?

— Госпожа Фьоринда, — очень серьезно ответил Вандермаст, — я научил его вот чему: узнавать совершенство, когда он его увидит.

— Стало быть, когда он еще вчера явился сюда, весь раздувшийся от вашей философии, да к тому же в неурочные одиннадцать часов вечера (когда моего мужа не было дома), то, полагаю, это было сделано с целью преподать мне тот же самый урок? Фи! — воскликнула она. — Я отослала его восвояси

ни с чем, если не считать зрелища моего обнаженного плеча. Хорошо ли я поступила?

— Все, что ваша милость делает или сделает когда-либо, есть хорошо. Вы по своей природе неспособны поступить иначе.

Ее уста то смягчались, то опять застывали, пока она рассматривала себя: сначала отражение своего лица в зеркале Кампаспы, затем все остальное тело, с удобством вытянувшееся на подушках в позе, исполненной неги и довольства.

— Сколь же могучие чары заключены в женском теле, — сказала она. — Я имею в виду и само тело, и голову. Так аква фортис[149] и купорос, взятые по отдельности, на золото никак не влияют, но смешай их, и получишь царскую водку. А она способна разъесть и растворить даже само золото.

— Но я знаю человека, — промолвил доктор, — что создан из такого металла, какой даже Вашему «адскому огню», госпожа, не под силу ни растворить, ни разъесть. Так рубин, невредимым вышедший из огня, приобретает навечно оттенок тлеющего угля.

— И я, — проговорила леди, и за каждым мягко затихавшим словом следовало эхо: слабое, неверное, полное угрозы, горько-сладостное, будто шум моря у вечных берегов. — И я тоже, кажется, начинаю узнавать его: это человек, тянущийся за большим, нежели дозволено ему Богом. И я уже почти начинаю думать, — продолжила она, — что он не отступит, покуда не получит это.

Тени уже начали удлиняться, когда Лессингем с Мэри повернули обратно. Наступила такая пора дня, когда солнце более уже не подминает под себя земные вещи, не обрушивает на них свой палящий белый свет, но почти склоняется к дружелюбному к ним отношению. Пребывавшее в этом настроении солнце теперь выделяло, будто драгоценность, каждое деревце, каждое потемневшее от непогоды шале, каждую складку или бугорок на склоне горы, каждый изгиб каждой козьей тропки, каждый камушек, каждую мельчайшую деталь вздымавшихся далеко ввысь горных пиков, каждый обращенный к небу цветок; и все это, омытое золотистым воздухом, не только казалось совершенным само по себе, но и сочеталось со всеми прочими деталями ландшафта

149 Аква фортис — азотная кислота.

в совершенстве еще более высокого порядка, совершенстве, имеющем лишь один изъян, свойственный всему земному, — то, что со временем оно умрет.

Они прошли по тропе, что вела мимо залитых солнцем утесов Селлы, потом миновали крутой спуск через лес и вернулись на дорогу, по которой шли утром, в нескольких минутах ходьбы от постоялого двора в Плане. Амбар, в котором они, заслышав по пути на гору стук деревянных цепов, увидели молодого парня и девушку за молотьбой, теперь опустел, лишь висел вокруг него пыльный запах зерна и шелухи. Белые стены постоялого двора были украшены рисунками цветов и завитушками, а между окнами над верандой было помещено изображение девы Марии, Младенца и святых. Как сообщила им девушка в гостинице, утром у Фюнффингершпитце, на Шмидт-Камине произошел несчастный случай с немецким господином и его проводником. Тела отвезли в Канацеи, по другую сторону от перевала. Она услышала об этом от Гензеля Бауманна, охотника на серн. Герр Лессингем наверняка его помнит, разве они не охотились вместе год или два назад? Они двинулись дальше, и Лессингем почувствовал, как рука Мэри крепче сжимает его руку.

Вечер наступал быстро. Тропинка, по которой они шли, пересекла мост и слилась с дорогой, по которой медленно брела процессия возвращавшихся с альпийского пастбища коров. Процессия эта все редела, ибо по мере их приближения к деревне у каждого дома или поворота то одна, то другая сама отделялась от остальных и неспешно, сама же, отправлялась домой на дойку. Так же, никем не подгоняемые, расходились каждая к своему дому и козы. Вечер был полон сладковатого запаха коров, столь желанной после жаркого дня прохлады и музыки: нестройной музыки коровьих и козьих колокольцев, позвякивавших в сотне неверных сонных ритмов. На одном из поворотов замер в ожидании ребенок лет трех от роду. К нему подошла коза; она остановилась, чтобы тот обнял ее обеими ручонками за шею, а потом двинулась вместе с ним, не разжимавшим объятий, по дорожке к бедной лачуге у реки. Лессингем с Мэри, остановившиеся, чтобы понаблюдать за этой идиллией, увидели, как из домика выходит девочка, еще более крошечная, чем мальчик, спотыкавшаяся под тяжестью корыта или деревянного ящика без крышки, который она тащила в обеих руках и, наконец, поставила перед козой, чтобы накормить ее. Пока та ела, дети обнимали и целовали ее.

Настойчиво, будто потеряв что-то, рука Мэри ощупью нашла его руку.

— Что, милая моя?

— Ты говорил что-то этим утром насчет ощущения двойственности внутри.

— Да?

—Насчет смены обличий? Ведь это то же самое, ты так не считаешь?

— Смены обличий?

— Цветов. Король Червей, Дама Пик. Как глупо, что мы не можем… ну… менять наряды.

— Дама Пик? О боже, я бы ни за что не позволил тебе измениться!

— О да. Иногда ты готов отдать за это свою душу. Чтобы вместо Le Lys Rouge был La Tulipe Noire[150]. Когда у тебя соответствующее настроение.

— Дорогая моя, это не про меня.

— Не будь так уверен. Тогда в твоей шкуре прячется кто-то другой. О да, в определенном настроении я и сама предпочитаю тебе кого-то иного, друг мой!

Лессингем промолчал. Повернувшись, чтобы продолжить путь, они постояли еще минуту или две, наблюдая, как садится над Селлой солнце: эта метаморфоза была одновременно и более драматичной, и более таинственной, нежели та иллюзия нематериальности, что породили в утренний час горы. Казалось почти невероятным, как водится с альпийскими закатами, что скалы были всего лишь освещены извне. Зрение восставало против этого, когда вся необъятная цепь громоздившихся друг на друга утесов превращалась в один огненный опал, прозрачный, озаренный изнутри трепещущим и жарким алым пламенем.

Через несколько минут все прошло, потонув, будто в приливных волнах безжизненного моря, в надвигающемся мраке ночи. Лессингем промолвил:

— Помнишь те закаты на Сундее[151], когда мы плыли к Вестферту мимо Халогаланда? Там все так не пылало изнутри. Но они остались с нами.

— Ненадолго. Потом они ушли. В конце концов они ушли.

Сумеречный свет, что отделяет закат от наступления ночи, окрасил лицо Мэри в пепельный цвет, также как и склоны Селлы.

— Даже Селла, — произнесла она. — Неужели и она когда-нибудь уйдет? Хотя и сами мы уйдем слишком скоро и слишком быстро, чтобы это заметить.

---

150 Le lys rouge, la tulipe noire (фр.) — «красная лилия», «черный тюльпан».
151 Сундей — местность на о. Альстен в северной Норвегии.

— Думаю, Боги могли бы заметить это, увидеть это; так мы видим, как угасает закат. Если есть такие существа как Боги. Да, все уходит. И никогда не возвращается, — сказал он. И добавил с внезапной язвительностью и едким жалящим сарказмом в голосе: — Как скучно и пресно было бы, будь все иначе!

Он обернулся и посмотрел на нее; и увидел сквозь сумерки, как, подобно крыльям крачки в полете, слегка приподнялись ее брови, увидел, как на ее губах скользнула стрекозою и исчезла слабая усмешка. Казалось, сама ночь, сама погруженная во тьму земля прильнули к ней, охваченные голодом неутолимой страсти.

На следующее утро Лессингем открыл глаза в наполненной зеленоватым сиянием полутьме: копья света и копья теней, прямые и геометрически безупречные, то вертикальные, то горизонтальные, пересекались под тупыми углами и уходили за пределы его поля зрения. Вокруг было очень тихо, если не считать не прекращавшегося фонового шума, похожего на шум дождя или бегущей воды, что нашептывал ему ласковым, убаюкивающим, почти человеческим голосом: «Не думай. Не пытайся понять, в какой постели и в какой комнате ты находишься, или в какой стране. Не просыпайся. Закрой глаза. Закутайся в одеяла по самые уши, заройся лицом в подушку. И когда все чувства отступят под прикосновением совиных крыльев сна, что, паря над тобою, пробудит желающие пробудиться мысли и убаюкает остальные, твое я — расслабленное, инертное, бездеятельное — сможет испытать чистое чувственное блаженство своего сна.

Это сон духа, полный зеленого света и тишины. Из пучин, в которые не забираются даже лучи света, то и дело поднимается пузырек, всплывает, одинокий и безупречный, касается подобной стеклу поверхности, лопается и исчезает. Так следуют они друг за другом в неравномерной и медлительной процессии, будто коровы вечером. Этот тирольский танец, эту удалую пляску горной крови эти венские танцоры и впрямь танцуют «слишком развязно». Мадам де Росас проступает на их фоне, затмевает их, прекрасная, будто испанская статуя, под протяжное тремоло кастаньет… Мэри слушающая и наблюдающая… Мэри в Энмеринге… Мэри под сосной, с мозаичными узорами из белого солнечного света и похожих на драгоценные камни светящихся теней, что сплетаются и расплетаются на ее лице… кузнечики на жарких скло-

нах близ Селлы, поющие — для кого, если не для нее? — своими лилейными голосами. Дым над пылающей Троей:

ἔσσεται ἦμαρ ὅτ᾽ ἄν ποτ᾽ ὀλώλῃ Ἴλιος ἱρὴ
καὶ Πρίαμος καὶ λαὸς ἐϋμμελίω Πριάμοιο·

Будет некогда день, и погибнет священная Троя,
С нею погибнет Приам и народ копьеносца Приама[152].

Безжизненная ноша в твоих руках на берегу Струмы[153]… бедный старый Фред, как и ты, рожденный быть бойцом, неистовый в гневе, узы меж вами скреплены кровью… «Пусть грянет гром — знак моего ухода[154]»… грохот рвущихся снарядов, визг летящих пуль… но какая-то неясность, нереальность — чего ради все это? — происходящего… и конец… попытки что-то сказать… пузырящаяся красная пена меж передних зубов… треск пулеметов — горох в свином желудке… нет, это кастаньеты. Кастаньеты, и красная камелия в волосах женщины… умопомрачительные, змеящиеся, медленные покачивания ее бедер… белки ее глаз… ее гладкие волосы… безмятежность. Безмятежность в бархатистой тьме того единственного сапфира, что заключает в своих драгоценных и беспокойных глубинах все эти воспоминания, все эти колеблющиеся ритмы. Уходит. Все уходит. Все кроме Мэри. Мэри… вечно ускользающая, вечно неуловимая. Стук копыт ее лошади… словно кастаньеты. Келлинг Хит и пробуждающаяся земля, что черпает жизнь из ее жизни. Утро жизни… та самая тема вступающей пульсирующим пиццикато грандиозной вариации квартета до-диез минор[155], что и олицетворяет собой Мэри, Королеву из Королев, неописуемое сокровище всех сердец… все на свете стекается к ней сквозь время, образуя новые миры, водящие хороводы вокруг нее, новые миры, рождающиеся, умирающие и тонущие в забвении с каждым ее шагом… «Возможно, сэр, достаточно будет, если я отвечу: Потому что меня это забавляет.?» Ее алые уста, алые перчатки, ее белая кожа, и то самое создание, которое, то дремля, то бодрствуя, обитает в уголках губ Мэри… Мэри, но такой черноволосой… Ninfea di Nerezza[156]…»

И вот, медленно всплыл на поверхность последний из пузырьков. От его прикосновения стеклянная гладь содрогнулась, разорвалась подобно платью,

152 Гомер, «Илиада», песнь VI, 448-449 (пер. Н. Гнедича).
153 Струма — река в Болгарии и Греции.
154 Дж. Уэбстер, «Белый дьявол», акт V, с. 6 (пер. И. Аксенова).
155 Струнный квартет №14 до-диез минор (ор. 131) Л. ван Бетховена (1826).
156 Ninfea di Nerezza (ит.) — «Черная Кувшинка».

раскрылась, словно цветок, навстречу небесам, неприступным и незапятнанным растопленными солнцем снегами, и посреди них будто пылало черное пламя, способное затмить солнце и, будто несомых ветром мотыльков, унести за собою все чувства, ослепив их своим непередаваемым великолепием.

Окончательно проснувшись, он вскочил с кровати, распахнул зеленые ставни, впустив в комнату белые потоки солнечного света. Его часы на комоде показывали десять. Он позвонил, чтобы ему приготовили ванну, и, пока шли приготовления, внес последние штрихи в те строки, что написал перед тем, как отойти ко сну, на половинке листа бумаги, венчавшей собою стопку документов и заметок, над которыми он работал до трех часов ночи.

Через двадцать минут он уже вымылся и оделся. Тут его взгляд впервые упал на конверт, лежавший на прикроватной тумбочке. Ее почерк. Он заспался, и заперта была отнюдь не его дверь. Бумага из Нижнего Уостдейла, дата сегодняшняя, двадцать пятое июня:

Mon ami,

Я сказала герру Б., что нас может не быть несколько дней, и чтобы комнаты пока придержали. Если ты был серьезен в своем комплименте, что сделал мне вчера на Селле, попросив выйти за тебя, то ты знаешь, где меня искать.

Твоя Мэри.

Сжимая это письмо в руке, Лессингем в течение мимолетного мига выглядел, словно пес, чья насмешливая хозяйка сделала движение, чтобы бросить ему мячик, но на самом деле не выпустила тот из рук, спрятав в ладони. В следующий миг вулканом вскипевшей в нем черной злобы метнулся ввысь кулак. Он замер, не закончив движения, и всем весом навалился на вцепившиеся в столешницу руки, недвижный и молчаливый, лишь иногда ворча, будто сидящий на цепи Волк. Единственная аудитория, перед которой разыгрывалось это неприкрытое действо — четыре стены комнаты, оклеенные обоями с неприхотливым узором, стулья с круглыми сиденьями, ни в чем не повинный стол, доски пола, в исходившем от которых слабом запахе мыла угадывалась застенчивая респектабельность, простой зеленый ковер возле кровати и еще один в зелено-белую полоску у умывальника, а также утреннее солнце, озарявшее все это чистым и ласковым светом, — взирала на него по счастью невидящим взглядом.

Он рывком распрямился; глаза его были глазами мальчишки в утро перед охотой. Он сложил все свои бумаги и писчие принадлежности в сумку

и пинком затолкал ее под кровать, беззвучно усмехнулся своему отражению в зеркале, побросал кое-какие вещи в чемодан и неспешно отправился завтракать. Через час он уже ехал по долине к Вайдбруку. И всю дорогу следовавшая за ним неотступно, то тихая, то громкая, то пропадавшая на мгновение, то снова возвращавшаяся, дикая охотничья песня, прихотливая и неумолчная, звучала в таинственных лесах и напоенных пьянящими ароматами нехоженых темных уголках, стуча в азарте охоты в его жилах и костях. В Вайдбруке он сел на поезд и около пяти часов вечера, благодаря врожденному умению отметать трудности, вдохновению и находчивости герра Биркеля, а также беззастенчивому пользованию телеграфом и телефоном, взлетел из Вероны на личном аэроплане, принадлежавшем зятю Джима, Николаю Мицмезжинскому.

Не задерживаемый ни пересадками с поезда на поезд или с корабля на корабль, ни воскресными перерывами в работе всевозможных служб, он приземлился менее чем через двадцать пять часов после своего отбытия из Вероны. Его слуга Дэвид, в соответствии с телеграммой, поджидал его вместе с машиной; он служил семье кучером, также как и его отец с дедом, временами (особенно в последнее время, с протестами и только по необходимости) переквалифицируясь в шофера. За руль сел Лессингем. До дома — для водителя безрассудного и неистового — было два часа езды.

Когда машина подкатила к воротам, уже подступал вечер, и воздух после дождливого дня был наполнен весенней свежестью. Холмы Уостуотер Скриз, пурпурно-черные, возвышались на фоне серовато-бурых дождевых туч, что вразброд уносились на юго-восток. Выше них и с не столь головокружительной скоростью плыли с запада и севера клубящиеся массы бледного индигового оттенка, между которыми, подобно окнам в небеса, один за другим открывались разрывы; сквозь них взирали на все это смешение цветов спокойные и величественные громады белых кучевых облаков, а еще выше виднелось и само небо, вымытое дождем дочиста, цвета прозрачнейшей и нежнейшей лазури, безветренное и неизмеримо далекое.

На ступеньках перед парадной дверью стояла старая Рут, уже ставшая экономкой в этом особняке в Нижнем Уостдейле, но по-прежнему носившая чепец с передником, как делала это с незапамятных пор, когда, будучи нянькой, заботилась о Лессингеме, а до него — обо всех его братьях и сестрах.

— Ну что, Рут, — спросил он, отдавая ей ключ от своего чемодана, который был доставлен к задней двери, — вы получили мою телеграмму?

— Да, сэр.

— Есть известия от ее милости?

— Нет, сэр. Пока ничего не слышно.

— Она прибудет завтра. Мисс Дженет спит?

— Спит, ангелочек. Джесси выложит ваши вещи в гардеробной, я только отопру дверь в вестибюль, сэр. Там все готово, как обычно

— Нет, там я сегодня спать не буду. Посплю в маленькой комнате в конце западного коридора. О, и еще, Рут, — окликнул он ее. — Вы ведь понимаете… они все понимают, не так ли?.. когда ее милость приедет, ей о том, что я оказался тут раньше, ни слова.

— Хорошо, сэр.

— Это должно быть предельно ясно.

— Хорошо, сэр.

— Отлично. Поужинаю в Прибежище.

— Да, сэр.

Пожилая женщина заколебалась. Нечто — возможно, некая окружавшая его неясная пульсация той удалой охотничьей песни — очевидно, придало ей решимости.

— Извините, сэр, но если так выйдет, что ее милость задаст мне прямой вопрос, вы хотите, чтобы я сказала ее милости неправду, мистер Эдвард, сэр?

— Что вам следует делать, моя дорогая Рут, так это не проболтаться и не испортить всю потеху. Если вы не способны на это, не прибегая к откровенной лжи, то вы не та женщина, которую я знал.

— Мистер Эдвард всегда любил подшутить, — сказала он Дэвиду чуть позже.

— Ага, и ее милость тоже, благослови ее бог. Что я никак в толк не возьму, так это его выкрутасы с этими дурацкими аэропланами, черт бы их побрал. Это же опасно. Если он как-нибудь полетит и сломает себе шею, будет очень жалко.

— Что же ты будешь тогда делать, Дэвид?

— Наверно, придется найти новое место.

— Такое как это?

— Ага.

— Думаешь, такое найдется?

— Может и нет.

— Вернешься к мистеру Эрику в Сниттлгарт?

— Не в мои годы! И мистер Эдвард-то иногда бывает грубоват. Ну а мистер Эрик, когда на него находит, говорят, и подавно ведет себя как полоумный.

— Так куда же ты подашься, Дэвид?

— Да хоть к Джексону Тодду.

— Неплохо! Хотя он ведь уже умер, разве нет?

— Ну так к другому вроде него. Такой вот теперь джентльмен пошел. Деньжищ навалом, а сам ничем не лучше любого пропойцы. Видал его как-то мельком на пустошах, что на той стороне Мангрисдейла, еще до того, как мистер Эрик прибрал их к рукам. Уж как он нагрузился за ленчем; выдул, наверное, с кварту шампанского. Так и бекал и мекал, будто самый настоящий пропойца.

Той же ночью Лессингем, идя спать, остановился на верхней ступени широкой лестницы. Своим универсальным ключом, спрятанным под камнем в кольце на его левой руке, он отпер дверь в вестибюль справа от себя и вошел. В конце вестибюля другой дверной проем, закрытый тяжелыми занавесями, вел в Комнату Лотосов — комнату сорока или пятидесяти футов в длину, расположенную в недавно пристроенном восточном крыле этого старинного дома. В ее западной и восточной стенах были проделаны высокие окна, а между ними размещались массивные открытые камины с высокими полками. Со времени ее постройки три года назад немногим довелось увидеть эту спальню, или порфировые и ониксовые ванные комнаты, или гардеробную, или просторную студию Лессингема, в которую вела дверь в северной стене, слева от кровати. Это была кровать с пологом, обширная и роскошная, завешенная и застеленная тяжелыми каштаново-зелеными покрывалами, с благоухающими столбами из инкрустированного золотом сандалового дерева. На столах, на каминных полках и в канделябрах на стенах стояло множество свечей, готовых к тому, чтобы быть зажженными, но сейчас единственным

освещением в комнате были электрические лампочки, скрывавшиеся внутри хрустальных люстр, что подобно гроздьям гигантских сферических фруктов свисали с потолка.

Остановившись в дверях, он неторопливо обежал комнату взглядом; так смотрят на нечто такое, во что не вполне верят. Он все еще держал в руках кольцо с ключом: свадебный подарок от Мэри, кольцо из цельного золота, не содержавшего никаких примесей, в форме зажавшего в пасти свой хвост чешуйчатого червя, головой которому служил камень в кольце, великолепный старинный рубин; червь Уроборос, символ вечности, начало которой является ее концом, а конец — началом. Подойдя к камину возле кровати, он отпер этим ключом дверцы шкафчика, встроенного в дымовую трубу над камином, и мягко, осторожно, как художник проводит кистью дугу, отвел их влево и вправо. Отступив на несколько шагов, он уселся на софу в изножье кровати и устремил глаза на открывшуюся перед ним картину.

И вдруг показалось, будто картина говорит. Она словно промолвила: «Во мне — портрете, созданном тобою на холсте при помощи растертых с маслом красителей — мимолетное мгновение застыло в недолговечной неподвижности. Глядя на меня, ты увидишь своими глазами, услышишь своими ушами, почуешь своими ноздрями, ощутишь в своей крови, вспомнишь все то, что было в то мгновение, а потом, посредством всех этих чувств и заключенной в тебе силы вспомнишь и то, чего не было, и не будет. Не будет никогда. Даже на пороге… L'Absente de tous bouquets[157]».

Замершему в созерцании Лессингему казалось, будто на самом краю его поля зрения вырезанные вдоль фриза лотосы легко колышутся в жарком пламени этой доселе скрытой в шкафу картины. Как ветер в ночи заставляет звезды мерцать, так и терзавший бренную плоть голод стал неразличимым покровом для некоей наполнявшей его духовной сущности; сущности, которая на картине, также как и в жизни, служила в своей глубинной и спокойной переменчивости фоном к каждой безупречной линии тела. И в странной и страстной антиномии единичная личность Мэри, что, безмятежная и неизменная, проглядывала в каждой черточке ее лица — более того, звучала внутренней музыкой всего ее тела, — казалось, в каком-то пламенном сочетании несочетаемого вобрала в себя весь мир, безбрежный, словно морской

157 «L'Absente de tous bouquets» (фр.) — «отсутствие во всех букетах», фраза из эссе «Кризис стиха» французского поэта С. Малларме (1842 — 1898).

простор поутру или видимый с высоты океан облачных волн в первом слабом розоватом сиянии новой зари, чья бесконечность обрела свое воплощение в линиях ее обнаженных грудей, талии, изысканных, гибких и убаюкивающих обводах бедер, и в помрачающих рассудок своим сверканием вьющихся волосах, оттенявших белую кожу. И все это невыразимое словами целое обратилось к нему с холста, из оживших воспоминаний, говоря: «Хотел бы ты, чтобы Я была иной? Чтобы Я всегда оставалась здесь? Дарованная тебе без пота и страданий, без мук рождающегося разума?.. Нет, мой друг. Даже в Элизии — нет».

«Ибо, — промолвила картина (и сам художник промолвил самому себе), — пассивность не для тебя, она вообще не для мужчины… Ну а для женщины? Что ж, пожалуй, это тоже своего рода пассивность — иллюзия неподвижности, какая бывает в центре водоворота. Пассивность, что покоится на глубочайшей убежденности в превосходстве над любой силой. В превосходстве, что остается с нею, даже будучи доведено до самого крайнего своего предела — самопожертвования:

А женщина в покое —
Что тихая вода под сводами моста —
В нее легко мужчина входит[158]».

Мэри прибыла вслед за рассветом в спальном вагоне, выйдя на маленькой пустынной платформе в Дригте около половины седьмого следующим утром. В глазах ее сияло солнце, в ушах звенели крики крачек, а в ноздрях чувствовались соль и дурманящие запахи Северного моря.

— Оставь здесь, Том. Днем за ними заедут и заберут.

— Да, ваша милость, — отозвался портье, укладывая ее вещи на тележку.

Он, а за ним начальник станции, забравший ее билет, и мывшая крыльцо гостиницы девчушка, для каждого из которых у нее нашлось доброе слово, застывали на мгновение, глядя ей вслед с зачарованным видом лесных зверьков, ослепленных внезапно полыхнувшей во тьме головней.

Было прекрасное утро: на полях еще лежала роса, тропинки благоухали дикими розами и жимолостью, а ветер время от времени доносил более сильный и сладкий аромат таволги, а иногда и едкий запах золотого утесника.

158 Дж. Уэбстер, «Белый дьявол», акт IV, с. 2 (пер. И Аксенова).

Всю дорогу домой, все семь или восемь миль, она шла пешком, сжимая в руке свою шляпу и позволяя ветру играть со своими волосами.

Несомненно, уже привыкшие ко всему, да еще и получившие строгий наказ молчать, домочадцы почтительно воздерживались от того, чтобы сообщить ей, что он уже здесь и как раз принимает ванну. А Мэри со своей стороны, явно прочтя что-то в чересчур бесхитростных глазах Рут, вопросов не задавала. Она лишь упомянула (что было отчасти правдой), будто хозяин опоздал на поезд в субботу утром и, к сожалению, едва ли появится дома до завтрашнего дня. Потом она покорно велела подать завтрак в Прибежище и отправилась туда вместе с Шейлой. И она покорно завтракала, когда спустился Лессингем.

А он, несомненно, в не меньшей степени готовый к этому, минуту наблюдал, сам оставаясь невидимым, как она, склонив свою белую шею, подперев подбородок рукой, погрузилась, такая красивая, такая самодостаточная, в раздумья столь глубокие и печальные, будто это было некое безупречное и бессмертное божество, облачившееся (поскольку духу надлежит иметь телесную форму) в женское тело и ненадолго спустившееся в этот мир.

IX. Ninfea di Nerezza

УТРО вторника, двадцать первого июля, было в самом разгаре. На берегу озера Рейсма тени еще оставались длинны, и тяжелые капельки росы бисером повисли на паутинках, что шалью укрыли кусты и придорожную траву. Прогуливаясь в одиночестве, доктор Вандермаст неожиданно наткнулся за поворотом тропинки на своего повелителя, герцога. Герцог был облачен для верховой езды и сидел спиной к нему и к Рейсме на стволе поваленного ясеня, а лошадь его паслась на воле в зарослях поблизости. Герцог сидел с непокрытой головой, и его короткие курчавые волосы пылали на солнце раскаленной докрасна медью. На приветствие доктора он обернулся с мрачным выражением лица, которое, впрочем, тут же смягчилось.

— Ваша светлость всего за месяц стали почти столь же тощи и печальны, как олень осенью.

— Ну так вот вам и пример того, как совершенно противоположные вещи приводят к похожим результатам.

Вандермаст уселся на ствол, не слишком близко, но так, чтобы ему было легко наблюдать за лицом и поведением Барганакса.

— Результаты похожи лишь при беглом и поверхностном рассмотрении. По сути же, как в достаточной степени продемонстрировано в трактате De Libertate Humana, Propositio XXX, душа наша, поскольку она познает себя и свое тело sub specie æternitatis, необходимо обладает познанием Бога и scitque se in Deo esse et per Deum concipi: знает, что она существует в Боге и через Бога представляется[159]. И посему настолько же, насколько зенит отстоит от надира, прекраснее быть человеком неудовлетворенным, нежели пребывающей в довольстве четвероногой тварью.

Герцог выдавил из себя горький смешок.

— По-моему, вы не в своем уме, доктор.

— Почему же?

— Потому что вздумали разговаривать с позиции разума с безумцем. И поскольку вы не в своем уме, а потому вам можно рассказывать о любых безделицах, вот вам образчик премудрости безумца, что явился ко мне в этих удушливых окрестностях ада, на полных женщин берегах Рейсмы, от которых я, будучи безумцем, бегу прочь, но для того лишь, чтобы вновь возвратиться, как мотылек летит на пламя свечи…

Ответь мне, Божество Земли:
Что есть распутство без Любви?
Намного лучше (был ответ),
Любви той, где распутства нет[160].

— В безумном мире, — промолвил доктор, — это и впрямь сойдет за безумство. Ибо, хотя искусный поэт и сказал бы лучше, в словах этих — непреложная истина, всегда единая, парадоксальная в своем единстве, и вследствие своей парадоксальности всегда имеющая две стороны. Однако же безумец никогда не успокоится, покуда не переиначит в соответствии со своими математическими пристрастиями несравненные творения Бога, что являются фундаментом и краеугольными камнями вселенной, как видимой, так и невидимой.

159 Б. Спиноза, «Этика», ч. V, «О могуществе разума, или о человеческой свободе», теорема XXX.
160 Пер. А. Вироховского.

— Придумайте мне какое-нибудь дело, чтобы я сегодня же отправился домой в Зайану.

Вандермаст посмотрел на его благородное и привлекательное лицо, теперь изможденное и подавленное, как если бы тот несколько ночей не смыкал глаз.

— Если ваша светлость желает уехать, что (помимо приказа самого короля) способно остановить или задержать вас?

— Моя собственная воля, которая не подчиняется мне, разве только под влиянием неких внешних неотложных дел. Я желаю, но и не желаю тоже. Если меня не заставят, я не уеду… не уеду один.

Они замолчали. Вандермаст наблюдал, как раздувались ноздри герцога, как напряженность появилась в его неподвижно склоненной голове, на его лице. Он посмотрел туда же, куда смотрел герцог. На головке лихниса, этого пламенеющего цветка, в ярде или чуть дальше от ноги Барганакса, возле зарослей таволги, трепеща, сидела бабочка, то раскрывавшая, то закрывавшая свои хрупкие крылья. Белыми и гладкими были ее крылья, будто слоновая кость, и то и дело являли взору бархатисто-черные пятнышки в форме сердечек. Казалось, из робко подрагивавших приоткрытых крыльев этого прекрасного создания, из алой чашечки цветка, распустившегося среди ароматных листьев и переплетшихся стебельков, хлынула некая теплота, горячим ключом вскипевшая в залитой солнечным светом утренней неподвижности.

— Вы в свое время, а я в свое, — наконец, произнес доктор, — бродили по этим чувственным тропам, блуждая в лабиринте любви. Мы опытным путем подтвердили мудрый урок, преподанный нам маркизой Монферратской, что обедом, приготовленным из кур, и несколькими милыми словами подавила безумную к ней страсть французского короля[161].

— Обедом из кур?

— Здесь per allegoriam[162] выражена идея, что, подобно тому, как каждое из множества выставленных перед ним восхитительных блюд (если не считать разнообразных соусов и способа подачи) представляло собою лишь курятину, все женщины в этом отношении столь же похожи друг на друга. Вам следовало бы удостовериться, что и вас не охватила подобная же страсть. Как сказал поэт:

161 Отсылка к одной из новелл «Декамерона» (1352—1354) Дж. Бокаччо.
162 Per allegoriam (лат.) — «иносказательно», «при помощи аллегории».

Утолено, — влечет оно презренье,
В преследованье не жалеет сил.
И тот лишен покоя и забвенья,
Кто невзначай приманку проглотил.
Безумное, само с собой в раздоре,
Оно владеет иль владеют им.
В надежде — радость, в испытанье — горе,
А в прошлом — сон, растаявший, как дым[163].

Барганакс сидел, опершись локтем о колено, стиснув рукой подбородок и сжав губы, пока Вандермаст не закончил, сидел неподвижно, будто взвешивая его слова, пытаясь прочувствовать их. Когда он наконец заговорил, голос его прозвучал тихо, будто бы он обращался к самому себе, удалившемуся в самый укромный уголок своего сердца.

— Слова истинной чеканки, — сказал он. — Так оно все и есть. Но это лишь одна сторона. Перевернешь монету, а на обратной стороне…

Там, где прекрасны все, тебя прекрасней нет,
Где все вокруг глупы, глупей ты всех на свете.
Простой наряд Любви, что на тебе надет,
Наряднее одежд, что носят люди эти.
Божественно прелестна, дьявольски умна,
Смиренна или смотришь гордой павой
Язвительна или по-девичьи скромна —
Все это чистоты твоей оправа.
Была б ты худшей, коль не стала б лучше всех,
Твой поцелуй — залог всесладостных утех[164].

—…А на обратной стороне, — промолвил он, поднимаясь на ноги и, будто леопард, глядя поверх головы Вандермаста на Рейсму и чистый лик утра, — как раз и выгравирован главный замысел, — он встретился взглядом с доктором: — Что скажете?

Вандермаст покачал головой:

— Я вижу, я воспитал в вашей светлости столь блистательного метафизика, что для дальнейшей дискуссии просто нет места. Тезис и антитезис — таковы две створки дверей, ведущих к истине. Философия способна лишь ука-

163 У. Шекспир, отрывок из сонета CXXIX (пер. С. Маршака).
164 Пер. А. Вироховского.

зать нам на них, отпереть их, возможно, даже удержать их для нас открытыми, но и тогда лишь нам самим, каждому по отдельности, дано пройти сквозь них и узреть ее своими глазами, без помощи увеличительного стекла, даже если глаза эти подслеповаты. Что делать с оружием человеку, который не знает, как с ним обращаться? — произнес он после короткой паузы. — Есть Он и Она, есть отношение между Ними, которое мы назвали бы любовью, союзом, привязанностью. Поскольку Их власть безгранична, безграничны и Их удовольствия.

Герцог свистом подозвал свою кобылу; та перестала щипать траву, заржала и подошла к нему, грациозно ступая по усыпанной росою траве. Взобравшись в седло, он замер, а затем с некой плясавшей в его взоре мучительной насмешкой над самим собой сказал, протянув руку ученому доктору:

— Вы не помогли мне. Я остался там же, где и был. О, Вандермаст, — воскликнул он, вцепившись в руку старика. — Это такая мука, я скоро взорвусь. Взорвусь, Вандермаст.

Престарелый доктор, глядя на его силуэт, вырисовывавшийся на фоне небесной синевы, заметил, как горячая кровь залила все его лицо багровой краской, как молотом стучала она в его висках и в могучих жилах на его шее.

— А черный, — выдавил герцог сквозь зубы, — это цвет ада.

Он дернул поводья и поскакал прочь, несколько нерешительно и неохотно, и вовсе не по зайанской дороге.

Леди Фьоринда также выехала этим утром покататься верхом. У мостика близ озера, там, где шесть дней назад ученый доктор беседовал со своей водяной крысой, она лицом к лицу столкнулась с герцогом. Она подвела свою лошадь к берегу ручья, чтобы напоить ее; он на западном берегу сделал то же самое. Их разделяли три ярда неподвижной воды, а лошади их пили из одного ручья.

— Удачная встреча. Я ехал проститься с вашей милостью.

— Проститься, наконец? — проговорила она, склонив голову. — И что это за странная манера прощаться при встрече?

— Отнюдь, при расставании.

Возражением ему были лишь ее иронично затрепетавшие ноздри.

— В этот день, — сказал он, — я намереваюсь вернуться домой в Зайану.

— Жаль это слышать.

— Давайте для разнообразия поговорим начистоту.

— Так начинайте же, ваша светлость, прошу вас. Будет интересно увидеть отличия.

— Правда состоит в том, что я начал менять свое мнение касательно вашей милости.

— Превосходно. Я уже боялась, вы до такой степени забрали это себе в голову, что рисковали мне наскучить.

— И еще я начинаю думать, госпожа моя, что был чересчур хорошего мнения о себе.

Сам факт ее присутствия заставил слова увязнуть в его зубах: гордые как лилия обводы ее головы и шеи, блестящие как морские волны массы расчесанных на пробор черных волос, что выбивались из-под усыпанных бриллиантами отвернутых полей ее шляпки для верховой езды, ее руки в малиновых перчатках — одна сжимала обвисшие поводья у холки лошади, другая покоилась на крупе, — два вздымавшихся и опадавших, будто на волнах, бесценных серебряных яблока грудей в сатиновом корсаже ее платья, полные угрозы зеленые глаза, губы, казалось, способные изящно плюнуть вишневой косточкой в самого Сатану, все ее сокровища, олицетворявшие нежность и тигриную грацию, все те места, куда можно поцеловать женщину.

— Я хотел сказать, — пробормотал он, — вы как будто ведете меня на веревке. Но, — во внезапном порыве гнева воскликнул он, видя, как она беззвучно смеется, — вечно морочить мне голову болтовней вам не удастся.

— Фи! Какая удивительная неблагодарность! До чего вы докатились!

— Хватит с меня вашей холодности и туманных обещаний.

— Каковые ваша светлость, вероятно, считает притворными, а потому неуместными в отношении монарха. Так? К чему пустословить? Что же вы станете делать?

— Вот и прошлой ночью… я пришел на свидание, чтобы — какое чудовищное вероломство — прождав вас в галерее неизвестно сколько, обнаружить вас вместе с Морвиллем.

— С кем же еще заботливой жене и быть, как не со своим законным мужем? Честно говоря, меня так и подмывало столкнуть вас лбами и посмотреть, как вы себя поведете.

— А я, по-вашему, лицедей, разыгрывающий пантомиму вам на забаву?

— Почему бы и нет, если мне так захочется? И довольно неплохой, Фуриозо[165] у вас получается весьма живо.

— Что ж, прощайте, — сказал герцог.

Он подобрал поводья и замер на мгновение, похлопывая по своему сапогу кнутом и вперив в нее темный взор.

— Прощайте, — отозвалась она. — На самом деле, — сказала она, задумчиво поглаживая свою лошадь правой рукой по крупу — и каждое невольное движение ее пальца было подобно драгоценному камню, одному из тех, что стоит дороже целого королевства: — на самом деле я начинаю уставать от придворных глупостей.

Ноздри Барганакса раздулись.

— Кроме того, похоже, я, как ни странно, постепенно влюбляюсь в своего мужа.

— Думаете, я в это поверю?

— Нет, — промолвила она, и в ее ленивом голосе звучало жгучее ядовитое очарование, от которого покрывается волдырями кожа, — ведь вы, судя по всему, еще тупее его. Тупы ваши ухаживания, ваша уверенность в собственной несравненности, ваши любовные речи. Как будто бы (как выходит с вашими Беллафронтами, Пантасилеями и прочими слабыми на передок клушами) вам довольно лишь сказать: «Госпожа, раздевайтесь и ступайте в постель».

Барганакс, ошеломленный, будто получил пощечину, лишь поперхнулся и продолжал молча взирать на нее.

— Вы заставили меня позабыть о манерах леди. Но, как вы обнаружите, господин герцог (если до этого, конечно, дойдет), любовь ко мне — не игра и не пустая болтовня.

Между ним и ею, что казалась обычной женщиной, словно натянулась сверх всякого предела тончайшая нить беспрестанно бросаемых вызовов; шнур, канат, сплетенный из золота и огня, оканчивавшийся крохотными крючьями, что были острее и тверже алмаза и впивались глубоко в его плоть и дух.

— Что ж, — промолвил он. — Когда я увижу вашу милость в следующий раз, я надеюсь найти вас в более сговорчивом настроении.

— Вы меня не найдете. Я также собираюсь уехать.

165 «Неистовый Роланд» или «Неистовый Орландо» (итал. Orlando furioso) — рыцарская поэма итальянского писателя Лудовико Ариосто (1516).

— И куда же, если дозволено будет поинтересоваться?

— Если бы я ответила, что толку было бы уезжать?

Гнездившееся у ее величавых губ создание наставило на него свои рога, готовое колоть и провоцировать, причиняя муки и страдания.

Кровь отхлынула от его лица.

— Так езжайте же, — воскликнул он. — И пускай Дьявол разорвет вас на куски.

Он хлестнул по губам своей кобылы, и та, непривычная к подобному обращению, встала на дыбы, крутнулась на задних ногах и галопом умчала его прочь.

Леди же еще минуту сидела, глядя ему в след, пока он не скрылся за деревьями на расстоянии четверти мили. Между тем лорд Морвилль, наблюдавший за нею из удобного местечка в зарослях ольхи, воочию убедился, как то создание, что за все четырнадцать недель несупружеского супружества не удостоило его ни единым взглядом, теперь следило за Барганаксом с неким затаенным весельем, будто меж ними установился какой-то тайный союз, в который не подобает вмешиваться разуму. Он онемел, будто окруженный огромными шаровыми молниями.

А фиалковенчанная Киферея, Дочь Зевса, обратила свои помыслы к иным вещам. Может быть, Она почувствовала его присутствие, может быть, нет. Подобрав поводья, она повернула к дому, правя лошадью так, чтобы та не наступила на росший на тенистом берегу цветок: дикий мак с выпуклой шафрановой серединой, будто покрытыми инеем листиками и лепестками, напоминавшими изящные кружева того бледно-желтого оттенка, в который окрашивается луна сразу после захода солнца.

X. Управитель Рейсмы

КОГДА его супруга удалилась, Морвилль отвязал своего коня, стреноженного им в рощице поблизости, и медленно, прогулочным аллюром, чтобы избавиться от охватившего его мысли оцепенения, поехал не домой, но на северо-запад, по направлению к Мемизону. Был он человеком высоким и крепким, лет двадцати пяти, чисто выбритым, имел хорошую осанку и горделивый взгляд, а черты его были достаточно угловаты, чтобы придать мужественности прозрачной коже его лица, которое в противном случае могло бы сойти за женское и которое сейчас побагровело от буйства пылавших в нем страстей.

Когда он ехал по дороге, что ведет на север, к Мемизонскому замку, и на юг, в Зайану, ему повстречался верховой посыльный, отсалютовавший ему и вручивший письмо со словами:

— От господина верховного адмирала, который лишь вчера утром прибыл из Сестолы в Зайану, а сегодня с часу на час ожидается в Мемизоне. В тот дворец я доставил еще пять писем.

— Кому? — спросил Морвилль, ломая печать.

— Графу Медору. Лордам Мелату, Зафелю и Барриану. И еще одно его светлости, герцогу Зайанскому.

«Сегодня надо ехать на север, — произнес Морвилль про себя, читая письмо Иеронимия, — на встречу с королем в Румале, чтобы потом сопровождать его на юг, в Сестолу. То есть, придется провести ночь в Румале».

— Ты все доставил? — спросил он вслух.

— Все, кроме того, что предназначено господину герцогу. Говорят, он уехал, но ожидается обратно в течение часа.

Морвилль сложил письмо, сказав себе: «Формально это приглашение, но просьбы, исходящие от людей короля, могут на самом деле являться приказами. Раз и герцог должен ехать, чем рискую я, если также поеду? К тому же, это большая честь».

— Хорошо, — сказал он посланнику, — вот деньги. Избавлю тебя от поездки до Рейсмы. Я позабочусь о господине адмирале.

У герцогини в Мемизоне было заведено бодрствовать допоздна. Потому этим утром, когда приехал Морвилль, все еще спали, за исключением привратника, нескольких садовников и домашней прислуги. Он препоручил своего коня мальчишке-груму и, оставив летний дворец герцогини справа от себя, прошел через сады к колоннаде. Здесь при звуках знакомого голоса, режущего ухо и полного насмешки, но, самое главное, услышав произнесенное им собственное имя, он замер, быстро отступил под густую листву тисов у северо-западного угла, и из этой засады принялся слушать.

Это был голос Зафеля. Теперь заговорил Медор:

— Почему его не могут призвать с тем же успехом, как вас или меня? Он управитель Рейсмы.

— Ну-ну, и за какие же такие заслуги?

— Он дворянин; он хорошо воспитан.

— Это я допускаю. Он выглядит весьма мудрым малым, пока не откроет рот. И вот еще, что я заметил: одежда стала сидеть на нем куда лучше с тех пор, как он стал зятем верховного канцлера.

— Осторожнее, а то превратитесь в посмешище, — присоединился к ним Мелат. — Вы слишком выставляете свое недоброжелательство, а ведь всем известно, что вы сами метили на это место.

— Какое? Зятя?

— Управителя Рейсмы.

— Все это лишь обычные зайанские сплетни. Женщины, Мелат, есть mala necessaria[166], средства к достижению успеха в этом мире. Однако же, удачно женившись, мы становимся чересчур ревнивыми; в этом таится опасность, и ему разумно было бы о ней подумать. Нашему милому юному герцогу прежде не было свойственно неделями просиживать при дворе у своей матушки. Уже притчей во языцех стало, как господин канцлер…

— Я вас оставлю, — оборвал его Медор.

Морвилль, вжавшись под тисовое дерево так далеко, как только мог, затаил дыхание, когда в ярде от него стремительно прошел Медор.

Звуки беседы стихли. Осторожно, крадучись, Морвилль выбрался из своего укрытия, описал крюк через сад, вокруг тополевой рощи и пруда с лилиями, подождал минуту и снова, теперь уже в открытую, пошел по лужайке к сторожке. Там он забрал коня и поехал домой. Избегал наблюдения

166 Mala necessaria (лат.) — «необходимое зло».

он, однако, недостаточно искусно, ибо Медор, случайно взглянувший в окно по пути к апартаментам герцога, заметил и его самого, и то, как он шел.

Получив разрешение войти, Медор обнаружил облаченного в рубаху герцога, писавшего какое-то письмо.

— Ваша светлость намеревается ехать в Румалу?

— Нет, — ответил тот, продолжая писать.

Медор поднял брови.

— Хватит церемоний, добрый Медор, садитесь же. Съешьте персик; это персики из Рейсмы.

Медор взял один с серебряного блюда.

— Они без косточек, — промолвил герцог, сжимая надкушенный персик в левой руке. — С такими одной рукой проще управиться, — он закончил письмо, подписал его. — Зажгите огонь, я запечатаю, — распорядился он, снимая свой перстень. — Возьмите это письмо и передайте прямо в руки королю (да хранят его Боги) вместе с моей любовью и преданностью. Он поймет.

— Вы остаетесь здесь? — Медор зажег свечу. — Не надо.

— Подайте-ка мне воска для печатей. Почему это?

— Уже пошли пересуды. Да уберегут меня небеса от вмешательства в секреты вашей светлости, но если у вас на уме именно то, что о вас говорят…

— «Они говорят? Что говорят они? И пусть говорят».

— Заклинаю вас, дорогой мой господин герцог, ступайте осторожно.

Барганакс изящным и точным движением сделал из расплавленного воска кружок и запечатал письмо. Потом он взглянул Медору в глаза; взгляд этот был весел, но не предвещал ничего хорошего тому, кто вздумает и дальше играть с ним. Он подтолкнул письмо к Медору через стол.

— Ну-ну, — произнес он, — выкладывайте, что там у вас. В чем дело?

— Только что здесь был Морвилль.

Герцог пожал плечами.

— Прокрался в укромный уголок, откуда слышал, как Зафель распространяется об этих догадках. Уходя, я видел, как он там подслушивает. Думаю, он ни о чем не подозревает и считает, будто остался незамеченным. Только что он в удивительной спешке покинул Мемизон, как мне удалось увидеть из окна. Думаю, можно предположить в нем дурные помыслы.

— Чепуха! — воскликнул герцог. — Мне до него дела нет.

— Не мое дело вселять в вашу светлость тревогу. Но если вы намерены и дальше следовать тем курсом, о котором болтают как здесь, так и в Зайане, умоляю, подумайте, не будет ли лучше разобраться с ним прежде, чем он в гневе обрушится на вас.

Барганакс презрительно процедил:

— Орел не охотится за мухами. Более того, — добавил он, — ваши опасения будут развеяны тем, о чем говорится в этом письме в ваших руках. Нынче ночью меня не будет ни здесь, ни в Румале. Я еду в Акрозайану.

Добравшись от Мемизона до большой дороги, что пролегает здесь под нависающими кронами вековых дубов, Морвилль пустил коня галопом. Поблизости от своего собственного поместья в Рейсме он соскочил из седла, привязал коня и направился через лес на восток. Он шел мимо кустов орешника, буков, боярышника и терновника по тропинке, заросшей жимолостью, этим ползучим растением с белыми цветками, что так похожи на сплетшихся в объятиях любовников. Через дыру в живой изгороди он пробрался на территорию поместья и тайком направился через яблоневый сад и мимо конюшни к дому. Войдя, он обыскал все комнаты, затем поднялся по задней лестнице и наконец, хлопнув дверью, ворвался в покои своей супруги.

Она сидела перед зеркалом, с распущенными волосами, облаченная в одну лишь нижнюю рубашку без рукавов из тончайшего белого шелка, украшенного мезрийскими кружевами. Управитель на мгновение замер, одной рукой вцепившись в задвижку, будто в один миг внезапно лишившись рассудка, ослепленный ее красотой. Она обернулась и посмотрела на него.

— Могли бы и постучаться, прежде чем войти. Это не так сложно.

— Сдается, вы одни.

— Это кажется вам странным?

— Я явился только затем, чтобы сообщить вам, госпожа моя: нынче утром мне передали, что мне вместе с другими надлежит отправляться на север, в Руйар, чтобы войти в почетный караул, который будет сопровождать его королевское высочество в Сестолу. Кажется, мы должны встретить его, а с ним также и вашего благородного брата с наместником, сегодня вечером в Румале; завтра же, предположительно, мы вернемся в Мемизон. Неохотно я покидаю

вас, — проговорил он, пристально осматривая комнату. — Мы выедем за час до полудня, — он подождал, потом добавил: — Разве вы не рады этому?

— С чего бы мне радоваться или печалиться?

— Это большая честь — то, что за мною послали.

— Тогда я рада.

— Лучше бы вы сказали «Мне все равно», нежели это жалкое холодное «Я рада».

— Раз вам так больше по душе, «Мне все равно».

— Приходило ли вам когда-либо на ум, — спросил он, отвернувшись и глядя в окно и теребя пальцами пояс, — что, поскольку я люблю вас и берегу как зеницу ока, не таким уж большим одолжением было бы, если бы вы хоть немного уделяли внимания мне и моим делам? Может даже и выказывали какую-то любовь в ответ, как обыкновенно поступают честные жены по отношению к мужьям, что так любят и холят их.

— Не вижу особой добродетели в том, что вы так в меня влюблены. Это просто от вас не зависит.

— Это любовь возвышенная и чистая, — оборачиваясь, произнес Морвилль с внезапным, весьма трогательным и необычайным смирением.

Однако Фьоринда лишь скривила губы, в которых не осталось и следа того их обитателя, соблазнителя, обладателя жал и услад тьмы, что этим же утром под ревнивым взглядом Морвилля смотрел вслед Барганаксу.

— Возвышенная и чистая любовь? О, оно и видно! — воскликнула она. — Ревность, раздоры и жалобы плодятся в ней, как личинки и мухи с червями в куче навоза.

— Почему вы столь неприветливы и злобны?

— У меня другой вопрос: почему вы столь неучтиво вломились ко мне в мою опочивальню?

— Зачем герцог приезжал в Рейсму прошлым вечером?

— Спросите его. Откуда мне знать?

— Он мне неприятен. Мне не нравятся ни его манеры, ни его компания.

— Ну так и скажите ему об этом, если хотите. Меня это не касается.

— Возможно, с соизволения фортуны, однажды и скажу. Между тем вас может касаться вот что: если бы я обнаружил его в моем доме сегодня утром, я бы не пожелал оказаться в его шкуре и за двадцать тысяч дукатов.

Она расхохоталась:

— О, мужья и братья! Расценки ваши безмерно лестны!

Подгоняемая ветерком, за окном промелькнула стайка бабочек: пляшущая вереница из семи или восьми клочков белизны, перепархивавших в залитом солнцем воздухе.

— То, что принадлежит вам, было вами куплено, — сказала она. — Довольствуйтесь тем, за что заплатили. Но меня вы не купили. Я не продаюсь, тем более мелким людишкам. Что у вас общего с тем, что во времени лишь гостит, но принадлежит вечности?

— Ты его потаскуха.

Словно намереваясь совершить кровопролитие, Морвилль выхватил свой кинжал; потом, когда она поднялась и стала перед ним лицом к лицу, швырнул его на пол и застыл с искаженным лицом. На леди же вдруг словно снизошла холодность и отстраненность, рядом с которыми статуя показалась бы живой человеческой плотью, а неподвижность мертвого мрамора — доброй и человечной рядом с ее неподвижностью. Он ударил ее по лицу своей перчаткой, выкрикнув:

— Да катись ты к черту, грязная сука.

Ее лицо все побледнело, побелело, за исключением пылавшего следа от удара.

— Это может стать твоей смертью, — сказала она.

Но Морвилль ринулся прочь из комнаты, шатаясь, будто пьяный, давя в себе слезы, вышел из дома и взобрался на коня.

XI. Музыка ночи: Аппассионато

ПОКА в Рейсме происходило все это, герцог Барганакс уже отправился в Зайану. Его слуги ехали с багажом в миле впереди него, сам же он скакал в одиночестве. Каждый летний звук — шелест листвы на ветру, птичье пение, журчание ручейков — напевал свою партию мелодии «Горечь расставанья[167]». Он двигался медленным и неспешным аллюром, проехав на юг от Мемизона уже двадцать миль; еще двадцать оставалось впереди. Временами он ерзал в седле, будто оно натирало ему зад, временами ругался

167 Общее название прощальных песен эпохи Возрождения.

вслух, а потом, как будто был зрителем, а не актером в комедии, смеялся над самим собой. Здесь, где дорога, поднявшись высоко над водами самого южного из заливов озера Рейсма, на протяжении последней полумили вьется по уступу Кефаланты, а оттуда круто взбирается к перевалу, он остановился. Меж дорогой и нависавшим над озером краем утеса простерли свои кроны кедры, образовав подобие крыши: густой, плотной, с высокими стропилами; под свод этот солнечное сияние пробивалось лишь тусклыми и слабыми лучами, очерченными четко, будто стеклянные, и неподвижными, если не считать сонного движения плававших в воздухе пылинок, которые загорались в этих лучах крупицами золота. Герцог спешился, ослабил подпруги, отпустил лошадь пастись, а сам уселся под деревьями передохнуть. Был самый разгар полдня, но воздух под сводом кедровых крон был прохладен и напоен пряной сладостью. Он уснул.

Под деревьями было очень тихо. Выбежала на поляну бурая мышь, присела умыть мордочку своими крохотными лапками, а потом отправилась дальше по своим делам, пару раз пробежав на расстоянии дюйма от сапога герцога. В кустах трещал крапивник. Полдень прошел, появилась стайка длиннохвостых синиц, лазавших вниз головой по ветвям кедров и наполнявших воздух своим тоненьким писком. Два молодых зайца пробегали мимо и остановились поиграть. Неуловимо медленно солнечные лучи перестали падать под столь отвесным углом. И вот, когда уже приближался вечер, меж деревьями показались две нимфы. Это были явившиеся с севера нимфы вод и диких скал, что шли, обняв друг друга за талии. Их платья из тончайшего газа, подобранные почти до колен, мерцали всеми оттенками серых и зеленых далей, а также белизной снежных полей и речных перекатов. Легка была их поступь, и ни одна травинка не согнулась под их ногами; крошечные же дикие создания, будто хорошо их зная, лишь отскакивали или отступали в сторону перед ними.

— Взгляни, сестра, — произнесла та, что была поменьше и потемнее, с черными глазами-бусинками. — Спящий мужчина.

— Это за ним нас послали?

— Неужто твои рысьи глаза превратились в жучьи, если ты этого не видишь?

— Он лежит к нам спиной, — ответила та, что повыше. Она была гибка, будто горная кошка, а цвет ее густых волос напоминал золотое пламя. —

К тому же, я ни разу не говорила с ним лицом к лицу. Так же как и ты, сестрица.

— Да, но я узнаю его по телосложению и одежде, по его рукам и ногам, которые своей длиной и силой пропорциональны его телу, а тело это имеет пропорции божественного. А еще он рыж — по крайней мере, его волосы. Тише, мы еще не увидели его лица. Я наблюдала за этим герцогом из камышей, сестра, когда ему и невдомек было, что это была именно я. Ступай тише. Да, это он, это он.

Они постояли, разглядывая спящего Барганакса, будто летучие мыши в ярких лучах солнца. Потом Антея сказала:

— Я бы узнала его по сходству с герцогиней, его матерью; но есть в нем и нечто жгучее, будто имбирь, некая самовлюбленность и пылкость. Какие приказы были отданы тебе?

— Когда ее светлость, моя госпожа, оденется к ужину, привести его к ее дому.

— А потом что? Будут лежать и смотреть друг другу в глаза, будто дети? Смотри, он улыбается во сне. «Средь звезд теперь владычествует он[168]»!

— Сон — это замочная скважина, сквозь которую можно заглянуть внутрь человека, — сказала Кампаспа. — Ты слышала, сестра? Он произнес ее имя во сне.

— Дай-ка мне рассмотреть его, пока он спит, сестрица. Кажется, будто нечто большее, нежели кровь смертного, струится в этих жилах. И даже когда его веки смежены, как сейчас, есть что-то меж его глаз, да, в самом выражении его лица… некая твердость и несгибаемость, каких я доселе не видывала у смертного, лишь у таких как мы, в ком дух неразрывно связан с телом. И очевидно, что он сгорает в жарком пламени любви.

— Смотри, как беспокойно он шарит рукой. Снова произносит ее имя.

— Ручаюсь, — сказала Антея, — эта рука найдет верную дорогу в небеса.

Через некоторое время Кампаспа промолвила своим журчащим голосом наяды:

— Ты думаешь, лучше разбудить его теперь или же передать ему наше послание, пока он спит? Нашептать его в его сны?

168 Р. Кэрью, «Годфри Бульонский» (1594).

— Это знатная забава, давай попробуем. Так мы сможем говорить свободнее.

— Кто же будет говорить?

— Мы обе, по очереди. Тогда он изведает в своем сне и боль и сладость, — сказала Антея и ухмыльнулась, сверкнув белыми зубами.

— Кому начинать?

— Мне. Приветствую вас, господин герцог. Мы — две фрейлины госпожи Фьоринды в Рейсме. И нынче утром госпожа моя сказала, что, по ее мнению, рыжие мужчины ненадежны и изворотливы, и во всем подобны лисицам.

— Но потом она сказала, — подхватила Кампаспа, — что ваша светлость больше похожи на льва, нежели на лисицу.

— И, сидя в своем блистательном великолепии, с обнаженной грудью, она сказала: «Герцогу Зайанскому куда лучше было бы поцелуями изгнать из меня холодность, нежели подчиниться, когда я велела ему убираться. Ибо сдается мне, воистину начала я испытывать к нему определенное расположение. Столь преданно мне его сердце, — сказала она, — столь великолепны были его ухаживания за мною в эти недели, и я начинаю думать, что охотнее позволила бы заполучить желаемое ему, чем кому-либо иному из рожденных».

— Нет, нет! Такого в послании не было.

Антея рассмеялась.

— Что за робкая щепетильность! Если этого и не было сказано, то подразумевалось… «И вот почему, — сказала моя госпожа, — я приглашаю его сегодня на ужин. Ибо между мной и герцогом не было никаких особых отношений, пока этот ревнивый осел, мой муж»…

— …«самый жалкий и неотесанный из луней, что когда-либо клевал носом на своем насесте, дожидаясь рассвета»…

— …«этим самым утром, после ряда событий, о которых слишком долго рассказывать, ударил меня по лицу».

— Фу, сестра! Моя госпожа скорее лопнет, чем признает этот факт.

— Я знаю, — ответила Антея. — Но это, как заколдованное кобылье молоко, быстро вправит ему мозги… «И я сказала ему, — говорит моя госпожа, — что герцог, мой повелитель и возлюбленный, наверняка оскопит его перед тем, как разделаться с ним»… Продолжай, сестрица.

— «В знак этого», — промолвила Кампаспа, — «Я надену сегодня для герцога мое шелковое платье цвета красного куколя».

— «И для пущего удобства, поскольку ночь не за горами, — говорит она, — на мне не будет нижнего белья».

— О, сестра! Мы уже и так наговорили сверх дозволенного, к тому же боюсь, что большая часть — ложь. Что за наглые и разнузданные речи! Думаешь, герцог слышал во сне все это? Вспомнит ли он, когда проснется? Надеюсь, что нет.

— От этого вреда не будет, глупенькая мышка. Какая разница? Ведь

… у нас двоих
В крови горит огонь напрасного желанья[169].

— Сестра, сестра! Мы несем тут всякую чушь, а главное послание не передали.

— Это какое же?

— Господин герцог, пока вы спите, мы должны прямо сообщить вашей светлости, что госпожа моя почивает нынче ночью одна, ибо управителя не будет дома.

— О, звезды, да! Это поважнее всего прочего.

— Да перестань же, сестра. Пора заканчивать: по-моему, он просыпается.

— Тогда добавлю одно слово от себя, на прощание… Советую надеть хорошую рукавицу, господин герцог, ибо соколиха ваша необузданна.

— Прочь, он открывает глаза.

Барганакс сел, проснувшись в одно мгновение, и быстро осмотрелся. Вокруг не было видно ничего живого, помимо сидевшей на тронутой лучами садящего солнца ветке пеночки, что заливалась замиравшими в тишине бесплотными трелями, да элегантно свернувшейся на сером камне у подножия кедра рыси с пятнистым мехом, навостренными кисточками ушей и глазами со щелями зрачков. Герцог вскочил на ноги. Каждая линия его тела, каждая мышца его лица, казалось, застыла, наливаясь внутренней мощью, неудержимой, словно весенний прилив. Оба создания смотрели своими горящими или робкими и похожими на бусинки глазами прямо на него, неподвижно замершего.

169 Дж. Чапмен, «Достопамятный маскарад в Миддл Темпл и Линкольнз Инн» (пер. А. Вироховского).

— Привиделись во сне… Неведомые звезды… — проговорил он. — С малой ставкой скучно играть. Но этого-то с меня довольно.

Взъерошив перышки на оливково-желтой грудке и взмахнув крылышками, птичка улетела. В тот же миг рысь прыжками умчалась сквозь подлесок, грациозная в своих движениях, словно ореада на поднебесных вершинах в разгар дня. Барганакс свистом подозвал свою кобылу, и та подошла, ткнувшись мордой ему в шею за ухом.

— Пошли, малышка, — сказал он, затягивая подпруги и вскакивая в седло. — Пора ехать… пора ехать.

День подходил к концу, когда герцог легким галопом приблизился к броду возле мостика. Здесь он остановился и дал лошади напиться. От противоположного берега местность постепенно поднимается, переходя в заросшее каменными дубами плато, по которому дорога вьется около мили, потом, сделав крутой поворот на юго-восток, на протяжении последних двухсот ярдов проходит через образованный этими деревьями туннель и, вновь выбравшись на открытое пространство, сбегает по поросшему вереском пологому склону к поместью Рейсма. Когда герцог въехал туда, косые лучи, пробивавшиеся сквозь лес за его спиной, окрасили стволы деревьев, оставляя на них огненно-красные отметины. Лесная опушка впереди была похожа на арку ворот, ведших из сумрака на равнину, пропитанную и купавшуюся в красном сиянии солнца. И еще через эту арку, будто заключенная в раму картина, виднелся стоявший на некотором расстоянии дом, обрамленный слева и справа рощами высоких кипарисов. Он сверкал в последних лучах заката, будто освещенная огнями неких хранившихся в ней бесценных сокровищ шкатулка под поднимающимся пологом темной ночи.

Когда Барганакс приблизился к этому дому, солнце уже село, и все вокруг странно и непривычно преобразилось. Ибо ноздри его в этот летний вечер начали щекотать исходившие от нагретой земли весенние запахи; в сумерках белели айвовые и вишневые деревья в ажурных узорах своих бледных ароматных цветков, а из короткой неподатливой травы взволнованно пробивались похожие на пальцы листья нарциссов, тугие и жесткие от наполнявшего их сока и влажные от росы. А когда на небеса за Рейсмой и покрытые снегом отдаленные горные цепи начала наползать ночная тьма, в густых кронах земляничных деревьев зазвенели пылкие напевы соловьев. В этой неожиданной метаморфозе, преобразившей июль в апрель, лишь небесные светила

оставались неизменны, и даже неверная луна взошла там, где ей и надлежало взойти: розовая, плыла она в юго-восточном небе среди тусклых звезд Стрельца сегодня, за день или два до полнолуния.

В доме царило безмолвие; в дверях и окнах не было ни огонька. Нащупав свой меч и проверив, как он ходит в ножнах, герцог въехал во двор мимо увитой виноградными лозами решетки и скамьи из звездчатого сапфира. Когда он проезжал мимо этой пустой скамьи, аромат духов будто дотронулся до него легкими пальцами, заставив все его чувства замереть в пламенном ожидании. В следующее мгновение аромат пропал, растворился, исчез вместе с вечерним ветерком.

Двери были открыты. Он спешился, взбежал по ступеням, но на пороге остановился как вкопанный. В абсолютном безмолвии дома таилась угроза, как будто вся вселенная стала в этот миг лишенной защитников, уязвимой перед неприятелем крепостью. Вдруг стало невыносимо холодно, а он, казалось, стоял на ненадежном канате, перекинутом над необъятными безднами, взирая себе под ноги на гонимые бесшумными ветрами, подобные мертвым листьям, увлекаемым ими то к земле, то к небесам, без всякой цели и смысла, полузабытые воспоминания, явившиеся из прошлого, будто из иных жизней, иных миров. Потом явь снова вступила в свои права, и герцог, разжав могучие пальцы, стискивавшие задвижку на обитой серебряными заклепками двери, за которую он цеплялся в этом смятении, пересек порог и вступил в безмолвный дом, замер, прислушиваясь, и услышал лишь кровь, все стучавшую и стучавшую в его ушах. Комната за комнатой обыскивал он дом, погруженный в тени, что обволакивали его в своей мрачной последовательности медлительными аккордами струнных, дверь за дверью распахивал он настежь и снова захлопывал. Он обыскивал кухни, кладовые, подземные погреба, буфетные. И когда он обшарил все и не нашел ни одной живой души, он начал сызнова. И вновь повсюду его встречала тишина, нарушаемая лишь клацаньем его тяжелых верховых сапог; повсюду было пусто, словно в прошлогоднем гнезде в ноябре. Лишь изредка что-то мерцало на границе сгущавшихся теней, и всякий раз это сопровождалось едва различимым дуновением, пахнувшим все теми же неуловимыми духами. Неясной теплотою, порывом благоуханного воздуха она словно во плоти проходила мимо на расстоянии дюйма от него и вновь ускользала прочь, недоступная поцелую, невидимая; и чувства перестали быть посредниками, обнажив живую душу, трепетавшую, будто птица

в какой-то исполинской руке, что сама по себе являлась лишь воплощением этого пленявшего весь мир сладостного гиацинтового запаха. Он будто слышал слова: Это благоухание, эта неуловимая вероятность ее присутствия и есть то, что связывает ткань мира воедино. Если он исчезнет, если он не вернется, этот слабый олимпийский аромат, будто выдохнутый устами самой любящей смех Афродиты с трепещущими ресницами и нежной будто фиалка грудью, исчезнет и все прочее, и ты тоже исчезнешь, как и весь принадлежащий тебе мир. Барганакс, словно человек, ступающий на тропу смерти, произнес про себя: «Боже, сохрани это!»

И тут он заметил ее в сумеречном свете на длинной верхней галерее, что выходит окнами на закат. Она стояла у оконного проема.

К проему этому вели две ступеньки, так что, обернувшись навстречу приблизившемуся герцогу, она посмотрела на него сверху вниз. Теперь, когда она обратилась к свету спиной, на лице ее ничего нельзя было прочесть, однако она протянула ему руку. Та сияла в сумраке прохладным бестелесным сиянием, словно лунный камень, но оказалась теплой на ощупь, когда он взял и поцеловал ее, благоухавшую, сводившую с ума этим неземным ароматом.

— И эту тоже, — произнесла она, и ее ленивый, будто наслаждавшийся самим своим звуком голос был подобен распускающейся розе, покрытой капельками росы, кроваво-красной, щетинящейся шипами. Она протянула ему другую руку, и, когда он целовал ее, сказала: — Значит, вы пришли?

— Да, жизнь моя, королева моя, — промолвил герцог. — Я пришел.

Снова и снова целовал он эти руки, поднося их то к своим губам, то к глазам, потом упал перед нею на колени и обхватил ее руками за талию, что изящными, словно у горлышка греческой вазы, линиями уходила вверх от гладких, как у статуи, бедер, мягкую и податливую, как горлышко или грудка спящей голубки. Его руки сцепились за ее коленями, и она стояла, скованная, откинувшись на подоконник, часто дыша, лишенная сил. Так они стояли в течение одной застывшей в пламени минуты; лоб герцога, его веки, вслепую прижимались к складкам ее шелкового платья, скрывавшего ее бок, ее бедро, заветный и сокровенный бугорок меж ее ногами.

Он склонился еще ниже, словно намереваясь поцеловать ее ноги.

— Нет, — выдохнула она. — Нет. Подождем, мой друг.

— Подождем? Разве я недостаточно долго ждал? — и он снова схватил

ее обеими руками за талию, притягивая ее к себе. — Клянусь небесами, слишком долго.

Она промолвила:

— Нет. Вы должны сохранять учтивость. Подождем, для этого придет время после ужина.

Он уже был рядом с нею в оконном проеме, сжимая левой рукой подоконник, всматриваясь в ее лицо, в ее змеиные раскосые глаза с ресницами, то замиравшими, то вздрагивавшими вновь, в глаза, способные рядом с такими устами и такими ноздрями обольщать бесконечно, словно сладости, созданные из горькой желчи и подслащенные медом обещаний невыразимого блаженства и неописуемых удовольствий, но (когда ими властвует Дьявол) также и призывать из пучин неизведанные ужасы, неумолимые как лед и острые как тигриный клык.

— Ох! Мне привиделся сон, — промолвил он.

Она откинула голову в тихом смешке, который, казалось, зажил собственной жизнью в ее неудержимой, беспокойной красоте.

— Сны подобны апельсинам. Кожура теплая, а мякоть под нею холодна. Я люблю тех, кто предпочитает снам действие.

— Ваша милость послали за мной. Разве не так?

Он смотрел, как ее глаза, отведенные в сторону и более не взиравшие на него, в этот миг стали в последнем меркнущем свете еще более нежными и кроткими, чем у годовалой лани.

— Послала за диким оленем, что бродит, где ему заблагорассудится? А что если и так? В своем собственном сне.

Герцог взглянул туда, куда смотрела она, на северо-запад, на рябимое ветром озеро, этот озаренный изнутри сапфир, что темнел вдали. Чуть к северу от него серел на фоне облачных гряд еще более темного оттенка Мемизон; облака в небе цвета желтой охры были окрашены по краю бледно-малиновым. Слева, к западу, облака синели индиговыми тонами на фоне небесной желтизны, запятнанные коричневым. Вечерняя звезда, прекраснейшая из всех, пылала низко над западным горизонтом. Над всем этим нависал ночной купол, эта небесная синева, что скрывает в себе бездну за бездной и является цветом юной неоперившейся ночи. Но воздух по-прежнему дышал весной, и по-прежнему звучала горько-сладостная песнь соловьев.

— То есть вы одновременно и посылали, и нет? Ладно, — сказал он.

Опершись обоими локтями на подоконник, он искоса поглядывал на нее. Будто струна лиры, невидимая, недвижная, привязала его темные глаза к ее, задумчиво предвкушая в своей двойственной сущности безграничность грядущей музыки.

—Что ж, — произнес он, распрямляясь как человек, который хочет проснуться. — Пока с меня довольно распутывания этих загадок. Довольно того, что мы вместе.

— И уже время ужина.

Барганакс посмотрел на свои пыльные сапоги.

— Сперва я бы хотел смыть пот и пыль, в которой вымазался, спеша сюда.

— О, для вашей светлости все приготовлено. Нет, направо; я не уверена, куда ведет эта левая дверь. Быть может, на небеса. Или в ад.

Он взглянул на двери, потом снова на нее.

— Правая или левая, но я ни одной из этих дверей доселе не видел, — сказал он. — И могу сказать наверняка, госпожа моя, что я открывал в этом доме все двери по два раза, прежде чем нашел вас здесь.

В голосе леди Фьоринды, когда она ответила, прозвучали эхо того бессмертного смеха:

— Воистину, на каждую дверь, что откроете вы в моем дворце, господин герцог, найдется еще одна, которой только предстоит быть открытой.

Занавеси были задернуты, пламя раздуто, свечи зажжены, а ужин в галерее накрыт, когда герцог вернулся. Хозяйка дома уже сидела за столом. Теперь он увидел, что на ней было платье из мягкого алого шелка, расшитое блестками из золота и тончайшими золотыми кружевами. На ней не было никаких украшений, кроме одних только колец со смарагдами и бриллиантами на пальцах да двух огромных карбункулов — круглых, гладких, сверкавших, будто два угля при малейшем движении — в ее ушах. В кресле подле нее он заметил элегантную горную рысь, с которой она играла и которую ласково гладила своей белой рукой.

Она жестом предложила ему сесть напротив нее. На столе стояли свечи в канделябрах из орихалка и окрашенные в сочные и дымчатые закатные тона небольшие чаши из кутармишского стекла с благовониями: розовой водой, цветками фиалки, бальзамами, засушенными лепестками роз и снадобьями из полыни и первоцвета. Ее лицо в сиянии свечей было еще прекраснее

вечерней звезды, что восходит предвестницей ночи меж омраченными грозою тучами.

— Надеюсь, нынче вечером ваша светлость смирится с нашими грубыми деревенскими манерами, — произнесла она. — Я отослала своих слуг из дома два часа назад, дабы наша беседа и наши дела протекали более свободно.

— Но кто же тогда накрыл на стол? Ваша милость собственноручно?

— Это было забавно.

— Ради меня? С вашими-то нежными руками? Я пристыжен, госпожа моя.

— О, ну на самом деле я здесь ни при чем. За меня все сделала вот эта моя горная кошка. Вам это кажется ложью?

— По-моему, весьма на то похоже.

— Что скажете вы о том, что она для нас приготовила? Что это, сардины в томатном соусе? Можно мне вот этот кусочек на это блюдечко?

— Когда в следующий раз соберетесь играть в служанку, — сказал Барганакс, передавая ей блюдце, — надеюсь, ваша милость позволит мне быть дворецким.

— Я уже сказала вашей светлости, все сделала моя зверушка. Она искусна в любой домашней работе.

Рысь поднялась, выгнув спину дугой, и принялась точить когти о край кресла, потом снова улеглась, продолжая пристально глядеть на Барганакса своими глазами с вертикальными щелями зрачков. Он отвечал ей (как на Кефаланте) взглядом на взгляд, пока та не отвернулась и не начала робко вылизывать свой мех.

— Смотрите, какая крохотная птичка, — сказал Фьоринда, изящным движением нанизывая на вилку кусочек дичи. — Похоже, это воробушек. Застреливший его наверняка спугнул мать с гнезда, а потом поймал его.

Барганакс улыбнулся:

— Некоторым вещам лучше быть маленькими. А другим — большими.

— Например, птицам, — сказала она. — Что до меня, то я предпочитаю мелких птичек крупным. А собак наоборот люблю больших.

— А мужчин?

— Эта живность почему-то не вызывает у меня особой охоты иметь с нею дело. В последнее время. В большинстве своем. Ваша светлость смеется?

— Пустившие во мне свои побеги гордость и тщеславие утешаются лишь этим «в большинстве».

— Не будьте слишком самоуверенны.

— По правде говоря, это и не так. Чего уж нищему зазнаваться? И все же…

— И все же? Лучше поцеловать плута, чем терпеть его приставания?

— Ах, отнюдь нет. Я способен отличить подлинную монету от фальшивой.

— И все же? Дьявол продолжал домогаться того, что не было для него предназначено?

— Значит, его надеждам не суждено было сбыться. И поделом. Однако слова «и все же» принадлежали мне. Но, чтобы не проявлять открытого неповиновения повелениям вашей милости, это может подождать.

Мягким ленивым голосом, что будоражил кровь пуще всяких любовных снадобий и чар, она промолвила:

— Это хорошее «и все же». Какой любезный Дьявол, столь чинно дожидается своего часа. Пускай не падает духом.

Некоторое время они ели и пили в молчании. Это было молчание, в котором мечты страстных сердец сплетаются в объятиях столь тесных, что ни одно произнесенное слово не могло бы сплавить их крепче. Фьоринда время от времени бросала на него взгляд своих глаз, непроницаемых под завесой длинных темных ресниц; он же, столь рослый, восседал в беспечной позе расслабленной мощи и великолепия, и все его своеволие, вся самовлюбленность необузданной юности уснула под жгучим взглядом рыси, в золотом сиянии той звезды, какою было для него присутствие его сидевшей столь близко возлюбленной, сулившее необыкновенные удовольствия.

Внезапно он спросил:

— Какое странное вино, госпожа моя. Такого я ни разу в жизни не пробовал. Какого оно сорта? Из-за границы?

— Нет, оно из винограда, выращенного близ Рейсмы.

— Именно такое и уместно за столом вашей милости. Вот оно чисто, прозрачно и неподвижно, а в следующий миг вспенивается пузырьками. Кроваво-красное, под цвет ваших губ, если я держу кубок вот так. А поверни его так — змеино-зеленое, цвета морской волны. А если взглянуть на свет —

сплошь яркие вспышки и изменчивые ленты всех цветов, что появляются и пропадают, когда я кружу его в бокале. Как вы его называете?

— Представим, — промолвила она, когда они подняли кубки, — что оно зовется, скажем, нектаром.

— Я бы вполне мог в это поверить, — сказал он.

Ее рука, лилейно-гладкая и лилейно-бледная, лежала на столе, неясно отражаясь в его полированной поверхности, праздно поигрывая кубком.

— Представим, — продолжал он, прервав молчание, — будто вы моя герцогиня в Зайане. Представим, что вы любите меня.

Огонек насмешки промелькнул в ее глазах.

— Но если мы представим такое, не будет ли это недолговечной, чахлой и безвкусной выдумкой, которая вскоре наскучит? Я — своя собственная. Я никому не принадлежу.

— Я тоже.

— Вы тоже?

— Да. Я неукротим, мною невозможно распоряжаться.

Она грациозно откинулась в своем кресле, но глаза ее напоминали неподатливый кремень.

— Стало быть, вам это кажется игрой?

— Откуда мне знать?

— А мне откуда? — отозвалась она. — Допустим, это игра, и, заигравшись, мы, друг мой, позабыли, что это вино мы пьем с вами вечно, вы и я. Позабыли, что пьющий его со мной всегда будет возвращаться ко мне, никогда до конца не обретая, но и никогда до конца не теряя того, что ищет, — она принялась ласкать рысь, положившую голову ей на колени. — Разве это не игра, милая моя? Смотри, на него сыплются богатства, а он недоволен. Ожидает ли он, что жаворонки станут падать зажаренными прямо ему в рот? Или ты считаешь, он явился в этот дом час назад, собираясь взять меня силой, раз уж не преуспел за прошедшие недели со своими уговорами и ухаживаниями?

Рысь зашипела на Барганакса, будто кошка.

Он рассмеялся:

— Когда ваша милость обращается к своей кошке, то делает это, я полагаю, на каком-то ведомом лишь ей зверином наречии? Я не понимаю ни слова.

Фьоринда наклонила голову, ласково прижимаясь своей щекой к рысьему меху. Ее кожа имела оливковый оттенок, бледный, словно расстилающиеся

на заре росистые поля. И венчали все это совершенство массы ее тонких как паутинка волос, красиво уложенных на висках, за ушами и на шее, где они свивались кольцом, тугим узлом, роскошные, блестящие и таившие угрозу, будто прекрасный черный хищный зверь, свернувшийся во сне клубком. Устремленные на нее глаза Барганакса потемнели, в горле у него пересохло.

Когда она подняла взгляд, он увидел, что глаза ее наполнены слезами.

— Теперь, когда я зашла так далеко, — промолвила она в ответ на его взгляд, — меня поразила слепота.

— Слепота?

— Я не знаю точно. Пути расходятся, и оба ведут в ночь. Какой выбрать? Завтра вы, возможно, будете рассказывать своим мезрийским дружкам-пьяницам милую историю, да и не без перца, о ловкаче-докторе, лукавом канцлере и его сестре-шлюхе. Воистину, я готова пожелать, чтобы ваша светлость никогда не заглядывали сюда, гуляли бы себе по своим апельсиновым садам в Зайане. Хотела бы я, чтобы вы там и оставались. А больше всего — чтобы я никогда с вами не повстречалась.

Бараганакс промолвил:

— Это чертовски ошибочные рассуждения.

Он подошел и стал подле нее на колени, положив одну руку на спинку кресла, но так, чтобы не касаться ее.

— Правда? — теперь она плакала, тихонько всхлипывая, временами сдерживая рыдания, временами съеживаясь в кресле. — Мой платок, — она нашла его: батистовый квадрат, отороченный серебряным кружевом, размером едва с ладонь Барганакса. — Мне явилось скверное видение. Безобразный лик Пустоты, — произнесла она, утирая глаза.

— Но когда?

— Этим утром. Этим утром вторника, в этом июле. Нет-нет-нет, не в тот момент, когда вы были рядом. Без вас я, наверное, не смогла бы, о, мой друг, не смогла бы жить дальше.

Она избегала его взгляда, временами еще содрогаясь в рыдании, левой рукой лихорадочно поглаживая спину рыси. Очень нежно Барганакс прикоснулся щекой к другой ее руке, что лежала на краю стола, сжимая несчастный платочек, весь скомканный в ее будто детском кулачке, и столь же нежно, как будто эта рука и впрямь принадлежала ребенку, поцеловал ее.

Так прошла минута. Потом она, все еще немного дрожа, начала ласково

водить кончиками пальцев по его коротко остриженным кудрявым волосам цвета меди, а потом обхватила своими прекрасными руками его голову. И лицо Барганакса, будто упавшая в небеса звезда, уткнулось, невидящее, туда, где подобно двум голубкам вздымались под шелком платья ее царственные груди, гладкие как слоновая кость, нежные как фиалки, восхитительные как греческая статуя.

Не говоря ни слова, они встали из-за стола. Рысь наблюдала за ними со своего кресла глазами, в которых плясали желтые огни.

Дверь слева выходила в холл. Фьоринда заперла ее за собой. В конце холла был другой проем, без двери, завешенный тяжелыми роскошными занавесями, ведший в комнату с окнами в западной и восточной стенах, и у каждой стены между окон располагался камин, источавший жар и благоухание пылавших в огне кедровых поленьев. Десятки зажженных свечей стояли в массивных канделябрах возле кровати, на столах и каминных полках, и золотых бра на стенах. Огромная кровать с пологом была сработана из чистого золота и отражала пламя очагов и сияние свечей, а балдахин и покрывала из малинового шелка были окаймлены золотой бахромой и расшиты золотыми изображениями грифонов, мантикор и огнедышащих драконов, а также многих других диковинных форм и созданий, едва различимых среди складок этого богатого убранства. Шкуры волков, медведей и громогласных горных львов лежали на полу, устланном ковром медового цвета, очень мягким на ощупь и бесшумным, будто сновидение. Стены, казалось, были сделаны из бледно-зеленого мрамора, искрившегося золотой и серебряной пылью, а прожилки в этом мраморе были инкрустированы мириадами крохотных драгоценных камней, что сверкали, будто многоцветные огоньки. Между стеной и потолком тянулся фриз, украшенный резными изображениями лотосов, которые в дрожащем сиянии свечей и огненных отсветах, казалось, то начинали тлеть, то испускали языки пламени, то покачивались и описывали круги, то поднимались и опускались, будто кружась в сонных и неторопливых водоворотах порождаемых ими дрем.

Но герцог, не обращая внимания на все эти чудеса, смотрел лишь на свою Фьоринду, что стояла так близко, в его объятиях, прекрасная, словно золотые цветы. И пока он смотрел на нее, все его существо будто поглотил

горячий и бездонный черный омут, полный лепестков лотоса, что скользят, прохладные и девственно чистые, по поверхности воды.

Будто повернулась испещренная звездами ночная сфера — это леди повернула свою покоившуюся у него на плече голову, и его глаза, сфокусировавшиеся на ней и не видевшие ничего более, устремились в ее зеленые глаза, чистые, спокойные, глядящие чуть искоса, на ее ноздри, в чьих контурах в этот миг обрела воплощение самая трогательная, самая нежная и беззащитная невинность, на ее щеки, гладкие, упругие и чуть тронутые румянцем, наконец, на ее губы. Время словно медлило в задумчивости, и губы Фьоринды, казалось, сбросили с себя все обличья, что носили в повседневной жизни, как то: органы речи, посредники мысли, рассудка и всех чувственных и неистовых красок и музыки разума своей хозяйки, и, лишившись всего этого, таившиеся в ее устах красота и угроза явились перед ним, нагие, видением, которое невозможно выносить слишком долго. Ее волосы, щекотавшие его веки, обратили его кровь в ихор. Ее рука, бестелесно трепеща в его руке, потихоньку подвела его к узлу на ее поясе.

— Целуй меня еще, — промолвила она, — целуй, что есть силы.

А потом, голосом, напоминавшим взмах крыльев мотылька, голосом, который можно было скорее ощутить, нежели услышать, она произнесла:

— Развяжи этот узел.

Безмолвие кружилось в вихре морских течений, устремляясь вглубь себя. И Барганакс, в котором плоть и дух, словно на наковальне и в кузнечном горне, слились воедино, узрел, как Она, сначала умерив, чтобы их могли перенести глаза смертного, сияние и жар своего неземного великолепия, позволила, шурша, соскользнуть к ногам свое платье цвета красного куколя, и предстала перед ним, обнаженная, во всей своей красоте, что не чахнет и не увядает никогда.

В этот миг Время, что обманывает надежды во всех трех своих ипостасях: как Прошлое, которое уже мертво, как Будущее, которое еще не рождено, и как Настоящее, которое, прежде чем его успеешь схватить и дать ему имя, уже становится Прошлым, покинуло их. Не как спящих, когда после него остается лишь пустота, но скорее как Бога с Богиней, явив ту сияющую реальность, в которой существует и обретает бессмертие все истинное, расцветание, в котором бутон не изменяется и не умирает, но еще ярче пылает в распустившейся розе, действие, что стремится к все более всеобъемлющему совершенству,

но сохраняет и прежнее совершенство столь же совершенным, экстаз, что остается постоянен, страстное желание, что продолжает жить в очертаниях сбывшихся мечтаний. И каждый последующий момент, подобный то капле меда, то удару грома, охватывал своими крылами земной шар, и казалось, она говорит:

Я пред тобой простерлась светом дальних звезд,
Как утренний туман, что тает в свете солнца.
Смотри, я жду тебя.
Взгляни, я вся твоя.
Я — тайны, перед тем, как мир о них узнает,
Какие даже Бог не сможет удержать.

Я вся — спокойная вода.
Иди ко мне. Сейчас. Всегда.
Я падающий свет, сверкающий в ночи.
Я темнота, темнее черной кошки.
В слепящем пламени моем
Сгорает гордость.
Уверь же, убеди, что хочешь ты меня.

Сначала поцелуй, а после овладей.
Отбрось с лица, налево и направо,
Ты волосы волнистые мои,
Что странно и опасно пахнут морем.
Ведь я сдалась, я больше не строптива,
И королевой перестала быть.
Нежней и мягче стала я голубки.

Ах, будь же нежен ты со мной:

Ведь жизнь во мне изменчиво-летуча.
И носится со стаей эфемер.
Краса моя всегда непостоянна
Как радуга на мыльном пузыре,
Иль пена в острых челюстях порога.

И все ж, о Бог!
Когда бы был ты Богом,
Пусть пред тобою я совсем бессильна,
Противиться не в силах ни губам,
Ни мощи тела, ни страстям ужасным,
Я все равно Любовница твоя
И Королева, мой король и повелитель.
Твоя душа всегда в моей руке.
Я вольна миловать, казнить или дарить отраду.
Не стал бы богом Бог и миром мир,
Когда б на свете не было Меня[170].

На исходе ночи, после гонки домой из Австрии, утренняя заря уже начинала вползать в иную, возможно, не столь бессмертную, Комнату Лотосов меж занавесей в высоких восточных окнах, и песня дрозда в саду Лессингема возвестила наступление дня. Внизу, в Оружейной, старинные итальянские часы пробили четыре. И Мэри, то засыпая, то просыпаясь и вновь прижимаясь к нему, услышала сквозь сон его голос возле своего уха:

O lente, lente, currite noctis equi!
О, тише, тише мчитесь, ночи кони![171]

XII. Возвещение утра

МЕЖДУ тем Антея, предоставленная в западной галерее Рейсмы самой себе, приняв свое подлинное обличье и элегантно свернувшись в кресле своей повелительницы, принялась угощаться остатками ужина. Ела она неторопливо и изящно, временами забавляясь с едой или переливая вино из одного бокала в другой и ставя их друг на друга. Громоздя Оссу на Олимп, а Пелион взбрасывая на Оссу[172], гоняла она пальцем по полированной поверхности стола кусочек пудинга, разрывала тушку перепелки на части и выкладывала из них узоры, потом вдруг сметала их все обратно в кучу и начинала

170 Пер. А. Вироховского.
171 К. Марло «Трагическая история доктора Фаустуса» (первоначально — Овидий, «Любовные элегии»).
172 Ср. Гомер, «Одиссея» 11:105.

выстраивать новую фигуру. Этим забавам она предавалась не один час. Наконец, когда она развлекалась тем, что выхватывала зубами лакомые кусочки из тщательно сотворенной ею неразберихи, как дети ловят вишни ртом, ее игры были прерваны появлением доктора Вандермаста.

Словно серебристая горная березка в своем белом сатиновом платье, расшитом сеткой из черного шелка, поднялась она навстречу ему, что степенной и задумчивой походкой философа прошел через всю галерею и приблизился к столу. Он поцеловал ее в лоб, столь же белый, как и снега Рамош Аркаба.

— Ну что, моя ореада? — произнес он, словно резчик до граней прекрасного драгоценного камня дотрагиваясь тонкими как у женщины пальцами до ее роскошных золотистых волос, сейчас собранных в свободный узел и заплетенных украшенной желтыми топазами лентой. С некоторым смущением смотрела она, как его взор обратился к результатам ее застольных забав, но, заметив искорку в его вновь обращенных на нее глазах, она, рассмеявшись, бросилась к нему, обняла за шею и поцеловала.

— Вы поужинали, почтенный господин?

Вандермаст покачал головой:

— Теперь уже ближе к завтраку, нежели к ужину. Где ее милость?

— Там, куда увел ее герцог. В покоях, что вы для них сотворили.

— Лучше будет запереть двери, — промолвил Вандермаст, и обе двери, левая и правая, тут же магическим образом вернули себе прежний облик панелей, которыми были обшиты стены.

Минуту он хранил молчание; его лицо с ястребиным носом казалось в свете свечей особенно худощавым.

— Ex necessitate divinæ naturæ infinita infinitis modis sequi debent[173]: из необходимости Божественной природы должно вытекать бесконечное множество вещей бесконечно многими способами. Так и он вновь обретет свое королевство. Но пусть все же помнит, что Она переменчива и против Ее воли удержать Ее нельзя.

Он остановился у окна.

— Луна зашла два часа назад, — сказал он. — Ночь близится к концу.

— Моя госпожа отослала своих слуг. Расплатилась со всеми ими и с каждым из них.

173 Б. Спиноза, «Этика», ч. I, «О Боге», теорема XVI.

— Да, полагаю, она собирается в Мемизон, — произнес доктор. — А лорд Морвилль вместе со всей кавалькадой уехал в Румалу.

Антея обнажила зубы:

— Молю Богов, чтобы он сломал себе шею. Теперь, когда я перекусила этими пустяками, меня охватывает желание отведать мяса рогатой скотины. О, я бы с ним не церемонилась: только кишки да сухожилия коршунам и остались бы. Неужели вы можете думать о нем, не поддаваясь гневу, как это происходит со мной?

— Да. Ибо Бог в соответствии со своими неисповедимыми замыслами дал вам способность испытывать гнев; при сотворении же меня он остудил во мне подобные нравы чем-то таким, что более мне к лицу: я говорю о чистом молоке разума, каковой в философе всегда должен подчинять себе чувства. Ни о чем не подозревающий, не желающий вреда человек, простой смертный, наделенный душой, что еще не стала бессмертной — как могло быть иначе, когда он взял в жены прекрасную комету, пылающую звезду, отведав Ее величия? Несомненно, он с самого начала, осознавая собственную неполноценность, обратил в отраву тот самый сок, что мог бы питать его корни, и, задолго до того как в дело вмешался герцог, превратился лишь в подобие живого дерева, внутри которого сплошь гниль и труха. И теперь, одурманенный ее дьявольскими чарами, он пал под ударом молнии собственной ревности.

— Почему существуют на свете такие негодяи?

— Яйцо, — ответил доктор Вандермаст, — есть цыпленок in potentia.

— Но оно стухло еще до того, как он вылупился.

Ученый доктор уселся в кресло Барганакса. Антея подошла и примостилась на подлокотнике, покачивая ногой, опершись локтем о его плечо и улыбаясь ему, вбиравшему своим неимоверно древним взглядом ее холодную классическую красоту, что столь странно сочеталась с ее рысьими глазами и рысьими же зубами.

— А где моя Кампаспа? — спросил он после паузы.

— Она там, на лугу. Наверное, опять обернулась крысой. Ваши веки отяжелели, почтенный господин. Почему вы засиделись до столь позднего часа?

— Ах, — произнес он, — в этом доме я в эти дни не столь уж нуждаюсь в отдыхе.

Вот зреет на ветвях миробалана плод,
Он душу взвеселит и молодость вернет[174].

Нынче же ночью в особенности не должен я заставлять себя искать, в случае если вдруг потребуюсь ее милости или ему. Что же насчет вас, милая снежная дева?

— О, я становлюсь сонной, только когда слишком долго провожу в человечьем облике, — сказала она. — К тому же моя госпожа не велела мне ложиться сегодня. Не сыграть ли нам в примеро[175]?

— Чудесно, замечательно, — воскликнул доктор. — Где же карты?

— Вон в том сундуке.

Она принесла их, уселась и двумя взмахами руки смела остатки ужина со стола на пол.

— Пускай этот надоеда завтра сам все это собирает, — сказала она. — Нас здесь уже не будет.

Они едва успели сдать карты, когда в галерее показался Морвилль.

— Так-так, кто это тут? — сказал он. — Вы, сударь?

Доктор, не вставая с места, поднял взор на него и увидел, что лицо того бледно как полотно.

— Господин мой, — промолвил он. — Я явился по настоятельной просьбе ее милости.

— Что, в такой-то час?

— Нет. Это было около полудня. Она попросила меня остаться.

— Ха! Да ну? Что до меня, то я бы предпочел вам в качестве компании занимаемое вами кресло. Говоря начистоту, я уже давно подозревал, что под своей овечьей шкурой вы скрываете волчью шерсть. Ну а вы, госпожа вертихвостка?

От женщин похотливых и охочих до проказ
Судьба великодушная пускай избавит нас[176].

Вы-то почему не в постели?

Антея не ответила, лишь взглянула на него, облизнув губы.

— Как вам мое неожиданное возвращение? — продолжал Морвилль. — Стоит кошке закрыть глаза, а мыши тут как тут. Неужто мне и на миг нельзя отвернуться, чтобы, вернувшись домой, не обнаружить все двери распахнуты-

174 Дж. Сильвестр, «Схизма» (пер. А. Вироховского).
175 Примеро — карточная игра эпохи Возрождения, предшественница покера.
176 Французская пословица.

ми, а блюда, тарелки и прочую дребедень разбросанными по полу, как будто здесь предавались обжорству и разгулу? По-вашему, я должен мириться с тем, что ко мне домой является всякий сброд вроде вас? Где моя жена?

Антея дерзко воззрилась на него:

— Она в постели.

— Вы лжете, дамочка. Ее постель пуста. Вот вы, — обратился он к пожилому доктору. — Вы ее наставник и, как я понимаю, сведущи в науках и искусствах, которыми честному человеку заниматься не пристало; вот вы мне и скажите, где она?

— Господин Морвилль, — ответил Вандермаст, — даже ожидать от меня ответа на подобный вопрос с вашей стороны — уже низко и неприемлемо.

— Да что вы говорите? А я ожидаю ответа и, клянусь Богом, я его получу.

— То, где находится моя госпожа, — сказал Вандермаст, — ее личное дело. Я желаю вам только добра, господин мой, и, если смогу, не поступившись честью, послужить вам, я это сделаю. Но когда речь идет о ее милости (даже если бы я знал ответ), негоже было бы мне давать его вам, не спросив прежде дозволения у нее.

Морвилль шагнул к нему и оперся на стол крепко сжатыми кулаками, в которых держал свою плетку; костяшки пальцев его побелели, будто мрамор.

— Стало быть, вы все сговорились против меня? Берегитесь. Я найду способ заставить вас все мне рассказать. К тому же у меня есть право знать, где она.

Вандермаст сказал:

— Вы хозяин в этом доме. Ваша светлость вольны обыскать его и найти все, что удастся.

— Я уже обошел каждый уголок. Она сбежала. Разве не так?

Вандермаст не вымолвил ни слова. Его глаза, впившиеся в Морвилля, были словно бездонные ямы.

— Она сбежала с герцогом, — закричал Морвилль прямо ему в лицо. — Признайтесь, что это так. Вы его помощник. Признайтесь, и, быть может, я сохраню вам жизнь.

Вандермаст промолвил:

— Я человек старый. Умереть я не боюсь. А вот если бы мне предстояло лишиться собственной чести, после этого я бы весьма боялся смерти.

Воцарилась мертвая тишина. Потом Морвилль внезапным порывистым движением развернулся на каблуках и ринулся к окну. Там он остановился спиной к ним, облокотившись на подоконник, упершись лбом в согнутую руку, а другой рукой отбивая плеткой по сапогу бессвязный, бесформенный ритм.

— О Боже! — вдруг воскликнул он, словно поперхнувшись на этом слове. — И почему я не вернулся домой раньше?

Он вцепился зубами в рукав своего сюртука и замотал головой туда-сюда, продолжая отстукивать все тот же адский марш по своей обутой в сапог ноге под отталкивающие звуки издаваемых им время от времени рыданий. Доктор Вандермаст, поднявшись с кресла, принялся вышагивать своей бесшумной походкой туда и обратно вдоль стола. Он посмотрел на Антею. Желтые огни зажглись и погасли в ее удивительных нечеловеческих глазах.

Взяв себя в руки, Лорд Морвилль распрямился и подошел к ним, а затем сел в кресло Вандермаста.

— Я выложу на стол все свои карты, — сказал он, глядя на доктора, который при этих словах перестал расхаживать и приблизился к нему. — Нынче утром между нами произошло — и весьма прискорбно, что произошло, — некое подобие ссоры, и я сказал ей нечто такое, о чем теперь сожалею… Эти слова рыбьей костью стоят у меня в горле. Когда подошел вечер, я не мог выдержать его прихода, не будучи с нею вновь в добрых отношениях. Придумал какую-то отговорку, получил разрешение у господина адмирала (если бы только небеса позволили этому свершиться чуть раньше), поскакал домой. И вот, — закончил он, и зубы его клацнули, — все потеряно.

— Нет, это преувеличение, — сказал доктор. — В силах вашей светлости спасти то, что еще можно спасти.

Морвилль покачал головой:

— Я не знаю, что мне делать. Научите меня.

— Господин мой, — произнес старик, — вы не сказали мне всей правды.

— Я сказал вам достаточно.

— Вашей светлости будет от меня немного пользы, если вы не дадите мне достаточно исходных условий, от которых можно было бы отталкиваться.

Но, что хуже, вы не только не хотите сказать об этом мне; боюсь, вы даже сами себе не во всем признаетесь.

Морвилль промолчал.

— Как бы там ни было, — продолжал доктор, — я едва ли могу быть вам особенно полезен. Лишь на одном я со всем почтением настаиваю: подождите. Правдива поговорка, гласящая, что утро вечера мудренее.

Морвилль сказал:

— Я сгораю в озере серы, а вы стоите на краю и просите меня подождать.

— Да, от всей души, ради всего на свете я прошу вас подождать. Если вы, сломя голову, начнете действовать сейчас, когда вас охватывает неуверенность, когда гнев и злость бурлят в вашей крови, то действия ваши приведут лишь к насилию и советовать тут нечего. Помните, господин мой, от этого зависит не какая-нибудь безделица, а вся ваша жизнь; нет, даже более чем просто жизнь: сама ваша душа, само ее бытие или небытие застыли в равновесии, притом не только на этот миг, но и in sæcula sæculorum[177]. И зависит для вас от этого много большее, нежели то, будете или нет вы обладать ею, которой оказались неспособны и недостойны обладать. Чересчур высокая для вас участь по сути стала вашим проклятием.

Пока Вандермаст говорил все это, Морвилль сидел, потупив взор, неподвижный как смерть, потом вскочил, будто разъяренный тигр.

— Клянусь Богом, в таком случае я лишу ее жизни! — выкрикнул он оглушительным голосом. — Вы, что же, считаете меня тупым животным, если осмеливаетесь говорить мне такое? Я, что, лишенная желаний, пола, страсти бессловесная тварь? Это накапливалось весь месяц, настало время платить по счетам. Она и сейчас со своим гнусным ухажером. Не знаю, где, но, будь они даже в постели в Аду, я отыщу их и порублю на мелкие кусочки. Для начала я подожгу этот дом, это место, где творились все мыслимые непотребства. Прочь с дороги, сводник.

Он оттолкнул Вандермаста в сторону, так что старик едва не упал. Антея произнесла тихим голосом, что звуком был подобен ломающемуся льду:

— Ты ударил ее. Ты, таракан с рогами, ударил ее, ты изрыгал на нее свои мерзости.

177 In sæcula sæculorum (лат.) — «во веки веков».

— Прикусите язычок, дамочка, иначе придется его отрезать. Покиньте дом. Вам здесь делать нечего.

— Я расцарапаю, разорву тебя.

— Вон, оба, если не хотите, чтобы вас высекли.

Антея приподнялась в кресле:

— Мне выпустить ему кишки, почтенный господин?

— О, успокойтесь, заклинаю вас, успокойтесь, — промолвил доктор. — Мы уходим, — сказал он Морвиллю, и в тот же самый миг Морвилль хлестнул Антею своей плеткой по ее гладкой шее. Словно раздирающая тучи молния приняла она свое рысье обличье и бросилась на него, подмяв его под себя.

За шумом их борьбы на полу, за тяжелым дыханием и проклятиями Морвилля, за рычанием и шипением рыси и возгласами пытавшегося оттащить ее доктора раздался перекрывавший все стук по стене и могучий голос Барганакса, который кричал:

— Отворите, или я разнесу стену сапогами.

В тот же миг по волшебству доктора Вандермаста левая дверь появилась там же, где и была. Она тут же распахнулась, и оттуда с мечом в руке выскочил герцог.

Леди-ореада, все еще в своей рысьей шкуре, подчиняясь Вандермасту, отступила, ощетинив шерсть на загривке, шипя и ворча, прижав уши к голове и выпустив когти. Ее глаза пылали. Морвилль уже снова был на ногах; его левая щека была располосована до подбородка четырьмя параллельными бороздами, из которых ручьями текла кровь.

— Где эта шлюха? — крикнул он герцогу. — Где эта крестенайская шалава? Сначала я разберусь с тобой, а уж потом с нею, — сказал он, обнажая меч. — А вот и монета, которой вы двое будете со мной расплачиваться.

— Невоспитанная собака, — процедил герцог. — В позицию. А гнусные слова, которые вы произнесли, полностью меня извиняют.

— Ага, пофехтуем. Говорят, ты в этом поднаторел, — сказал Морвилль, когда они скрестили клинки.

Они сражались в молчании, делая самые отчаянные выпады, удары наотмашь, stoccata, imbroccata, rinverso[178], нанося прямые и косые уколы и от-

178 Stoccata, imbroccata, rinverso, montanto — виды ударов в фехтовании.

бивая их, а временами сходясь вплотную, сжимая друг друга в захвате или нанося удары рукоятью. Было видно, что каждый из них мастер в этом искусстве. Морвилль, возможно, был более опытен, но сражался не столь хладнокровно и решительно как герцог, и пару раз столь безрассудно бросался на того, позабыв об обороне, что уму непостижимо было, как ему удалось уклониться от смертоносного montanto герцога. В конце концов, герцог, оттеснив его к столу, искусным выпадом проник сквозь его защиту, гарды их мечей сцепились, и одной силой запястий ему удалось вырвать меч из рук Морвилля. Тот рухнул навзничь, опрокинув стол и ударившись головой и левым плечом, и остался лежать, будто мертвый. Его меч отлетел через всю комнату; его подобрал Вандермаст и отдал в руки герцогу. В тот же миг они обнаружили, что в дверях стоит леди Фьоринда.

В течение одного-двух мгновений Барганакс молча взирал на нее, застывшую там в своей ночной рубашке из оранжевого сатина, перехваченной вокруг талии цепочкой из ароматических шариков, янтаря и жемчужных бусин. Ее распущенные, освобожденные от заколок и лент волосы словно сотканной из всех туманов, звезд и неведомых темных ночных бездн императорской мантией ниспадали почти до ее пят. Он промолвил:

— Когда он придет в себя, госпожа моя, мне довершить начатое и убить его? Или же оставить в живых?

В ее зеленых глазах что-то сверкнуло, как будто из-за их внешней беззаботности и самодовольной и ленивой презрительности вдруг проглянули глаза львиные: красные, жгучие и пустые.

— Ваша светлость вольны сделать как одно, так и другое. Как правило, говорили мне, вы отплачивали смертью всем, кто вас прогневил.

Ее лицо и голос в своей стеклянной холодности были подобны ледяным одеяниям, что, с палец толщиной, холодные и прозрачные как стекло, сковывают распускающиеся почки и веточки после оттепели зимой.

— Разумеется, если он еще не сломал себе шею. Меня это не касается, — сказала она.

— Как же, это только вас и касается, — произнес герцог. — Не будь вашей милости, к чему было бы спрашивать или выбирать?

Вандермаст наблюдал, как орлиный взор его повелителя устремился на эту леди — так моряк смотрит на путеводную звезду из необъятных

морских просторов. Он наблюдал за ее таинственной, выжидающей, ироничной, молчаливой, бессловесной улыбкой.

— Вы и я, — наконец, проговорил герцог, порывисто втянув в себя воздух, — мы не такие уж и разные.

— Да, мой друг. Мы не такие уж и разные.

А лорд Морвилль, придя в себя, посмотрел сначала на нее, стоявшую в проеме этой появившейся откуда ни возьмись двери, потом на герцога Барганакса. Казалось, оскорбления, которые он готов был произнести, увяли на его губах. Держа меч Морвилля в левой руке, герцог протянул его ему рукоятью вперед:

— Будь вы на моем месте, не сомневаюсь, вы бы прикончили меня прямо на полу. Возможно, с моей стороны было бы мудрее так с вами и поступить, но я — не вы. Теперь мы оставим вас и отбудем в Мемизон. Вскоре после этого между вами будет начат бракоразводный процесс. И помните, свои долги я выплачиваю сполна. Если вы еще приметесь болтать о ее милости те мерзости, которые наговорили сегодня, клянусь всеми властителями Ада, я убью вас.

— Оставь себе, — сказал Морвилль, отталкивая меч. — От тебя я не приму ничего, кроме твоей жизни. То же касается и тебя, — добавил он, обращаясь к Фьоринде, но, будто боясь взглянуть ей в лицо, поспешно вышел из галереи.

Антея, все еще пребывавшая в своем рысьем наряде, незаметно наблюдала за происходящим из угла. Теперь же, бесшумная словно тень, и по-прежнему никем не замеченная, неслышно ступая, она выбралась из галереи вслед за Морвиллем.

Барганакс убрал меч.

— О, дражайшая Владычица из Владычиц и Царица из Цариц, — воскликнул он, — правильно ли я поступил?

Однако Темная Леди лишь улыбнулась, как Она умеет, когда не хочет, чтобы ее суждения обжаловались.

Через западные окна они смотрели, как вся обширная равнина, покрытые лесом холмы и берег озера, Мемизон на своем скалистом троне и стремительно проплывавшие утренние облака, окрасились в чистые, прекрасные и свежевымытые цвета зари. И ароматы и призвуки утра наполнили галерею от пола до погруженного в сумрак потолка вкупе с прохладой и свежестью,

что пьянили сильнее вина. Барганакс повернулся от окон к ней: от подобия к подлинной реальности; к ней, что самим фактом своего существования, своей уникальностью, своим безграничным очарованием будто довершала и воссоединяла в единое целое и утро, и вечер, и ночь, и все, что есть, было или будет желанно, будь то на земле или на небесах.

— Уже почти утро, — промолвил он, и лучи ее глаз ответили: — Почти.

— И утро, — сказал Барганакс, — можно было бы назвать сладчайшим мигом ночи, если бы только мы взяли на себя труд доказать это.

— Стрелы вашей светлости, — промолвила леди, и в каждом последующем лениво произнесенном слове сквозила насмешка, ставя в ее устах все новые капканы, исполненные меда и терний, — как я вижу, никогда не уходят слишком далеко от цели, в которую вы метите. Думаю, сегодня-то вы, пожалуй, заслужили, чтобы вас побаловали.

Ученый доктор, после их ухода оставшийся у окна один, пребывал в раздумьях.

— И где же вы были? — спросил он, не сразу осознав, что рядом с ним стоит госпожа Антея, такая спокойная и невозмутимая как утро в своем березово-белом платье. — Я позабыл о вас, а у вас в глазах нехорошее выражение нашкодившей кошки. Что это вы ели? Чем занимались?

— Я просто собирала последние известия, — ответила та, избегая его взгляда. — Самое свежее, кажется, такое: лорда Морвилля, говорят, растерзали в западных лесах дикие звери.

С минуту доктор Вандермаст молча смотрел на нее: на ее греческие черты лица, столь бесстрастного и столь холодного, на ее белую кожу, заостренные ногти, крепкие и грозные молочно-белые зубы, и в ее желтые глаза, не такие устрашающие теперь, когда огни молний в них угасли.

— Неужели вы не могли взять пример с герцога, который одержал свою величайшую победу, позволив всем ощутить свое могущество, но не использовав его?

— Я не мужчина, — ответила она. — Это было просто необходимо. Так что, — закончила она, облизнув губы и глядя на свои ногти, — винить меня нельзя.

Вандермаст помолчал.

— Что ж, — промолвил он, наконец. — Я-то уж, по крайней мере, не стану слишком вас винить.

XIII. Короткое замыкание

В Англии была Пасха. Пошел тысяча девятьсот девятнадцатый год, пятый с тех пор год по счету нашего мира. Солнечный лимб, выглянув внезапно из-за склона Иллгилл Хед, послал сноп белого света в французское окно столовой в Нижнем Уостдейле и прямо в глаза Лессингему, который с тарелкой овсяной каши в руке направлялся от буфета к своему месту за столом. Проникнув сквозь оконный переплет, свет залил белую скатерть, расчертив ее на квадраты; он плясал на столовом серебре, просвечивал теплым сиянием сквозь полупрозрачные желтые трубочки и зеленые листья диких нарциссов, которыми была заполнена большая венецианская ваза в центре стола. Сквозь распахнутые настежь створки окон слева в комнату врывался утренний воздух; из этих окон открывался вид на озеро на северо-востоке, и на Гейбл, напоминавший своими очертаниями гребень волны, в один миг обратившийся в камень, обрамленный вздымавшимися отвесно ввысь горными склонами и осыпями. Белые облака, разорванные ветром на тончайшие полосы и плывшие по воздуху хлопья, веером расходились от солнца в безупречной синеве небес. Деревенские шумы: блеяние ягнят, кукареканье петуха, собачий лай, хриплые и скрипучие выкрики фазана — то и дело нарушали тишину, хотя тишина эта не была абсолютной, но полнилась тихими звуками: тоненькими птичьими голосами и журчанием бежавшей по камням воды. Здесь же, в комнате, весело трещал огонь, распространяя вокруг приятный запах горящего дерева. Сливавшиеся в непринужденном утреннем фугато запахи запеченного камберлендского окорока, рубленых почек, яичницы, жареной курятины, горячего парного молока и ароматного чая, кофе и свежеприготовленных тостов исходили от буфета, где две электрических плитки из полированной меди, длиною в ярд каждая, поддерживали горячим все это, также как и груду тарелок для сервировки.

Пока еще никто не спустился. Лессингем сначала посолил свою овсянку, затем посыпал сахаром, и уже заливал все океаном сливок, когда Мэри в своем темно-зеленом костюме для верховой езды постучала в стекло садовой двери, чтобы ее впустили.

— Зачем делать крюк вокруг дома и лезть в окно, — произнес он, отпи-

рая задвижку, отворяя дверь и отступая в сторону, — когда природой предусмотрена дверь в холл…

— Проголодалась. Хочу есть.

Когда она переступила порог, Терпсихоров ритм ее походки сменился более плавными движениями лебединой девы.

— Взгляни, как солнце сияет на этих нарциссах! — воскликнула она, остановившись на мгновение перед цветами на пути к буфету. — А я видела там, на большом ясене, пищуху. Она все снует по дереву вверх-вниз, и все что-то насвистывает.

В ее голосе звучало столь восторга, как будто бы только в таких зеркалах и следует искать истоки подобного апрельского утра со всей его пестрой и воздушной красотой; красотой, что расцветает и распускается, лучезарная, обращая свой чистый утренний взор на все вокруг, кроме себя самой, приковывая к себе все взгляды, вбирающие в себя свет из ее света. Как будто бы только в таких вот разбитых зеркалах, а не в самой Мэри.

— Наверное, в этом и проявляется гениальность, — заявил Лессингем, приподнимая крышки одну за другой, чтобы показать ей, что под ними.

— Мне совсем немножко окорока, буквально крошечный кусочек, — сказала она, указывая пальцем. — И еще яичницы… Ты о чем?

Он начал накладывать еду в протянутую Мэри тарелку:

— Делать то, о чем нормальный человек никогда и не подумал бы, но делать это так, что при виде этого все думают: разве можно это было сделать как-либо иначе!

— Просто хотела посмотреть, — промолвила она. — Посмотреть на тебя снаружи. А где остальные?

— Полагаю, подобно Сарданапалу[179] нежатся в постелях.

— В постелях?! Вот дают! В такое-то время года.

— Я бы не был столь категоричен. Я, кажется, припоминаю кое-какие обстоятельства…

— О, но это же совсем другое… О чем ты думаешь? — спросила она, когда они сели за стол, устремив на него взгляд, в котором вопрос, веселый и безмятежный, мерцал подобно солнечным лучам на тихих волнах.

— Погрузился в воспоминания. А вы, сеньорита?

179 Сарданапал — в др. греч. мифологии царь Ассирии, отличавшийся склонностью к роскоши и удовольствиям.

— Размышляю, — бриллианты и изумруды вспыхивали и меркли на ее кольце, когда она, подняв брови, решительно нанизывала на вилку маленький кусочек яичницы-болтуньи движениями столь же изящными и точными, как у художника, наносящего последние и самые важные штрихи. — Размышляю о тебе и твоих поступках.

Они продолжили завтракать в молчании. Потом Лессингем неожиданно произнес:

— Ты поедешь за границу со мной?

— За границу?

— Надо уехать от всего этого месяцев на шесть. Вновь вернуться в тот ритм.

Мэри широко раскрыла глаза и трижды кивнула:

— Да, поеду. Когда?

— Чем скорее, тем лучше. Завтра. Во вторник. В среду.

— Хорошо.

— Куда отправимся? — продолжал он. — В Южную Америку? Может, в пещеру светлячков, которую я так хотел посмотреть, где-то в новозеландской глуши[180]? В Исландию? Для Исландии, пожалуй, еще рановато. Куда ты хочешь? Мир снова свободен, свободны и мы. Выбирай. Все, что угодно, кроме Восточной Германии и Франции.

— На какой-нибудь остров?

— Может, на Маркизские острова? Мы могли бы основать на Маркизах королевство. Французское правительство, осмелюсь предположить, достаточно мне признательно, чтобы пойти мне навстречу. Какой-нибудь фригольд[181] с правом казнить и миловать. Я буду королем, ты — королевой. Джим может стать лордом-гофмейстером, Анна — второй леди страны с титулом принцессы, а Чарльз — верховным адмиралом. После завтрака скажу Милкресту собрать все детали.

— Лучше поторапливаться, а то кто-нибудь найдет для тебя еще какую-нибудь работу прежде, чем мы успеем сбежать. Нужно наверстать все эти упущенные годы.

— Я тут как раз думал, — промолвил Лессингем. — Как хорошо, что моя любимая побывала в Доломитах прежде, чем там поселилась гниль. Этим

180 Пещера Ваитомо на о-ве Северном в Новой Зеландии.

181 Наименование различных форм феодального земельного владения или держания в средневековой Англии, наследственного или пожизненного.

летом исполнится пять лет с того последнего раза. Иногда это кажется целой вечностью, а иногда — лишь пятью минутами.

— Ты и дома-то побыл всего пять дней. А завтра четвертый день рождения Роба.

Из холла появилась леди Бреммердейл.

— Доброе утро, Мэри, — произнесла она, подходя к той из-за спины и целуя ее. — Доброе утро, Эдвард. Нет, нет, не стоит беспокойства, я сама о себе позабочусь. Как давно вы уже на ногах?

— С рассвета, — сказала Мэри.

— О, ну брось.

— Почти так и есть.

— Ездили к Уостдейл Хед, — сказал Лессингем.

— Работа с утра пораньше?

— Старая привычка.

Анна уселась.

— А вот и моя крестница.

Дженет, будучи послушной девочкой, обняла каждого по очереди, а затем примостилась у Анны на коленях.

— У меня тоже на завтрак была болтунья. Знаешь, тетя, мне приснился очень скверный сон. Про каких-то ужасных извивающихся змей. А еще про большого-пребольшого дракона, с дом высотой. А морда у него была как у верблюда.

— А шея у него была длинная? — спросила Анна.

— Нет, только очень толстая. Такая зеленая громадина.

Лессингем спросил:

— И что ты с ним сделала?

— Хотела его съесть.

— А он что?

Дженет промолчала.

— Так или иначе, ты поступила правильно. Всегда старайся их съесть. Я всегда так и делаю. Тогда они не смогут причинить тебе вреда.

— Доброе утро всем, — сказала Фанни Чедисфорд, весьма изящная в своем новом сером твидовом костюме. — Я, как обычно, последняя? Ах, нет! Еще нет Чарльза. Снова спасена.

— Вы были на волосок, — произнес Чарльз Бреммердейл. — Моя дорогая Мэри, я приношу свои извинения.

— Но вы же знаете стишок Джима: «Кто последний, тот дурак», ну и так далее? У нас в доме с этим правилом строго.

Дженет сжимала в руках листок бумаги, который она все это время то складывала, то расправляла.

— Мамочка, я написала рассказ, — заявила она. — Это подарок Робу на день рождения. Мне сперва показать его папе?

— Да, покажи, — согласилась Мэри.

Дженет спрыгнула на пол и подала листок Лессингему.

— Ты можешь почитать мне мой рассказ, папа? Почитай мне его вслух, пожалуйста. Чтобы только мы с тобой.

С весьма заговорщицким видом он взял листок и шепотом начал читать, прижавшись щекой к ее щеке:

— Кухня. У кошки был котенок, и котенку было три недели. Попугай был серый с красным хвостом. «О Боже, — сказал попугай, — Вот бы повариха вернулась». «Нечего ей тут делать», — сказали кошка с котенком. Топ! Топ! Топ! «Повариха», — прошептала кошка. «Вот беда», — сказал котенок. Вошла повариха. У нее в руке был большой сверток. Вдруг кошка вышла из себя. Она прыгнула на клетку попугая и хотела поцарапать повариху. Наконец ей удалось выгнать повариху из кухни. «Слава богу», — сказал котенок. «В прошлом году, — сказала кошка, — у меня родилось шестеро котят, но эта дура-повариха их утопила». «Она просто невозможна», — сказал котенок. «Вот что, — сказала кошка, — Я съем попугая, если смогу до него добраться». Потом кошка прыгнула на клетку попугая, открыла дверцу и съела его. Конец.

— Отличный рассказ, — промолвил он.

— Тебе нравится? Правда?

— Да, конечно нравится, — сказал он, перечитывая его еще раз, будто наслаждаясь послевкусием превосходного блюда.

— Тебе правда нравится, папа? Правда-правда?

— Нравится. В нем есть свой стиль.

Она засмеялась от удовольствия:

— А что это такое?

— Не обращай внимания, — он позвонил в колокольчик. — Мне нравится, как они разговаривают и как ведут себя. И еще мне нравится концовка.

Продолжай писать в том же духе, и ты станешь кем-то наподобие Эмили Бронте или Джозефа Конрада, когда подрастешь, этакой Сапфо двадцатого века.

— А кто это — Эмили?

— Передай мистеру Милкресту, что я хотел бы его видеть, — сказал он слуге, а затем повернулся к Дженет. — Нет, не та Эмили. Это девушка, написавшая роман и много стихов. А теперь иди, почитай это Шейле, а мы пока закончим завтракать. Я полагаю, почты нет? — спросил он у секретаря.

— Нет, сэр, ничего.

— Вы уверены, что все подготовили на случай, если что-либо произойдет?

— Абсолютно уверен.

— Хорошо. Пасхальные праздники — это как раз тот день, в который они обязательно устроят какую-нибудь заваруху. Если что, я весь день буду поблизости. Есть какие-нибудь известия из Сниттлгарта?

— Да, сэр, я только что разговаривал по телефону. Мистер Эрик получил ваше письмо прошлым вечером. Есть вещи, которые он настоятельно желает обсудить с вами. Он едет сюда; выехал в шесть утра и планирует быть с вами еще до полудня.

— Если так и дальше пойдет, это определенно будут Маркизы, — произнес Лессингем, шутливо поглядывая на Мэри. Потом он повернулся к Милкресту. — Пойдемте в библиотеку, Джек; я бы хотел, чтобы вы позаботились кое о чем.

С этими словами он вышел из комнаты, сопровождаемый Милкрестом.

— Эрик. О Боже, — воскликнул Бреммердейл вполголоса. Его жена усмехнулась при виде столь неприкрытого проявления чувств к ее старшему брату.

Мэри тоже улыбнулась:

— Не расстраивайся, Чарльз. Мы с тобой сбежим вместе… Дорогая, вы ведь накормите тут этих господ сами? — обратилась она к Анне. — Звоните, если вам что-либо понадобится.

Она подхватила сидевшую на коврике перед камином Дженет и удалилась.

Чарльз покачал головой:

— Эдвард не получает никакой передышки. Один бог знает, как он

справляется. Думаю, у него с самого начала войны и до сих пор не было и четырех дней подряд, которые он мог бы уделить только самому себе.

Анна сказала:

— Наверняка так оно и есть. Но Эдвард есть Эдвард.

— Я не удивлюсь, если его вскоре опять направят военным губернатором в какое-нибудь из этих комичных государств. Ему бы это понравилось.

— Я все время забываю названия, — сказала Фанни. — Где это было, когда он выпускал марки с собственным изображением на них, и Министерство иностранных дел отозвало его за превышение своих полномочий?

— Он всегда будет превышать свои полномочия, — сказал Чарльз. — И это только делает ему честь. Я лишь надеюсь, что он прежде не замучает себя до смерти работой.

Анна промолвила:

— Нас, Лессингемов, не так-то просто замучить.

Весь мир в радиусе трехсот ярдов во всех направлениях был оповещен о прибытии Эрика Лессингема благодаря его зычному голосу. Не то чтобы это был какой-то по-особенному громкий голос, но в тембре его звенела медь, и когда он осведомился у передней двери о леди Мэри, эхо его слов пронеслись через все западное крыло до террас у реки, заставив дрозда уронить червяка и улететь. Несмотря на извилистые коридоры и двойные двери, Лессингем хорошо его расслышал из библиотеки. На ферме загоготали в загоне гуси. На востоке, в водяных садах, где в зарослях дикого нарцисса и калужницы озеро дает начало реке Ирт, брови Мэри поднялись в легком изумлении, а Чарльз Бреммердейл помянул всевышнего.

— Неужели на этот раз у вас и впрямь будут каникулы? — спросила Анна.

Мэри грациозно приняла букет цветов, преподнесенный сыном и наследником Лессингема:

— Не знаю. Не знаю. Не знаю. Я уже привыкла ни на что не рассчитывать. Не строй планов, и тебе не придется их менять… Да, Роб, мамочке нравятся цветочки.

— А брат Эрик их не нарушит?

— О боже, нет.

Роб сказал:

— Мы и на могилку таких положили. На могилку летучей мыши,

которую Рут убила в детской прошлым вечером. Я заплакал, когда она умерла. Папа похоронил ее. Мы написали эмпитафию на могиле. Папа писал, а я говорил ему, что писать: «Эта мышь была маленькая».

— Бедная летучая мышка, — сказала Мэри.

— Я хотел ее оставить у себя.

— Осторожно. Нельзя наступать на нарциссы.

—Нет, нет, нет, нельзя. Нельзя наступать, — радостно и убежденно повторил он.

— Но, дорогой ты мой, — говорил Лессингем своему брату на верхних ступенях лестницы, что тремя пролетами спускалась к водяным садам, — как, дьявол тебя побери, можно было ожидать, что я брошу все свои военные и дипломатические обязанности и явлюсь домой, чтобы поучаствовать ради тебя в чертовой избирательной кампании? Будь же благоразумен.

— Это твой долг. Не забывай, сколько денег и сколько мозгов тебе досталось в этом поколении глупцов.

— Ты и до войны так говорил. А я тебе тогда сказал, что единственная польза от денег по моему мнению — это то, что они избавляют тебя от необходимости быть рабом. И я достаточно хорошо знаком с современной политикой, чтобы не особенно стремиться в ней погрязнуть.

Эрик сдвинул шляпу на затылок, обнажив широкий и костистый лоб, и принялся крутить усы, которые носил длинными, как у викинга. В остальном он был чисто выбрит. В его лице, в линиях носа, лба, скул и челюсти, читалась мощь скалы; краска то заливала, то покидала это лицо под загаром при каждой смене настроения. Его длинные волосы, темно-каштановые, тронутые сединой, завивались сзади и над ушами решительными кудряшками, сами уши были резко очерчены и волосаты. В изгибе его бровей было что-то демоническое. Это был человек крупный и сильный, ростом не менее шести футов, тяжеловесного и несколько неуклюжего сложения, но, в свои-то сорок семь лет, не проявлявший и следа склонности к полноте. Он повторил:

— Это твой долг. Если бы каждый обладающий твоими способностями вел себя так, как ты, что сталось бы с государством?

Лессингем остановился посередине второго пролета и рассмеялся:

— Я не знаю никого, кто бы обладал моими способностями, так что твой универсальный кантовский принцип здесь не слишком уместен. Что же до моего долга, то я исполняю его в соответствии с собственными взглядами.

И при всем моем уважении, я считаю, что это мое дело, как поступать, а уж никак не твое.

— Ну а я, при всем моем уважении, считаю, черт тебя побери, что ты просто неблагодарный негодяй.

Лессингем ничего не сказал, но его лицо застыло. Наконец, когда они возобновили спуск, он проговорил — очень тихо, с намеком на насмешку в голосе, сделавшим его слова не столь едкими:

— Я думал, тебе нужно было обсудить что-то важное. Если ты явился лишь для того, чтобы поругаться со мной, то лучше отправляйся восвояси. У меня достаточно забот и без перебранок с тобой.

Они спустились на лужайку, и остальные двинулись к ним навстречу от берега пруда. С грациозностью кабальеро Эрик взмахнул шляпой, приветствуя свою невестку, и склонился, чтобы поцеловать ей руку, а затем расцеловал в обе щеки.

— Здравствуйте, дорогая Мэри, — произнес он. — Заставьте его что-нибудь предпринять. У меня не получается. Если бы он пошел в политику, когда я ему говорил, в четырнадцатом, кое от каких из наших нынешних проблем мы были бы теперь избавлены. Если он сделает это сейчас (Привет, Анна. Привет, Чарльз. Столько лет вас не видел. Таверфорд еще стоит? Этой осенью пойдете на фазанов? Я приеду и подстрелю для вас парочку, если, конечно, меня пригласят)… если он сделает это сейчас, — вновь повернулся он к Мэри, — то не пройдет и нескольких лет, как он станет премьер-министром, черт его побери. Я бы и сам им стал, будь у меня такая жена как вы.

— Это, стало быть, важное условие для кандидата? Право, я не знаю, как и скрыть румянец, вы так мне льстите.

— Вся незадача состоит в том, — сказал Эрик, — что я уже был трижды женат, когда мы с вами встретились. А если бы и не был, он бы все равно меня обставил прежде, чем я приступил бы к осаде. Так всегда с этими младшими братьями. А он самый младший из всех и самый противный. Взгляните на нынешнее состояние государства, — продолжал он. — Повсюду стачки: на шахтах, на железной дороге, дьявол знает, где еще. Кругом эти чертовы стачки. Им нужен хозяин.

— Ну так и будь им, что же ты? — сухо произнес Лессингем.

— Я и пытаюсь. Проблема с вашим мужем в том, — сказал тот, беря

Мэри под руку, — что он родился тремястами годами позже, чем ему следовало бы, уж поверьте мне.

Лессингем промолвил:

— Тремястами шестьюдесятью, как мне всегда казалось. Чтобы уйти до Стюартов: я предпочитаю ту атмосферу, что была при Тюдорах. Или родиться, скажем, шестьсот лет назад, править герцогством в Италии, овладевать искусством мира и искусством войны in excelsis[182]. Война была частью жизни людей того времени, ведь вели ее кондотьеры, покуда французы с испанцами не перевалили через Альпы и не показали им, что к чему. Я бы хотел оказаться в шкуре нашего предка по матери, Фридриха II Гогенштауфена[183]. Или отправиться на тысячу лет назад, в дни нашего пращура по другой линии и твоего тезки, Эрика Кровавая Секира. Или во времена персидских войн. Или в Трою. Но какая разница, в какое время родиться? Человек сам кузнец своей свободы, в любую эпоху, в любой стране. Я могу с тем же успехом жить в наши дни, как жил бы во времена Эгиля Скаллагримссона[184] или сэра Уолтера Рэли[185]. Если бы я был на это не способен, то оказался бы неудачником и тогда.

Эрик фыркнул как бык:

— Не могу понять людей вроде тебя. Ждешь не дождешься следующей войны или революции.

— Ты определенно не понимаешь меня, — очень тихо сказал Лессингем.

Чарльз покачал головой:

— Не будет никакой следующей войны.

— Да ну? — отозвался Лессингем. — И кто же ее остановит?

— Не знаю. Но ее нужно остановить. В противном случае все пойдет насмарку. Ты не согласен, Эдвард? За что мы с тобой сражались?

Лессингем поначалу ничего не ответил, однако в лице его происходили мириады тончайших и едва уловимых перемен, напомнивших о зависшем на фоне гор и неба орле.

— За что сражались? — проговорил он, наконец. — Ты имеешь в виду мотив? Или фактически достигнутое? Полагаю, мы ввязались в это, потому что были бойцами и намеревались защитить то, что было нам дорого.

182 In excelsis (лат.) — здесь «в наивысшей ступени», «в совершенстве».
183 Фридрих II Гогенштауфен (1194—1250) — король Германии (1212—1250), император Священной Римской империи (1220—1250), король Сицилии.
184 Эгиль Скаллагримссон (ок. 910 — ок. 990) — исландский скальд, персонаж «Саги об Эгиле».
185 Уолтер Рэли (1552 или 1554 — 1618) — английский придворный, государственный деятель, авантюрист и поэт.

И, боюсь, в конечном счете мы обнаружим, что сохранили Англию для евнухов, предоставив весь мир коротко стриженым бабам.

— Это только на первый взгляд, — сказал Чарльз.

Эрик громко расхохотался:

— Две совершенно разных операции, леди и джентльмены, но приводят они, как вы видите, к одним и тем же результатам… Но я смутил вас, Мэри. Прошу вашего прощения.

— Ни в коем разе. Я не смущена. Просто подобные остроты не особенно меня забавляют. Оставим их с их перепалками? — сказала она Анне, и они направились к дому.

— На первый взгляд, мой дорогой Чарльз? Может быть, — промолвил Лессингем. — Травяной покров тоже на первый взгляд кажется гладким, если смотреть на него с аэроплана; однако же, в Месопотамии по нему можно различить, где располагаются погребенные под землей, на глубине фута, города, улочка за улочкой.

— Эти вещи проходят. Как и вся эта неразбериха. И если она тоже пройдет, то не будет никакой «следующей войны». Еще одна война положит конец всему.

— Не вижу никаких признаков того, что это пройдет, — сказал Лессингем. — Они еще и не начинали. Перед ними и перед всем тем, что они олицетворяют, открывается многообещающее будущее.

Чарльз Бреммердейл хмыкнул.

— Я не отрицаю опасности, — произнес он очень тихо и серьезно. — Я думаю, не поможет ничто, пока не произойдет перемены в сердцах. Мы и о враге так говорили, до тошноты. Теперь придется говорить это самим себе и действовать, а иначе будет хуже. Я делаю, что могу. Полагаю, я должен.

Лессингем посмотрел на него со странной и непривычной нежностью в серых с крапинками глазах.

— Изменить сорок пять миллионов сердец? — промолвил он. — И это только начало. Мой дорогой Чарльз, то, что мы по сути делаем — если нам это удастся, конечно, — это передаем мир в руки крупного капитала, этого нового вида рабовладельческого строя. Именно к этому все идет, если копнуть поглубже; мы эволюционируем к Левиафану Гоббса[186], отдаляясь от

186 Томас Гоббс (1588—1679) — английский философ-материалист; «Левиафан» — название его сочинения, посвященного проблемам государства (1651).

индивидуальности. И твоя безволосая женщина (которая скоро станет столь же обыденной, как железная дорога), и твой кастрированный мужчина — лишь части машины, рабочие муравьи, рабочие термиты, бесполые; их жизни бесполезны, они существуют лишь для того, чтобы поддерживать работу машины, которая сама существует только чтобы работать. Пока не заглохнет. А затем провалится ad Tartara Termagorum[187].

Эрик коротко хохотнул; его смех прозвучал отрывисто и резко, как орлиный крик.

— Все, что Платон когда-либо сказал верного, — промолвил он, и медный тенор его голоса контрастировал с грудным басом его брата, — это то, что толку не будет, пока философы не станут царями.

— Он сказал и еще пару разумных вещей, — заметил Лессингем.

— Что? Ах, да, одну припоминаю: насчет величия духа, μεγαλόψυχος.

— О том, что подобные люди приносили великие несчастья как городам, так и отдельным личностям, также как и большую пользу, в зависимости от своих устремлений? Да, а потом он говорит, что натура слабая не может служить источником чего-либо великого, будь то хорошее или худое. Что ж, это неверно. Множество слабых натур, объединившись, способны причинить величайшее зло, в особенности если они являются орудиями негодяя или гения. И это тот риф, на котором терпят крушение все революции.

Чарльз сказал:

— Почему гений не может заставить их служить во благо?

— Потому что ничтожность духа, — ответил Лессингем, — есть орудие, пригодное для зла, но для добра неудобное. Однако же, в наши дни все говорят, будто демократические институты неким образом спасут цивилизованный мир.

— Какова же ваша альтернатива? — спросил Чарльз.

— По большому счету я ее не вижу. Ошибка не в поддержке демократии как pis aller[188], но в распевании ей гимнов, воспринимая ее как нечто фундаментально хорошее. Они не способны ни мыслить, ни решиться на что-либо, даже если им наступить на горло; вместо этого они (будто сборище престарелых учительш) вновь и вновь повторяют удобные банальности, не сводя

187 Цитата из стихотворения шотландского поэта У. Данбэра «Борьба Данбара и Кеннеди», примерно означающая «в тартарары». Слово «termagorum» неясного происхождения, может быть связано с Термагантом — именем верховного мусульманского божества в средневековой европейской литературе.

188 Pis aller (фр.) — «крайнее средство».

глаз с избирательной урны. Мы победили «пруссачество[189]». Так ли это? Я полагал, целью войны было победить нашего врага, а не какую-то абсурдную абстракцию. Мы заключили с ним перемирие, когда он на последнем издыхании умолял нас об этом. Теперь мы собираемся диктовать условия мира, и делать это, очевидно, будем в Париже. Я бы лучше прошелся с кровопролитной войной через всю Германию, доведя его до полного краха, чтобы не помогли уже никакие увертки и отговорки, дал бы им прочувствовать, что такое война у собственного очага, и заключил бы мир в Берлине. Если бы мы при этом и потеряли сотню тысяч жизней (а ничего такого не случилось бы и близко), то и тогда это была бы приемлемая цена.

— И твоя, возможно, была бы среди них, — сказал Чарльз.

— Разумеется, охотно соглашусь, и моя среди них. Потому что, если бы мы это сделали, теперь мы могли бы проявить великодушие, не рискуя остаться непонятыми. Теперь же, как мне представляется, мы окажемся не столь уж великодушными. И из этого выйдет масса неприятностей. Даже если это не будет стоить нам плодов прошедших четырех лет и нам не придется переделывать все заново.

Эрик сказал:

— Я не люблю говорить с тобой, Эдвард, о мировой политике. Ты вгоняешь меня в депрессию.

— Не стоит так легко в нее впадать.

— Я постоянно вспоминаю то, что ты сказал до войны, о современном противостоянии в Европе между Великими Силами и о том, что это означает. Ты помнишь? Столкни между собой два каштана на бечевке (как в детской игре), и ничего страшного не случится. Но попробуй проделать то же самое с двумя дорогими золотыми часами, и увидишь, что произойдет.

— События, однако, не подтвердили, что эта аналогия работает, — сказал Чарльз.

— Пока нет, — ответил Эрик. — Но не воображайте, будто все уже позади, мой мальчик. Нам предстоит еще чертовски долгий путь. Эдвард — циничный мерзавец, черт его побери. Но он говорит дело.

— Эдвард не циник, — промолвил Чарльз. — Он философ. И поэт.

189 Система прусской государственности, как крайнее выражение абсолютизма, милитаризма и бюрократизма.

— И художник. И деловой человек. И вздорный тип. И (следует отдать ему должное) чертовски хороший солдат, — сказал Эрик.

Лессингем рассмеялся:

— Когда я философ, я люблю и Англию, и тебя, братец, как подлинного англичанина. Однако пришло время взглянуть на себя с точки зрения иностранца. Четыре столетия назад Скалигер[190] сказал: «Англичане надменны, грубы, нахальны, лживы, ленивы, недружелюбны, неловки, глупы и вероломны».

— Боже правый, — воскликнул Эрик. — Есть такая японская пословица: «Когда дурак плюет в небо, плевок падает на его же лицо».

— Ладно, — сказал Лессингем. — Хочешь взглянуть на новый коровник, который мы сейчас строим?

Когда они поднялись на террасу, их встретила Мэри вместе с Анной Бреммердейл. Она спросила:

— Вы видели мистера Милкреста?

— Нет, — ответил Лессингем. — И не особо хочу.

— Он повсюду тебя ищет, с почты что-то пришло.

— Будь они прокляты.

— Вот и он.

— Что вы за секретарь такой? — набросился Лессингем на Милкреста, когда тот, разгоряченный поисками, вручил ему два терракотовых конверта. — Вы не могли сжечь эту пакость, или утопить, или потерять до завтрашнего дня?

— Если вы заранее освободите меня от всякой ответственности, сэр.

— Что вы такое говорите?

Лессингем распечатал конверт с пометкой «Срочно», быстро прочитал его, затем перечитал не торопясь, потом, извергнув поток проклятий, принялся вышагивать взад и вперед, позабыв о присутствующих, засунув руки в карманы, с лицом, потемневшим, будто грозовая туча. Сделав два или три поворота, он открыл вторую телеграмму и, прочитав ее, секунд двадцать стоял, словно уйдя в себя.

— Плохие новости для тебя, старик, — сказал он, поворачиваясь к своему брату. — Как и для меня, и для моей дорогой девочки.

190 Иосиф Юстус (Жозеф Жюст) Скалигер (1540–1609) – французский гуманист-филолог, историк и воин.

Он взглянул на Анну, чьи серые глаза, такие похожие на его собственные, выжидающе смотрели на него. Он отдал телеграмму Эрику.

— Тебя, вне всяких сомнений, ждет в Сниттлгарте такая же.

Анна подошла и прочла ее через плечо Эрика; это далось ей с трудом, так как его огромная рука тряслась, заставляя слова сливаться.

— Не дожил до своего К.С.В.[191], — хрипло произнес, почти прорычал он, однако когда он отворачивался, Мэри показалось, что она видит в его ясно-голубых глазах нечто до неприличия напоминающее слезу.

Сидя в гостиной, Фанни Чедисфорд писала письма. Вошедшая Мэри обратилась к ней:

— Завтра нам с тобой придется побыть одним.

Фанни радостно вскинула глаза, но тут же переменилась в лице.

— Мы только что узнали, — промолвила Мэри, — что младший из моих деверей, Уилл Лессингем, скоропостижно скончался в Лондоне прошлой ночью. Пожалуй, мой самый любимый из них.

— О Мэри, мне так ужасно жаль.

— Эдварду в любом случае придется уехать завтра ночным поездом: какое-то внезапно созванное совещание в Министерстве иностранных дел. Анна с Чарльзом отбыли сразу после ленча на машине. Он, как ты знаешь, был холост, и из всей семьи именно Анна больше всех о нем заботилась. Подробностей мы не знаем, лишь то, что он умер в своем врачебном кабинете на Харли-стрит.

— А ты сама не едешь?

— Нет. Я ничем не смогла бы там помочь. Не люблю похороны, да и Эдвард не любит, когда я на них присутствую. Как и я не люблю, когда там присутствует он. Неважно.

Фанни тыкала в промокашку своим пером.

— Какая ужасная утрата для его профессии. Я так хорошо его помню в прежние дни; он все время приезжал к Анне. Сколько ему было лет?

— Эрик, Фредерик, Энтони и Маргарет, Уильям, Анна… он был между близнецами и Анной; в этом году ему было бы, по-моему, сорок один.

191 К.С.В. (Knight Commander of the Order of the Bath) — звание рыцаря-командора ордена Бани, британского рыцарского ордена.

— Молодой.

— Сорокалетних обычно молодыми не считают. Но он был слишком молод, определенно.

— Не могу найти Эдварда, — сказал Эрик, показавшись из холла. — Похоже, он заперся в библиотеке и велел прислуге, чтобы его не беспокоили.

— Вы ведь знакомы, не так ли? — сказала Мэри. — Мой деверь…

— Миссис Чедисфорд? Конечно, полагаю, мы знакомы!

Они пожали друг другу руки. Фанни выглядела смущенной.

— Эдвард погрузился в работу, — произнесла Мэри. — Ему нужно что-то там подготовить к одному из этих секретных совещаний во вторник.

— О. Ладно, поймаю его за ленчем. Хочу покапать ему на мозги насчет кое-чего.

— Сомневаюсь, что вы увидите его на ленче. Вероятно, и за обедом тоже. Лучше всего вам остаться на ночь, мы устроим вас на славу. Прекрасная шелковая пижама. Новая зубная щетка. Все, что пожелаете. Оставайтесь. Ради меня.

— Как мило с вашей стороны, Мэри. Честное слово, пожалуй, так я и сделаю.

— О, отлично. Мы позвоним Жаклин, чтобы она о вас не волновалась.

— Только не она. После четырнадцати лет в браке со мной она уже привыкла не беспокоиться о том, куда я запропастился. Скажите, вы думаете, на Эдварда нашел один из его приступов дикой ярости?

— Меня это нисколько не удивит, если судить по тому, как он набросился в библиотеке на свою работу, в чем бы она ни заключалась.

— Вращая глазами, кусая край щита, ревя будто бык?

— Фигурально говоря, да.

— Бог мой, хотел бы я на это посмотреть. И часто такое теперь случается?

— Ну, мы не так уж много виделись за эти кошмарные годы. Насколько мне известно, ничуть не чаще, чем обычно. Это фамильное, не так ли? Как я понимаю, у вас и у самого бывали времена, скажем так, неистового воодушевления, сопровождавшегося состоянием тряпки для мытья посуды?

— Кто это вам такое сказал, моя дорогая Мэри? Жаклин?

— Возможно.

— Вот они, секреты брачных покоев. Клянусь Юпитером, сколь чудо-

вищно. Что ж, могу заверить вас, что в сравнении с Эдвардом мои припадки подобны успокоительному сиропу Матушки Сигель. Вы помните тот пресловутый случай летом в Авиньоне, перед самой войной?

— Еще бы!

— Да, но вы видели только завязку. Мне же досталось место в партере, откуда я мог наблюдать за тем, как разворачивалось все действие целиком.

— О чем это вы? — спросила Фанни.

— О, это еще та история.

— Расскажите мисс Чедисфорд.

— История еще та. Мы с моей женой, Эдвардом и Мэри сидим в одном из этих уличных кафе: теплый летний вечер, восхитительная луна и все такое, повсюду стулья со столами, болтают люди, играет оркестр. За столиком неподалеку от нас — хорошенькая девушка, француженка, вместе со своим молодым человеком: милые, тихие и безобидно выглядящие люди. Вдруг какой-то плутоватый верзила, вроде наполовину негр, похожий на этих американских амбалов-боксеров, вразвалочку подходит, как следует присматривается к девушке, а потом плюхается за их столик. Ну, они вроде не особо ему рады и пересаживаются за другой. Этот малый следует за ними: видно, понял, что ему ничего не будет, да вдобавок еще и выпил. В общем, садится он на стул и начинает приставать к девушке. Юноша, судя по виду, слегка струхнул и не знает толком, как ему быть. Ну, Эдвард наблюдает за всем этим с минуту, и видно, как у него волосы на загривке начинают дыбом вставать. Черт возьми, говорит он, я намерен положить этому конец. Я попытался его остановить: вроде как, не твое дело, не нужно устраивать сцен. А ему хоть бы хны. Он встает, со своим обычным спокойным и беспечным видом подходит к этому громиле, и, став возле него, видимо, говорит ему держаться в рамках приличий. Они были слишком далеко, и нам было не слышно, о чем шла речь, но, очевидно, тот ему что-то ответил. Тут этот парень поднимает руку с зажатым в ней стаканом, как будто собирается бросить его Эдварду в лицо, но как будто одумывается… Вы помните, Мэри?

— О боже, о боже! Продолжайте! Я прямо снова вижу все это.

— Занятно, — сказала Фанни. — Мне нравится.

— Потом тот встает и они уходят вместе. Парень чертовски зол, изрыгает какие-то проклятия, но идет по струнке, будто подчиняясь приказу, впереди, кривясь и огрызаясь через плечо, а Эдвард будто наступает ему на пятки,

чтобы тот шагал быстрее. Я говорю: ей-богу, я намерен посмотреть, чем это кончится. Оставил женщин и пошел следом, держась вне поля зрения Эдварда, чтобы его не раздражать, но и не отставая — так, на всякий случай. Они пошли по одной из улочек, что вела в направлении Папского дворца, пока не добрались до этой гостиницы… как бишь ее? «Серебряный орел» или что-то вроде того. У дверей стоит портье в униформе, в остальном улица пуста, вокруг никого. Здоровяк, бедняга, поспешал, как будто и сам не знал, зачем, и был не особо от этого в восторге, но иначе не мог, хоть и вели его, будто воришку-карманника. Эдвард говорит портье: «Вы знаете меня?» — «Oui, monsieur[192]». — «Вы видите этого человека?» — «Oui, monsieur». — «Отлично. Будете свидетелем». Потом он обращается к этому малому. «Вы оскорбили леди в моем присутствии, — говорит он. — Вы также оскорбили и меня. Когда же я велел вам извиниться, вы вновь меня оскорбили. Это правда?» Тут уж парень не на шутку выходит из себя; он прямо как из транса вышел. «Да, правда, — говорит он, гримасничая, будто страдающая водобоязнью свинья. — Правда, так тебя перетак, и я тебя тра-та-та-та-та». Потом бросается на него, пытается его ударить ногой, как водится у этих мерзавцев, но и ахнуть не успевает, как Эдвард как-то хватает его — слишком быстро и слишком темно, чтобы разобрать, — в следующую секунду подымает его в воздух и швыряет об стену — шмяк! Там тот и повалился.

— Он его швырнул? Вы имеете в виду, швырнул по воздуху? — переспросила Фанни недоверчиво.

— Да, как кота. Малый весил стоунов[193] двенадцать, но с тем же успехом мог весить и унцию. Я уж было думал, что он мертв; выглядело чертовски похоже на то. Эх и отделал он его…

— О, благодарю вас, — перебила его Мэри. — Подробности можно пропустить.

Пятью минутами спустя, провожая Эрика в его комнату, она промолвила:

— Я должна была сказать вам насчет Фанни. Она уже больше не миссис.

— Что вы говорите? Не миссис? О Господи, ну я и опростоволосился, правда? Ну, ничего не поделаешь. Что же произошло?

— Очень многое из того, чему бы лучше не происходить.

192 Oui monsieur (фр.) — «да, месье».
193 Стоун — английская единица веса, равная 6,35 кг.

— Парень оказался непутевым?

— Непутевым, и еще каким.

— Это был брак между двоюродными братом и сестрой, не так ли? И родители его не одобряли. Вполне резонно. Развод или что?

— Да.

— Это нынче в моде. Чертов олух. Она прекрасная женщина. Большинство людей в том или ином смысле — чертовы олухи. Интересно, что сталось с этим ее славным братцем, Томом Чедисфордом.

Мэри промолчала.

— Послушайте, моя дорогая Мэри, — вдруг проговорил он. — Вы теперь намного чаще видитесь с Анной, чем я. Там все идет, как положено? Вы знаете, о чем я.

— Конечно же. А что?

— Этот Чарльз. Он с ней хорошо обращается?

— Души в ней не чает. Как и всегда.

— Зануда он. Думаете, они счастливы вместе?

Мэри рассмеялась:

— Боже, я не понимаю, почему вы спрашиваете обо всем этом меня. Разумеется, они счастливы.

— Он немного скучноват.

— Большинство из нас с возрастом становятся немного скучноватыми.

— Большинство, может, и становятся, а кто-то нет.

— Возможно, кто-то и лучше с этим справляется. Невозможно составить наполеоновский кодекс[194] для счастливых браков.

— Вы думаете, у нее есть все, что ей нужно?

— Конечно, я так думаю. Если бы это было не так, мы в любом случае не смогли бы ей этого дать.

Эрик наморщил нос и выпятил губы.

— Чего я не желаю видеть, так это того, как милая девушка все больше и больше уподобляется незамужней тетушке и выглядит какой-то заброшенной. Лучше вообще не выходить замуж за человека, если брак с ним превращает ее в старую деву. Эдвард на вас такого действия не оказывает. Как и я на Жаклин.

194 Кодекс Наполеона — кодекс гражданского права Франции, разработанный во время правления Наполеона Бонапарта (1804).

— О боже, вы начинаете переходить на личности. Не лучше ли нам остановиться?

— Как пожелаете, моя дорогая. Но прежде, чем оставить эту тему, могу сказать вам, что вы с Эдвардом — единственная из известных мне супружеских пар, кто вовсе не кажутся супругами, но будто поддерживают какие-то тайные отношения, о которых не положено знать никому, кроме вас самих. И вы остаетесь молодыми и энергичными, как будто всегда будете взрослеть, но никогда не постареете. И если вы спросите меня, чья это в большей степени заслуга, то я склонен полагать, что все почести придется разделить пополам между вами обоими. Можете передать ему, если хотите, таково мое мнение.

Было уже за одиннадцать часов все того же вечера. Лессингем находился в библиотеке, окруженный грудами бумаг, книг, карт, статистических сводок и сигарного дыма.

— Вам пора бы уже ложиться, Джек, чтобы хорошенько выспаться. С большей частью мы уже разобрались. Я еще немного посижу, доведу до ума свою сопроводительную записку; это самая щекотливая часть, от которой зависит успех или провал всего дела, и лучше всего будет, если я займусь этим сам. Вы уже откопировали на машине все приложения, не так ли?

— Все кроме Приложения V, — сказал Милкрест.

— Перед ленчем у вас будет масса времени, чтобы закончить с этим. Вы уверены, что они не подведут нас с аэропланом?

— Уверен, сэр. Я добился от генерала обещания из его собственных уст. Есть и письменное подтверждение, — он принялся рыться среди лежавших на столе бумаг и предъявил его.

— Превосходно. Дэвид подвезет вас до аэродрома. Потом ему придется вернуться, чтобы ехать со мной в Карлайл; я выезжаю ровно в семь. С моим билетом все в порядке?

— Да.

— А в Карлтон-Хаус-Террас[195] знают, что меня следует ожидать к завтраку во вторник утром, тогда как ты прибудешь еще в понедельник и переночуешь там же?

— Да.

— Возможно, мне придется отправиться прямиком в Париж; до сове-

195 Здание, где находится резиденция министра иностранных дел Великобритании.

щания во вторник ничего нельзя утверждать. Если так, я хочу, чтобы вы поехали со мной. Делайте приготовления, исходя из этого.

— Хорошо, сэр.

— Тогда отправляйтесь в постель. Мы сегодня отлично потрудились. Спокойной ночи.

Оставшись в одиночестве, Лессингем зажег сигару, закинул ноги на диван и четверть часа сидел, погрузившись в раздумья. Потом он вскочил, направился к письменному столу и принялся за работу. Пробило два часа, а он все писал, смахивая каждый дописанный лист на пол возле себя. В три часа он отложил перо, потянулся и подошел к столику у стены, где, аппетитно накрытый белыми салфетками, стоял холодный ужин: заливной цыпленок, зеленый салат с редиской и все необходимое для приготовления кофе. К двадцати минутам четвертого он уже вновь был за работой. Сквозь шторы забрезжили лучи зари. Пробило пять. Он раздвинул шторы, съел сэндвич, откупорил бутылку Клико[196], собрал листы бумаги с пола и уселся, чтобы еще раз пройтись по ним, проверяя, переформулируя, внося поправки здесь и там, то ужимая три страницы до одной, то перенося в записку текст приложения, то превращая в приложение часть самой записки, меняя местами фразы и зачеркивая, и, в конце концов, доведя путем сокращений ее объем с семи тысяч слов до трех. Осталось, наверное, восемь или девять страниц размашистого текста; наборщик в Министерстве уместит это на трех стандартных листах, максимум, на трех с половиной; это если не считать приложений, где содержалась вся суть, фактические и логические обоснования, на которых зиждился весь план. Но их все равно никто не станет читать, сказал он себе, защелкивая самозапирающуюся крышку чемоданчика, куда он сложил весь свой законченный труд. Что такое факты и что такое логика? То, с чем можно поиграть, использовать для демонстрации, украсив ими свою витрину. Фактами и логикой можно доказать все, что угодно. Подавляющее большинство среди цивилизованного человечества с политической точки зрения является помесью овец с обезьянами: робость, стадный идиотизм овцы, хитрость, лицемерие и свирепость огромной обезьяны. Эти факты в приложениях опущены, но это основополагающие факты, и именно на них будет опираться вся стратегия, олицетворяющая перед всем миром как воплощение благожелательных устремлений покрытого шерстью стада в сочетании с разумом бандерлога. И результатом,

196 «Вдова Клико» (Veuve Clicquot) — сорт шампанского.

потомком такой стратегии будет именно то, чего подобный мир и заслуживает, будучи его повивальной бабкой: некий чудовищный египетский бог-полукровка с овечьим туловищем, головою гориллы и медными когтями сфинкса, что вот-вот издохнет в неуклюжем и отвратительном акте харакири, чьи голова и когти превратят в кровавое месиво собственное же тело и внутренности, а затем натуральным образом погибнут и сами за неимением тех жизненно важных органов, от которых столь неблагоразумно избавились.

Была почти половина десятого, когда он позвонил в колокольчик, зовя Милкреста.

— Все здесь, в чемодане. Я не хочу снова на это смотреть. Сделайте копии для раздачи. Я полагаюсь на вас, чтобы вы все проверили; будите меня, только если по какому-либо пункту возникнут какие-то серьезные сомнения, в противном случае не трогайте. Оставьте две копии мне, остальные непременно доставьте лично на Уайтхолл Гарденз, 2, этим же вечером. Чем скорее, тем лучше.

Он зевнул и потянулся.

— Я болван, — сказал он. — Бьюсь головой об стену.

Внезапно почувствовав себя уставшим как собака, он поднялся наверх и, не имея достаточно энергии, чтобы раздеться, бросился на кровать как был, в одежде. Его мозг работал с полной нагрузкой двадцать два часа подряд. Менее чем через минуту он уже крепко спал. Мэри заглянула в комнату, тихо вошла, накрыла его стеганым одеялом и снова удалилась, беззвучно затворив за собой дверь.

Он проснулся уже после полудня, принял ванну, спустился к чаю, уладил для Эрика его проблемы и к семи часам был уже на пути к Карлайлу. Сердце старого Дэвида уходило в пятки от умопомрачительной скорости и спокойного хладнокровия, с которым Лессингем вел машину.

Летняя ночь медленно кружилась над террасами Мемизона; высоко в небе плыла луна, а на западе сияла яркостью своей подобная нарождавшемуся месяцу Венера. Король промолвил:

— Он возвратился в Акрозайану, чтобы дать завтра свою еженедельную аудиенцию. Это разумно. Но объект его влечения вскоре приведет его сюда снова, вот увидите.

Вандермаст погладил свою бороду.

Король сказал:

— Меня смущает вопрос, касающийся Бога. Всемогущество, вездесущность, всеведение; обладая этими тремя качествами, к чему может он еще стремиться? Клянусь, если бы я обнаружил подобные непомерно разросшиеся способности в себе — мочь все, знать все, быть всем — я бы умер от скуки.

Вандермаст сказал:

— Ваше высочество могли бы принять во внимание тот факт, что, чем больше могущество, или удовольствие, тем больше и необходимость в ἄσκησις или упражнении.

Король сказал:

— Вы подразумеваете, что Всеведущий и Всемогущий должен упражнять самого Себя, Свое могущество и Свое знание, идя, словно по мосту из двух натянутых над безднами канатов, одновременно и путем разума, и путем чувственности?

Вандермаст сказал:

— Да. И в рамках этих двух путей и их подвидов найдется два миллиона путей, которыми человек — или Бог — может устроить свою жизнь. Или два миллиона миллионов путей. Или столько, сколько вам будет угодно. Ибо кто способен положить предел могуществу Бога или Ее лукавству, Ее δολοπλοκία?

Король сказал:

— В чем же тогда τὸ τέλος[197]? В чем смысл и цель жизни в этом мире, где мы живем?

Вандермаст сказал:

— Смысл в Ней. Если даже рухнут небеса, Она останется. Человек никчемен, если соглашается на меньшее. Большего же не способен добиться и Бог.

Король сказал:

— Но что же насчет изречения мудреца, сказавшего: Deus se ipsum amore intellectuali infinito amat: Бог любит самого себя бесконечной познавательной любовью[198]? Разве это не есть большее?

Вандермаст сказал:

— Это хороший философский вопрос, однако ваша светлость позабыли об изначальной Двойственности в Единстве божественной натуры. Субъект обретает бытие — свою причину материальную, причину формальную, причину

197 τὸ τέλος (др. греч.) — здесь «цель».
198 Б. Спиноза, «Этика», ч. V, «О могуществе разума, или о человеческой свободе», теорема XXXV.

действующую и причину финальную[199] — единственно через то, что любит. Тем не менее, в результате неразрешимой антиномии, она необходимо остается чем-то иным, нежели то, что любит. Ибо в любви всегда должны быть как тождественность, так и отличие.

Король сказал:

— Кто вы, старец, что извлекаете для меня звезды из бездонного кладезя истины, как будто бы это я сам беседовал с собою, и в то же время говорите загадками, которым я едва ли уделял доселе какое-либо внимание?

Вандермаст сказал:

— Субъект, как мы установили, обретает бытие единственно через то, что любит.

И король сказал, озаренный звездным светом Мемизона:

— И Она тоже, путем подобной же аргументации, есть величественная, златовенчанная и прекрасная Афродита, любящая самое Себя и Свою совершенность, и, полагаю, любит их не самих по себе, но благодаря Ему, кто любит Ее и Ею любим.

Вандермаст сказал:

— Это несомненно. Это и есть связующая цепь о двух концах между истиной и истиной. И тем самым в Ней, и благодаря Ей, и заключается высочайшее ἄσκησις: бесконечное множество строгих пределов, посредством которых мертвая и бесформенная бесконечность бытия и становления обретает жизнь.

Король сказал, медленно, будто в глубоком раздумье:

— Тогда быть Богом, вероятно, означает взирать сквозь разум этого коня, этой рыбы, этого раба, этого мудреца, этой королевы, этого завоевателя, этого поэта, этого любовника, этого альбатроса, как делают Он или Она, обращать Наши взоры туда и сюда, видеть, как организован этот мир изнутри. И, чтобы игра была увлекательнее, прежде испить из Леты, позабыть на время о Нашем олимпийском жилище и происхождении. И взирать, — произнес он после минутной паузы, — сквозь множество окон одновременно, сквозь множество пар глаз. Как если пролить ртуть: множество сверкающих капель, каждая отражает все остальные, но своей оболочкой ото всех остальных отделена, храня в себе свою тайну; однако в конечном счете все они вновь сольются воедино.

199 Четыре вида причинности бытия по Аристотелю.

Вандермаст хранил молчание. Король, глядя в глаза этому старцу, словно смотрел в пучины ночи, той Ночи, что является сестрою смерти, но также и матерью желания и матерью снов, меж столбов ложа которой лежит неизведанная безбрежность межзвездных просторов.

Шел тысяча девятьсот двадцать третий год, первая неделя февраля. Стоял угрюмый и промозглый день, обесцвеченный восточным ветром. Мэри натянула поводья своей лошади на краю Келлинг Хит.

— Нам лучше держаться дороги, — сказала она через плечо Анне Бремердейл, которая остановилась в ярде или двух позади. — Это довольно опасно, тут столько канав. Почему их до сих пор не засыпали?

— Пригодятся на следующей войне, — произнесла Анна.

Они постояли минуту, глядя через пустошь на север, на море. Мэри повернулась в седле, чтобы окинуть взглядом окрестности. Все вокруг было буро и пусто, деревья стояли голые, однако темные колючие кусты боярышника поблизости уже начинали подавать признаки пробуждения: маленькие шарики набухших почек зеленели бесчисленными крошечными звездочками в небесах переплетшихся ветвей. В это время года не было еще ни лютиков, ни таволги, усыпанной бисеринами росинок, сочной и ароматной, ни замирающих в воздухе прекрасных напевов славки, ни взмывающей все выше и выше, сверкающей ярче золота песни жаворонка, приветствующего леди-зарю; однако на этой привольной вересковой пустоши и в неспокойных небесах над нею жили эхо всего этого пятнадцатилетней давности, а также эхо стучащих копыт, что были подобны бегущей перед приходом утра темноте, и разносились приглушенным рокотом отдаленных барабанов в сердце этой тьмы.

—Ты думаешь, мы стареем? — спросила Мэри, когда они вернулись на дорогу и неспешным шагом двинулись к дому. — Или тебе кажется, что мы — как публика в кинотеатре, сидим и наблюдаем, как происходит все вокруг?

Горделивые черты лица Анны застыли, еще больше уподобив его лицу ее брата Эдварда.

— Думаю, стареем, — сказала она. — Большинство из нас.

Ветер, казалось, думал так же. Стареем и умираем. Иногда умираем прежде. Мэри промолвила:

— А я думаю, мы все более пробуждаемся.

Однако же, как взять обратно все те дни, исправить все те часы? Ах, если бы это было возможно. Это было в день последнего из тех крикетных матчей против Хирнбастуика, что проводились каждый год на протяжении стольких лет. Бедный Хью, на войне он лишился зрения; по крайней мере, у него была жена, и, наверное, наиболее подходящая ему. И леди Саутмир была там, помнит ли Анна? Конечно, помнит; а оба старика умерли давным-давно. И мистер Роумер из Тринити, которым так восхищался и которого так уважал Джим, большой любимец и самого Эдварда, выдающаяся личность в сферах, обычно несовместимых, и как преподаватель, и как светский человек, знать которого само по себе являлось хорошей наукой. Он погиб в пятнадцатом. Столь многие из этих людей были настигнуты войной: Джек Бейли — погиб, майор Растхэм, Эспер Дагворт, капитан Фиверингей — погиб, погиб, погиб; Норман Растхэм, этот чудесный мальчонка — утонул на «Хоуке[200]». Найджел Говард — погиб… бедная Люси. И брат ее, женившийся на этой… ладно, не будем использовать слово, которым называет ее Эдвард. А Том Чедисфорд — уж кто-кто — кажется, допился до смерти… невероятно… ужасно.

— Чем теперь занимается Дженет Растхэм? — спросила Мэри.

— Работает.

— А те несносные девчонки Плейтер?

Анна улыбнулась.

— Одна подалась в монахини, другая — на какой-то правительственной службе. Капитаном у вас в том году был Катберт Маргессон, не так ли? Невыносимо думать о том, что Нелл до сего дня так и не знает, что с ним стало… так жутко, это «числится пропавшим без вести».

— У Амабель, — сказала Мэри, — было еще хуже, когда эти звери убили Николая в Киеве прямо на ее глазах. Они отпустили ее, потому что она была англичанка. Но ты ужасно мрачна; я вот-вот заплачу, а тут еще этот отвратительный ветер. Не забывай, были и счастливые моменты: Том Эпплъярд теперь адмирал, он цел и невредим; Розамунда — настоящая маркиза; вы с Чарльзом; Эдвард и я; милый Джим, соль земли, думаю, даже судный день не переменит его; и дядя Эверард с тетей Беллой; и отец, такой крепкий и бодрый, хотя уже приближается к семидесяти.

— Приближается к семидесяти. И одинок, — сказала Анна, погруженная в собственные мысли.

200 «Хоук» — английский крейсер, потопленный немецкой подводной лодкой в 1914 г.

— Одинок.

Безжалостный ветер бросился к некой таившейся в этом слове неприкрытой правде, словно на зов охотника; от него у нее перехватило дыхание, он пронизал ее толстую зимнюю одежду, заставив ее покрыться гусиной кожей. Она содрогнулась и пустила лошадь рысью. Некоторое время они, будто сговорившись, ехали в молчании, каждая в сопровождении собственных призраков; для Мэри это были умершие братья Анны, Фред и Уилл Лессингемы, и ее единственная сестра, Маргарет, которая вышла замуж за эксцентричного исследователя и скончалась от желтой лихорадки в бассейне Ориноко; для Анны же — трое братьев Мэри, ни одного из которых уже не было в живых: старший и младший погибли на войне, а с Максвеллом, средним братом, за несколько лет до этого случился несчастный случай на охоте. Призраки прошлого, промозглого и холодного. Но они были не столь угрожающими, как тот один, тайный, являвшийся лишь леди Бреммердейл, не отстававший ни на шаг и не обращавший внимания на прочие ее мысли, что приходили и уходили. Он держался с неким притворным подобострастием и всячески демонстрировал покорность ее воле: призрак лишь зарождающийся, серый, омрачающий своим дыханием окна в будущее, призрак, не имеющий четкой формы, который, подобно комику из старомодных пантомим, лишь все снимал с себя один костюм за другим. И каждое такое действие не позволяло увидеть, наконец, его истинное лицо, но имело последствием лишь все более отчетливо проступавшую и все более безрадостную пустоту.

Когда они подъехали к косогору, что сбегал к Солтхаус Коммон, она проговорила:

— Вот тебе вопрос на засыпку, Мэри, дорогая; нечто такое, что в последнее время здорово меня донимает. Как ты считаешь, возможно ли, чтобы двое людей успешно жили вместе, оставаясь просто друзьями? Я имею в виду супругов… такой своего рода платонический брак?

Мэри наклонила голову, будто все взвешивая перед тем, как ответить.

— Думаю, я бы применила здесь высказывание доктора Джонсона насчет собаки, ходящей на задних ногах: получается не очень, но удивительно, что вообще получается.

— Я и сама сомневаюсь, возможно ли такое, — сказала Анна. — Наверное, должно быть возможно. Не то чтобы в этом были какие-то особые преимущества; это, очевидно, вопрос вкуса. Но вкусы играют большую роль,

когда речь идет о паре сиамских близнецов. Полагаю, различия во вкусах применительно к подобному вопросу могут оказаться непреодолимым препятствием. А ты?

Мэри взглянула на нее, но Анна смотрела в сторону.

— Едва ли я когда-либо по-настоящему об этом задумывалась. Непреодолимый — громкое слово. Мне кажется, если им хорошо друг с другом, то они могли бы прийти к какому-то modus vivendi[201].

— Но ведь могут быть люди с весьма полярными взглядами?

— Если они по-настоящему привязаны друг к другу, — сказала Мэри, — то взгляды вряд ли значат так уж много.

— Я имею в виду взгляды на любовь. На то, что она собой представляет.

— Ну а если они любят друг друга?

— Но разве не может быть так, что, лишь потому, что они друг друга любят, а взгляды их (или идеалы) столь разнятся, они сойдутся на modus vivendi, который позволяет уклониться от этих спорных взглядов? И не приведет ли это к существованию на поверхности, к избеганию глубоких отношений? Если ты не различаешь цветов, ты не можешь ожидать, будто окажешься особенно приятной компанией для кого-то, чьи интересы целиком захвачены сочетаниями красного и зеленого.

Мэри промолвила:

— И что же? Разумеется, вступая в брак, приходится принять игру по определенным правилам. Оба это делают. И представляется несколько безвольным сдаваться лишь потому, что для одного, или для другого, или для обоих, правила оказываются особенно сложными.

Анна помолчала немного. Потом она сказала:

— Ты говоришь, как прирожденная мастерица в этой игре, любимая моя. Я подразумевала менее одаренных, менее удачливых, этаких растяп.

— Наверное, нам с тобой нелегко будет представить себя в их шкуре, — сказала Мэри.

— Наверное.

— В чем я полностью уверена, — промолвила Мэри, — так это в том, что, если существуют подобные трения, намного лучше, когда женщина из двоих влюблена меньше.

После паузы Анна произнесла:

201 Modus vivendi (лат.) — «образ жизни», «временное соглашение», «компромисс».

— Стало быть, ты не веришь в разрубание гордиевых узлов?

— Нет. Не верю.

— Никогда?

— Не для людей, попавших в ту переделку, о которой мы говорим.

— Но почему же никогда? Хочется понять, почему ты так думаешь.

Мэри, казалось, задумалась на минутку, поглаживая шею своей лошади.

— Полагаю, на самом деле это потому, что, как мне кажется, мы попадаем в этот мир только и исключительно для того, чтобы поупражняться в распутывании гордиевых узлов.

Она посмотрела на Анну, а затем, отвернувшись, очень тихо закончила:

— Поупражняться в их распутывании, а не в сидении на них и делании вида, будто их нет.

Леди Бреммердейл вздохнула.

— Наверное, настоящие трудности начинаются, когда игроки сами делают игру раз в десять сложнее, нежели она могла бы быть; возможно, они с самого начала все испортили, затянув и запутав узел до такой степени, что его уж не распутаешь. И тогда, если его нельзя распутать, остается выбор: либо сидеть на нем и делать вид, что его нет (что мне кажется нечестным и пагубным по отношению к собственному самоуважению), либо оставаться честным и разрубить его. Или же выбросить его и покончить с этим.

— Я бы определенно не стала на нем сидеть, — сказала Мэри. — Предположу, что это весьма раздражает седалищный орган! Что же до разрубания или выбрасывания, — произнесла она уже серьезнее, — …это, дорогая моя, против правил.

Анна ничего не сказала, глядя прямо перед собой.

— К тому же, — продолжала Мэри, — не вижу, каким образом ты можешь в реальной жизни утверждать заранее: Вот узел, который нельзя распутать.

После продолжительного молчания Анна промолвила:

— Джим занимает в точности ту же позицию, что и ты.

Она обернулась, заглянув в глаза столь успокаивающие, что это могли бы быть ее собственные глаза, глядевшие на нее из зеркала.

— О, стало быть, Джим на этом не засыпался?

— Вы единственные двое людей во всем мире, у которых стоит спрашивать их мнение по такому вопросу.

— Люди говорят с Джимом, потому что он не говорит ни с кем. Я рада, что он со мной согласен. За исключением присутствующих, думаю, Эдвард сгодится быть третьим в твоем списке.

— Его я не считаю, — сказала Анна. — Он едва ли может сойти за иное лицо.

Молчание Мэри, отчетливее и мягче, чем это могли бы сделать слова, сказало: «Я понимаю».

— Эдвард скажет разрубить его и черт с ним.

— Я бы с этим согласилась, — сказала Мэри, — если бы существовало tertium quid[202], как в банальном треугольнике. Как правило, так и бывает, конечно. Практически всегда. Но в этом гипотетическом случае, как я поняла, это не так?

— Могу тебя уверить, в этом гипотетическом случае это не так.

— Ну что ж, тогда…

Уже смеркалось. Они описали петлю вокруг Глэнфорда и Даунса, через Уайвтон и Клей с его огромной церковью и мельницей, а затем вновь поднялись на общинную землю и теперь спускались с холма над Солтхаусом. Речной плес весь кишел водоплавающими птицами. За ним они увидели Северное море, подобное загрубелому свинцу, и небо, потемневшее и свинцовое от наступающих сумерек, непроглядной завесы плывших на север туч и мокрого снега, налетевшего с моря. Мэри промолвила:

— Наверное, стоило бы узнать мнение Чарльза.

Красивое лицо леди Бреммердейл потемнело.

— Я не разговаривала с Чарльзом, — сказала она после паузы.

Они подъехали к Солтхаусу, приблизившись к берегу. Они видели, как стая черных казарок, десятка два, внезапно устремилась отвесно вниз из-под этих хмурых небес, будто стая стрел, и опустилась на воду, хлопая крыльями. Их черные головы и шеи, словно стрелки, указывали их путь, а хвосты белели как молнии на фоне сгущавшегося мрака зимней ночи.

Анна медленно проговорила:

— Но, кажется, я готова согласиться с тобой и Джимом.

202 Tertium quid (лат.) — здесь «некто третий».

А мы, мадонна, не изгои ль мы теперь
Когда впервые встретились с тобой,
Как будто чей-то голос прозвучал
Ему значенья не придал:
Был он чуть слышен
И тут же затерялся средь бесед, сверкающих огней,
Пропал за вальсами и светской суетой.
Но в эту ночь ночей
Словно неведомая дверь
Во мраке распахнулась предо мной,
И, новою мечтой маня все выше,
Рассвет над миром воссиял.

— Много лет назад, когда я написал это стихотворение, всерьез я так не думал, — сказал Лессингем. — Это про ту ночь в Волькенштайне, когда ты оказалась такой противной девчонкой.

Он работал над полноразмерным портретом Мэри в изумрудно-зеленом платье необычайного, но красивого покроя, при искусственном свете, в перерыве между чаем и обедом в тот же самый день, в старом, подлинном, Прибежище в Энмеринг Бландз.

— Вернее, я чувствовал это, но не имел интеллектуальной храбрости признать свои чувства. Странно, как слова могут приходить прежде мыслей, — говорил он, продолжая работать, будто обращаясь наполовину к ней, наполовину к самому себе. — Во всяком случае, прежде осознанных мыслей. Как если написать слова на бумаге, или нарисовать на холсте, и символы эти каким-то неясным образом могут впоследствии наполниться жизнью и поведать тебе (сотворившему их), что на самом деле было у тебя в тот момент на уме, хотя ты и не подозревал, что оно там есть, и ни за что не признал бы, если бы узнал.

Мэри сказала:

— Это открывает изумительные возможности. Если следовать этому принципу, то может существовать ничего не сознающий Всевышний, что говорит, творя вселенную: Moi, je ne crois pas en Dieu[203].

— Знаю. Не вижу, почему бы и нет. Творец-атеист заключает в себе противоречие. Но разве действительность не строится на противоречиях тем

203 Moi, je ne crois pas en Dieu (фр.) — «я не верю в Бога».

больше, чем ближе ты подбираешься к ее сути? Я абсолютно уверен, что все наши глубочайшие желания именно таковы.

— Конечно, так и есть, — смешинка едва заметно засверкала в уголках губ Мэри. — Нет, правда, по-моему, с Всевышним-атеистом намного веселее иметь дело, нежели с Всевышним, который торжественно верует в Себя же. Ты можешь представить себе что-нибудь более напыщенное и скучное?

Лессингем минуту молчал, старательно рисуя с сосредоточенным видом. Потом он остановился, встретился с ней взглядом и рассмеялся:

— Словно раздувшийся Вордсворт, или Шелли, или Наполеон. Все они — первостатейные зануды, несмотря на весь их гений. Невозможно представить Гомера, или человека, сочинившего «Сагу о Ньяле», или Шекспира, или Уэбстера, или Марло, думающими так о себе.

Мэри улыбнулась.

— Марло, — заметила она, — когда пришло ему время умирать и его убеждали подготовить свою душу к встрече с Господом, ответил, что затащит свою душу на вершину горы, и пускай ее забирает, кто хочет, будь то Бог или дьявол. Я могла бы обнять его за это.

— И я тоже. Они слишком сильно любили свое дело, чтобы тревожиться о себе, претворявших его в жизнь. Они, разумеется, осознавали величие своих трудов; Бетховен говорил о каватине (ведь это была она?) из Op. 130[204]: «Когда-нибудь они ее полюбят»; но это не имеет ничего общего с тем чванным самодовольством однобоких чудаков, не людей, но шутов от природы. Как бы тебе понравился Шелли в качестве твоего inamorato[205]?

— Думаю, я откусила бы ему нос, — сказала Мэри.

Некая искра заплясала в глазах Лессингема. Он принялся рисовать быстрыми мазками, и работал минуту в молчании.

— Вот так и я осознаю, — произнес он, снова подбирая нить своей мысли, — (яснее, чем то, что принято называть общепризнанными научными фактами), хороша ли моя картина, или никудышна, когда ее заканчиваю. Либо то, либо другое; третьего не дано. Когда я заканчиваю ее. До тех пор никто не знает ничего. Например, эта… лишь небесам известно, получится она или нет. Бог мой, как я хочу, чтобы получилась.

204 Струнный квартет №13 си-бемоль-мажор Л. Ван Бетховена.
205 Inamorato (ит.) — «возлюбленный».

— Да. Ты обычно располосовывал их на куски или замазывал краской, когда они еще были закончены только наполовину. Пока не одумался.

— Пока ты не заставила меня одуматься. Одним фактом того, что ты — Мэри.

Он быстро отошел, чтобы взглянуть разом на модель и на портрет.

— Ты, наверное, самая невыносимая и безнадежная персона, которую когда-либо приходилось рисовать с тех пор, как человек сделался человеком. Зачем я только продолжаю попытки?

— Один раз у тебя получилось. Наверное, именно поэтому. Аппетит приходит во время еды.

— Ты о портрете «Видение Зимиамвии»? Да. Думаю, я словил одно мгновение из всего бессчетного множества твоих мгновений; мгновение совершенное. Но что такое одно мгновение рядом с сотнями миллионов? Кроме того, я хочу запечатлеть тебя совершенную, чтобы на тебя мог полюбоваться весь мир. Та предназначена только для нас с тобой, да для Богов. О, что за дьявол! — воскликнул он, меняя кисть. — Это рисование — сумасбродство, безумие. То же касается и поэзии. И действие ничуть не лучше, если не хуже, — он шагнул вперед, чтобы внести аккуратный штрих в линию уст, отступил назад, подумал и что-то подправил. — Est-ce que vous pouvez me dire, madame, quelle est la différence entre une brosse à dents et un écureuil[206]?

Ответом Мэри был удивительнейший из всех невнятных звуков, ленивый, насмешливый, уничижительный, какой могло бы издать спящее дитя, если его погладить, или спящий щенок, изящно потянувшись и перевернувшись на другой бок, уткнувшись носом в теплоту и уют множества дорогих сердцу нелепостей: какой же ты глупый, но как ты мил в своей глупости, и как уютно нам вдвоем, и как нелеп этот мир, и как занятно быть тобой и мной.

— Ты знаешь ответ? — его глаза были поглощены картиной.

— Нет, — отозвалась она, и голос ее словно еще глубже зарылся в пух душистых подушек.

— Quand on les mit tous les deux un dessous d'un arbre, c'est celui qui le grimpe qui est l'écureuil[207].

— О, дурацкая загадка.

— Знаешь, что ты тогда сделала? — спросил Лессингем, вдруг

206 «Можете ли вы сказать мне, сударыня, в чем разница между зубной щеткой и белкой?» (фр.)
207 «Если положить обеих под дерево, та, что взберется на него, и есть белка». (фр.)

принявшись наносить мазки с предельной точностью и уверенностью. — Ты так повела подбородком, словно кошка, как будто по воротнику. Теперь я знаю, чего не хватает этой картинке. У тебя есть гофрированный воротник? Его можно сделать? Я его вижу, я мог бы нарисовать его по памяти. Но я все равно предпочел бы видеть его наяву.

— Энджи может сшить к завтрашнему. Я могу показать ей.

— Устала?

— Нет.

Он отложил палитру и кисти.

— В любом случае, давай закругляться. Передохнем. Иди, посмотри на нее. Вот. Разве я не прав?

Стоявшая подле него Мэри некоторое время молча рассматривала картину.

— Не один из тех огромных, — произнесла она, — похожих на павлиний хвост.

— Благие небеса, нет.

— И не такой, как те, похожие на какую-то белую гармошку, в которых утопаешь по шею, как будто у тебя и шеи-то нет.

— Нет, нет. Я хочу, чтобы он был довольно-таки узкий, не более двух дюймов в ширину, как у тициановой Изабеллы д'Эсте[208], что висит дома в комнате для музицирования. Но, конечно же, намного длиннее, и чтобы повторял контуры выреза в твоем платье.

— Когда ты воображал себе это платье, — спросила Мэри, — ты задумывал его как зимиамвийское платье?

— Чисто зимиамвийское. Оно облекает, но ничего чрезмерно не скрывает; украшает, но не настолько глупо, чтобы пытаться имитировать; выявляет, но не искажает.

— Как у Геррика в его «Лилии в хрустале».

— Верно. Это зимиамвийский принцип, не правда ли? Вплоть до некой, самой высшей, степени.

— Или самой низшей?

— Я бы сказал, низшей. Вот, опять, еще одна из тех антиномий, что лежат в самом сердце вещей. Любой опыт лицезрения чистой красоты является

208 Изабелла д'Эсте (1474—1539) — маркиза Мантуи, влиятельный политический и культурный деятель. Изображена на портрете художника Тициана (1534—1536).

критическим, пиковым моментом, а это означает, что он вбирает в себя все, что к нему вело, и обратно, все, что ведет к нему, ценно лишь благодаря тому, к чему ведет. Нельзя жить жизнью, состоящей из одних пиков.

— Слова!

Он принялся выбирать новые кисти и смешивать на палитре оттенки зеленого.

— Это упрек мне. Тогда приведу конкретную параллель. Подумай о том кульминационном моменте, когда все утренние звезды словно поют в унисон, о тех прекрасных тремоло ближе к концу Ариетты в Ор. 111[209]. Если сыграть этот пассаж отдельно, что это, если не замечательная и необычайно сложная демонстрация техники? Но исполни его в своем контексте, после саморазрушительного Армагеддона и Рагнарёка Allegro con brio ed appassionato, да после того, как Ариетта начиналась…

— А, это простое негромкое вступление, — подхватила Мэри, — словно стоят ничем не оскверненные домики, а за ними море без пятнышка, а поля полны крошечных точек: овцы весной.

— А потом, постепенно, постепенно, она устремляется в небесные выси. Которые, сами по себе, — просто квинтэссенция всего этого. Раскаленная добела квинтэссенция.

— Или словно огромная гора, — продолжала она. — Ушба, когда мы впервые увидели со склонов Гульской долины над Бетшо в лучах рассвета. Убери небо, убери корни горы — сванские леса у подножия, яблони-дички, терновник, рябины, шиповник и рододендрон, грабы и осины, буки и дубы, аконит, что вымахал выше твоей головы, когда ты проезжал мимо него верхом, и восьмифутовая желтая скабиоза, а еще выше — буйство маков и анемонов, горечавки, вероники и лютиков, незабудок, герани и огромных кавказских подснежников, — убери все это обрамление, и лишишься всей ее грандиозности, красоты и великолепия, оставшись с куском льда и камня.

— Ни с чем не связанный пик. Мертвый. Бессмысленный.

Мэри рассматривала картину на мольберте.

— Вижу, ты начал рисовать волосы.

— Пока только набросал.

— Они должны быть черными. Угольно-черными.

— Почему?

209 Соната №32 до-минор (Ор. 111) Л. ван Бетховена.

— А почему нет? А платье — алым?

— Это потому, что я ухватил настрой дамы пик в уголках рта?

— Ну разумеется. Почему она должна ограничиваться красно-золотым и зеленым: Ей так не нравится. В этом скучном мире с этим приходится мириться, но раз уж ты можешь рисовать все, что хочешь, нехорошо будет запрещать ей иногда наряжаться в собственные наряды. В конце концов, она это я, в той же степени как и я сама. Ты нарисовал ее на своей картине в образе валькирии, но мне всегда казалось это причудливым нарядом. Мне нельзя носить маково-красный, или желтый, или даже медовый цвет. Но я так хочу облачиться в них, и когда-нибудь так и сделаю. Ибо (мы с тобой знаем), дни еще будут, не так ли?

— Дни. И ночи. Как смогли бы мы с тобой без них?

— А с чего бы нам?... Что ж, — произнесла она, — я готова. Есть еще час, прежде чем придет пора переодеваться к обеду.

— Голова меня сейчас не интересует, — сказал Лессингем, показывая ей, как сесть. — Сейчас я занят лишь платьем. Его теперь уже не изменишь, — промолвил он, возвращаясь к мольберту. — И, по правде говоря, я бы не смог. Но я сделаю точную копию, если хочешь — та же поза, все то же, но в обличье Темной Леди — как только закончу эту.

— А может, еще и автопортрет? — спросила Мэри. — По тому же принципу?

— Хорошо.

— Ей это понравится. Лично мне, естественно, больше по душе, когда мой король облачен в черное, нежели в красное. Но когда ход за нею… и помни, она это я…

Лессингем рассмеялся.

— Хорошо еще, что эти наши джекил-хайдовские наклонности не приводят к обоюдному промискуитету. И почему так происходит?

— Потому что, когда тебя охватывает мучительная страсть к La Rose Noire[210], это по-прежнему я, это меня ты жаждешь. Если бы тебе предложили тело, пустое или с кем-либо иным, заключенным в нем, что бы ты за это дал?

— O madonna mia, и кто только отправил тебя в этот мир?

— Кто отправил нас?

Некоторое время Лессингем рисовал, не разговаривая. Тикали часы,

210 La Rose Noire (фр.) — «Черная Роза».

а на холсте безучастные пигменты, растертые в масле, неторопливо обрастая несметным множеством тончайших взаимосвязей формы и цвета, оживали, оживали постепенно и мучительно, как пробиваются весной сквозь твердую землю похожие на лезвия листья нарциссов, становясь материальным свидетельством того видимого глазами Лессингема образа Мэри, ее теплого и полного жизни тела, облаченного в это платье, что от шеи до бедер, будто котарди[211] пятнадцатого столетия, облегало ее подобно коже. Продолжая рисовать, он заговорил:

— Что произойдет, когда мы состаримся, лет через двадцать, тридцать, сорок? Я имею в виду то, что происходит с любовниками. Просто приходит старость и силы изменяют им, ослепшим, оглохшим, немощным, парализованным? Достаточно ли воспоминаний? Но и память подводит. Неприятно и думать об этом, идти в туман и неопределенность. Все, свойственное духу, всецело принадлежит телу. А тело (в соответствии с нашим опытом) является материей. Время разрушает ее. Что же остается?

Мэри ничего не ответила, просто сидела там, живая, прекрасная, желанная, да тикали часы.

— Как насчет некоего Абсолюта? Некоего универсального Бытия? Сущности, что подобно капле воды вливается обратно в реку, или подобно электрической лампочке возвращает свою энергию питающему проводу, чтобы, возможно, зажечься в новых лампочках? Разумеется, все эти концепции — лишь плоды воображения, высокопарные слова, означающие одно и то же — Смерть — с точки зрения Моей и Твоей; то есть, с точки зрения того единственного, что обладает первичной ценностью. Никчемные безделицы. Абстракции. Вымысел.

— Никчемные безделицы, — произнесла Мэри шепотом.

— «Любовь сильнее Смерти», — сказал Лессингем. — Как бойко люди твердят эти полные оптимизма банальности, покуда безжалостные факты не разобьют их вдребезги. «Дух жив», все эти идеалы любви ортодоксального христианства. Что ж, — промолвил он, — благо играет не последнюю роль.

Он продолжил рисовать в тишине, а потом добавил:

— Но в этом мире благо не побеждает.

Мэри приоткрыла уста.

211 Котарди — длинное и очень узкое платье, спереди зашнурованное или застегиваемое по всей длине.

—Да, так и есть, — проговорила она наконец, голосом, что будто плыл печально над морскими потоками к забвению.

Слова Лессингема потекли медленнее, по мере того, как темп его рисования стал быстрее, а мазок увереннее и победоноснее.

— Трагедия, — заговорил он, — это когда блага не хватает на других людей, когда ты видишь, как кто-то, кого ты любишь, страдает незаслуженно. Ни одному нормальному человеку нет дела до собственного блага. Возможно, потому, что при взгляде изнутри это, в конечном счете, не такое уж и благое благо.

Мэри сказала:

— Думаю, со стороны мы видим все, как оно есть.

— Надеюсь, что так.

После продолжительного молчания, когда картина на холсте начала все быстрее и быстрее наполняться великолепием, он заговорил:

— Идеал непричастных. Это компромиссный идеал. Этот идеал — как кислый виноград. Бездуховное, неубедительное отрицание, отвержение благ этого мира, рая чувств. Чувственное удовольствие само по себе — абстракция и потому бессмысленно. Но в должном контексте он заключает в себе всю сферу вселенной, становясь источником ее живительной энергии, блаженным видением.

Мэри промолвила:

— Это чистая правда, mon ami.

— Это абсолютная правда, — сказал он, — и из правды этой рождается великая истина конфликта и противоречия. Но не в этом заключается правда жизни. Возьми два величайших проявления совершенства, статичное и динамичное. Тебе необходимо и то, и другое. Но в этой жизни это как раз то, чем ты обладать не можешь. Воплощение мимолетности, солнцецвет: в полдень перед тобой ковер колышущихся розовых цветов, а к вечеру остаются лишь голые стебли да опавшие лепестки; свет заката над Селлой (помнишь?), рождение человека, расцвет, угасание и смерть; котенок, становящийся котом; ночь, уступающая место дню, а день — ночи. Вся эта неопределенность, неизвестность будущего. Разве все это не подлинные составные части совершенства? Того Бесконечно Изменчивого, γλυκύπικρος, горько-сладостного, того, что нельзя обратить вспять, того, что никогда не вернется, того, что словно и говорит нам «никогда». Но здесь и тот самый бессмертный смех, солнце, что

никогда не садится, ночь, останавливающая свой бег ради любовников, вечные взоры Богов, нечто, Всегда Остающееся Собой.

Мэри промолвила:

— Бесконечно Изменчивая… Всегда Остающаяся Собой. Ты выгравировал это на моем кольце с александритом.

— Но как примирить их? — он выдавил еще краски. — Способны ли на это мы с тобой?

— Лишь Всемогуществу это под силу.

— И Всемогущество окажется подделкой, если этого не сумеет?

— Осмелимся ли мы утверждать такое?

— Должны утверждать, даже на последнем издыхании. Или окажемся богохульниками.

Мгновение помолчав, Мэри промолвила:

— Откуда это: «Враги Господа — тоже его дети, и потому велико терпение его»[212]? — а потом после еще одной паузы добавила: — Иногда меня до такой степени охватывает изумление от какого-нибудь несказанно счастливого мига, что я бы не нашла в себе мужества быть неблагодарной, даже если бы знала наверняка, что ничего кроме этого мига не будет, ни до него, ни после, навсегда, на веки вечные. И сам этот миг, лишь только миновав, тоже обратится в ничто.

— А ответом моим на это, — очень медленно проговорил Лессингем, — будет то, что непорочная чистота и совершенство, вложившие тебе в уста эти слова только что, пламенем своим обращают в пепел и развеивают по ветру возможность сомнения, о котором эти слова так молят.

Она наблюдала, как он рисует.

— Стало быть, ты в это веришь? — спросила она наконец.

Лессингем сказал:

— Благодаря тебе.

— Веришь буквально, как в какой-нибудь обыденный факт? Веришь настолько сильно, что мог бы и умереть с этой верой?

— Да, — сказал он, — настолько сильно.

— Даже под угрозой того, что вера эта окажется ложной? Ведь (как ты столь часто говорил мне) откуда нам знать?

212 Отрывок из проповеди Р. Харриса (1581—1658), английского священника и пуританского проповедника.

— Не кажется ли тебе, что вера, столь сильная, что с нею можно было бы умереть, слишком сильна, чтобы быть ложной? Не должна ли она по причине собственной силы оказаться истинной?

— Я бы сказала, что да. Но если бы умереть предстояло другому. Если бы сию же минуту умерла я. Что тогда?

Лессингем продолжал уверенно рисовать.

— Компромисс, — сказал он, — есть свойство несовершенного мира, один из принципов управления государством. В философии же компромисс — это отторжение живущего в нас высшего разума, затуманивание истины. Наша с тобой любовь рождена в совершенном мире, где дух и тело едины, где ты можешь одновременно кушать кекс и обладать им. Разве не так?

После паузы он произнес очень тихо:

— И когда придет время умирать, я на самом деле предпочел бы, чтобы ты ушла первой. Надеюсь, не намного раньше меня, но первой.

Их взгляды встретились.

Мэри сказала:

— Я знаю. И знаю, почему. И по той же самой причине я сама хотела бы, чтобы все было наоборот.

В тишине она смотрела на него: на его олимпийскую грацию и силу, на необычайное сочетание в его фигуре северного и южного, на его сверкавшие как у кречета глаза, на чуткую и могучую руку, в которой он держал кисть, на густую черную бороду. Внезапно он отступил на шаг, чтобы взглянуть на свою работу. Его глаза метнулись от незаконченного портрета к оригиналу и застыли. Самозабвенной казалась Мэри, словно сидевшая на обозрении у всего мира, однако это была та самозабвенность, что принимает восхищение как исконно присущую себе атмосферу; так цветок принимает солнечные лучи — как нечто, само собой разумеющееся. Ее волосы были собраны у нее на шее и уложены таким образом, что косы в своих постоянно меняющихся оттенках золотого, медного и рыжего являли собой мозаику из тесно переплетенных сверкающих граней, а сбоку, за ухом, поросль коротких волосков, столь же тонких, как нити шелкопряда, изящно восходили в своем прихотливом многообразии вверх по выгибавшейся линии ее шеи, будто язычки пламени или брызги фонтана, сдуваемые в сторону ветром.

— Ты говоришь, в это можно поверить благодаря мне, — тихо промол-

вила она. — Думаю, так всегда и бывает: легко увидеть Божественное в том, кого любишь, но совершенно невозможно заметить или вообразить его в себе.

Вдруг электрическую цепь замкнуло накоротко и свет погас. Ни он, ни она не шелохнулись.

— Какой странный эффект, — проговорил Лессингем из темноты. — Наверное, в моих глазах стояла зелень твоего платья, так что, когда погас свет, я еще мгновение видел это платье, четко очерченное во тьме, но оно было огненно-алое.

Он зажег спичку.

— Ну что ж, вот и я, — сказала Мэри. — И одета все так же. Но почему алое?

— Дополнительный цвет.

— И весьма уместный, mon ami, после всего того, о чем мы говорили!

XIV. Рыбный ужин: Прелюдия

ТЕМ временем в прекрасном Мемизоне (если, конечно, в том мире может быть какое-либо иное время, помимо «того») леди Фьоринда, наслаждаясь исполненным медвяного благоухания воздухом зимиамвийского сада, прогуливалась, не сопровождаемая никем, кроме своих собственных неведомых никому мыслей, по этому саду, будто по шатру, пронизанному яркими лучами сиявшего в безоблачном небе золотого, безмятежного и неторопливо клонившегося к закату июльского солнца. Всего месяц минул с тех пор, как нежилась она в день рождения герцогини здесь, под этими тополями, у лилейного пруда; но тогда это было в самый разгар полдня, только месяц и один день тому назад. И вот, рефреном, предваряющим собою вступление темы той летней ночи, из-за деревьев показался лорд-канцлер Бероальд, наряженный в камзол и штаны из расшитой золотом парчи.

— Добрый вечер, милый братец. Это и есть твое траурное платье по случаю смерти твоего зятя?

— Нет, — ответил тот. — А это — твое, в честь твоего усопшего мужа?

— Если все взвесить, то оно вполне сгодится.

Она взглянула на свое котарди, украшенное тысячами крошечных

жемчужин и желтых сапфиров, облегающее тесно, будто перчатка или ее собственная бархатная кожа, черное как вороново крыло, стянутое на бедрах широким поясом, выложенным веточками жимолости из высокопробного матового золота и дымчатых турмалинов земляничного цвета.

— Теперь мы с тобой квиты, — сказала она, с насмешкой во взгляде взирая на его надменный вид, исполненный ироничного спокойствия. — Ты пустил в ход своих головорезов, чтобы избавить меня от первой плохой карты, которую мне сдал — не из какой-то там неуместной заботы о моем благополучии, но потому, что тебе это показалось более выгодным для твоих целей. И вот, я выкинула твою более выгодную карту (по сути той же самой масти) вместе с двойками и тройками вон из колоды.

— Какой способ избрала ты, чтобы уничтожить его? — поинтересовался Бероальд столь же равнодушно, как если бы спросил, поехал ли тот во вторник в Румалу, или что-нибудь, столь же обыденное.

Фьоринда засмеялась:

— И твои доносчики тебе об этом не доложили? Тебе, у которого есть свой человек среди слуг в каждом доме от Сестолы до Риалмара?

— Его нашли разорванным на куски в лесах поблизости, — промолвил канцлер. — Такая молва ходит в округе. Более мне ничего не известно.

— Скажем так, он дурно со мной обошелся. Пожалуй, этого вашей светлости будет достаточно. Я не влезала в твои замыслы тогда, в Крестенайе, полагая твои искусные махинации твоим собственным делом. Ты вполне можешь вести себя подобным образом, когда (как сейчас) речь идет о моих личных делах.

— Иногда, госпожа моя сестрица, — произнес он, — я почти побаиваюсь тебя.

Фьоринда взглянула на него сквозь пальцы.

— Я знаю. Нам обоим пойдет на пользу, если ты будешь обращаться со мной уважительно. Скажи спасибо, если мне когда-нибудь еще вздумается оказать тебе помощь в твоих важных делах. Но не забывай, милый братец, меня не удастся использовать в целях, не имеющих отношения ко мне, ни одному человеку, будь это даже мой любовник, а уж тем более политику вроде тебя.

Тонкие губы лорда Бероальда под его коротко подстриженными усами шевельнулись в сардонической улыбке.

— Ты нынче вся такая жгучая, словно летние молнии. Прямо сама непокорность, — сказал он. — Как бы там ни было, полагаю, у нас довольно ума, чтобы понять друг друга. Ну так довольно. Я явился не затем, чтобы говорить об этих пустяках, но чтобы известить тебя, что его светлость пригласил меня на ужин сегодня вечером — на ужин частный, рыбный ужин, в летнем дворце. Ты знаешь, кто там будет?

— Король. Герцог. Парри. Ты. Господин адмирал (да будут милостивы Боги к его безобидной душе). Вот, наверное, и все.

— Ни одной женщины?

— Я, — всеми изысканными прелестями и удовольствиями мира дохнуло от этого произнесенного ею слова.

— И все?

— О, еще парочка, сугубо ради проформы, — она мгновение смотрела на него, а потом добавила: — Скажу тебе кое-что, раз уж вспомнила. Я была удостоена очередного предложения брака.

— Ха! — холодные глаза канцлера сверкнули. — Я даже знаю, от кого.

— Ты знаешь?

— Вся Мезрия знает.

— В самом деле? Ну что ж, я его отклонила.

— Ну, в таком случае я в растерянности. Кто же это был?

— Не будь таким любопытным.

— Случайно не герцог Зайанский?

— Герцог Зайанский.

— Что ж, я так и думал. А ты все шутишь, сестрица. Ты отказала герцогу?

— Я отказала ему и в первый раз, и во второй.

— А в третий?

— Пусть хоть сто раз является ко мне с подобным предложением, всякий раз он будет получать в ответ «нет».

— Но почему же? Это же герцог Барганакс.

— Не знаю, — сказала она. — Возможно, потому, что мне начинает надоедать этот бестолковый обычай, по которому мужей подбирают и бросают в бой против меня, будто солдат на своих же подданных, против моей воли.

Словно летящий над чистой водой ветер, что рябит ее поверхность,

дабы никто не смог увидеть, что находится под нею, некое подобие усмешки сокрыло глубины ее безупречных зеленых глаз. Бероальд пожал плечами.

— Я бы хотел услышать какую-нибудь более вескую и серьезную причину, по которой ты отклонила столь видную партию.

— Причина эта слишком деликатна, чтобы ее распутал законник, — сказала она. — Дело в том, что я искренне и непритворно думаю иногда, не влюбилась ли я в него немножко.

Бероальд посмотрел ей в глаза.

— Влюбилась в него? И потому хочешь привязать его к себе накрепко? И оттого не желаешь соглашаться на роль его герцогини?

— Что ж, воистину, ты мой брат! — промолвила она и по-сестрински поцеловала его.

Когда канцлер удалился, Фьоринда возобновила свою прогулку под деревьями, уходя с солнечного света в тень, а из тени обратно на солнечный свет, чьи золотые стрелы то попадали в нее, то пролетали мимо. На камушки на дальнем берегу пруда опустилась оляпка, принявшаяся разглядывать ее, постоянно кланяясь, подскакивая и вращая глазами. То ли потому, что она была одна, и даже неподвластный ее чарам взор ее брата не был обращен на нее, то ли по какой-либо иной причине, но Ее присутствие в этот час, когда вся природа словно погрузилась в дрему, казалось, делало нематериальным все, что не было Ею. Черный бархатный наряд с млечным путем из крошечных жемчужин и желтых сапфиров — ее облегающее платье с поясом — словно был соткан из ставшей вдруг осязаемой ткани самой ночи, скорее открывая, нежели пряча. Разворачиваясь подобно наступающему вечеру, благодать начала окутывать воздух, небеса и сумрачную землю

Тут над водой показались две маленькие желтые трясогузки, резвившиеся в воздухе подобно бабочкам, порхавшие вверх и вниз, туда и обратно. Она протянула руку; те прекратили игру и уселись на ее палец, где принялись миловаться и ласкать друг дружку клювиками.

— Что за глупые пташки! — сказал Барганакс, когда, внезапно осознав его присутствие у себя за спиной, она согнала их прочь.

— Неужто ваша светлость полагает это чем-то из ряда вон выходящим? — промолвила она, глядя на него через плечо из-под бахромы своих ресниц.

Некая странность окрашивала этим вечером ее настрой. Ее уста, на которых всего лишь мгновение назад мерцало подобно морозной искорке Сириуса в зимней ночи все многоцветие ее мыслей, вдруг преобразились, превратившись в изваяние, высеченное из сердолика или карнеола, — столь каменным, столь неожиданно безжалостным стал их изгиб, будто кривились в уголках ее губ рыболовные крючки.

— Вы считаете это чем-то из ряда вон выходящим? Полагаю, они благодарны мне за те трюки, которым я их обучаю.

— Изощренностью под стать аретиновским[213], — буркнул он.

Ее щеки и шея залились малиновой краской.

— Простите меня, — произнес герцог. — Я забылся. И неудивительно: мне все кажется неверным и зыбким, когда я отвожу взгляд от вас. Но я не забыл…

Весьма грациозно, чуть поколебавшись и втянув ноздрями воздух, склонила она голову к желтой лилии, что была приколота к лифу ее платья. Потом, вопросительно подняв брови, она промолвила:

— И что же неукротимый ум вашей светлости не в состоянии забыть?

— Ночь вторника, — ответил тот, наблюдая, как огонек в ее взоре замер и глаза сделались непроницаемы, будто кусочки кремня или железняка.

— И? Что же ваша светлость желает услышать от меня в ответ на это?

— Что вам угодно. Самым горьким горем на свете для меня будет, если вы когда-либо станете в своих поступках или словах подчиняться приказам.

Он помолчал, а потом добавил:

— Думаю, и ваша милость не забыли.

Уголки ее губ застыли суровыми крючьями; лицо ее напоминало лицо сфинкса:

— Не знаю, что в ней такого; ночь как ночь, такая же, как и любая другая.

В гробовой тишине скрестились клинки их взглядов, прощупывая норов друг друга.

— Раз уж вы со мной столь честны, — произнес Барганакс, — должен ли я, в свою очередь, поведать вам, госпожа моя, подобную же правду?

213 В 1527 г. была издана книга гравюр порнографического содержания, каждая из которых сопровождалась сонетами поэта Пьетро Аретино, за что она получила название «Позы Аретино».

— Как пожелаете. Никчемная и бестолковая игра эта погоня за правдой. К тому же помните, вы не просили меня сказать вам правду, но лишь то, что мне будет угодно.

— Знаете, что болбочут о вас всякие длинные языки? Я уже трижды за один день слышал об этом по дороге из Зайаны.

— Могу себе представить.

— Что именно? То, что вы щеголяете в ворованных шелках? Распутничаете? Выходите замуж лишь для того, чтобы тут же сбежать? Или, пуще того, чтобы отвязаться от своего мужа, всеми силами стараетесь его погубить?

— Справедливые слова и похожие на правду.

— И уплачено за них сполна. Прошу прощения, госпожа моя, но последнего, самого болтливого…

— Дуэль?

— Все произошло довольно неожиданно: я услышал, как он столь гнусно отзывается о вашей милости, схватил его за шею и портки и швырнул об стену.

— И все?

— И все, — герцог пожал плечами, разглядывая свои ногти. Помолчав, он вскинул глаза и сказал: — Итак, это был третий. Вы видите, какую огласку получили недавние встречи вашей милости со мной; пролилась кровь троих человек, — он похлопал по рукояти меча, — чтобы смыть эту клевету.

Она еще раз понюхала лилию, все это время глядя на него, и в глазах ее под изящно выгибавшимися бровями тлел огонь. Очень медленно она улыбнулась. Казалось, кто-то дернул некую струну. Тихие вечерние звуки сада: шелест листвы, журчание бегущей воды, гудение крохотных горнов комариков, жуков или пчел — все это словно стало вдруг оглушительно громким.

— О, Вы, неисправимая, — воскликнул он, и его горло перехватило, — несравненная, неописуемая, невыразимая.

А потом он промолвил, очень серьезно и тихо:

Над черной розой мускусной — луна,
С небес на сонный луг льет свет она.
Ирисы черные в покое расцветают.
Дыханье мускуса, смертельный аромат,
Кровь бьется в венах, мысли невпопад.
Глаза слабеют, чувства улетают

Их лепестки свернулись и дрожат,
Их крылья черные безжизненно лежат —
Ты выпила весь Мир, младой и старый.
Беззвучный ветер носится в ночи.
Ночной огонь — как черные сычи,
Глаза слепит от яркого пожара.

И близко высшее, и кровь стучит, звеня.
О Роза мира, выпей же меня[214].

Вперив мрачный взор своих непроницаемых глаз в его глаза, слушала она, по-прежнему склонив голову к серно-желтому цветку лилии с его алыми пыльниками, столь уютно устроившемуся в заветной ложбинке меж ее грудей. Вся сладость нерешительности и колебаний, все необузданные аппетиты тела и запретные устремления души, глубочайшие проявления естества, лишаясь своей естественности, облекались плотью в их неприкрытых и сияющих жемчужных пропорциях, в неторопливо и украдкой скользнувшей по губам женщины усмешке. Наконец, она заговорила:

Si tu m'aimes dix fois
Qu'une nuit de mai,
Onziesme j'y croys
Que ton amour soit vrai…[215]

И помните, меня придется добиваться заново chaque fois, mon ami: mais chaque fois[216].

Обертона ее голоса замерли, как звякают браслеты на лодыжках, или как покрытые лаком ленивые пальцы постукивают по висящим на стенах зеркалам, или как задергиваются шторы, отгораживая тепло и все дорогое сердцу от темноты. Потом, словно сонный зверь, что днем дремлет, а к ночи пробуждается, потягивается и поднимается, готовый к деятельности, она распрямилась и посмотрела на него.

---

214 Пер. А. Вироховского.

215
«Коль семь раз возьмешь меня
Майской полночью.
На восьмой поверю я
Во любовь твою» (пер. А. Вироховского).

216 «Каждый раз, другой мой, каждый раз» (фр.).

— Некоторые просто не могут не переборщить, — промолвила она. — Разве я высказывала пожелание видеть вас, ваша дерзкая светлость, здесь сегодня?

— Chaque fois? — повторил герцог, глядя на нее из-под прикрытых век. — Так было, и так будет всегда, и тем лучше, что наши вкусы бегут бок о бок. Я придерживаюсь иного мнения, нежели поэт:

Любовь всегда прекрасна и желанна,
Но только не когда она нежданна[217].

— «Ce que femme veut, Dieu le veut»[218]? Так? — спросила она. — Но вы сказали «наши вкусы»? Как, например, вкус к мезрийской пышности и ухоженным усам?

— О, я следовал вкусам вашей милости в самых последних мелочах.

Она отвернулась от него; потом, сделав один или два шага, полных ленивой и томной грации, остановилась у края пруда, сцепив руки за спиной и глядя вниз, на собственное отражение в прохладной воде. Волосы ее были уложены к сегодняшнему вечеру в новую прическу, будучи заплетены в две толстые и тугие косы, что, дважды обернутые вокруг ее головы с вплетенными в них шнурами хризобериллов «кошачий глаз» медового цвета, венчали ее короной, которая напоминала формой два связанных друг с другом сердца; расчесанные на прямой пробор, они ореолом полированного гагата обрамляли ее прекрасный белый лоб и даже теперь, стянутые в прическе, сохранили неукротимость свободно и привольно катящихся океанских волн под беззвездными небесами. Герцог, словно силящийся удержать в узде нечто неистово рвущееся наружу человек, минуту заставлял себя стоять неподвижно, глядя на нее издали, снова и снова обводя ее глазами с головы до ног. Не говоря ни слова, он подошел и встал подле нее, и теперь они смотрели на два своих отражения, стоявших бок о бок.

— Похоже, — вдруг проговорил он, — я начинаю узнавать в вас самого себя. Будучи бастардом, незаконнорожденным, я давным-давно привык получать то, что мне вздумается, подобно вихрю, без промедления и задержек. Но вы убедитесь, что я не так-то быстро загораюсь или успокаиваюсь, будучи удовлетворен.

---

217 Ср. в комедии У. Шекспира «Двенадцатая ночь или что угодно», акт III (пер. Э. Линецкой):

Любовь всегда прекрасна и желанна,
Особенно — когда она нежданна.

218 «Чего хочет женщина, того хочет Бог» (фр. пословица).

Он помолчал. Казалось, стук его сердца мог бы услышать любой оказавшийся поблизости.

— За все эти четыре дня, — промолвил он, — со вторника по сегодняшний день, по субботу, я съездил в Зайану и возвратился обратно, и меня не покидала неутолимая страсть к вам. Если вас в мире не станет, — закончил он, — это будет уже не мир.

Будто материализовавшись из этой страстной тишины, на плечо Фьоринды опустилась маленькая сова. Повернувшись к ней, Барганакс встретился взглядом с ее глазами — пронзительными, загадочными, — что взирали на него. Прекрасное лицо женщины, ее чуть наклоненная вперед голова четко вырисовывалась в профиль в начавших окрашиваться багровым лучах заката рядом с крохотным пернатым созданием, что, выпрямившись как стрела, устроилось на ее плече. Сама неуловимая красота ее, казалось, каждое мгновение претерпевала изменения, блистая, тускнея, а затем разгораясь с новой силой; черты ее лица преисполнялись на миг то греческой безупречности, то неописуемой и сладостной чувственности, то проступавшей в линиях скул и ноздрей неизгладимой жестокости Тартара, и все это была она.

— Также из общего в наших вкусах, — промолвил он, — тот огонь, что пылает вечно, ничем не питаемый.

Совершенно неподвижной оставалась она, если не считать ее поднимавшейся и опускавшейся в глубоких вдохах и выдохах груди, что напоминала собой неспокойное море.

Барганакс сказал:

— Вы недосягаемы. Я убедился в этом. Восходит солнце — блестящий медный кружок на фоне пурпурной тучи — и ты готов поклясться, беря в свидетели свои чувства: вот оно, рядом, снизошло на землю меж нами и этой грядой облаков; но вот между нами и солнечным ликом проплывает еще один клуб тумана, и тут мы все понимаем. Так и вы. Даже в самый миг обладания вами я вами не обладал. Вы самое понятное и одновременно непонятное, что есть на свете.

— Но, — промолвила она, — разве в этом не состоит сама суть и совершенная природа любви?

Ее слова были подобны беззвучному полету совы, что, столь же внезапно, как и появилась, улетела вновь, бесшумно взмахнув крыльями. Бес, что доселе дремал в уголках ее рта, вдруг уставился на него веселым взором, что

пылал неугасимым пламенем; она повернулась к нему, поправляя косы у себя на затылке.

— Я надеюсь, ваша светлость не обижены фактом, что я не из тех, кто станет есть грушу неочищенной? Или что меня не так-то легко заставить одеваться или раздеваться, пусть в этот раз вы и нашли меня сговорчивой?

— Я с вами навеки! — воскликнул герцог. Темнота трепетала в зрачках их безмолвно впившихся друг в друга глаз. — И думаю, я унесу с собой в могилу, — тут он коснулся своего левого плеча, — чрезвычайно красноречивый отпечаток ваших зубов, госпожа моя!

Словно золотые колокольчики зазвенели в залитых звездным светом и окутанных дремотой коридорах грезящих миров: Фьоринда рассмеялась.

— Пойдемте, — она протянула руку. — Ваша светлость сможет отомстить за это.

Он взял ее прекрасную руку неземной белизны, взял мизинец и осторожно, не сводя с нее глаз, словно игривая кошка, что пускает в ход зубы, не желая причинить боль, куснул его.

— Ваша милость улыбается.

— Пожалуй. Своим мыслям.

Ее рука обмякла в его руке. Он медленно перевернул ее запястьем вверх, где кисть присоединяется к руке и синеватые прожилки вен лишь оттеняют безупречность кожи, под которой, будто птица в клетке, бьется и затихает пульс. Неожиданно он поцеловал ее руку, ее теплую ладонь, а затем весьма церемонно отпустил ее.

— Вашим мыслям? А мысли эти… о чем, если дозволено будет поинтересоваться?

— О том, что ваша светлость художник.

— Вы любите художников?

— Мне нелегко угодить. Я люблю верных слуг.

— И для вас чем лучше художник, тем лучший он слуга?

Ее веки дрогнули.

— Довольно. Я буду слугой вашей милости.

— Позвольте, мой нетерпеливый господин, — промолвила она, и ее метнувшийся наискосок подобно зимородку взгляд был словно ласка: затаенная, быстрая, легкая, как крылья бабочки, сводящая с ума, — но разве не преодолела я уже одиннадцати десятых пути к осуществлению сего?

Глаза Барганакса сверкнули и потемнели.

— Ах, — воскликнул он, — я ведь говорю о будущем. О неких обязательствах.

— О, никаких обязательств. Я держу своего слугу при себе до тех пор, пока он мне угоден.

— Так же поступаю и я, моя повелительница, точно на тех же условиях. А потому оба мы не можем быть уверены, что придет нам в голову завтра. Дабы избежать этого, госпожа моя, нет иного средства, кроме как немедленно пожениться.

— Никогда. Я уже дважды давала ответ.

— Те ответы не стоят и выеденного яйца.

— Вам просто нечего возразить.

— Вы не желаете стать моею герцогиней? Ваша милость — первая женщина, оказавшаяся настолько упрямой, чтобы ответить отказом на подобное предложение.

— Также как и первая, осмелюсь предположить, кто подобное предложение вообще получал?

— Еще один пример того, сколь мы похожи.

— Вы имеете в виду то, как упорно вы продолжаете настаивать на узах, которыми сами ни за что не хотели бы быть связаны, в то время как я в своей величайшей щедрости облагодетельствую саму себя — как и вас — отклоняя ваше предложение?

— Моя королева, дайте мне еще вашу руку, — сказал герцог. — Что до сватовства — отложим его до завтра. Однако же, — продолжал он, — всему своя мера. Летние ночи коротки. Я с нетерпением жду сегодняшнего вечера.

— Ну что ж, сегодня вечером, — промолвила она, позволив ему привлечь себя, стоявшую чуть поодаль от него, к себе за руки, медленным и постепенным движением, все ближе и ближе, как плывет по воздуху пушинка или безмятежно скользит по безветренным июльским небесам лебедь, — сегодня вечером, быть может, я и не стану затягивать свои отказы узлом, который нельзя распутать.

— Тогда скрепим соглашение, — и, несмотря на всю силу и проворство, с которыми она пыталась уклониться, он поцеловал ее в губы. — Copula spiritualis[219]. А поскольку один — ничто, ибо всему во вселенной существует

219 Copula spiritualis (лат.) — «духовная связь».

пара, — и снова долгим и страстным поцелуем поцеловал он ее, вбирая глазами ее глаза, что, широко распахнутые и бесстрастные, как у голубки, и по-прежнему избегавшие его, казалось, позабыли в изумлении обо всем окружающем и обратились вовнутрь. — И в третий раз… нет, клянусь небесами! Просто потому, что мне так хочется!

Пьянящие ароматы распространялись и рассеивались вокруг от ее учащенного дыхания и от той лилии, что, смятая ее прижатым к нему телом, отдавала ветерку свое благоухание.

— Ибо чему быть, того не миновать. Ибо слепцы идут ощупью. Ибо… что это?

— Девушки, — произнесла она, спокойно высвобождаясь из его объятий. — Неужели вашей светлости не доводилось видеть такого зверя прежде? Госпожа Антея, госпожа Кампаспа, в некотором роде они мои служанки.

Со всей скромностью поклонились они герцогу.

— Они, — сказала леди Фьоринда, — цветут повсюду, как розмарин. И сейчас они, вероятнее всего, явились по велению ее светлости, зовущей нас к столу. О, не волнуйтесь, они чрезвычайно тактичны и благоразумны. Неужто вы думаете, ее светлость стала бы их держать, будь это не так? Или стала бы я?

— Не стану спорить на этот счет, — отозвался тот. — Довольно и того, что я доселе ни разу их не видел, как и не слышал, чтобы о них упоминали.

— Однако же, с самых пеленок входили они в число домочадцев нашей госпожи герцогини. Как видите, есть нечто такое, что скрыто и от вас, господин мой.

Барганакс посмотрел на них.

— Если я услышу, как кошка мычит, будто бык, — произнес он, — это должно меня удивить. Если же я увижу грациозную горную рысь в жабо из паутины и платье из тафты персикового цвета, или же славку, — тут он устремил взор в робкие черные глаза-бусинки Кампаспы, — в сетке для волос цвета тирского пурпура, облаченную в бархат оттенка шкуры водяной крысы и в маленькие коричневые перчатки, пахнущие мускусом…

Антея засмеялась, прикрываясь веером. Ее глаза, взиравшие на него из-за этого веера, были желтые, с горящими вертикальными щелями зрачков.

XV. Рыбный ужин: Симпосий

В Саду Асфоделей у южной стены возвышавшейся над озером Рейсма старой башни герцогиня Мемизонская устроила этим вечером ужин для немногих избранных гостей. Стол имел форму кольца размером, если мерить по внешней стороне, в одиннадцать или двенадцать на девять футов, а ширина столешницы составляла около двух футов. В месте, где в кольце должен был бы находиться камень, где два конца стола загибались дугой навстречу друг другу, был оставлен проход, шириной в каких-нибудь четыре фута, чтобы служанки могли подавать блюда собравшимся, что расселись вокруг стола с внешней стороны.

— Рыбный ужин, — промолвила герцогиня, когда они заняли свои места. — Дары моря во славу Той, что рождена в морской пене.

Уже тише, на ухо королю, она добавила:

— L'absente de tous bouquets. Вы помните, господин мой?

Великий монарх кивнул:

— Я помню.

Они сели за стол. Посередине, на тронах из благоуханного сандалового дерева с набитыми пером подушками из серебристого плюша, инкрустированных золотом, слоновой костью и всевозможными драгоценными камнями, величественно восседали король и герцогиня, сидевшая по правую руку от него. Сразу за королем разместился герцог Барганакс, за герцогом — наместник Ререка, далее лорд адмирал Иеронимий, а с края стола — лорд верховный канцлер Бероальд. По другую сторону, напротив них, сидели, справа от герцогини, принцесса Зенианта, племянница короля Мезенция, гостившая сейчас у ее светлости в Мемизоне, далее госпожа Фьоринда, а за ней, доводя общее число пирующих до десяти, — Антея с Кампаспой.

Ножки стола, массивные и прихотливо вырезанные, были сработаны из различных видов разноцветного мрамора, а столешница — из узорчатой древесины тиса, вяза и кедра, с кромками, выложенными серебром, ляпис-лазурью, пантероном и бледным горным золотом. Высокая беседка с угловатыми колоннами из розового дымчатого кварца частично скрывала небо над столом. С ее решетчатой крыши, оплетенной древними лозами, чьи стебли были толщиной с человеческое бедро, свисали сотни виноградных гроздей,

в это время года лишь начинавших наливаться цветом, — тяжелые пучки драгоценностей, сонно покачивавшиеся у границ освещенного свечами пространства. Шесть, и даже более, десятков свечей из ароматного воска теплых оттенков пылали на столе в тяжелых канделябрах из сверкающего золота. Столь тиха была летняя ночь, что огоньки свечей оставались неподвижны, будто спящие крокусы, лишь иногда еле заметно колеблясь от легких дуновений воздуха при разговоре или смехе, или когда проходили мимо девушки-служанки в своих безрукавых греческих туниках — зеленых, небесно-голубых, шафранно-желтых, — поднося новые кушанья или наполняя кубки винами. Гранаты, лимоны, апельсины, томаты, солнечные персики были аккуратно сложены высокими горками на огромных блюдах из серебра или алебастра, расставленных через равные промежутки по всему столу. В тарелках поменьше были в изобилии разложены всевозможные яства: оливки, маринованная треска, тосты с икрой, анчоусы, ботарго[220], сардины, миндаль, копченая сельдь, сыр пармезан, красный и зеленый перец — все то, что способно подогреть аппетит на пышном пиршестве и подготовить желудок к принятию благородных вин. Также там были вафли со сливками и сливочный сыр, но среди основных кушаний не было ничего мясного, помимо кушаний из приготовленной бессчетным множеством изысканных способов рыбы и даров моря всех сортов, поочередно подаваемых к столу на огромных плоских тарелках и блюдах: угрей, миног, лангустов, щурят, соленой лососины, жареного тунца, морских петухов и колюшек в мускатном соусе, усачей больших и маленьких, серебристых угрей, окуней, гольцов, омаров, бельдюги, мидий, лягушек, устриц, крабов, улиток и труборогов, больших креветок, черепах, осетров, скатов, макрели, палтуса и изысканных и крепких пятнистых форелей.

Все собравшиеся были в парадных одеяниях. На короле был роскошный камзол из золотой ткани с отороченными темно-винным бархатом разрезами. Служившая поясом цепь на его талии была сделана из цельного золота и усеяна изумрудами и темными как ночь сапфирами, каждый из которых размером не уступал яйцу дрозда; золотая пряжка пояса изображала двух гиппогрифов с распростертыми крыльями, а между гиппогрифами помещалась львиная морда, украшенная искорками рубинов с глазами из двух карбункулов, что пылали, будто раскаленные угли. Сидевший слева герцог был от шеи до пят облачен в мягкий темно-коричневый сатин,

220 Блюдо из икры тунца или кефали.

прошитый и простроченный шелковой и серебряной нитью; этот плотно облегающий наряд точно повторял обводы его гибкого и сильного тела, чьи грациозные движения заставляли тот струиться гладкими складками в неуловимых ритмах, сходных с движениями пантеры или пробудившегося питона. Его воротник и манжеты на рукавах были тверды от шафрана, а портупея из бычьей кожи с застежками из двух темных гиацинтовых кабошонов цвета торфяников, когда в них погружается солнце, была оторочена сверху и снизу бусинами опалов, огненных опалов и балас-рубинов. Размещавшийся далее наместник был во всем алом, с ожерельем из тусклого золота на шее. Когда он двигался, в очертаниях его груди и большого живота проступало нечто угловатое, и было ясно, что под мирные покровы из легкого шелка он, имея повсюду, а в особенности здесь, в Мезрии, столь много недоброжелателей, надел латы, чтобы уберечься от неожиданных ударов кинжалом. Его борода, подстриженная и колючая, казалась в свете свечей огненно-рыжей, как у Тора. Что касается остальных, то на канцлере был костюм из расшитой золотом парчи цвета безлунной летней ночи, когда небеса чернее всего, на адмирале — бархатный мундир сдержанных зеленых тонов с просторными рукавами, черный парчовый плащ и короткие белые штаны. Что же до роскошных и пышных нарядов леди, то они были столь ослепительны, что их едва возможно было бы разглядеть, и если бы кто-нибудь вдруг приблизился к этому столу, он онемел бы при виде их, столь невыносимо прекрасных, что дышали, двигались, беседовали, не нуждаясь при этом благосклонном свете свечей ни в каких украшениях; каждая из них являла собою подлинное олицетворение рая, где живет незамутненное блаженство.

К столу по часовой стрелке начали подавать мальвазию и мускатное вино, крепкие и сладкие вина, и беседа их полилась свободно. Они перебрасывались туда-сюда мячом остроумия, спорили и смеялись, и от соударения мысли о мысль, будто из кремней, вылетали снопы искр. Король Мезенций, до сих пор не принимавший участия в игре словами, казалось, самим своим присутствием управлял ею. Словно неведомый зритель в капюшоне, взирал он на устроенную им сцену и актеров на ней — существ, порожденных его глубинными и загадочными размышлениями от его же таинственности. Он будто вызывал к жизни в этих независимых личностях каждое слово, каждый взгляд или даже мысль — тогда, так и в тех из них, как ему хотелось.

— Вы столь молчаливы, мадонна.

На щеках герцогини появились ямочки.

— Я лишь размышляла, сколь чудесно было бы иметь способность останавливать Время.

— Дабы в полной мере ощутить совершенство мгновения?

— Для чего же еще?

— Но как? Ведь, если время будет остановлено, не останется времени, чтобы насладиться им.

— Думаю, я наслаждалась бы им, — промолвила она, — через некое вневременное созерцание.

— Вневременное? — переспросила принцесса Зенианта.

— Почему бы и нет?

— Созерцание. Это длинное слово. Даже чтобы произнести его, нужно время. Могу предположить, само занятие им займет еще дольше.

— Ах, ну тогда подрезать Времени когти, — сказала герцогиня. — Как по мне, пускай остается, только не утаскивает все вокруг за собой.

Барганакс улыбнулся:

— Допустим, я белка, сижу себе на ветке орехового дерева и кушаю орешек. При первом же укусе Время останавливается. Как же мне откусить во второй раз?

Герцогиня наморщила нос:

— И в самом деле! В какой же беспорядок позволили Боги прийти нашему прекрасному миру! Да, это так. Но должно ли это быть так? В мире совершенном?

— Совершенном? — повторил король.

— Я то и дело размышляю о нем.

— Похож ли он на этот мир?

Она кивнула.

— Удивительно похож.

А когда под музыку внесли на золотом блюде осетра, она добавила ему на ухо:

— Помните ли вы, дорогой мой повелитель, о чем я просила вас той ночью, когда вы уехали на север вместе с Бероальдом и чуть не оставили меня новобрачной вдовой? Если бы мы были Богами, способными творить и уничтожать миры по собственному желанию, каким был бы наш мир?

— Да, помню.

— А свой ответ. Помните ли вы его?

— Может, и вспомнил бы, если бы захотел. Но разве настоящее, madonna mia, не лучше самых чудесных воспоминаний?

— Это и был ваш ответ! — воскликнула она. — Не слово в слово, но суть ваших слов та же, — она помолчала, а потом тихо проговорила, опустив глаза: — Иногда это меня пугает.

— Пугает?

— Когда я одна.

— Мы таковы, какими сотворили нас Боги.

Его рука под столом на миг незаметно сжала руку ее, Амалии, владычицы и олицетворения неисчерпаемого и неподверженного порче кладезя самой робкой, самой нежной мудрости, доброты и благородства, что в изобилии копились долгими поколениями, внешне столь мягкой и беззащитной перед грубой и обнаженной алчностью этого мира и всем тем злом, что несут в себе время, перемены и смерть.

— За столом достаточно разумных людей, почему бы нам не дать высказаться им? — вслух произнес он после минутной тишины. — Пускай разберут мир на части и воссоздадут его по новой. Господин мой Горий Парри, какой мир сотворили бы для нас вы, будь вам дарованы способности Бога Всемогущего?

— Ну, — отозвался тот, — меня и прежде называли, причем не всегда из любви ко мне, человеком запредельных амбиций. Но огради нас Сатана! Эта задача ставит меня в тупик. Я никогда не устремлял взор выше луны. Не знаю, что и ответить.

— Отвечайте, кузен, без всяких отговорок, — сказал король. — Они заскорузли как морская солонина. Уж мы-то с вами друг друга хорошо знаем.

— Ваше высочество знает меня. Клянусь Богом, хотел бы я быть уверен, что так же хорошо знаю ваше высочество, — он залпом выпил свое вино и покрутил в руках пустой кубок. — Что до миров, — сказал он, — то и этот годится. Другого мне не надо. Это мир, в котором победа, — он выдержал взгляд короля, и в его глазах появилось выражение, пожалуй, не столь непроницаемое, как полагал их обладатель, — в котором победа достается сильнейшему. Вино, женщины, войны… нет, по мне, он вполне годится. А при определенных условиях, — он обвел стол жгучим и дерзким взглядом, — можно снести даже мирное время.

— Pax Mezentiana[221], — пробормотал герцог.

— Однако мирное время, — продолжал наместник, — мужчину смягчает, превращает его в женщину, — и его взор, к облегчению леди, по очереди устремился на канцлера, адмирала и герцога.

Фьоринда, поймав взгляд герцога, лишь повторила его жест: посмотрела на свои ногти, как он сделал в саду час назад.

— В целом, господин мой король, — промолвил наместник, — я человек простой. Свое дело знаю. Знаю себя. Повинуюсь своему повелителю. Что до остальных (исключая присутствующих), — он вновь вперил взгляд в сидевших справа и слева от него герцога, адмирала и канцлера, — nemo me impune lacessit[222].

— В целом, — сказал король, — вас вполне устраивает этот мир и вы бы оставили его как есть?

— Со всем смирением, таково мое мнение.

— В соответствии с которым, — сказал король, — будет весьма мудро и здраво со стороны вашего сиятельства и поступать.

Будто лезвие секиры сверкнуло на этот краткий миг. Тонкие черты губ и ноздрей канцлера изогнулись в сардонической ухмылке.

— Мы с вами, — обратился король к лорду Иеронимию, — самые старшие здесь. Что скажете вы?

— Господин мой король, — ответил тот, — Полагаю, я на пять лет старше вашего высочества. И чем старше становлюсь я, тем больше доверяю

221 Pax Mezentiana (лат.) — «Мезенциев мир», «мир, заключенный Мезенцием».
222 Nemo me impune lacessit (лат.) — «никто не тронет меня безнаказанно», королевский девиз Шотландии.

своему мнению и тем меньше — своим знаниям. Многое, как мне казалось, я знал, — сказал он, облокотившись на стол, теребя пальцами прядь прямых и бесцветных волос у себя на лбу и обводя присутствующих весьма благожелательным, весьма терпеливым и задумчивым взглядом. — Но теперь я вижу, что ошибался. Несомненные факты в некотором роде превращаются в догадки. В общем… — он замолчал.

— Вот тебе вкратце вся суть нашего благородного адмирала, — прошептала герцогиня на ухо Зенианте. — Человек он мудрый и добрый, но в своей осмотрительности и деликатности столь неумерен, что зачастую, когда доходит до дела, просто впадает в паралич, неспособный выбрать между двумя равноценными и несовместимыми альтернативами.

Добры были взоры, обращенные на адмирала. Даже сатирическая улыбка Бероальда смягчилась, когда он заговорил в ответ на взгляд короля:

— Я также придерживаюсь приземленной точки зрения. Этого мира довольно. Я не склонен рисковать, вмешиваясь в его устройство.

Герцог пожал плечами.

— Возможно, — сказал он, глядя через стол на леди Фьоринду, — но если мир является, скажем так, нарядом, не должен ли он быть… под стать той, для кого он был сотворен?.. — тут ее опущенные веки дрогнули; так солнечный лимб на заре дня вдруг прорезает морской горизонт. — Быть вечно изменчивым, но всегда оставаться собой?

— А разве этот наш мир не таков? — спросил король, также глядя на эту леди.

— Он вечно изменчив, да, — сказал герцог. — Что до способности оставаться собой, — Кампаспе послышалась некая перемена в его голосе, подобная внезапному шелесту ночного ветерка в ивах у края позабытого озера, — не знаю. Быть может, оно и лучше — не знать, — Антея также навострила уши, прислушиваясь к этой перемене, похожей на дождь со снегом, что шумит посреди морен и ледяных пещер, когда все голоса ледника умолкают от холода.

— Да, даже будь мы Богами, — промолвил король, и слова его прозвучали в полной тишине, — быть может, лучше не знать. Лучше не знать о нашей неизменности, о нашей извечной силе и несказанном величии, ничем не ограниченном. Ибо в сомнениях и неуверенности, быть может, таится вся соль, вся суть, без которых все обернется, в конечном счете, усталостью, а всякий интерес пропадет. Даже на Олимпе.

— Время, — промолвила герцогиня, нарушив молчание. — И перемены. Время подобно реке, и каждый из нас подобно Андромеде прикован у берега, наблюдая оттуда, как вечно изменчивые сокровища или горести наших дней проплывают мимо, несомые течением; их нельзя удержать, и не успеешь насладиться ими, как они уходят; как бы мы ни старались, их невозможно избежать, и, как бы мы ни жаждали этого, нельзя обрести снова. А в конце — последнее горе, Смерть.

— Справедливая метафора, — сказал адмирал. — И, как и в случае с речным водопадом, их нельзя ни остановить, ни обратить вспять.

— Да. Очевидно, так оно и есть, — сказала Зенианта. — Но что если все иначе, не так, как мы это видим? Мы сидим на берегу, у окна, неподвижные, а Время и мир текут мимо нас. Но что если это окно (пусть мы об этом и не знаем) есть окно кареты или паланкина, в котором мы движемся столь же ровно, легко и незаметно, как утренние туманы, что плывут по воздуху у берегов какого-нибудь озера..?

— И, покуда мы в некотором роде не сойдем с нашей колесницы, мы не сможем определить, двигались ли мы, или же все, что мы видим вокруг? Именно так, в таком вот маскараде, и протекают дни наших жизней.

— Ах, но действительно ли это так, господин адмирал? — спросила герцогиня. — Если пользоваться этой гипотезой, то перед нами не просто река и то, что плывет по ней; перед нами целый необъятный мир, по которому мы можем перемещаться вперед, назад и во все стороны, стоит лишь приказать колесничему…

— О, да просто соскочите с колесницы и пройдитесь по этому миру пешком, как обыкновенный человек, — сказал герцог.

Король промолвил:

— Или, подобно Богу и Богине, по всей вселенной, всем мыслимым мирам.

— Например, — подхватил Барганакс, — я говорю: Хочу, чтобы наступил вторник, полночь, и одними этими словами, одним помыслом заставляю это произойти.

Его взор был устремлен на Фьоринду, в чьих глазах подобно путеводным звездам облачной ночью над морем сверкнули на миг зеленые огни.

— Думаю, нужно быть Богом, — сказала она, и в голосе ее лениво

прозвенел колокольчик насмешки, — чтобы выбирать мудро, имея такой безграничный выбор. Думаю, потребуется исключительная рассудительность, дабы не лишить избранные мгновения их возвышенного совершенства.

Король обернулся к ней:

— Стало быть, ваша милость полагает, что все и так неплохо устроено, хоть мы и не обладаем способностью остановиться или повернуть назад, или избрать иной путь, а уж тем более отринуть всяческие пути и колесницы и быть свободными?

— Думаю, все и так неплохо, — ее праздный и наслаждающийся самим собой взор обратился к наместнику, — для некоторых из нас. Ваше высочество наверняка помнит старую историю о добром человеке, его жене и трех желаниях.

Ее брат, лорд Бероальд, застыл, потом заерзал в своем кресле.

— О, не бойся, милый братец, я не стану ее рассказывать: к чему эти голые слова, лишенные своих одежд? Фи! Однако же, они способны преподать нам урок не хуже иного человека. Речь о том, как третьим желанием, стремясь выбраться из той плачевной ситуации, куда они загнали себя двумя предыдущими, они были вынуждены пожелать все отменить, вернув in statu quo prius[223]. А ведь у них было всего три обыкновенных желания, а вовсе не мириады мириад, которые вам, вероятно, потребуются, чтобы сотворить мир.

Король засмеялся себе в бороду.

— Иными словами, вы утверждаете, — он заглянул через левое плечо в лицо Барганаксу, — что Богу, если он желает заняться сотворением миров, нужно быть не только Богом, но и художником?

— Потому что оба творят? — спросила Амалия.

Барганакс улыбнулся и покачал головой.

— Ваш художник ничего не творит. Допустим, я нарисую для вашей светлости картину, сочиню для вас поэму — это не акт творения. Я лишь нахожу, подбираю, упорядочиваю.

— Однако мы говорим, что Бог сотворил мир? Разве это неправда? — она перевела взгляд с отца на сына. — Как же тогда появился мир?

Наступила тишина; в этой тишине наместник с хрустом разгрызал клешню омара. Амалия взглянула на короля, сидевшего слева от нее на расстоянии вытянутой руки. Будто отвечая на собственный вопрос, она сказала:

223 In statu quo prius (лат.) — «к прежнему положению».

— Наверное, он уже существовал в Его мыслях.

Барганакс, казалось, задумался над словами своей матери.

— Однако, — промолвил он, — существуя подобным образом, он не мог еще быть миром. Чтобы быть им, он должен был находиться снаружи. И уж конечно, он не может целиком оставаться в его мыслях, прежде чем появится вовне. Вот вам и необходимость творить еще до того, как вы и помыслите о мире, — он помолчал, глядя на Фьоринду. — Но даже Бог, — сказал он, — не способен создать красоту; он может лишь познать ее.

— Мы рассуждаем об этих вещах, — сказал король, — но кто мы, как не дети, играющие на берегу и представляющие, будто познали пределы бескрайнего моря? Такова и наша божественная философия: увеселение после пиршества.

Но, чтобы играть в примеро, нужно сначала иметь карты. Тогда допустим, что Мир вечен (не этот мир; я говорю обо всей вселенной, что включает в себя все живое и неживое, все пространство и время). Допустим, Бог всемогущ. Тогда не должен ли этот универсальный Мир быть бесконечным по причине всемогущества Бога? Это всемогущество — его плоть и дух. И создать эту вселенную, этот бесконечный Мир — не столь уж сложное дело для божества; это лишь неосознанный и естественный вдох, пульсация крови Его всемогущества. А вот сотворить вполне определенные миры, вроде этого нашего, произвести на свет эту ὕλη, эту prima materia, из которой состоит хаос, придать ей форму, сделать из нее для вас Желанный Сердцу Мир — что ж, это и впрямь задача для Бога!

— Ἔμην δ᾽ ἔντυνον ἀοίδην, — проговорила Фьоринда медленно, будто смакуя слова на языке. — Явись мне помощницей в песне[224]… Просто вспомнилось, — сказала она в ответ на быстрый взгляд короля.

Но Антея, подобно взирающим на алую апрельскую зарю пастухам наблюдая за игрой теней на губах и ресницах этой леди, сказала на ухо Кампаспе:

— Нектар… звездная влага. Сегодня мы кое-что увидим.

— Правильно ли я понял слова вашего высочества, — произнес герцог, — будто, если очистить ядро Истины от шелухи, всякая мыслимая вещь окажется столь же реальна, как и любая другая? И все они бессмертны и вечны?

— Да, — сказал король. — Все то, что ушло, существует ныне или

224 Гомер, гимн «К Афродите» (пер. В. Вересаева).

только будет. А также то, чего не будет. Все на свете, как мыслимое, так и немыслимое.

— И Бог, гуляя, где Ему заблагорассудится, как вы, госпожа моя, собирая букет в своем саду, можете сорвать или приметить тот или иной цветок, — обратился он к своей матери, — способен сотворить по своему желанию Свой собственный мир.

Король кивнул.

— А, сотворив, тут же отбросить прочь, если он придется Ему не по вкусу, как вам ваш букетик. Но, в отличие от розового бутона или цветка шиповника, Его цветы бессмертны. Миры творить и уничтожать он может, но не то, из чего они созданы.

— Нет, — сказал король. — С этим я не могу согласиться. Неважно. Продолжай.

— Ваше высочество не может согласиться с этим? Но разве вы сами не сказали, будто то, из чего созданы миры, вечно?

— Верно, но кто ты такой, чтобы ограничивать всемогущество Всевышнего? Неужто ты станешь отрицать способность Всемогущего Бога одним дыханием уничтожить все Сущее, а следующим вернуть все обратно точно таким же, как и было?

— Уничтожить? — переспросил лорд Бероальд. — И Себя вместе с ним?

— И Себя вместе с ним. Почему нет, если такова его прихоть?

— В таком случае, всемогущество, как утверждает ваше высочество, может вследствие своей же безграничности обернуться бессилием? Quod est absurdum[225].

— Пускай абсурдно, но разве это не то же самое, как сказать, что Он способен сотворить хаос? Хаос сам по себе абсурден. Условия его существования противоречат здравому смыслу. Однако он может существовать.

Бероальд улыбнулся своей холодной улыбкой.

— Надеюсь, ваше высочество простит мне мое непонимание. От этого неземного сияния я стал несколько подслеповат и не вижу никакого здравого смысла, все лишь сливается в какую-то путаницу.

— Вам нужно взглянуть на это более общо, sub specie æternitatis. Предположим, что всякий мыслимый набор условий, то есть всякий мыслимый

225 Quod est absurdum (лат.) — «что абсурдно».

мир, существует, но существует разобщенно, не как единый мир. Нам он представляется как несметное множество морей, городов, рек, озер, нагорий, пустынь и горных цепей со всеми их травами, лесами, мхами, водорослями, да чем угодно, и со всеми их людьми, зверями, птицами, рыбами, ползучими тварями, настроениями, мечтами, любвями, ненавистями, отвращениями, восторгами, смертями, надеждами, страхами, равнодушиями в многообразии и количестве бесконечном, что невозможно вообразить ни в кошмаре, ни в бреду. Все это существует in potentia. Все это реально, до самой последней детали пейзажа. А Он, подобно художнику-пейзажисту, лишь подбирает и упорядочивает. Один пишет картину, другой творит мир.

—Задача, способная поколебать терпение Бога!

— Нет же, Бероальд, это легко и просто, если ты Всемогущ и Всеведущ.

— Как сказал поэт, — промолвил герцог, и глаза его сузились, словно у человека, что вглядывается при встречном ветре в дальние горизонты, —

Когда стремится ввысь душа, отбросив гнет,
Пред ней медлителен падучих звезд полет[226].

— Что же насчет Времени? — спросила герцогиня.

— Это просто, — сказал Барганакс. — Свое время есть в каждом отдельном мире — назовите его землей, небесами, чем угодно, — который Он создает.

Герцогиня задумалась.

— А сам Он, вы полагаете, живет при этом не в той жалкой и приземленной последовательности событий, которую мы зовем Временем, но в некоем более возвышенном Времени, называемом нами Вечностью? Должно быть, так и есть, — проговорила она, откидываясь на спинку трона и также будто всматриваясь в незримые дали. — И миры эти, вероятно, остаются полноценны и реальны, если того хочет Бог, а когда Он забывает о них или разрушает их, они возвращаются к тому более неопределенному состоянию, которое мы называем возможностью… Веселый жар твоих ланит ее таинственно хранит[227].

— И все эти мыслимые миры, — сказал король, — в бесконечном множестве, в бесконечном разнообразии подобны один другому в том, что Он может выбрать любой из них.

— Только, будучи Богом, — сказала герцогиня, — он выберет Лучший.

226 Дж. Донн, «Странствия души», XVIII.
227 Т. Кэрью, «Не спрашивай…» (пер. М. Бородицкой).

— Какой же будет лучшим из бесконечного числа совершенных миров, каждый из которых уникален и совершенен по-своему?

— И несовершенных миров также бесконечное число?

— А как иначе? Так же как бесконечно разнообразны и неисчислимы небеса. Так же как бесконечно разнообразны и неисчислимы преисподние.

— Но Бог, — промолвила Амалия, — никогда не выберет для жизни одну из преисподних.

— Он Бог, не забывайте, — сказал герцог. — И он может покинуть ее, когда Ему вздумается.

Наместник резко засмеялся.

— Не стану говорить за Бога. Но готов прозакладывать свою душу, не родился еще человек, который захотел бы оказаться в шкуре осужденного умереть какой-нибудь лютой смертью или (да простят мне присутствующие) быть освежеванным живьем; а тут его разденут догола, привяжут как следует к доске перед палачом, который вонзит в него свой тесак, разрежет, распорет, вывернет наизнанку его кишки, как вы разворачиваете одеяло.

Зенианта прикусила костяшки пальцев:

— Нет, нет.

Король заговорил, и слова его прозвучали подобно наступающей темноте:

— Поскольку могущество Его бесконечно, знание Его безгранично.

— С меня довольно знания того, как это происходит при тебе, — сказал Парри. — Или как это делаешь ты сам. Но не как это делают с тобой.

— И это тоже, — произнес король так, будто непроглядная тьма обернулась речью.

Взгляд Фьоринды был подобен взгляду орлицы.

— Да ну, — сказал наместник. — По мне это сущее богохульство.

Фьоринда, наблюдавшая за ним с непроницаемым видом, провела языком по губам, изогнувшимся в странной затаенной улыбке.

— Ладно, мы завели неприятный разговор, — сказал король. — Но я не стану лишать Бога трона и скипетра Его всеведения, как и ограничивать его в выборе, нет, даже если Ему предстоит обратиться в маленькую вонючую кучку навоза, что лежит в грязном углу. На миг. Чтобы узнать.

Но герцогиня Амалия содрогнулась.

— Только не это… не те мерзости, о которых говорил этот человек. Бог добр, он не станет мириться со злом.

— Ах, госпожа моя, — промолвил король, — здесь, где это низшее Время определяет каждый миг, где невозможно повернуть вспять, здесь и впрямь существует добро и зло. Однако sub specie æternitatis все СУЩЕЕ есть добро. Ибо как Бог, обладая высочайшей и безраздельной властью приходить и уходить в любое из бесконечных мгновений вечности, может быть подвержен влиянию времени, переменам, смерти? Это Его забавы, а вовсе не условия Его существования.

Наступило молчание. Потом герцог заговорил, задумчиво отделяя серебряной вилкой мясо барабульки от костей:

— Тогда необходимо (во всяком случае, так представляется с позиций моей неопытности и юности), чтобы смерть и всеобщее уничтожение, эта квадратура круга, этот квадратный корень из минус единицы, были реальны, подобно действительному числу. Все существующие предметы, сам дух их (если таковой существует), должны за пределами начала и конца времен обращаться в небытие, и тогда тот Единый, тот единственный Сущий, окажется вычеркнут, стерт из памяти, став vox inanis[228], Ничем.

Глотнув вина, наместник намочил себе бороду и щеку, чересчур резко опорожнив кубок. Лорд Иеронимий, будто вдруг постарев, с приоткрытым ртом уставился запавшими глазами в пустоту, дрожащими пальцами перебирая драгоценный орден гиппогрифа, что висел у него на шее. Зенианта, как и адмирал, также смотрела в пространство, но в глазах ее не было того ужаса, лишь красота ее юности, казалось, распустилась еще ярче, коренясь в строгих и благозвучных гармониях дубового дерева, когда шелест его листьев сливается с сиянием тихого ноябрьского заката, что напоминает о лете и предвещает весну. Антея что-то зашептала Кампаспе; взгляды нимф метались туда и обратно между лицами герцогини и ее фрейлины.

Наконец, герцогиня заговорила, обратив взор на леди Фьоринду:

— Но, мне кажется, в самом сердце всего живет нечто, что продолжит существовать, даже когда эта абсолютная смерть лишит его всякого бытия. Есть то, что создало смерть и может ее уничтожить. И это нечто, как я думаю, и есть любовь. Нет, я вообще сомневаюсь, что есть в конечном счете что-либо, помимо любви и тех, кто любит, и Бог есть Любовь, что объединяет их.

228 Vox inanis (лат.) — «пустой звук».

Воцарилась тишина. И в тишине этой герцог услышал, как король, его отец, промолвил:

— Итак? Каким же будет наш мир, Амалия?

— Ответьте мне сперва, — сказала та, — почему Бог предпочитает этот мир, а не тот? Из всего их бесконечного множества?

Король ответил:

— Он создан для Нее.

— Так это Ее выбор?

— Почему бы нам так не считать?

— Но как Ей выбрать?

— Как может Она выбрать неверно? Ведь любой Ее выбор, по самой природе Ее, прекрасен.

— Но если Он способен так легко и просто творить и уничтожать, разве не может он сотворить или уничтожить Ее?

— Следует полагать, может, — сказал король. — Но только ценой сотворения и уничтожения Себя самого.

— Господин канцлер улыбается.

— Я лишь хочу отметить, — произнес канцлер, — как его высочество, несмотря на все многочисленные доводы, которые он привел в защиту своих принципов, в конце концов вынужден сказать нет самому Всевышнему.

— Это Он сам сказал, не я. Я бы сказал, это Нет лежит в самой Его природе, — промолвил король. — Быть одиноким и неделимым Единым, хоть это и возможно, не есть то, о чем стал бы мечтать Бог; подобная скудость и скаредность невыносима уму и доступна только лишенным крови насекомообразным существам, столь же отличным от людей по природе, сколь люди от Богов.

— Как сказал философ, — добавил Барганакс, — Infinitus Amor potestate infinitâ Pulchritudinem infinitam in infinitâ perfectione creatur et conservatur — Бесконечная и Всемогущая Любовь создает и сберегает Бесконечную и Совершенную Красоту. Как видите, я прилежно внимал доктору Вандермасту.

Несравненные уста Фьоринды вновь обрели холодные очертания губ сфинкса, когда она произнесла голосом, в котором пчелиное жало разило беззащитный разум сквозь мед:

— Но кто из нас может знать, не просто ли это напыщенные слова?

— Действительно, кто из нас, дорогая Воительница? — сказал король.

— И какое нам дело?

При легком, будто перышко, и трепетном, будто крылышко пеночки, прикосновении руки Кампаспы к ее руке, Антея повернулась к ней; ее свирепые темно-желтые глаза впились в черные и похожие на бусинки, как у водяной крысы, обменявшись с нею удивительным, зачарованно-терпеливым взглядом. И взгляд этот был весьма необычен для человеческих глаз; скорее он подходил глазам звериным, в которых таились и играли в прятки бездонные глубины чувств, проистекавших, как мог бы догадаться ученый, от близкого слияния с божеством.

Амалия заговорила:

— Я собиралась ответить, господин мой (однако потом передумала): «Ах, какой же еще мир, если не этот? Только яснее, надежнее. Чтобы были розы, но не шипы. Чтобы изменяться, но не стареть. Чтобы остались метаморфозы, но не смерть».

— Мир без горностаев и ласок? — воскликнула Антея, смеясь смехом дикой кошки, весьма странным и необычным.

— В подобном мире, — произнес адмирал, — я вижу некую ὕβρις, некую самонадеянность, способную в некотором роде вызвать ревность Богов.

— По мне сами эти разговоры нечестивы, — сказал багровый от поглощенных им яств наместник и осушил наполненный до краев кубок мускатного.

— Нет, господин адмирал, — промолвил канцлер. — Вам не следует вот так, безо всяких оснований, воображать, будто Боги подвержены тем низменным страстям, что так не красят человечество. Однако же, в подобном лишенном защиты мире я не вижу логики.

— Пруд без ряби? — сказала Кампаспа. — Небо, в котором никогда не появится ястреб: День, но не ночь?

Антея вновь сверкнула рысьими зубами.

— Только потому, что Она стала добродетельной, теперь нельзя будет и крови напиться?

Герцог поджал губы.

— Я могла бы научить горностая с лаской быть добрыми, — сказала герцогиня очень тихо, медленно вычерчивая своим веером на столе какие-то узоры. — Но я передумала.

Король ждал.

— Что же тогда, madonna mia? — спросил он, положив на стол руку ладонью вверх.

В мерцании колец рука герцогини приблизилась к его руке, легонько коснулась средним пальцем центра его открытой ладони и ускользнула прежде, чем он мог ее схватить.

— Тут мне вспомнились недавние слова вашего высочества о том, что счастье в незнании, — сказала она. — Да, даже будь мы и в самом деле Богом и Богиней; в этом весь интерес, вся суть. Потому я выбираю этот мир, дорогой мой повелитель, и выбираю его не выхолощенным, но во всей его полноте. Для чего еще нужен каплун, если не в пищу? А мир не съешь, в нем нужно жить. И любить тоже в нем. А время и перемены способны, подобно светильнику луны, все сделать прекрасным и достойным любви. Помимо этого, думаю, лучше не знать ничего.

Пока она говорила, взор Барганакса, обратившийся к небесам, остановился на сиявшей сапфировым сиянием Веге, что светила сквозь виноградные листья над его головой, будто незамутненное и негаснущее око, озирающее в обыденном, рутинном и земном свете свечей все то, что они освещали, и, хоть и с большего расстояния и не столь благосклонными лучами, но все же лаская все вокруг, предвещая лишь хорошее. Под свет этой звезды внимал он словам своей матери, ее сладкозвучному голосу, бесшумному полету ее мыслей, радужной сети воспоминаний, и таившемуся за всем этим неслышному смеху, исполненному изящества и красоты, будто ночная роса. А потом его взгляд, вернувшись на землю, встретился с взглядом Темной Леди. В нем звездами сиял свет еще более яркий, чем у настоящей звезды, зеленее огонька светлячка, обращавшийся к нему голосом, от которого по спине ползли мурашки. Она будто говорила: Да, друг Мой. Это Мои слова, Мои слова к Тебе, также как и Ее к Нему.

— Время. И перемены. А последняя перемена, — промолвил король, — по вашим же словам, мадонна: «последнее горе, Смерть».

Минуту герцогиня молчала. Затем она сказала:

— Я бы хотела напомнить вам, дорогой мой повелитель, о трагической истории Вёльсунгов и Нифлунгов, когда после битвы в палате конунга Атли они напали на Хёгни и вырезали у него сердце, а тот смеялся, терпя эту муку. И они показали его Гуннару, его брату, а тот сказал: «Вот вижу я сердце Хёгни хороброго, несхожее с сердцем Хьялли робкого, ибо слабо оно трепещет

и даже меньше, чем у него в груди[229]». Мы не знаем Смерти, но не будь этого незнания, смотреть ей в глаза, как это делал Хёгни, и как потом Гуннар, когда его бросили в загон со змеями… не будь этого, разве могли бы существовать в мире храбрость и отвага? Нет, пусть будет этот мир, и Смерть тоже. Ибо мы не согласимся на мир, в котором нет места доблести.

XVI. Рыбный ужин: Икра

Стало быть, — сказал король, — мы выбираем этот мир? Что ж, ответ на свой вопрос я получил. Но игра закончилась, так и не начавшись, так как этот мир уже создан для нас.

— Если уж мы собрались играть в игры, то пускай выбирает она, — сказала Амалия, глядя на Фьоринду. — Она чересчур молчалива. Пускай выскажется и примет решение.

— Лучше не надо, — сказал он. — Она сегодня в капризном расположении духа. Мир, избранный ею такой, какая она сейчас, окажется миром странным и несчастливым.

— Но мне интересно, — сказала герцогиня. — Нет уж, сегодня я выбираю ее мир, каким бы он ни был. Давайте же, вы обещали.

— Итак? — промолвил король.

В глазах Фьоринды застыла улыбка — безжалостная и исполненная олимпийского спокойствия улыбка Той, что явилась из золотого античного мира.

— Выбор нетруден, — сказала она. — Я выбираю То, что есть.

Диссонанс прозвучал меж ее словами, столь простыми и обыденными, и тем, как они были произнесены: будто в сильнейшем порыве страсти, перед которой, единожды дав ей волю, невозможно устоять.

Король хранил молчание. Герцогиня повернулась к нему, сидевшему слева от нее столь близко, что их рукава соприкасались, но выглядевшему будто далекая сторожевая башня, черневшая среди холмов; так Отец Наш Зевс взирал с вершины Иды.

— То, что есть, — произнес он наконец. — Из уст вашей милости даже

229 «Сага о Вёльсунгах», XXXIX (пер. Б. Ярхо).

в таких простых словах ищешь некие значения, словно цвета в морских брызгах в бурю. Вы также имеете в виду всего лишь этот самый мир?

— Я говорю, — ответила она, — со всей искренностью и прямотой. Я бы хотела, чтобы ваше высочество так это и воспринимали.

Кампаспа с Антеей переглянулись и тихонько захихикали, прикрываясь веерами.

— То, что есть, да притом сказанное со всей искренностью и прямотой… что бы это могло быть, — промолвил король, — как не первоосновные Двое? Они, а также святые Боги и Богини, что обитают в необъятных небесах, те, чья реальность, быть может, и не столь высокого порядка, как у Него и у Нее, но все же куда более реальные, чем такие эфемеры как люди? Стало быть, это и есть ваш выбор, золотая обитель Творца? Если так, то опишите мне его. Дайте мне увидеть это.

Подобно кошке леди потерлась щекой о воротник. Заглянув в ее глаза сейчас, можно было увидеть нечто странное, будто танцевавшее некий своенравный танец у края пропасти.

— Нет. Нет, — сказала она. — Подобно ее светлости я также передумала. Обращу взор не столь высоко.

— Что ж, — произнесла она через минуту. — Я придумала мир. Создаст ли ваше высочество его для меня, так, как я укажу?

Замирающий голос ее с его томными, мелодичными и диссонирующими нотками, в самой своей медлительности содержал угрозу, необузданную страсть, неукротимую, как ее характер, и бушующую, как ее могущество.

Мгновение король пристально всматривался в нее в тишине, потом сказал:

— Я предприму попытку.

Фьоринда подняла голову, будто вбирающая носом воздух пантера.

— Хорошо, — сказала она, и ее глаза с короля обратились на герцога Барганакса, который уставился на нее, будто окаменевший. — И прежде, чем мы приступим к нашему сегодняшнему развлечению по созданию миров, — промолвила она, — я, как несравненная особа, которой следует всячески угождать, изложу вам условия, на которых вы будете наняты в качестве главного строителя моих миров. Поскольку я есть Она, меня не устроит показной блеск.

Вино в нашей круговой чаше будет из определенной бочки и определенного урожая. Даже сапожники, что починяют мне обувь, будут самыми сообразительными, честными и миловидными во всем мире, да к тому же лучшими в своем ремесле. Одного мира мне будет недостаточно. Даже одного мира на человеческую жизнь. Нет, даже одного мира в день. Бесконечная череда теряющихся в забвении эпох будет уходить на создание крошки, которую я смахну с платья, вставая из-за стола. Поколения людей, столь же несметные, как поколения поденок за сотню лет, будут жить и умирать с одной лишь целью: развлекать меня в течение пяти минут, если я захочу расплести перед зеркалом свои косы. Неторопливые метаморфозы вековых камней в древней земле будут происходить только ради создания мягкой подушки дерна на случай, если мне вздумается однажды прилечь отдохнуть после прогулки по горам. Миллионы миллионов листьев на миллионах деревьев будут давать почки, распускаться, менять цвет и опадать лишь для того, чтобы каким-нибудь солнечным ноябрьским утром из моего окна открылся красивый вид. Ради меня не только Троя, да и не только этот мир, но и вся необъятная вселенная, все то, что лишь грядет, все это огромное множество вещей, будет отброшено, уничтожено и забыто.

Взиравшая на короля Амалия прочла в его взгляде, как если бы это произнесли его уста: Да, мадонна. Эти слова — твои слова, Твои слова ко Мне, также как и Ее к Нему.

Но герцог, что был сейчас бледнее выгоревшей на солнце летней травы, поднялся, отодвинул стул и прислонился к стволу земляничного дерева чуть позади своего отца, короля, и своей матери. Отсюда, из-за пределов освещенного пространства, он мог из-за их плеч краем глаза смотреть на нее: на эти несравненные уста, их неисцелимые чары — кому дано разгадать их тайну? — на осиянную луной величавую бледность ее щек и лба, на весь тот вызов, пыл, притягательность и своеволие, что тигриным молоком, сплетением черных водяных змей представали перед его взором, когда она поворачивала голову, обнаженные и легко ощутимые, в обводах ее изящной шеи, в витках блестящих черных кос; наконец, на (непостижимым образом объединявшие все это вместе) ее глаза, что время от времени встречались с его пылающим взором, неотрывно устремленным на нее из полумрака.

— Продолжайте, — сказал король Фьоринде, не отводя глаз от Амалии.

— Все это верно и справедливо, и является абсолютным условием существования всех мыслимых миров. Давайте перейдем к деталям.

— Я желаю, — отозвалась леди, чтобы вы здесь и сейчас сотворили мир, о котором никто доселе и не помышлял. И первый принцип, лежащий в его основе, — то, что мир этот будет совершенен и самодостаточен.

— Хорошо, — сказал король. — Из чего же мы его создадим?

— Вы создадите его, — ответила она, — из бесконечностей: из Времени без начала и без конца и из Пространства без центра и без границ.

— Какой формы он будет?

— О, я хочу, чтобы он имел бесконечное число форм. Но все они должны подчиняться правилам.

— Но как может он быть совершенным, если вы хотите, чтобы он состоял из всех этих бесконечностей? Совершенство подразумевает предел, границы.

— На это ответить легко. Он будет из Времени и во Времени, но Время не будет в нем заключено. Равно из Пространства и в Пространстве, но не заключать Пространство в себе.

— То есть эти бесконечности не являются частью вашего мира, — произнес король, — но он является их частью; так этот хлеб был выпечен из пшеничной муки, но было и останется еще довольно пшеничной муки помимо той, что входит в состав этого хлеба? — он обмакнул кусочек хлеба в подливку и дал его своему огромному псу, что сидел подле него. — Что ж, пока все понятно, — сказал он. — Только это пока что лишь тень мира, лишь пустое пространство и время.

Она промолвила:

— Я желаю, чтобы ваше высочество наполнили его для меня.

— И чем же его наполнить?

— О, бесконечным множеством мелких сущностей, если вам будет угодно, столь крохотных, что тысяча может танцевать за раз на кончике иглы. Но и тогда там, где они будут танцевать, между ними останется еще достаточно места для другой тысячи.

— Еще тысячи? И не более того?

— О, если хотите, для бесконечного множества тысяч, покуда даже вы, что неутомимы, не утомитесь. Если угодно, громоздите бесконечности среди бесконечностей, пока от этого не помутится рассудок.

— Принято, — проговорил он. — Однако, несмотря на всю эту многочисленность, мир остается унылым и однообразным. Что дальше?

— Дальше? Со всем смирением, разве не вам, господин, надлежит теперь выдумывать и продолжать творить? Разве не потребовала я от мира бесконечного многообразия форм? Должна ли я наставлять вас, великого Творца, как вам заниматься своим ремеслом?

— Должны. Госпожа моя, что все это такое, как не одна из ваших внезапных прихотей? Что ж, тогда я прочту за вас ваши мысли. Вы хотите, чтобы я дал им бесконечное множество танцев, бесконечное множество па и фигур. Смотрите же; хотя каждый танцор подобен любому другому, фигуры или характер их танца бесконечно разнятся. Из паваны, посмотрите, я сотворю вам золото, из коранто — воздух, из бурре — гранит; сера, ртуть, свинец, медь, сурьма — все это получается из какой-нибудь отдельной фигуры этого вселенского танца, как и сами стихии огня и воды, и все минералы, образующие собой тело земли, вплоть до сотворенного мною из аллеманды железа, что будет предвечной и бездумной душой этого мира. Итак? — он посмотрел на нее пронизывающим взглядом.

Высокомерно улыбаясь, чуть поведя головой вверх и назад, она отвечала ему:

— Признаю, господин, пока что все не так уж плохо.

— Пф! Это же мертвый мир, — воскликнул он. — Мертвая душа.

— Нет, тогда пускай он кишит жизнью, — сказала она, — раз уж это необходимо. И кишит кишмя.

— А что же есть жизнь? — спросила герцогиня.

Привередливо и утонченно склонившись над тарелкой, Фьоринда выбрала и подцепила вилкой одно зернышко икры.

— В таком мире, — промолвила она, давая той рассмотреть поближе нанизанную на зубец вилки крохотную икринку, — чем еще хотели бы ваша светлость оказаться, как не подобной безделицей?

— Мир, похожий на рыбу! — воскликнул король.

— Отнюдь, просто в этой икринке заключается заложенное Богом совершенство и точность, — сказала Фьоринда. — Жизнь! Это лишь еще один танец, только с более сложными фигурами, исполненный все теми же вашими простейшими сущностями. Лишь подберите правильно числа, подгадайте, чтобы их па, их ужимки и кривляния, их кружения, курбеты и каприоли

приходились в такт, — и готово. Из мертвой материи получится материя живая, пусть даже это будет такой никчемный комочек кислого студня как этот. А для пущего веселья пускай она восстанет из моря, этакая новоявленная Анадиомена, как раз под стать тому миру, в котором окажется.

Руки короля, за исполненной ловкости, искусности и могущества игрою которых было так приятно наблюдать, делали что-то над столом. Потом он медленно развел их в стороны. Неторопливо, по мере их движения, меж ними начал вырастать сотворенный им мир — нечто воздушное, нереальное, заключенное в сферу и мерцающее мириадами цветов, если смотреть на него краем глаза; если же обратить на него прямой взгляд, все становилось неясным, неверным, неразличимым. Внутри же одна бездна зияла за другой, и где-то в самой глубине словно беспрестанно бурлили, сталкиваясь и разбегаясь снова, тьма и свет.

— Вот, я дал ему жизнь, как вы велели. Только жизнь. Но не живых существ.

Некоторое время молча разглядывавшая мир Фьоринда мягко кивнула в знак одобрения. Все остальные уставились на него взорами ничего не выражавшими, невидящими, будто они внезапно перенеслись с яркого света в пустоту или во тьму; все, кроме одной лишь герцогини. Ее глаза, взиравшие на эту забаву, расширились в простодушном изумлении, словно у ребенка.

— Итак? — обратился король к Фьоринде. — Ваша милость всем довольны?

— Как ни прискорбно, ваши осведомители сослужили вашему высочеству неважную службу, если вы полагаете, что я когда-либо буду довольна всем. В целом то, что вы показали мне, и впрямь является жизнью, но этого мало.

Герцогиня пристально посмотрела на мир.

— Вы полагаете, что дали этому миру жизнь? — очень тихо произнесла она. — Что есть жизнь?

— Это, — отвечал он, — как вы можете заметить, в этом придуманном нами мире, есть вещь, состоящая лишь из трех ингредиентов: во-первых, способность ощущать, чувствовать, отзываться на каждое прикосновение окружающего мира; во-вторых, расти; в-третьих, давать жизнь, порождать себе подобных.

Его взгляд, покинув ее, вернулся к Темной Леди, а потом вновь устремился на Амалию.

— Вы, — сказал он обеим, — Вы, что были со Мной от начала Моего пути, прежде чем начались Мои труды, что дальше?

Фьоринда, все еще с интересом рассматривавшая мир, издала короткий беззвучный смешок. Герцогиня же, вдруг задрожав, несмотря на теплый ночной воздух, прильнула к королю Мезенцию, будто ища тепла.

— Я желаю, — промолвила леди Фьоринда, каждым истекавшим медом словом будто целуя или изысканно лаская некую вновь пришедшую ей мысль, — я желаю, чтобы вы теперь так все устроили, что даже из такой презренной слизи как эта родились мириады живых существ, каждое своего рода: крохотные скользкие полипы в теплых морях, маленькие актинии, медузы, черви, слизни, рачки, водяные блохи, грибы-поганки, трава и все растения и деревья, какие только бывают. Пройдитесь по всем их видам от самого низшего: от рыб к птицам, зверям и, наконец, к человеку.

— К человеку? К таким же мужчинам и женщинам, как и мы? — спросила герцогиня.

Фьоринда, будто не заметив вопроса, продолжала, но уже медленнее.

— Я желаю, — сказала она, — чтобы жизнь их, жизнь каждого существа, что обитает в этом нашем новом мире, заключалась лишь в бытности частью вод, кружащихся, будто в водовороте, где ничто и никогда не создается и не уничтожается, но беспрестанно преобразуется; живая материя постоянно вовлекается в этот вихрь, обретает некое подобие жизни, а потом вновь становится материей мертвой, за отведенный ей отрезок времени отдав все свои силы и цели этому общему колодцу Бытия. Так в этом — моем — мире все и будет проистекать, само собой воспроизводясь и воссоздаваясь из одного-единственного первоисточника: этого крохотного склизкого комка студня.

— Это мир, — произнес король, — обладающий бесконечной сложностью.

— Да, но вдобавок к этому я дам ему простые законы, по которым он должен существовать.

— Что же это за законы?

— Во-первых (дабы привнести порядок в мой совершенный мир, сделав его и в самом деле совершенным) такой: каждый последующий миг его

существования будет являться суммой и совокупностью всего моего мира, и все, что в нем есть, будет необходимо и достаточно определяться тем, что было мигом ранее.

— Хаос на вид, но в основе своей бесконечно упорядоченный.

— А порядок этот, — промолвила леди, — есть неумолимая сила судьбы. Никаких случайностей. Даже длань Бога не должна вмешиваться в жизнь моего мира. Как распускается и раскрывает свои лепестки розовый бутон, так будет разворачиваться и этот процесс, с той же неизбежностью, как один да один всегда равняется двум, а один да два — трем, и так до бесконечности, ad infinitum. Основополагающие формы постоянны, неизменны, неизменяемы; все же остальное меняется столь же часто, как вертится на ветру флюгер. Мир этот прямо создан для того, чтобы его смог постичь законник, правда? — она посмотрела на лорда Бероальда, который в ответ лишь улыбнулся своей недоверчивой улыбкой.

— Но зато он не создан, — сказал лорд адмирал, — для существ, что в нем живут. Где же свобода, если все предопределено, как в часовом механизме.

С жестоким выражением на устах леди элегантно проглотила маленькую икринку. Затем она обратила на короля глаза, вдруг словно подернувшиеся пленкой, как если бы это были глаза ядовитой змеи.

— Думаю, — сказала она, — я слегка подразню их своими законами. Им и в самом деле будет казаться, будто они имеют свободу; мы же, наблюдающие за этим, знаем, что ничего подобного нет и в помине. А еще им будет казаться, будто они живут; но даже если и так, эта жизнь не будет принадлежать им. И еще они будут умирать. Всякий, кто знает в моем мире жизнь, познает и смерть. Впрочем, крохотные сущности умирать не будут. А вот живые существа — вполне. Умирать и рассыпаться, как детские замки на песке, когда их смывает волна, хотя сами песчинки остаются. Разве это не справедливый и равноценный выбор: быть крошечным бесчувственным комком студня или мертвой материи и существовать вечно, или же быть птицей, рыбой, розой, женщиной, но с условием увянуть, постареть и, в конце концов, обратиться в разлагающийся труп?

— Будут ли это такие же мужчины и женщины, как и мы? — воскликнула герцогиня. — О, вы ответили на мой вопрос! Или же, — прошептала она, — это Я сама ответила Себе?

И вновь король с интересом перевел взгляд с Фьоринды на свою Амалию. Та, будто зачарованная, уставилась в кишащие движением глубины сферы, что, неподвижная сама по себе, если не считать едва заметных ритмичных расширений и сокращений ее просвечивающей оболочки, тяжелым пузырем, диаметром, наверное, в фут, покоилась на столе между ней и королем. Воцарилась тишина; перед глазами пирующих миниатюрные эпохи сменяли друг друга в своей веренице смерти и рождения в пределах этого рукотворного космоса.

Вдруг Фьоринда заговорила.

— Как и мы? Сомневаюсь (да простит меня ваша светлость). Как подобное возможно, в таком-то мире? Разве есть в нем разум?

Прекраснее серебряного лимба холодной луны был изгиб руки этой леди, когда, подперев ею подбородок, она задумчиво наклонилась над столом.

— Если только, — добавила она, и неспешная музыка ее голоса зазвучала новыми глубинами. — Если только Мы Сами не войдем в него. И узнаем. Спустимся…

— Прочувствуем его изнутри, — подхватил король. — На миг. Почему бы и нет? Чтобы узнать.

Герцогиня задрожала. Казалось, в этой тишине она позволила его разуму и мысли столь глубоко проникнуть в ее собственные, что она ощутила где-то внутри, не нуждаясь в словах, то, что было на уме у него; ощутила, как он, словно проснувшись в незнакомой постели и вновь погружаясь в дрему, в мир сновидений, видит — необъяснимо ясно, как во сне — луг, посеревший от инея, что сверкал множеством цветов, когда солнце зажигало и гасило звезды в его крохотных кристаллах. В почти безветренном воздухе медленно ронял свою золотую листву сикомор. Он сбрасывал листья по два или по три за раз, полупрозрачные и золотившиеся в лучах восходящего солнца, а у подножия сливавшиеся в золотой ковер более темного оттенка. И со свойственной сну неизбежностью, что связывает воедино, как само собой разумеющееся, вещи, в реальной жизни никак не связанные и не имеющие друг к другу отношения, он видел в падении каждого отдельного листка, в этом изобильном и прекрасном дожде Данаи[230], как уходит нечто, принадлежавшее ему. Его старинный королевский дворец и престол в двурогом Риалмаре, его флотилии, армии,

230 Даная — в др. греч. мифологии дочь аргосского царя Акрисия, заключенная им в медной башне; к ней виде золотого дождя проник Зевс, от которого она родила Персея.

благородные вассалы, принцы, советники и лорды Трех Королевств; его королевы, возлюбленные, дети, живые или мертвые, придворные и прислуга, как вдали, так и здесь, поблизости; все его бескрайние владения, объединенные и сплоченные под его началом: Мезрия, Ререк и Фингисволд; прекрасный Мемизон, чье благоухание наполняло его ноздри, трава садов которого мягко расстилалась под его ногами; сама Амалия, сидевшая, дышавшая подле него; вся его жизнь, весь мир, в котором он жил, незаметно осыпался оторвавшимися от ветвей золотыми листьями, что кружились в холодном неподвижном воздухе в ярких лучах ясного солнца плывущими клочками воспоминаний, каждое из которых, как ни старался ум ухватить его, рассеивалось и терялось в золотом ковре у подножия дерева.

Веки Фьоринды дрогнули.

— Он движется, — вдруг проговорила она. — Как интересно. Он все время движется. Все время изменяется. Но, несмотря на все изменения, никогда не становится лучше. Как не становится и хуже.

Она замолкла. Вид ее лица, задумчивого и спокойного, даровал ту же волнующую радость, как вид звезд.

— Также интересно, — заговорила она снова, — как некое совершенство рождается и крепнет в нем, что по сути есть обыкновенный заводной механизм.

Старый чешуйчатый знакомец весь подобрался в уголках ее рта, как ящерица, заметившая муху.

— Интересно созерцать, будто в кривом зеркале, это совершенство, которому недостает лишь мелочи для того, чтобы стать шедевром, и мелочь эта…

— Чтобы все это было на самом деле, — произнес Барганакс из густой тени.

Будто волна морозного воздуха прокатилась по саду, исчезнув столь же внезапно, как и появилась, в наполненной ароматом цветов темноте за пределами уютно освещенного мягким сиянием свечей пространства.

Барганакс и Фьоринда смотрели, как рука герцогини Амалии сжалась на руке короля, лежавшей на столе, смотрели, как та подобралась, будто свернувшаяся кольцами змея, прекрасная, со спокойным челом и спокойными глазами — снизошедшая к ним Королева, бесстрашно застывшая на краю пропасти судьбы.

— Игра оказалась слишком серьезной, — прошептала она на ухо королю. — Подождите меня. Вы и Я, мы с вами попались в ловушку. Мы уже в нем.

XVII. В каком же мраке[231]

БЫЛО девятнадцатое октября все того же тысяча девятьсот двадцать третьего года. Безветренная ночь опустилась на Нижний Уостдейл пеленой проливного дождя; дождь лил, не переставая, в раньше времени наступившей темноте из тучи, что заполонила собою все небо, не оставив ни единого просвета. Не было слышно ничего кроме шума дождя, не видно ничего, кроме белых как мел нематериальных стволов и крон, неясно вырисовывавшихся там, где свет фар падал на каменные дубы к западу от дома, — ничего, кроме них, дождя, ставшего видимым благодаря их холодным сдвоенным лучам, да еще более слабых и отдаленных отблесков, говоривших о том, что на дороге у въездных ворот ожидала еще одна машина.

Джим Скарнсайд нажал на кнопку звонка и стал ждать. Нажал опять, опять подождал, затем вдавил ее большим пальцем изо всей силы и держал секунд тридцать, прислушиваясь к пронзительному металлическому жужжанию где-то далеко внутри дома. Потом на крыльце зажглись лампы, в холле зазвучали шаги, стало слышно, как поворачивается ключ и отодвигаются засовы, дверь приотворилась на цепочке, и из-за нее показалось лицо старой Рут. Тихо и невнятно извинившись, она закрыла дверь, чтобы отпереть цепочку, а потом отворила ее настежь. Мгновение они молчали: она — стоя в дверном проеме, Джим — напротив нее, на пороге. Ее лицо было мертвенно бледно, глаза тусклы и опухли.

— Хозяин дома? — спросил он. Он заметил, на ее щеках следы слез.

— Мы ждем его не раньше завтрашнего.

— Вздор. Что тогда делает у ворот машина?

Она беспомощно посмотрела на машину Джима, потом на свои теребившие передник руки с распухшими суставами и сморщенной кожей.

— У ворот. На дороге. Это его машина. Она пуста, и фары горят.

Она поднесла руки ко рту.

231 Дж. Уэбстер, «Герцогиня Мальфи», акт V, с. 5.

— О, только не это. Пожалуйста, Боже, только не это. Хотя… — выговорила она, всхлипнув.

— Ладно, — сказал Джим. — Наверное, ему удалось добраться быстрее, чем он сам ожидал.

Он поднял воротник своего макинтоша и начал было сбегать по ступенькам. На первой ступеньке он обернулся.

— В доме есть кто-нибудь из мужчин?

Она покачала головой:

— Никого, только я да девушки. Мы запирали дом на зиму, а тут мистер Эдвард возвращается вот так неожиданно (вы же знаете, как у него бывает, сэр) и начинает собирать вещи и не знаю уж, что еще; а потом, во вторник это было… эта телеграмма… — она поперхнулась. — И вот. Вот тогда он уехал, — произнесла она. — Нет, мужчин в доме нет. Был только старый Дэвид, но он забрал Дэвида, чтоб тот дожидался его в Дувре и присматривал за машиной, пока хозяин будет в… — она осеклась. — О, мистер Джеймс, сэр. Ее милость… эта телеграмма… это не может быть на самом деле, сэр… она не могла погибнуть… Господь не допустил бы этого. Да еще с мисс Дженет. Господь не мог…

— Послушайте, Рут, — заговорил он очень теплым, но твердым тоном, беря ее за руки, — нам с вами придется об этом позаботиться… плакать ни к чему. Комната хозяина готова? Огонь? Он захочет поужинать. Займитесь этим, а я вернусь через пару минут.

— Да, мистер Джеймс, сэр. Хорошо, сэр, — сказала она, проглотив слезы. — Хорошо.

Обе ее руки вцепились в правую кисть Джима. Вдруг она сжала его руку еще крепче. Он обернулся, глядя туда, куда глядела она. Их руки разомкнулись. На крыльце подле них стоял Лессингем в своем дорожном костюме и с непокрытой головой, судя по виду промокший под дождем насквозь.

— Джим. Хорошо. Подожди, пока я загоню машину.

Заметив нотку твердости в голосе Лессингема, Джим, несмотря на неверный свет, обратил внимание и на нечто, некий отсвет, некую напряженность мускулов или черт казавшегося отлитым из стали лица Лессингема, подавившее в нем порыв предложить пойти с ним и заставившее его послушно остаться стоять на крыльце. Через несколько минут они увидели, как огни шевельнулись и поползли по подъездной аллее, потом вдруг ослепительно

вспыхнули прямо им в лицо, когда машина, огибая земляничные деревья, миновала последний поворот, и скрылись из виду за домом, направляясь к гаражу.

— Вы останетесь на ужин, сэр?

Джим пожал плечами:

— Не знаю.

— Лучше останьтесь, сэр. Не годится мистеру Эдварду слишком долго быть одному, сэр. Только не сейчас.

— Посмотрим.

Шаги возвращавшегося Лессингема, упругие и твердые, захрустели по гравию.

— Загони и свою машину, если захочешь. Рут сейчас сделает нам что-нибудь поесть. Я бы и рад приютить тебя на ночь, но, может, я и сам ночевать не останусь.

Джим сдержал себя.

— Хорошо, — сказал он, садясь в свою машину.

— Ну что, Рут, — проговорил Лессингем. Их взгляды на мгновение встретились. — Кажется, я промок до нитки, — он посмотрел на свое мокрое пальто, брюки и отсыревшие и вымазанные в грязи ботинки, как будто только сейчас это заметил.

— Багаж, сэр? Если вы дадите мне ключи, Салли отнесет ваши вещи в гардеробную и приготовит ванну, а я займусь ужином. Только вот открою ей дверь в вестибюль наверху.

— Нет. Выложите вещи в Шпалерной Комнате. Вот ключ от чемодана, — он снял его с цепочки. — Накройте на двоих.

— Будете ужинать в столовой?

— Нет. Накройте в Оружейной. И пару бутылок Лафита[232]. Осторожнее декантируйте.

— И вот, извольте, письма, сэр, — она взяла со стола в холле серебряный поднос с письмами и протянула ему. Поднос слегка подрагивал в ее руке, пока Лессингем стремительно просматривал конверты, потом взял один из них (ее взгляд также был направлен на него) и, не распечатывая, положил себе в карман.

— Подождут.

232 Лафит (Шато Лафит-Ротшильд) — французское красное вино бордоского типа.

Пожилая женщина поставила поднос обратно на стол. Мгновение она колебалась, глядя на него печальными как у собаки глазами.

— Полагаю, ничего нового, сэр? Ничего оттуда? Полагаю…

— Ничего.

— Есть ли надежда? — слова были едва слышны.

— Ничего. Я узнал… — его голос сделался твердым, — все, что следовало узнать. И хватит об этом.

Дверь в холл была распахнута настежь; оттуда лился свет, освещавший шедшему обратно Джиму ступеньки, а также тонкую завесу дождя. Он слышал мерные шаги Лессингема, расхаживавшего по не застеленному коврами полу холла, и хлюпанье воды при каждом шаге. Когда он закрывал за собой дверь, из кухни показалась Рут с подносом в руках и торопливо выставила с него на стол бокалы, сифон и необычную пурпурную бутылку бристольского стекла, которая служила графином для виски.

— Ванна будет готова через десять минут, сэр. Вам нужно съесть чего-нибудь теплого, сэр, вы так промокли.

Лессингем налил обоим. Его лицо было непроницаемо, словно исполинские скальные плиты северных утесов Миклдора, что вздымались в двух или трех милях оттуда на высоту трех тысяч футов, одинокие в непроглядной тьме, под дождем, что вне сомнения перешел уже там в мокрый снег.

Они осушили бокалы, и пустота дома сковала холодом Джима Скарнсайда, будто когтями вцепившись куда-то в низ живота.

Поначалу они ели в тишине, становившейся особенно ощутимой от звяканья ножа о вилку, тихих шагов по паркету сновавшей туда-сюда Рут, едва слышного шороха ее черного платья, неуклонного тиканья огромных итальянских часов над дверью да треска и шипения поленьев, когда дождю удавалось пробраться сквозь дымоход. Стол освещали свечи без колпачков в серебряных венецианских подсвечниках эпохи чинквеченто[233], а свечи в бра на стенах мерцали неровным светом, бросая отблески на оружие и доспехи. Вытягивались и съеживались, вздрагивали и замирали уродливые тени — тени всего того, что было развешано на стенах. Там был тупоносый басинет[234] 1400-х годов с кольчужной бармицей, итальянский армет[235] последней половины пятнадцатого века, фамильная ценность, доставшаяся Лессингему от матери

233 Чинквеченто (ит. Cinquecento) – XVI век.
234 Басинет – легкий стальной шлем с забралом.
235 Армет – закрытый рыцарский шлем XV-XVI вв.

вместе с находившимся рядом моргенштерном, прихотливо украшенным насечкой из золота и серебра, что приписывался семейным преданием принцу Пьер Луиджи, побочному сыну папы Павла III и заклятому врагу Челлини — синьору Пьерлуиджи Фарнезе[236], чей портрет кисти Тициана — в черных латах, с черной бородой, с волчьим выражением в глазах и омрачавшим чело и каждую черту лица клеймом падшего архангела — висел над камином, пугающе напоминая (как с непривычной ясностью восприятия виделось теперь Джиму) самого Лессингема. Здесь были булавы, покрытые гравировкой и позолотой боевые молоты, бердыши, десятки мечей — немецких, итальянских, французских, английских, испанских, — пистолеты, богато изукрашенные аркебузы, инкрустированный золотом и жемчугом кинжал из бурой стали (предположительно принадлежавший Франциску Первому[237]), полный комплект доспехов для человека и коня — уникальный набор, подаренный Лессингему арабским султаном где-то на Ближнем Востоке два или три года назад в память о доброй службе; а в стеклянном ящике, потемневший от времени, зазубренный и истончившийся, будто мумия, лежал викингский меч, найденный Лессингемом двенадцать лет назад тем летом, что они провели на раскопках на Алстене, у далеких норвежских берегов Халогаланда — на Аласте Торольва Квельдульвссона[238]. Найденный на том самом месте, которое по предположению экспертов являлось местом расположения старинной усадьбы в Санднесе, дома Торольва, где тот пал более десяти столетий назад, сражаясь за свою жизнь против безнадежно превосходивших его сил противника, великого конунга, до которого он чуть не добрался. Это вполне мог бы быть меч самого Торольва Квельдульвссона — датировка примерно совпадала — или одного из тех, что дрались с ним бок о бок, в то время как пылающий дом жег их сзади, а конунг Харальд Прекрасноволосый и три сотни его людей наседали на них спереди. Она любила неторопливое и солнечное арктическое лето: пребывание на свежем воздухе, далекие горы, норвежских крестьян и их образ жизни (это было так легко, при ее-то знании языка), плавание под парусом, долгие вереницы закатов и рассветов, неземное ощущение, будто часы Времени встали. Но она… Джим осушил второй бокал одним глотком; отменный кларет, пусть и казавшийся безвкусным, хотя бы не позволил сухости

236 Пьер Луиджи Фарнезе (1503—1547) — герцог Пармы и Пьяченцы; Бенвенуто Челлини (1500—1571) — итальянский скульптор, ювелир, живописец, воин и музыкант эпохи Ренессанса.
237 Франциск Первый (1494—1547) — король Франции.
238 Торольв, сын Квельдульва — персонаж исландской «Саги об Эгиле».

в его горле задушить его. Он заметил, что, хоть Лессингем и ел, бокал его остался нетронутым. Шесть недель назад они танцевали в этом холле — дюжина пар, в основном члены семьи. Это было в Бландз старинной традицией. Время так и не коснулось ее; у нее был божественный и чудесный дар оставаться молодой, не старея, но лишь становясь взрослее — чуть более зрелой и чуть более красивой. Шесть недель — что с этого теперь? Мертва. Погибла в железнодорожной катастрофе во Франции. Он посмотрел на Лессингема, который, будто не замечая его присутствия, уставился прямо перед собой взглядом, словно притупившимся и обращенным внутрь себя.

Лессингем заговорил:

— Ну что, Джим, как тебе нравится наша послевоенная политика?

— В смысле, в этой стране?

— В Европе. В мире.

— Ты про Рур? Про то, что было в утренних газетах? Мне она совсем не нравится.

— Тебя удивляет то, как развиваются события?

— Не особенно удивляет. Только печалит.

— Страх, и глупость. Два универсальных советника и провожатых человечества. В этом на самом деле и нет ничего удивительного.

— Как я помню, ты предвидел все это заранее.

— Как и ты.

— Только когда ты мне на это указал. Но вряд ли я по-настоящему поверил. Да и никто не верил тому, что ты говорил год назад, когда сотня марок стоила не больше пары пенсов.

— Что же я говорил?

— Что через двенадцать месяцев ты и шести пенсов за миллион не дал бы.

— Как оказалось, это было еще слишком оптимистично.

— Сколько же будет сейчас? Сто миллионов или около того за доллар?

— Нам с тобой следует помнить, — сказал Лессингем, — что мы родились и прожили ранние годы молодости в спокойное и мирное время, примеров которому, полагаю, и не найдется. Нас вели за руку, показывая лишь волны на поверхности великого потока событий. Мы воображали, будто война есть нечто значимое, тогда как на деле это была лишь рябь на воде. Ты же по-

мнишь, что Джеймс Брюс[239] сказал о средневековье: что ни в какую другую эпоху теория, постоянно стремясь взять под контроль практику, не была столь от нее далека; что эпоха эта, жестокая и чувственная, тем не менее, преклонялась перед смирением и аскетизмом, и не было никогда ни более чистого идеала в любви, ни более вопиющего распутства в жизни. Все это неправда. Описание верно, но оно подходит ко всей человеческой истории, не только к какой-то определенной эпохе. Так и с этими несчастливыми пятью годами: в них не было ничего нового, кроме, разве что, непривычного обилия фарисейской болтовни.

— Не уверен, — сказал Джим. — Быть может, за этим и кроется что-то новое.

— Что же? «Война против войны»? «За демократию во всем мире»? «Страна для героев»? Да уж. Я куда больше уважаю старика Клемансо[240]. Он, по крайней мере, осознавал, в какую компанию попал в тысяча девятьсот девятнадцатом, оказавшись между «лже-Наполеоном и лже-Христом».

— Ты несправедлив. Даже лозунги что-то да значат. Их произносят, это уже кое-что.

— Согласен. «Liberté, Egalité, Fraternité[241]» тоже кое-что значило, — Лессингем повертел в руках свой нетронутый бокал, обхватив пальцами его изящную ножку муранского стекла. — Совершенно безукоризненное и образцовое высказывание. Но (как ни странно) на практике оно обернулось отрубанием людских голов механическим резаком. Помнишь ту сделанную в Германии проволочную головоломку, которую я, бывало, приносил в школу, когда мы проходили старину Гарри Бродбента[242]? Она еще называлась Веселая казнь без штанов.

Он улыбался, но за улыбкой вдруг послышался звук скрежещущих зубов. Джим отвел глаза и услышал, будто сквозь некий вязкий раствор, тиканье часов, а потом голос Лессингема — невыразительный, ровный и отстраненный, — словно высказывавший некую запоздалую мысль:

— Женских голов в значительных количествах.

239 Джеймс Брюс (1838—1922) — английский государственный и политический деятель, дипломат, историк.

240 Жорж Бенжамен Клемансо (1841—1929) — французский политический и государственный деятель, один из авторов Версальского мирного договора 1919 г.

241 Liberté, Egalité, Fraternité (фр.) — «Свобода. Равенство, Братство», девиз Великой французской революции.

242 Имеется в виду школьный учебник латыни Г. Бродбента.

Тут снова невыносимо громко и отчетливо пробили часы: раз, другой. Потом раздался хруст и что-то упало. Джим быстро вскинул взгляд. Ножка бокала в сжатой руке Лессингема отломилась, а по белой скатерти медленно расплывалось огромное и мокрое красное пятно.

— Отвлекся. Не обращай внимания. Забудь. Что до моих собственных предпочтений, — произнес он после паузы, тщательно вытирая руку салфеткой, — то я несоизмеримо больше предпочитаю Чингисхана. Впрочем, мне всегда больше нравились крупные плотоядные, нежели обезьянья стая.

Они помолчали. Потом Джим сказал:

— Лучше бы ты позвал Рут, чтобы она сделала перевязку или еще что-нибудь. Твоя рука…

Лессингем внимательно посмотрел на нее.

— Это ерунда, — он достал чистый носовой платок. — Помоги-ка мне, это остановит кровь. Сожалею, — промолвил он, когда Джим, покончив с узлом, откинулся на стуле, весь белый. — Продолжай, ты должен допить, — он подтолкнул к нему графин.

Джим наполнил кубок, выпил и снова откинулся назад, легким поглаживающим движением проведя рукой от бровей по лбу, волосам и затылку.

— Это чисто физическое, — сказал Лессингем. — Как морская болезнь или дурнота в горах. Взять, к примеру, моего отца: это самый лучший моряк во всей Англии, но окажись он на вершине горы, тут же почувствует головокружение и колени начнут подгибаться. Тут то же самое.

— Наверное, так и есть, — Джим допил свой бокал и выдавил на лице улыбку. — Все равно чувствуешь себя последним дураком. Ты, конечно же… — он замолчал.

— Да, — произнес Лессингем тихим и ровным голосом, и Джим заметил, что его лицо и поза каким-то невыразимым образом все больше и больше уподобляются портрету Тициана на стене. — Да, я это делал. Уж во всяком случае достаточно часто, чтобы ощущение новизны пропало.

— Твое присутствие успокаивает, Джим, — сказал он после недолгой паузы. — Ты самый законченный тори, которого я когда-либо видел.

— А ты — самый последний и совершеннейший виг.

— Я? Я в политику не лезу.

— Ты виг из вигов. Как следствие (о чем я говорил тебе прежде) политика твоя: а) заслуживает порицания, и б) совершенно устарела.

— Я и впрямь питаю интерес к политике, — сказал Лессингем. — Люблю следить за ней, изучать, всякий раз видя под новыми одеждами все то же самое тело, ту же душу, что живут себе, ничуть не меняясь. Очевидно, их и невозможно изменить. Увлекательное занятие, дорогой мой синьор Джакомо. И Макиавелли — единственный философ, у которого достало гения и честности написать о политике всю правду.

— Я понимаю, что ты имеешь в виду. Тем не менее, это правда лишь частичная.

— Частичная, и ограничивается она этим миром. Я на это надеюсь.

— Я устанавливаю для нее еще более узкие рамки. К тому же, мне ни разу не доводилось слышать от тебя одобрения современных деятелей, которые руководствуются учением Макиавелли.

— Как художник, я испытываю определенное уважение к одному-двум, как правило (сколь бы удивительным это тебе ни показалось) там, где поле деятельности сравнительно невелико. Я сталкивался с такими на Ближнем Востоке, на Балканах, среди арабов, то здесь, то там.

— Да ты и сам это учение применял.

— Пожалуй, время от времени я управлял людьми ради их же собственного блага. В разумных, мелких, человеческих масштабах.

— А настоящий Макиавелли — в масштабах крупных. К примеру, ты не слишком-то высокого мнения о происходящем в России.

— Лис в львиной шкуре, — отозвался Лессингем, — в известном смысле заслуживает восхищения. Но в шкуре барана с бубенцом, больного и уже начавшего разлагаться, он уже не столь впечатляет, а уж помесь вонючей лисицы с вонючей падалью… — он осекся, будто прикусив язык.

Джим услышал, как его собственные зубы клацнули и от шеи к спине скользнул холодок: приступ дрожи, принесенный ветром из Франции.

— Муссолини? — быстро произнес он.

Лессингем ответил, пожав плечами:

— Кто-то всегда лучше, кто-то хуже. Зло в большей степени кроется в игре, нежели в игроке. В человечестве, а не в отдельных людях. Вся эта сфера деятельности, весь этот аппарат чересчур разросся.

— Ты знаешь, здесь я не совсем согласен, — сказал Джим. — Мы с тобой никогда до конца не соглашаемся, если доходит до основ. Я считаю, вина лежит на игроках.

— Я знаю, что ты так думаешь. Я думаю так же, только не совсем в том же аспекте, — он отодвинул стул. — Хочешь еще вина? Нет? Тогда пойдем, покурим в библиотеке.

«Хорошо хоть не в Прибежище, — сказал про себя Джим, поднимаясь на ноги, чтобы последовать за ним. — Спасибо Господу хотя бы за это».

Лессингем, словно вдруг погрузившись в какие-то свои потаенные раздумья, встал у стола неподвижно, засунув руки в карманы и опустив голову на грудь, но спина и плечи его были прямы и величественны, будто у бога-олимпийца. Потом он медленно зашагал к двери, то и дело останавливаясь по пути у предмета оружия или доспехов, пристально их изучая и постукивая по ним ногтем. Взявшись за дверную ручку, он обернулся, подняв голову, чтобы окинуть стремительным ищущим взглядом все четыре стены своей оружейной. Отворив двери, он положил руку Джиму на плечо, повернув того кругом, чтобы и тот посмотрел на все это.

— Вот тебе и пример, — сказал он. — Гибель всего этого. Порох, первый могучий уравнитель.

Он рассмеялся в свою густую черную бороду, а его сильные пальцы стальным зажимом впились в плечо Джима. В этой чистой боли Джим нашел своеобразное утешение, как будто бы чужая мука была способна хоть в малой степени облегчить страдания самого Лессингема, приглушить их (что не под силу обычному общению), разделив с другим.

— Оставляя в покое твою ортодоксальность и мой пирронизм, — сказал Лессингем, когда они вошли в библиотеку, — во всех человеческих начинаниях неизменно присутствует некое ἄτη[243], некая слепота или проклятие. Медленное умирание. Забудь про обоснования; факты налицо. На определенном этапе ты замечаешь, как техника, прогрессируя шаг за шагом, точно так же шаг за шагом все больше деградирует. На определенном этапе власть, будто повинуясь некой исконно присущей потребности беспрестанно расширяться, берет на себя все больше и больше из того, что брать вообще не стоит. И в игру становится бессмысленно играть. Бессмысленно для человека.

— Век машин.

— Это куда более всеобъемлюще. Ошибочен сам размах, сами масштабы этого материализма. Человек — самое неподдающееся обучению животное, какое только можно найти. Если взять в целом, то все человеческие

243 ἄτη (др. греч.) — «помешательство», «безумие».

устремления в этой игре в жизнь, как мы ее знаем… Что ты предпочитаешь к кофе, Джим? Старое бренди? Гран Марнье[244]? Кюммель[245]?

— Спасибо, ничего.

— Ты должен. Давай. Пойдет на пользу пищеварению. Ну и немного затуманит мозги. Апельсиновая эссенция из цветков и плодов, — Лессингем наполнил его бокал. — Это было нашим ритуалом всякий раз, когда мы обедали в поезде во Франции. С самого первого раза, пятнадцать лет назад.

Джим смотрел перед собой, не осмеливаясь встретиться с ним взглядом.

— Давай.

— Ладно, если ты присоединишься. Ты за весь вечер ничего не выпил.

Лессингем наполнил другой бокал, потом предложил ему коробку сигар:

— Это Партагас[246], твои старые друзья. Как видишь, их еще выпускают.

— Да, вижу.

Воцарилось молчание. Они зажгли свои сигары. Лессингем поднялся из кресла. Джим наблюдал, как он подходит к письменному столу, не глядя берет фотографию Мэри, выдирает ее из рамки, разрывает надвое и швыряет в огонь. Когда он садился обратно в кресло, их взгляды встретились.

— Я возражаю, — произнес Лессингем, — против того, что немцы называют ersatz[247].

Джим одним залпом проглотил свой Гран Марнье, налил второй бокал и снова выпил. Его лицо было невыразительно, как восковое.

— О чем мы говорили? — сказал Лессингем. — Ах, да, о великой ошибочности прогресса. О холодном распутстве этого «еще и еще». Все человеческие устремления сводятся, так сказать, к игре в крикет на площадке длиной в сотню ярдов мячом размером с футбольный и битой с плоскодонку с Темзы. Ладно. Тогда перед нами два варианта: либо изменить саму суть игры, либо стать великанами. Великанами мы стать не можем (а если бы и могли, то вскоре захотели бы, чтобы все стало по-прежнему, если только одновременно с этим не изменили бы всю существующую вселенную — как органическую, так и неорганическую, как макрокосм, так и микрокосм, — под стать нашим

244 Гран Марнье — французский ликер из настоянного на коньяке апельсинового битера.
245 Кюммель — датский ликер из тмина и анисового семени.
246 Партагас — марка кубинских сигар.
247 Ersatz (нем.) — «эрзац», «заменитель».

новым пропорциям. А тогда мы оказались бы в точности in statu quo prius; ведь, просто став увеличенными существами в увеличенном мире, мы, пожалуй, и не заметили бы никакой разницы). А раз эта дверь закрыта, мы взамен вовсю пытаемся изменить суть игры. И, измененная, эта игра в жизнь, игра в войну, игра в политику, игра во власть и подчинение, да и просто в существование, этот движитель нашего ежедневного бытия, все больше и больше превращается в игру, предназначенную не для людей, но для термитов.

У Джима начало жечь в глазах от всматривания в огонь, где догорали ярким пламенем последние обрывки ее фотографии. Повисла тяжелая и недобрая тишина.

— Что ты предлагаешь? — спросил он наконец.

— Греческий город. Я говорю по собственному опыту; разумеется, я испытал это на себе и собираюсь испытать снова. Может, чуть покрупнее, — пускай это и будет центром твоего государства. Город и сельские окрестности, страна размером с Англию, а может и меньше. И население, измеряемое несколькими десятками тысяч. За этой гранью все обращается в путаницу.

— Греки и сами устроили изрядную неразбериху.

— Потому что подавились, пытаясь проглотить вишню; ну а нам-то к чему заглатывать за раз целый пирог?

— Бесконечно достойнее будет успешно управлять современным государством.

— Я так не думаю. Это неосуществимо в любом здравом значении слова «управлять». Точно так же ты мог бы назвать более достойным…

— Я имел в виду «благороднее», — промолвил Джим.

—… кататься по льду пруда, когда лед не держит, нежели когда он крепок. Это не более сложно, это вообще не «успех». Это просто невозможно. Дела людей, зиждущиеся на базе цивилизации мегаполиса, просто не поддаются нормальному управлению. У тебя два выбора: тирания и власть толпы.

Джим придержал язык.

Лессингем же продолжал, будто следуя за ускользающей мыслью сквозь повисшие в воздухе клубы сигарного дыма:

— Wein, weib und gesang[248]; в конце концов, что еще нужно? Ненавижу глупость, ложь, обманчивые надежды. Сэмюэль-то Батлер[249] был прав, говоря,

248 «Wein, weib und gesang» («Вино, женщины и песни», op. 333) — вальс австрийского композитора И. Штрауса-сына.

249 Сэмюэль Батлер (1835—1902) — английский писатель.

что три наиболее важных вещи, которые есть у человека, это, если вкратце, его… (ладно, дорогой Джим, избавлю тебя от смущения), его деньги и его религиозные убеждения.

— Да. Как и все подлинные виги, ты совершенно безнравственен. И нерелигиозен.

— Я никогда и не кичился какой бы-то ни было нравственностью. Что до религии, то…

Джим Скарнсайд раздавил свою наполовину выкуренную сигару в пепельнице.

— Что я хотел бы понять, — яростно произнес он, — так это зачем ты порвал ее и бросил в огонь.

И, не дожидаясь ответа, он спрятал лицо в ладонях.

Лессингем не подал и вида, что слышал, если не считать того, что его лоб и скулы внезапно побледнели. Джим вскочил, увидел в глазах Лессингема вспышку багрового гнева, и отвернулся от него, чтобы прислониться локтями и лбом к высокой каминной полке.

— Я больше этого не вынесу, этих пряток во тьме. Я не знаю, о чем ты думаешь. Не знаю, что ты чувствуешь… если ты вообще что-то чувствуешь. Мне лучше уйти, — сказал он. — Только, Бога ради…

Лессингем поднялся. Его серые орлиные глаза казались теперь Джиму потускневшими, непроницаемыми. Тем не менее, он протянул руку, левую руку, и Джим увидел, ясно, как на написанной темперой картине, кровь на носовом платке, которым была обвязана правая. Кольцо Джима в их крепком рукопожатии вонзилось в плоть его пальцев, будто зуб.

— Было мило с твоей стороны зайти ко мне, Джим. Думаю, теперь тебе лучше уйти.

— Не уверен. Не уверен, что нужно.

Усы Лессингема шевельнулись в сардонической улыбке.

— Насчет этого можешь не беспокоиться, дорогой мой опекун. В любом случае, я поступлю как пожелаю. И даже все могущественные властелины Ада, а уж тем более ты, мне в этом не помешают.

Эти холодные слова миазмами несчастья рассеялись в недвижном воздухе одинокой и недоброй ночи, которой (для него) не суждено уже было кончиться.

— Рад был повидать тебя, — сказал он, выходя в холл и подавая Джиму его пальто.

— Я был не особенно тебе полезен.

— Немного был. Главным образом потому, что и ты тоже…

— О, Господи!

— Это просто еще одна хитроумная затея, видимо, забавляющая Тех (если есть какие-либо «Те»), кто взирает на все это сверху, — промолвил Лессингем. — Все мы, да и все на свете живые существа, должны страдать в одиночестве. Сами, и в одиночестве.

XVIII. Бездна кромешной тьмы

ЛЕССИНГЕМ вернулся в библиотеку и позвонил в колокольчик.

— Уберите все это, Рут. Мне сегодня уже ничего не понадобится. Лучше всем лечь рано. Разбудите меня в половине шестого, завтрак ровно в шесть; к семи меня уже не должно здесь быть. Похороны в Энмеринге в воскресенье. Потом я сразу вернусь. Пока меня не будет, продолжайте закрывать все в доме. Я вернусь только, чтобы закончить сборы, а потом за границу. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи, сэр. И, вы уж простите свою старую служанку, мистер Эдвард, сэр, знайте, мы все в Его руках, сэр, а ведь говорят: Спаситель наш Иисус Христ, разрушил смерть[250].

— Да, да. Я знаю. Спокойной ночи, Рут. Спокойной ночи.

Она принесла из холла груду писем. Теперь он уселся с ними за стол и пару часов разбирался с ними, откладывая некоторые в сторону, чтобы позднее ими занялся Милкрест, другие скомкивая и бросая в корзину для бумаг, а на пару дюжин написав ответ своей собственной рукой. Покончив с этим, он выдвинул несколько ящиков стола, сжег еще фотографию-другую и направился через холл и по коридору в Прибежище.

Огонь в камине разожжен не был. Там лежал на диване ее охотничий хлыст, там стояла ее книжная полка: Мередит, Джейн Остен, книги об Алисе, Эдвард Лир, Леди на досуге и Герцог Джонс Этель Сиджуик, полдюжины

250 2 Тим 1:10.

произведений Конрада, Китса, Сапфо, Гомера… Питер Иббетсон — его ноздри раздулись.

Сказала Смерть: Я забираю всех, — и удалилась[251].

Здесь, в этом ящике комода, — ее счетная книга, сладости в жестяной коробке, принадлежности для шитья, маленькие катушки хлопчатобумажных и шелковых ниток всевозможных цветов и крохотные клубки шерсти, которые Митзи так любил катать своими белыми лапками, игрушечная птичка Митзи с двумя настоящими перьями вместо крыльев — все было так аккуратно разложено и пахло тем ее особым французским ароматом. Он мягко задвинул ящик и подошел к камину; там было еще несколько фотографий от разных дат, которые следовало сжечь. Он порвал их не глядя; потом вытащил из рамки и после мгновенного колебания также порвал карандашный рисунок, который выполнил в 1907.

Оставалось всего полчаса до полуночи, когда он поднялся по ленивому изгибу большой лестницы, свернул направо, прошел по галерее и остановился, прислонившись спиной к старинной дубовой балюстраде и глядя на дверь в вестибюль. Позади и внизу, в квадратном колодце холла, куда он взирал через плечо, все выглядело лишенным тепла и безжизненным. В позолоченных бра указывали вверх незажженные свечи, неподвижные, будто пальцы мертвых женщин. Очаг был выметен и пуст. Кольцо электрических ламп в висевшем высоко под потолком семигранном светильнике верхнего света —предназначенном лишь для эпизодического использования, а не для того, чтобы жить при его свете, как при свете свечей или ламп, — испускали бесцветное и бессильное свечение. Он вставил ключ в замок. Позади послышались шаги; это была Рут в своей сером фланелевом халате, с заплетенными волосами и со свечой в руке.

У нее был испуганный вид.

— О, простите, сэр. Мне показалось, я что-то услышала. Мне пришло в голову, что вам что-нибудь нужно, сэр.

— Нет, благодарю. Я скоро лягу. Мне еще нужно закончить здесь с парой вещей, чтобы утром не задерживаться. Вы возвращайтесь в постель.

— Может, мне зажечь здесь огонь? Тут будет такая холодина, мистер Эдвард, сэр.

— Я зажгу, если потребуется.

251 Дж. Мередит, «Баллада о минувшем полдне».

— Все готово, сэр, как и всегда, на случай, если…

— Я знаю. Идите спать, Рут. Я все сделаю.

— Хорошо, сэр, — она посмотрела на него, и лицо ее стало несколько спокойнее.

Лессингем вошел и запер за собой дверь. В вестибюле было темно. Его шаги по ворсистому ковру были неслышны. За дюжину шагов он добрался до дверного проема, ведшего в Комнату Лотосов. Дверей в нем не было, его занавешивали роскошные портьеры, окрашенные в тускло-зеленый оттенок мохового агата, но в этой непроглядной и поглотившей все тьме они казались черными.

От прикосновения невидимых портьер, тяжелых, шелковистых и гладких на ощупь, и от окутавшего его чувства едва различимого, но безошибочно узнаваемого аромата, что хранил в себе (как свойственно запахам) воспоминания, подобно тому, как эфемерные крылатые создания до мельчайшей подробности увековечиваются, неповторимые и явленные всем на обозрение, в янтаре, от этого прикосновения, от этого аромата воспоминание это согрело тьму, вдруг запылав в ней подобно галлюцинации. Казалось, его руки, на самом деле неподвижно сжимавшие эти портьеры посередине, раздернули их в стороны, миновавший десять лет назад миг каким-то чудом вернулся, и, пойманная меж теплым светом камина и сверканием свечей, у туалетного столика вновь сидела перед своим зеркалом в черепаховой оправе Мэри, и шелковое платье цвета морской синевы, расшитое сеткой жемчужин, будто прожилками и цветами из морской пены, волнами ниспадало вокруг ее бедер. Казалось, она обернулась, взглянула ему в лицо, также явив его взору в сумрачном зеркале, где свечи все плели свои тающие лучезарные сети, восхитительный вид своей щеки чуть сзади и сбоку и заплетенные в косы витки волос всех оттенков, от темно-каштановых и рыжевато-коричневых тонов сицилийского вина до цвета раскаленного докрасна золота. Казалось, целая вселенная затаилась в глазах Мэри. Ее губы приоткрылись, но слов не было.

Он отдернул портьеры, включил электрический свет. Казалось, помимо молчания и бесприютности этой, ставшей вдруг такой чужой, комнаты, не осталось больше ничего; здесь, в этой ужасающей бездне рухнувшего мира, ненадолго осталось лишь это последнее меркнущее клеймо — клеймо незыблемой необратимости смерти.

Минуту он стоял там, на пороге, будто сопротивляясь хлещущим его неистовым порывам ветра. Потом он протиснулся в пустоту, как если бы это была какая-то вязкая субстанция, давившая на чувства; сквозь субстанцию эту можно было видеть, ею можно было дышать, как обычным воздухом, но она была слишком неподвижна. В странной яростной спешке он принялся зажигать лампы, десятки свечей, замерших в ожидании на туалетном столике, письменных столах, каминных полках, стенах и у огромной кровати с пологом, разжег и огонь из кедровых поленьев в обоих каминах, а потом отключил резкий электрический свет. Все еще опьяненный нахлынувшими чувствами, он отпер шкафчик, заключавший в себе его картину из картин. Не глядя на картину, он вырезал ее из рамы, скатал и положил на письменный стол. Потом отпер и открыл настежь массивную стальную дверцу несгораемого сейфа, встроенного в стену за панелью, слева от дальнего камина, вытащил оттуда две шкатулки, захлопнул дверцу и запер сейф снова, поставил шкатулки на стол и сел. Сначала он открыл ту, что была обтянута бледно-голубой марокканской кожей; она была полна писем, рассортированных в пачки по годам: сотни написанных ею писем, каждое в своем собственном конверте, некоторые с пометами или примечаниями, сделанными рукой Лессингема. Он добавил в шкатулку еще два письма из своего кармана и снова ее закрыл. Вторая шкатулка, черная, содержала документы. Он быстро пробежался по ним: правовые титулы, его завещание, завещание Мэри, всего десятка два бумаг. Он разорвал пополам и кинул в огонь страховой полис от пожара на поместье в Нижнем Уостдейле, остальные бросил обратно в шкатулку и запер ее. Наконец, чуть помедлив, словно для того, чтобы подумать, не забыл ли он чего, он снова достал ключи, отпер выдвижной ящик справа от себя, достал связку заметок, чековую книжку, расчетную книжку и пару греческих украшений. Его тяжелый армейский револьвер и коробка патронов к нему лежали здесь же. Мгновение он рассматривал их, и его ноздри странно подрагивали — так человек застывает при виде ощерившегося шакала с ядовитыми зубами, — потом со стуком задвинул ящик и запер его.

И вот, стоя перед письменным столом, он начал медленно и задумчиво раскладывать на нем все это: шкатулки, скатанный в трубку холст, черепаховый нож для резки бумаг, чековую книжку, серебряную чернильницу, расчетную книжку, кольца — вдоль краев черной книги для записей в переплете

из тюленьей кожи с золотыми уголками. Так человек, ожидающий следующей смены блюд, кладет (витая мыслями где-то далеко) нож или ложку строго по касательной к стоящей рядом пустой тарелке. Внезапно он уселся в кресло, качнувшись вперед и в немом зверином порыве ударившись лбом о столешницу.

Он снова встал, помедлил минуту. Его ладони распластались по столу. Наконец он медленно повернулся и принялся расхаживать мерными шагами по комнате из конца в конец, словно это была клетка или темница, мимо расписанного лотосами фриза, дорогих гобеленов и портьер, бесценных восточных ковров, громадных зеркал, ведших в таинственные глубины, и той огромной кровати с резными и изукрашенными столбами, мимо ее золотой и шелковой роскоши. Во всем этом было нечто жуткое, как в отрубленных конечностях, останках, непристойно обнаженных увечьях, бессмысленных и бесполезных.

Вдруг он остановился у дальнего окна, отдернул шторы и открыл нижнюю створку. Обложной дождь обещал лить всю ночь: отвратительный октябрьский ливень, не тревожимый даже ветром, падал из чернильной тьмы в чернильную тьму под журчание водосточных труб, перемежаемое хлюпаньем воды, выплескивавшейся на промокшую землю из забитых листьями стоков.

— То, что я видел в Амьене, — сказал он про себя, — не имеет смысла, как мертвая птица без… — послышался ужасный звук втягиваемого сквозь ноздри воздуха. — О, моя королева, моя драгоценная, моя прекрасная… благодарю Бога, если это случилось достаточно быстро, чтобы ты не успела …

Он стоял и смотрел, как свет из-за его спины тускло отражается в пелене дождя. Потом, будто встряхнувшись, он возобновил свою размеренную ходьбу.

— Она… не более эгоистична, чем эгоистичен я.

Потом вдруг произнес громко:

— О, поговори со мной, дорогая моя, дорогая… — и его зубы заскрежетали.

— Нет, — прошагав туда-сюда по этой клетке или комнате две или три сотни раз, заговорил он (снова про себя). — Нет. Это самый настоящий Ад. Потому что ее образ, ее иллюзия, который я себе на погибель…

Словно сидевший в его мозгу скорпион принялся шептать пакости,

оскверняющие и порочащие одновременно и жизнь и смерть, и тело и душу, и вот уже все прошлое, настоящее и будущее обернулись усыпанными мишурой изорванными нарядами, что скрывали свою же собственную бессодержательность, вспыхивая на миг трупным огнем перед склепом и наполняя благоуханный воздух отравой, тошнотворным запахом крови.

— Один. Наказание для проклятых… старомодная дурь, не заслуживающая даже опровержения. Но я один. Если только, — и он метнул взгляд на письменный стол, — если только не покончить с этим. Но на это я не пойду.

Он подбросил еще поленьев в камин подле ее туалетного столика.

— Я знал. И теперь знаю. Это научный факт. Вероятнее все, это и есть Истина. Но это ничего не значит. Это может служить объяснением существованию Эдварда Лессингема и Мэри Скарнсайд, Эдварда Лессингема и Мэри Лессингем. Но не существования Меня и Ее.

Словно безмерно изможденный и телом и духом, он бросился в глубокое кресло и стал наблюдать, как кора изгибается, скручивается и занимается пламенем, как взлетают и гаснут искры.

После долгого молчания мысли в его голове заговорили:

— Но здесь… На что положиться? На эмпирические свидетельства фактов? Или на знание внутри тебя, что режет и жжет? Знание той, что совершенна, что лишь одна желанна ради себя самой. Той, кого я любил, кем обладал, кем жил. Чьими мыслями мыслил. Чьим дыханием дышал. С кем возлежал в постели, обнаженный.

Он вскочил.

— И я не пойду ни на какие компромиссы.

Он снова принялся расхаживать: два, три раза, туда и обратно, от внешней стены к внутренней. Затем, словно вдруг вспомнив что-то, он вынул из кармана нераспечатанное письмо Мэри. Оно было не очень длинным; его отправили из гостиницы на Елисейских Полях в воскресенье, четырнадцатого октября. Он быстро его просмотрел, иногда пропуская строчку-другую, иногда останавливаясь, словно чтение обжигало его глазницы. Он стоял у изножья кровати, сжимая письмо в левой руке. Он дотянулся правой до массивного столба из атласного дерева, ухватился за него и дочитал до конца.

Письмо спланировало из его рук на кровать. Тонкий звон и зазвучавшие в ответ глубокие густые удары огромных итальянских часов возвестили четыре часа утра. Неподвижный как камень, прислушивался он, уже обеими

руками вцепившись и прижавшись грудью к столбу обширной кровати и глядя на ее шелковое покрывало темно-зеленого оттенка лаврового листа, окаймленное золотом:

O lente, lente, currite noctis equi!

— О, тише, тише мчитесь, ночи кони!..

Вызванное этими словами к жизни воспоминание, зародившись где-то глубоко внутри, проворно скользнуло, теплое и гибкое, по самым заветным кровеносным сосудам сквозь непроглядную тьму, обернулось вдруг такой чудовищной и невыносимой болью, как будто его живот медленно распарывали снизу доверху.

XIX. Десять лет, десять миллионов лет, десять минут

— Но нужно же идти в ногу со временем, — воскликнул маленький человечек с квадратной челюстью.

Он протирал носовым платком линзы своих очков в искусственной черепаховой оправе, оглядывая при этом близоруким затуманенным взором, какой присущ временно снявшим очки людям, все то, что его окружало: обширную Пьяцца Бра с белыми столиками под открытым небом, где играла музыка, слышался смех, сидели и прогуливались люди: туристы и веронские горожане, завсегдатаи и перелетные птицы, старые и молодые, мужчины и женщины, перемежавшиеся маячившими здесь и там военными униформами и развевавшимися перьями берсальеров[252]; они курили, пили, куда-то шли или отдыхали, хмурые или веселые, беспрестанно беседуя, и итальянский язык с его настойчивым ритмом все бежал сквозь переменчивые узоры звука, будто нить основы, а над всем этим вздымала свой изогнутый фасад, громадный и глухой, римская арена. И еще все это было залито холодным свечением электрических дуговых ламп, что казался будничным и резким по сравнению с лунным светом, но вместе с тем пробуждал бодрость и неудержимое воображение.

252 Берсальеры — солдаты отборных пехотных частей итальянской армии; одним из их отличительных признаков являлись петушиные перья на шляпах и касках.

— Ну и ну, Фрэнк, какое глубокое наблюдение! — воскликнул самый младший из сидевших за столом. У него были черные волосы и голос, напоминавший комариный писк.

— Так или иначе, это правда. Можешь спросить у Рональда.

Старший из них (судя по виду, лет тридцати пяти), старательно скручивал сигарету.

— О, вне сомнений, это истинная правда, дорогой мой Майкл. Vox populi, vox Dei[253]. А фразу «идти в ногу со временем» повторяют направо и налево с самого начала времен.

— Речь вообще-то шла о современном искусстве, — сказал человек с небольшими бакенбардами, зачесанными назад каштановыми волосами и глазами как у олуши. — Я и сам современный художник; во всяком случае, Вилли так меня назвал в печати, а стало быть, так оно и есть. Но я согласен с Рональдом в том, что девяносто девять процентов современного искусства — просто корм для инженеров или евнухов.

— Не уходи, Вилли.

— Я не собираюсь больше слушать. Скучища еще та. В самом деле, Рональд, старик. Мы расходимся во мнениях по большинству вопросов, и мне нравится спорить, но в том, что касается этого вопроса об искусстве… нет, правда, я не хочу никого обидеть, но ты в этом и близко ничего не понимаешь, и взгляды твои меня не интересуют.

— Ушел! Ну да ладно, — сказал художник.

— Пойду-ка прогуляюсь вместе с Вилли.

— Вот-вот, Фрэнк. Поговори с ним о «мистере Джонсе». Только не слишком громко, а то вас обоих арестуют. Вот незадача будет, если тебя, такого истового прозелита нового режима, застанут в подобной компании… Что ж, Питер. Возможно, Вилли и прав. Возможно, я ничего не понимаю.

Художник пожал плечами:

— Чтобы такое понять, без психоаналитика не обойтись.

— Это своего рода сублимация?

— Своего рода экскременты.

— Разума? Вот это занятная идея.

— Ей-богу, это вполне может оказаться правдой. Аристотелев катарсис.

253 Vox populi, vox Dei (лат.) — «глас народа — глас Божий».

Мне всегда казалось немного неадекватным сравнивать Агамемнона[254] с дозой каломели. Но уродства твоего дружка Долди Рума, о которых ты говорил…

— Я уверен, так оно все и есть, — сказал Рональд Каруэлл. — Только применительно к воздействию не на зрителей (а именно это имел в виду Аристотель, говоря об очищении от аффектов), — а на самого Рума.

— Что ж, в таком случае не вижу, зачем ему снимать галерею и выплескивать все это на публику.

— Как и я, Майкл. Только вот публика всегда и повсюду восхищается именно тем, чем ей сказано восхищаться. А это означает деньги. А нам, художникам, нужно на что-то жить.

— То есть, он проституирует свое искусство, потому что это то, чего желает публика… или то, чего Вилли и прочие научили ее желать?

— Ни в коем разе. Рум — художник. У него нет ни малейшего понятия, зачем он это делает. О да, если на то пошло, он очень хороший художник, Рональд, уверяю тебя. И у него есть одна-две отличных вещи.

— Тогда почему он все время их не рисует, а занимается этой патологической мурой?

— Не знаю. Как не знает и он.

— Он сам не знает?

— Ничуть, — промолвил художник. — Возьми Матисса[255]; пожалуй, обнаженная натура послужит подходящим примером. С абстрактной точки зрения его работы изысканны. Но проблема в том, что искусство не абстрактно, оно конкретно. Возьми сотню обнаженных фигур Матисса; думаю, ты найдешь среди них порядка двадцати примерно в том же ключе, что и картины Рума, другие, скажем, семьдесят, в той или иной степени неуместно искажены. А вот среди оставшихся десяти ты найдешь один или два шедевра. Самые лучшие. Такие как у Лессингема.

— Человеческое тело божественно. А раз оно божественно, зачем его искажать?

— Чтобы показать, что мы умнее Всемогущего Бога.

Художник покачал головой.

— Знаешь, «божественно» оно далеко не всегда. Наверное, даже Фрина,

254 Катарсис — термин, применявшийся Аристотелем в учении о трагедии. «Агамемнон» — первая из трех трагедий в составе трилогии «Орестея» Эсхила (458 г. до н. э.).
255 Анри Матисс (1869—1954) — французский художник и скульптор.

узри ты ее во плоти, не показалась бы столь же божественной, как Афродита Книдская.

— «Божественной»? А где стандарт? Самка мокрицы покажется божественнее любой из них другой мокрице, или, если ты предпочитаешь негритянок, толстопузая ниггерша с выпяченными губами.

— Стандартов нет — у красоты.

— Тогда, — продолжал Каруэлл, — чем же ты руководствуешься в своих суждениях? Ведь, говоря то, что ты сказал об Афродите Книдской, ты допускаешь некое искажение (под искажением понимая отклонение от нормы). Ну так возьми своего Лессингема или своего Матисса.

— Когда я слышу слово «красота», — сказал Оттердейл, — я умываю руки. Это абсолютно безошибочный признак.

— Признак чего?

— Вздора. Чепухи. Отсутствия серого вещества.

— Сколь очаровательно юн ты, напугавшийся какого-то слова.

— Что ж, я и вправду на два года младше тебя, Питер, но даже мой зарождающийся разум двадцати трех лет от роду способен отличить слова что-либо значащие от слов пустопорожних. Они не пугают меня; у меня от них просто болит живот.

— «Crede experto — верь опытному», — произнес художник, — одно слово ничуть не хуже другого, когда речь идет об объяснении феномена красоты. Красоты в природе, красоты в искусстве. Это волшебство. Чистое волшебство, магия. Вот и все.

— Ну и хорошо.

— Привет, Вилли, вернулся?

— Сегодня тут паразитирует целое созвездие великих мира сего. Самый видный — этот, как его там, Лессингем. Мы видели его несколько минут назад, правда, Фрэнк? Шествует в одиночестве, весь такой важный и расфуфыренный, а на лице выражение этакого типичного задравшего нос хлыща…

— Заткнись, Вилли. Вот он.

Они обернулись. Когда тот прошел, воцарилось странное молчание, длившееся, наверное, полминуты.

Майкл Оттердейл нарушил его, пропищав, будто комар:

— Ничего себе крупный план. Ни разу не видел его прежде, а уж тем более не имел возможности рассмотреть как следует. Кто же он такой, Вилли?

— Аристократический и плутократический дилетант-самозванец.

— Он — нечто большее, — промолвил Рональд Каруэлл, выкуривая одну сигарету за другой.

— Как вам тот факт, что все эксперты почитают его за мастера, каждый по своей линии? Солдаты — как превосходного бойца; я слышал, как генерал Стеррамор распространялся за ужином на эту тему буквально вчера, называя Лессингема лучшим тактиком в нерегулярной армии со времен Монтроза[256]. Художники превозносят его как художника, писатели — как писателя. И так далее. Это факт. И это-то и необычно.

— И что же хорошего он сделал, черт возьми?

— Уж побольше, чем ты когда-либо сделаешь.

— Зависит от того, что считать хорошим.

— Думаю, вам известно, что он, хоть и кулуарно, более чем кто-либо причастен к свержению тирании Белы Куна[257] в августе девятнадцатого года? Я это знаю. Я был тогда корреспондентом в Будапеште.

— И еще восточно-африканская кампания, она укрепила его репутацию солдата.

— А как насчет той удивительной партизанской войны всего пару лет назад, в Рифе?

— О, ну он авантюрист. Никто и не отрицает, что он в своем роде большой человек.

— И все эти годы — наверное, такое у него хобби в свободное время — он работал над этим своим колоссальным трудом об императоре Фридрихе II[258], что вышел прошлой весной. Кембриджские ученые мужи подтвердят тебе, ничего подобного не было со времен Гиббона[259]. Вдобавок, труд этот и сам по себе является философско-историческим трактатом.

— Была еще вроде какая-то любовная история, не так ли? Что-то я такое припоминаю…

— Да. Еще до войны. Чуть ли не раньше, чем ты родился, Вилли. Женился на дочери Энмеринга, большой красавице. Она погибла, кажется,

256 Джеймс Грэхем, 1-й маркиз Монтроз (1612—1650) — шотландский аристократ, политик и полководец, один из вождей ковенантеров, боровшихся против короля Карла I, впоследствии перешедший на сторону роялистов.

257 Бела Кун (1886—1938) — венгерский коммунистический политический деятель и журналист, в 1919 провозгласивший Венгерскую советскую республику.

258 Фридрих II или Фридрих Великий (1712 - 1786) — король Пруссии (1740 - 1786).

259 Эдвард Гиббон (1737 - 1794) — знаменитый английский историк.

в какой-то аварии; это случилось, наверное, лет десять или двенадцать назад. После ее смерти он сжег свой дом и нигде надолго с тех пор не останавливался.

— Сжег свой дом? Что еще за голливудщина?

—Огромный дом в Камберленде, полный богатств. Это такой человек, чьих поступков не предугадаешь.

— Говорят, после этого он уничтожил все изображения своей жены, — произнес художник. — Все, до каких только смог добраться. Среди них и его собственные шедевры, знаменитое Зеленое платье и другие. Это было десять лет назад, в тысяча девятьсот двадцать третьем; годом или двумя позднее я учился в Париже и помню, какую сенсацию это произвело даже тогда. Такой ужасный поступок.

— Наверное, не мог выносить ее вида?

— Понятия не имею, мой дорогой Майкл.

Наступила тишина. Потом Каруэлл продолжил:

— Забавно, мне не могло быть тогда больше десяти, в тысяча девятьсот восьмом. Тебя, как последователя Фрейда, это заинтересует, Вилли. Тогда я в первый раз осознал, что понимается под… под красотой… в женщине…

— Осторожнее! Ты поверг меня и нашего Вилли в шок. Не используй этого слова. Говори «сексуальная привлекательность».

— А я буду говорить «Красота». В иллюстрированных журналах ее изображений тогда было полно, да и люди говорили. Она тогда была леди Мэри Скарнсайд. Что-то было в ее имени, необычайно прекрасное, Бог знает что: Дева Мария, Богородица, не знаю уж, из-за этих ли ассоциаций. Так или иначе, я припоминаю, как тайком вырезал ее изображение на всю страницу, в костюме для верховой езды, из «Иллюстрейтед Лондон ньюс[260]» и потом месяцами хранил его, запрятанное куда-то; я бы умер со стыда, если бы кто-нибудь…

— Боже мой, Рональд! Какой же скороспелый повеса, должно быть, из тебя вышел!

— Умолкни, Майкл. Я хочу послушать.

— Ну а потом на «Лордз» — меня взяли, потому что мой брат в том году играл за команду Итона, — я увидел ее, совсем близко, у палатки с чаем. И, Бог мой, Питер, я узнал ее по картинкам и могу сказать тебе, что до сих пор

260 «Иллюстрейтед Лондон ньюс» — основанный в 1842 г. журнал консервативного направления.

не видел… все твои Венеры, все прочие женщины, которых мне доводилось встречать, о них нет смысла и упоминать рядом с ее красотой. И при этом она была такая обаятельная. Такая милая. Классическая красота, если угодно, но красота не холодная. Своего рода дикость. Как у Ἀρτέμιδος κελαδεινῆς — шумливой Артемиды. Я больше никогда ее не видел, но впечатление было потрясающее. И долговечное. Как тавро. Я и сегодня могу видеть ее, если закрою глаза. В мельчайших подробностях.

— Звучит как необычайное переживание.

— Неплохое начало, Рональд. Нет, я не шучу.

— Чрезвычайно интересно. В таком-то возрасте.

— Это нечто такое, что я по своей воле ни за что не отдам, — просто сказал Каруэлл.

— А вон и хваленый мистер Лессингем, сидит за столиком, словно сэр Ричард Гренвилл[261]…

— Или сицилийский головорез наших дней…

— Словно Бог, сошедший с Небес, — промолвил художник.

— Как чертовски романтично!

— Я цитирую его собственную книгу.

— И все это время у него в мозгу, вероятно, точно такой же образ, как и у тебя, Рональд.

— А еще более вероятно, совершенно иной. Говорят, он профессиональный моряк. По жене в каждом порту.

— Будь ты проклят! Похоже, так и есть. Следует признать, позолота на его романе от этого начинает немного осыпаться!

— Кто знает?

Наступила долгая, почти минутная, пауза.

— Посмотрите…

Грациозной и стремительной раскачивающейся походкой к столику Лессингема шагала леди. Она была высока, с черными волосами и раскосыми глазами, в боа или палантине из белой лисьей шерсти, черной шляпе и черном платье, изящная, энергичная, сильная, и в каждом ее движении сквозило странное и заразительное воодушевление, будто за ней, словно за кометой, тянулся огненный шлейф.

261 Сэр Ричард Гренвилл (1542—1591) — английский морской командир, пират и исследователь.

Лессингем поднялся навстречу ей, поцеловал ее руку. Они сели за столик.

— Вы уже отчаялись?

— Нет, синьора. Я знал, что вы придете.

— Откуда вы знали, если даже я сама не знала?

— Я хотел вас видеть.

Она быстро посмотрела ему в лицо, а потом столь же быстро отвела взгляд.

— Ваши слова под стать вашим глазам, — сказала она, нарушив напряженную тишину.

— Слова должны выражать то, что они значат, ни меньше, ни больше. Свои я вышколил; это хорошие гончие, не начинают погоню, пока не увидят добычу. Вы предпочитаете vino rosso? Или bianco? — он подал знак официанту.

— Малиновую розу или золотую? О, полагаю, сегодня лучше всего подойдет малиновая.

— Я полагал так же, как вы можете заметить, — промолвил Лессингем, заказывая вино и в то же время вынимая из кувшина на столе розу, темную как кровь, клонившую вниз свою головку под весом своей же сладости. — В дополнение к прочим своим достоинствам понимаете ли вы по-гречески, синьора?..

ἦρος ἀνθεμόεντος ἐπάιον ἐρχομένοιο

— Чую приход цветущей весны[262], — столь мягко прозвучали эти слова, как если бы их произнесла та алая роза, аромат которой она вдыхала, а не ее алые губы. — Но сейчас осень, не весна, — сказала она, прикалывая цветок к своему платью. — Или вы, как великий властелин, распоряжаетесь временами года как своими подданными? Заставляете их приходить и уходить, когда вам угодно?

Два столика находились вне пределов слышимости друг от друга, но видно было все очень хорошо. Питер Шеррилл наблюдал за леди своими глазами олуши. Когда от неосторожного движения ее меховая накидка сползла, обнажив ее шею и волосы несравненной красоты, он схватил меню, вытащил из кармана кусочек мела и принялся торопливо рисовать. Каруэлл,

262 Алкей (пер. В. Вересаева).

со своей стороны, все это время, как во сне, смотрел на нее, будто позабыв, где находится.

— Но преимущество абсолютного скептицизма, — говорил Лессингем, зажигая новую сигару, — состоит в том, что, достигнувший этой точки становится свободным: свободным верить или не верить во все, что ему вздумается.

— Например?

— Например, в то, мадам, что мы с вами сидели на этой пьяцце двадцать пять лет назад — здесь, в Вероне, и, кажется, за этим же самым столиком — обсуждая поступки Бога.

— Двадцать пять лет назад? Не самый приятный комплимент!

— Божественность — единственная разгадка.

Она промолчала.

— Вам еще нет двадцати пяти?

— Мне девятнадцать, синьор.

— Вы неизмеримо старше. Вы старше мира. Думаю, даже старше Времени.

— Странная выдумка.

— Разве это не правда?

— Звучит не слишком-то похоже на правду.

Лессингем смотрел на профиль ее лица, застывшего в равнодушном, отстраненном, созерцательном выражении, лица прекрасного, чью красоту не передать и греческим скульпторам, в высоких скулах которого, в обводах ресниц и губ, в линиях крыльев носа таилось нечто жесткое, резкое, непередаваемое словами, а в волосах, любовно свернувшихся виток за витком на ее затылке подобно гибкому ночному хищнику, крылась некая загадочность, беспредельность желаний и сонное довольство от осознания собственной таинственности.

— Я не просто полезная безделица, — произнесла она очень тихо, — и не стану таковой ни для одного мужчины.

— Я смотрю на женщин, — сказал он, — не как на безделицы, но как на Ее наряды.

— Что это еще за «Она»?

— Не обращайте внимания. Я знал Ее. Очень близко. Знал годы и годы. Если бы вы были Ею, синьора, посещали ли бы вы этот мир?

Он увидел, как нечто изгибается и потягивается, будто самодовольный кот, в районе ее рта и ноздрей, а она отвечала:

— Может быть. Иногда. Если бы мне это показалось забавным. Не слишком часто.

— А вам это кажется забавным? «Ça m'amuse» — разве вы не говорили этого? Двадцать пять лет назад?..

— Откуда мне знать, говорила ли я что-либо до того, как родилась?

—…Этот заводной, бутафорский мир, подчиняющийся Времени и бесконечной цепочке причин и следствий? Где второй закон термодинамики утверждает, что со временем — быть может, через миллион или миллиард лет, но со временем — всему этому придет конец? Оно не умрет, ибо быть мертвым означает пребывать в состоянии, называемом Смертью, а Смерть и сама прекратит существование. Оно не будет и забыто, ибо некому будет забывать. Ни забывать, ни помнить. Конец, предрекаемый великим законом энтропии, несокрушимой пустотой окончательного Ничто… Ça vous m'amuse, madame?[263]

С едва заметным, то ли насмешливым, то ли прислушивающимся наклоном головы она ответила:

— Pour le moment, — oui, monsieur. Ça m'amuse[264].

— Pour le moment? А в следующий момент, утомившись, бросите это, покончите с этим и займетесь чем-нибудь другим. Ах, если бы только и мы так могли.

— Это просто.

— Пистолет, или передозировка веронала?

— По-моему, это уже чересчур просто.

— Это требует храбрости. Храбрости азартного игрока. Быть может, если бы люди знали, знали без каких-либо оговорок или сомнений, что ждет их за Дверью, мир остался бы без жителей? Не окажется ли Смерть для верующего слишком легкой, слишком знакомой и нестрашной?

— Кто может это знать?

— Что такое «знать»? Знаю ли я, что моя гостиница все еще там, где я оставил ее после обеда?

— Вам никогда не приходило в голову, что мы могли бы забывать?

263 «Это вас забавляет, мадам?» (фр.)
264 «На данный момент — да, месье. Это забавно».

— Мне многое приходило в голову. Скажите мне, синьора, не казалось ли вам когда-либо, что, когда все это наскучивает, самоубийство может оказаться достойно похвалы?

Она взглянула на него своими зелеными глазами и медленно улыбнулась своей обычной улыбкой:

— Бог — не пчела, которая, утратив жало, больше ужалить не может. И мне кажется, синьор Лессингем, я (в моем нынешнем настроении) хотела бы, чтобы вы играли в игру по всем ее строгим правилам.

— И мы ничего не можем взять с собой из этого мира. Разве не так?

— Разве мы, наоборот, не забираем все, что стоило бы забрать?

— Как знать. Для меня то, что стоило бы забрать, уже утрачено. И все же, как могу я перестать любить этот мир, что столь долго был моим другом? И все же… все это слова, синьора. Кто мы такие, чтобы обсуждать это? Кто я такой? Вы не можете ответить, если бы даже и хотели. Откуда мне знать, может быть вас вообще здесь нет. Я есть, но вы… как и все это: эти люди, это место, это время, вы ускользаете из моих рук, будто неуловимый ветер или сновидения.

— Быть может, синьор, мы недостаточно, не в той мере, в какой должны, вверяем себя небесам.

— Вы забыли, — сказал Лессингем. — Так я вам напомню то, о чем вы забыли, то, как я давным-давно сказал вам: «Je ne crois pas en Dieu», а вы это одобрили, сказав, что такой изъян (в молодом человеке), как вера в Бога, достоин сожаления. Я еще не старик, синьора, но я знаю больше, чем знал в те дни. И вынес большее.

— Это тоже забавляет вас? — вдруг спросил он. — Вас, что путешествуете по миру, беспрестанно меняя обличья?

— Да. Очень, — сказала она, приподняв подбородок и выдержав его взгляд. Ее неутолимая страстность, мощью подобная ветру или морской волне, казалось, заставила все тело ночи затрепетать.

— Уже десять, — сказал Лессингем после минутной паузы, наклоняясь ближе через стол. — Не окажете ли мне честь, синьора, отужинав со мной в моих гостиничных апартаментах, что выходят на реку и на Понте Веккьо[265]? Там мы сможем более подробно обсудить портрет, который я должен с вас написать.

265 Понте Веккьо — имеется в виду Понте Кастельвеккьо или Мост Скалигеров через реку Адидже.

Быть может, в то мгновение не в орлиные, стально-серые с крапинками глаза Лессингема взирала она, но в куда более беспокойные, желтовато-карие, заглядывавшие в самое нутро глаза герцога Зайанского. Медленно, без улыбки, по-прежнему не сводя с него глаз, она наклонила голову.

— Да, — ответила она. — Да.

Над Вероной занималась заря. Лессингем в своем халате из темно-винной парчи смотрел с балкона на то, как окрашиваются розовым сиянием зубчатые кирпичные стены Понте Веккьо, как внизу бурные воды Адидже стремят свой неустанный бег от гор к морю. Довольно долго пробыл он там, наедине с росистым утром, охваченный воспоминаниями о прошедшей ночи, которые было не передать словами, и последним из которых было воспоминание о ее словно на заре жизни погруженных в сон лице и теле, о лишенном покровов, вечно новом чуде его и ее, о том, сколь безмятежна, чиста и удивительна спящая женщина, а также о извечной загадке сна и смерти, что подобна хрупкой музыке крыльев летящих высоко-высоко и невидимых в тумане лебедей.

Она же, когда пришло время, сделав один лишь шаг, перенеслась из итальянской осени в зимиамвийское лето, из выходившей на Понте Веккьо и златокрылую зарю комнаты под непроницаемую для звездного света сень земляничных деревьев, где герцог Барганакс, по-прежнему безмолвно наблюдавший за этим, теперь столь же безмолвным, ужином, ожидал в одиночестве.

Герцог не шелохнулся, не взглянул на нее, лишь прошептал:

— Это сон? Или нет?

— А как вы думаете, мой друг? — в слабой насмешке, таившейся в каждой нотке голоса этой леди, словно крылось нечто не от мира сего.

— Как по-вашему должен я думать? — ответил он.

Он двинулся к ней через темноту наощупь, нашел и притянул к себе.

῾κἄλθ᾽ ὅσα μαίνης μ᾽ ἄδεα καλλόνᾳ

Приди, пьяня своею сладкой красотой[266]

Ее талия в его руках была податливой, как податлива юная ночь, что

266 Сапфо, «Сказала это ты, Аттида…».

увлекаема закатом к его западному ложу и являет свою красоту в сиянии вечерней звезды.

— Вы обжигаешь меня, — выдохнул он. — О, вы, чьи дары не оскудевают.

Она рассмеялась под поцелуями своего служителя. И в Ее смехе он услышал, почувствовал музыку, от звуков которой темнело в глазах, будто сброшены были покровы, доселе скрывавшие неведомые бездны тьмы, и он остался наедине с ними, с Нею и с этой музыкой, во всем их несказанном блаженстве. Он сжимал ее в объятьях, и блаженство словно простерлось от надира к незримому зениту, и сердце тьмы забилось чаще, как земной ночью бледнеет в ожидании восхода луны восток, и высоко над самой тусклой, самой дальней, едва заметной звездочкой, звуки этой неизменной, неторопливой, потаенной музыки плыли и сверкали, став видимыми в белом экстазе огня. И гром прокатился от одной тьмы до другой, подобно трубе Бога, и устои преисподней и небес с грохотом столкнулись, обрушив вниз водопады теней и разметав время. Так вечный миг созерцает сам себя у вечного моря, что дремлет перед блаженным Пафосом.

Воцарилось молчание, нарушаемое лишь шепотом Кампаспы, подобным шороху слабо плещущих волн в камышах в безветренную осеннюю полночь:

— Владыка Миров, бессмертный и незримый.

Но король, что все еще взирал сверху вниз, облокотившись на стол, на этот удивительный созданный им мир, не двигался, охваченный приятной истомой человека, дремлющего в тех пограничных сферах, где серый свет зари — единственная реальность, да и та не материальнее ускользающего аромата забытого сновидения. Его усы шевельнулись в подобии улыбки, по мере осознания того, сколь долго он простоял, сжимая рукой дверную ручку, в то время как его разум, в безвременье созерцания летел вслед за этой музыкой. Способный легчайшим мимолетным прикосновением вызвать к жизни только зарождающуюся и столь желанную радость, он отпустил ручку, сделал один или два шага назад и, опершись спиной на старую дубовую балюстраду, замер, глядя на дверь. Позади него, внизу, в квадратном колодце холла, пульсировали и колебались теплые отблески и теплые движущиеся тени, а время от времени, когда рушились поленья и пламя вспыхивало ярче, темных филенок двери достигало лучезарное копье света. Он посмотрел через плечо вниз.

В золотых бра на стенах пылала пара десятков свечей. На стуле валялся ее охотничий хлыст, на другом — ее принадлежности для шитья и пакетики с семенами трав (он различал нарисованные на них цветные картинки); на столе посреди холла лежали письма, подписанные и с наклеенными марками, готовые к отправке, а также ее счетная книга и маленький золотой карандашик. У огня на огромном белом ковре из медвежьей шкуры вытянулась во сне Шейла, ее маленькая такса с короткими ножками, косматая, со стально-серой шерстью и откинутыми назад пушистыми ушами, похожими на крылья летучей мыши; она то и дело подергивалась во сне, возбужденно и приглушенно взвизгивая. Нарциссы в стоявшей посреди стола серебряной вазе примешивали к аромату свечей и горящего дерева свой весенний аромат.

Он подошел к эркеру в конце галереи по левую руку от себя, распахнул окно настежь, чтобы вдохнуть напоследок этого полного обещаний воздуха, и постоял минуту на балконе. Сумерки окутали сад и реку. Откуда-то доносились тихие звуки устраивавшихся на ночлег дроздов. Коупландские холмы на западе были четко очерчены на фоне неба, в нижней части все еще пылавшего водянистым оранжевым светом. Небесные выси не были ни синими, ни серыми, ни зелеными, ни розовыми, но окрасились во все эти цвета вместе, и в то же время казались слишком тусклыми для какого-то одного из них; вся беспредельность небесных пространств словно явилась взору обнаженной, безукоризненной и совершенной, преисполненная обещания грядущей ночи и нового дня. По этим чистым небесам плыли к морю два или три огромных дымчатых облака, остальные же, сгрудившись хлопьями тьмы, простерлись на горизонте к югу от места, где зашло солнце. В яблонях укладывался спать ветер. Начавшая зажигать свои самоцветы ночь украсила свое чело вечерней звездой.

Он вернулся обратно, повернул ручку, вошел и запер дверь за собой. Перед ним лежал сумрачный вестибюль; в стенных проемах слева и справа горели ночники, источая ароматный запах воска. Его шаги по ворсистому ковру были неслышны. За дюжину шагов он добрался до дверного проема. Дверей в нем не было, его занавешивали роскошные портьеры, окрашенные в тускло-зеленый оттенок мохового агата. В двух аметистовых чашах на золотых столах, справа и слева от входа, стояли бессмертные цветы: темные и молчаливые цветы райского непентеса, пропитывавшие воздух своим благоуханием.

Он раздвинул портьеры и замер на пороге. Пойманная меж теплым светом камина и сверканием свечей, у туалетного столика вновь сидела перед свои зеркалом в черепаховой оправе Мэри.

Сквозь слепившее глаза сияние он увидел, как она встает, увидел, как поворачивается к нему, и как платье из морской пены пеною же скользит к ее ногам. Подобно тому, как ветер налетает на стоящие на склоне гор дубы, ее красота окутала его, невыносимая, нестерпимая для любого глаза. И раздался крик — ужасный, всепоглощающий; голос будто взывал ко всем Богам, людям, зверям, птицам, рыбам, пресмыкающимся, дабы те склонились перед Ней и вознесли хвалу Ей, что солнце с луной должны быть счастливы, звезды — петь, а ветра и горы — смеяться ради Нее, а золотые чертоги Творца, столь желанное место сбора Богов, открыты перед Нею, как было, есть и будет всегда. Он словно омертвел, закрыв лицо руками при виде Ее, стоявшей на безвременном берегу; он, смертный, что не однажды, но десять тысяч раз, десять тысяч раз…

ἀθανάτῃ παρέλεκτο Θεᾷ βροτός, οὐ σάφα εἰδώς·

— с вечной богинею… и сам того точно не зная[267]. При этой мысли, подобно тому, как холодеют сердечки и опускаются крылья Ее голубей, замер и он.

Встряхнувшись, король очнулся от задумчивости, в которой затерялся в последние минуты, и откинулся в своем золотом кресле. Некоторое время он искоса наблюдал за Нею, что сидела подле него, потупив взор и будто прислушиваясь к самой себе; ее ресницы были опущены и неподвижны, глаза неподвижны и открыты, а уста сомкнуты, загадочные, прохладные и непорочные, будто горлышко белой лилии, но и таившие в себе некий слабый отблеск тигриного неистовства, живого, но дремавшего в уголках Ее рта. Он промолвил очень тихо:

— Итак, сеньорита Мария?

Едва заметным движением она прильнула ближе. Подобное мотыльку прикосновение ее руки к его рукаву сказало ему, что она дрожит. Его рука нашла ее, лежавшую у нее на коленях под столом. Шепотом она проговорила:

— Это было не больно, правда?.. Это путешествие?

— Путешествие — нет, — ответил он. — Лишь неведение.

— Неведение? У вас, что знает все? Все былое, настоящее и грядущее, а также то, чего никогда не будет?

267 Цитата из гимна Гомера («К Афродите»), пер. В. Вересаева.

— Неведение — там — что вам не было больно. Не забывайте, я влачил там свое существование еще пятьдесят лет, все также желая вас.

— Но вы ведь знали даже там, мой друг?..

А мы, мадонна, не изгои ль мы теперь?..

Вы ведь помнили об этом?

— Кое-что мы знали даже там. Кое-что будем помнить.

— Но к чему помнить истинное и совершенное? Ведь все это — наше. К чему помнить о том, сколь прелестно настоящее?

Король улыбнулся:

— «Помнить» — всего лишь слово.

Они посмотрели на хрупкое творение, что покоилось на столе перед ними.

— После этого еще пятьдесят лет провел я там, — промолвил король. — А здесь — сколько это заняло? Мгновение ока. И, как видите, мир этот содержит в себе семена своей собственной гибели. Он не развивается, но переходит обратно в себя, и всякое существо там с течением Времени становится все более подвержено разложению. Как серы ночью все кошки, так и прах всех живых существ, смешанный с чистой водой, превращается в серую грязь.

Это, как мы и предполагали, странный и несчастливый мир, — продолжал он. — Он очень похож на этот, настоящий, только искажен. Канва та же, те же шелка, тот же узор, те же цвета, но чего-то все же не хватает. Как будто непослушный ребенок распустил, разрезал нити в разных местах, испортил его.

Ее рука была неподвижна в сжимавшей ее под столом руке короля.

— Нам с вами пригрезилось это… этот сон… Я боюсь, — вдруг сказала она и спрятала лицо на его плече.

За утешающими прикосновениями руки короля, которая нежно, как чего-то слишком драгоценного для прикосновений, касалась то ее склоненной шеи, то рыжего великолепия ее заплетенных в высокой прическе волос, она услышала, как Зенианта говорит голосом гамадриады, что доносился будто из молчаливого сердца обширной дубравы:

То явь была — иль сон правдивей яви?
Бессмертен сон богов — и в долгой славе
Текут их дни, блаженны и ясны[268].

268 Дж. Китс, «Ламия» (пер. С. Сухарева).

— Был ли то сон? — прошептала герцогиня, — или сон — все это? Что из этого реально?

— То, что я люблю вас, — промолвил он, — и во сне и наяву. Помимо этого лучше ничего не знать.

Она подняла голову.

— Но вы… Я уверена, вы знаете.

— Я знаю, — ответил он. — Но я могу забывать, как забываете и вы. Забывать необходимо.

— Вы говорите, это всего лишь слово — «помнить». Будем ли мы с вами помнить..?

Король притянул ее к себе, чтобы сказать ей на ухо:

— …Сегодня в Комнате Лотосов?

— Да, дорогой мой, любимый мой, друг мой, в Комнате Лотосов.

— А у нас, мадонна, — своя Комната Лотосов? — тихо промолвил Темной Леди стоявший позади, в темноте, герцог.

Нетронутый снег не был столь безупречен, как белизна ее шеи там, где ее унизанная кольцами рука дотронулась до нее, гладкая и нежная рядом с блестящими и туго заплетенными косами ее черных как смоль волос.

— Со стороны вашей светлости, — отозвалась она, не оборачиваясь, — мудро будет оставить эту манеру.

— Какую манеру, дорогая Леди Немиротворица?

— Вести себя так, будто вы мой муж.

— Клянусь небесами, я хотел бы им быть.

— И вы не опасаетесь оказаться в положении bessо или cornuto[269]?

— Не желаю слушать вас, оса. Тот, кто украдет у меня жену… в общем, пример у вашей милости уже имеется: невредимым он домой не вернется.

Она рассмеялась звоном лютневых струн, и бархатистая ночь, казалось, наполнилась кружением светлячков.

— О, речи вашей светлости чаруют похлеще песен соловья, лишая меня всяких сил. Где уж мне, бедной и беззащитной женщине, устоять перед сладкими словами да грубым напором.

Гибкая, будто самка леопарда, она ускользнула от него и, шагнув из тени на свет, лениво приблизилась к столу. Красота ее тела, как представлялось наблюдавшему за нею взволнованному взору, сияла, несмотря на лиф

269 Bessо, cornuto (ит.) — «рогоносец».

и облегающие покровы платья, столь же безупречной изобильностью, как у Венеры Тициана, что возлежит, обнаженная, на софе в залитом солнцем дворце Урбино; это было тело, в своей лебединой податливости и граничащем с болью великолепии более эфирное, более нежное и легкое, чем души иных женщин.

— Вы дали обещание и не можете теперь забрать его назад, — сказал ей на ухо герцог, следуя за ней.

— Я еще не решила. И потом, — добавила она, — мне кажется, как только я решу, сразу же передумаю.

Король поднялся во всем своем величии, а с ним герцогиня Амалия. После этого встали и все сидевшие за столом; все, кроме одного лишь наместника, который, будучи несведущ в философии и благоразумно утопив в вине скуку не особенно близкой его вкусу беседы, пьяный, спал в своем кресле. А король, сжимая руку Амалии в своей, заговорил:

— Пора прощаться. Ибо, как сказал поэт:

Спят вершины высокие гор и бездн провалы,
Спят утесы и ущелья,
Змеи, сколько их черная всех земля ни кормит,
Густые рои пчел, звери гор высоких
И чудища в багровой глубине морской.
Сладко спит и племя
Быстролетающих птиц[270].

И, поскольку завтра великая сцена мира ожидает моего выхода, и не столь много подобных ночей предстоит вкусить нам в прекрасном Мемизоне, то пожелаем, чтобы в эту ночь для всех, кто сидел за вашим столом, мадонна (как желала Сапфо с Лесбоса), длина ее удвоилась. А почему мы этого желаем, — добавил он на ухо Амалии, — нам с вами прекрасно известно, ибо Ночь, обладающая множеством ушей, возвещает нам об этом из-за далекого моря.

Но когда два десятка маленьких мальчиков-факельщиков выстроились в две шеренги, чтобы проводить их в опочивальни, и гости начали расходиться парами, лорд Бероальд, взглянув на заключенное в сферу творение, все еще висевшее там, где его оставил король, сказал:

— Что будет с этим новым миром, который ваше сиятельство изволили сотворить для нас?

270 Алкман (пер. В. Вересаева).

Король замер в полуобороте.

— Я и забыл про него. Неважно. Оставьте. Он угаснет сам собой. Ибо, — произнес он, бросив взгляд через плечо на Фьоринду, — правильно истолковав, я надеюсь, образ в вашем мозгу, госпожа моя, я воспользовался случаем дать всем вашим составляющим его крохотным сущностям самый главный закон: чтобы с каждым изменением в фигурах их танца они, повинуясь неизбежной судьбе, все больше и больше сообразовывались с той фигурой, которая по самой их природе наиболее им близка; и когда они ее, наконец, достигнут, вы не обнаружите более танца, но увидите неподвижность; более не Бытие, но Небытие, конец мира и прекращение существования всех вещей.

Рука герцогини крепче сжала его руку. Фьоринда сказала:

— Я обратила внимание на это замечательное и хитроумное дополнение. И покорно благодарю ваше королевское высочество за труды, что вы приложили, дабы доставить мне удовольствие.

— О, так мы покончили с ним? — произнесла герцогиня. — Разве не началось все с ее неоперившейся прихоти? — взгляды ее и Фьоринды скрестились и разошлись, будто выписываемые светлячками потаенном воздушном танце дуги. — Это ради нее он вообще был создан.

— Что до меня, — промолвила та, — то мне он уже несколько наскучил. Он свое отслужил. И представься еще один случай, его сиятельное высочество, несомненно, с легкостью могли бы сотворить лучший.

Король засмеялся в свою черную бороду.

— Несомненно, мог бы. Несомненно, когда-нибудь я так и сделаю. Впрочем, — добавил он шепотом, предназначенным лишь для ушей этой леди, и посмотрев вдруг ей прямо в глаза, — я, несомненно, уже это сделал. Иначе, о, Кознодейка, как бы Мы оказались здесь?

Антея прошептала что-то, не слышное никому, кроме Кампаспы. Их глаза дриад, также как и принцессы Зенианты, обращались то на короля, то на Барганакса, то снова на короля.

И вот, когда собравшиеся уже двинулись было по направлению к летнему дворцу герцогини, леди Фьоринда, томно и расслабленно опираясь на руку Барганакса, лениво вытащила из волос на затылке сверкавшую анахитскими алмазами шпильку и лениво ткнула ею в творение короля. То с едва слышным звуком лопнуло, оставив на столе, где оно лежало, маленькое мокрое пятнышко размером с ее ноготь. Герцог увидел светлячков в ее волосах. Его взгляд

встретился с ее взглядом, в котором застыло обоюдное и навеки невысказанное понимание его дикой и невероятной догадки о том, Кем на самом деле Она являлась; Она, что ради бездонной неукротимости его натуры и его неутолимых желаний и страстей, которые уверенность и спокойствие только лишают вкуса, низошла с небес, вступив с ним в этот опасный рай, столь хрупкий, столь ненадежный, столь неизмеримо сладостный, и если и неподвластный умиранию, то это, к счастью, оставалось неведомо… Ее горько-сладостный дар:

γλυκύπικρος ἐρως[271].

— Итак? — промолвила она, неторопливо обмахиваясь веером по пути к дворцу, медленно повернувшись к нему, обратив на него свой взгляд из-под трепещущих ресниц; и лицо Ее было началом и концом всей безбрежной вечности всех мыслимых миров. — Итак? Что же дальше, Мой Друг?

271 γλυκύπικρος ἐρῶς (др. греч.) — «горько-сладостная любовь».

Действующие лица

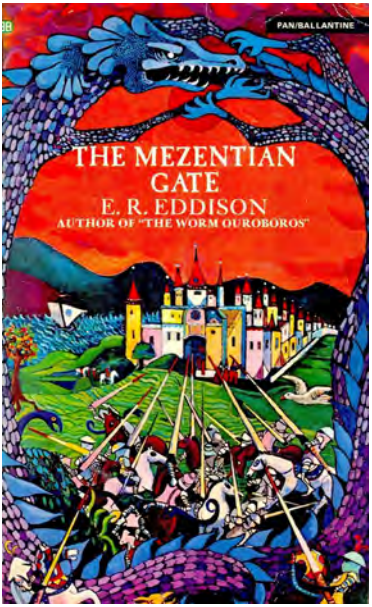
Действие начинается 24 июня, Anno Zayanæ Conditæ 775. В данном списке номер главы, в которой каждое из действующих лиц упоминается впервые, приводится в скобках после его или ее имени.

Король Мезенций	(II)	Властитель Фингисволда, Мезрии и Ререка	
Барганакс	(V)	Герцог Зайанский, побочный сын короля Мезенция	
Герцогиня Мемизонская	(II)	Мать Барганакса	
Фьоринда	(II)	Младшая сестра канцлера, фрейлина герцогини	
Стиллис	(VII)	Сын короля Мезенция	
Горий Парри	(II)	Лорд Лаймакский, наместник короля в Ререке	
Иеронимий	(II)	Верховный адмирал Фингисволда	
Бероальд	(II)	Канцлер Фингисволда	
Родер	(II)	Фингисволдский граф	
Боденай	(II)	Королевский судья Фингисволда	
Эркель	(VI)		Ререкские принцы
Арамонд	(VII)		
Гильман	(VII)		
Валеро	(II)		
Медор	(VI)	Мезрийский граф, предводитель гвардии Барганакса	

Барриан	(X)		Мезрийские лорды и дворяне
Ибиан	(VI)		
Мелат	(VI)		
Морвилль	(II)		
Зафель	(VI)		
Аркез	(VII)		Ререкские лорды и дворяне
Клавий	(VII)		
Мандрикард	(VII)		
Ольпман	(VII)		
Россильон	(VII)		
Сормс	(VII)		
Статмар	(VII)		
Вандермаст	(VI)	Ученый, помощник Барганакса	
Габриель Флор	(VII)	Помощник наместника	
Зенианта	(XV)	Фингисволдская принцесса, племянница короля Мезенция	
Беллафронт	(VI)		Дамы при герцогском дворе в Зайане
Пантасилея	(VI)		
Антея	(VIII)		Дамы при герцогском дворе в Мемизоне
Кампаспа	(VIII)		
Лидия	(VI)		
Мирра	(VI)		
Нинетта	(VI)		
Виоланта	(VI)		

E. R. Eddison

The Mezentian Gate



Мезенциевы врата

Первое издание: март 1958

Перевод с английского

Nebehr Gudahtt © nebehr.blogspot.com

У. Дж. Э.,
ТЕБЕ, MADONNA MIA,
а также
МОЕЙ МАТЕРИ,
моим друзьям,
ДЖОНУ И ЭЛИС РЕЙНОЛЬДС
и
ХАРРИ ПИРИ-ГОРДОНУ,

исследователю, в котором (как и в Лессингеме) я нахожу то редкое сочетание человека действия и ценителя необычайного и прекрасного во всем многообразии их проявлений, того, кто смеется, когда смеюсь и я, кто любит то, что люблю и я, и кому я обязан своим знакомством (посредством Саги об оркнейцах) с земным прообразом моей леди Росмы Парри,

ПОСВЯЩАЮ Я ЭТУ КНИГУ

Мешать соединенью двух сердец
Я не намерен. Может ли измена
Любви безмерной положить конец?
Любовь не знает убыли и тлена.
Любовь - над бурей поднятый маяк,
Не меркнущий во мраке и тумане.
Любовь - звезда, которою моряк
Определяет место в океане.
Любовь - не кукла жалкая в руках
У времени, стирающего розы
На пламенных устах и на щеках,
И не страшны ей времени угрозы.
А если я не прав и лжет мой стих,
То нет любви - и нет стихов моих!

Шекспир[272]

«И с торжеством ты вступишь в свой Персеполь»!
Не правда ль, сладко быть царем, Техелл?
Узумхазан и Теридам, не правда ль,
Всего на свете слаще быть царем
И с торжеством вступать в свой град Персеполь?

Марло[273]

Пробудить такую любовь, как моя любовь к тебе, способна только Красота — иного я не в силах представить. Может существовать и другая любовь, к которой без тени насмешки я готов питать глубочайшее уважение и восхищаться ею в других людях — но она лишена того избытка, того расцвета, того совершенства и очарования, какими она наполняет мое сердце.

Китс[274]

272 У. Шекспир, сонет CXVI (пер. С. Маршака).
273 К. Марло, «Тамерлан великий» (пер. Э. Линецкой).
274 Дж. Китс, «Письма» (пер. С. Сухарева).

Вводные замечания

Мой брат Эрик умер 18 августа 1945 года. В ноябре 1944 он сделал следующую запись:

«Начальные главы (включая Прелюдию) этой книги под названием «Мезенциевы врата», а также примерно последние сто страниц, где происходит кульминация событий, завершены. Две трети ее еще предстоит написать. Прилагаемое Краткое Содержание с Датами обрисовывает общий порядок повествования в этих ненаписанных еще главах. Даты даются Anno Zayanæ Conditæ, со дня основания города Зайана.

Книга на данной стадии представляет собой портрет маслом в полный рост, на котором лицо уже написано, все же остальное лишь грубо набросано углем. Как таковая, она обладает достаточной связностью и завершенностью и является чем-то большим, нежели просто неоконченный фрагмент. По сути, как мне представляется, даже в нынешнем своем виде это моя лучшая работа.

Если по несчастливой случайности мне не удастся завершить эту книгу, я хотел бы, чтобы она была издана как есть, вместе с Кратким Содержанием, заменяющим ненаписанные разделы.

Э. Р. Э. 7 ноября 1944 года».

Между ноябрем 1943 и августом 1945 г. был закончен черновой вариант еще двух глав, 28 и 29, которые и заняли свое место в тексте.

Написанное в январе 1945 г. письмо свидетельствует, что в процессе работы над книгами со II по V мой брат, видимо, опустил кое-какие детали, включенные в Краткое Содержание. По большому же счету, однако, не может быть никаких сомнений, что он собирался строго придерживаться содержания.

Мой брат намеревался использовать репродукцию картины Эль Греко, о которой он упоминает в конце вступительного письма. Уверен, он высоко оценил бы приведенный на фронтисписе рисунок Кита Хендерсона и отдал бы предпочтение именно ему. Репродукция была использована с любезного разрешения Испанского общества Америки[275] в качестве прототипа для этого рисунка.

275 Испанское общество Америки — музей в Нью-Йорке.

Мы глубоко благодарны старому другу моего брата, сэру Джорджу Ростревору Хэмилтону, за его консультации и безмерную поддержку, оказанную им при подготовке «Мезенциевых врат» к изданию. Мы также весьма признательны за великодушную помощь сэру Фрэнсису Мейнеллу, разработавшему типографский макет книги. Карты были подготовлены покойным Джеральдом Хейсом для других томов трилогии, частью которой «Мезенциевы врата» и является.

К. Р. Э.

Вступительное письмо

Моему брату Колину

Дорогой брат. Пусть и не по умыслу, но вышло так, что моя зимиамвийская трилогия писалась в обратном порядке. «Владычица из владычиц», первая из этих книг, повествует о двухлетнем периоде, начавшемся «через десять месяцев после смерти на пятьдесят четвертом году жизни в своей островной крепости Сестола, что в Мезрии, великого короля Мезенция, властелина Фингисволда, Мезрии и Ререка». «Рыбный ужин в Мемизоне», вторая книга, а вернее ее зимиамвийская часть, относится к промежутку длиной в пять недель, окончившемуся приблизительно за год до смерти короля. Настоящая, третья, книга, «Мезенциевы врата», начинается за двадцать лет до рождения короля и заканчивается его смертью. Каждая из трех книг является законченным произведением, но, прочтенные вместе (начиная с «Мезенциевых врат» и кончая «Владычицей из владычиц»), они представляют собой последовательное повествование, покрывающее более семидесяти лет в особом мире, придуманном для своего Возлюбленного Афродитой, ради которой (сколь бы невероятным ни показалось это читателю) сотворены все миры.

Трилогия, как я теперь сознаю, в будущем превратится в тетралогию, а тетралогия (как дуб, что с годами только разрастается вширь и ввысь), возможно, даст впоследствии начало новым побегам. Ибо несомненно то, что разработка этой темы не позволяет раскрыть ее так, как мне бы хотелось, что тема сама по себе неисчерпаема. Если подытожить это словами философа, который (как немногие из философов) является поэтом по складу ума и великим

мастером, Джорджа Сантаяны: «*Божественная красота очевидна, мимолетна, неуловима и бесприютна в мире материальных фактов; однако же, она, несомненно, индивидуальна и самодостаточна, и, хотя быстро тускнеет, никогда окончательно не гаснет, ибо во времени она лишь гостит, принадлежит же вечности*». Я наткнулся на эти слова, когда писал «Рыбный ужин», и они пришлись мне особенно по душе, поскольку явились катализатором, что позволил выкристаллизоваться мыслям, уже давно бродившим в моем мозгу.

В этом мире, в Зимиамвии, Афродита, словно в наряды, единовременно облачается во множество различных инкарнаций, и у каждого наряда есть своя личность, своя душа. В обличье герцогини Мемизонской, к примеру, Она будто пребывает во сне: скромная, невинная, позабывшая о своей олимпийской обители; в этом наряде Она может (и не догадываясь обо всей необычайности происходящего) видеть саму Себя, разговаривать с той, что, пользуясь всеми Своими божественными прерогативами и целиком и полностью отдавая себе в этом отчет, находится подле Нее в лице ее фрейлины.

Сверхъестественность Зимиамвии заключается в том факте, что никто не желает ничего в ней менять. Точнее говоря, никто, кроме нескольких людей со слабым характером, проваливших свое испытание и (как по твоим, так и по моим убеждениям и надлежит всякому злу), лишившись даже того иллюзорного подобия существования, которое у них было, и канувших в лимб небытия. Зимиамвия в этом смысле подобна нашему миру времен саг: в ней нет места болезни души. В этом мире, прекрасно согласующемся с их способностями и нравами, мужчины и женщины всех сословий наслаждаются блаженством в аристотелевом понимании ἐνεργεία κατ᾽ ἀρετὴν ἀριστήν (деятельности сообразно наилучшей из добродетелей). Габриель Флор, к примеру, и не помышляет о том, чтобы стать наместником Ререка; для утоления его жажды власти довольно и того, что он служит своему хозяину с собачьей преданностью.

В голову может прийти мысль, что столь темным и жестоким персонажам, как наместник, или его дядя, лорд Эммий Парри, или дочь Эммия, Росма, не место в этих лугах асфоделя, где властвует само воплощение Красоты. Однако ответом на это будет (и ответ этот не нов): «Враги Господа — тоже его дети». С этой взаимосвязью проще примириться и принять ее на веру в идеальном мире наподобие Зимиамвии, нежели на нашей тренировочной или испытательной площадке, где загадочным образом обитают эти

хлипкие и боязливые человеческие существа, столь часто отважные и милые поодиночке, а в массе своей столь тупые и никчемные, бредущие через трясину, что засасывает нас по колено, хоть временами и бросающие мимолетный взгляд на великолепие далеких звезд. Когда львы, орлы и волчицы вырываются на свободу посреди того стада хилых овец, каковыми мы в большинстве своем являемся, мы охотнее покоряемся мощи их когтей и зубов ради продолжения собственного существования, нежели обращаемся к созерцанию их величия. В своем стремлении во что бы то ни стало не превратиться в их добычу мы забываем, что и они sub specie æternitatis занимают свои места (более высокие или более низкие в соответствии с целостностью своей натуры и чистотой и непорочностью своей жестокости) в иерархии истинных ценностей. Этот наш мир, как нам вполне резонно представляется, не место для них, а они — не самые подходящие для него обитатели; однако же скучна была бы жизнь в небесной обители и невелик простор, на котором могло бы развернуться Всемогущество, будь все эти великие и выдающиеся злодеи изгнаны из «этой звездной галереи» и отправлены в «проклятое подземелье».

«Мезенциевы врата», последняя книга в порядке написания, тем самым является и первой с позиций зрелости. Она никоим образом не замещает и не вносит поправок в более ранние книги, но, как мне кажется, в некотором роде проливает на них свет. «Владычица из владычиц», оставив неисследованными взаимосвязи между этим, иным, миром и нашим настоящим, тем, что происходит здесь и сейчас, привела к написанию «Рыбного ужина»; этот же труд, в свою очередь, в своей кульминации поднял вопрос о том, не имело ли случившееся за тем конкретным ужином более всеобъемлющих и грандиозных последствий, совершенно затмевающих собой все то, что касается судеб этой планеты. К тому же, на тот момент я влюбился в Зимиамвию и в своих персонажей, а любви свойственна любознательность, которая никогда не может быть до конца утолена (это и к лучшему, иначе человечество вымерло бы со скуки). Кроме того, я хотел разобраться, как вышло, что великий король, все еще находясь на пике своего могущества, встретил в Сестоле свою смерть, и почему оставленные им Три Королевства погрязли в раздорах. Эти загадки и породили «Мезенциевы врата».

К событиям, происходящим с нами ныне — политическим, социальным и экономическим — это повествование (также как и его предшественники) имеет столь же мало отношения, как и к операциям на Фондовой Бирже,

техническим деталям аэродинамики или теории векторов. Не является оно и аллегорией. Аллегория, если персонажи ее живут своей жизнью, есть проституирование их личностей, так как заставляет их действовать, исходя из целей, отличных от их собственных. Если же своей жизни у них нет, то это просто подмена идей искусственностью и холодным притворством. Для меня персонажи и есть идея. И я не настолько глуп, чтобы брать на себя ответственность за идею, ибо по сути своей это великая и извечная истина, рядом с которой, как я временами склонен думать, ничто другое не имеет особого значения.

Таким образом, роман этот — серьезная книга, а не сказочная история и не рассказ для детишек и младенцев, хоть (и тебе, знающему мой характер, это объяснять ни к чему) и не чрезмерно глубокомысленная. Ибо разве Афродита не φιλομμειδής — «любящая смех»? Но вместе с тем Она и αἰδοίη — «внушающая ужас» Богиня. А еще Она ἑλικοβλέφαρος — «с ресницами гнутыми», и γλυκυμείλιχος — «сладкая как мед»; Она — Богиня Любви, а Любовь сама по себе — γλυκύπικρον ἀμάχανον ὄρπετον, «горько-сладостный, необоримый змей», как хорошо известно Барганаксу. Эти атрибуты — не мои недавние изобретения; они основываются на свидетельствах Гомера и Сапфо, великих поэтов. А в словах великих поэтов о Богах всегда есть крупица истины. У моего ученого доктора Вандерماста (твоего близкого друга) есть афоризм, который он позаимствовал у Спинозы: Per realitatem et perfectionem idem intelligo — «Под реальностью и совершенством я понимаю одно и то же». А Китс в своем письме замечает: «аксиомы философии не аксиомы, пока они не проверены биением нашего пульса[276]».

Фьоринду я повстречал и изучил более пятнадцати лет назад — разумеется, никоим образом не всю ее сущность целиком, но лишь ее тень, чего, впрочем, оказалось достаточно для того, чтобы я смог запечатлеть во «Владычице из владычиц» и этих двух последующих книгах всю красоту ее черт, ее голоса, ее движений. Миниатюра, репродукция которой помещена на фронтисписе, принадлежит Испанскому обществу Америки, Нью-Йорк; она была написана около 1596 г. Эль Греко с натурщицы, личность которой, насколько мне известно, так и не была установлена. Но я считаю, что она также была написана и в Мемизоне в начале июля 775 A. Z. с. с Фьоринды (в возрасте 19 лет), бывшей тогда фрейлиной; это был первый из множества написанных

276 Дж. Китс, «Письма» (пер. С. Сухарева).

Барганаксом ее портретов. Сравнение с «Владычицей из владычиц» (в особенности с главой II, а в отношении глаз — с предпоследним абзацем главы VIII) выявляет тесное сходство между миниатюрой Эль Греко и описаниями Фьоринды, сделанными и опубликованными более чем за десять лет до того, как я впервые эту миниатюру увидел (а произошло это в 1944 г.): столь тесное, что, я надеюсь, ее репродукция пробудит воображение читателя так же, как она пробуждает мое. Я выражаю здесь свою признательность и благодарность Испанскому обществу Америки за предоставленное мне любезное разрешение использовать эту репродукцию.

Итак, вот моя книга; называй ее романом, если хочешь, а если пожелаешь — поэмой. Как бы там ни было,

В картине этой ночи — верх моих творений[277].

Твой любящий брат,

Э.Р.Э.

Дарк Лэйн
Мальборо
Уилтшир.

277 Дж. Уэбстер, «Белый дьявол», акт V, с. 6 (пер. И. Аксенова).

Прелюдия

Лессингем в Рафтсунде

БЫЛА середина июля, три часа утра. Солнце, что в это время года на Лофотенских островах никогда не задерживается за горизонтом более чем на час или два, поднялось уже высоко, с неимоверной неторопливостью арктического рассвета дотрагиваясь своими золотыми пальцами сначала до самого двурогого пика, а затем, постепенно ползя книзу, и до исполинских утесов, что подпирают собой громаду Рултена, нависающего над Рафтсундом. Из вод морского пролива с западной стороны подобно стенам вздымались ввысь вершины из голого камня — Рултен со своими детенышами, а чуть дальше к северу — Трольдтиндер, который по мере неспешного движения солнца тоже начал окрашиваться золотом в тех местах, где оно дотягивалось до него сквозь промежутки меж их иззубренными и дикими силуэтами. Они отражались в водах пролива, словно в полу из дымчатого хрусталя, — в водах спокойных, тихих, глубоких, на которых еще лежала ночная тень, в водах, напоминавших о чем-то безвозвратно ушедшем, подобных водам Стикса.

В эту тень (что, казалось, лишь сгустилась, когда солнце поднялось повыше) был погружен весь ближний берег, где возвышался на утесе замок Дигермулен, взиравший на Рултен и Трольдфьорд. Замок был выстроен из камня тех скал, на чьих коленях он покоился; того же оттенка, той же формы были его глухие стены, суровые и древние обводы гласиса и башни и длинного внешнего парапета, что нависал над морем. Туда и обратно расхаживал вдоль парапета человек; сам он продолжал оставаться в этом задержавшемся между стен неурочном ночном сумраке, однако на каждом повороте устремлял взор навстречу утру.

Нелегко было бы определить его возраст. То и дело в результате каких-то особенностей освещения глубокая старость, казалось, выглядывала вдруг из его быстрых орлиных глаз; однако это совершенно не вязалось с юношеской гибкостью, что жила в каждом его движении, каждом шаге, повороте или остановке, не вязалось с его окладистой угольно-черной бородой и густыми черными волосами, остриженными коротко, но не настолько, чтобы

скрыть их кудрявость; такая внешность обыкновенно встречается у людей с бьющей через край энергией, здоровых как телом, так и духом, но, впрочем, энергии этой редко хватает надолго. В следующее мгновение то, что представлялось отпечатком прожитых лет, начинало казаться лишь следами ветров и бурь, как бывает у людей, всю свою жизнь проведших в открытом море или в горах и пустынных и опаленных солнцем местах по всему миру. Он был выше большинства высоких людей, определенно англичанин, но с некоей угловатостью черт, присущей людям древней Греции. В нем было величие, не королевское в обычном понимании этого слова, но более глубинное, безотчетное; так обычные люди не замечают, как дышат или как бьется их сердце. В нем была некая внутренняя целостность, находившая проявление во внешнем виде и движениях; так одинокий дуб встречает бурю или выступает грациозно лев — не осознанно, не напоказ, но потому, что так повелось издавна, и потому, что иначе не может.

Он сказал себе: «*Шах и мат. И поставила его пара пешек. Что ж, хоть какое-то утешение: быть побитым не людьми, но мертвой машиной. Я могу управлять людьми; я управлял ими всю жизнь, видел истинные цели и умел заставлять их считать мои цели своими. Взгляните на них: за эти двадцать пять лет выросло целое поколение подобных мне настолько, как если бы это я их сотворил. Они даже более подобны мне, чем если бы вышли из моих чресл. И что теперь?*

Угас наш день, и сумрак нас зовет[278].

Что могут несколько тысяч против миллионов? Даже если это миллионы глупцов. Таковы исконные пути этого мира: к пустоте и однообразию; точно так же и вода по самой своей природе стремится к низшей точке».

Он сложил руки на груди и встал у парапета, глядя на море. Так, наверное, стоял Леонид, когда к Ущелью начали стекаться персы.

Потом он обернулся — быть может, на звук знакомых шагов, или на знакомый аромат, подобный изысканному запаху черной магнолии, морских брызг и пены, доносившемуся вместе с иным ветром, нежели это прохладное северное дыхание Рафтсунда. Он поприветствовал ее; во взгляде его искрился смех.

— Вы заснули?

— В конце концов, да. Заснула. А вы, mon ami[279]?

278 У. Шекспир, «Антоний и Клеопатра», акт V, сцена 2 (пер. М. Донской).
279 Mon ami (фр.) — «мой друг».

— Нет. Однако же это ничуть не хуже сна — смотреть на вас, упиваться вами, жить вами. Кто же вы такая, если после такой ночи ощущаешь себя бессмертным, просто взирая на вашу дорогую сердцу спящую красоту? И, кажется, вся мудрость с самого появления жизни на земле, все сокровища минувших времен и грядущей вечности, волшебным образом запечатлены в изгибе каждой пряди ваших волос.

Потом, голосом, подобным щелчку хлыста, он произнес:

— Я не дам им ответа.

Что-то шевельнулось в ее зеленых глазах, будто луч света в неизмеримых глубинах.

— Не дадите? Что же вы тогда предпримете?

— Ничего. Впервые в жизни я столкнулся с ситуацией, когда невозможно ничего предпринять.

— Это, — промолвила она, — та непреодолимая преграда, с которой обыкновенные люди встречаются в каждый из дней своих жизней. В конечном счете, она ожидает и величайших из них. Вы превосходите прочих людей этой эпохи настолько же, насколько люди превосходят обезьян, и ваши поступки тому подтверждением; но обстоятельства в конце концов придавили и вас. Вы в ловушке. Во время тигровой охоты на древней Яве у тигра в итоге не остается иного выбора, кроме как броситься на остроги.

— Я мог бы сказать вам минувшей ночью, — произнес он, — (правда, мы были поглощены вещами, более достойными нашего внимания): у меня все готово для этого броска.

После паузы он добавил:

— Пока не придет время, они ничего не предпримут. Срок истечет завтра в полдень. Потом при этом новом правительстве нас, несомненно, ожидает бомбежка. Я решил встретить их в воздухе, сделать им подарочек на память обо мне. Я хочу, чтобы вы сегодня уехали. Яхта готова. Она доставит вас в Англию или куда вам будет угодно. Вы должны принять ее как прощальный подарок от меня, пока мы не встретимся… в Филиппах[280].

Она никак не выразила ни согласия, ни несогласия, лишь стояла подле него, тихая, как смерть, и смотрела через пролив на Рултен. Его рука вдруг нашла ее руку; он поднес ее к глазам и минуту молча рассматривал. Она была

280 Филиппы – древний город на севере Греции.

тепла, неподвижна, расслабленна, безвольна и не передавала никаких эмоций, словно рука спящей.

— Лучше так, чем как обычно, как это водится у них там, — промолвил он, глядя туда же, куда и она. — Чем умирать мало-помалу. Только подумайте, какая ирония: сначала из первозданных морей была поднята не гора, но «значительная возвышенность»[281]; потом морозы и дожди, и несметное множество прочих мелочей, бесконечно медленно, с бесконечным упорством, трудились над ней, придавая ей эту законченную, совершенную форму. Лучше не сделал бы ни я, ни Микеланджело, ни Фидий. И чего ради? Не для того, чтобы она оставалась совершенной, отнюдь нет, ибо резец, ее создавший, ее же и уничтожит, дав ей в разрушении второе детство. А что потом? Какая разница, что потом? Разве что, резчик устанет от всего этого.

Внезапно он снова взглянул ей в глаза.

— Как устал от этого я, — сказал он.

— От жизни?

Он рассмеялся:

— Боже, нет! Устал от смерти.

Они прошлись пару раз вдоль парапета. Через некоторое время она вновь заговорила:

— Я размышляла о словах Брачиано:

Под страхом смерти — мне о ней ни слова
Так бесконечно страшно слово «смерть»[282].

— Не припоминаю, — проговорил он с задумчивой и отстраненной простотой, — чтобы я когда-либо боялся смерти. Честно говоря, если уж на то пошло, не могу припомнить, чтобы я по-настоящему боялся чего-либо вообще.

— Я совершенно уверена, так оно и есть. Но в этом и состоит ваша исключительность, также как и во многом другом.

— В любом случае, — сказал он, — смерть — ничто, нуль, состояние небытия. Или же новое начало. Как бы там ни было, чего тут бояться?

— Разве только этого?

Но как тебя покинуть, милый друг![283]

— Последняя наживка на крючке у Дьявола. Я на это не поддамся.

281 Вощможно, отсылка к «Дневнику путешествия на Гебриды» Дж. Босуэлла (1785).
282 Дж. Уэбстер, «Белый дьявол», акт V, с. 3 (пер. И. Аксенова).
283 У. Шекспир, сонет LXVI (пер. С. Маршака).

— Но это должно быть ужаснее всего.

— Я на это не поддамся, — повторил он. — Впрочем, я признаю…

Они остановились. Она стояла в шаге или двух от него; ее силуэт темнел на фоне гор и вод пролива, освещенных лучами зари, загадочный, как, вероятно, загадочен Сфинкс. Будто насыщенный слабым ароматом ясенца в английском саду вечером, воздух вокруг нее словно трепетал исполненными жара и тьмы образами: изысканно изогнувшиеся усики, источавшие неуловимую сладость, молочно-гладкие лепестки, скрывавшие в своей глубине тайное сердце ночи, загадочное и темное, как мех пантеры.

— Я признаю лишь одно: если бы я поддался, это могло бы повергнуть меня в ужас.

— Откуда нам знать? — спросила она. — В чем можем мы быть абсолютно уверены перед лицом этого бесконечного одиночества?

— Я не буду и пытаться предположить, откуда знать вам. Что до меня, то моя уверенность зиждется на прямых свидетельствах чувств: глаз, ушей, ноздрей, языка, рук. Это первичное знание, плотское.

— Полагаю, так и должно быть всегда, ведь у влюбленных чувства — это органы души. И все же… я женщина. Все во мне — каждый вздох, каждый шаг, каждое движение — тешит ваш взор своей красотой. Одним своим голосом, шорохом своей юбки я могу пробудить дикую музыку, что живет в вашем разуме и крови. Сладок мой аромат, сладок мой вкус. Меж моих грудей вы в своей воображении плавали на Киферу[284] или даже в ту пастушью хижину на богатой ключами Иде, где Анхиз по воле и предопределению Богов возлег (как утверждает Гомер) с вечной богинею, и сам того точно не зная. Но что я такое, что таится под моей кожей? Ужасное memento mori[285], которому место в лавке мясника или на полу бойни; машина, состоящая из мышц, сухожилий, жил, нервов и мембран, сверкающая голубым, серым, алым — всеми цветами разложения, мешок требухи, от которой зажимают нос. А под всем этим (если отбросить прочь омерзительную плоть) — жалкие и никчемные останки, голые кости, оскалившиеся, безволосые и бесполые, против которых бунтует даже всепожирающая природа червей и жгучего пламени; немой довод, заглушающий собой все если бы да кабы.

Он слушал, и лицо его было лицом человека, держащего волка за уши,

284 Кифера (Китира) — остров в Эгейском море, принадлежит Греции. Один из главных культовых центров Афродиты.

285 Memento mori (лат.) — «помни о смерти»; здесь имеется в виду плоть, мясо.

только неподвижное; он застыл в позе олимпийского спокойствия, будто высеченное в камне изваяние Зевса.

— Какое имя вы назвали, когда представлялись моим слугам вчера вечером?

— И впрямь, какое? — отозвалась она. — Их было так много. А вы помните, какое имя они назвали вам, когда объявляли о моем прибытии?

— Сеньорита дель Рио Амарго.

— Да, теперь я вспоминаю. Это оно и было.

— «Горькой Реки[286]»... Как будто бы вы заранее знали о моих намерениях. А, быть может, вы и впрямь знали?

— Откуда же?

— Я верю, — сказал он, — что вы знаете более, нежели знаю я. Думаю, вам также заранее известны мои ответы в этой беседе, посредством которой вы исследовали меня, как хирург исследует рану.

Она покачала головой:

— Если бы я знала ваши ответы прежде, чем вы их дадите, это были бы не ваши ответы, а мои.

— Что ж, — промолвил он, — вы получите свой ответ. Уже третье поколение сменилось за то время, как я живу на этой земле. В течение всей моей долгой жизни вы были моей книгой (с одной стороны отравой, с другой — усладой), читая которую, я научился всему, что знаю, и в первую очередь — отличать в суматохе этого мира неизменное от угасающего, подлинные вещи от фантомов.

— Подлинные вещи от фантомов? И, посмотрев, услышав, потрогав, вы можете определить, что есть что?

— Могу, покуда дух не сошел со своего трона; и это слова из ваших же собственных уст, мадонна. Но я признаю, этот изгиб в уголках ваших губ вновь подвергает все сомнению и разбивает вдребезги все ответы. Минувшей ночью я назвал вас Богиней, Афродитой Пафийской. Было ли это фигурой речи? Дешевым постельным комплиментом рифмоплета своей возлюбленной? Или это было светом истины, как оно представляется мне? Ну же, как вы считаете? Называл ли я вас так когда-либо прежде?

— Столь многословно — никогда, — очень тихо произнесла она. —

286 Rio Amargo (исп.) — «горькая река».

Но временами я улавливала в вас, великом и деятельном человеке в глазах всего мира, странную склонность к невероятным поступкам.

— Так позвольте мне напомнить вам о фактах, о которых вы как будто забыли. Вы являлись мне — однажды в пору моей юности, однажды в среднем возрасте — в Вероне. В промежутке между этими встречами я жил с вами в нашем собственном доме в Нижнем Уостдейле, то возносясь ввысь на волнах этого мира, то погружаясь в пучины. Так продолжалось пятнадцать лет; вы были плотью от моей плоти, кровью от моей крови. Все кончилось, когда я увидел вас мертвой в парижском морге; это было зрелище, рядом с которым ваши недавние ужасные образы насчет разделочного стола — невинный детский лепет. В октябре исполнится пятьдесят лет с того момента. И вот, вы явились снова, но уже в черном наряде, как в Вероне. Явились попрощаться.

Она отвернулась, чтобы скрыть лицо:

— Что за безумные речи. Пятьдесят лет!

— В здравом ли я уме или брежу, — сказал он, — я узнаю еще до наступления завтрашней ночи; или же, в противном случае, не узнаю ничего, стану ничем. Если так, пусть так и будет. Но я убежден, эта альтернатива недостойна того, чтобы в нее верить.

Продолжив прогулку, они подошли к каменной скамье.

— О, у вас множество нарядов, — промолвил он, садясь возле нее. Глубокими нотами звучала в его голосе энергия человека в расцвете своих дней. — У вас множество нарядов: Алая Королева, Дама Червей, rosa mundi[287]; а здесь и сейчас вы Черная Королева, сладкий и грациозный цветок лилии, летящая на крыльях ветра тьма, томленье всякого сердца. Обеим я завидую. Ибо сам к своему вящему неудобству заключаю в себе двоих людей в одной шкуре, вместо того, чтобы быть (как и должно) единым в двоих. Они — что два беса в мешке, когда борются или кусаются друг с другом. И мне никогда не удается принять сторону одного из них, чтобы тут же не начать желать победы другому.

— Воитель и мечтатель, — сказала она. — Тот, кто действует, и тот, кто предается удовольствиям.

Потом с новой страстной нежностью в голосе она промолвила:

— Какой дар пожелали бы вы от меня, о, мой друг, будь я на самом

287 «Роза Мунди» — сорт роз с белыми лепестками и розовыми или малиновыми полосками.

деле той, кем вы меня назвали? Какой рай, какой Элизий, кого и что избрали бы вы для жизни за ненавистной Рекой?

Минуту он молча созерцал ее, будто глоток за глотком вбирая ее: ее красоту, что просвечивала сквозь платье, как свет фонаря сквозь его створки, пробор в ее волосах, не вьющихся, но ниспадавших мягкими ленивыми волнами, будто сумрачное море, по обе стороны головы за кончиками ушей, трепещущий огонек в ее глазах.

— Опять эта старая история, — произнес он. — Есть лишь одно условие во всем бесконечном множестве возможных миров: чтобы вы даровали мне себя и мир, который сам по себе служит нарядом для вас.

— Стало быть, этот самый мир, в котором мы и живем? Разве он не таков?

— В каком-то отношении таков. Во многих отношениях. Даже во всех, до определенного порога. Но, к несчастью, когда этот порог достигнут, во всех и в каждом отношении мир этот становится недостойным вас. Когда бутон уже вот-вот раскроется, мы видим, что в него заполз червяк. Неужели все это имеет смысл, даже этот червяк? Наверное, так и есть. Иначе чего ради вкушал я от плода сего мира всю свою жизнь с таким удовольствием, наслаждался каждой прихотью фортуны, брел по пояс в насилии, блуждал ощупью в неизведанных лабиринтах тьмы, сражался с ним, вел с ним переговоры, играл, презирал, жалел, смеялся вместе с ним, а мир ласкал меня, дурачил и увенчивал лаврами? И все это с таким пылом? И вот, загнанный им в угол, я даже и теперь ощущаю где-то в крови, глубоко в сердце, своеобразную любовь к нему. Но, несмотря на все это, не тот это мир, в котором я хотел бы увидеть вас снова, если бы от меня зависело хоть что-нибудь. Это неподходящее одеяние для вас, ведь даже вечерняя звезда с небес была бы недостаточно прекрасным украшением для вашей шеи. Если этот мир, как я склонен подозревать, создан вами, то я не могу всецело одобрить дело ваших рук.

— Дело моих рук? Вы полагаете, я Демиург, творец миров?

— Думаю, нет. Но в то, что вы та, кто делает выбор, та, кто дарует миры, я вполне способен поверить. И, я думаю, вы были в неважном настроении, когда задумывали этот. В самом лучшем случае я могу предположить, что от него есть какая-то польза в качестве тренировки перед следующим разом. А в следующий раз, надеюсь я, вы придумаете настоящий мир.

За все время беседы она не шелохнулась, лишь едва заметно расслабилась ее поза, и она оказалась чуть ближе к нему. Потом в тишине его правая рука легонько погладила ее бедро ладонью вверх; ее собственная рука поймала ее и слепо зажала между колен, непреклонно, будто высиживающая яйца птица.

Очень тихо сидели они минут десять, не разговаривая, не шевелясь. Когда она, наконец, обратила к нему взор своих глаз, которые (то ли из-за освещения, то ли по какой-то менее вероятной, но более веской причине), казалось, принадлежали кому-то не от мира сего, веки его были смежены, будто во сне. Примерно так мог бы выглядеть Отец Богов и людей, что дремлет между Мирами.

Она смотрела на него, и вдруг он перестал дышать. Она мягко положила его руку на скамью подле него.

— Эти фальшивые миры! — промолвила она. — Иногда они прилипают, как пластырь, ненужные, никчемные. Жди меня в настоящем мире, также сотворенном Тобой, который Ты в этом мире помнил, наверное, лишь отчасти, также как, несомненно, забудешь большую часть из произошедшего с Тобою здесь; также как и я, в ином своем наряде отчасти помнила и отчасти забывала. Ибо забвение есть одновременно сточный колодец для ничтожных вещей и хранилище для всего благого, оно придает им утреннюю свежесть, когда в извечной веренице засыпаний и пробуждений Мы наталкиваемся на них, как на нечто новое. И впрямь, не надлежит ли всему на свете быть в свой черед преданным забвению — всему, кроме Нас с Тобой?

Книга I: Начала

1. Начала в Ререке

ПЕРТИСК Парри жил в большом обнесенном рвом доме близ Громового Озера в Латтердале. Миний Парри, его брат-близнец, был лордом Лаймака. Сидоний Парри, младший из братьев, жил в Верхних Топях у подножия Форна.

Пертиску давно казалось противоречащим всякому здравому смыслу и совершенно невыносимым то, что Лаймак достался не ему, а его брату Минию; воздвигнутый на скале и неприступный для сколь угодно большой армии Лаймак более двадцати пяти поколений являлся оплотом могущества всей семьи, заставляя остальных считаться с ними и как следует подумать, прежде чем предпринять нечто такое, что шло бы вразрез с их интересами. В те дни, как и встарь, ни один человек в Ререке не мог тихо жить сам по себе по причине зависти, заговоров и открытой вражды между знатными родами, каждый из которых воевал с каждым. Дом Парри, иногда неприкрытым насилием, а иногда скрывая свои коварные намерения под маской учтивости и дружелюбия, использовал любую возможность, любую зацепку на пути к безраздельному господству, в то время как противоположная сторона, принцы Эльдира, Каймы и Багорта с севера, всеми силами, даже забывая временами о взаимных раздорах, старались воспрепятствовать этой угрозе во имя собственной безопасности. Беспорядки у Зеннерских рубежей, соперничество среди мелких лордов и наемников, болезни роста свободных городов, главным образом сосредотачивавшихся в северных областях — все это использовалось той или иной стороной в своих интересах. И постоянно нависали над всем этим тени с севера и юга, тени от крыльев орлов, чью атаку невозможно было предвидеть заранее. Орлами этими были Мезрия на юге, и (таившая в себе куда большую угрозу, поскольку северу свойственно действовать, тогда как юг предпочитает праздность и леность) мощь великого короля Фингисволда.

Вот почему лорд Пертиск Парри в свой и Миния тридцать восьмой день рождения, который приходился на зимний период, чтобы разрешить свою проблему, предпринял следующее: пригласил своего брата на праздничный пир у Громового Озера и в ту же ночь, пока все были пьяны от вина, а пивший неистово Миний и вовсе утратил всякий рассудок, уложил того под

бок медведице, приведенной туда нарочно для этого, и оставил так до утра. Сам он, между тем, поспешил вместе со своей стражей в Лаймак, чтобы оказаться там прежде, чем дотуда доберутся новости. Ни о чем не подозревая, люди Миния впустили его, и он, избавленный от досадной необходимости проливать кровь, оказался хозяином замка. Он тут же распустил слух, будто это Дьявол отгрыз его брату голову, явившись в облике рыжего медведя с крыльями. Простаки поверили в это. Те, что поумнее, держали языки за зубами.

После этого Пертиск Парри воцарился в Лаймаке. Его жена была дворянкой с Зеннера, а детьми их были Эммий, Гаргар, Лугия, Лупеск и Супервий.

Эммия, когда тот достиг совершеннолетия, он посадил лордом в Слибю в Сусдале. Лугию он отдал за графа Йелена Леверингейского из северного Ререка. Простодушный и глуповатый Гаргар, вырастя, стал столь похотливым и гнусным развратником, что ему ничего не стоило наложить лапу на дочь или законную жену знатного человека, удерживая их при себе, пока они были ему угодны, а потом выгоняя их восвояси. По причине всех этих мерзостей, желая поубавить у него нахальства и надеясь, что озлобленность потерпевших от него остынет, отец отправил его погнить год в подземельях Лаймака. Но тот оказался неисправим: в течение месяца после освобождения из темницы он был убит на дуэли с мужем леди, которую взял силой на большой дороге между Свиндалом и Морнагеем. Лупеск вырос весьма молчаливым человеком. Он жил затворником на Громовом Озере, отгородившись от всего мира.

Из всех детей Пертиска Супервий, младший, был ему более всего по душе, и он придерживал его при себе в Лаймаке.

Много лет он также придерживал у себя под рукой своего племянника, Расмуса Парри, единственного сына Миния. Расмус был уже взрослым мужчиной, когда ему довелось увидеть труп собственного отца, обезглавленный и с вывалившимися наружу кишками, а подле него издохшую от ран медведицу (ибо Миний был человеком физически весьма могучим) в тех негостеприимных покоях на Громовом Озере; это ужасное зрелище настолько взволновало его ум, что с тех пор он днями и ночами только и делал, что стенал и причитал, призывая проклятия на свою душу, и напивался допьяна. Пертиск презирал его, считая молокососом, но оставил в покое: то ли из жалости, то ли из страха, что избавление от него может показаться уже чрезмерной жестокостью. В конце концов, он подыскал тому жилье и землю в Одиноком

Лесу в Бардардале, и там, в довольно скором времени, Расмус, пребывая в пьяном оцепенении, свалился в огромный чан с медом и так, подобно утонувшей мыши, закончил свои дни.

Семнадцать лет Пертиск восседал на лаймакском престоле, облеченный громкими титулами. Любили его немногие. Куда меньше было тех, вне зависимости от высоты их положения, кто не взирал бы на него со сдержанным трепетом. К старости он стал чудовищно тучен и имел выпяченный живот, будто у жабы. Люди относили это на счет его обжорства и неумеренности, которые в итоге и впрямь обернулись его погибелью, ибо в ночь, когда ему исполнился пятьдесят шестой год, объевшись телячьим рубцом с гарниром из вымоченной в вине травы, именуемой морским виноградом, — жирным и опасным для здоровья блюдом, которое он, однако, ценил превыше всех остальных, — он рухнул на стол и внезапно скончался. Это произошло в семьсот двадцать первом году с основания города Зайаны. В том же году в Риалмаре в Фингисволде умер король Гарпаг, которому наследовал его сын Мардан; оставалось еще два года до рождения в Фингисволде Мезенция, сына короля Мардана.

Супервию тогда исполнилось двадцать пять лет. По всеобщему мнению это был подлинный Парри, походивший на отца как чертами лица, так и складом ума, только повыше ростом и не страдавший полнотой, но являвший собой воплощение силы и твердости. Если не считать его ушей, что торчали, словно два гриба, был он человеком приятной внешности, с пронзительным взглядом близко посаженных как у олуши тусклых глаз, рыжими волосами, ранней залысиной, мощной челюстью и доходившей до пояса густой и курчавой огненно-рыжей бородой, которую он умащивал маслами и благовониями. Он держался чрезвычайно надменно, несгибаемый и непоколебимый в своих устремлениях, хотя и мог выглядеть и говорить весьма учтиво; он обладал прекрасной памятью как на причиненное ему зло, так и на оказанные ему услуги. Его считали человеком великодушным и справедливым, если дело не касалось по-настоящему его собственных интересов, а также покровителем простых людей и большим мотом; помимо этого у него была репутация ликантропа, опасного и непредсказуемого друга, которому не всегда можно было доверять, но которого стоило бояться, окажись он недругом. Примерно в то же время он взял в жены свою кузину Роданту с Верхних Топей, дочь Сидония Парри.

Все сочли странным, что Супервий, будучи младшим, теперь беспрепятственно воцарится на троне своего отца, словно глава семьи. Принц Керион Эльдирский, который к тому времени женился на дочери Миния Морсилле и потому имел мало оснований любить Пертиска и был особенно рад раздорам в этой ветви семейства, выразил в письме Эммию соболезнование его утрате, назвав того в заглавии лордом Лаймака, словно намереваясь тем самым разбудить его гнев на младшего брата, что оставил его без наследства. Эммий прислал холодный ответ, не показав и виду, что обратил на это внимание, если не считать того, что письмо он отправил из Аргъянны. Заметив это, принц решил (как вскоре и все остальные), что Супервий заранее достиг соглашения со своим старшим братом касательно наследства, и что платой Эммию за его уступку права на Лаймак была эта крепость, ключ к Мезрийской Марке. Как гласит поговорка:

Кто уселся в Аргъянне,
у того весь Зеннер под задом.

Лорд Эммий Парри, бывший на шесть лет старше Супервия, из всей их семьи более других походил на мать: он был более приятной и утонченной наружности, нежели кто-либо иной из его родичей, худощав, длиннорук, ширококост, черноволос, бледнокож и меланхоличен; ему недоставало их пыла и звериной жажды деятельности, но он не стал от этого человеком, которого можно безнаказанно таскать за бороду. Он был неразговорчив и держал язык на привязи, не будучи склонным ни к проклятиям, ни к сквернословию; его слова имели вес среди людей, но никому не удалось найти светильник, чьи лучи проникли бы во мрак его души. Он был проницателен и умел заглянуть в умы и замыслы других людей; человек мрачного и ироничного нрава, судивший скорее по делам, нежели по речам, и не считавший достойным все, что могло бы таковым выглядеть; он видел, как плетутся интриги, и оставался непричастен. Он не был ни ловкачом, ни приспособленцем, ни тем, кто отцеживает комара и проглатывает верблюда, ни тем, кто — разве что, по необходимости, да и то тщательно все взвесив, — склонен втягивать людей в какие-либо кровавые затеи; это был терпеливый и дальновидный политик, чьи помыслы были (как считалось) направлены туда же, куда стремилось и его сердце, а именно, на юг, в Мезрию. Его жена, леди Деянира, была по рождению мезрийкой, дочерью Месанжа из Даиша. Он очень ее любил и был ей верен, а та родила ему двоих детей: их первенца, Росму, к тому

времени ставшую маленькой девочкой семи зим от роду, и четырехлетнего сына, Гибраста. Эммий Парри — сначала в Слибю, а потом и в Аргъянне — жил в роскоши под стать любому ререкскому дворянину. Он благоволил всем артистам: поэтам, художникам, мастерам по бронзе, мрамору и драгоценным камням, а также всем ученым, и постоянно находился в их окружении, наслаждаясь их работами и беседами с ними, в то время как большинство из его сородичей подобное ни в грош не ставили. Между ним и его братом Супервием сохранялась добрая дружба на протяжении всей их жизни. Людям казалось странным и невообразимым то, как лорд Эммий тихо мирился с причиненными ему его братом несправедливостями, в том числе узурпированием его замка в Лаймаке, ведь, находись на месте того любой другой человек, он отплатил бы тому сполна.

На протяжении пары лет после вступления Супервием в наследство не происходило ничего такого, что заставило бы кого-либо ожидать перемен. Потом скончался, не оставив наследника, лорд Кессарейский, и Супервий, заявивший о своем праве преемственности на каких-то наспех состряпанных основаниях, в которых было больше жульничества, нежели законности, когда плод не упал ему тотчас прямо в рот, внезапно объявился перед замком с вооруженным войском и начал его осаду. Обитатели замка (никем не управляемые, поскольку их лорд был мертв) испугались уже самого имени Парри. Через день-другой они оставили всякое сопротивление и сдали ему Кессарей, башню, город, гавань и все прочее, а это было наиболее защищенное место на всем побережье между Каймой и Зеннером. Так он отчасти возместил себе потерю Аргъянны, которую ему волей-неволей пришлось отдать своему брату.

Затем он подмял под себя Теллу — укрепленный город на спорных землях, где территории Каймы граничили с владениями принца Кериона; это якобы произошло на основании свободных выборов его ставленника управляющим Теллы, но от событий этих поднялся ветер, который достиг Эльдира и Каймы, в результате чего тамошние принцы стакнулись. Тем не менее, чтобы они начали действовать заодно, необходима была более серьезная угроза, нежели эта, исходившая от Теллы, что по прошествии нескольких месяцев стала казаться не столь уж и важным делом, о котором вполне можно было бы забыть, пока в следующем году к ней не прибавилась Лайлма, и вот это уже заставило их объединиться по-настоящему.

Лайлма была тогда небольшим городком, каким остается и сейчас, хоть и удачно расположенным и хорошо укрепленным. Лордом там прежде являлся Каун, правивший от лица Миния Парри, на чьей дочери Морсилле он был женат; однако примерно за пять лет до смерти Пертиска Парри жители Лайлмы восстали против Кауна и убили его, объявив свой город свободным; впоследствии, устрашившись содеянного, они принялись искать покровительства у Эльдира. Керион ответил, что готов защищать их как свободную общину, позволив им выбрать себе предводителя. Те собрались вместе и устроили голосование, и голоса их год за годом отдавались Кериону на протяжении восьми лет. Леди Морсилла, вдова Кауна, вскоре после мятежа вышла за принца Кериона, но ее сына от Кауна по имени Мерей, который жил в Верхних Топях со своим двоюродным дедом Сидонием Парри и которому было тогда двенадцать лет от роду, схватил в свои когти Пертиск, увезя того в Лаймак, холя и лелея его, словно молодую гончую, которой однажды может найтись применение. Этого Мерея, когда тот возмужал, Супервий (подкупив лайлмских избирателей) выдвинул на девятый год в качестве соперника Кериона в борьбе за главенство. В городе разгорелись нешуточные распри, дошло и до кровопролития. В итоге большинство голосов оказалось на стороне Мерея. После этого беспорядки начались снова, и несколько особо горячих приспешников Парри заявились в поместье, высадили дверь и вломились в зал для собраний; встретив там троих офицеров принца, они грубыми речами и поношениями пытались заставить тех покинуть зал, и те, не уступая и отвечая угрозой на угрозу, были сначала затолканы, потом побиты, побеждены, и схвачены; с них сорвали штаны, как следует отлупили и вышвырнули в окно.

Узнав о подобном произволе, Керион спешно уведомил своих соседей, принцев Альварда из Каймы и Кресандера из Багорта. Эти трое, посовещавшись в Эльдире, отправили посланцев в Лаймак и Аргъянну, чтобы известить всех о том, что они считают выборы недействительными по причине вмешательства наймитов Супервия Парри (которые, как принцы не сомневались, превысили свои полномочия). Посланцы в умеренных тонах перечислили факты и попросили лордов Эммия и Супервия ради сохранения мира присоединиться к принцам в сборе и отправке в Лайлму войска, достаточного для спокойного проведения новых выборов, дабы люди могли мирно и не опасаясь принуждений выразить свою волю, избрав предводителя.

И там и там посланцев приняли достойно; что же до цели их визита, то

они были отправлены восвояси ни с чем, как и явились. Супервий, словно честный человек, подвергшийся несправедливым обвинениям, отверг все упреки в принуждении. Что касалось насилия, учиненного глупцами, безумцами и им подобными, то, если принцу Керионy это не нравилось, то и ему это также было не по душе. Однако это не было чем-то новым и неслыханным. Он мог бы привести еще дюжину несправедливостей под стать этой, нанесенных его соратникам в этом же самом городе за последние девять лет, и даже по меньшему поводу; к тому же, они не должны были забывать, что многие до сих пор считали (как ему доводилось слышать), будто Каун, его родич, обрел свою смерть не без дергания за ниточки из Эльдира. Но копаться в подобных вещах было бы теперь неуместно и невыгодно с точки зрения установления мира, и потому он милостиво оставляет все это без внимания. Что до него самого (сказал он, поглаживая бороду), то достаточно сказать, что он поддерживает свободные города на севере, в том числе и силой, если потребуется.

Эммий, твердо и непоколебимо стоявший на стороне своего брата, не оставил у посланцев сомнений в том, что в случае попытки напасть на Лайлму он немедленно приведет на помощь Мерею свои войска. Таковы были итоги аудиенции; на прощание же он сказал:

— Если принцы, как и мы, желают мира и дружбы, как, полагаю, оно на самом деле и есть, давайте встретимся в каком-нибудь удобном месте, за пределами владений какой-либо из сторон, и доведем дело до соглашения. Передайте им, если они хотят, я готов устроить встречу с ними в Морнагее.

С этими словами он вручил им письмо Супервию, которое они могли передать тому на обратном пути и (если тому это придется по душе) включить его в этот уговор.

В последнюю неделю июня принцы собрались в Эльдире, чтобы обсудить донесение посланцев. Сочтя по зрелом размышлении это дело каштаном, который не так уж просто очистить, не уколов пальцев, они решили, что наилучшим будет принять это предложение о переговорах. И вот, после множества выглядевших вполне обоснованными проволочек, каждая из которых, однако, исходила от Аргъянны или Лаймака, обе стороны встретились двадцать пятого августа в придорожной гостинице в Морнагее.

Лорд Эммий Парри, рука об руку со своим братом поднимавшийся по лестнице к покоям, где должно было состояться их совещание, придержал того на мгновение (остальные уже вошли).

— Ты предпринял все меры, чтобы ответ по этому твоему делу доставили сюда? Уверен, что он не разминулся с тобой и не отправится в Лаймак?

— Все сделал. Я же не дурак.

— Не нравится мне все это, особенно учитывая то, что по последним нашим сведениям письмо оставалось только подписать и спешно отправить тебе в течение двадцати четырех часов. Это было известно в Лаймаке вчера перед завтраком. Будь оно у нас в руках, это стало бы сегодня нашим козырем.

— За прошедшие два месяца я делал все что можно, дабы это ускорить, — сказал Супервий. — Это идет вразрез с моей натурой... Черт их возьми, что жеребца, что кобылу. Да уж, я начинаю подозревать, что сглупил, послушавшись твоего совета, братец.

Эммий рассмеялся:

— Потом я еще могу это тебе припомнить.

— Расшаркиваться перед ними, будто какой-то жалкий проситель, да еще и дожидаться от них милости. Пришлось даже отделаться от моей жены, чтобы не упустить этот чудесный шанс, а она наконец-то забеременела, и мой дядя Сидоний теперь злится на меня за то, как я обошелся с его дочерью. Дурная это затея. Лучше бы все вернуть как было.

— Брось, я хочу, чтобы ты был решителен и терпелив, а не дергался, как сейчас. За спрос не бьют в нос, а это стоит того, чтобы подождать.

Собравшись, они приступили к делу. Принцы, ведя себя сдержанно и уклоняясь от любого рода провокаций, первыми изложили свои претензии. Супервий в ответ разразился многословной речью, изобиловавшей комплиментами, но не уступками; впоследствии, когда, оставив в стороне общие фразы, они перешли к обсуждению конкретных фактов, он говорил мало, а Эммий вставлял слово то тут, то там. Проговорив почти два часа, но так ничего и не добившись, принц Керион, неимоверно устав от всего этих увиливаний и жонглирования словами, поставил вопрос прямо и открыто: собираются ли Парри оставить все как есть, позволив Мерею править Лайлмой?

Ответа не последовало. Супервий глядел в потолок.

— Худой же вы отчим, если желаете снова оставить его ни с чем, в то время как его собственные люди хотят видеть его у себя во главе; Боже упаси нас от этого, и мы этого не допустим!

Эммий поднял бровь, потом принялся вычерчивать кончиком своего

пера на бумаге перед собой зубчатые линии и звезды. Керион повторил свой вопрос.

— Вкратце, это так, — сказал Супервий и выпятил челюсть.

— Вы подтверждаете это, господин Эммий Парри? — спросил принц.

Эммий пожал плечами и промолвил:

— По крайней мере, это весьма удачно приводит нас обратно к некой основе, на которой мы, вероятно, путем дальнейшего обсуждения сможем наметить какой-либо способ достичь согласия.

— Тогда, — отозвался на это принц, собирая свои бумаги, — работа наша напрасна, ибо мы со своей стороны не станем более терпеть все это.

Супервий раскрыл было рот, чтобы возразить какой-нибудь колкостью, но его брат остановил его, положив руку ему на плечо, и ответил за двоих:

— Умоляю, проявите еще немного терпения. Ни я, ни мой брат не желаем беспорядков в стране. Но, несмотря на это, если беспорядки поднимутся, мы к этому готовы; разумно будет поостеречься наступать на наши мирно одетые в чулки ноги, будь то на севере или поближе к дому.

— Вы думаете запугать нас угрозами войны? — яростно воскликнул Керион. — Поняли, что обманом, жульничеством и хитростью дальше не продвинетесь? Однако вы обнаружите, что и мы готовы ко всему. И мы не остались без друзей, которые будут сражаться за наше правое дело бок о бок с нами, если потребуется. О да, друзей благородных и могущественных, друзей из Фингисволда, если уж на то пошло. Мы призовем к себе на подмогу короля Мардана.

Наступила тишина. Кое-кто дернулся, как будто камень обрушился с небес. Лорд Эммий улыбался, негромко барабаня по столу пальцами.

— Слова наши, также как и ваши, — произнес он наконец, — обгоняют наши мысли. Это знак, что мы проголодались. С делами этими не стоит торопиться — мы же не играющие в шарики мальчишки. Давайте пообедаем и позабудем о них на некоторое время. А потом, на свежую голову, попробуем составить какой-нибудь план, который удовлетворит нас всех.

Кресандер проговорил шепотом, а Супервий, будто уловив общий смысл сказанного, покраснел до ушей:

— Пожав руку Парри, стоит пересчитать пальцы, когда тот ее отпустит.

Но Керион с прояснившимся лицом (как будто эта грубая неучтивость

вопреки своему смыслу и предназначению заставила его согласиться с благообразными словами Эммия, придав им еще больше веса) сказал Эммию:

— Ваше предложение недурно, господин мой. И впрямь, у того, кто обсуждает государственные дела на пустой желудок, кишки заменяют мозги.

Пока они дожидались обеда, внесли блюда с пряностями и вина. Эммий промолвил:

— Умоляю, окажите мне любезность, отведав этого вина. Я привез его сюда на север специально для этого случая. Это мезрийское, самого лучшего их урожая: золотое армашское вино.

Своей собственной рукой он наполнил кубки из украшенного драгоценностями серебряного графина.

— Принц Кресандер, первый бокал я поднимаю за вас. Не знаю, почему, разве по той причине, что мы с вами из всех нас дольше остальных добирались сюда на эту встречу.

С этими словами он осушил свой кубок:

— За наше скорое согласие.

Кресандер, залившись краской, неуклюже осушил свой. И вот, поднимая тост за тостом, собравшиеся принялись пить за здоровье друг друга.

Они легко отобедали тем, что было в гостинице: каплуном, воловьими языками, пирогами с беконом, салатами и круглыми белыми сырами, изготовленными на горных хуторах над Киллари. Все это вкупе с изрядным количеством выпитого вина вскоре смягчило их нрав, вызвав шутки и веселье, и, когда обед был окончен, они с прояснившимися умами и остывшей кровью вернулись к своему главному делу.

— Прежде, чем мы начнем, — произнес Эммий, — я хотел бы сказать вот что. С каким еще намерением явились мы сюда, как не достигнуть согласия? Однако же все утро мы прокорпели над дюжиной неприятных вопросов, большинство из которых не стоят и платы куртизанке за ночь, хотя каждого в отдельности достаточно, чтобы разбудить в ком-либо возмущение и рассорить всех нас. Что если нам теперь зайти с другого конца и поговорить сначала о вещах, относительно которых мы едины? И в первую очередь о том, что мы не допустим иноземного вмешательства в дела Ререка. Это старая и проверенная максима, к вящей пользе соблюдаемая нами во всех наших разногласиях, также как и нашими отцами, и отцами отцов.

— Ваша светлость говорили хорошо и справедливо, — промолвил Кре-

сандер. — Что до меня, то мне будет менее остальных на руку, если иноземцы заявятся к нам с той стороны. А посему и подавно не следует доводить до того, чтобы другие сочли меньшим злом обратиться за помощью к посторонним, нежели мириться с несправедливостями, чинимыми им в стране.

Эммий сказал:

— Наши личные разногласия нужно распутывать и улаживать нам самим, как мы всегда это и делали: не посредством войны, не посредством угрозы войной, но через мудрую политику, давая слабину, когда потребуется. Им нельзя позволять — если, конечно, мы еще не совсем распростились с разумом — вторгаться сюда вопреки этому основополагающему принципу нашей политики.

— Как насчет Кессарея? — спросил Керион. — Разве это не разжигание войны или угроза таковой? Как насчет Теллы? Но нет, прошу прощения, договаривайте то, что начали, господин мой. Я желаю согласия не меньше вашего.

— Не меньше их, как же, — пробормотал Альвард, прикрыв рот рукой. — Да чтоб они провалились! Вот на это я бы охотно согласился!

— Кессарей, — отвечал Эммий Парри, — издревле принадлежал Лаймаку; мы лишь вернули его туда, где ему и положено быть. Телла избрала себе губернатора на свободных выборах. Мы здесь не для того, чтобы рассуждать о вещах уже сделанных, но чтобы поговорить о нашем недавнем столкновении в Лайлме.

— Хорошо, — сказал принц Керион. — Хоть какое-то облегчение слышать эти слова. Перед обедом вы, казалось, видели лишь один путь к решению вопроса с Лайлмой: ваш собственный.

— Нет-нет. Я никогда такого не утверждал. Никогда и не думал ничего такого.

— Господин Супервий так сказал.

Супервий покачал головой:

— Я бы не хотел, чтобы меня поняли именно так. Тем или иным образом мы, вне всяких сомнений, сумеем договориться.

— Что до Лайлмы, — заговорил Эммий, — то мы легко достигнем единства, если только будем придерживаться этой основополагающей максимы об отсутствии иноземного вторжения. Если уж разговаривать, то именно с этой позиции. Все с этим согласны, господа? Все согласны с тем, что, как бы все ни сложилось, мы не допустим иноземного вторжения в Ререк?

— Я уже не одну минуту дожидаюсь момента, — сказал Супервий, глядя через стол холодным пристальным взглядом, — когда услышу, как принц Керион подтверждает этот принцип.

Принц нахмурился, впервые со времени обеда.

— Этого принципа я решительно придерживался, — произнес он, — с тех самых пор, как впервые занялся делами этой страны. Это было, когда у меня только появилась борода, а господин Супервий Парри только год или два как вышел из пеленок. И теперь вы станете смехотворно утверждать, будто мы с моими друзьями преступим это здравое правило? Когда на деле это как раз вы, кто, желая поднять смуту в этих городах в ущерб нам и поколебать мое могущество и мой титул в Лайлме, надеетесь загнать нас в угол, где перед нами останется выбор лишь из двух вариантов: или уступить вам по всем вопросам и стать, наконец, вашими прислужниками в Ререке, или же (если мы будем настаивать на своих правах) принять курс, который вы тут же назовете нарушающим тот самый принцип, который мы сами заложили в основу своей политики и вынудили сделать то же самое вас.

Эммий сказал:

— Нет же, прошу вас, господа мои, давайте вернемся к предмету нашего спора. Взаимные обвинения в коварстве лишь отдаляют решение реальных вопросов. Давайте пообещаем придерживаться позиции принца Кериона, и тогда этот запутанный вопрос насчет Лайлмы мы с легкостью решим. Пока что все согласны?

— Нет, — ответил Керион. — И, говоря по чести, вот по какой причине. У вас припасены отряды вооруженных людей (мы узнали об этом от нашей разведки), готовые выступить на север и напасть на нас. Я не утверждаю, будто мы боимся того зла, что вы можете нам причинить, но не намерены мы и связывать себе руки, давая вам полную свободу действий. Если хотите, давайте поговорим о Лайлме. Но если господин Супервий продолжит упрямствовать, то мы в этом не участвуем. И тогда мы обязательно позовем фингисволдские войска на подмогу, и вина за весь вред от этого будет возлежать на вас, а не на нас.

— Это будет ваших рук дело, — сказал Супервий. — Причиной тому — ваше собственное безумие, как бы вы это ни подали.

— О, хватит пылких и неучтивых речей, брат, — промолвил Эммий. — Дела эти следует решать с чистым взором, а не тогда, когда мозг затуманен.

— Принц Керион, — произнес он потом, обратив на того свой острый взгляд. — С вашей стороны это было весьма категоричное заявление. Что ж, я тоже буду говорить прямо, так что без обид. Мы предложили вам договариваться на основании вами же провозглашенного принципа об отсутствии иноземного вторжения. Вы не желаете связывать себя такими обязательствами. Тогда на этом мы с моим братом и остановимся. Мы признаем этот принцип. Более того, мы готовы навязать его силой. Крепость Мегра, лежащая на вашей (и нашей) северной границе и тяготеющая к Фингисволду, — достаточная угроза. Со всем смирением, принцы, это ваша задача — хорошо распоряжаться своими землями и подавать пример городам на ваших рубежах, как делаем у себя и мы. У меня есть друзья и родичи на юге, но я считаю неприемлемым взывать о помощи к королю Каллию. Если вы обратитесь к королю Мардану, мы с моим братом выступим на защиту наших северных границ, вероломно вами оставленных. И, полагаю, мы доберемся до вас прежде, чем вы успеете привести своих иноземных помощников; поскольку вы угрожаете нам, это будет с нашей стороны только благоразумно, если вы не обеспечите нам уверенность в мире. Обеспечите делами; красивых слов, сказанных ли, или написанных, нам теперь будет недостаточно.

Вот все, что я хотел вам сказать. Раз уж я решил быть с вами честен, замечу: это вы вынудили меня это сказать. Тем не менее, вполне возможно и даже вероятно, что…

Тут Кресандер не мог уже больше сдерживаться.

— Лучше нам было и не приезжать сюда! — воскликнул он, обрушив на стол свой кулак. — Эта встреча затеяна лишь для того, чтобы подразнить нас и потянуть время, покуда они точат на нас свои мечи. Я отправляюсь домой.

Он оттолкнул стул и привстал, но Керион заставил его снова сесть со словами:

— Обождите. Дослушаем до конца.

Супервий, пока его брат говорил, сломал печать на письме, торопливо принесенном его помощником. Керион с Альвардом наблюдали, как он читает его, будто надеясь прочесть что-либо из содержимого этого письма на его лице. Однако его лицо, надменное и невозмутимое, ни малейшим движением ноздри или века не выдало его чувств, пока он просматривал письмо, также как и при вспышке гнева Кресандера.

— Языки бывают поострее мечей, — произнес Эммий ледяным голосом. — Однако это удел грубых скотов, а не разумных мужей. Умоляю, позвольте мне закончить. Но сперва, с вашего разрешения, — и Супервий вложил письмо в его руки. Тот прочел его, задумчиво сложил и отдал обратно; на лице его, как и у его брата, невозможно было что-либо прочесть. — Давайте же, — заговорил он, — как и подобает хорошим политикам, руководствоваться нашим всеобщим благом, каковым является мир в Ререке. История помнит примеры краха многих государств и империй, что погрязли в местных распрях или, даже одержав победу, остались в конечном счете с пригоршней дыма вместо трофея. Давайте оставаться друзьями. Я непритворно желаю этого, также как и мои братья, и все, кто находится на нашей стороне. Но и другая сторона должна что-то для этого делать. Вот мое предложение: пускай обе стороны отправляются восвояси и поддерживают перемирие в течение месяца; затем мы снова встретимся и, я надеюсь, заложим новый фундамент для нашей столь некстати пошатнувшейся дружбы. Где же нам встретиться? — спросил он, поворачиваясь к своему брату.

— Что ж, вашим сиятельствам наверняка придется по душе убить двух зайцев одним ударом и увенчать наше примирение весельем, — сказал Супервий. — Что может быть лучше Мегры? В двадцатый день сентября, на который намечен пир по случаю моего обручения… — он помолчал, обводя всех глазами, — … с принцессой Марессией Фингисволдской. Вот, прочтите, если желаете; я получил это лишь пять минут назад, — и, окинув собравшихся волчьим взглядом, он бросил письмо на стол.

2. *Начала в Фингисволде*

ПРОШЛО восемь месяцев с той встречи в Морнагее, стоял мартовский полдень. Все живое в ревармских низинах дышало рано наступившей весной.

Оба берега привольно струившейся среди заливных лугов реки были обрамлены нарциссами, а каждая защищенная с севера и востока впадинка, где воздух успевал впитать в себя тепло солнечных лучей, полнилась бледно-розовой дымкой цветов ранней северной сливы с ее хрупкими лепестками и едва начавшими раскрываться почками. Выше по склону простирала свои ажурные узоры из нежно-пурпурных лепестков и золотистых тычинок сон-трава. Несколько ниже по течению, на полосе гальки, что протянулась от пра-

вого берега реки, охорашивались крохаль со своей супругой, прекрасные в своем бело-каштановом с переливчатой зеленью оперении. Здесь проходила верхняя граница прилива, и отовсюду с заболоченных просторов с их постепенно мелеющими протоками и ширящимися отмелями (ибо уже давно начался отлив) грязи и ила доносились журчащие каскады нот, когда один кроншнеп отвечал другому под бесчисленные крики береговых птиц помельче: ржанок и перевозчиков, камнешарок и колпиц, песочников и суетливых красноножек, — становившиеся все слабее и слабее по мере удаления от моря вдоль ленивых речных излучин, где, высоко на вздымавшихся от самой воды и закрывавших южную перспективу утесах, высился двурогий Риалмар.

Антея заговорила:

— Я изучила его, достопочтенный господин, обнюхала его, как вы и просили, со всех сторон.

Доктор Вандермаст восседал чуть выше на опутанном ветвями и увитом листьями ползучего вечнозеленого волчеягодника ребре скалы, служившем этим двоим сухим и уютным местечком, где можно было отдохнуть. Его подпиравшая ладонью подбородок левая рука была погружена в его белую бороду. Его обращенный на юг задумчивый взгляд был словно устремлен сквозь окружавшие его земные вещи, как будто бы за ними, как за окнами, открывались взору некие не столь мимолетные сущности. Ничто не шевелилось, лишь то и дело взмывала в воздух выше или ниже по течению черно-белая стайка золотоглазых гоголей или бабочками парили в воздухе крачки, плывя по ветру к невидимым водам Внутреннего Моря.

— Город Риалмар? — промолвил доктор наконец, не поворачиваясь.

— Нет. Весь этот новый мир. Я обошла его вдоль и поперек, от полюса до полюса, чтобы суметь (если это будет вам угодно) дать вам полное его описание. И все это за одно утро.

— Что же вы о нем думаете? В двух словах?

— Это нечто прекрасное и свободное, — отозвалась она. — Нечто безмерно древнее. Столь же древнее, как и я сама.

— Или столь же юное?

— Или столь же юное.

— Но разве всего минуту назад вы не назвали его новым?

Он посмотрел девушке прямо в желтые глаза — глаза, чьи зрачки были

вертикальными щелями, в глубине которых трепетал некий внутренний жар подобный жару раскаленного добела железа, — и взгляд его смягчился.

— И вы им очарованы, будто новорожденная пчела, что только выбралась потанцевать перед ульем тихим солнечным вечером, впервые отведать свежего воздуха и осмотреться вокруг.

Антея рассмеялась, на миг обнажив свои заостренные зубы, что будто во вспышке молнии преобразили на миг точеное спокойствие ее черт.

— Все это было мне знакомо и прежде, — сказала она. — И тем не менее, он столь же нов и неизведан, как и прошлый ночной снегопад на моих высокогорных ледниках Рамош Аркаба. Это новизна, от которой у меня шерсть становится дыбом. Разве у вас не так же?

Он покачал головой:

— Я же не хищник.

— Кто же вы? — спросила она, и, не дожидаясь ответа, продолжила: — У него есть свой вкус, свой запах, особенно там, наверху. В Теремненском дворце, — она повела носом по направлению к одиноко высившейся королевской столице, как будто бы даже здесь ее нюх позволял ей ощутить ее присутствие.

Вандермаст промолвил:

— Там родился ребенок. Вы ведь правда его видели? Это мальчик.

— Да. Но в этом нет ничего необыкновенного. Разве что, когда я сменила свою гладкую кожу на мех, а затем подкралась к нему и показала ему из-за спины его няньки все зубы, он не испугался, но посмотрел на меня так, что я тут же исчезла и была этому рада. И по сути, именно это и заставило меня начать ощущать всю эту новизну на каждом шагу. В особенности в королеве.

Она взглянула на него, помолчала, а затем вдруг спросила:

— Эта королева — кто она на самом деле?

Он не ответил.

— Скажите же мне, милый господин, — взмолилась она, подбираясь поближе, совершенно не по-человечески потянувшись всем телом и трясь щекой, будто какое-нибудь похожее на кошку существо, о его колено.

Он произнес:

— Не следует задавать вопросов, если ответ вам известен.

Антея выпрямилась и рассмеялась. От этого движения ее волосы, свободно стянутые нитью дымчатых цирконов той полупрозрачной голубизны, какой просвечивает край ледяной пещеры, когда на него взирают изнутри,

рассыпались непокорными водопадами солнечного света по ее плечам, а один из золотистых потоков, струясь, упал ей на грудь.

— Она и сама не знает ответа. Полагаю, в своем нынешнем одеянии Она спит?

— В своем нынешнем одеянии, — промолвил старый доктор, — Она отстранилась от себя самой. Вы можете, если вам так угодно, считать это своего рода сном, своего рода забвением. Так солнечный свет забывает о себе, глядя на то, что он освещает.

— На этого ее малыша-львенка? Не понимаю, к чему Ей такое забвение.

— О нет, моя ореада. Я и не хотел бы, чтобы вы были способны понять это, ибо тем самым вы запачкали бы чистоту своей истинной природы.

— А вам бы хотелось, чтобы я была тем, что я есть?

— Да, — ответил он. — И вы, и все остальное.

Девушка, молчаливо приводя в порядок свои волосы, без улыбки встретилась своими беспокойными, пылающими кошачьими глазами с его взглядом.

— Пойдемте же, — сказал доктор, поднимаясь с места.

Гибко и грациозно, Антея поднялась вслед за ним.

— Куда? — спросила она, когда они двинулись на юг.

— В Теремну. Посмотрим на их празднества.

В старом Теремненском дворце, что подобно орлиному гнезду венчает собой гребень более высокого, юго-восточного, из двух крутых скальных бастионов, именуемых Теремной и Мехисбоном, на которых и вокруг которых все разрастался с годами город Риалмар, находится маленький укромный садик. Он расположился прямо между стенами и скалой, надежно спрятанный от недобрых ветров, но открытый солнцу то с одной, то с другой стороны, с утра до позднего вечера. На него не выходит ни одно потайное окошко; туда не долетают никакие назойливые звуки окружающей его мирской суеты. Это весьма ухоженный садик с безупречно продуманными дорожками, вымощенными гранитом, что стал гладким от прошедших столетий, и со ступеньками, что со всех сторон спускаются к овальному пруду посередине; на пьедестале же посреди пруда стоит статуя выходящей из моря Афродиты, созданная из золота и слоновой кости. Через равные промежутки там были разбиты

клумбы с крохотными горными цветами: очитком, молодилом, скальным алиссумом, дриадой, клевером и мелкими желтыми горными маками, а также с той ползучей энотерой, что каждый вечер с наступлением темноты раскрывает призрачно-белые чаши своих цветков с четырьмя изогнутыми лепестками, чтобы в ночные часы напоить сад своей острой и необоримой сладостью. С приходом утра они никнут и сворачивают свои лепестки, прежде белоснежные, а теперь налившиеся розовым оттенком, и утрачивают свой аромат, безжизненно и инертно ожидая, пока ночь не придет вновь и не пробудит их девственную нежность и красоту. Это был сад королевы Статейры, семь лет назад приведенный для нее в порядок Марданом, ее мужем, который в те дни не придавал большого значения садам, но весьма ценил свою молодую жену.

Тени уже удлинялись, день клонился к вечеру. В одном из глубоких проемов в восточной стене, что с высоты восьмисот футов взирал на устье реки, гавань и — через небесные пространства — на исполинские горные цепи, в этот час столь плотно застланные облаками, что тяжело было отличить снежное поле от облачной гряды, расположился король Мардан, погруженный в беседу с двумя или тремя спутниками. В саду не было ни ветерка, и весеннее солнце согревало их плечи.

Поодаль от них, в каких-нибудь двадцати ярдах, у края воды, на скамье из ляпис-лазури и перламутра сидела королева. Яркое солнце, сиявшее из-за спины, скрадывало черты ее лица загадочным полумраком, но было не в состоянии скрыть красоту ее фигуры и позы, преисполненной легкости, спокойствия и лишенной гордыни грации. Лучи света разожгли пламя огненных оттенков в ее волосах, а тень, отбрасываемая статуей, касалась меховой оторочки на ее юбке и золотых кружев на ее туфлях.

Напротив нее на той же скамье грелась на солнце леди Марессия Парри, что была единственным ребенком принца Кермана Фингисволдского, а потому — кузиной короля. Ей было сейчас двадцать четыре года; кожа ее была ослепительно бела, взгляд жгучих каштаново-карих глаз — подвижен, дерзок и энергичен, нос напоминал орлиный клюв, а желтые волосы, убранные с высокого лба и стянутые тонкой серебряной диадемой, изукрашенной драгоценными камнями и жемчугом, свободно ниспадали на ее спину и плечи, будто у невесты.

Королева заговорила:

— Ну вот, кузина, вы замужем.

— Замужем, да брачного ложа не знала.

— О, когда вы уже бросите эту вашу дурную привычку?

— Дурную привычку?

— Говорить всякие непристойности.

— О, ну с родней можно. Скажите мне без утайки, что ваше высочество думает о моем Супервии? Он достойный мужчина?

— Его образ недалек от него настоящего. А поскольку вы влюбились именно в его образ, как и он в ваш, осмелюсь предположить, что вам достался самый подходящий супруг.

Принцесса улыбнулась одними губами — вишнево-красными, чувственными и надменными.

— Притом это — мое завоевание, — произнесла она. — И это придает блюду особую пикантность.

— Но помните, — возразила королева, — мы, жены, редко можем похвастать какими-либо завоеваниями по истечении первой недели.

— Об этом мы с вашим высочеством еще побеседуем. Но я не имела в виду, что завоевала его. Нутром я чувствую: в нас двоих достаточно жару, чтобы спалить дотла подобное хладнокровное соперничество. Да уберегут меня Боги от того, чтобы я когда-либо сдалась невольницей на милость человека, за которого выйду замуж; однако же я и не настолько глупа, чтобы выйти за того, кого могла бы подчинить своей воле сама. Нет, я говорила о моих родителях, да-да, а также (при всем моем уважении) о вас с королем.

— Это ваше завоевание, — ответила королева, — есть мера нашей любви к вам.

— Несомненно. Но также и мера моей собственной воли. Не будь ее, — тут она оглянулась через плечо и придвинулась поближе, — и я готова была бы предположить, что ваша любовь ко мне (во всяком случае, любовь короля) сыграла вторую скрипку в более глубинных замыслах.

Королева промолвила:

— Вот и не переживайте об этом. Вы же получили, что хотели.

Марессия приподняла свой безупречно белый подбородок и на ее устах появилась улыбка.

— Воистину, кузина, — произнесла она, понизив голос почти до шепота, — думаю, вам стоило бы поблагодарить меня, всем вам. Предположим, я бы согласилась с вашим хитроумным планом выдать меня за этого принца-

изгнанника из Аккамы. Сам по себе он вполне ничего, сложен хорошо, и это следует признать. Готова поклясться, он способен удовлетворять женщину безостановочно, но что с того толку? Отец его мертв, а сам он, выгнанный узурпатором взашей, — бездомный изгой, устроившийся на вашем пороге. Как может такой как он быть королем или вообще распоряжаться чем-либо, кроме собственных фантазий и обид? Клянусь, королю (да ниспошлют ему Боги вечную жизнь) больше проку будет от того, кого я по своей собственной прихоти избрала и привела к нему, нежели от Актора, будь он хоть десять раз принцем. Да и Ререк куда ближе к нам — и по крови, и по обычаям. Выйти за этого чужеземного лизоблюда? Боже сохрани, я скорее возлягу в коровнике и буду рожать минотавров.

Королева Статейра рассмеялась искренним и добрым смехом, что рождается от чистоты души и беззаботной жизни:

— Ну-ну, откуда в вас столько горечи.

— Думаю, Актор как-то замешан в планы вашего высочества.

— С чего бы это?

— Иначе странным выглядело бы то, как вы, при всем вашем дружеском отношении ко мне, хотели отдать ему мою руку.

Королева отвернулась.

— Сказать вам по правде, дорогая Марессия, таково было желание короля, а потому таково было и мое желание, ведь таков мой долг.

— Долг? — переспросила принцесса. — Он состоит в том, чтобы вслепую следовать указке вашего супруга? Да уж, на таких условиях меня идеальной женой точно не назовут.

Воцарилось молчание. Потом Марессия, вновь откинувшись на скамью, произнесла своим обычным тоном:

— Кто этот предсказатель по звездам, этот прорицатель, которого ваше высочество приютили во дворце?

— О чем вы? Никого я не приютила.

— О, конечно, а как же седобородый старец в длинном кафтане и магистерской шляпе? Ох и горазд он на комплименты, доложу я вам. Подходит ко мне, когда я не более получаса назад шла в толпе гостей под руку с господином моим Супервием, смотрит на меня так, что у меня мурашки по спине, и восклицает, что я понесу от Супервия сына, который превзойдет своего отца.

— Да услышат его небеса.

— А потом поворачивается к лорду Эммию, которого мне теперь следует звать деверем, и выкрикивает, что от семени Эммия Парри произойдет королева земли и королева небес.

— Что же он, по-вашему, скажет мне? — спросила королева.

— Если угодно, пройдемте в зал Морских Коней, я его вам покажу и вы сами сможете его расспросить.

— Дорогой мой господин, — промолвила Статейра, когда король и его спутники, по всей видимости покончив со своими делами, приблизились к ней, — как вам такая забава? — и она передала ему все, что сказала Марессия.

Король, подшутив над их несерьезными разговорами, согласился.

— Вон стоит этот старик, тот, долговязый и тощий, — прошептала Марессия королеве на ухо из-за ее спины.

Они спустились по широкой лестнице в огромный зал и остановились на последних ступенях между двух морских коней из темно-синего горного хрусталя, высотой по плечо рослому человеку, дабы оттуда рассмотреть всех собравшихся, что при звуках возвещавших прибытие короля труб замерли без движения, обратив лица в одну сторону.

— А вон та девица со звериными глазищами, — продолжала та. — Наверное, это его внучка. А может, это куртизанка, если, конечно, такой фигляр как он нуждается в подобных увеселениях.

Супервий рассматривал свою принцессу со все более глубоким удовлетворением, словно искусный наездник, начинающий распознавать аллюры своей новой и еще необъезженной кобылы голубых кровей.

— Не кричи так, Марессия, — одернул ее отец.

Король послал своего маленького шестилетнего пажа по имени Иеронимий, чтобы тот привел доктора к нему.

Когда это было исполнено и Вандермаст чинно поклонился, король еще какое-то время молча рассматривал его, а потом заговорил:

— Кто вы такой, почтенный старец? Мой подданный или чужеземец?

— Я, — отвечал тот, — всю свою жизнь оставался верным и преданным

слугой вашего высочества. Обитель моя находится во многих днях пути отсюда, на юге, в Волде, а по роду занятий я ученый-философ.

— Что же привело вас сюда, ко двору?

— Стремление исполнить свой скромный долг, а также собственными глазами увидеть, наконец, это место и прочувствовать его величие.

— А еще попросить пособия?

— Нет, господин. Разменяв свой девятый десяток, я полагаю свою скромную вотчину достаточной для обеспечения меня пропитанием, а в размышлениях о сверхъестественном я нахожу довольно пищи для своего ума. Помимо этого других потребностей я не имею.

— Судя по его словам, этот человек мудр, — тихо проговорила королева. — Ибо это, в сущности, и есть свобода.

— Никогда не слыхал, чтобы философией можно было набить брюхо, — сказал король, по-прежнему изучая того пронзительным взглядом. — Поговаривают, будто вы не далее как сегодня рассуждали о всяческих пророчествах и вероятностях (кое-кто скорее назвал бы их невероятностями, ну да бог с ними) касательно некоторых благородных персон, что являются гостями на нашем свадебном пиру.

Вандермаст промолвил:

— Я действительно так поступил, господин король, но сделал я это в ответ на расспросы, обращенные ко мне упомянутыми персонами.

Король поднял бровь и посмотрел на Марессию.

— Ну да, — признала она, — мы и впрямь его попросили.

— Я лишь озвучил те мысли, что пришли мне на ум, — сказал Вандермаст. — Не говорил я и ничего необдуманного, но лишь то, что по зрелом рассмотрении представлялось мне возможным и разумным.

Король на минуту замолчал, впившись взглядом в глаза этого ученого доктора, твердо и спокойно взиравшие на него из-под белоснежных бровей; он словно тщился проникнуть в тот бездонный мрак, что таился за ясной и искренней наружностью.

— Вас нельзя в этом винить, — сказал он, отведя, наконец, взгляд.

Принцу же Актору, что стоял справа подле него, он шепнул:

— Этот человек мне нравится: он способен смотреть мне в глаза без вызова, но и без раболепия. Королям, как правило, приходится иметь дело либо с одним, либо с другим.

— Полагаю, — отозвался Актор, — вашему высочеству никогда не приходилось сталкиваться с первым.

Он глянул на королеву Статейру, что сидела по левую руку от короля и, широко раскрыв глаза и приоткрыв прелестные уста, пристально наблюдала за доктором Вандермастом с детским изумлением. Она поймала его взгляд и отвернулась.

— Хороший ответ, — обратился король к Вандермасту. — Ныне царят дни веселья и радости, а в праздник людям подобает проявлять свою щедрость и делиться чем-либо с бедными и нуждающимися, в особенности когда те произносят добрые слова или каким-либо иным образом заслуживают благодеяния. Примите же от меня вот это, — сказал он, снимая с пальца кольцо. — Оно принадлежало моему деду, королю Антиллу, да покоится он с миром. Считается, что камень в нем обладает чудесными свойствами, и я даровал бы его лишь тому, в ком почуял бы сопоставимые достоинства. Однако не забывайте, закон строжайшим образом воспрещает кому-либо осмеливаться пророчествовать касательно королевской персоны. Посему не стройте догадок относительно меня, старец, сули они хорошее или плохое, дабы вас не постигла худшая участь.

— Господин король, — промолвил Вандермаст, — вы отдали приказ, и приказу этому я со всем усердием буду подчиняться. Я поведал вашей светлости, что владения мои малы и скудны, однако нет ничего такого, в чем бы я нуждался, как не нуждаюсь и в вознаграждениях. Ибо всеобщим свойством вознаграждений является то, что они обесценивают действие, давая человеку (если это действие во зло) повод к его совершению, без которого оно осталось бы несовершенным. Ведь зло само по себе не может служить поводом. С другой стороны, если это действие во благо, то сам факт того, что оно было совершено ради вознаграждения, может породить в человеке дурное стремление к дешевым, никчемным, поверхностным вознаграждениям, так что в конечном итоге все его внутренние суждения оказываются развращены и он становится неспособен оценить или возжелать единственной истинно ценной и вечной награды, каковая заключается в благом деянии самом по себе. Однако это, — добавил он, надевая королевское кольцо на палец, — было получено не в качестве награды, но в качестве королевского подарка, ведь все великие правители со стародавних времен слывут дарителями колец. И, как я вижу, ваше высочество охотно следует этому замечательному примеру.

— Окажитесь тем, кем вы кажетесь мне, — сказал король, — и дружба моя присоединится к подарку.

По окончании аудиенции доктор продолжил неспешно прогуливаться туда и сюда, то входя в зал, то выходя из него; однако он все время оставался на периферии, будучи не столько одним из гостей, сколько наблюдателем и слушателем, подмечая в каждом все, чему стоило бы быть подмеченным: позу, внешний вид, настроение, манеры, мельчайшие особенности в выражении глаз, форме ноздрей, изгибе губ. И с каждым последующим его шагом по этому дворцу на южном роге Риалмара, величие и древность этого места все сгущались вокруг него. Как громада горы представляется скалолазу, по мере того, как он взбирается все выше и выше, некой единой и осязаемой сущностью, состоящей из исполинских скальных плит, головокружительных обледенелых утесов, слепящих глаз просторов снеговых полей, вздымающегося ввысь гребня, чьи скульптурные линии отточены ветром до совершенства, озаренного солнцем и отдаленного на фоне бесконечно далекого синего неба над ним, так и здесь все окружающее застыло в неподвижности своего потрепанного временем и обросшего легендами великолепия: циклопические стены и арки, лестничные пролеты, по которым могли бы проехать верхом, не касаясь друг друга коленями, шестеро всадников, галереи, альковы и прорубленные в камне ряды окон, простирающиеся вдаль линии карнизов, бордюров и оконных проемов со средниками вшестеро выше человеческого роста, колоннады с изысканно вытесанными дорическими капителями, подпирающие огромные балки сводчатой крыши, что казалась размером с небосвод. Все это, будучи вобрано во всей своей целостности, способно было заставить разум позабыть не только о себе и обо всем человечестве, но даже о вековечных горах, когда приходило осознание, что Риалмар мог бы быть истоком или колыбелью величия и одиночества, коренящегося глубже, чем они сами.

Погруженный в эти раздумья, он снова вернулся в приемный зал с его украшенной морскими конями лестницей, где его ждал один из управляющих королевы с приглашением от ее высочества доктору Вандермасту, дабы тот присоединился к ней в ее тайном саду. Доктор последовал за ним. По дороге через сводчатый коридор, прорубленный в скале и ярко освещенный висячими лампами, им повстречалась нянька, ведшая за руку ребенка в подгузниках

лет двух или трех. Доктор внимательно посмотрел на мальчика, а мальчик — на него.

— Что это был за ребенок? — спросил он, когда они прошли мимо.

Управляющий, покосившись на него, как на какого-нибудь подозрительного старого бродягу, при котором лучше лишнего не болтать, чтобы поскорее отделаться, ответил в том духе, что это кто-то из детей придворных, он точно не знает, кто именно. На эти слова ученый доктор ничего не ответил.

— Ее высочеству, — произнес управляющий у ворот в сад, — угодно остаться с вами наедине. Извольте, — и Вандермаст вошел в сад один, остановившись перед королевой Статейрой.

Она пристроилась боком на украшенной драгоценностями скамье, поджав ноги, вышивая рубаху из белого сатина, украшенную серебряными цветами. Когда доктор подошел, она бросила на него лишь взгляд, а затем вернулась к работе. Ярко сияло солнце, но полуденный час уже миновал, и тень от статуи Леди Пафоса из золота и слоновой кости более не касалась королевы там, где она сидела. Посвежело, и ее плечи были укутаны в накидку с высоким воротником из богатого коричневого бархата цвета летней куньей шкуры, отороченную беличьим мехом. Он ждал, наблюдая за ней, в то время как она, опустив глаза, все работала иглой. Ничто другое не шевелилось, лишь время от времени вспыхивали жгучими красками ее волосы, когда их касалось солнце, да в том месте, где гофрированный воротник ее платья спускался книзу, тихонько вздымалась и опадала ее грудь. Через некоторое время она подняла глаза.

— Вы догадываетесь, почтенный господин, почему я послала за вами?

Солнце стояло позади нее, и выражение ее лица невозможно было прочесть.

Он ответил:

— Мне не нужно гадать, ибо я знаю.

— Тогда скажите и мне. Ибо воистину, я понятия не имею, почему это сделала. Отвечайте без страха: как видите, мы одни.

— Это потому, — отозвался он после короткой паузы, — что ваше высочество бежали и сбились с пути. Потому-то вы это и сделали, тщетно теша себя надеждой, что блуждающий огонек бестолкового старческого совета послужит светильником, что укажет вам дорогу домой.

— Какие странные и неожиданные слова, — промолвила она. — Не знаю, что на них и ответить.

— Правда, — тихо произнес Вандермаст, — всегда была странной птицей.

— Правда? Я родилась и выросла в Риалмаре, где же еще быть моему дому? Я ваша королева, с какой стати мне быть беглянкой и от чего бежать?

— Оказаться здесь до срока и означает утратить дом. Необходимость же бежать проистекает из той только причины, что вы сами (хотя, думаю, вы уже забыли) пожелали этому свершиться.

Кровь бросилась ей в лицо; она начала было вставать с места, но от этого резкого движения все ее богатое и дорогое шитье соскользнуло с ее колен и упало на землю. Она снова уселась:

— Я вижу, вы просто фантазер и софист, который, сыпля парадоксальными высказываниями, норовит выглядеть мудрым и значительным. Не стану больше вас слушать.

— Я, — отвечал старец, с трудом опустившись на одно колено и собирая упавшую ткань, — не кто иной, как творение и слуга вашего высочества. К тому же, вы неверно толкуете сказанное мною, относя на счет какой-то частности то, что, как подразумевалось, включает в себя более возвышенные материи.

Он замер перед нею в почтительном поклоне.

— Однако же, оно впору, — произнес он как бы сам себе, однако королева, как и ранее склонившаяся над своим шитьем, словно съежилась, как будто эти слова разбередили какую-то рану.

— Я потеряла иголку, — сказала она. — Нет, вот она.

Потом, после долгой паузы, она заговорила глубоко несчастным голосом, по-прежнему продолжая шить:

— Разве пожелает чайка броситься на маяк? Разве пожелает моряк, когда прилив бушует среди шхер под завывания ветра, оказаться там в лодке без руля? Как могла я пожелать такого?

— Кто еще на всем белом свете, кроме вашего высочества, может ответить на этот вопрос? Быть может, причиной послужила скука и желание ощутить свое могущество.

При этих словах рука королевы замерла.

— А вы, говорят, тот, кто способен прочесть судьбу человека в его гла-

зах? Разве в моих вы не видите, — она подняла голову, встретившись с ним взглядом, — что нет у меня никакой силы? Что я совершенно одна?

— Сила короля — ваша сила.

Снова взявшись за шитье, она промолвила:

— Я начинаю опасаться, что она не принадлежит даже ему самому.

— Она ваша, просто используйте ее.

Еще больше склонив свою белую шею, чтобы спрятать лицо, она сказала:

— Я начинаю думать, что утратила умение ею пользоваться.

Потом едва слышно добавила:

— А может быть даже и желание.

Доктор Вандермаст промолчал. Его глаза метались от женщины к статуе и обратно: одна внешне, пожалуй, ближе к сокрытой сейчас реальности, но нереальная сама по себе, голая математика, видимость; другая реальна, но, если не считать внутренней и внешней красоты, совсем не похожа, поскольку не ведает, кем является, и в то же время, через посредство этого самого недостатка, исполненная уникальности и совершенства, самодостаточного, но отсутствующего в божественном прообразе Ее подлинной; так великое дневное светило рождает на рассвете и закате мимолетные образы незавершенности и совершенства, поглощаемые и стираемые начисто белым пламенем полдня.

— Вы странный и загадочный человек, — внезапно проговорила она, все еще не поднимая глаз. — Странно и то, что я вам все это сказала, сказала то, чего не говорила доселе никому на свете. А ведь до сегодняшнего дня я вас и в глаза не видела.

Потом, вдруг собрав свое шитье, она промолвила:

— Но и вы ничем мне не поможете. Не в большей степени, чем все прочие, кто только наблюдает или мешает.

Он сказал:

— Вашему высочеству никто не в состоянии помочь, кроме вашего же высочества.

— Не слишком-то согревает такое утешение. Хотя, наверное, против жара и от холода будет какой-либо прок.

Она поднялась и стала молча прохаживаться по лужайке, в конце концов остановившись перед статуей. Глядя на нее, отвернувшись от пожилого доктора, она сказала:

— В сущности, я послала за вами по более веской причине, нежели эта. У меня есть сын.

— Да.

— Вы умеете читать по звездам и небесным знакам?

— И в самом деле, — отозвался он, — в юности я в течение семи лет изучал в Мифразском университете Потустороннее и Вещественное, но с тех пор я давно уже усвоил, что ответов они не дают. Теперь же я скорее изучаю тьму, что скрывается в потайных уголках людских сердец; мой долг — лишь пытаться понять, наблюдать и ждать.

— Но вы ведь видели ребенка? Что вы в нем видите? Поведайте, что вы думаете о нем. Я должна знать правду, — она повернулась к нему. — Даже если правда зла.

— Если это правда, — промолвил доктор, — то она ни в коем разе не может быть злой. В соответствии с одним из принципов теории, Quanto est, tanto bonum[288], что равносильно утверждению, будто полнота реального и полнота благого суть, sub specie æternitatis, одно и то же. Я взирал на дитя, как взирал бы на первые едва различимые отблески утренней зари в небесах, и я говорю вам: пришел день.

— Со временем он станет королем?

— Если будет угодно Богам.

— Королем Фингисволда, как и его отец?

— И не только. На нем будет зиждиться весь мир.

— Ваши слова — божественная музыка. Добьется ли он этого силой или же лишь везением?

— Силой, — отвечал Вандермаст, — И доблестью.

Королева затаила дыхание.

— О, вы показали мне, что после всех кошмаров настанет сладчайшее утро. Но омрачает это утро странная мысль в моей голове: где гарантии, что вам можно верить?

— Их нет. Вы должны верить не мне, но истине. Я — лишь указующий перст. И кратчайший путь, по которому ваше высочество (будучи смертной) может прийти к вере в эту истину, единственный способ воплотить ее в жизнь в этом мире — это действовать и заставить ее осуществиться.

— Ваши речи по-прежнему темны для меня.

288 Quanto est, tanto bonum (лат.) — «что есть, то и благо».

— Я говорю о том, что воплощение всего этого зависит лишь от вашего высочества.

Она отвернулась и спрятала лицо. Оглянувшись через некоторое время, она протянула ему руку для поцелуя.

— Я ничуть не оскорблена вашими словами, — промолвила она. — Был миг во время этой нашей безумной беседы, когда я могла бы перерезать вам глотку. Будьте моим другом. Бог свидетель, на моем пути — неровном, каменистом и изобилующем трясинами — я в нем нуждаюсь.

Вандермаст отвечал:

— Прекрасная госпожа и повелительница, скажу вам еще раз, я ваш во всех ваших начинаниях. И повторю, только ваше высочество в силах вам помочь. Оставайтесь верны тому совершенству, что в вас живет, и все будет хорошо.

3. «И Чернолесия, где черти пляшут»[289]

Той ночью принц Актор очнулся ото сна после того, как ему привиделся кошмар, не имевший ничего общего с явью повседневности, однако его чистейший и беспредельный ужас и ощущение утраты, будто громом чудовищных крыльев омертвившие его чувства, заставили его проснуться со стучащими зубами, дрожащими руками и дыханием, застревавшим в глотке. Как только руки стали вновь повиноваться ему, он зажег свечу и лежал, потея, по шею завернувшись в простыни, глядя за тем, как язычок пламени то бледнеет и затухает, то разгорается снова. Часы неспешно пробили полночь. Чуть погодя он задул свечу и попытался уснуть, однако сон, безжалостно наблюдавший за ним из тьмы у кровати, все не шел. Наконец, он опять зажег свечу, поднялся, зажег светильники на тумбах из стеатита и порфира и с минуту стоял, как был, нагой, перед висевшим на стене между светильниками большим зеркалом, будто желая убедиться в реальности собственного существования. Не было видно ни единого изъяна в его отражении: мужчины двадцати трех лет, сложением худощавого и жилистого, с приятным гладко выбритым по аккамской традиции лицом, крупным носом, полными и улыбчивыми губами, в чьих линиях утонченность и своего рода горделивость сочетались с некой

289 К. Марло, «Тамерлан великий» (ч. II, акт I, с. 3; пер. Е. Полонской).

нерешительностью, с красивыми ушами, кустистыми бровями и голубыми глазами с темными ресницами, изгибом и длиною подобными женским.

Надев ночную рубашку, он налил себе бокал красного вина из графина на столике у изголовья, выпил, наполнил снова, и на этот раз осушил его одним глотком.

— Тьфу! — воскликнул он. — Во сне разум мужа одурманен, и все эти женские страхи и сомнения, над которыми мы в здравом рассудке лишь посмеялись бы, лишают нас мужества, когда им заблагорассудится.

Он подошел к окну, отдернул занавески и постоял так некоторое время; вдруг, словно вспомнив, что у ночи множество глаз, погасил светильники и торопливо оделся при лунном свете, потом снова подошел к окну, попутно налив себе третий бокал вина, а затем, когда был осушен и он, и четвертый, который был наполнен лишь на две трети, когда графин уже опустел. Он высунулся из открытого окна; вокруг него царила ночь, теплая и тихая; стены, крыша и контрфорсы серебрились и чернели под луной, а небо вокруг нее сияло фиолетовым светом, затмевавшим собой звезды. Актор сказал себе:

— Желание в бездействии есть отрава. Тот, кто сказал это, был мудрым человеком.

Он содрогнулся, словно эта непривычно спокойная, тихая и безоблачная мартовская ночь вдруг дохнула на него морозным воздухом, и в тот же миг гладь этого омута молчания нарушило прекрасное женское пение, легкое и бестелесное, и в буйных ритмах этой песни каждый слог звучал четко и чисто, будто звон падающих сосулек:

Там, где земля под снежным гнетом спит,
Где ледники рождаются и льдины,
Где мертвый холод ночью леденит
Жемчужные безлюдные долины,
Там, где потоки венами бурлят,
Неся к горам не кровь, но лед и воду,
Где русла белых рек спокойно спят:
Гром пушек не волнует их свободу;
Сверкает звездами морозный небосвод,
И ореада, божие творенье,
Спускаясь вниз с заснеженных высот,
Глядит на мир, охваченный сраженьем.

Ликует и смеется ореада:
Людские промахи — ее отрада[290].

Напевая так, она прошла прямо под ним, в чернильной тени стены. Ее голос был весел и насмешлив, но нес в себе и обертоны трагичной музыки звучащих под сурдинку струн — музыки, что способна оживить даже камни, но сама исходит из холодного как камень сердца; это был голос, от которого мороз бежит по спине, как когда кричит выпь или кроншнеп, чей крик предвещает беду. Тут, выйдя на освещенное лунным светом место, она обернулась и посмотрела на его окно. Он увидел, как луна сверкнула в ее похожих на звериные глазах. Потом она, продолжая напевать, возобновила свой путь по направлению к северному углу двора, туда, где сводчатый проход выводил в аркаду, что тянулась до самого королевского сада. Актор немного помедлил, будто обуреваемый сомнениями, затем с бьющимся все сильнее сердцем отпер дверь, скатился вниз по каменной лестнице так быстро, как только мог это сделать в темноте, и, выбравшись наружу, последовал за ней.

Садовые ворота были распахнуты, и через несколько шагов он догнал ее.

— Сдается мне, вам нравится гулять по ночам, да еще и в необычных местах.

— Это и так понятно, — сказала она, и ее рысьи глаза уставились на него.

— Знаете ли вы, с кем разговариваете?

— О да. С принцем, чья земля принадлежала ему по праву, покуда его оттуда не вышвырнули; он и здесь считается принцем, но только из вежливости. Совсем как яйцо без начинки: снаружи гладкое, да весу в нем мало, а проку и того меньше. Слыхала, длинные языки называют его хлыщом.

— А вы отважная кошечка, — сказал он. Его опять охватила дрожь, будто от пронизывающего ветра. — Ну и холод в этом саду.

— Неужели? Тогда вашей чести разумнее будет покинуть его и отправиться в кровать.

— Сначала окажите мне одну любезность, госпожа. Отведите меня к этому старику, вашему деду.

— В такой час?

— Мне нужно кое-что у него спросить.

290 Пер. А. Вироховского.

— Просите вы немало.

— Что вы имеете в виду? — опешил он, будто мальчишка, чьи, как ему казалось, надежно спрятанные мысли вдруг выставили на всеобщее обозрение.

Антея обнажила зубы:

— А вы хотели бы обладать моим умением видеть в темноте?

Затем, пожав плечами, она добавила:

— Я слышала, он вам сегодня говорил, что на ваши вопросы ответов у него нет.

— Я не могу уснуть, — сказал Актор. — Мне нужен его ответ.

— Всегда можно продолжать бодрствовать.

— Вы отведете меня к нему?

— Нет.

— Тогда скажите мне, где он, и я сам его найду.

Глядя на луну, Антея рассмеялась:

— Посмотрите-ка, эти смертные все просят и просят! Только вот я не ваша нянька, и не собираюсь твердить как попка «Нет, нет, нет», когда вздорное дитя вопит, чтобы ему дали попробовать ягод паслена. Вы получите то, чего хотели, но это вас и погубит. Обождите здесь, я все ему передам, а там уж, быть может, он и соблаговолит прийти к вам.

Принц наблюдал за ее уходом. Словно серебристая горная березка, если бы та могла ходить, ступала она в лунном свете. И то ли так сияла луна, то ли так загадочна была ее походка, то ли так бурлило в его жилах вино, то ли так шумело в его голове, что ему подумалось: «*К чему себя винить? Разве я предам свою подругу и благодетельницу, если стану настойчиво добиваться того, что моему одурманенному мозгу представляется поистине высшим благом? Она для него — лишь орудие, чтобы рожать ему королей-наследников. Когда родился его сын, очень скоро стало очевидно и несомненно: ему больше нет до нее дела; чистейшее и наивысшее совершенство, самое лучшее из всего, что было или будет когда-либо, для него — просто вещь, ставшая ненужной, как только она отслужила свое. Клянусь Богом, да что ему и до меня? Что ему до того, как я сегодня, благодарение Богам (если есть на свете какие-либо Боги, кроме, быть может, самого Дьявола в Аду, который сейчас, если только существуют такие вещи как плоть и дух, что весьма сомнительно, рвет и раздирает мои плоть и дух), держал ее в своих руках, пусть и одно лишь мгновение, пусть она и бросила, отвергла меня, и осознал, нутром ощутил: она должна быть моей навеки? Боже! Нет, вечность — всего лишь слово,*

но как же я нуждаюсь в ней. Нуждаюсь прямо сейчас, и до самой смерти — моей или ее. И что мне до него? Клянусь душой (будь проклята моя душа, ибо нет никакой души, а только животные порывы, да и те мимолетны, как мечта или пламя свечи, что живут и умирают только ради нее), откуда мне знать (будь проклят я), что он не собирается продать меня захватчику, который (клянусь, болтаться ему на виселице) сидит сейчас на троне моего отца? Высокие слова, сладкое томленье… я как в тумане. Лишь бы только на миг обрести зрение; глупость и безумие — доверять чему-либо, кроме зрения. Видеть — значит верить. Бог ли, Дьявол ли — и то и другое невероятно; пора довериться тому, кто укажет мне надежную дорогу». Липкий пот покрывал его. И, глядя на статую, словно на врага, зажатый в необоримые тиски негодования и любви, чье неистовство удваивалось страстью, он принялся бормотать про себя: «*Сука! Мудро же поступили с мужской глупостью, возведя тебя в богини. Тебя, которая пожирает их разум, которая подвешивает их на своем крюке и мучает до тех пор, пока они не будут готовы пойти на отвратительнейшие предательства, лишь бы обрести то мерзкое болеутоляющее, что ты им предлагаешь, что не столь ужасно на вкус, что сокрушает их волю и их мужество, а потом оставляет высосанными досуха и лишенными всего, кроме одного лишь стыда, пустоты да сердечной боли. Оживай, ну же. Шевелись. Обрати сюда свои лживые, пустые и похотливые глаза, посмотри, как действуют твои приемы. Лучше бы это были глаза василиска, лучше бы я умер от их взгляда, обратился в камень, такой же камень, как и ты, в ничто, такое же, как и ты, ничто*».

Развернувшись спиной к этой фигуре, что была лишь почти бесполезным в своей неизменности отражением в разбитом зеркале той, что изменяется вечно, и вместе с тем вечно остается все такой же совершенной, он оказался лицом к лицу с доктором Вандермастом, чьи глаза в этом лишенном полутонов лунном свете казались темными ямами в костяных глазницах черепа.

— Мудрость, — промолвил доктор, — редко проявляется в крайностях. И я бы хотел, чтобы ваше превосходительство поразмыслили о том, как подобная хула обращается не против Бога или Богини, которые либо видят в ней развлечение и повод для смеха, либо пропускают мимо ушей, как нечто недостойное внимания, но против самого хулителя, ибо инфекция эта чрезвычайно губительна для души.

Слушая его, Актор ошеломленно взирал на него и на изящную горную рысь с горящими глазами, что стояла подле доктора.

— Вы же можете пророчествовать для других, — воскликнул он. — Заклинаю вас, не отказывайте мне более в пророчестве для меня обо мне же. Тем более, раз уж вам ведомы те потаенные мысли, которые я прежде всего прочего полагал только своими и недоступными другим.

Вандермаст отвечал:

— Принц, хотя я и не совсем новичок в высоких и темных науках, и, пожалуй, мог бы явить вам такие чудеса, от которых у вас волосы встали бы дыбом, я не обладаю умением читать мысли людей, за исключением случаев, когда их мог бы прочесть и любой разумный человек, а именно, когда они написаны на их лицах (как сейчас на вашем). Не претендую я и на знание грядущего.

Актор возразил:

— Вы же пророчествовали буквально сегодня, это многие могут подтвердить.

— О ком же?

— Об этих ререкских лордах.

— Нет, — ответил тот. — Я лишь указывал на вероятности. Роду людскому свойственно жаждать определенности, однако и миру так же свойственно постоянно оставлять эту жажду неутоленной. Богу, что создал все сущее из ничего, вне всяких сомнений, может быть известно все: минувшее, настоящее и будущее, и знание это простирается в безграничную вечность. Но отсюда не обязательно следует, что Он даже в своих неисповедимых глубинных помыслах пожелает воспользоваться этим знанием. Пожелает или нет — вот вопрос, который философам разумнее всего оставить без ответа. Посему я, скромный исследователь божественной мудрости и искатель истины, и не пытаюсь пророчествовать о грядущем. Лишь наблюдая, куда движется этот мир и каковы умственные и духовные устремления и способности того или иного человека, я (постольку, поскольку путем сопоставления действий, слов и внешнего вида вообще возможно выдвинуть какую-либо близкую к истине догадку или суждение) время от времени высказываю свои соображения. Но подобные речи, пусть даже они и направлены на раскрытие тайных причин и исходов тех или иных событий, состоят лишь из предположений, и никогда — из определенностей. Ибо то, что кажется в этом мире мужчине или женщине, которые суть разумные существа, абсолютно определенным и неизбежным, является, тем не менее, вещью недостоверной и случайной: в лучшем случае,

это не более чем вероятность. А все потому, что смертные, будучи свободными, ежедневно своими желаниями либо действиями создают, преображают или разрушают все эти кажущиеся определенности. Существует лишь одна определенность, и она есть Бог.

— Что до меня, — промолвил Актор, — то признаюсь вам открыто и чистосердечно: я не верю в Бога. Также как и в Дьявола. Однако мне по душе мудрость и искренность, и в вас я их вижу. Путаница моих мыслей сведет меня с ума, но слишком опасно было бы упоминать о них кому-либо кроме себя самого. Сжальтесь надо мной, скажите. Молю вас, позвольте мне узнать, какие возможности ожидают меня.

Некоторое время ученый смотрел на него в молчании.

— По той достаточной причине, что я не мог до конца понять ваше превосходительство, я неизменно отказывался говорить о чем-либо, кроме предположений. Теперь я понимаю вас намного лучше, и все же мне нелегко подобрать слова, поскольку, как я полагаю, вы человек того опасного склада, который, услышав сказанное мною, мог бы употребить это себе же во зло, и за поступки свои вас раньше или позже ждала бы ужасная расплата.

Актор воскликнул:

— Клянусь, вы ошибаетесь во мне.

— И все же, — промолвил Вандермаст, усаживаясь на скамью, в то время как принц ждал его слов, как истец ждет решения от судьи, а рысь грациозно расположилась возле колен доктора, вылизывая свою шерсть, — все же, кто я такой, чтобы чинить препоны на пути неистовых сил судьбы? Скрыть от вашего превосходительства то, что я вижу, означало бы (хотя с этим и можно было бы поспорить) лишить вас возможности, которую Те, что распоряжаются великим колесом событий, намерены вам предоставить, возможности выбора между лучшим и худшим не наудачу и не по прихоти — как когда гонит вперед голод или сдерживает робость, — но по здравом размышлении о том, что есть хорошо, а что плохо. И если, зная о том, сколь многое зависит от вашего выбора, вы и рискуете выбрать неверно, чем обречете себя на проклятие и кончину, тем не менее, потенциально вы способны (если выбор ваш окажется благородным) увековечить свое имя во славе для будущих, не рожденных еще, поколений. Поэтому гибельной ошибкой было бы с моей стороны промолчать и, став (пусть и посредством бездействия) между вами и противоречивыми силами судьбы, что борются между собой в вашей душе, позволить

вам оказаться слабым и никчемным созданием, о каких философ сказал, что слабые натуры не способны достичь величия ни в чем, будь то великое благо или великое зло.

Он замолчал. Пылающие вертикальные щели зрачков в уставившихся на принца рысьих глазах пульсировали желтым пламенем. Мороз в саду крепчал.

— Узнайте же, что я, как мне кажется, в вас вижу, — сказал доктор. — Вы, судя по всему, находитесь в положении, когда, погубив друга, можете обрести королевство, и в то же время, пощадив врага, погубите своего единственного друга. От этого выбора, — продолжал он, и голос его жалил, как морозный воздух, — а также от того, пожелаете ли вы принять и сделать его, или же, наоборот, уклониться от него и отвергнуть, я полагаю, зависит, обретете ли вы в вечности блаженство или муку.

Когда доктор Вандермаст закончил, Актор словно окаменел, погрузившись в себя. Потом его лицо потемнело от прилившей к нему крови, что было заметно даже в лунном свете, и он, лишь только что державшийся просителем, теперь выглядел королем, раздув грудь и расправив плечи. Оглянувшись через плечо, как делают перед прыжком львы, он вдруг шагнул к доктору, но сдержал себя и произнес невнятным и запинающимся голосом, будто принадлежавшим пьяному:

— Твои догадки вернее, чем тебе кажется, старик. Ты проколол нарыв в моей груди и дал мне свободу действий, чей зов все эти недели стучал у меня в голове, но до сих пор мои напрасные сомнения и колебания дурачили и сдерживали меня. Мой друг… он мой мнимый друг, о да, и я его убью и стану королем вместо него, этого гнусного и вероломного врага, пощадить которого означало бы погубить моего единственного на свете настоящего друга, ее. Стало быть, решено. Но поскольку вы знаете слишком много, а также потому, что я не хочу рисковать, сначала я избавлюсь от вас, чтобы вы не трепали языком.

С этими словами он бросился вперед и схватил доктора, чье худощавое тело казалось бестелесным и легким в его руках, словно жалкая тушка ощипанной курицы, что кажется в скудных остатках своего оперения не крупнее воробья; однако рысь вцепилась ему в ногу, так что ему пришлось сразу же отпустить Вандермаста. Его рука метнулась к поясу в поисках оружия, но в спешке, с которой он покидал свои покои, он о нем позабыл. Он изо всей

силы ударил ее кулаком по голове, но лишь ссадил костяшки пальцев, потому что она держалась как пиявка, вонзив когти передних лап в мясо его бедра, а задними, будто бритвами, царапая и раздирая его икры и голени. Все это произошло в течение нескольких кратких мгновений; потом он отпрянул, не думая ни о чем, кроме причиняемой ее острыми зубами и когтями муки и желания избавиться от этого исчадия ада, что повисло на нем подобно сгустку вгрызающегося в плоть огня, запнулся о собственные ноги у края пруда и шлепнулся прямо туда. Падая, он ударился головой о постамент статуи, и мог бы так и умереть там, захлебнувшись без сознания на глубине пары футов. Но холодная вода, видимо, привела его в чувство, ибо Антея, отпустившая его, как только он потерял равновесие, едва успела сбросить у воды рысье обличье и вновь стать нимфой, а он уже с трудом выбирался на сушу, промокнув насквозь.

— Мне распороть ему брюхо до самого подбородка? — спросила ореада, обращаясь к доктору.

Но Вандермаст, подавая ему руку, чтобы помочь подняться, ответил:

— Нет.

Несмотря на всю боль от ран, Актор не смог сдержать смеха.

— Вижу, у вас характер получше, нежели у этой вашей необузданной красотки, не говоря уже об этой адской кошке, которую вы на меня спустили. Куда она подевалась?

Госпожа Антея криво усмехнулась и отвернулась от него. Ее красивое лицо со строгими чертами, повернутое вот так в профиль, казалось в чистом и тусклом сиянии луны сделанным из слоновой кости.

Актор сказал:

— У меня и в мыслях не было, почтенный господин, причинить вам какой-либо вред. Я просто хотел испытать вас, посмотреть, насколько вы крепки.

— Рад это слышать, — сухо отозвался тот. — Что касается рыси, то она лишь невинное животное, хотя природа и великолепно ее вооружила; она и впрямь бросилась в бой несколько поспешно (как, впрочем, и ваше превосходительство), притом без какого бы-то ни было науськивания с моей стороны. Быть может, и к лучшему, что она так сделала, ибо драка — искусство, познания мои в котором весьма скудны по причине как природных наклонностей, так и довольно пожилого уже возраста. К тому же, вы отчасти застали меня врасплох, бросившись вперед столь внезапно и неистово, и теперь,

я надеюсь, будете не столь ретивы, но загодя все продумаете, взвесив все за и против, прежде чем приметесь вновь бросаться на людей. Что же до ран, которые ваше превосходительство (если взглянуть на положение честно) причинили себе сами, то вот самый лучший лекарь, который только может поспособствовать их скорейшему излечению, — и Антея, несколько неохотно подчиняясь велению доктора, взяла лекарственные травы, что он дал ей из своего мешочка, и принялась промывать, обрабатывать и перевязывать полосами материи, оторванными от ее юбки, свидетельства своего мастерского владения когтями.

4. Запертые двери

ТАК закончился двенадцатый и последний день свадебного пира в Риалмаре. Наутро гости попрощались и разъехались: кое-кто вовремя (и ранее всех — престарелый доктор и его сомнительная спутница), а большая часть, верно оценив заданный невестой и женихом тон, пролежали в постелях до полудня. Лорд Эммий задержался, лишь чтобы поприветствовать своих брата и сестру и вскоре с ними расстался. В знак особого расположения король с королевой проводили его до ворот, где он на прощание заверил их в своем почтении и дружбе и отбыл вместе со своим кортежем по большой южной дороге.

Супервий со своей невестой, как было объявлено, собирался еще неделю провести в Риалмаре. Но когда наступил день их отъезда, Марессия заявила, что хочет остаться еще на целую неделю, а ее супруг пускай выезжает с багажом и прочими вещами и приведет все в Лаймаке в порядок к ее приезду. Это было нелепо, и никаких причин упомянуто не было, и люди сочли, что всему виной ее дерзость и стремление, раз уж она теперь замужем, стать не только хозяйкой в его доме (что было бы только правильно и уместно), но и его повелительницей. Как бы там ни было, двадцать пятого марта Супервий отправился на юг без нее.

Когда он уехал, попрощавшись столь же церемонно, как до него и его брат, а король с королевой вернулись в Теремну, Статейра, прикоснувшись к руке супруга, направлявшегося в свои личные покои, тихонько попросила разрешить ей пойти с ним.

— У меня бесконечно много дел, госпожа моя, — сказал он. — Но пойдемте, если хотите.

В этих покоях — круглых, со сводчатой крышей и широкими окнами, обращенными на восток, к горам, — все было заставлено столами и тяжелыми стульями, старинными и украшенными причудливой резьбой, а меж колонн из полированного черного мрамора с желтыми и пурпурными прожилками, что тянулись вдоль стен через каждые два шага, размещались шкафы с полками для книг. В камине шириной в добрых пятнадцать футов потрескивал и пылал костер из душистых кедровых поленьев, а пол был застлан не доходившим до стен на два-три фута ковром из красновато-коричневого бархата, в котором тонула нога, согревавшем зимой и дарившем тишину на протяжении всего года. Но король, пройдя через всю комнату, отпер своими потайными ключами массивные двери со стальными заклепками, сначала внешние, а потом внутренние, ведшие в его кабинет, и, когда она последовала туда за ним, запер их за собой. Ибо в этом тайном месте строились все его хитроумные замыслы, и сюда не имели доступа ни советники, ни секретари, ни даже сам Актор, к которому, как замечали люди, он в последние год-два проявлял все больше и больше доброты и уважения, как если бы тот был его любимым родичем или даже сыном. Но поговаривали, что королева была посвящена во все его тайны; и не таким уж большим преувеличением было, когда утверждали, что, если бы он почаще укладывал ее в постель, а в свой кабинет приглашал пореже, то все придворные дамы могли бы позавидовать такому ее положению.

Кабинет был пяти или шести шагов в длину и ширину. Вдоль стен от пола до потолка возвышались шкафы с серебряными задвижками, а на полу, как и во внешних покоях, лежал такой же бархатный ковер с длинным ворсом. У окна стоял длинный стол из зеленого празема на шести ножках из цельного золота, формой напоминавших гиппогрифов с распростертыми крыльями, а возле стола, поближе к свету, стояло большое кресло, чьи спинка, сиденье и подлокотники были обиты темной парчой винного цвета. На этом столе осенней листвой скопились бумаги и пергаменты; одна неровная кипа была прижата латной рукавицей, другая булавой. Множество карт лежало в свитках, а одна на дальнем конце стола была развернута и придавлена с двух углов чернильницами, а с третьего — тяжелой линейкой из слоновой кости. Во всем этом хаосе король Мардан, бросившись в кресло, принялся рыться, и было сразу заметно: то, что на первый взгляд казалось беспорядком, не являлось

таковым для его острого ума, но все было упорядочено так, чтобы каждый нужный ему клочок бумаги или манускрипт тут же оказывался под рукой.

— Снова Аккама? — спросила королева, понаблюдав за ним некоторое время из закутка между столом и окном.

— Что же еще? — отозвался он, сбрасывая груду писем на пол возле кресла, чтобы расчистить место перед собой. — А вы ожидали, что все утрясется за неделю-другую?

— Это тянется годами. Я хочу, чтобы все закончилось.

— Дело движется, — сказал король. — И движется с такой скоростью, как мне нужно. Вот его последние послания (да пошлет Бог беду на его голову), где он со всей любезностью напирает на то, чтобы ему выдали Актора, — он швырнул их через стол.

Она не притронулась к ним:

— Ну так и выдайте его ему.

Король Мардан только сейчас внимательно посмотрел на нее, но во взгляде его был лишь шок, какой мог бы испытывать учитель, услышав от своего любимого ученика дурацкий ответ.

— Нет-нет, я сказала, не подумав, — поспешно поправилась она. — И все же, бедный правитель Аккамы. Ему можно простить его нетерпение, с учетом того, что требование это он выдвинул уже два года тому назад. Удивительно то, что он до сих пор не отступился.

— В этом как раз нет ничего удивительного, — сказал король. — Я ему не позволяю, так как не хочу, чтобы он от него отступился. Вот донесения от двоих или троих наших верных осведомителей, где говорится, что число приспешников Актора растет, и скоро они превратятся в отличный рычаг для давления. Договариваюсь с одним, а поддерживаю другого, так, что в конце концов они перережут глотки друг другу. А потом появлюсь я и приберу к рукам все, что захочу.

Королева проговорила:

— Да, я понимаю. Такова наша политика, — и замолкла, будто разрываясь между жгучим желанием попросить и страхом, что в случае отказа все станет еще хуже, чем прежде. Вдруг она сказала: — Я бы хотела, господин мой, чтобы вы отослали Актора прочь.

Король воззрился на нее.

— Я бы хотела, чтобы вы это сделали.

— Куда, обратно в Аккаму? Это было бы деянием труса, о котором я бы потом пожалел.

— Зачем же? Просто отошлите его прочь из Риалмара. Пускай отправляется, куда пожелает.

— И угодит в какую-нибудь беду? Нет, нет. Безопаснее ему оставаться здесь, у меня под рукой. Кроме того, это чистое безумие — сбросить козырного валета посреди игры.

— От него здесь никакого проку.

Король откинулся в своем кресле.

— Почему вы вдруг столь упорно стремитесь от него избавиться? Чем он вам навредил?

— Совершенно ничем.

Она замолчала. Король ничего не сказал.

— Мой вам совет, — заговорила она, — избавьтесь от него раз и навсегда.

Мардан, словно обеспокоенный настойчивостью в ее голосе, причину которой был не в состоянии понять, пристально взглянул ей в лицо. Но если на нем и было что-либо написано, то на языке, который был ему знаком не более, чем его двухгодовалому сыну греческий.

— Но почему? — спросил он наконец.

— Потому что я вас прошу.

— Это наилучший из всех поводов… — (она прервала его, тихонько произнеся: «Так было раньше»), — но непригодный для дел государственных. Ну будет, будет, — проговорил он, по-прежнему внимательно глядя на нее, и его брови насупились, как будто в нем начал расти гнев в ответ на эту настоятельную просьбу, не имевшую никакого объяснения и слишком незначительную, чтобы тратить на нее время. — Женская чепуха. Мальчишка хочет отмщения, хочет снова распоряжаться самим собой, хочет быть королем. И все эти его желания — это то, что делает его полезным нам. Да на нем же держится весь мой замысел. Вам ни к чему о нем тревожиться, но и я ни за что не отпущу его. К тому же, — продолжил он, возвращаясь к своим бумагам, — мне он по душе. Даже ради того только, чтобы вечерами играть с ним в шахматы — а это одно из главных его достоинств, — я и то не отказался бы от его компании.

Королева Статейра прикусила губу. Он подвинул к себе письмо от аккамского короля, взял гусиное перо и, неуклюже сжимая его пальцами, обращавшимися с подобным инструментом с меньшим изяществом, нежели с мечом или копьем, принялся медленно, но не останавливаясь и не колеблясь, как человек, не испытывающий недостатка в подходящих для его четко поставленной цели словах, выводить свой ответ. Королева, беззвучно шагая по мягкому ковру, обогнула его, помедлила мгновение, склонилась и поцеловала его в макушку. Он продолжал писать, не подавая и виду, что помнит о ее присутствии.

— Мне пора, — промолвила она.

Король вскочил и отпер перед нею двери. Когда она вышла во внешние покои, где королевский секретарь приводил в порядок бумаги на столике, огромные стальные засовы громыхнули за ее спиной.

Лишь уединившись в собственных покоях, сбросила она свою маску. Там, словно очутившись в змеином логове меж навеянным мыслями об Акторе опьянением, и жгучим негодованием по отношению к королю, она дала волю слезам.

5. Принцесса Марессия

ЛОРД Супервий Парри, хоть его путешествие и стеснял длинный караван вьючных лошадей, нагруженных свадебными подарками и девятью десятыми гардероба Марессии, быстро продвигался на юг по бичуемым всеми ветрами пустошам Волда, проехал Мегру, а затем миновал Эльдир, Леверингей и Морнагей. Оттуда по верховой тропе через горы (крутой, пыльной и опасной, но более короткой и прямой, нежели нижняя дорога на юг мимо Рогового Озера и Аулдала) он в полдень семнадцатого апреля, после трех с половиной недель безостановочного пути от Риалмара, добрался домой в Лаймак. Здесь уже завершились все приготовления к его возвращению, однако в течение следующих семи дней он распорядился всем своим слугам трудиться так усердно, как будто за ними по пятам гнались три дюжины чертей, превращая его жилище над Вратами Хагсбю в место, пригодное, чтобы там поселилась невеста, для которой вся роскошь и великолепие были вполне обыденны и служили лишь проявлением вежливости и учтивости. И, несомненно, ему едва ли пришлось бы по душе, если бы его огромный дворец

в Лаймаке оказался в ее глазах немногим лучше простой казармы, или если бы она сочла, что его вполне устроит, если она впредь будет проживать здесь подобно свинье в хлеву. К концу недели все было прибрано и приведено в порядок в соответствии с его приказами, и все в замке сгорали от нетерпения принять у себя столь великую и прославленную леди, какой история не знала среди прежних хозяек этого места.

Но день проходил за днем, а о принцессе не было ни слуху ни духу, и люди заволновались. Не слишком приятным находили они и подобное грому молчание своего хозяина, что сгущалось с каждым днем, и его вспышки непредсказуемой жестокости, которые, как молнии, совершенно случайно и с ужасающей внезапностью настигали любого, кто оказывался в тот момент на их пути.

После заката солнца на второй день мая, когда ясным вечером звезды высыпали на вымытом дождем небе после бушевавшего весь день ливня с грозой, Супервий расхаживал туда и обратно по просторному внутреннему двору замка. Шаги его были медленны и размеренны, а в каждом углу он резко разворачивался, словно заключенный в клетку зверь. До смешного напоминая деревенского мальчишку, что приближается к непривязанному быку неведомого нрава, который может и подпустить поближе, а потом ни с того ни с сего ринуться и забодать, показался начальник гвардии, сообщивший, что внизу у ворот ждет одинокая леди верхом на лошади, отвечать на вопросы относительно ее имени и звания не желает, но требует, чтобы ее тотчас же отвели к здешнему хозяину.

Супервий сердито уставился на него:

— Видел эту женщину?

— Нет, господин мой.

— Ах ты, беспутный мерзавец, почему нет? Почему ее до сих пор не привели ко мне, раз она об этом просит?

— По распоряжению вашей светлости, чтобы не впускали никаких неизвестных, не доложив предварительно вашей светлости. Сегодняшний начальник стражи приказал мне узнать у вас, господин мой, что ему с ней делать.

— Пускай катится к дьяволу, и ты вместе с ней.

Начальник гвардии ждал.

Супервий продолжал расхаживать.

— Так что, почему ее до сих пор не привели?

Начальник гвардии, поклонившись, удалился, а через минуту вернулся вместе с принцессой Марессией Парри, которая представляла собой довольно жалкое зрелище. Супервий взглянул на нее, и все его тело словно одеревенело.

— Оставь нас, — приказал он, возобновив свою прогулку.

Когда они остались одни, он замер на месте, разглядывая ее. В нем не шелохнулся ни один мускул, и лишь острый слух мог уловить его хриплое и шумное дыхание, да внимательный взор — различить в этом полумраке его глаза, которые были устремлены на нее, как глаза обученной собаки, делающей стойку на дичь. Принцесса, в свою очередь, хранила подобное же молчание и подобную же неподвижность. Даже в сгущавшихся сумерках было хорошо видно, как неряшливо и убого была она одета, вся растрепанная и покрытая грязью от долгой и тяжелой скачки, а быть может, и сна на голой земле в чистом поле, и, несмотря на то, что держалась она достаточно храбро, несмотря на безмолвие ее сомкнутых губ, что-то в ней говорило: она рада тому, что ее скитания закончились, и что она, пусть и с трудом, но, наконец, добралась сюда. С бычьей медлительностью он двинулся к ней, затем, подойдя ближе, схватил ее точно так же и с той же целью (но с иным исходом), как Тарквиний Лукрецию[291]. Марессия была крупной и сильной женщиной, но он во мгновение ока подхватил ее на руки и понес через погруженную в тени просторную галерею Врат Хагсбю. Оттуда, не останавливаясь, чтобы передохнуть, и вопреки ее нечленораздельным протестам и еле сдерживаемым взрывам изумленного хихиканья, он пронес ее по темной лестнице до своих покоев, специально ради нее украшенные теми роскошными драгоценностями, что он привез с собой на юг, и там, без каких-либо церемоний и невзирая на плачевное состояние ее промокшей насквозь верховой одежды и вымазанных в грязи сапог, уложил на кровать.

— Ну а теперь рассказывайте, сладкая вы шалунья, — сказал Супервий, подпирая голову локтем и заглядывая ей в лицо. Она лежала навзничь, выдохшаяся и ненадолго укрощенная, с закрытыми глазами и приоткрытыми губами, откинув голову и обнажив взору свое горло — гладкое, нежное, белое, словно у женщины с картины Тициана, — и пульсацию крови под его кожей;

291 Отсылка к картине Тициана «Тарквиний и Лукреция» (1571) и соответствующему преданию, по которому Секст Тарквиний изнасиловал Лукрецию, после чего та заколола себя.

одна ее рука блуждала в его курчавой рыжей бороде, то скручивая отдельные пряди, то отпуская, а другая поглаживала его руку, лежавшую на ее груди.

— Осталась без сопровождения, — вдруг ответила она сонным голосом, словно упиваясь собственными бедами. — Схвачена собственными подданными, как какой-нибудь воришка. Могла бы, наверное, и в тюрьму угодить, если бы не сбежала. Надеюсь, вы, господин мой, достойны меня, столь верной жены и столь находчивой женщины. Надо отдать вам должное, вы ненасытны в своей любви. Я бы вас не перенесла, будь вы менее алчны.

Потом, вдруг вскочив, она воскликнула:

— Во имя Дьявола, сколько мне еще томиться без ужина?

— Вот-вот принесут, не успеете и глазом моргнуть.

— Что ж, тогда мне нужно одеться, — сказала Марессия.

— Покуда расскажите мне поподробнее. Пока что это просто какое-то лягушачье кваканье: жуткие слова, в которые я и поверить-то едва могу, не то что понять.

— Сначала оденусь, — сказала она, открывая шкафы один за другим и с удовлетворением обнаружив, что там висит ее привезенная Супервием одежда. — И нечего подсматривать, господин мой. Та, что впускает своего мужа к себе в гардеробную, с тем же успехом могла бы прикрываться птичьим гнездом. Где, как вы думаете, я этому научилась? Похоже, впитала с молоком матери. Это врожденная мудрость, наверняка.

Ужин был накрыт в старом пиршественном зале, что имел форму буквы Г, с рядом больших окон вдоль длинной северо-западной стены, выводившей во двор главной дверью в дальнем конце и другой дверью в кладовую и на кухню в короткой части. Во внутреннем углу расположился достаточно вместительный, чтобы зажарить быка, камин, в котором пылал сложенный из толстых поленьев костер. Стены были из черного обсидиана, и все они, кроме той, что с окнами, были испещрены горельефами огромных бесовских лиц, числом тринадцать, с вываленными языками и со светильником на кончике каждого из таких языков; выпученные глаза их были из кусочков зеркала, которые рассеивали лучи света сияющими ореолами, так что весь зал был наполнен светом, что мерцал и колебался при каждом движении головы присутствующего. Длинные столы тянулись вдоль главной части зала, по одному у каждой стены; здесь предавались трапезе домочадцы лорда Супервия.

Когда массивные створки дверей распахнулись настежь и леди Маресcия Парри впервые в своей жизни вступила в зал, облаченная в свое украшенное золотыми кружевами пышное свадебное платье из белой тафты, со светлыми волосами, заплетенными и уложенными в усыпанную бриллиантами прическу, все повскакали со своих мест, любуясь ею; она же, выступая не как необъезженная кобылка, но как статная боевая лошадь, сверкая своими дерзкими каштановыми глазами, проследовала меж скамей под руку со своими супругом, чтобы занять место подле него за главным столом, который стоял отдельно на помосте в северном углу, напротив камина. Здесь, на виду у всех присутствовавших в этом пиршественном зале, но за пределами слышимости, был накрыт ужин для двоих.

— Итак? — произнес Супервий, когда они уселись. Он наполнил свой кубок до краев терпким желтоватым вином из Марки и выпил за нее до дна.

— Итак? — повторила она, пододвигая к нему свой кубок. — Налейте же и мне. Это и есть ререкские манеры? Муж хлещет вино, в то время как жена с пересохшим горлом обязана развлекать его беседой?

Он налил ей. Посмаковав немного, она проглотила все залпом.

— Перейдем сразу к сути дела, — промолвила она. — Касательно себя скажу, что этот Актор сразу мне не понравился. Королеву я люблю, хоть она мне и кузина лишь по мужу (а не родная, как я королю). И в эти нелегкие времена, когда вся страна погрязла в раздорах, да с учетом того, как нарастают после недавнего несчастного случая мятежные настроения среди смутьянов, мне казалось вполне вероятным, что Актор вздумает одурачить ее: она попала в ловушку, разрываясь между любовью к нему (о чем я, будучи достаточно сообразительной, подозревала давным-давно) и боязнью за своего сына, и потому не способна на решительные действия; а между тем этот похотливый дьявол, прикрываясь ее интересами, все усиливает и усиливает свое влияние при дворе. И вот, чтобы разрубить этот гордиев узел и сделать для нее (не спрашивая дозволения) то, что она, не будь ослеплена, сама признала бы наиболее необходимым, я бежала вместе с королем прежде, чем кто-либо что-либо заподозрил, намереваясь взять его с собой сюда, в Ререк. Но через два дня меня поймали, ребенка забрали обратно в Риалмар и хотели…

— Дьявол вас подери! — вскричал Супервий, перебив ее. — Что за сумасбродные речи вы ведете? Об Акторе, о королеве… и вы бежали с его королевским высочеством в Ререк? Женщина, ты совсем выжила из ума? Ты пьяна?

Марессия уставилась на него, ошеломленная его удивлением. Потом хлопнула его по руке, которой тот вцепился в край стола.

— Да ну, разве такое возможно? — воскликнула она с прояснившимся лицом. — Стало быть, я оказалась здесь быстрее, чем сюда добрались последние вести? Я и впрямь утратила чувство времени во всей этой неразберихе, и не знаю, какой сегодня день. Значит, вы еще не слышали о смерти короля Мардана на десятый день после нашей свадьбы?

Мгновение Супервий сидел, будто оглушенный.

— О смерти? Как это произошло? Каким образом?

— О Боже, да убили его. Какой-то наемный убийца из Аккамы пробрался в Теремну. По крайней мере, так было объявлено. Но между нами, я склонна считать, что это сделал Актор. Или Актор за этим стоял.

Лорд Супервий сделал глубокий глоток. Она смотрела, как его лицо сначала бледнеет, затем снова краснеет, а чело омрачается подобно грозовой туче. Она промолвила:

— Я вижу, вы приняли это близко к сердцу. Скажите, не начинаете ли вы думать, что удача изменила вам, когда вы женились на мне?

— Ох, придержите язык со своими глупостями, ничего я такого не думаю.

— Тогда хорошо. Я вам верю.

Погрузившись в мрачные раздумья об этом новом повороте судьбы, Супервий ел и пил молча. Принцесса последовала его примеру, то и дело бросая на него взгляд, надеясь понять, в какую сторону меняется его настроение. После продолжительной паузы он посмотрел на нее и их взгляды встретились. Марессия сказала:

— Жалко только, что они забрали у меня маленького Мезенция. Здесь ему было бы лучше, чем с матерью, это пошло бы на пользу и ему и нам, особенно если Актор придет к власти. И все же, мы и из этого положения можем извлечь выгоду; Бог все обращает во благо.

Ее супруг все смотрел на нее неподвижным взглядом, что сначала был суров и мрачен, но мало-помалу начал напоминать взгляд гордого и честолюбивого человека у зеркала, что любуется отражением в нем своего лица.

— Ну что ж, любимая, — произнес он тогда, — мы над этим как следует поразмыслим. И что-нибудь мы обязательно придумаем к нашей вящей пользе, и не сомневайтесь. Но прежде чем сделать хотя бы шаг по дороге,

которую, как мне кажется, я вижу перед собой, я посоветуюсь с моим братом Эммием.

Ужин был окончен, и он велел дворецкому отпустить собравшихся. И, оставшись наедине в этом пиршественном зале, пока светильники не замигали и не погасли, час за часом сидели они, разговаривая и строя планы, и лишь тлевшие в камине угли освещали их лица.

6. Вид на север из Аргъянны

Эммий Парри уже более четырех лет правил в Аргъянне, содержа дворец в такой роскоши, какой не найти было во всем Ререке, хотя в сравнении с Риалмаром на севере или Зайаной на юге он не показался бы таким уж выдающимся. Говорили, что в случае нужды он в любой момент мог в течение трех дней собрать войско из тысячи человек, вооруженных до зубов и обученных всем военным искусствам, и это не считая двух сотен отборных солдат, которых он постоянно держал под рукой с целью демонстрации собственной силы и поддержания порядка, и которые находились в полной готовности к исполнению любого отданного им приказа.

На протяжении трех-четырех поколений этот хорошо укрепленный городок, стоявший на отшибе посреди непроходимых болот, был для семейства Парри в Лаймаке своего рода когтем, вытянутым на юг, в направлении омываемых рекой Зеннер спорных земель, военным лагерем, что доселе управлялся лаймакскими лордами через людей, бывших их креатурами и прислужниками, но не кровными родственниками, дабы благодаря военной мощи этого места коготь не вырос однажды в целую руку, которая, обратившись против собственного тела, могла бы погубить их всех.

От Слибю и Кеттербю на севере до Скроумайра на западе, Сейлингза на востоке и Скруза и Скрайтмирри на юге простираются Аргъяннские Низины, на десять миль в длину и столько же в ширину. В этих Низинах нет дорог ни для человека, ни для зверя (если он крупнее водяной крысы или выдры), и лишь водоплавающая дичь населяет эти заболоченные места. Днем с ними делит господство над болотами лунь; сова (что красуется на эмблемах и гербах дома Лаймака) охотится там по ночам, когда устраиваются на ночлег все прочие пернатые создания, за исключением козодоя, что ловит вьющихся над трясинами ночных мотыльков. И здесь и там мигают в ночи блуждающие огонь-

ки, загораясь и пропадая в тумане и мгле над десятками тысяч нехоженых, топких и задушенных мхом и осокой акров.

Посреди этого моря топей затерялся одинокий островок с надежной и твердой почвой, омываемый потоками, что берут свое начало в озере, чьего дна не касался ни один лот: неиссякаемом источнике чистой, холодной и свежей воды из каменистых глубин, не той воды, что стекает с высокогорий старого Ререка и питает собой болота. Твердая суша тянется на пять миль с северо-запада на юго-восток и на три с половиной мили в ширину в самом широком месте. Вся она занята ухоженными пастбищами и пашнями, что взбираются все выше к северу, нигде, впрочем, не достигая высоты более двадцати футов над болотами, если не считать вдающегося в озеро северо-западного мыса, где северный обрыв плавно переходит в лежащую на вдвое большей высоте равнину, внезапно обрывающуюся невысоким утесом на западе; именно здесь, окруженная со всех сторон кольцом толстых и могучих стен, лежит Аргъянна. Большая дорога с севера, минуя Роговое Озеро и Ристбю и устремляясь на юг через Сусдал, достигает Низин в двух милях к югу от Слибю, а оттуда, прямая, как плотничья линейка, идет строго на юг, до Аргъянны и дальше, к Скрайтмирри, проложенная по десятимильной гранитной дамбе, покоящейся на дубовых сваях, проходящих сквозь ил и грязь и упирающихся в скалу. Там, где эта дорога пересекает полоску земли, лежащую к западу от крепости, она на протяжении нескольких сотен шагов идет вдоль рва с водой, пролегая настолько близко к стенам главной башни, что благодаря удачному расположению последней, а также при условии благоприятного восточного ветра, человек на стенах вполне мог бы доплюнуть до прохожего. Лорд Эммий, переехав сюда из Слибю после смерти отца, выстроил сторожки в стороне от дороги: одну там, где та вступает на эту полоску земли — по сути, на расстоянии броска камня от городской стены, — а другую чуть дальше, где твердая почва вновь сменяется топью; эта вторая сторожка была крупнее и лучше укреплена, чтобы, если потребуется, дать отпор натиску с юга. В мирные времена ворота стояли открытыми, и как богатые, так и бедные путешественники могли при желании совершенно бесплатно получить там ужин и ночлег.

Пятого мая около полудня Супервий вместе со своей супругой приехали в Аргъянну и были там радушно встречены. Когда они пообедали, Эммий повел их на прогулку по залитой солнцем мощеной дорожке, что тянется

между крепостными стенами и стоящим посередине его личным дворцом, обегая его по кругу.

— Отсюда открывается отличный вид на юг, господин мой деверь, — произнесла принцесса, прикрывая глаза ладонью и глядя вдаль, за Низины, где в сорока или пятидесяти милях к югу и немного восточнее Руайарское ущелье прорезает горный хребет в месте, где Гуронская цепь встречается с пиками Внешней Мезрии и где пролегает дорога в саму Мезрию. — Говорят, именно туда устремлены ваши помыслы.

— Там дом моей жены. Разве это не достаточная причина?

Леди Деянира улыбнулась. Она была высока ростом, и утонченность крохотного тонконогого и робкого лесного создания сквозила в каждом ее движении. У нее были высокие скулы, гладкая и смуглая кожа и блестящие темные глаза, которые, казалось, постоянно были устремлены на ее супруга, за исключением тех моментов, когда он сам смотрел на нее.

— И все же, — продолжала Марессия, — вы получили эти известия с севера двумя днями раньше, чем могла бы принести их я.

— Дорогая принцесса, — беззаботно откликнулся Эммий, — я живу на этом свете вот уже почти пятижды семь лет и приучился пользоваться глазами и ушами тех, кто мне служит. Прошу, расскажите мне, что вы видели своими глазами. Одна щепотка фактов перевешивает бушель слухов.

— Да, расскажите все, что рассказали и мне, — сказал Супервий.

Марессия промолвила:

— Сперва я услышала своими ушами: крик из королевской опочивальни, от которого золотые кубки на полке над моей кроватью заходили ходуном, а во дворе под окном загоготали гуси.

— И когда же это произошло? — спросил Эммий.

— На рассвете.

— Ага, а какого числа?

— На пятое утро после того, как мой супруг отправился на юг. Потом послышался шум распахиваемых дверей и голос королевы, звавшей: «Марессия, Марессия». Я едва успела натянуть сорочку и отпереть дверь, как ее высочество бросилась в мои объятия, дрожа, будто напуганная лошадь… волосы растрепаны, а на самой ничего нет, кроме серовато-зеленой бархатной ночной рубашки… рыдает и все повторяет и повторяет имя короля… тащит меня туда… он лежит на кровати, мертвый как колода, раздувшийся, словно

бык, весь посинел, посерел и побурел, глаза выпучены, как у краба, а волосы, борода и ногти все повыпадали.

Сжатые губы Деяниры побелели, но ни одного звука ни сорвалось с них.

Все то время, пока Марессия говорила, лорд Эммий всматривался в ее лицо тем своим взглядом, который обычно представлялся рассматриваемому удивительно безмятежным, — столь беззаботным он казался, столь спокойным и случайным, будто звезда меж бегущих облаков, — но в то же время взглядом пристальным, пронизывающим, от которого невозможно было ускользнуть, и чем дольше он так смотрел, тем тревожнее становилось на душе у его собеседника, как будто бы взглядом этим он мог добраться и дотронуться до его самых сокровенных мыслей. Потом он отвел взгляд и уставился мимо нее, на купающийся в солнечных лучах южный горизонт.

— Скажите же мне, невестка, если можете, спала ли она той ночью с ним?

— Ни в коем разе. Такого не случалось вот уже два года.

— Но откуда вашей светлости знать?

— Если это и произошло, то ничего подобного не случалось уже, по крайней мере, несколько месяцев.

— Суть в том, что нам это неизвестно. Кто был в опочивальне, когда вы вошли, помимо королевы?

— Ни души. О, ну, может быть, одна-другая служанка. Потом подошли другие. А потом появился Актор.

— Это еще кто такой?

— Тамошний хлыщ.

— А, помню, я сначала не разобрал имени. Что его туда привело? За ним кто-нибудь посылал?

Принцесса обменялась взглядами с Супервием.

— Не могу сказать, — ответила она. — Выглядел довольно искренне, рыдал и причитал: «Мой дорогой друг, мой король (и так далее), благодетель мой, убит, мертв».

— Этими самыми словами? Он сказал, «убит»?

— Раз десять.

— Что дальше?

— Только завидев, что стряслось, в ужасе кричит королеве не своим голосом: «Боже, надеюсь, вы не прикасались к нему, госпожа моя? Не прибли-

жайтесь туда, ни вы, ни кто-либо другой, покуда его не осмотрят лекари. Это дело рук гнусного убийцы, которого я отправил в ад прошлым вечером… горе мне, что я вырвал у него жало, лишь когда он уже выпустил отраву».

— Это еще что за чепуха?

— Тут он рассказывает нам, как перед ужином изловил этого мерзкого посланца короля Аккамы (что якобы обретался в Риалмаре, притворяясь лакеем или прислужником, никем не заподозренный, и неделями выжидал благоприятного случая). Актор поймал его, когда тот крался в покои, где они с королем имели обыкновение играть в шахматы…

— Не скатываемся ли мы к слухам?

— Это слова самого Актора, я слышала их своими ушами. Тут он рассказывает нам (по-прежнему в слезах), как выколотил признание из этого подлеца…

Эммий обернулся и взглянул на нее с усмешкой в глазах.

— Это тоже слова принца? Или принцесса приукрашивает?

— Прошу прощения, обмолвилась, — ответила она. — А он рассказывает, как этот малый признался, будто его подослали специально, чтобы он умертвил его королевское высочество (и Актора в придачу, если получится), и тут его якобы охватил столь бешеный приступ ярости, что он пристукнул того на месте и, не желая портить нам вечер, запихнул труп в стоявший в комнате большой ящик или сундук, чтобы тот полежал там до утра. Мне сразу показалось, что от этого поступка Актора дурно пахнет.

— Что же было потом?

— Потом Актор (видимо, полагая, что слез и рыданий с него довольно) начинает всем распоряжаться. Зовет лекарей, показывает нам мертвого подонка в ящике, окоченевшего и залитого кровью, а из-под ребер торчит кинжал Актора (отличное дополнение к этой интермедии, как мне подумалось).

— Потом?

— Потом все эти ученые мужи взялись за расследование: осмотрели мертвого отравителя, его королевское высочество, шахматные фигурки (жаль, что Актор не вспомнил об этих фигурках еще вечером).

— Те самые, которыми они с королем играли? Они, стало быть, играли всю ночь?

— Да. Нет, точно не знаю. Мы оставили их за игрой, когда пришла пора ложиться спать.

— И что же обнаружили лекари?

— Заключение было таково: какое-то жуткое снадобье с кончиков большого и указательного пальцев короля распространилось по всему его телу; то же вещество нашли на одной или двух фигурах, но большинство были чисты и безвредны. Еще немного было на ноже того человека, и все сошлись на том, что нож должен был довершить дело в случае, если с шахматами ничего не выйдет.

Она замолчала, а лорд Эммий Парри еще с минуту мрачно наблюдал за ней, также молча. Она глядела на него своими жгуче-карими глазами со спокойной улыбкой, будто намереваясь заставить его отвернуться первым. Но с тем же успехом могла бы питать подобные надежды по отношению к читателю печатная страница, ибо невозможно было выдержать взгляд этих глаз — холодных, задумчивых, непроглядных и безмятежных — на стальном и в то же время умном лице Парри; взгляд, с одинаковым выражением устремлявшийся на ландшафт, на каменный парапет или (как сейчас, в эти напряженные для нее мгновения) в полные вызова глаза стоявшей рядом молодой, горячей, своевольной женщины, будоражившей чувства своей близостью и властностью свои помыслов, устремленных к некой неясной пока цели.

Словно читатель, окончивший чтение и поднимающий глаза от книги, дабы поразмыслить над прочитанным, лорд Эммий отвернулся от нее и, остановившись чуть поодаль, у крепостной стены, некоторое время пребывал в раздумьях, глядя в южную даль. Принцесса, казалось бы, и выигравшая эту схватку, но едва ли испытывавшая победные чувства, прошептала на ухо своему супругу, залившись краской до самых корней своих сверкающих желтых волос, которые, оставляя открытыми лоб и уши, аккуратно стягивала изумрудно-зеленая лента:

— Думаете, я все правильно сказала?

— Правильнее не бывает, — ответил он, обхватывая ее за талию.

— Пока он ничего не оспаривал.

— Нет, нет. Ему и незачем.

— Он, ваш брат, — это человек, с которым я бы предпочла быть заодно, нежели враждовать, — сказала она, сильнее прижимаясь своим роскошным телом к обнимавшей ее сильной и надежной руке Супервия и продолжая наблюдать за лордом Эммием. Деянира, чей взгляд прекрасных и загадочных мезрийских глаз был куда более спокоен, сродни его взгляду, также смотрела

на него. Он выглядел достойным их взоров, возвышаясь над всеми, кроме Супервия, да и того превосходя в статности осанки: расслабленный и исполненный спокойной силы, левой рукой — подлинной рукой Парри, что шире и сильнее обычной, с ногтями в форме лопаты и длинными как у женщины пальцами — опираясь о каменный зубец стены, а правую заложив за усыпанный драгоценными камнями пояс. Его шапка из черного бархата была сдвинута набок, брови ходили то вверх, то вниз, выдавая работу мысли, а глаза прикрывали тяжелые веки. В каждой точеной черточке его крупного носа с высокой переносицей, что, подобно лисьему, чуял все ветра, сквозила гордость и проницательность, как и во впадинах скул, и в мрачно сомкнутых устах, частично скрытых хмуро обвисшими темными усами. Его борода, старательно расчесанная и ухоженная, редела меж уголками рта и подбородком, подчеркивая суровые и безжалостные линии его губ.

Он отвернулся от зубчатой стены и от света и взглянул на них.

— Но почему, дорогая невестка, вы считаете это делом рук принца Актора?

— Я не говорила, будто так считаю, — отозвалась она.

— Не говорили. Только это вытекало чуть ли не из каждого сказанного вами слова.

— Что ж, я и впрямь считаю это вполне вероятным.

— Почему вы не верите в его версию? — спросил Эммий. — А остальные верят? Какой ему был прок кусать руку, что его кормила?

Маресcия рассмеялась:

— Такой прок, что он любит королеву до потери сознания. А она его.

Эммий поднял бровь.

— Не сердитесь на меня, — промолвил он, — если я чересчур резок в своих расспросах. Это дело чрезвычайной важности. Вы имеете в виду, что он чрезмерно близким и недопустимым образом сошелся с королевской супругой?

— Если вкратце, то да.

— И что они с нею не помышляли ни о чем другом, кроме как погубить его высочество?

— О, вы все до ужаса переиначили! — воскликнула она. — Можете убить меня на месте, если я когда-либо приписывала Статейре столь гнусные помыслы. Ему — да.

— А ей почему нет?

— Потому что я знаю ее с детства, она для меня — как открытая книга. Потому что это не в ее натуре.

— Ваши доверие и привязанность достойны похвалы, — произнес Эммий, криво улыбаясь. — Но не забывайте, хорошие качества быстрее портятся, нежели плохие.

В молчании они возобновили прогулку, описав не один круг по зубчатым стенам крепости. Эммий шагал решительно, сцепив руки за спиной, задумчиво и мрачно глядя перед собой из-под прикрытых век; Супервий (словно вежливость, велящая молчать и ждать, боролась в нем с волчьим нетерпением, что не переносит проволочек) время от времени открывал рот, чтобы заговорить, но тут же закрывал его, искоса глянув на брата; леди Деянира казалась напоминанием о благоуханной летней ночи, что волшебным образом очутилась здесь, перед лицом дня, меж каменной невозмутимостью с одной стороны и жаждой действия с другой; леди Маресcия, сжимая в своей руке руку Супервия, сдерживала его порывы, в то же время напряженно и жадно следя за поведением Эммия.

Когда он заговорил, тучи не рассеялись.

— Все это туманные россказни и домыслы, — сказал он Супервию. — Достоверно известно лишь то, что она (как ты мне сообщил) попыталась украсть мальчишку. Но (не в вину ей будь сказано) у нее ничего не вышло.

Супервий отозвался:

— Вопрос в том, как теперь быть? А действовать нужно быстро. Замешан в этом Актор или нет, но его я ни глупцом, ни слабаком не считаю. Он вполне способен захватить власть, если мы дадим ему время закрепиться на троне.

Маресcия незаметно сжала его ладонь и прошептала:

— Довольно. Лучше пускай он сам это скажет, а не мы; своего отпрыска любят больше, чем пасынка.

— Одно мне ясно, — сказал Эммий, — чего лучше не делать, — его взгляд, холодный и острый, переместился от брата к его жене, затем опять устремился на него. — Кое-кто посоветовал бы тебе собрать войско и тотчас же двинуться на север, заручившись моей поддержкой, а затем объявить себя лордом-протектором юного короля — или объявить им твоего тестя, если он на это пойдет. Если королева отправит Актора восвояси, мы объединимся

с ней. Если она, напротив, объединится с Актором, можно ожидать, что поднимется весь Фингисволд и их вышвырнут. В любом случае, ты сможешь обрести такую власть и могущество, о каких ты едва ли когда-либо мечтал. Несмотря на все это, — продолжал он, и Марессия поникла, — я считаю большой глупостью с нашей стороны встревать в это дело.

Супервий побагровел до ушей.

— Брось, — сказал он. — Мог бы, пожалуй, для начала выслушать и мои доводы, прежде чем осуждать столь выгодное предприятие.

— Доводы? Я весь внимание, брат.

— Ну, это само по себе вещь столь желанная, что и не надо искать никаких дополнительных резонов, помимо тех, что ты сам только что привел. Что до возможных препятствий, то о них нам еще только предстоит узнать.

— Во-первых, — промолвил Эммий, — мы не знаем, какую роль во всем этом сыграл Актор, также как и то, в каких отношениях состоят они с королевой.

Марессия издала презрительный смешок.

— С тем же успехом мы могли бы притвориться, будто не знаем, о чем пьяный хахаль толкует с наклюкавшейся шлюхой.

— Что ж, — сказал он, иронично прищурившись, будто увидел ее в новом свете, — вы знаете свою родню лучше, чем я, милая принцесса. Но если даже и так, это лишь увеличивает вероятность того, что ее высочество публично сочетается браком с Актором, и где тогда ваши гарантии, что подданные короля примут нашу сторону, а не их?

— Во всяком случае, можно рассчитывать, — отозвалась она, — что лучшие из них последуют за нами. Они охотнее примут женатого на принцессе крови Парри из Лаймака, отстаивающих королевское право против безземельного чужестранца, околпачившего королеву, которая сама вообще из другого рода, во имя своих гнусных целей; да и сама она под подозрением, хотя это мне никогда не приходило в голову, пока вы не…

— Бросьте, — прервал ее Эммий. — Выберите какую-нибудь одну позицию.

— Мы сейчас говорим о том, как это будет выглядеть в глазах других. Лично я никогда не поверю, что королева способна на такое злодейство.

— А в отношении Актора хоть кто-нибудь разделил подозрения вашей светлости? Или нет?

— Нет, пожалуй, никто не разделил, — сказала Марессия, пробормотав себе под нос ругательство.

— И люди не поглядывают на принца искоса? Ведь по вашим словам, невестка, свидетельств против него недостаточно, чтобы повесить и кота?

Марессия сердито буркнула:

— Да уж, кое-кто горазд молоть языком. Благодарение Богу, что есть и такие, кто готов действовать.

При этих словах Супервий не мог больше держать язык за зубами:

— Ты искусно развенчиваешь планы других, братец. Тебе бы только рушить, а сам-то не строишь ничего. Это был мой замысел, и я явился сюда, думая встретить твою поддержку. А ты, будто какой-нибудь сутяга-адвокат, только придираешься да ищешь недочеты. Истинно говорят: «У кого нет брата, тот не защищен с тыла».

Подернутые ночной мглой глаза леди Деяниры беспокойно метнулись к Эммию. Но ни одна линия на его хладнокровно-задумчивом лице не выдавала его мыслей, как не нарушился и неторопливый ритм его шагов. Внезапно он заговорил ровным и спокойным тоном, без какого-либо намека на сарказм или собственное несогласие, но скорее как человек, рассуждающий про себя:

— Могущество достигается за счет неспешного составления планов и быстрого их исполнения. Ты, братец, заключив (притом не без моей помощи) весьма удачный брачный союз с этой славной леди, получил теперь доступ ко двору Риалмара. Было бы идиотизмом лишиться этого преимущества, затеяв гражданскую войну. Это тем более глупо по той причине, что нам никогда не накопить достаточно сил, чтобы победить Фингисволд, а уж удержать эту победу и подавно, к тому же нам придется заплатить за проход нашей армии через земли, подвластные Эльдиру, Кайме и Багорту, но и тогда они могут нарушить клятву и напасть на нас из-за спины. Наша настоящая — отдаленная — цель ясна: сдружиться с львенком прежде того дня, когда он превратится во льва; я говорю о короле Мезенции. И сделать это надо через его мать, — тут он посмотрел на Марессию. — А покуда давайте вести приготовления тихо. Укрепимся по всем фронтам. Наберемся терпения и подождем.

В тот же день перед ужином леди Марессия устроилась у окна в огромной библиотеке или студии Эммия, чтобы написать письмо. Супервий из глубокого кресла наблюдал за ней, поглаживая свою огненную бороду. Эммий, сложив руки на груди, стоял перед окном, то листая страницы своей книги, то погружаясь в задумчивость и позволяя своему взгляду блуждать по просторам Низин и далеким лесам Скроумайра, озаренным красноватыми лучами вечернего солнца в безоблачном небе. Слуга зажег свечи в стоявших на письменном столе канделябрах из горного золота и удалился по знаку Эммия, оставив комнату в полумраке. Окна были открыты, однако вечер был столь тих, что ни один язычок пламени не шелохнулся.

Принцесса поставила размашистую подпись, отложила перо и откинулась в кресле.

— Готово, — сказала она, посмотрев сперва на Эммия, а потом на своего мужа. — Думаете, сойдет?

Эммий справа, Супервий слева, они принялись читать письмо через ее плечо. Оно адресовалось

«Ее высочеству королеве Фингисволдской.

Горячо любимая владычица, повелительница, дорогая подруга и кузина, со всем должным почтением к вам и т.п. Полагаю, мой отъезд выглядел несколько внезапным. Убеждена, ушей вашего высочества уже достигли всевозможные басни и дурацкие небылицы о моем якобы дурном умысле против вашего высочества и юного короля. Умоляю, не слушайте россказни этих жаб, лягушек и прочих ядовитых червей, чьей единственной целью является посеять между нами раздор и разлад, и поверьте, что проступок мой был совершен не по злому умыслу, но под влиянием великого страха, охватившего всех нас, и единственно с намерением сослужить вашему высочеству добрую службу. В своей недостойнойю и бесцеремонной выходке я искренне раскаиваюсь, и, полагаю, достаточно наказана помещением в тюрьму по распоряжению этого похотливого мерзавца Боденая, который, я убеждена, действовал, обращаясь со мною столь унизительным образом, не по Вашему приказу, но по велению кого-либо из ваших помощников и без вашего ведома, и за подобное обращение он заслуживает быть подвергнутым смерти. Помимо этого скажу лишь, что сей глупый проступок меня образумил. Мы поговорим об этом более подробно, когда я буду иметь счастье взглянуть в ваше лицо и поцеловать вашу руку. Смиренно надеюсь, что ваше высочество, в память о любезности и дружелю-

бии, с какими вы и король Мардан, да покоится он с миром, всегда ко мне относились, соизволит принять меня у себя снова и великодушно простит мою ошибку. По каковой причине будет очень хорошо, если вы в своей любви и доброте отошлете мне ответ с надежным гонцом, поскольку в противном случае, боюсь, этот Боденай, которого я уже знаю как подлеца, или же кто-либо наподобие него, в своей похотливости и злобе по отношению ко мне найдет способ причинить мне подобное или худшее бесчестье.

Да наставят Боги сердце Вашего Высочества на путь, сообразующийся с Вашим саном, к утешению бедной кузины вашего высочества и любящей и раскаивающейся вашей Слуги,

Марессия»

— Сойдет? — спросила она, откидывая голову, чтобы заглянуть одному и второму в лицо, пока они читали.

— Сойдет просто замечательно, — сказал Супервий и, отклонив ее голову еще дальше назад, страстно поцеловал ее в шею, а, отвернувшись к окну, добавил: — …как сказал резавший овец пес, когда ему показали аркан.

Эммий протянул ладонь. Леди вложила в нее свою правую руку — мягкую, теплую, ослепительно белую, сильную. Он поднял ее к губам и поцеловал:

— Вы отличный боец, дорогая Марессия. И проигрываете вы благородно. Но не тревожьтесь, вам нечасто придется проигрывать.

Покраснев, словно простодушная девица, принцесса улыбнулась ему: не одними губами, но также и глазами, что с ней случалось нечасто.

— Я готова склониться перед гласом разума, когда слышу его, господин мой деверь, — промолвила она и сжала крепче его руку. — Я не сержусь. Ибо вижу, что была неправа.

Супервий, с заносчивым и надменным, но спокойным видом, отошел от окна.

— Да, — сказал он, уставившись своими глазами олуши Эммию в лицо, а затем обхватил его обеими руками.

Книга II: Возвышение короля Мезенция

7. Зевс Терпикераунос[292]

СТАТЕЙРА уже целый месяц правила в Риалмаре в звании королевы-регентши, распоряжаясь всем государством от имени своего малолетнего сына, короля Мезенция, которому еще не исполнилось и трех лет. Ее любили в народе, и ни один лорд или выдающийся человек во всем Фингисволде не думали ей перечить, но все они поспешили в Риалмар, дабы принести ей присягу и поклясться в своей всецелой поддержке и повиновении. Всем им она отвечала просто и прямодушно, как могла бы вести себя обыкновенная леди по отношению к проверенным друзьям, что пришли выразить соболезнования ее горю и возобновить узы дружбы, но также и в подобающем королеве ключе, повелевая каждому тотчас созывать войска и собираться в полной боевой готовности в указанное время и в указанном месте. Ибо намеревалась она отложить все менее важные дела, пока не получит объяснений от аккамского короля вкупе с компенсацией и надежной гарантией мирного поведения в будущем, а также пока не покарает смертью каждого, кто принимал участие — неважно, организатором или исполнителем — в этом дьявольском злодеянии, в результате которого она осталась вдовой в самом расцвете своей молодости, а великое королевство лишилось сильной руки, что была способна умело им управлять, и на троне оказался ребенок, а распоряжаться и отвечать за все пришлось женщине.

В этих темных и туманных делах люди предпочитали прислушиваться и повиноваться ей, доверяя ее суждениям и решениям, ибо хорошо знали, что король Мардан посвящал ее во все свои самые тайные замыслы и планы, и ни один советник или видный чиновник не обладал в них столь глубинными познаниями как она; а еще они вполне здраво полагали, что, если столь мудрый политик как великий король вводил ее в курс своих дел, доверял и советовался с ней, то и они также могут ей доверять. Незамедлительно созвав совет, она, пропустив пару-тройку высокопоставленных лиц, выдала жалованные грамоты всем, кто на деле показал свое умение и авторитет в качестве советников короля Мардана, и кого он наиболее ценил, и в особенности: королевскому судье

292 Ζευς τερπικεραυνος (гр.) — «Зевс, радующийся молниям», один из эпитетов Зевса.

Менду, верховному канцлеру Фингисволда Акарну, верховному адмиралу Псаммию, констеблю Риалмара Минтору и принцу Гарману, дядюшке покойного короля и отцу Марессии. Констебля она через неделю после убийства короля тайно отправила в Аккаму с выражением протеста и упомянутыми выше требованиями.

Принц Актор все это время вел себя самым похвальным образом, и никто не мог его ни в чем упрекнуть. Когда первые смятение и неразбериха улеглись, он сохранял лицо, не уступая никому в здравости своих суждений; он никогда не выпячивал себя на совете, а если к нему обращались, не напускал на себя важный вид; если возникали разногласия, он всегда первым находил пути к примирению, и скорее держался с королевой особняком, нежели сближался, как наедине, так и в присутственных местах проявляя к ней учтивое и сдержанное почтение, будто не желая ничего иного, кроме как угодить ей.

И вправду, в первые часы, когда в городе воцарилось волнение, а лжи и домыслов было, что скворцов поздней осенью, многие кричали, будто короля убил Актор в надежде завладеть королевством самолично. Двое или трое таких крикунов изрыгали обвинения даже в адрес королевы Статейры, декламируя стишки о похотливом Сарагусе (морской рыбе; Актор как раз прибыл в Фингисволд по морю), ухаживавшем за Козочкой на зеленом бережку. Однако распоряжение Менда «выпороть этих сплетников» было столь пунктуально приведено в жизнь окружающими, что отправленные с этой целью судебные приставы обнаружили его уже исполненным, причем исполненным как следует, с любовью. С тех пор клеветнических заявлений о какой-либо связи между именами Актора и королевы в Риалмаре больше не слышали.

Так обстояли дела, в то время как судьба войны или мира оставалась неясной и зависела от ответа из Аккамы. Но май сменился июнем, и внимательные глаза и тонкие и проницательные умы при дворе начали замечать, как замечает под прикрывающими их листочками бутоны фиалок садовник, признаки взаимного расположения между королевой и Актором. Наиболее рассудительным казалось, будто они видят в них обоих — когда бы случайность, или придворные развлечения, или государственные дела ни сводили их вместе — задернутые шторы, становившееся с каждой неделей все более отчаянным старательное стремление скрыть как от остальных, так и друг от друга, свои тайные помыслы. И лишь о лояльности и благородстве, о хорошем отношении, каким принц в глазах людей пользовался у их проницательной

королевы, говорило то, что, став явными, все эти вещи не вызвали ни придирок, ни зависти, но были оставлены в покое, как ее личное дело и ничье больше.

Четвертого июня королева, как у нее было заведено делать раз в неделю с момента принятия регентства, спустилась с Теремны и направилась через город к храму Зевса на Мехисбоне, где находились королевские гробницы, последней среди которых была гробница короля Мардана. Она явилась туда без помпы, пешком пройдя по просторным улицам, миновав базарную давку и проследовав по триумфальному пути, что широкими изгибами поднимается от базарной площади, петляя по крутому склону то влево, то вправо, чтобы облегчить подъем на этот северо-западный рог Риалмара. Колонны из розового мрамора обрамляют этот путь с обеих сторон, и каждую из этих колонн венчает массивный факел, что освещает дорогу праздничными ночами, когда та представляется из Теремненского дворца или из самого города на Месокерасине гигантским змееподобным телом обвившего гору дракона, окаймленным сверкающими огнями. Стоял солнечный полдень, однако в воздухе парило, и громоздились со всех сторон бастионы облаков, омрачавшие южный горизонт, но сиявшие ослепительной белизной там, где их озаряло солнце. Слева от королевы шагала ручная черная пантера на золотой цепочке, чья шерсть была столь же гладкой и лоснящейся, как ее платье из черного шелка, отделанное золотыми кружевами; справа же от нее нянька катила в украшенной золотом и серебром детской коляске из сандалового дерева маленького короля. Не считая офицера, державшегося на почтительном расстоянии позади вместе с полудюжиной телохранителей, а также этих няньки с ребенком, она была одна и никем не охраняема; тем самым она следовала древнему обычаю фингисволдских королей передвигаться по Риалмару по своим личным делам как обычные люди, без особых церемоний: прохожие лишь делали им реверансы или снимали шапки. Обитатели королевского дворца чтили этот обычай, служивший наглядным доказательством (если и требовалось какое-либо доказательство), что король считал своих подданных в целом наилучшими охранниками для своей персоны, и что его величие воплощалось не в увядшей красоте, которая ничего не стоила без королевских украшений, но в свежести и юношеском здоровье, что даже нагое останется столь же прекрасным и величественным.

Храм Зевса-Спасителя, возвышающийся над более мелкими храмами Мехисбона, стоит на скальном выходе недалеко от вершины. Он целиком выстроен из угольно-черного мрамора с неотполированной поверхностью, дабы та казалась еще темнее, и лишен каких-либо украшений, помимо резьбы на исполинском фронтоне да лепного фриза над портиком. Подойдя к подножию состоявшей из трех огромных пролетов лестницы, что поднимается к храму от места, где кончается дорога, королева Статейра взяла маленького Мезенция за руку, и они пошли дальше одни. Меж обрамлявших вход колонн, столь обширных в обхвате, что пятеро человек, стоявших кольцом вокруг одной из них едва смогли бы взяться за руки, и достигавших шестидесяти футов в высоту от цоколя до капители, она обернулась, чтобы взглянуть через седловину Месокерасина на юго-восток, на королевский дворец Теремны.

Там собиралась гроза. Густые мглистые облака, свинцовые и жирные, разбухали и расползались, пока половина небосвода на востоке и юго-востоке до самого зенита не окрасилась в цвет черного винограда. Король потянул мать за руку и засмеялся, указывая туда, где на фоне черных туч вдруг блеснул неземной красотой дворец, озаренный солнечным лучом, что прорвался через какую-то прореху в громоздившихся на западе хмурых облачных массах.

Ветер у земли унялся, было очень жарко, душно и тихо. Казалось, все звуки пропали один за другим, пока не исчезли даже самые незначительные (свойственные обыкновенной тишине): шелест листвы, или — неизмеримо далекий, словно бесконечно тихое эхо, — нескончаемый шорох морского прибоя, или шум базарной площади внизу. Даже эти тени звуков угасли, канули в небытие. Лишь подобие слуха сохранилось в пульсации крови в ушах, что тщатся услышать этот безголосый голос тишины.

Королева, глядя туда, куда постоянно возвращался полный веселья взор ее сына, на угрюмый отблеск на склоне Теремны, затащила его чуть подальше, под портик, а по мостовой ударили первые капли дождя. Она вдруг заговорила про себя:

Королева Небес, Афродита-Киприда,
Не позволь же мне пасть, низкородной плебейкой
Оказаться, ведь из одного мы металла
С тобою отлиты.

Того ниже себя оценить не посмею,
Ибо разве во всех не пылаешь влюбленных
Ты огнем, о Богиня, извечным, палящим,
Их преображая?

Пламя пальцев Твоих и ресниц трепетанье,
Жар Твоих поцелуев, что душу и тело
Раздирают безумною страстью, меня уж
Давно покорили.

И однако ж — живет Красота и в деяньях;
Не в одной лишь плоти и лице лучезарном
(Все желанное в мире — как редкие камни
В твоем ожерелье,

Что согреты в тепле меж грудей Твоих нежных),
Но и в мыслях она обитает, в тебе же
Порознь их невозможно представить, навеки
Они неразлучны.

Опали же меня изнутри, мой рассудок
Окати своим пламенем, что разжигает
В этом теле любовь, кровь в ихор обращая.
И в этом горниле

До тех пор Ты меня очищай, пока взор мой
В настоящем обличье Тебя не узреет:
Не видением зыбким, но словно Себя
Самое созерцаешь.

Словно в ответ, гроза грянула над Мехисбоном. Шар ослепительного пламени подобно падающему солнцу промчался меж бушующими небесами и землей на запад, прочь от города, а по пятам его, сотрясая воздух, гремел и грохотал гром, как будто откуда-то с невидимого небосвода обрушивались громадные и тяжелые камни, кучами громоздясь вокруг храма во тьме среди низвергающихся потоков дождя. Статейре, глядевшей на свое дитя и крепко

сжимавшей его ручонку, то и дело удавалось мимолетом различить его лицо в мертвенных вспышках молний. Прочесть на нем было можно лишь одно: не страх, не боязнь за нее, но радость грозе.

Краткое содержание

Король Мезенций мужает - Королева Росма - Трагедия Актора.

(главы 8 — 12)

8. Принц-протектор

По прошествии нескольких недель после смерти короля Мардана Актора охватывает необоримое отвращение к совершенному им ужасному деянию. (На самом деле это было не столько деяние, сколько воздержание от оного: он умышленно не предупредил короля о том, что ферзи отравлены, и, старательно избегая дотрагиваться до своего собственного ферзя, предоставил случаю определить, коснется ли своего король.) С ходом времени ему начинает казаться, что можно «заставить» себя не думать о своем преступлении, и оно канет в небытие само собой. Насколько он может судить, королева ни о чем не подозревает, и словно новый мир открывается перед ним, когда ему почти удается убедить себя, что никакого преступления не было: король мертв, но Актор к этому непричастен. Актор с королевой пребывают в идиллии доверия, симпатии и взаимопонимания. Она, ощущая произошедшие в нем изменения, тронута до глубины души и едва может сдержать в его присутствии проявления своей любви и страсти к нему. Однако ей это удается.

Прежде чем королева получает какой-либо ответ на свой ультиматум, в Аккаме происходит революция Девятерых.

Аккама — огромная страна, лежащая к северо-западу от Фингисволда; ее южные области занимает песчаная пустыня, а север и центр — плоскогорья. Страна отличается холодным климатом и редко заселена кочевниками и лесовиками. Пять или шесть поколений назад мятежные фингисволдские дворяне бежали в Аккаму и основали там династию, породнившись с местными и подобно главарям разбойничьей шайки поселившись на Писсемпско, высокой горе, где расположена столица и единственный значимый город. Закрепившись там, они жили набегами и грабежами, скармливая преступников свиньям (их основному скоту, притом весьма свирепому) и почитая «грязных богов» страны. Они похвалялись тем, что являются законными наследниками фингисволдского трона. Сами дворяне говорили на английском (общем для трех королевств) языке, в то время как местные жители — лютый, убогий и дикий народ — пользовались своей

собственной тарабарщиной. Девятеро являлись представителями тех дворянских семей, которые утратили власть, когда король-узурпатор Тзухо изгнал Актора и убил короля, его отца. Этот Тзухо был бастардом из ветви кадета правящего рода: его мать была королевой Аккамы, которую бросили свиньям за прелюбодеяние с местным пиратом.

Казнив Тзухо и установив режим олигархии, эти Девятеро отправляют в Риалмар посольство, принося всевозможные извинения и обещая любые компенсации, за исключением, разве что, сдачи страны. Королева, пообщавшись с послами лично, заключает соглашение, в соответствии с которым Аккама обещает вечную дружбу и союзничество, а Актор отказывается от каких-либо притязаний на аккамский трон.

Именно поведение Актора во время этих переговоров заставляет, наконец, королеву Статейру решиться выйти за него замуж. Весьма изящно и с достоинством она, по сути, делает ему это предложение. Поведение обоих в этой ситуации заслуживает всяческих похвал; вместе с тем Актор почти страшится внезапного свершения своих самых заветных надежд. После их брака (сентябрь 726) он получает звание лорда-протектора, в то же время публично и торжественно отрекаясь от каких-либо амбиций на более высокие чины и поклявшись в верности королю Мезенцию и королеве-регентше Статейре.

Королева посылает за доктором Вандермастом и возлагает на него обязанности по воспитанию юного короля. Поначалу Актор приходит в ужас при мысли, что Вандермаст раскроет его секрет, и подумывает об умерщвлении доктора. Но пока он мешкает, он преисполняется доверия к доктору, а впоследствии и преклонения перед ним.

С ходом лет Мезенций узнает, что является королем, а также, к своему удивлению, что его отцом был вовсе не Актор. В нем рано проявляются способности к управлению и тяга к риску ради риска: свирепые псы, кони, быки и Антея в ее рысьем облачении, опасные восхождения на скалы и утесы Риалмара. Он неутомим, невероятно щедр и великодушен и во всех спорах по зову сердца склоняется на сторону слабейшего.

9. Леди Росма в Акрозайане

В 732 г. политика Эммия в отношении Мезрии приносит свои плоды, когда его восемнадцатилетняя дочь, леди Росма Парри, выходит замуж за короля Каллия. Каллий посредством этого союза намеревался укрепить свое влияние в Мезрийской Марке и возвеличить себя за счет Ререка. Однако Эммий, политик куда более тонкий и столь же неразборчивый в средствах, тайно договорился с Гальяртом, королевским братом и предполагаемым наследником, о том, что, если король умрет и право наследования окажется в опасности, Эммий поддержит Гальярта военной силой при условии, что тот немедленно сделает Росму своей королевой.

Охваченная отвращением к Каллию (угрюмому тирану, которому уже за сорок; весьма распущенному и развратному), леди убивает его в брачную ночь и тут же выходит за Гальярта, слабого и безвольного принца, который больше по вкусу мезрийским лордам, нежели его своенравный, требовательный брат. Она с легкостью убеждает Гальярта не только сделать ее своей королевой, но и позволить ей править совместно с ним.

10. Пробуждение Евменид[293]

В 736 г. Девятеро тайно предлагают Актору аккамский трон. Посланник объясняет Актору наедине, что это случится, только если он сначала станет королем Фингисволда. Актор отказывается и переговоры прекращаются. Он отказывается главным образом из-за своей любви к королеве (которой он так ничего о предложении и не говорит), а также по причине данной им клятвы об отречении от притязаний, нарушив которую, он навсегда падет в ее глазах. Однако отказ гложет его душу. Он становится все более и более печальным, начинает подумывать, не будет ли лучше покончить с Мезенцием, который, как он опасается, может, когда подрастет, узнать подлинные обстоятельства гибели своего отца; однако преданность королеве Статейре (быть может, единственный принцип, которому он верно следует), подкрепляемая врожденной склонностью откладывать вещи в долгий ящик, удерживает его от этого нового злодеяния. Тем не менее, кровавая тайна продолжает оставаться преградой между ним и королевой.

293 Евмениды (Эринии) — в древнегреческой мифологии богини мести. В римской мифологии им соответствуют фурии.

11. Польза от племянников

Королева Росма, устав от пятилетнего брака с безынициативным мямлей Гальяртом, обращает в 738 г. внимание на его племянника Лебида, молодого негодяя пятью годами младше себя самой, которому обещает свою руку и сердце, если он убьет своего дядю-короля. Лебид послушно поднимает восстание и сражает Гальярта в бою, но Росма, встревоженная тем, что этот молодой человек может оказаться чрезмерно буйного нрава, отказывается исполнять свою часть сделки и, обратив взоры в сторону находившегося под рукой Белтрана, старшего брата Лебида, предлагает тому избавить ее от него, как и прежде, в обмен на свою руку и сердце. Белтран, не отличавшийся честностью, но довольно привлекательный, обладавший также и многими другими достоинствами, а кроме того способный (как никто из встреченных ею доселе мужчин) вызвать в ней хотя бы отдаленное подобие привязанности, теряет голову от любви и ревности к своему брату. Он застает Лебида в королевской опочивальне и со всем рвением закалывает его насмерть прямо у нее на глазах. В тот же час она отдается Белтрану, но впоследствии, охваченная отвращением, отвергает его, угрожая расправой, и с позором изгоняет его из страны.

Росма, которой уже исполнилось двадцать четыре, единолично правит Мезрией в сане королевы. Это крупная и сильная женщина, темноволосая, черноглазая, лицемерная, гордая, алчная, вероломная и жестокая. Она красива и способна выглядеть весьма соблазнительно физически; не злая, но равнодушная, преследуемая жаждой власти. В должный срок в Зайане рождается Бероальд, ее сын от Белтрана. Росма, по природе обладающая «мужским характером», ненавидит свою женскую сущность, ненавидит своего отпрыска и продолжает выдавать себя (непонятно зачем) за Непорочную Королеву. Она скрывает факт рождения ребенка и повелевает оставить его на горном склоне. Антея в своем рысьем обличье спасает его и по наущению доктора Вандермаста подменяет на сына дворянина из Южной Мезрии одного с ним возраста.

12. Еще одна чудная лунная ночь

Король Мезенций взрослеет и начинает понимать, что такое справедливость. Он также осознает, что красота, заключенная в действии, есть необходимое дополнение к физической красоте, которую он уже приучился почитать. В нем рано проявляются чудесные свойства человека действия, способность изгнать

из мыслей все, кроме насущного дела, и в то же время развиваются черты берсерка: приступы неистовой активности и живости, сменяемые периодами задумчивости, молчаливости, апатии и ухода в себя. Статейра наблюдает за всем этим со смесью восхищения и тревоги. Он начинает заговаривать с ней о своем отце и об Акторе, к которому (сам не зная, почему) начинает испытывать определенную неприязнь. Это беспокоит и его, и его мать. Беспокоит это и Актора. Чем больше Актор сближается с королевой, тем более терзается угрызениями совести. Вместе с тем он понимает, что именно его злобный и вероломный поступок и даровал ему нынешнее благосостояние и могущество. Поэтому его разум пребывает в постоянном конфликте с самим собой, а печаль все усиливается. Королева Статейра со своей стороны все крепче к нему привязывается и все больше страшится, что однажды он признает свою вину, оправдав те ее подозрения, в существовании которых она не признается даже себе самой. Она всеми силами цепляется за мысль о грядущем величии Мезенция (предсказанном доктором Вандермастом), как за свою единственную отраду.

В декабре 740 г. король (в возрасте семнадцати лет) расспрашивает своего отчима о смерти отца. Если не считать нескольких мгновений грызущей тревоги и догадок, что рождаются скорее в крови, нежели в мозгу, он так и не заподазривает Актора в причастности к ней. Более того, пустившая в нем глубокие корни неприязнь к Актору делает его менее склонным подозревать того, ибо несправедливость идет вразрез с его натурой, в особенности по отношению к человеку, который неприятен лично ему. Он расспрашивает Актора просто потому, что горит желанием рассеять завесу тайны и покончить с нею, а Актор (поймавший и умертвивший подлинного отравителя) представляется ему человеком, способным пролить свет на это происшествие.

Итог их беседы неясен (с точки зрения достижения поставленных королем целей), но опустошителен для Актора. Его страхи, порожденные его нечистой совестью, подсказывают ему, что король разгадал его тайну, или ему рассказал о ней Вандермаст. Охваченный той же агонией духа, что и четырнадцать лет назад, он вновь приходит в полночь в садик королевы, надеясь побыть один, но обнаружив словно ждущую его там Антею.

На этот раз по-настоящему морозно; это самая длинная ночь в году. Леди-ореада холодна, безжалостна, презрительна и враждебна. Она, конечно же, знает правду и «бичует грехи человеческие» в лице несчастного принца-протектора. Ее беспощадность, ужасающе созвучная голосу его собственной совести, на деле

выявляет положительные (и достаточно значимые) качества Актора и пробуждает в зрителе, если бы таковой там присутствовал, жалость и милосердие по отношению к нему.

Под воздействием этого холода и ясности, вызванной скорпионьим жалом презрения Антеи, он рассматривает альтернативы:

Первая: Убить Мезенция? Но это убьет также и любовь королевы к нему. Кроме того, разве может он рассчитывать скрыться?

Вторая: Бежать? Но куда? В Аккаме его не примут. К тому же, какой прок жить без королевы? К этому времени они и впрямь любовники едва ли в большей степени, чем были она и Мардан после рождения Мезенция, но на сей раз это королева, а не ее возлюбленный, удовлетворила свою страсть и понимает, что та уже перегорела. Однако она глубоко привязана к Актору и (как он чует своим нутром) ей никогда и в голову не приходило, какую роль он сыграл в убийстве Мардана; и жить с нею рядом, даже как брат с сестрой, стало для него единственным смыслом существования на свете.

Третья: Сознаться Мезенцию во всем и надеяться, что тот его убьет? Но это, хоть и успокоит его совесть, опять-таки ранит королеву. И потом, Мезенций все ей расскажет, а с этим Актор не может смириться даже в воображении.

И вот, понимая, что загубил свою жизнь (завладев своей возлюбленной нечистым путем, смешав свою любовь с честолюбием и в погоне за обоими став предателем, убийцей своего друга и благодетеля, пожизненным лжецом и беглецом от правды: совершив все то, чего уже нельзя вернуть и в чем нельзя признаться, но что, быть может, можно искупить) и, решив, что королева не должна ни о чем узнать, как и Мезенций (если тот до сих пор не знает или не догадался), он просит Антею оказать ему одну услугу: услугу молчания. Она с презрением, но (как Актор понимает из какого-то неясного намека) с честными намерениями, соглашается. Актор бросается спиной вперед с восьмисотфутового утеса, возвышающегося над гаванью.

Антея держит свое слово. Король оставляет свои мысли при себе и, проявив почти женские сочувствие и интуицию, не позволяет своей матери заподозрить правду или то, о чем он догадывается.

Книга III: События в Ререке

Краткое содержание

Эммий Парри продолжает свою политику, оглядываясь на север -

Король завладевает Ререком

(главы 13 — 14)

13. Наковальня под периной[294]

В 741 г. Девятеро утрачивают власть в Аккаме и королем становится Мелькис, после смерти Актора оказавшийся следующим в череде законных наследников. После восемнадцати месяцев колебаний и дипломатических переговоров Мелькис намеревается сбросить короля Мезенция с трона. Супервий Парри, которому к этому моменту исполнилось сорок шесть и который правит Лаймаком уже двадцать один год, отправляет своего младшего сына Гория Парри (щестнадцати лет) в качестве офицера, дабы тот приглядывал за военачальником высланного на подмогу королю Мезенцию в Фингисволд ререкского контингента. Первая встреча Гория с королем характериузется взаимным интересом и легкой симпатией.

В последующей кампании девятнадцатилетний король, наконец, дает отпор Аккаме, и та, опозоренная, остается зализывать свои раны (742 г.).

Главной заботой Супервия становится лишение Гильмана (который наследует своему отцу Альварду в качестве принца Каймского) его позиции фаворита при риалмарском дворе. Он завидует Гильману, также как и прочим принцам севера (Эркелю, сыну Кериона и наследнику Эльдира, и Арамонду Багортскому). Супервием, не слишком искусным политиком, завладевает мечта сделать Лаймак столицей всего Ререка. Он не остается до конца лояльным к своему брату Эммию, как лоялен Эммий во имя родственных уз и своего рода любви к нему. Он думает, будто Эммий об этом не догадывается, а тот, посмеиваясь и расстраивая хитроумные козни своего брата, постоянно использует того для проведения в жизнь своей более тонкой и не столь узколобой политики.

Эммий (пятидесяти двух лет от роду) по своей натуре чрезвычайно предрасположен к использованию других для осуществления своих планов; это объясняет,

294 Дж. Уэбстер, «Герцогиня Мальфи», акт III, с. 2:

Плетущий козни — что под периной наковальня;
Сколько по ней ни бей, не слышится ни звука.

почему он ни разу не попытался завладеть Мезрией лично, но предпочел контролировать ее через свою дочь Росму. Возможно, он уже втайне забавляется мыслью об организации брака между нею и королем. Это, по его мнению, может привести к окружению и даже (если король действительно окажется великим человеком) поглощению Ререка. Однако если король и окажется таковым, это не будет играть существенной роли, ибо Ререк, находясь на пороге Фингисволда, в любом случае не смог бы тогда долго против него продержаться. С другой стороны, если король не проявит себя должным образом, этот союз укрепит род Парри (а в особенности ветвь самого Эммия) и будет означать расширение Мезрии, а потому он будет хорошо согласоваться с планами Эммия, поскольку его дочь-королева не только вышла за представителя правящего дома Зайаны, но и вытеснила его с престола.

Эммий открыто тянет время, отказываясь принимать Гильмана всерьез (отношение, которое впоследствии только подтвердилось) и намереваясь использовать Перидора из Леверингея, сына своей сестры Лугии, чтобы досадить Эркелю. Этот план, однако, терпит неудачу, так как Перидор все больше и больше склоняется на сторону Эркеля.

Король Мезенций (которому исполняется двадцать), заметив, как колеблется равновесие сил в Ререке (извечное превосходство дома Парри, уравновешиваемое союзом северных принцев вкупе с запутанными взаимоотношениями обоих со свободными городами), начинает подумывать о распространении своего влияния на юг.

Его мать, королева Статейра, инстинктивно не доверяя Парри, привозит в Риалмар сестру Эркеля леди Анастасию, красивую девушку, в которую король тут же влюбляется и берет в жены (июль 732 г.), сорвав планы Эммия Парри.

14. Лорд Эммий Парри

Открытая вражда разгорается на следующий год (744 г.) между Парри и Эркелем в Ререке. Супервий занимает Мегру, доставшуюся Марессии по завещанию ее отца, умершего год или два назад. Эркель, почуяв, что завещание несет угрозу его власти в Эльдире, оспаривает его. Он готовится осадить Мегру, и Супервий, прознав об этом, отправляет войско, чтобы разорить земли самого Эльдира. Потерпевший неудачу Эркель обращается за подмогой в Риалмар. Король отказывает в помощи, напрямик заявляя Эркелю, что не намерен ввязываться в семейные ссоры. Горий Парри (восемнадцати лет), безошибочно распознав королевскую беспристрастность, склоняет отца (при одобрении Эммия) согласиться с Эркелем по-

дать королю совместное прошение рассудить их. Король устанавливает справедливый мир, подтвердив притязания Парри на Мегру, но (чтобы сохранить прежнюю договоренность) назначив его там формально наместником короля Фингисволда; Лайлму же он должен был оставить в преддверии свободных выборов в этом городе.

В начале 745 г. королева Анастасия умирает.

В 746 г. новое наступление из Аккамы жестоко отражено королем, еще раз продемонстрировавшим военную мощь Фингисволда.

Эммий Парри полагает, что настал подходящий момент, чтобы привести короля в Ререк. С этой целью он успешно использует Перидора (который об этом совершенно не подозревает), чтобы спровоцировать Эркеля, Гильмана и Арамонда на штурм Мегры в нарушение конкордата. После бесплодных переговоров, продолжавшихся восемнадцать месяцев, во время которых Мегра пребывает в осаде, Супервий, как ущемленная сторона, обращается к королю. Король созывает в Риалмаре собрание, настаивая на личном присутствии и не признавая никаких послов или легатов. Собрание проходит бурно, главным образом по причине упрямства со стороны Супервия и Гория, которым принцы не доверяют; однако дипломатичность Эммия заставляет их, в конце концов, подать поддерживаемое прочими реркскими лордами единогласное прошение о том, чтобы король принял реркскую корону в качестве их сюзерена, сохранив за ними все их свободы. Король соглашается (748 г.).

С тех пор неизменной политикой короля в Ререке становится divide et impera[295]*, а главным оружием — законность и честность. (Его привычкой на протяжении всей жизни остается искать (и находить) в людях лучшее. Это не означает, что его никогда не обманывают, но он всегда стремится увидеть в них лучшее и лучшего же от них добиться. В Гории Парри, например, и (впоследствии) в Росме он видит множество положительных (и множество отрицательных) качеств. Тех, кто его разочаровывает (например, позже, Валеро и люди Аккамы), он сознательно подвергает испытаниям и идет в отношении их на риск.).*

295 Divide et impera (лат.) — «разделяй и властвуй».

Книга IV: События в Мезрии

Краткое содержание

Король завладевает Мезрией - Амалия - Росма в Риалмаре

(главы 15 — 19)

15. Королева Росма

Мезрия уже много лет притягивает к себе помыслы короля. Это хорошо согласуется с дальновидной политикой Эммия Парри, который, независимо от него и с иными (хотя и совершенно не враждебными) целями двигался к той же цели, а именно: к установлению более близкой и возвышенной связи между Парри (на сей раз аргъяннской ветвью) и королевским домом Фингисволда.

В 749 г. король посылает Иеронимия узнать, не изволит ли Росма принять короля с личным визитом, поскольку теперь они правители смежных государств и обязаны поддерживать дружеские отношения. Поздней осенью король приезжает в Зайану. Исключительно в политических целях он предлагает брак. Притворяясь не слишком-то щепетильным политиком наподобие ее самой, он показывает в предварительных беседах с нею хорошую осведомленность о ее прошлом и ее многомужестве. (Ему теперь двадцать шесть, Росме — тридцать пять.)

Королева, поразмыслив над итогами этих бесед, испытывает ощущение, будто ее оседлали и взнуздали, а также понимает, что личные качества короля опьянили ее и заставили наговорить слишком много. Однако не в ее привычках позволять чему-либо иному, кроме холодной логики, управлять ее поступками, и одной этой причины недостаточно, чтобы отказаться от его предложения: посредством его он получает Мезрию, в то время как она — Фингисволд и Ререк. Кроме того, она приобретает нечто такое, что приходится ей по вкусу куда меньше: хозяина. Но эта неприятность в любом случае может оказаться неизбежной, так как господство короля в Ререке увеличивает вероятность применения силы, если она будет упорствовать. Более того, хотя в их разговорах прямым текстом оговаривалось, что брак не повлечет за собой каких-либо взаимоотношений помимо политических, она, как и в случае с Белтраном, только в еще большей мере, смутно чувствует в короле Мезенции человека, ради которого могла бы, если такое вообще возможно, хотя и невообразимо для нее самой, поставить себя в глупое положение. После нескольких

дней раздумий она отвечает, что в текущем предложении чаши весов чересчур сильно склоняются в пользу короля, а не в ее пользу, ибо она, как женщина, лишается при женитьбе своей независимости. Если он, однако, прибавит к выкупу Аккаму, она примет его предложение.

16. Фрейлина

Между тем сердце короля томится по Амалии, юной фрейлине королевы шестнадцати лет от роду, страстно обожаемой этой своенравной и кровожадной женщиной. Он и Амалия не столько влюбляются друг в друга, сколько осознают, при первом же взгляде друг на друга и не обменявшись ни словом, что они любовники и были таковыми с самого начала, притом не в этой нынешней (зимиамвийской) жизни, а, вероятно, в каком-то ином мире или мирах. Это отсылка к Прелюдии: к пятнадцати годам, проведенным «в нашем собственном доме в Нижнем Уостдейле» и к тому, как он видел ее «мертвой в парижском морге». Это осознание, иногда мимолетное, иногда более продолжительное, остается покуда прерывистым и неуловимым. Подобно аромату его невозможно восстановить в памяти, но когда оно приходит, все, что его касается, возвращается в мельчайших подробностях. Он говорит Амалии, что не может предложить ей корону: короли женятся по расчету, а не по любви. Однако он предлагает ей себя, причем отнюдь не на время и без всяких условий. Он сообщает ей, что направляется на север уладить дела с Аккамой, и что, покончив с ними, через два года собирается вернуться за ней.

Король совершенно не скрывает этого от Росмы. Он намеревается сделать Аккаму данником Фингисволда и через два года возвратиться в Зайану, чтобы жениться на ней. Их браку предстоит носить сугубо политический характер; его супругой во всех отношениях кроме номинального, станет Амалия. Королева будет вольна (на единственном условии: избегать публичного скандала) тешить себя как ей заблагорассудится. Росма смеется. Она считает подобные развлечения чересчур переоцененными и полностью удовлетворена его предложением.

17. Аккама прибавлена к выкупу

Король возвращается на север, на несколько дней остановившись в Аргъянне, дабы посовещаться со своим будущим тестем. Приготовления длятся до лета следующего года (750 г.). В августе он выступает против Аккамы с огромной армией

фингисволдских рекрутов и могучим ререкским контингентом под командованием Супервия Парри, которого сопровождают двадцатичетырехлетний Горий, его сын от Маресcии, и Гибраст (сын Эммия, тридати трех лет). Эркель (тридцати двух лет), Арамонд (тридцати трех лет) и Валеро, принц Ульбский (двадцати лет) также участвуют в этом походе. Эммий настоял на личном присутствии Супервия, дабы одновеменно и соблюсти фамильные интересы, и не допустить перевеса со стороны приспешников Эркеля.

Кампания 750 г. заканчивается полным крахом: Супервий Парри гибнет в бою, Эркель попадает в плен. Но король за несколько месяцев восстанавливает силы и, застигнув Аккаму врасплох своим зимним наступлением (о чем и не слыхивали в этой части света) сокрушает всяческое сопротивление после трех или четырех великих сражений, последнее из которых состоится в середине февраля 751 г.

В ходе этой решающей кампании Горий Парри отличается и как воин, и как советник; у него голова старца на молодых плечах. Он на суше, а Иеронимий на море являются (после смерти Супервия) главными помощниками короля. Принц Валеро, протеже Эммия Парри, также справляется с задачей блистательно. Семена враждебности к Валеро посеяны в сердце Гория.

После четырех месяцев напряженного труда в покоренной Аккаме между Горием и Гибрастом разгорается ужасная ссора. Будучи явно неправ, Гибраст вызывает своего кузена на дуэль и гибнет. Горий, проявив большую храбрость и рассудительность, получает разрешение тут же отправиться на юг, чтобы примириться со своим дядей Эммием. Обогнав любые слухи, он приезжает в Аргъянну, вооруженный письмом от короля, где тот излагает все факты и по сути дает Эммию право самому уладить ссору.

Эммий, отчасти из уважения к храбрости Гория, отчасти из здравых политических соображений, великодушно прощает смерть своего сына, но в качестве возмещения требует от Гория материальных гарантий в отношении Ульбской Марки, включая передачу во владение крепости Кессарей и право лично назначать лорда-председателя Марки. Он назначает таковым графа Борка. В итоге Эммий теперь как политически, так и стратегически, обретает полное всевластие (хоть и подчиняясь королю) во всей области вдоль Зеннера.

Горий Парри наследует своему отцу в Лаймаке. Он остается в добрых отношениях со своим дядей (которому уже шестьдесят), но жаждет его могущества, которое наверняка только увеличится, когда он станет королевским тестем, также как и после этого нового соглашения. Своим личным агентом и шпионом при дворе

Эммия в Аргъянне Горий назначает некоего Габриеля Флора (в возрасте двадцати двух лет), авантюриста низкого происхождения, которого он год или два назад переманил у Эркеля, когда тот подослал Габриеля в качестве шпиона в Лаймак.

Со своим единокровным старшим братом Гелероном Парри, который бельмом на глазу засел в Ангуринге, Горий находится в состоянии плохо скрываемой вражды. Гелерон (сын Супервия от его первой жены Роданты, от которой он избавился, чтобы жениться на Марессии) считает, что Лаймак должен по праву принадлежать ему, но Супервий завещал его Горию.

18. Прирученная волчица

В середине лета, за пять месяцев до назначенного срока, король возвращается в Зайану — и к Амалии. Он женится на Росме с большой помпой, под одобрение и ликование народа, на оговоренных условиях.

Королева, несмотря на свое мнение о подобных «развлечениях» оказывается на деле неспособна смириться с занимаемым Амалией в Зайане положением любовницы короля. У нее сложное отношение к этой ситуации, а недовольство ее заключается не столько в их с Амалией соперничестве за любовь короля (что на данный момент ее совершенно не заботит), сколько в том, что он увез Амалию от нее. На праздновании святок в декабре 751 г. Росма пытается сжечь короля и Амалию, но король препятствует ей в этом, также умудряясь (почти невероятным образом) сохранить в тайне роль, сыгранную в этом происшествии Росмой.

После этого он говорит королеве, что ей нет прока в Мезрии, как и Мезрии в ней, и что, дабы сохранить лицо, ей лучше будет объявить (от своего лица), что она желает сменить место проживания и что королеве Трех Королевств следует жить в главной столице, а именно, в Риалмаре. Словно подчеркивая тот факт, что ей придется играть (с политической точки зрения) вторую скрипку, король предлагает поставить на пост комиссара-регента в Мезрии Иеронимия.

Росма поначалу приходит от всего это в ярость, и король с большим трудом удерживает ее от того, чтобы навредить себе самой или ему. Он, однако, сохраняет присутствие духа, и в конце концов она, с удивлением испытав неизведанное доселе ощущение (от существования мужчины, способного подчинить ее себе и посмеяться над нею), соглашается с его замыслом.

Это является началом более близких и глубоких, почти дружеских,

взаимоотношений между королем и Росмой. Теперь она постоянно живет в Риалмаре, в то время как он поочередно уделяет время всем трем государствам.

19. Герцогиня Мемизонская

Королева-мать, не особо радующаяся перспективе оставаться в Риалмаре, где ей теперь придется уступить верховенство своей снохе, чьи репутация и способности приводят ее в ужас, решает покинуть Фингисволд. Весной 752 г. она переезжает на юг, в Лорнру Зомбремар, что находится в обращенной на восток высокогорной долине на дальней стороне покрытых снегом исполинских горных хребтов, подступающих к Мезрии с востока. В этом горном пристанище на краю света, в «доме мира», выстроенном для нее при помощи своего искусства доктором Вандермастом, она теперь и живет, удалившись от бурной придворной жизни и неугомонности великих.

В апреле 752 г. в Мезрии рождается Барганакс, а Амалия становится герцогиней. Узнав об этом, королева предлагает развод, но у короля нет намерений сделать королевой Амалию, нет таких амбиций и у нее самой. После этого дружба между королем и королевой укрепляется.

В том же году в Верхних Топях рождается Лессингем, посмертный сын Ромелия, ререкского лорда, женившегося в 751 г. на Элеоноре, внучке Сидония Парри. Когда в 726 г. Супервий отослал прочь свою жену Роданту (тетку Элеоноры и мать Гелерона), чтобы жениться на принцессе Марессии, между его дядей Сидонием и домом Лаймака были посеяны семена вражды, и именно в этом ключе Элеонора с Верхних Топей и воспитывает теперь своего сына.

Следующие несколько лет являются годами мира и укрепления связей, и повсюду в королевстве чувствуется вмешательство короля.

Королева пускается в подковерные политические интриги со своими кузенами Горием и Гелероном Парри, Валеро и другими. Она стремится, больше из злобы, нежели по политическим соображениям, настроить короля против Гория. Эти происки не остаются незамеченными королем, который не может устоять от соблазна подразнить ее, однако их странная дружба (также как и их с Горием Парри) сохраняется и крепнет. Король незаметно раздувает пламя соперничества между двумя братьями, преследуя свои собственные интересы.

Книга V: Тройственное королевство

Краткое содержание

Белтран возвращается - Рождение Фьоринды -·Конец Гелерона Парри - Барганакс и Стиллис; Барганакс и Гетерасмена; Барганакс становится герцогом Зайанским - Принц Валеро

(главы 20 — 24)

20. Dura Papilla Lupæ[296]

В августе 755 г. Белтран (которому уже сорок три года) появляется в Риалмаре под вымышленным именем и в измененном обличье, в то время как король находится в Мемизоне. Он является королеве и пытается силой овладеть ею. Росма, которой исполнился сорок один год и которая пребывает в том опасном состоянии, когда все наскучивает, поначалу взбешена, но, в конечном счете, заявив, что никогда не согласится, соглашается. Потом, охваченная отвращением, куда более сильным, чем шестнадцать лет назад в Зайане, поскольку в этот раз отдалась с большим желанием и страстью, она убивает его.

Вернувшись, король начинает догадываться об этой тайне. В конце концов, Росма, зная, что беременна, и весьма напуганная загадочным поведением короля, во всем сознается. Он воспринимает это с таким юмором и великодушием, что она — во всяком случае, на некоторое время — привязывается к нему как никогда прежде. Единственным его условием является сохранение секретности; если она когда-либо позволит своим амурным похождениям стать достоянием общественности, это станет ее концом. Росма думает, будто он имеет в виду, что отрубит ей голову. Само упоминание (о нанесении увечий женщине) вызывает у него омерзение. Нет, он лишь заставит ее выпить ядовитый напиток.

Летней ночью 756 г. у королевы Росмы в Риалмаре рождается Фьоринда. Этого ребенка она хотела бы умертвить или бросить, но король, использовав для этой цели Антею и при помощи Бероальда, не выдавая истинного происхождения той, пристраивает ее к тем же самым приемным родителям, которым шестнадцать лет назад был всучен Бероальд.

296 Dura papilla lupæ (лат.) — «грубый сосок волчицы» (Проперций, «Элегии» 4.4.54).

21. Ангурингский Поджог

Приблизительно в апреле 757 г. распря Гория Парри с его единокровным братом Гелероном разгорается не на шутку (не без незаметного участия со стороны короля). Непосредственным поводом служит обнаружение Горием связей между своей женой и Гелероном. Он убивает свою жену и сжигает Ангуринг, погубив Гелерона, его жену и их сыновей и дочерей. Этим дьявольским поступком он одновременно избавляется от Гелерона, непокорного и надоедливого вассала, и еще крепче связывает себя обязательствами перед королем; ибо внезапно приехавший король хватает его вне пределов его надежного оплота в Лаймаке и, простив ему братоубийство (караемое по закону наравне с убийством родителей), укрепляет привязывающие Гория к трону узы союзничества, вместе с тем напомнив ему, что Бог следит за ним.

Росма полагает, что король поступил в этой ситуации так, как было больше всего ей по душе. Это, пусть и запоздало, порождает в ней неистовую любовь к нему, связанную отчасти с его великодушием, а отчасти с тем, что ее вдруг охватывает желание родить наследника на Тройственный Трон и чувством, что, если она хочет это осуществить, времени у нее уже немного. Король, которому исполняется тридцать три года, не слишком заботится об этом. Если он и думает о продолжении рода, то лишь пребывая в убеждении, что королям надлежит быть королями по призванию, а не только по праву рождения, и при этом забавляясь с идеей о возможной пригодности для этого дела Барганакса. По складу своего ума король слабо заинтересован в потомстве, намереваясь воздвигнуть храм своей власти еще при жизни, а что с ним станется дальше, решать судьбе и преемникам.

Росма прилагает всяческие усилия, чтобы очаровать его. Поначалу ему это претит, затем забавляет и в конечном итоге трогает. Внезапно он теряет голову в безудержной страсти к этой своей тигрице; это своего рода чувственный союз, не означающий измены герцогине.

В январе 758 г. в Риалмаре рождается Стиллис. Исполненная чадолюбия к своему первому законному отпрыску, королева также исходит ревностью к Барганаксу в отношении своего сына. Стиллис растет, и она не упускает ни единой возможности восстановить его против его единокровного брата.

Девятнадцатилетний Бероальд изучает право под руководством графа Ольпмана.

22. *Pax Mezentiana*[297]

На протяжении последующих двенадцати лет (758—770 гг.) Мезенциева Мира в Ререке продолжают тихо тлеть раздоры, а постоянные трения между Парри и принцами не прекращаются, в то время как свободные города словно с аукциона продают свою поддержку тому, кто больше предложит.

В 760 г. у Росмы в Риалмаре рождается второй ребенок, принцесса Антиопа.

Эммий Парри, строя свои планы на несколько шагов вперед, делает в 766 г. Гория своим наследником. Король, которому приходится не по душе тот факт, что столько власти сконцентрировано в одних руках (Лаймак, Аргъянна, Кессарей и Марка) также проводит свою политику. Он объявляет Мегру, Кайму, Кессарей и Аргъянну королевскими феодами, но это постановление в отношении Каймы с Аргъянной не вступит в силу, пока живы Гильман и Эммий Парри. В остальных крепостях он назначает начальниками своих помощников: Аркаста в Мегре, Родера в Кессарее. (Аркаст — внук Морсиллы Парри и ее первого мужа Кауна, а потому традиционно противостоит ветви Пертиска. Однако ему нравится Горий Парри, и он всегда остается самым преданным сторонником Гория.) Тот факт, что Эммий безоговорочно признает решение относительно Кессарея, свидетельствует о силе дружбы и взаимопонимания между Эммием и королем.

Бероальд (двадцати семи лет) благодаря поддержке и рекомендациям Иеронимия играет значительную роль в согласовании административных, дипломатических и правовых вопросов, затронутых этой договоренностью. Высоко оценив его качества и способности, король делает его лордом Крестенайи, а впоследствии назначает комиссаром-регентом в Мезрии совместно с Иеронимием.

Горий Парри не слишком обрадован этими событиями, но король, восхищенный тем, как тот их воспринимает, обещает ему (подкрепляя это своей печатью) все завещанное тому дядей наследство, за исключением Аргъянны, которая после смерти Эммия вернется в распоряжение короны. Став преемником, Горий тем самым обретет в Марке всемогущество (с той важной оговоркой, однако, что будет подчинен ключевой крепости в Аргъянне), но утратит Мегру и (конечно же) Кессарей. Он (подобно большинству важнейших ререкских и мезрийских вассалов) недолюбливает Бероальда, адмирала и Родера, считая их «кабинетной знатью» и выскочками.

297 Pax Mezentiana (лат.) — «Мезенциев Мир».

23. Двое герцогов

Пятнадцатилетний Барганакс столь же высок, силен и статен, как любой юноша в стране тремя годами старше него. Его первой любовью становится Гетерасмена, молодая вдова и фрейлина при дворе герцогини в Мемизоне. Гетерасмена со своей стороны наслаждается его преклонением, но когда тот страстно овладевает ею, считает своим долгом уведомить герцогиню. Амалия, сочтя это отличным уроком для своего сына и удостоверившись, что эта леди поднимет на смех малейшую мысль о браке с юнцом вдвое младше себя, радуется что Гетерасмена и развлечется сама, и наставит Барганакса на тот путь, которым ему надлежит следовать. Эти взаимоотношения приносят обоюдную пользу и через год-два постепенно сходят на нет; дружба сохранена, но ни одно сердце не разбито. В ответ на эту любезность король возводит ее в звание графини, и в скором времени она выходит замуж за одного из риалмарских лордов.

В 770 г. восемнадцатилетний Барганакс достигает совершеннолетия. Король назначает его герцогом Зайанским; этот титул прежде доставался в Мезрии прямым наследникам королевского трона. Росме не по нраву то, что это означает. Когда Барганакс вступает в свое новое звание герцога, доктор Вандермаст (доселе являвшийся его наставником) принимает пост его секретаря. Король жалует Барганаксу апанаж, включающий в себя земли за пределами герцогства. Разгневанный этим, Стиллис пестует свою застарелую зависть и старые и новые обиды, о которых его мать-королева не упускает возможности ему напомнить.

24. Принц Валеро

Принц Ульбский Валеро, полагавший в 766 г., что заслуживает одной из ключевых крепостей, с тех пор втайне был занят формированием своей клики и попытками завоевать доверие и поддержку графа Борка, лорда-председателя Марки. Получив сведения об этом, Горий Парри, всячески поощряет и подпитывает эти устремления, намереваясь в свое время погубить принца и тем самым выслужиться.

Юный кузен Парри, Лессингем, замешан в получении им этих «сведений». (Несмотря на свое воспитание, шестнадцатилетний Лессингем подпал под обаяние Гория и поспособствовал примирению между ним и Элеонорой с Верхних Топей, которая по просьбе сына теперь позволяет ему жить в Лаймаке, служа Горию пажом.)

На сороковом (770 г.) году жизни Валеро привлекателен и уважаем, но тщеславен; это не просто искусный, а выдающийся политик, при этом совершенно бесчестный. Никто кроме короля, Эммия и Гория не замечает этого существенного недостатка. Бероальд, со своей стороны, знает Валеро лишь понаслышке. Это единственный случай, когда Эммий позволяет своим симпатиям возобладать над своей проницательностью и благоразумием, он склонен постоянно прощать и покровительствовать Валеро. Король оставляет его в покое, в какой-то мере для того, чтобы порадовать Эммия с Росмой (чьим любимцем он является), но внимательно за ним следит и довольно четко дает Горию Парри понять: тот в ответе перед ним за то, чтобы принц не нанес серьезного ущерба.

Горий (которому исполнилось сорок четыре) ненавидит Валеро, но изображает дружелюбие и оказывает ему всевозможные услуги. Валеро безрассудно недооценивает коварство и возможности Парри и в конечном счете оказывается жертвой его уловок. Горий многие годы мастерски хранит терпение в отношении него, никогда не вмешиваясь лично, но любыми способами убаюкивая подозрения Валеро, потворствуя его обидам, льстя ему, протягивая руку помощи и не подавая и виду о своих подрывных намерениях.

Краткое содержание

Король и герцогиня Мемизонская навещают королеву Статейру; Лессингем и леди Мэри Лессингем - Мятеж в Марке - Низвержение Аккамы.

(главы 25 — 27)

25. *Лорнра Зомбремар*

Королева Статейра уже много лет живет в Лорнре Зомбремар. Король гостит у нее все чаще и чаще, так как Мезенциев Мир дает массу возможностей отдохнуть в покое; другим частым посетителем является доктор Вандермаст наряду (особенно в последние годы) с племянницей короля Зениантой, гамадриадой, подругой и воспитанницей ученого доктора. Все населяющие эти уединенные места нимфы, фавны и полубоги стремятся угодить королеве Статейре. Эти создания, безошибочно распознав в королеве-матери ту, кем под личиной милой и умудренной годами пожилой женщины Она является на самом деле, относятся к Ней как дети, и любят Ее тем более нежно, угадывая Ее божественную сущность, о которой Она сама и не подозревает; и в неведении этом также таится грация, сравнимая

(в глазах философа Вандермаста) с той совершенно иной, но не менее совершенной и неотъемлемой, грацией самолюбования и самосознания, которые присущи самой бодрствующей Богине. Ей идет уже семьдесят третий год.

В ноябре 770 г. король с герцогиней (которым уже исполнилось, соответственно, сорок семь и тридцать семь лет) приезжают навестить его мать в Лорнре Зомбремар. Амалия никогда прежде здесь не бывала, и прошло уже восемнадцать лет с тех пор, как она видела королеву-мать, которая по дороге из Риалмара в свой новый дом гостила у нее в Мемизоне. Во время этого визита король и Амалия еще более живо и отчетливо убеждаются, что любили и обладали друг другом в ином мире (мире Прелюдии, то есть в нашем мире девятнадцатого и двадцатого столетий); на сей раз оба они узнают, что его имя там было Лессингем, а ее — Мэри. Они вспоминают о юном кузене Парри, чье имя также Лессингем: странное совпадение. Как водится, воспоминание (сон?) угасает и стирается, но в разуме короля, в отличие от герцогини, не до конца. Даже она испытывает дразнящее чувство, будто забыла и не может вспомнить некую мелодию, всякий раз, когда слышит имя «Лессингем».

26. Мятеж в Марке

Выбрав подходящий момент, когда зимний Волд непроходим, а находящийся в Лорнре Зомбремар король не представляет собой помехи, аккамский король Сагартис, презрев все соглашения, нападает на Фингисволд и осаждает Риалмар. Боденай умело защищается при помощи Ромира и Родера, который по случайности остался зимовать в Риалмаре. Столкнувшись со смертельной опасностью, королева Росма направляет и воодушевляет защитников города своей политической мудростью, храбростью и воинственностью амазонки.

Получив эти известия, король приезжает в Сестолу и оттуда плывет с Иеронимием по бурным морям (830 миль от Сестолы до ближайшего фингисволдского порта, еще пятьдесят миль оттуда до Риалмара).

Валеро, как теперь выясняется, состоял в сговоре с Сагартисом, королем-данником из Аккамы, тайно пообещавшим свою поддержку безумному плану Валеро воцариться в Ререке. Как только король отправляется в плавание на север, этот изменник поднимает в Ульбской Марке мятеж. С безрассудной смелостью он прибывает с этой целью в Аргъянну, где пытается взять в заложники Эммия Парри, своего хозяина и покровителя. Ставший уже семидесятидевятилетним стари-

ком Эммий отважно сопротивляется, но его зарубают люди Валеро в присутствии последнего. Его жена Деянира, бросившаяся между Эммием и убийцами, зарезана заодно с ним. Морвилль, дальний родственник Парри играет здесь свою роль: пытается помочь Эммию, а после его убийства бежит, чтобы сообщить об этом Горию.

Валеро не удается закрепиться в Аргъянне. Горий Парри, чьи шпионы держали его поразительно хорошо осведомленным, внезапно появляется с войском перед крепостью (слишком поздно, чтобы спасти своего дядю; его враги задаются вопросом, так ли уж он этого хотел) и требует ее сдачи. Валеро еле-еле ускользает.

После нескольких тяжелых сражений Горий подавляет восстание (771 г.). Затем он старательно и безжалостно истребляет мятежников, не забывая об интересах людей, дружественных его дому и его главенству в Ререке. Он обезглавливает графа Борка и дюжину прочих видных людей, пощадив и принудив тем самым к послушанию Ольпмана и Гильмана (последний, являясь братом Валеро, старше того на тринадцать лет, находится под особым подозрением), казнит и многих других. Сам Валеро, бежавший в поисках убежища к своему брату Гильману в Кайму, выдан им Парри, который тайно подвергает того ужасной смерти в застенках Лаймака. За эту жестокость недоброжелатели начинают называть лорда Гория Парри (не слишком громко и из-за спины) «Лаймакским Зверем».

Барганакс, приведший во время мятежа в Ульбскую Марку небольшое войско, добивается блистательной победы, приведя в замешательство всех тех, кто до сих пор списывал его со счетов, как развратного дилетанта, бездельника и бабника.

Король с маленьким войском неожиданно высаживается в Аккаме, наносит поражение неприятелю в битве при Эльсмо и отсекает все средства сообщения захватнической армии, которая в итоге оказывается разбита под Риалмаром, а Сагартис погибает.

27. Третья война с Аккамой

Лессингем снискивает славу в битве при Эльсмо и в своей погоне за противником по горам Зеленогорья. Это по рекомендации Гория Парри король взял Лессингема с собой в этот поход. Как Лессингем, так и король втайне ощущают друг к другу загадочную тягу, более тонкую и глубже коренящуюся, нежели простое родство. Глядя на этого молодого человека, король словно в зеркале видит себя самого в период своего возмужания тридцать лет назад.

В 772 г. король разрешает юному сыну Сагартиса Дерксису унаследовать принадлежавший его отцу титул короля-данника Аккамы с тем, чтобы от его имени страной управляла фингисволдская Регентская Комиссия, а также направляет наставников для его обучения. Это приходится не по душе королеве и Стиллису, которые не видят в этом поступке ничего кроме бравады и опрометчивости. Однако Барганакс и герцогиня хорошо понимают существующее у короля правило устраивать испытание даже самому безнадежному и опасному представителю рода человеческого, и высоко ценят как это его правило, так и его самого.

С момента подавления восстания в Марке Горий Парри пользуется властью и высоким положением наместника Ререка.

Бероальд становится канцлером Фингисволда, но остается жить в Крестенайе.

Родер, в знак признания его вклада в защиту Риалмара в 771 г., удостаивается титула графа.

Боденай (семидесяти двух лет) по той же причине становится королевским судьей Фингисволда.

Иеронимий за его морскую службу в этой третьей войне с Аккамой получает королевский орден гиппогрифа, которым доселе награждались только лица королевской крови. Они с Бероальдом и Родером теперь составляют триумвират комиссаров-регентов в Мезрии, пользуясь (как и наместник в Ререке, а Боденай в Фингисволде) вице-королевской властью во время отсутствия короля.

Барганакс вполне доволен своим герцогством и апанажем и правит ими умело и искусно. Он весьма падок на женщин, рисует и пишет стихи, а также часто бывает у своей матери в Мемизоне. Он все в большей степени становится воплощением надежд тех мезрийцев, кто принял короля не столько потому, что иного выбора не было, но потому, что тот завоевал их сердца, а также тех, кто негодовал по поводу того, что от лица короля Мезрией распоряжались адмирал, канцлер и граф. Из этих троих Бероальд наименее непопулярен, будучи по рождению мезрийцем; они же завидуют его власти и побаиваются его сильной руки, его гордыни и хитрости и широко раскинувшихся сетей его разведывательной службы.

Лессингем в сопровождение своего друга и лейтенанта Амори уезжает за рубеж в 772 г. (в возрасте двадцати лет) в поисках приключений в качестве наемного солдата в отдаленных странах света. (Сам он более не появляется в этой книге.)

После сокрушения Аккамы и подавления мятежа в Марке Три Королевства наслаждаются еще пятью годами Мезенциева Мира (772 — 776 гг.).

Книга VI: La Rose Noire

28. Анадиомена[298]

ВЕСНА была в самом разгаре: была середина апреля семьсот семьдесят первого года, и вновь одержанные победы в Ререке и на севере еще оставались свежи в памяти. Лорд канцлер Бероальд находился вместе с королем в Аргъянне по делам, связанным с назначением Статмара королевским управляющим этого города, который после смерти лорда Эммия Парри приобрел статус королевского феода, также как и другие ключевые крепости.

Дома в Земри Ашери подрастала юная сестра канцлера, еще неискушенная в придворных церемониях или в путях человеческих, но отлично подкованная в теоретическом их аспекте благодаря ежедневным рассказам и поучениям доктора Вандермаста, который уже четыре года являлся ее учителем и наставником. Беседы с братом служили подходящей возможностью сделать в этой области первые шаги, пустив в ход принципы доктора наряду со своими собственными призрачными и безыскусными дополнениями к ним; это были веселые перепалки, помогавшие ей упражнять и оттачивать коготки своего разума, а также изумительным образом подпитывавшие и укреплявшие дружбу с ним, кто давно стал для нее одновременно и отцом и матерью. Сельские окрестности были ее площадкой для игр, Антея с Кампаспой — ее подругами, а все живое в лесу, на ферме и в горах — ее знакомцами. До ее пятнадцатого дня рождения оставался месяц или два, и она хорошела день от дня вместе с наливающимся соками окружающим миром, облекаясь полной двусмысленных намеков на пробуждающуюся властность новой красотой, в то время как солнце переходило из Овна в знак Тельца.

Сегодня, в этот теплый весенний полдень, она нежилась в своем секретном месте, у тихой и укромной речной заводи близ Земри Ашери, лежа в сотканном из бледно-желтых шелковых нитей гамаке, подвешенном за шелковые же веревки на ветки одной из вековых ольх, что уходили корнями глубоко в топкие берега заводи. Над ее головой простирался полог их ветвей: голых, но увешанных желто-коричневыми сережками, что, окаймленные золотом

298 Анадиомена — одно из прозвищ Афродиты.

на фоне безоблачной синевы, свисали в каждой ячейке этого переплетения крохотных сучков. То и дело спокойствие нарушал легкий ветерок, заставлявший эти кисточки легонько покачиваться в пряном, чуть солоноватом весеннем мезрийском воздухе. Здесь она отдыхала, и не было рядом никого, кроме деревьев, воды и крошечных полевых созданий да ее собственных девичьих мыслей.

На ее коленях лежала массивная книга ин-кварто, переплетенная в приятно пахнущую кожу, с золотыми застежками, инкрустированными рубинами и жемчугом. Внезапно она взяла книгу, лениво перевернула несколько страниц и начала читать Гомеров «Гимн Афродите», в котором Богиня, охваченная насланной Зевсом страстью к смертному Анхизу, является в свой храм в Пафосе и, заперев сияющие двери, велит Харитам омыть и умастить Ее тело оливковым маслом:

Маслом бессмертным, какое обычно для вечно живущих.

И все это было нарисовано на странице в цветах ляпис-лазури и ламповой сажи, киноварно-красном и розовом с золотом и серебром.

Она лениво читала дальше:

Чудной облекшись одеждой и все превосходно оправив,
Золотом тело украсив, покинула Кипр благовонный
И понеслась Афродита улыбколюбивая в Трою,
На высоте, в облаках, свой стремительный путь совершая.
Быстро примчалась на Иду, зверей многоводную матерь.
Прямо к жилищам пошла через гору. Виляя хвостами,
Серые волки вослед за богинею шли и медведи,
Огненноокие львы и до серн ненасытные барсы.
И веселилась душою при взгляде на них Афродита.
В грудь заронила она им желание страстное. Тотчас
По двое все разошлися по логам тенистым[299].

Фьоринда отложила книгу и с наслаждением откинулась на спину, сцепив руки на затылке. Ее волосы, не заплетенные, но стянутые лентой из золотой тесьмы, сами по себе угольно-черные, но мерцавшие и поблескивавшие небесной голубизной там, где на них падало солнце, ниспадали роскошными темными массами на сатиновую подушку. Сплетения их завитков и прядей расстилались за пределы малиновой ткани подушки, касаясь ее гладких, слов-

299 Гимн Гомера «К Афродите», пер. В. Вересаева.

но вырезанных из слоновой кости, шеи и руки, а один похожий на многоголовую гидру волнистый локон протянул свои вьющиеся кончики, чтобы подобно виноградной лозе оттенить шелковисто-белую кожу в вырезе ее платья, под которым тихонько вздымались и опадали наливающиеся груди.

Чуть позже золотые лучи спустившегося пониже солнца пробились сквозь ветви, озарив ее прекрасное обнаженное горло, столь четко очерченное, что могло бы показаться высеченным из мрамора, если бы не трепещущая пульсация крови в нем. Ее глаза под бахромой черных как ночь ресниц были закрыты, а высокие скулы (также как и некая отстраненность и неуправляемость в линиях ее губ, чуть приоткрытых от участившегося дыхания) напоминали, пусть и отдаленно, как олимпийское может напоминать земное, соответствующие черты лица ее брата. Ее нос, по-соколиному заостренный и с подвижными ноздрями, принадлежал ее настоящему деду по матери Эммию, но вылеплен был куда более изящно, и привлекательность дополняла и приумножала собой гордыню и твердость Парри.

Несмотря на клонящийся к закату день и раннее время года, в воздухе веяло разгорающимся летом; стояла всепроникающая жара, непривычно и невообразимо усиливавшая влажные мускусные запахи весны. Под действием этой жары ее правая рука томно свесилась с края гамака, касаясь юных ростков нарцисса: тугих и упрямых зеленых стрелочек, пробившихся сквозь траву, а перед этим — сквозь пробуждающуюся почву. Уцепившись для начала за них, а потом ритмично и едва заметно перемещая вес своего тела туда и обратно, она принялась раскачивать свое ложе: туда-сюда, без каких-либо усилий, но все сильнее и сильнее. Необычайная жара и эти весенние ароматы наполняли воздух вокруг странно дурманящим ощущением лета, которое все росло и крепло в такт ее раскачиваниям, пока не поглотило всю необъятную вселенную чувств, мыслей и сущностей, и она растворилась, будто кусочек сахара в кубке, в неодолимом и блаженном бессилии.

Когда она, наконец, подняла свои веки, солнце уже садилось раскаленным сплющенным шаром, что залил весь западный небосвод робким румянцем. Не было ни ветерка. Она поднялась, воздушная и изящная в белизне своего шелкового платья, и в ее легкой пружинящей походке появилась доселе не осознаваемая и вновь рожденная мощь. Голоса дневных птиц смолкли, лишь

здесь и там раздавался крик устраивающейся на ночлег водяной курочки или подобная прекрасной песне наяды трель поганки, журчащим потоком высоких нот замиравшая в тишине. Соловьи еще не начали петь свою ночную песнь. Она осмотрелась, будто желая убедиться, что ни один человек не вторгся в ее уединение, затем сняла туфли и чулки. Стоя на краю берега, левой рукой держась за ветку на уровне плеча, а правой подобрав юбку, она окунула ногу в темнеющую воду. От ее прикосновения прохладная вода теплела, будто где-то внутри нее жила способность вызывать летнее тепло даже в этой инертной стихии, пристанище тритона и жука-плавунца, плотвы и форели. Разошедшаяся по пруду рябь от ее ноги нарушила его зеркальную гладь. Она отступила, обеими ногами став на берег. Меж пальцев ее босых ног, ароматный и теплый, выступил из-под травяных кореньев ил.

Солнце село, и вечерняя заря быстро угасала на западе, а за восточными холмами уже разливалось сияние восходящей луны. Внезапно показалась и сама холодная дева-луна. Но та неземная теплота все росла и крепла в своей весенней новизне, в своей летней глубине и мощи. Целиком поглощенная всем этим, Фьоринда смотрела то вверх, то вокруг себя, на залитые луной и погруженные во мрак землю и небеса, на почву и сонные воды у своих ног, на тысячи очей ночи, открывавшихся одно за одним. Затем она рассмеялась про себя — очень тихо, беззвучно. Вся застывшая в преклонении земля, казалось, рассмеялась вслед за нею и открыла ей свои объятия.

Впервые самостоятельно, при помощи одной лишь служанки-луны, начала она приводить в порядок свои волосы, заплетя их, а затем свернув и уложив в высокую прическу. Обнаружив, что ее ленты для волос недостаточно, она сняла свой белый шелковый пояс с перламутром и обвязала им тяжелые локоны, приспособив две броши со своей груди в качестве заколок. Она склонилась над водой, чтобы посмотреть на себя, но, озаряемая луной из-за спины, не смогла разглядеть ничего, кроме темного силуэта на фоне тусклосинего застланного тоненькими веточками неба да мерцания проступавших в глубине звезд. Обернувшись, она увидела на сучке березы в дюжине шагов от себя крохотную сову, чья фигурка четко вырисовывалась на фоне луны. Внезапно та взлетела и беззвучно опустилась на ее протянутое запястье: невесомое, нематериальное создание, чьи когти ничуть не ранили ее нежную кожу, причиняя лишь подобие той сладкой боли, что только разжигает наслаждение. Она поднесла руку к лицу, чтобы заглянуть в ее круглые горящие глаза,

но та отвела взгляд. Подрагивая, сидела она на ее запястье, и от этого по ее руке, а потом и по всему телу, распространился легкий трепет. Другой рукой она погладила перья совы, а потом поднесла ее к своим губам. Нежно, словно голубь свою подругу, принялась та ласкать ее своим клювом, дрожа, будто молодой и неопытный влюбленный, впервые целующий свою возлюбленную, а потом неожиданно упорхнув на бесшумных пушистых крыльях. В этот миг она поняла, что подле нее стоит госпожа Антея, разглядывая ее сверкающими желтым огнем глазами и держа перед нею зеркало, обрамленное тремя рядами лунных камней, что сияли собственным светом.

Фьоринда неподвижно взирала на то, как, освещенное волшебным сиянием камней, ее собственное лицо смотрит на нее из зеркала: лицо, только что пробудившееся и чуть удивленное, и, быть может, еще не до конца расставшееся с дремой. Глаза — огромные, миндалевидные, чуть раскосые и чуть отличающиеся друг от друга, чьи глубины беспрестанно переливались все новыми оттенками морской волны, но чей прелестный разрез оставался неизменным, — придавали ее тонким черным бровям вразлет, прекрасному гладкому лбу над ними, горделивым и безжалостным очертаниям носа, уст и щек очарование новизны и безвременности, вечности. Она все смотрела, но зеркало вдруг исчезло, и перед ней было более не ее лицо, но лицо Антеи, взиравшей на нее с неким трепетом и изумлением. Казалось, в этом стоявшем перед нею создании воплотилась, быть может, тысячная часть ее самой, а в Кампаспе (которая ждала поодаль, готовая помочь ей с ее мантией) — другая, совершенно иная, тысячная часть. Закутавшись в мантию, поскольку мезрийская ночь вернулась в свое привычное русло и от реки подул прохладный ночной ветерок, она сказала Антее:

— Между мною вчерашней и Мною сегодняшней больше отличий, нежели между вами в вашей девичьей шкуре, госпожа Пушистая Кошка, и вами же в меху и когтях.

При звуках ее голоса вся апрельская ночь словно затаилась, прислушиваясь.

Но Антея при этих словах, отбросив всякие приличия, принялась скакать вокруг своей владычицы в своем рысьем облачении, ласкаясь к ней, катаясь и выгибаясь, трясь о нее головой, обнимая ее лапами и целуя ее ступни и щиколотки, покуда волосы Фьоринды не растрепались и не упали ей на плечи, а она сама не рухнула на гамак, обессилев от хохота. Кампаспа, будто

разрываясь между радостью и ужасом, приняла свое обличье водяной крысы и, усевшись на лист лилии посреди реки, наблюдала из этого безопасного убежища за окончанием разгула чувств.

Фьоринда поднялась, подозвала их к себе и, когда те вновь приняли свои подлинные обличья, велела им привести в порядок свое платье, вернув на место пояс и броши, а затем завязать ее волосы лентой из золотой тесьмы. Когда это было сделано, они смирно последовали за ней домой через покрытые росой поля, белевшие в лунном свете.

— Люди зовут ее звездой Артемиды, — прошептала, помолчав, Кампаспа, глядя на лик луны.

Фьоринда откинула голову в слегка пренебрежительном, полунасмешливом-полуласковом беззвучном смешке.

— Кто такая Артемида, — промолвила она, — как не моя Сестра? Часть Меня?

— И Паллада, — добавила Кампаспа, когда, подобно бестелесной тени, мимо проплыла в воздухе сова.

— И она тоже. Она тоже часть моей души.

Они прошли еще, наверное, сотню шагов в молчании, когда Антея спросила, очень тихо, сверкнув заостренным белыми зубами в лунном свете:

— А Геката?

— Тоже. Но когда в Моей крови проснется она, настанет время псам выть, и даже горгонам придется прятать свои глаза и молить, чтобы тьма укрыла их.

Ученый доктор дожидался у ворот замка. Поцеловав ее руку, он внимательно взглянул ей в лицо, а затем поцеловал ей руку еще раз.

— Я рад, — сказал он, — что ваша милость снова дома.

В устремленных на него глазах Фьоринды плясало тихое веселье, будто она наслаждалась неким тайным знанием, которое никто на свете не мог с нею разделить, кроме одного лишь него да этих нимф.

— Но к чему эта церемонность насчет «милости», достопочтенный господин? — спросила она.

— Я полагаю, — отвечал Вандермаст, — ваша милость отныне пробудились к своему истинному Я. И разумнее всего обращаться к Вам соответственно.

29. Астарта[300]

ЗОЛОТОЙ век Мезенциева Мира воцарился на земле, словно убаюкивая ее прилетевшими из Зайаны, Мемизона или Лорнры Зомбремар ветерками.

Более всего это ощущалось в Мезрии и Риалмаре. Но и в погрязшем в раздорах Срединном Королевстве мир расстелил свой ковер из маков, под прикрытием которого наместник путем твердого управления, щедрости и хлебосольства, а также путем усиления своего влияния на каждого стоившего его внимания человека (возлагая на тех обязательства перед собственной персоной или угрожая им своей осведомленностью о каком-либо их тайном прегрешении, которое им менее всего хотелось видеть преданным огласке), незаметно, но с терпением и тщанием, укреплял свое могущество в Ререке.

Король со своей стороны придерживался своего прежнего обычая беспрестанно разъезжать по стране, так что в любом уголке Трех Королевств его либо недавно принимали, либо ожидали в самом скором времени, либо сию минуту вкушали радость от его присутствия, как, наверное, и птицы на насесте ощущают под своими ногами надежность и мощь своего дерева. Занятия его часто состояли из увеселений и забав, сдобренных философскими спорами и такими королевскими развлечениями, как наблюдать за охотящимися на журавля, цаплю и дикого лебедя кречетами, или самому охотиться на волка и медведя, но при всем при этом главными его занятиями являлись надзор и командование подготовкой своих солдат во всех военных искусствах, ловкости и выносливости. Наиболее приближенные из его советников, справедливо полагая, что аппетит к подвигам приходит во время еды, обратили внимание на юного лорда Лессингема, которого он снарядил в отдаленные заморские страны узнать об их всевозможных сильных сторонах и богатствах, а также (в первую очередь) о каких-либо полезных и неизвестных доселе способах ведения войны, которые там могли изобрести. Через пять лет он должен был вернуться и доложить ему обо всем этом. Однако в это же время в его настроении им начала чудиться некая предвечерняя вялость, за которой у берсерков и переменчивых людей обычно следуют приступы ярости и неистовства и кровопролитие. Вместе с тем они хорошо понимали, что, несмотря на его бездеятельность и кажущуюся углубленность в себя, его проницательный ум был, как и встарь, начеку, замечая каждый поворот, каждое течение в окружавшем

300 Астарта — греческий вариант имени шумеро-аккадской богини любви и власти Иштар.

его мире; также они не сомневались (а даже если бы и так, разговора с королем было достаточно, чтобы развеять все сомнения, как ветер и солнце развеивают туманы), что, какой бы оборот ни приняли эти изобильные мирные времена, можно было бы с тем же успехом глотать раскаленные угли, как и затевать что-либо дурное в надежде, что король ничего не заметит или закроет глаза на подобные проделки.

Майским утром семьсот семьдесят четвертого года, незадолго до того дня, когда леди Фьоринде должно было исполниться восемнадцать, они с канцлером выехали прокатиться перед завтраком вдоль морского берега Корвиша, к югу от Земри Ашери. Был отлив, и весь лежавший по левую руку от них заиленный южный рукав Бишферта двух или трех миль в ширину превратился в сушу: твердый и ровный песок, белый, будто мраморная пудра, по которому они целых шесть миль гнали своих лошадей до самой запруды, потом остановились и повернули обратно. Теперь можно было видеть, как вдали перед ними и чуть справа подступает прилив, а боковой восточный ветер взбивает на гребнях волн шапки пены. Лазурное небо над головой испещряли перья белых облаков; береговая линия за белыми песчаными просторами побелела от пены, а уходившие вглубь суши склоны холмов слева от них подернулись сероватой дымкой оливковых деревьев. Впереди синел на своем мысу Земри Ашери, темный на фоне более бледных лазурных оттенков высившихся в северной дали гор, окаймленных золотым сиянием там, где солнце озаряло из восточные склоны.

Они ехали неспешно, и после недавнего продолжительного галопа дыхание лошадей облачками плыло в прохладном утреннем воздухе. То и дело они останавливались, чтобы полюбоваться с седловины изумрудными глубинами какого-нибудь морского залива, на дне которого выступала иногда нефритовая скала, населенная моллюсками-блюдечками и актиниями, которые или дремали блестящими клубками алого или темно-коричневого сургуча, или бодрствовали, раскинув свои похожие на цветки щупальца в надежде, что к ним на завтрак пожалуют рачки или какая-нибудь другая мелочь. А из трещин в этих затонувших скалах простирали свои вееры и плети водоросли: темно-зеленые, коричневатые, желтоватые и рыжевато-красные, и в их тени и пронизанных солнцем тихих водах сновали крохотные переливчатые рыбки

или проползал боком краб. Будучи уже недалеко от дома, брат и сестра наслаждались наблюдением за одним из этих морских садиков нереид, когда заметили приближавшегося к ним через оливковые рощи всадника. У него была посадка человека, который не может вспомнить, когда впервые сел верхом на коня, словно тела его и его коня слились, как у кентавра, воедино.

— Доброе утро, господин мой Байас, — промолвил канцлер в ответ на приветствие. — Я вот уже три недели все собирался заехать повидать вас, нашего ближайшего соседа и старого доброго знакомого. Но у меня было ужасно много дел.

Оторвавшись от созерцания воды, Фьоринда повернулась в седле, чтобы получше того рассмотреть. Почуяв ее кобылу, его могучий конь вскинул голову, фыркнул, заржал и принялся бить землю копытом. Байас ударил его по губам роговой рукояткой своего кнута и, если бы не его искусство наездника, несомненно, оказался бы за это сброшен наземь и затоптан, но после недолгой борьбы усмирил своего скакуна.

— Я направляюсь в Крестенайю, господин канцлер, — сказал он, вновь устремив глаза к ней, загадочным силуэтом замершей в солнечных лучах. — У меня дело к вашему оружейнику, о котором вы упоминали. Надо починить мой лучший меч. Зазубрился, когда меня вызвал на дуэль один бахвал, несколько недель назад, еще до того, как я приехал сюда, на юг.

— Вы нанесли ему больший ущерб, нежели мечу?

— Ну, это уж наверняка. Я слышал, он умер.

Бероальд сказал:

— Нам по пути. А когда представится более подходящая возможность, вы должны заехать к нам в Земри Ашери.

— Охотно, — отозвался тот, позволив своему коню приблизиться к Фьоринде справа. — Не бойтесь, госпожа моя, он своего хозяина знает.

Она ответила едва заметным и чуть презрительным движением головы, глядя не на него, но прямо перед собой, меж ушей своей кобылы. Красота ее лица, озаренного утренним солнцем и подрумяненного ветром, словно металась меж двух взаимно противоречивых крайностей: прелесть и миловидность оборачивались твердой как алмаз непоколебимостью и дьявольской гордыней; уста ее были словно омут, где закрытыми бутонами лотоса под солнечным оком дремали нежные невинные мысли и причудливые фантазии,

коренившиеся, однако, глубоко под этой сверкающей и спокойной гладью, в крепком эликсире тьмы, что потрясает до глубины души.

Байас заговорил:

— Ваша светлость забыли оказать мне честь представить нас.

— Прошу прощения. Я и забыл, что в этом есть нужда. Это моя юная сестра.

— Ваша сестра? — Байас склонился, чтобы поцеловать протянутую ею руку в малиновой перчатке. В этом его движении, как, впрочем, и в любом другом, сквозила некая обаятельная и ленивая надменность, врожденная, а не приобретенная при дворе. — Из того, что я о ней слышал, — обратился он к канцлеру, — я полагал ее еще ребенком. Но вы только посмотрите! Вы хорошо ее прятали, друг мой.

Некоторое время они ехали молча, и Байас все не сводил с нее глаз. Когда, обернувшись, она, наконец, встретилась с ним взглядом, он радостно рассмеялся:

— Что же за кровопийца и тролль ваш брат, раз продержал вас вдали от всего мира так долго?

Едва приподняв брови, что и прежде придавали ее лицу выражение легкого удивления, она сказала:

— Меня вполне устраивает мое окружение, благодарю вас.

— Он весьма скрытный человек. Я уже давно знаю и его, и его повадки. Как так вышло, что вы ни разу не почтили нас своим присутствием при зайанском дворе?

— Однажды вы, быть может, доживете и до этого.

— Время еще есть, — беззаботно подхватил ее брат. — Чрезмерная торопливость никогда не была свойственна нашей семье.

После очередной паузы Байас мягко проговорил, обращаясь к ней:

— По моему разумению, жизнь недостаточно длинна, чтобы спускать парус, когда дует попутный ветер. Хотя, по правде говоря, что касается меня, то я по натуре тороплив, — он помолчал, разглядывая ее повернутое к нему в профиль лицо. — Сейчас я как раз в торопливом настроении, — прибавил он.

Нечто не вполне враждебное, среднее между пониманием и насмешкой, сверкнуло в уголках ее губ, когда она очень ровным голосом заговорила:

— Тогда нам не с руки далее вас задерживать, господин мой. Лошади наши выдохлись, и нынче утром я больше не собираюсь их гнать, — она оглянулась на своего брата, натянувшего поводья.

— Что ж, — произнес Байас, — в вас говорит настоящая любезность, и так я и поступлю.

Они остановились. Когда их взгляды встретились, в его глазах промелькнула некая решимость, под влиянием которой напряглось все его тело и (будто это было заразно) тело его могучего скакуна.

— Но, поскольку здесь наши пути расходятся, а промедление сродни провалу, — продолжал он, переводя взгляд с нее на Бероальда, а потом обратно на нее, — я сперва смиренно попрошу у вашей милости вашей руки.

Если не считать легкого движения сардонически поднятых бровей, она ничего не ответила, но лишь продолжала очень спокойно наблюдать за ним.

— По-вашему, это чересчур поспешно? — спросил Байас, заметив, как она на него смотрит: с интересом, задумчиво, отстраненно, точно так же, как недавно смотрела со скалы на рыбок и вороватых крабов в прозрачных глубинах морских вод. — Но если бы вы видели моими глазами, ощущали моей кровью, вам бы так не показалось. Нет, милая госпожа, не торопитесь, прошу вас. Но также прошу, ради моего спокойствия, не тяните слишком долго.

— Вашей светлости лучше было бы спросить у моего брата: он мой опекун. Я еще не достигла совершеннолетия. К тому же, как он только что вас уведомил, у нас в семье нет тех, кто был бы склонен принимать поспешные и необдуманные решения.

— Надеюсь, я вас не оскорбил?

Фьоринда улыбнулась сумрачной и двусмысленной улыбкой, тронувшей ее уста и ноздри, но ее глаза по-прежнему были пристально и задумчиво устремлены на него.

— Оскорбили тем, что желаете на ней жениться? — промолвил канцлер. — Это самый лучший комплимент, который он мог бы сделать тебе, сестрица.

— Разве? — а потом, обращаясь к Байасу: — О, ничуть не оскорблена. Удивлена, пожалуй. Пожалуй, несколько позабавлена. Как жаль, что вашей светлости придется ожидать ответа на столь естественную просьбу.

— Восхитительная и несравненная леди, не гневайтесь на меня. Я подожду. Но, заклинаю вас, не слишком долго.

— Это зависит от ответа. Если он будет положителен, отсрочка действительно может показаться вам слишком долгой, а если наоборот, то вы сможете благодарить меня хотя бы за нее. Мы ведь еще встретимся? — промолвила она, подавая ему руку.

— Если бы я думал, что этого не случится, — ответил он, целуя ее и держа в своих руках дольше, чем необходимо, — Бог свидетель, я бы заколол сам себя.

С этими словами, будто не в состоянии больше удерживать крышку на кипящей кастрюле, Байас вонзил шпоры в бока своего коня и тот, встав на дыбы, взмахнув гривой и простучав копытами, умчался вместе со своим седоком.

После непродолжительного молчания, когда они, вновь оставшись одни, продолжили свой путь, леди промолвила:

— Такого я менее всего от тебя ожидала, братец. Наводит на странные мысли.

— Ты о чем?

— Предложил меня этому своему дружку, будто какой-нибудь товар, не знаю уж, что посулив ему вдобавок за моей спиной, а у меня разрешения не спросил.

— Ты заблуждаешься, я никогда при нем о тебе и не упоминал.

— Странно. Если это так.

— Такова уж его натура: постоянно спешит, летит сломя голову. Но при этом обладает и множеством существенных достоинств, да и в стране занимает высокое положение.

— Неужто он думает, я так хочу выскочить замуж, что ему достаточно лишь свистнуть, и я прыгну к нему в постель?

— Брось, не горячись. Мужчине вполне простительно знать, чего он достоин.

— Как и женщине. Только по-моему он лишь о своих достоинствах и думает.

Иронично наморщив нос, Бероальд произнес:

— Прежде, чем мы расстались, ты подобное легкомыслие в нем остудила.

После очередной паузы она сказала:

— Я все еще подозреваю тебя в сговоре с ним, братец. По твоим речам. По твоим восхвалениям.

— Да ведь этот человек мой друг. Друзья бывают полезны.

— Так вот для чего нужна дружба! Стало быть, и сестры тоже созданы приносить пользу?

— Не стану на это отвечать.

Их взгляды скрестились в веселой схватке, и то, что жило в уголках уст Фьоринды, неясной тенью скользнуло и по каменным губам канцлера.

— Скажу лишь, — продолжил он, все тем же холодным, бесстрастным, рассудительным тоном, — что, если таковой будет твоя прихоть, то, признаю, это меня не рассердит.

— Этот твой друг… и сколько же лет?

— Уже лет пять.

— Я имею в виду, сколько лет ему?

— О, думаю, он моего возраста, год или два туда-сюда.

— Значит, как и следовало ожидать, он уже достаточно взрослый, чтобы знать, что девичьей руки следует добиваться, а не нагло требовать.

Помолчав, она добавила:

— Словно кружку эля в таверне.

Около мили они проехали, не произнеся ни слова, а лорд Бероальд все наблюдал за ней. Когда их глаза, наконец, встретились, в ее взгляде можно было прочесть, как он словно бы отстранилась от него на расстояние вытянутой руки, будто, поразмыслив, поняла, что они более не играют заодно, и у него теперь своя игра, а у нее своя. Бероальд улыбнулся:

— Забудь о нем.

— Ага! Чтобы забыть, нужно запомнить.

— Я расцениваю его лишь как орудие в наших руках. Не более того. Забудь его.

— Увы бедному орудию! Выходит, между нами есть хоть что-то общее.

— Я не позволю тебе так думать.

— Да? Братец, а ты искусный шахматист, но когда пытаешься сделать меня своей пешкой…

— Это грязная ложь, и ты это знаешь. Какое же это было бы искусство, если бы я не понимал разницы между пешкой и ферзем? Как в ценности, так и в манере обращения.

— И вправду! Только я не собираюсь присутствовать на твоей политической доске в каком бы-то ни было качестве, чтобы ты мной распоряжался. Я, — промолвила она, погружаясь в задумчивость, изящно склонившись, чтобы погладить шею своей лошади, — начинаю ощущать в себе потребность распоряжаться собою сама.

Вечером того же дня, зайдя пожелать спокойной ночи, Бероальд сказал ей:

— Я дам тебе обещание, в котором до того неудачного инцидента этим утром, как мне казалось, не было необходимости. Оно таково: никогда не использовать тебя, кроме как по твоему собственному предложению и согласию, в своих личных целях.

В глазах Фьоринды сверкнул огонек скепсиса и насмешки в сочетании с любовью.

— Благодарю, милый братец, и пускай эта сделка будет взаимной. Только не сочти меня невежливой, если я выражу свои опасения, что тебе это обязательство может оказаться сложнее исполнить, нежели мне.

— Брось, давай будем справедливыми друг к другу. Разве я не относился к тебе ровно так же с тех самых пор, как ты начала разговаривать?

— Думаю, — сказала она, играя пальцами, — что теперь это покажется тебе не столь простым.

Потом, поднявшись на ноги и спокойно обвив руками его шею, она промолвила:

— Мы поняли друг друга?

— Полагаю, что так, — сказал канцлер; так обращался бы к Сфинксу софист.

Говоря это, недоверчиво скривив свои тонкие губы, он наблюдал, как непостижимые тени, неведомые гибельные и блаженные звезды зажигаются и гаснут в пучинах глаз его юной сестры.

— Хорошо, — сказала он и поцеловала его.

Засмеявшись, они взялись за руки и пожелали друг другу спокойной ночи. Он смотрел, как она поднимается по сияющей лестнице; красота ее движений словно в контрапункте сплеталась с лучами светильников и колеблющимся пламенем свечей. Затем все с той же недоверчивой усмешкой на губах он удалился в свой кабинет.

Сватовство лорда Байаса, начавшееся столь поспешно, подгоняемое все более неистово и с все большим нетерпением и раздражением по мере того, как более явным становился танец, который его возлюбленная вознамерилась с ним станцевать, тянулось все лето. В конце концов (как все подозревали, в большей степени желая угодить своему брату, нежели из какой бы-то ни было симпатии к персоне своего ухажера) она приняла его предложение. Несколькими днями спустя (в начале сентября) они поженились в Крестенайе со всеми приличествующими их благородному положению ритуалами и церемониями, после чего, сопровождаемые почестями и ликованием, приехали в Масмор.

По истечении месяца они начали принимать гостей, и все весьма завидовали Байасу из-за того, что у него такая прелестная и милая невеста. Иные, обладая более пытливыми глазами и проницательным умом и обратив внимание на атмосферу в доме, почувствовали некую напряженность несмотря на показную веселость. Также было замечено, что Байас и его супруга редко принимали приглашения от соседей, но вращались главным образом в своих кругах, и ее, в частности, никогда не видели в Зайане. Наиболее осведомленные судачили, что здесь замешана рука канцлера, намеревавшегося при помощи Байаса продолжать свою прежнюю политику изоляции. Как бы там ни было, именно масморской прислуге было легче всего получать сведения обо всем этом, а также о кое-каких других мелочах. И вот, когда подходила середина ноября, среди них начали распространяться веселые пересуды не только о том, что ее милость с некоторых пор спит в личных покоях, но и что ее супруг зачастую отправляется в изгнание в свою собственную постель на несколько ночей кряду.

Когда эти сплетни достигли, наконец, ушей Байаса, он чрезвычайно обозлился, приказав схватить трех признанных виновными в подобной болтовне девиц, окунуть их в пруд, потом взять ножницы и хорошенько обкорнать их платья, выставив на всеобщее обозрение их голые бедра, далее окончательно их обесчестить, обстригши им волосы, и в таком вот плачевном состоянии отправить восвояси. То ли из опасения, что эти слухи имели более высокопоставленный источник, нежели уста, их обронившие, то ли из злобы, питаемой куда более глубинными ключами, он под каким-то смутным и неясным предлогом послал за Антеей и Кампаспой. Когда эти девицы предстали перед ним, он говорил с ними весьма грубо и злобно, называя их парой подлых па-

разиток и зубоскалок, чьи насмешки из-за его спины (так как он был неграмотен) он не намерен больше терпеть, и потому велит им в течение часа выметаться прочь из замка и более в нем не показываться. «И та, что ослушается, лишится за это своих волос. Что, щечки-то покраснели, а? И не надо думать, будто все ограничится короткой и поверхностной стрижкой, какой оказалось достаточно нынче утром. О нет, вы, леди, будете удостоены самого почтительного обращения: сначала вас остригут наголо, а потом обреют бритвой. Не стоит бояться, просто сядьте с удобством и расслабьтесь, как того требует процедура бритья, и сидите смирно, пока вас со всем тщанием не обреют целиком и полностью. Поразмыслите над этим. И если не хотите, чтобы вам оказали эту столь нужную вам услугу, научитесь заниматься собственным делом и слушаться моих приказов. А теперь убирайтесь. Хотя нет, шалуньи, подойдите-ка на минутку сюда, есть еще кое-что. Не тешьте себя тщетной надеждой, будто ваше благородное происхождение убережет вас от визита цирюльника. Сколь бы высокородными вы ни были, клянусь вам своей честью мезрийского лорда, так все и будет. Только покажитесь здесь, и будете острижены, намылены и тщательно обриты, так что станете гладкими как две морские свиньи. Если не считать ресниц — ведь я не хочу показаться жестоким, — на вас не останется ни единого волоска».

Леди Фьоринда не подала виду, будто обратила внимание на эту неуместную жестокость по отношению к своей прислуге и увольнение своих фрейлин, как будто хотела, чтобы все подумали, будто она считает за лучшее позволить событиям пока что течь своим чередом и не привлекать дальнейшего внимания. Она и в самом деле претерпела лишь незначительные неудобства, ибо Антея с Кампаспой, приняв привычные для них обличья зверя и птицы, могли при необходимости в любое время дня и ночи проникать в Масмор. Нимфы едва ли сомневались в душевном спокойствии их повелительницы, ибо (как могли бы они простодушно спрашивать себя) как может Та, что заключает в себе вечный и бессмертный мир, Та, для которой и создаются все миры, быть несчастной? И несмотря на все это, они почуяли беду. Дни становились короче, природа увядала, и даже в этих теплых приморских землях Южной Мезрии дыхание ночи временами обжигало почву заморозками, и не раз госпожа Антея облизывала губы и, как огонь в очаге начинает ярче гореть в мороз, так и вертикальные щели ее зрачков разгорались все более ярким желтым пламенем. Не раз пугала она свою сестру, облачившись

в свое рысье одеяние и гоняясь за ней забавы ради. И, будь храбрый как лев Байас выкован из более податливого металла и обладай он обычной в людях склонностью подчиняться опустошающему сердце прикосновению страха, он, вероятно, тоже был бы испуган, не однажды и не дважды наблюдая со своего одинокого ложа этими ночами угасающего года, в студеный час между полночью и рас-светом, как эти звериные глаза смотрят на него из молчаливой темноты. На третий раз, незадолго до святок, он сказал Фьоринде за завтраком, что, если она по каким-то своим причинам и предпочитает чаще проводить ночи со своей горной кошкой, нежели с ним, он сам подобных предпочтений не разделяет, и если она не пообещает посадить ее на цепь и ночами составлять компанию ему, как и прежде, как и надлежит делать жене, то он без дальнейших предупреждений разделается со зверем своим охотничьим ножом. Леди выслушала его, обратив на него холодный взгляд своих зеленых глаз, похожих на замерзшие камушки на морском берегу в лунном свете. Она ответила:

— Я слышала такую поговорку: «Сначала удостойся, потом проси». Но к вам, господин мой, подобная сентенция неприменима, как мне стало понятно с самого начала. Тем печальнее.

С этими словами она вышла из-за стола.

Позже, в полдень того же дня, когда Байас уехал по каким-то делам и не ожидался обратно до ужина, леди Фьоринда прогуливалась в одиночестве по окраине тех обширных дубрав, что тянутся вдоль холмов от Масмора на юг. Здесь она повстречалась с ученым доктором. Обменявшись приветствиями, они постояли молча. Глаза Вандермаста из-под кустистых пучков белых бровей всматривались в ее лицо в неверном и уже быстро меркнущем свете под деревьями.

— Ваша милость гуляет одна? — вдруг проговорил он. — Где же мои маленькие ученицы?

— Вам не следует задавать мне вопросы, на которые вы уже знаете ответ.

— Да, я неправильно выразился, ибо мой ум всецело поглощен делами вашей милости и потому забывает, что иногда необходимо уделять внимание и непредвиденному. Я знаю, что они в Лорнре Зомбремар, так как сам видел их там нынче утром посредством особого кристалла. Но я хотел бы знать, в чем дело.

— Я отослала их после завтрака, велев некоторое время побыть в своем истинном обличье, находясь то там, то в Мемизоне, и не возвращаться в каком бы-то ни было виде, пока я за ними не пошлю.

— Выходит, вы совсем одна?

— Совсем одна с моим супругом. Пришло время, когда нам лучше быть одним.

Доктор Вандермаст пристально посмотрел на нее. Потом он промолвил:

— Res nullo modo neque alio ordine a Deo produci potuerunt, quam productæ sunt: Вещи не могли быть произведены Богом никаким другим образом и ни в каком другом порядке, чем произведены[301]. Однако моему ограниченному и лишь отчасти способному к постижению вещей интеллекту это представляется абсурдным и до немыслимого иррациональным. Я имею в виду заинтересованность вашей милости в этом Байасе.

— И впрямь, очевидно, — сказала она, изменившись в лице и искривив губы, — что, пусть это и человек высокого происхождения и отчаянной храбрости, ума у него маловато, за исключением одной его стороны, да и тогда он самый заурядный человек и едва ли заслуживает столь священного дара: это поработитель женщин, которого несчастливая случайность свела с той, кого ему не поработить. Думаю, чем ближе его узнаешь, тем более невыносимым он становится.

— Дорогая и досточтимая Госпожа, — промолвил доктор, — будучи вашим слугой все то время, пока бьется во мне жизнь, и зная вашу милость, быть может, лучше, чем временами знаете вы сами себя, я даже не думаю об этом. Ибо для вас не существует ничего невозможного. Но когда я размышляю об этих простодушных, кротких и безвредных детях, о том унижении и жестокостях, которым он подверг их, отдав их стригалю будто бессловесных ягнят, а теперь намеревается совершить подобную мерзость над моими милыми нимфами…

— Фи! — прервала его она. — Это незначительные мелочи. Но, раз уж вам так интересно, все окончилось хорошо. Господин канцлер по моей просьбе приютил их в Земри Ашери, и когда они смогут снова показываться на людях, возьмет их в услужение. У меня есть и другие дела, более серьезные и значимые, чем эти. Что и подтвердится в самом скором времени. И если вы

301 Б. Спиноза, «Этика», ч. I, «О боге», теорема XXXIII (более точно «Res nullo alio modo…»).

в этом сомневаетесь, досточтимый господин, то ваша любовь ко мне не столь велика, каковой заслуживали бы наши внимание и дружба по отношению к вам.

Вандермаст промолчал. Минуту леди пристально и молча смотрела не него. Бесцветное холодное сияние садившегося зимнего солнца, невидимого из-за густых облачных гряд, было еще достаточно ярким, чтобы, всматриваясь в нее, в ее лицо, он в эту самую минуту четко различил каждую его черточку: ее нежные как у голубки глаза, застывший в ее разлетавшихся изгибом птичьих крыльев бровях извечный вопрос, который, казалось, не требовал ответа, а в обводах ее носа — ощущение критичного превосходства, что судит безапелляционно, и всепоглощающую силу, безмятежно дремавшую в каждой изысканной линии (высеченной Тем, кто вырезал также и прекрасный цветок лилии) переносицы, кончика, крыльев и ноздрей, открывавших взору работу мысли. Ее губы были слегка собраны, словно сомнения уступали в них место несгибаемой воле; их уголки в эти напряженные мгновения кривились мрачными закаленными крючьями, выкованными из чуть печальной мягкости; грудка горлицы оборачивалась адамантом под воздействием силы того непреклонного духа, что проглядывал в очертаниях ее нижней губы над тонким и изящным подбородком. Все чудеса мира, вся обыденность небес, казалось, застыли на этих губах в бесконечном созерцании, и любовь и презрение, и квинтэссенция беззвучного олимпийского смеха, и преисполненные сострадания и невыразимой грусти сердца, что будут биться, невидимые, среди всей этой лучезарности, великолепия и красоты до скончания веков всех миров, замерли там, словно погруженные в дрему и в печаль, какую могли бы испытывать Боги.

— Разве не заведено у Тех, что хранят необъятные небеса, — заговорила она, и голос ее был столь же мягок, как сгущающиеся сумерки, — давать свободу действий всем, кто о ней попросит, дабы никто не погиб втуне? Но всегда приходит час, когда нужно принять решение. Иначе сама вечность распадется на никчемные осколки.

— Неисповедимы пути Ее, — тихо и медленно проговорил старик после долгой паузы.

— Ваши проницательность и мудрость, — отозвалась она, — никогда меня не разочаровывали.

В этот зимний день на ней была просторная и богатая мантия из черной собольей шкуры, скрепленная на горле застежкой из чеканного серебра. Она расстегнула ее, и на безвременный миг перед его взором предстала вся Ее красота, что своим великолепием способна затмить небеса и испепелить все миры; затем, запахнув мантию, она удалилась туда, где проглядывал из-за деревьев Масмор.

Оставшись один, престарелый доктор стоял без движения, временно ослепнув, не сознавая, где находится, как стоит в непроглядной тьме человек, чью свечу неожиданно задули; но, несмотря на эту тьму, Вандермаст был восхищен тем видением, которого никогда прежде (как говорил он себе) не удостаивался взгляд смертного.

Два дня спустя, в канун Нового Года, когда ужин в Масморе был окончен и гости разъехались, леди праздно сидела за чтением у огня из кедровых поленьев в своем будуаре, что выходил в главный зал. Слева от нее, на трехногом столике из орехового дерева, инкрустированном слоновой костью, перламутром и серебряными арабесками, в массивном хрустальном канделябре стояли девять свечей, дававших мягкий и неяркий свет, при котором приятно читать. Их свет, а также свет лампы и огня в очаге, и порожденные ими отблески, что сияли в глубинах двух больших как яйца королька карбункулов в ее ушах и искрились на гранях кулона из какого-то темного как кровь камня, что дремал меж ее грудей, — все это казалось нематериальным, обретая реальность лишь как часть нее, часть ее грациозного тела, видимые глазу эманации духа, наполнявших это тело, в котором сочетались (сливаясь воедино, как покой и неистовая разрушительная сила соединяются в центре огромного водоворота) крушение миров и никогда не тускнеющая и желанная каждому миру вечность.

Байас, по-видимому, охваченный досадой и нерешительностью, расхаживал по комнате; его взор то и дело возвращался к ней, как мотылек к пламени свечи.

— О чем это вы с Мелатом беседовали? — спросил он наконец, остановившись напротив нее, спиной к огню.

— Обо всяких милых безделицах, — отозвалась она, не поднимая глаз.

Он подошел и уселся на подлокотник ее кресла.

— Поговорите немного и со мной.

— В таком случае, прошу вас, начинайте, — сказала она, продолжая читать.

— Будет приятным разнообразием, если вы хоть раз сделаете так, как хочется мне, — произнес он; потом, заметив, как она насмешливо покачивает головой, выхватил у нее книгу и швырнул ее на пол. — Тогда бы мы скорее поладили.

Фьоринда встала, пробормотав:

— О, сколько еще? Сколько? Это доведет меня до изнеможения.

— Что вы имеете в виду под «этим»?

— Если хотите получить ответ, отпустите мою юбку.

— Тогда сядьте, — сказал он, отпустив ее и садясь в ее кресло. — Вот сюда.

Она осталась стоять, глядя ему прямо в глаза.

— Ладно, — произнес он, поднимаясь и оказавшись лицом к лицу с ней. — Вам нравится стоять, потому что вы выше обычного роста? Тем не менее, не советую смотреть свысока на меня.

— Лучше не прикасайтесь ко мне.

— Я уже две недели этого и не делал. Это тоже было бы приятным разнообразием.

— Для вас может быть. У нас в этом отношении разные вкусы.

Тут он схватил ее. Его уста принялись неистово целовать ее в горло, в глаза, в губы и между грудей, а его руки алчно вцепились в ее тело, в то время как она стояла в его объятиях, будто мертвая, снося все это, инертная, холодная и безответная. Вскоре он отпустил ее, порывисто отвернулся и, терзаемый этим охватившим его плоть бешенством, опрокинул стол.

Фьоринда оставалась там же, где он ее оставил — с растрепанными волосами, в помятом платье, но во все той же величавой неподвижности — и продолжала смотреть на него.

— Бедный стол. Что он такого сделал, чтобы его ударили? Вы не ушибли ногу?

— Соберите свечи. Вы что, хотите, чтобы мы тут сгорели?

Она не шелохнулась. Байас, прихрамывая на правую ногу, поставил стол и свечи на место, а потом уставился на нее.

— Тьфу, я не в состоянии вас понять… что это за деланная сдержанность, притворная кротость? Или это очередная выходка, какая-нибудь новая

форма распутства? К чему вам все это? Да женщина ли вы вообще? Или фурия-мучительница, посланная погубить меня, а затем и себя саму? Разве для этого мы поженились?

— Может и так. Вам виднее.

Снова усаживаясь в ее кресло, он сказал, избегая ее взгляда:

— Отправляйтесь в постель, госпожа моя. Я дам вам десять минут, чтобы вы разделись. Потом войду я и мы помиримся, и, надеюсь, положим конец этим ссорам и размолвкам.

Мгновение леди вглядывалась в его лицо сверху вниз, но его взгляд по-прежнему избегал ее. Она отвернулась и, склонив голову, очень медленно двинулась к дверям, остановилась там и, выпрямившись, взглянула на него снова. Их глаза встретились.

— Вы желаете меня, — промолвила она, — но вы не знаете, и не желаете знать, как меня любить.

Он молча уставился на нее; его лоб блестел от пота, а на висках вздулись толстые вены.

— И, — продолжала она, берясь рукой за дверную задвижку, — так все и было с самого начала. Полагаю, вы просто не способны понять, что и когда доставляет мне удовольствие, а что нет.

Она открыла дверь и, снова обернувшись к нему, закончила:

— Короче говоря, вы алчный и злобный дурак.

С этими словами она скрылась.

Байас окаменел, будто мертвый. Руками, что были покрыты тончайшими золотистыми волосками, он вцепился в подлокотники кресла. Его глаза были устремлены на часы. Когда пошел двенадцатый час, он решительным, но бесшумным шагом вышел из комнаты и поднялся по лестнице, а затем, оказавшись перед опочивальней своей супруги, попробовал дверь. Та была заперта изнутри. Справившись со своим голосом, хоть горячая кровь и кипела в его словах, будто в жилах норовистого скакуна, он проговорил:

— Откройте, любовь моя, жемчужина моя, радость моя. Откройте, и я отдам вам все, что у меня есть. Впустите меня. Я люблю вас.

Он постоял, прислушиваясь: изнутри не донеслось ни звука. Было так тихо, что он мог услышать тиканье часов в зале внизу. Он дернул дверную ручку. Она промолвила из спальни:

— Нынче вечером двери закрыты для вас, господин мой.

А когда он тряхнул дверь еще раз, добавила:

— Если желаете сохранить между нами какое-либо подобие любви, более не домогайтесь меня сегодня.

Байас хотел было ударить в дверь плечом и, если получится, выломать засов, но, взяв себя в руки, удалился.

Леди Фьоринда прислушивалась, пока звуки шагов ее супруга, спускавшегося по лестнице и пересекавшего зал, не замерли и не воцарилась тишина. Потом, улыбнувшись, принялась раздеваться и, вдруг посерьезнев, остановилась меж очагом и зеркалом, чтобы холодным оценивающим взглядом, тем самым, каким семь месяцев назад, сидя верхом, всматривалась в пронизанные солнцем воды Корвиша, оглядеть свое прекрасное лицо и обнаженные прелести. Словно противоборствующие между собой и друг с другом мысли и страсти, что проступали в вечно изменчивом волшебстве черт ее лица, словно сокровенная гармония другого зачарованного храма, ее тела от шеи до пят, от плеч до кончиков пальцев, сплетавшиеся в которой превосходные эпитеты рождали божественное совершенство, — столь различны были эти ее сливавшиеся воедино ипостаси. Ее душа жила в этом лице: то обнажаясь, то целиком или частично прячась за своими покровами. В ее прекрасном теле, в дышащем жизнью равновесии форм и трех чудесных цветов (белого, красного и того черного, чьи пряди суть лишь один из множества равноценных аспектов чистого небесного пламени), сияла Ее безмятежная красота, что заключает в своей вечной сущности как землю, так и небеса. Каждая ее ипостась, сама по себе — только лицо (воплощенная душа) или только тело (воплощенный дух) — являлись бы абстракциями: душа, лишенная основы, тела, его тепла, дух, которому неведомо самосознание, неведома истина. Но это было бы невозможно. Дух изнутри и снаружи отвечал душе, а душа эта — духу. Душа и дух столь тесно переплелись в безвременном экстазе, столь глубоко проникли друг в друга, что, вне зависимости от своей внешней принадлежности, каждая черточка и линия ее лица, каждое сокровище ее тела, каждое движение века, каждое биение под лебедино-гладкой кожей, каждый филигранный завиток ее черных как смоль волос, по сути своей были равнозначны и равно прекрасны, как и все остальное, что в сумме своей и порождало Ее. И вот Она стояла здесь, добровольно отправившись в изгнание (несомненно, ради какой-то возвышенной олимпийской цели, предсказанной ею Вандермасту) в эту

усадьбу в Масморе. Сузив глаза, теперь напоминавшие змеиные, и с неким гибельным, доселе неведомым, быть может, даже себе самой, оттенком тигриной гордости и безжалостности в контурах губ, она улыбнулась вновь. Шепотом, звук которого заставил бы кровь остановиться в венах, а сердце замереть, она промолвила:

— Я не вещь. Не позволю выбирать меня, как курицу на базаре. Ни человеку, ни Богу. И расплатой за гнусное посягательство — смерть.

Между тем, в ее будуаре Байас подбросил дров в затухающий огонь, а затем, поерзав, задумчиво уселся в ее кресло. Ее книга лежала рядом на полу, там, куда он ее швырнул. Он поднял ее. Она была раскрыта на второй речи Анхиза из Гимна к Афродите:

Если ты смертная впрямь, и жена родила тебя матерь,
Если отец твой — Отрей знаменитый, как ты утверждаешь,
Если ты здесь по решенью бессмертного Аргоубийцы,
И навсегда суждено тебе быть мне законной женою, —
То уж никто из богов и никто из людей земнородных
Мне помешать не сумеет в любви сочетаться с тобою
Тотчас, теперь же! Хотя б даже сам Аполлон-дальновержец
Луком серебряным слал на меня многостонные стрелы.
Мне бы хотелось, о дева, богиням подобная видом,
Ложе с тобой разделивши, спуститься в обитель Аида![302]

— Да, — произнес Байас, закрывая книгу и трясущимися руками откладывая ее в сторону. — Вот какую чепуху она читает. Но у него-то на тот момент только и было, что его воображение, а сколь жгучий огонь оно в нем распалило. Чего уж говорить обо мне, кто знает доподлинно?

Вино и бокалы стояли на столике у стены. Он подошел к нему, налил себе, выпил и вернулся в ее кресло. Минута за минутой, час за часом отмеряли бег ночи часы. В два пополуночи, просидев так почти три часа, он осушил второй бокал вина и вновь поднялся по лестнице послушать. Не было слышно ни звука, кроме ее спокойного дыхания. Сон ее, как это было обыкновенно для нее и как свойственно для ее лет, был тих и крепок. В коридоре было темно. Неверное свечение от камина просачивалось из-под ее двери и в щели между дверью и косяком. Байас отправился в свои покои в нескольких шагах дальше по коридору, беззвучно закрыл за собой дверь и высунулся из ближайшего

302 Гимн Гомера «К Афродите», пер. В. Вересаева.

к ее спальне окна. Ночь была безлунная, но ясная и звездная. От жгучего желания и пристального вглядывания во тьму с целью убедиться, что створки ее окна открыты, как было у нее заведено даже в эти зимние ночи, глаза его заслезились и заболели. Он высунулся еще дальше, прикинул расстояние между подоконниками на глаз, пробормотал про себя: «Здесь лазила ее горная кошка. Куда может забраться она, туда смогу и я», и выпрямился на широком наружном карнизе, придерживаясь рукой за закругленный верхний край архитрава над головой. Казалось, само молчание звездной ночи беззвучно нашептывало его гордой воле: «Не прыгай». Он сильно оттолкнулся и прыгнул боком, лицом к стене, в падении ухватившись обеими руками за подоконник. Этого рывка было бы достаточно, чтобы переломать другому человеку суставы пальцев или вывихнуть плечи, но он выдержал и, подтягиваясь на руках и цепляясь носками башмаков за стену, влез на подоконник, где, наполовину забравшись в окно, наконец смог передохнуть; позади него и тридцатью футами ниже ждала твердая земля, но впереди — дремотное сияние углей в очаге, ее близость, звуки ее ничем не потревоженного сна, безмятежного, как сон младенца.

На следующее утро она приехала в Земри Ашери, поручила свою лошадь конюхам, никем не сопровождаемая проследовала в кабинет канцлера и обнаружила его там заканчивающим завтракать. Она уселась за дальний конец стола, лицом к нему, а спиной к восходившему за окном солнцу.

— День начинается неожиданно приятно. Ты позавтракала?

Она покачала головой, а когда он хотел уже встать, чтобы позвонить в колокольчик, остановила его взглядом. Он взял немного джема и выжидающе посмотрел на нее.

— Я вернулась домой, — наконец выговорила она, опустив глаза под вопросительными дугами бровей и одним унизанным кольцами пальцем гоняя по кругу блюдце по сандаловой столешнице перед собой.

— Но почему?

— Решила, что не хочу более замужней жизни.

Сардоническая улыбка мелькнула на гранитных чертах лица канцлера.

— Почему? — повторил он, но она лишь пожала плечами и взглянула

на него странным взглядом. Это был взгляд грубо сорванной лилии, но не было в нем ни мольбы, ни просьбы о сострадании.

Он наполнил два кубка белым гипокрасом, один из которых подтолкнул через стол к ней. Она не прикоснулась к нему. Он закончил завтракать в молчании, будто желая дать ей время собраться с мыслями. Когда она снова посмотрела на него, глаза ее были тверды как камень и похожи на змеиные, но, несмотря на все это, пронзительно жалобные, как будто некое горделивое и непреклонное создание, обладающее беспощадной силой, явилось к нему в горе, будто поранившееся дитя к матери.

— Так вот откуда дует ветер? — произнес Бероальд. — В Анхизе начинают проявляться недостатки смертного человека? Неотесанного пастуха, хотя и высокородного?

— Давай оставим в покое греков. Тут все было скорее по-римски. Похищение сабинянок — вот что произошло минувшей ночью.

Она пристально посмотрела на него, потом вдруг поднялась и подошла к камину, повернувшись к канцлеру спиной. Она смотрела на пламя, и изгиб ее склоненной шеи, роскошные змеящиеся волосы, изящно собранные на затылке в блестящий и гладкий, напоминавший по форме грушу пучок, строгие и величавые обводы ее подобного амфоре тела, наполнявшего великолепием каждую складку ее плиссированной юбки, — все это вобрал в себя взгляд канцлера, и его тонкие губы, коротко остриженные усы и линии гладко выбритых челюсти и подбородка словно сделались стальными.

Он принялся расхаживать по комнате взад и вперед, сцепив руки за спиной, и, пройдясь так раз или два, остановился перед нею и чуть справа, опершись плечом о каминную полку.

— Нельзя бить женщину, — сказал он. — Даже цветком.

— Он не бил меня.

Канцлер вглядывался в ее лицо. В полумраке пляшущих теней от пламени оно было подобно лицу сфинкса.

— Мне с ним поговорить? — спросил он.

Фьоринда разгладила свое платье. Едва заметно кивнув и по-прежнему глядя широко раскрытыми глазами в огонь, она ответила тихим, ясным и бесстрастным голосом:

— Если считаешь, будто тут есть, о чем говорить.

Внезапно она уставилась ему в лицо глазами, в которых холодность

сфинкса сменилась детским испугом, потом наклонила голову, чтобы он поцеловал ее в лоб.

— Я спала, — прошептала она ему на ухо. — В своих личных покоях, надежно запершись, чтобы немного отдохнуть от него. Наверное, он влез через окно, не разбудив меня. Какая гнусная выходка… набросился во сне… помочь некому… враг в воротах.

Она уткнулась лицом в плечо своему брату, крепко обвив руками его шею, всхлипывая и содрогаясь:

— Ненавижу его. Благословенный Отец небесный, как же я ненавижу его.

На следующее утро, в не столь неурочный ранний час, как его супруга, к канцлеру приехал лорд Байас. Он завел разговор со всей беспечностью и прямотой, обращаясь как друг к другу или зять к шурину и словно ведя речь о мелкой неприятности, о которой и говорить-то не стоило бы, если бы дело не касалось той, что дорога им обоим. В первую очередь он хотел бы покончить с этим делом и не допустить распространения слухов, и даже если бы не было никаких иных причин (хотя он ни в коей мере не хочет ее торопить), то он все сердцем желал бы, чтобы она поскорее возвратилась в Масмор. Он не сомневается, что встретит в этом отношении полную поддержку ее благоразумного брата, который знает не хуже нее, какое глубокое уважение и любовь он к ней питает. Может быть, он и сам был неправ. Как бы там ни было, хуже всего будет, если она, задержавшись в Земри Ашери чересчур надолго, вызовет дурные толки, которые, по правде говоря, насколько ему известно, пошли уже несколько недель назад, но ему казалось, что он положил им конец. На самом же деле не случилось ничего серьезного, просто небольшая размолвка между супругами. А ведь еще только шел медовый месяц.

При этих последних словах канцлер, до этого слушавший молча и не шевеля ни одним мускулом, улыбнулся чуть презрительно.

— Что до меня, — заговорил он, — то мне пока не доводилось связывать себя узами брака, однако я достаточно умудрен опытом, чтобы сказать вам: когда медовый месяц растягивается на четыре и оканчивается так, как этот, пора со всем этим заканчивать. Я сожалею, господин мой, но поскольку вы просите у меня, как своего родича, помощи и совета, могу лишь посоветовать вам согласиться на развод, причем без лишнего шума и проволочек. По сути

иного выхода и не существует, — тут он недобро взглянул на него и добавил, — А может стать и хуже.

Замолчав и вновь приняв бесстрастный и официальный вид, он поднялся из-за стола.

Байас также встал. Его лицо побагровело, но язык он держал на привязи.

— Едва ли это та помощь, на которую я рассчитывал, приехав сюда к вам, — сказал он. — Мне нужно время. Чтобы об этом подумать.

— Даю вашей светлости двадцать четыре часа, — промолвил Бероальд. — На принятие моего предложения

— А вы заноситесь, господин канцлер.

— Это мне свойственно, — холодно отозвался тот, — когда того требуют обстоятельства. Удачи вам. И хорошенько поразмыслите над тем, что я вам сказал.

— Непременно. Прощайте.

С этими словами Байас вышел из комнаты, спустился по винтовой лестнице западной башни и прошел через главный зал. Миновав его, он наткнулся на свою шедшую из сада супругу. Она мертвенно побледнела, замерла на месте, словно не зная, как ей пройти мимо него; однако проход был узок, и он загородил дорогу. Сняв шляпу, он промолвил:

— Я явился просить вашего прощения.

— Помириться? Как в среду вечером?

Оставив этот укол без внимания, Байас сказал:

— Я не стерпел бы подобного ни от кого на свете, кроме вас, а уж просить не стал бы и подавно. Ради Бога, давайте уединимся где-нибудь за закрытыми дверями. Мы не можем говорить здесь.

— За закрытыми дверями? Уединиться с вами?

— Тогда в саду. Пускай глазеют, лишь бы не подслушивали. Умоляю вас. Я уже одумался. Но не могу уехать, не попытавшись хоть что-то исправить.

Они направились туда, откуда она пришла, в сад. Через пару десятков шагов она остановилась.

— Довольно. Уже ничего не исправишь.

— Боже сохрани.

— Я назначила брата своим поверенным. Вам следует поговорить с ним.

Лорд Байас сжал зубы:

— Неужели гордость ваша столь чертовски велика, что вы не способны проявить хоть крупицу великодушия и не втаптывать в грязь мою, когда я, словно жалкий и смиренный проситель перед своим властелином падаю тут перед вами ниц?

— Боже всемилостивый, какая гордыня! Это после того-то, как вы надо мной надругались? Да даже перемазанный в сале поваренок, наверное, не обошелся бы так с самой распоследней шлюхой.

— Зачем вы вырываете мое сердце? Единственным моим грехом была любовь к вам.

— Это признание заслуживает благодарности. Но придется вам смириться с моим невежеством: до вас я мужчин не знала. И если вы — достойный образчик, то прошедшие полгода убили во мне всякий аппетит к остальным.

— Клянусь Господом! — воскликнул, давая волю чувствам, Байас, словно человек, которому нечасто перечат. — Вы затеяли опасную игру, госпожа моя, — и глупую. Какой в ней прок? Вы сговорились против меня? Что я такого сделал? Раз ваш брат — верховный канцлер и неплохо тут устроился, так вы думаете, прибежав к нему и оболгав меня…

— К чему лгать? Правды было достаточно.

— Плохая же вы жена. Итак, слушайте, это мое последнее слово: поедемте домой.

— Я скорее умру.

— Ну что ж, я найду, как вам за это отплатить. Грязная красотка. Тут замешан мужчина… мужчины, что более вероятно. Хорошо же, сейчас утро пятницы. Если к понедельнику вы не вернетесь, советую вам сидеть взаперти в Земри Ашери до скончания дней своих. Ибо клянусь вам своей честью, если вы слабы на передок, я с вами разделаюсь. Я человек, который никогда ничего не выпускал из рук, единожды заполучив. Если, будучи вашим супругом, я не могу обладать вами, я сделаю так, что и никто другой вас не захочет. Я отрежу вам нос. Это наилучшее и наиболее действенное лекарство для таких как вы.

Не прощаясь, он зашагал прочь, сел на коня и уехал.

А леди Фьоринда еще целую минуту стояла неподвижно, глядя ему вслед. Словно жуткая вековечная ночь, хмурясь, поднялась на свой трон, воцаряясь на ее челе, набрасывая пелену своих покровов на ее раскосые глаза, в которых металось это змеиное выражение, скрывая за ними ее уста, на миг

превратив их в вырезанные в запекшейся крови. В тот же час она слово в слово пересказала своему брату все сказанное ей Байасом. Бероальд слушал ее, и его худощавое и гладко выбритое за исключением встопорщенных усов лицо, впадины скул, широко посаженные глаза, четко очерченная челюсть оставались неподвижны, будто каменные. Когда она закончила, голос его был столь же холодным, размеренным и непроницаемым, как и лицо:

— Забудь об этом, — произнес он без всякого выражения. — И о нем забудь.

Их взгляды встретились и на миг задержались друг на друге: взгляды брата и сестры, которые хорошо понимают один другого.

На следующий день канцлеру в Земри Ашери принесли известия об ужасном злодеянии, совершенном на базарной площади Крестенайи: на лорда Байаса, спускавшегося по ступеням средь бела дня на виду у всех неожиданно накинулись шестеро человек с кинжалами. Он тут же лишился речи и чувств, но был пока еще жив, «хотя лекари утверждают, — сказал посыльный, — что долго он не протянет». Об этом несколькими часами спустя канцлер уведомил свою сестру, также добавив, что по самым последним и весьма надежным данным Байас уже мертв. Убийцы, судя по всему, остались неизвестными. Если не считать тех двоих, кого убил в стычке Байас, им как будто бы удалось скрыться.

— Божья воля или происки врагов короля, — промолвил канцлер, глядя ей прямо в глаза.

— Воля Божья, — спокойно произнесла леди, обменявшись с ним тем же пристальным, непроницаемым, понимающим взглядом. — Грешно было бы остаться неблагодарными.

Краткое Содержание

Барганакс и Фьоринда - Король и наместник

(главы 30 — 33)

30. Любящая смех Афродита

До замужества Фьоринды ее ни разу не видели ни король, ни королева, ни Барганакс. Герцогиня видела и не выносит ее; вероятно, она решила про себя, что Барганаксу лучше с ней не встречаться.

В апреле, всего через три месяца после ужасной смерти ее первого супруга, она (опять-таки, чтобы угодить своему брату) выходит за Морвилля, дальнего родича Парри. Впервые встретившись и поговорив с ней в мае, король, держа в уме Барганакса, жалует Морвиллю чин управителя Рейсмы и убеждает герцогиню пристроить Фьоринду к мемизонскому двору, а впоследствии, в июне, сделать ее своей фрейлиной. Познакомившись с нею поближе, герцогиня изменяет свое мнение о ней, меньше внимания уделяя репутации, что, раздуваемая злыми языками, следует за Фьориндой шлейфом несущей погибель багровой кометы; короче говоря, она всецело подпадает под обаяние этой Темной Леди, в чьем мерцающем, неподвластном анализу и грозном совершенстве она будто различает (как роза может видеть свой раскаленный добела образ в луже расплавленного металла) отражение своей глубинной сущности: Rosa alba incarnata[303]*, глядящая на La Rose Noire.*

Барганакс с первого взгляда пылко влюбляется в Фьоринду летней ночью 775 г. на балу, устроенном его матерью в Мемизоне.

31. Лаймакский зверь

Наместник (чья манера, как сказал однажды Бероальд, «подобна утке: над водой едва шевелится, а под водой изо всех сил гребет к своей цели») с самого времени мятежа ненавязчиво, но с терпением и тщанием укреплял свое могущество в Ререке. При помощи твердого управления, щедрости как в обещаниях, так и в поступках, дружбы, королевского радушия, определенной прямоты, которая многих заставляла верить ему, хотя разумнее было бы его остерегаться, а также путем усиления своего влияния на каждого стоившего его внимания человека (возлагая на тех обязательства перед собственной персоной или угрожая им своей

303 «Rosa alba incarnata» — роза «Девичий румянец».

осведомленностью о каком-либо их тайном прегрешении, которое им менее всего хотелось видеть преданным огласке), он за четыре года своего наместничества при помощи пожалованных королем полномочий (как выразился Бероальд) «прибрал к рукам всю внутреннюю часть королевства между Мегрой и Зеннером».

Король, который уже многие годы понимает как самого себя этого «самого жестокого, самого хитрого из всех приспешников Дьявола» и горячо его любит за исходящую от него угрозу и пикантное ощущение крайнего напряжения собственных сил в попытке сдержать его, хорошо осведомлен о происходящем, но никто из его ближайшего окружения (Бероальд, Иеронимий, Родер, Барганакс) не может убедить его открыто предпринять что-либо, дабы присмирить его.

Наконец, летом 775 г. король получает известия (частично поделившись ими с канцлером и герцогиней, но ни с кем более) о заговоре с целью захватить Ререк и сделать его независимым государством, а наместника провозгласить королем. Заговорщики условились встретиться ночью в Середовом Луге, на одиноком и разрушенном хуторе в верховьях Зеннера, и именно там король намеревается застигнуть их врасплох: «и если я не покончу с остальными, а его не подчиню своей воле, то, по крайней мере, умру, пытаясь сделать это». В последний момент он велит канцлеру подождать его, не доезжая несколько миль до Середова Луга, а сам едет дальше совершенно один.

Это невероятно отважное предприятие оканчивается успехом. Парри, уже начинавший сомневаться в пригодности выбранных им людей быть его орудиями и (на что король интуитивно и сделал безошибочную ставку) сразу подчинившийся, лишь только оказавшись с королем лицом к лицу, соглашается с прошептанным ему королем описанием ситуации, а именно, что наместник случайно наткнулся на осиное гнездо, разорить которое король и явился. Застигнутые врасплох, пятеро мятежных лордов терпят в кровавой схватке поражение против короля и наместника, а трое выживших (Гильман, Аркез и Клавий) по королевскому распоряжению обезглавлены на месте Габриелем Флором. (Этот эпизод, подробно описанный в «Рыбном ужине в Мемизоне», пересказывается в настоящей книге не напрямую, но посредством последующей за ним тайной беседы между наместником и его матерью Марессией, которой уже исполнилось семьдесят три года. Он всегда был ее любимым ребенком, и если кому-либо и открывает свои помыслы, то только ей. Но даже от ее благожелательных ушей большая часть истории (например, подлинный размах его вовлеченности в этот заговор) остается сокрыта навсегда.)

Личную привязанность наместника к королю не способна разорвать даже эта измена; по сути, результатом ее становится ее безмерное укрепление. Злой пес впервые огрызнулся на своего хозяина. Но он понимает, что делать этого ему не следовало, и сожалеет об этом. Он никогда более не огрызнется на короля Мезенция, но тем не менее внутренне полон решимости не допустить установления в Ререке верховной власти (когда король умрет) со стороны такого желторотого юнца как Стиллис или, если уж на то пошло, со стороны Барганакса.

Неприязнь между наместником и Стиллисом достигла такой степени, что по-настоящему тревожит Росму. Она впервые начинает испытывать определенную враждебность по отношению к своему кузену-наместнику и пытается со всей серьезностью, хоть и не идущей ни в какое сравнение с прежней, настроить короля против него. Но ее усилия лишь укрепляют короля в его странной привязанности к этому своему неукротимому и непредсказуемому, алчному и дикому зверю, ставшему настолько могучим, что ни одной силе на земле с ним не справиться, кроме одной лишь власти самого короля.

32. «И ты не обличай…»[304]

Случай в Середовом Луге (явившийся, как все сочли при попустительстве короля, проявлением особой преданности королю со стороны наместника) произошел 26 июня 775 г. В течение нескольких последующих недель участившиеся свидания Барганакса с Фьориндой вызвали множество пересудов как в Мемизоне, так и в Зайане. Насмешливая, уклончивая и ведущая себя до невыносимого вызывающе, леди держит его на привязи, но на расстоянии вытянутой руки от себя. Морвилль, человек простоватый и недалекий, на свою беду сочетавшийся браком с женой, которую не способен ни завоевать, ни удержать, ни понять, и которой недостоин, терзается ревностью, в то время как Барганакс уже чуть не сходит с ума от любви, не будучи в состоянии ни реализовать ее, ни оторваться от нее.

304 Цитата из сонета CLI У. Шекспира:

Не знает юность совести упреков,
Как и любовь, хоть совесть — дочь любви.
И ты не обличай моих пороков
Или себя к ответу призови. (пер. С. Маршака).

33. Афродита Эликоблефарос[305]

21 июля, смертельно оскорбленная полученным от Морвилля ударом по губам по ложному (во всяком случае, преждевременному) обвинению в любовной связи с герцогом, она и впрямь отдается герцогу. Угрожающий расправой Морвилль убит Антеей в ее рысьем обличье.

Настоящая любовь между Барганаксом и Фьориндой так и не принимает плавное течение: их натуры для этого чересчур пылки, горячи и подвержены страсти. Тем не менее, она все углубляется и крепчает, становясь все совершеннее, все время оставаясь свежей как утренняя роса. Он неоднократно уговаривает ее стать герцогиней Зайанской, но она упорно отказывается, осознавая посредством интуицией, которая (подобно все прочим ее качествам) простирается далеко за пределы возможностей смертного, что по натуре своей он более всего ценит опасность и неопределенность, рискованное блаженство, горечь и сладость, γλυκύπικρος ἐρῶς[306]*. И, хоть зачастую это и становится почти невыносимо, все это она верно дарует ему обеими руками.*

Рыбный ужин и его последствия

Замечания к переходу к главе 34 и к главе 35, пока не написанной.

25 июля герцогиня приглашает на рыбный ужин в Мемизоне короля, наместника, Барганакса, Иеронимия, Бероальда, Фьоринду, Антею, Кампаспу и племянницу короля Зеннанту.

Беседа обращается к божественной философии, а затем к проблемам Времени и Творения: Если бы мы были Богами, какой мир пожелали бы мы сотворить? На этот поднятый королем вопрос большинство собравшихся, по сути, ответили: Этот самый мир (то есть, разумеется, Зимиамвию). Но госпожа Фьоринда, пребывая в тот вечер в чрезвычайно безответственном и своенравном расположении духа и предложив представить, будто король — и в самом деле Всемогущий, а сама она — Афродита, ради которой создаются все мыслимые миры, просит его сотворить для нее необычайный механический и доселе невиданный мир, который она в общих чертах описывает.

---

305 Ἀφροδίτη ἐλικοβλέφαρος (гр.) — «Афродита с ресницами гнутыми», «Афродита быстроглазая», один из эпитетов Афродиты.

306 «Горько-сладостная любовь» (гр.)

Того, что последовало за этой просьбой, по всей видимости, никто из собравшихся, за исключением двух влюбленных пар (короля с Амалией, Барганакса с Фьориндой), до конца не понял. Так или иначе, все присутствующие, кроме одних лишь короля с Фьориндой, позабыли обо всем на следующее утро.

Факты таковы: умозрительные построения вылились в действия, король, сидя за ужином, и в самом деле создал по ее описанию тот мир, в котором обитаем и к которому принадлежим мы сами, и они наблюдали, как он эволюционирует — огромный, изобилующий жизнью пузырь, каковым могла бы представляться глазам Богов вся эта материальная вселенная, чьи миниатюрные эпохи проносятся перед Их бессмертными взорами, и миллионы лет сжимаются в них до, к примеру, получаса. Более того, король и герцогиня, Барганакс и Фьоринда, желая узнать этот новый мир изнутри, вошли в него и прожили там целую жизнь (в нашем столетии), в то время как остальные гости, казалось, всего несколько минут напряженно и внимательно всматривались в чудовищный пузырь, повисший перед ними над обеденным столом. Потом, возвратившись к реальности, собравшиеся стали расходиться. Томно и расслабленно опираясь на руку Барганакса, Фьоринда, естественно, уже сытая по горло этим не слишком-то выдающимся миром, уничтожила его навеки, как будто его никогда и не существовало, походя проколов пузырь украшенной алмазами шпилькой, праздно вытащенной ею из своих волос. Возможно, в этот момент герцог, глядя в Ее лицо, что является началом и концом всех не рожденных еще вечностей, всех мыслимых миров, понял (лишь на миг, и лишь с той определенностью, на которую был способен), кем Она была на самом деле.

(Эта тема (тема нашего мира, как мира, организованного неправильно, мира, который, не будь он столь кошмарно нереален и мимолетен, стал бы несчастным эпизодом в настоящей жизни Богов) исследуется в другой книге, «Рыбный ужин в Мемизоне». В «Мезенциевых вратах» она не рассматривается повторно, но на происходившее за обеденным столом дается достаточно указаний, чтобы позволить читателю осознать все космические последствия внезапной прихоти Афродиты и подготовиться к их воздействию на разум короля. Следует отметить то, что лишь они с Фьориндой помнят на следующее утро (и впоследствии), что же произошло за рыбным ужином после того, как разговор сменился действиями.)

Это приводит нас к августу 775 г. Глава 34 («Рыбный ужин: усвоение»), повествующая о влиянии, оказанном рыбным ужином на умы герцогини и Барганакса, уже написана. Пока еще не написанная глава 35 («Пища как причина»), покрываю-

щая приблизительно шесть последующих месяцев, повествует о влиянии на короля и наместника.

Воздействие, оказанное на короля, вкусившего на практике своего всеведения вкупе с всемогуществом, частично раскрывается в сцене между ним и Вандермастом. Влияние на наместника, почуявшего в своем великом повелителе неуловимое изменение, которое он абсолютно не в состоянии ни определить, ни понять, но которое чрезвычайно его беспокоит, заключается в том, что он преисполняется решимости принять все возможные меры предосторожности против возможности того, что король, умерев, оставит его сражаться за свое место под солнцем. Тайно и всеми возможными способами наместник начинает наращивать в Ререке свою военную силу, чтобы, если дойдет до борьбы за главенство между ним и Стиллисом, одержать в ней верх, пусть даже против него будут брошены объединенные силы Фингисволда и Мезрии.

Финал книги (главы 36—39: Rosa Mundorum, Завещание Энергейи, Крик вороны и Омега и альфа в Сестоле) уже написан.

Э. Р. Э.

Книга VII: Знать или не знать

34. Рыбный ужин: усвоение

ОДНАЖДЫ утром в конце августа герцогиня Мемизонская вышла прогуляться перед завтраком по террасам над западным рвом. Была золотая пора созревания, поздних цветов, фруктов и (хоть еще и только начинавшегося) листопада. В лучах утреннего солнца сырые от росы паучьи сети, что покрывали тянувшиеся вдоль террас тисовые изгороди, мерцали, будто самоцветы на кружевном покрывале, в своей вечно изменчивой красоте с налетом хрупкости и эфемерности. Не было слышно ни единого птичьего голоса, лишь щебетали в небесах ласточки да вскрикивали белые павлины герцогини, чьи плюмажи были словно сплетены из лунного света, а глазки на их хвостовых перьях, когда на них падали косые солнечные лучи, напоминали переливчатые луны.

В дальнем конце южной террасы она повстречала герцога Барганакса, пробиравшегося меж павлинов и то и дело наклонявшегося, чтобы погладить то одного, то другого. Те опускали хвосты и элегантной, плывущей, покачивающейся походкой, в которой сквозило слишком много покорности, чтобы назвать ее паваной, семенили к его ладони, прося ласки.

— Вы рано поднялись, матушка, — сказал он.

— Да уж, а сам-то? И потом, разве это не положительное качество?

— Зависит от ситуации. Что касается меня, то я ни разу (если, конечно, ночевал один) не обижал прекрасное утро, разлеживаясь в постели.

— Очень важная оговорка. Но скажи мне, раз уж я об этом вспомнила — промолвила она, — не ошблась ли я, не попросив тебя пригласить на наш рыбный ужин в прошлом месяце ученого доктора, вместо того, чтобы оставить его вариться в своих метафизических соках в Зайане?

— Я об этом не думал. А что?

— Он мог бы рассказать нам, что же на самом деле произошло той ночью.

— Я и сам могу вам это рассказать, — отозвался герцог. — Отличный пир. Приятная беседа.

— И все?

— Да ладно вам, вы же помните все так же хорошо, как и я.

Герцогиня покачала головой:

— Если так, то нас всех одновременно охватила удивительная забывчивость. Я не припоминаю ничего необычного, как ты и сказал. Но уже на следующее утро я проснулась в тревожащей и дразнящей уверенности, будто мы многое забыли, и среди прочего — саму суть и тему нашего разговора.

— Да даже если бы и так? — промолвил герцог. — Это была просто милая беседа. Если она и забылась, то, скорее всего, там и запоминать было нечего.

Они медленно шагали по террасе, возвращаясь в летний дворец, сопровождаемые следовавшими за ними по пятам павлинами. Вдруг она сказала:

— Чем больше я об этом думаю, тем больше подозреваю, что имела место не только беседа, мы еще и нечто совершили. Если бы только я сумела вспомнить, это могло бы дать мне ключ к кое-каким затруднениям.

— А вы не спрашивали моего отца, короля?

— Спрашивала. Но и он не пролил на это никакого света. Лишь посмеялся надо мной, отшутившись и наговорив загадок и двусмысленностей, чем все только усугубил.

— А господина канцлера? Или адмирала (да смилуются над ним небеса)? Они тоже молчат? Что до наместника…

— Увы, — промолвила она, — что толку говорить с этим рыжим львом, этим рыжим лисом! Обсуждение божественной философии для него — сущий сухарь.

— И чтобы размочить эту сухость, он напился пьян еще до того, как началось главное действие нашего маскарада. А для этого, как я уже приметил раньше, ему требуется непомерное, невообразимое количество вина.

— Главное действие? Ты это о чем?

— Ну, — ответил он, — я имел в виду произошедшее после того, как все остальные (вы ведь помните это, правда?) высказали свое мнение в ответ на вопрос: В каком мире остались бы мы жить навеки, будь мы Богами и потому будь мы способны исполнить любое свое желание, лишь о нем помыслив? Я имел в виду то, как она под вашим с отцом давлением принялась описывать мир, который, имей она эту абсолютную свободу выбора, избрала бы для себя.

— И мир этот был..?

Барганакс замер на месте, уставившись на влажную от росы траву. Там солнечной дорожкой сияли и искрились сотни звездочек: топазы, изумруды, огненные опалы, рубины, сапфиры, алмазы, беспрестанно менявшие местопо-

ложение и цвет, загоравшиеся, вспыхивавшие, пропадавшие и появлявшиеся вновь в самых неожиданных местах, вызванные к жизни или потушенные движением глаз наблюдателя, сверкавшие тут и там крохотные неверные элизии, недостижимые, но совершенные и никогда не исчезавшие окончательно, порождаемые или зачинаемые ослепительным золотым сиянием взошедшего солнца.

— Странно. Об этом я не думал, — сказал он. — Мои мысли были заняты более насущными вещами. Но и впрямь, когда я теперь пытаюсь восстановить в памяти ту заключительную часть нашей беседы, со мной происходит то же самое, что и с вами: я все позабыл.

— Может быть, та ночь стерла все из нашей памяти?

— Ночь? — произнес Барганакс и осекся. Но когда он повернулся к ней, взгляд его потускнел, будто он с слишком близкого расстояния глядел в открытый огонь.

Он принялся расхаживать туда-сюда, а герцогиня молча за ним наблюдала. Внезапно он развернулся на пятках, подошел прямо к ней, обнял ее и поцеловал. Затем он промолвил, продолжая держать ее в объятиях и глядя ей в глаза:

— Кто сотворил вас такою королевской розой, матушка?

— Не знаю, — ответила она, спрятав лицо у него на плече и дотянувшись правой рукой до его щеки. — Не знаю. Не знаю.

Когда она подняла голову, ее глаза смеялись.

— Что случилось? — спросил он, беря ее руки в свои. — Ведь у вас все хорошо?

— Что-то изменилось после той ночи, — она снова опустила взгляд и играла теперь с его пальцами.

— Бросьте, милая матушка. Вы не изменились. Я не изменился.

— Благодарение Богу, нет. Однако… как будто, изменилась погода.

— Чепуха. Погода стоит отменная.

— Она изменилась, — сказала она. — И продолжает меняться. Мне не по душе изменения.

После паузы он произнес:

— Думаю, без них бы я умер со скуки.

Герцогиня улыбнулась:

— Наверное, у каждого своя погода. У нас с тобой уж точно. Быть может, именно поэтому мы любим друг друга.

Барганакс поцеловал ее руку. Она поймала его кисть и под его шутливые протесты тоже ее поцеловала.

— А мой отец?

Она сказала:

— Я чувствую в нем перемены. Это пугает меня. Я бы хотела, чтобы он никогда не менялся.

— Он то же самое думает про вас.

— Знаю, так и есть.

Лицо Барганакса омрачилось. Он подошел к парапету слева и постоял там с минуту, озирая окрестности. Герцогиня последовала за ним.

— Я с тех пор его и не видел, — через некоторое время проговорил он. — Потому не могу сказать наверняка.

На клумбе подле них цвела белладонна: толстые крепкие стебли, лоснящиеся и колонноподобные, и большие трубочки серебристо-розового цвета, гладкие, словно кожа на горле женщины, прохладные, покрытые росой и источавшие дурманящий аромат. Герцогиня сорвала один цветок. Внезапно он заговорил:

— А вы можете вспомнить, что она сказала той ночью, когда вы с моим отцом добивались от нее ответа? Насчет мира, которого ей хотелось бы?

— Да. Это было до того, как события начали стираться из памяти. Она сказала: «Выбор нетруден. Я выбираю То, что есть».

— Верно. А король возразил, сказав: что бы это могло быть, как не первоосновные Двое? Они, а также прочие Боги и Богини, что обитают в необъятных небесах, те, чья реальность, быть может, и не столь высокого порядка, как у Него и у Нее, но все же куда более реальные, чем такие эфемеры как люди? И он попросил ее описать все это, и золотую обитель Творца… Мне это не понравилось. Я заметил, что она сердится на него, думая, будто он над ней подшучивает. Тем вечером на нее нашел странный дух противоречия. Она ответила: «Нет, Подобно ее светлости я также передумала. Обращу взор не столь высоко». Вы помните это «не столь высоко»?

Герцогиня закрыла лицо руками.

— Когда я пытаюсь вспомнить, мне чудится, будто я шагаю по раскачивающейся веревке меж одной бездной и другой. Что же на самом деле

произошло той ночью? — проговорила она, вновь поднимая глаза. — Думаешь, мы выпили слишком много вина?

— Любовного напитка? — подхватил Барганакс. — Вполне вероятно.

Он сжал своей сильной рукой плечо матери и притянул ее к себе, а потом прошептал ей на ухо:

— Эти слова, «не столь высоко». А с ними — этот ее взгляд, который, готов поклясться, матушка, не видел и не увидит впредь ничей глаз, кроме моего: чтобы увидеть его, нужно его полюбить. Безжалостный взгляд, змеиный взгляд.

— Сон возвращается ко мне, — промолвила герцогиня, положив свою руку на его пальцы, что ухватились за ее плечо. — «Я придумала мир, — сказала она. — Создаст ли ваше высочество его для меня?»

— Не путайте, — с жаром отозвался герцог. — Это был не сон. Благодаря вам я вспоминаю, как все было, и не одни только слова. Вы передали сам тон ее сулящего наивысшие блаженства голоса.

Потом, ослабив хватку ее и отступив на шаг, чтобы лучше ее видеть, добавил:

— Вы помните ответ моего отца? «Я предприму попытку»?

Герцогиня затрепетала.

— С каких пор ты, сын, научился разговаривать со мною его голосом?

— Она подняла голову, — продолжал герцог, будто оставшись наедине со своим видением, — будто прислушивающаяся к ветру художница. Клянусь небесами! — воскликнул он, когда герцогиня подняла свою. — Вы движетесь точно так же. Продолжайте же, во имя любви ко мне. Продолжайте. Ее взгляд был устремлен на меня, хотя обращалась она, как будто, к нему. Повторите это, исполните для меня эту роль, докажите, что это не просто сон.

И герцогиня, глядя на своего сына и будто видя в нем его отца, своего возлюбленного, заговорила, как могла бы говорить сомнамбула, не своими словами, но словами леди Фьоринды.

Когда она закончила, ее сын остался неподвижен, опираясь на парапет и во все глаза глядя на нее. И будто самим этим молчанием пробужденная от сомнамбулического состояния, она спросила:

— Что я говорила? Все стерлось, я не могу вспомнить.

Он подался к ней:

— Ради всего святого, вспоминайте. Думайте обо мне, как о моем отце,

короле. Он сотворил его, этот огромный блестящий пузырь, как она и просила; он растил и придавал ему форму своими руками — там, на столе перед нами. Что это было? Разве мы не видели, как он обрел реальность, преисполнился немыслимой сложности в соответствии с ее безграничной фантазией? Словно Боги и Силы небесные — лишь прислужники, готовые исполнить малейшее ее желание (и, клянусь душой, так им и надлежит поступать). Но он был неживой, мнимый… мертвый мир.

— Это его слова, — дрожа, произнесла герцогиня. — Это его голос: «Мертвый мир. Мертвая душа». И она пожелала, чтобы он дал ему жизнь. «Пускай он кишит жизнью, — сказала она, — И кишит кишмя». Так и сказала. А ее законы для населявших этот мир существ — ты помнишь? «Я слегка подразню их своими законами».

Барганакс прищурился, глядя на свою мать — и в то же время (как можно было бы подумать) не на мать, но на воплотившуюся в ее лице Темную Леди.

— Им будет казаться, что они свободны, — проговорил он, — но мы, наблюдатели, понимаем, что никакая это не свобода. А ее закон смерти: «Всякий в моем мире, кто знает жизнь, познает и смерть. Впрочем, крохотные сущности умирать не будут. А вот живые существа — вполне». И разве она была неправа? «Справедливый и равноценный выбор: или быть крошечным бесчувственным комком студня или мертвой материи и существовать вечно, или же…»

—«Или же быть птицей, рыбой, розой», — продолжила герцогиня, будто откапывая еще один фрагмент из хаоса стершихся воспоминаний об этом странном застолье, — «или такими же мужчинами и женщинами, как и мы»…

— «С условием увянуть, постареть и, в конце концов, обратиться в разлагающийся труп»… И что же? Разве это так уж непохоже на этот наш любимый мир?

— Слишком похоже, — ответила герцогиня. — Все так же, как и в этом мире, только искажено, испорчено.

— Вашей милости ни к чему говорить мне «et ego in Arcadiâ»[307], — рассмеялся герцог. — Это едва ли здесь уместно. «Такие же мужчины и женщины, как и мы». А потом она сказала, сидя за вашим столом здесь, перед

307 «Et ego in Arcadiâ» (лат.) — «и я в Аркадии»; часть крылатого латинского изречения «и я в Аркадии родился».

вашим летним дворцом, в то время как ее разрушительная красота, задумчивая и спокойная, озаряла этот несовершенный шедевр, полный мешающих друг другу совершенств: «Как и мы? Как подобное возможно, в таком-то мире? Разве есть в нем разум?.. Если только» — (вы ведь помните) — «Если только Мы Сами не войдем в него. И узнаем. Спустимся…» А потом мой отец сказал: «Прочувствуем его изнутри. На миг. Почему бы и нет? Чтобы узнать».

— Хватит, умоляю, — промолвила герцогиня. — Что мы такое говорим?

Но Барганакс взял ее за руку.

— Не переставайте думать обо мне, как о короле, моем отце. Давайте попробуем еще раз. Теперь вместе, вы и я. Я начинаю вспоминать вещи, которые и сам забыл, и уже не знаю, ни кто я такой, ни кто вы такая. Давайте же. Я желаю знать, было ли все это на самом деле, или это лишь выдумка.

— Прекрати! — воскликнула она. — Еще раз я этого не вынесу.

Но он, продолжая тянуть ее за руку, пересилил. Минуту они стояли здесь, в прекрасном Мемизоне, будто две бестелесные души в лодке Харона, ожидающие отплытия. Но ничего не произошло; они не перенеслись, как им смутно помнилось и как они ожидали, из обыденной реальности своей жизни в тот более блеклый и ущербный мир, в мелочах столь похожий на этот, но в сумме столь чуждый, что уже невозможно было и вообразить; жизнь в неволе, что была или могла быть их жизнью, теперь оказалась надежно забыта, и лишь привкус ее едва ощущался в воспоминаниях — хрупких, смазанных, мимолетных, — что к счастью вновь забылись, пропали в завихрениях тумана и клубящейся мгле. И вот, будто исчезла омрачившая солнечный лик тень, истинный мир вернулся к ним во всем своем совершенстве: вернулись запахи сырой земли и древесного дыма, ползущая по дорожке улитка, стрекочущий в тисах крапивник, рябь на зеркальных водах озера Рейсма там, где их коснулся утренний бриз, огромные серно-желтые лилии на фоне темной листвы тисов, напоившие воздух вокруг своим сладким чувственным благоуханием, утреннее солнце над Мемизоном и пора завтрака.

В тот же день Барганакс отправился на юг, назначив на следующий день свою еженедельную аудиенцию, где он принимал петиции, заслушивал судебные дела, если они были достаточно значимы, чтобы ему вести их лично, улаживал ссоры между людьми и примирял их, а там, где это не помогало, выносил суждения и распоряжался о приведении их в исполнение.

Время ужина уже минуло, когда он въехал в Акрозайану. Он задержался лишь наскоро перекусить копченым лососем, икрой и кабаньей головой, приправленной пряностями и соусом из гипокраса, запив все это графином рейсмского вина, после чего, удалившись на западный балкон своих личных апартаментов, что выходит на Зайанское озеро и Амбремерин, послал за доктором Вандермастом.

— Я хотел бы попросить вашего совета в одном деле, досточтимый господин, но не как у моего помощника, а как у мастера и наставника в высоких и темных науках — как в былые времена. Как вы считаете, откуда взялся этот мир и все остальные миры, если таковые существуют?

Вандермаст ответил:

— Через одного лишь Бога, что сотворил их все.

— Отлично. Ergo[308], он сотворил и Себя самого?

— Несомненно. Ведь ваша светлость не забыли определение: Per causam sui intelligo id, cujus essentia involvit existentiam: sive id, cujus natura non potest concipi nisi existens[309]? Ничто иное, кроме одного лишь Бога, не способно являться причиной самого себя, ибо ничто иное не обладает природой, которую нельзя представить иначе, как уже существующей. Ничья иная Сущность не может столь же неизбежно переходить в Существование.

Герцог сидел, глядя прямо перед собой, будто сосредоточившись на какой-то картине в своем мозгу. Потом, подавшись вперед, чтобы заглянуть доктору в глаза (насколько их вообще было возможно увидеть под его кустистыми бровями при звездном свете), промолвил:

— Но в первоосновном Единстве Бога заключена Двойственность?

— В нем заключена Тьма. Если, конечно, понимать под Богом Существо абсолютно бесконечное, то есть Субстанцию, состоящую из бесконечного

308 Ergo (лат.) — «следовательно».

309 Б. Спиноза, «Этика», ч. I, «О Боге», определение I: «Под причиною самого себя я разумею то, сущность чего заключает в себе существование, иными словами, то, чья природа может быть представляема не иначе, как существующею».

числа атрибутов, каждый из которых в отдельности выражает Сущность бесконечную и бессмертную.

— А ведь когда мне было лишь шестнадцать и я впервые увлекся Метафизикой, — произнес герцог, наклоняясь еще ближе и буквально пожирая его глазами, — вы сами обучили меня принципу, который называете путеводной звездой и средоточием божественной философии: Per realitatem et perfectionem idem intelligo[310], который гласит, что реальность и совершенство суть одно.

— Да, в кишащих чудовищами морях мысли и в устремлениях к тем недостижимым вершинам, откуда величественно взирает вниз Бог, — ответил Вандермаст, — это действительно путеводная звезда человека и единственный надежный ориентир.

Барганакс откинулся в кресле. Окрашенное в нежный фиолетовый оттенок небо было усыпано звездами, что сияли на этих безветренных высотах удивительно ровным светом, однако же, отражения звезд в Зайанском озере колыхались, распадались и сливались вновь, будто ртуть, в своей переменчивости и беспокойности уподобляясь искрам росы в тот утро в Мемизоне. Та же беспокойная таинственность звучала в его голосе, когда он заговорил, будто обнаружив глубоко в своей душе нечто неведомое, новое:

— Realitatem… Perfectionem…Что ж, совершенство я нашел.

Доктор Вандермаст промолчал.

Герцог промолвил, по-прежнему будто обращаясь к самому себе, с ноткой насмешки в голосе, но с все той же ленивой задумчивостью:

— Разве мне в этом не повезло, как не везло еще никому? Чего мне еще желать, обретя Совершенство и Реальность в Ней одной? — он потянулся, будто человек, пробудившийся ото сна, и рассмеялся: — Ну, что же вы молчите? Завидуете мне, старик, что я в свои молодые годы отыскал этот подлинный философский камень?

— Как может кто-либо, кроме вас самого, определить, следует ли вам завидовать или сострадать? В пресыщении — смерть. В желании — жизнь.

— Так разве это не основное свойство Совершенства — быть бесконечным? — воскликнул герцог, вскакивая на ноги и подходя к балюстраде, обернувшись спиной к ночному небу, а погруженным в глубокую тень лицом

310 Б. Спиноза, «Этика», ч. II, «О природе и происхождении души», определение VI: «Под реальностью и совершенством я разумею одно и то же».

к Вандермасту. — Быть чем-то бесконечно желанным, бесконечно недосягаемым, что, даже будучи изведано вдоль и поперек, все так же внушает благоговение и страстное стремление раскрывать все новые его непознаваемые тайны. В самых жгучих красотах, в самых запредельных deliciis[311] его не найти, но и без него все это немыслимо. И один элизий идет за другим, и хотя человек охотно отдаст руку на отсечение, чтобы откупиться от перемены, когда перемена произойдет, он скорее отсечет другую, чем вернется к status quo ante[312].

— Lætitia, — медленно, будто взвешивая каждое слово, проговорил старец, — est hominis transitio a minore ad majorem perfectionem: Удовольствие есть переход человека от меньшего совершенства к большему[313].

— И (в качестве короллария) большее зачастую становится больше, возвращаясь к меньшему. Бесконечные перемены, но бесконечно тождественная загадка.

В очерченном на фоне звезд силуэте его гибкого тела читалось некое не свойственное человеку величие. Вандермаст молча взирал на него, а потом заговорил:

— Лишь только поступив к вам на службу, я заметил в вашей светлости способность как душой, так и телом уяснить глубину следующего мудрого высказывания: Nous connaissons la vérité non seulement par la raison, mais encore par le coeur; c'est de cette dernière sorte, que nous connaissons les premières principes[314].

— Это мудро, — признал Барганакс. — Это и есть истина.

Он уселся на камнях балкона, что были еще теплыми от сиявшего весь день на безоблачном небосводе солнца. Его фигура четко вырисовывалась на фоне неба.

— Наша беседа свернула куда-то в сторону, — промолвил он. — Я-то завел речь о сотворении миров. Если бы я сказал вам, что видел, как один из них был задуман и создан прямо у меня перед носом месяц назад, за обеденным столом, — вы бы поверили?

Доктор Вандермаст помолчал.

— Поскольку это исходит от вашей светлости, что известны мне как

311 Deliciis (лат.) — «утехи», «радости», «наслаждения».
312 Status quo ante (лат.) — «прежнее состояние».
313 Б. Спиноза, «Этика», ч. III, «О происхождении и природе аффектов», Определения аффектов, II.
314 Б. Паскаль, «Мысли»: «Мы познаем истину не одним разумом, но и сердцем; этим-то последним путем мы постигаем первые начала» (фр.).

человек здравых суждений, не склонный к профанации и глупым шуткам, мне надлежит рассматривать ваши слова со всей беспристрастностью.

— Я не сказал, будто видел это. Чем больше я об этом думаю, тем меньше понимаю, видел ли я это взаправду, или же это был какой-то трюк.

— Если вашей светлости будет угодно посвятить меня в детали…

— Лучше не стоит. Я в сущности уже почти забыл об этом, да обстоятельства напомнили. Но вот, что я вам скажу. Когда все закончилось, мне показалось, будто я (и в то же время это было нечто большее, нежели просто я сам, некая смесь меня и его высочества, моего отца, и в смеси этой я был не совсем им и еще в меньшей мере самим собою: так оранжевый цвет не обладает чистотой ни красного, ни желтого, являясь сочетанием обоих)… будто в этом смешанном обличье я прожил в этом мире целую жизнь. Что ж, — произнес он после паузы, — его вкуса я отведал. Но мир этот, если вкратце, оказался сделан из дешевой мишуры, и выносить его, как мне теперь думается, позволяло лишь воспоминание и предвкушение об этом мире. И еще я словно наблюдал снаружи, как проносятся там бессчетные эпохи: сначала это был просто раскаленный шар, потом он остыл. Тысячелетиями в расточительстве, боли и все разраставшейся путанице зарождалась там своеобразная жизнь, пока не появился человек; неспешно сменяли друг друга поколения, менялся, но (по большому счету) так и не становился лучше и род человеческий, подобный нашему. И я стоял, наблюдая за всем этим, вплоть до того звездного часа, которого это искаженное, выхолощенное, никчемное творение, столь похожее на настоящий мир и в то же время столь от него отличающееся, с самого начала ждало и жаждало: до его гибели. Именно тогда та, ради чьей праздной, своевольной и переменчивой фантазии он и был создан, вынула из своих черных волос шпильку, усыпанную анахитскими алмазами и походя коснулась ею пузыря. И от этого укола — пшик! — он исчез, не оставив на столе ничего кроме мокрого пятна в доказательство того, что он когда-либо существовал.

Вандермаст промолвил:

— Одним махом Они творят, одним махом уничтожают.

— Я забыл, почти забыл, — сказал герцог, а потом добавил: — Вот только что я поведал вам все это, господин мой, а теперь все ушло, словно сны, что рассеиваются и исчезают, не успеваем мы проснуться с теми самыми словами на устах: со словами, которыми хотели их описать. Осталось лишь

воспоминание (о, бездонные пучины женских страстей), что той ночью у нее были светлячки в волосах.

— Для человека, — сказал Вандермаст помолчав, — бывает опасно знать слишком многое.

— А для Бога?

— Чтобы быть в состоянии ответить на это с уверенностью, — сказал Вандермаст, — смертному нужно было бы знать слишком многое.

35. Пища как причина[315]

Не написана — см. Замечания (с. 460).

36. Rosa Mundorum[316]

ВЕЛЬВРАЗ Себарм стоит у озера среди апельсиновых, гранатовых, миндальных и персиковых деревьев, в миле к северо-западу от Зайаны, если добираться по воде и в двух милях — если по суше. Этот старинный замок из мрамора медового оттенка выстроен на оконечности длинного серпообразного мыса, что выгибается к югу и весь порос спускающимися к самой воде садами; за замком же простирается дубрава, загораживающая его от ветров с севера. Здесь леди Фьоринда поселилась в июне следующего года, через несколько месяцев после событий, о которых было недавно рассказано. Герцог предоставил замок в ее распоряжение, так как считал, что ей не время сейчас находиться в Мемизоне или гостить у него в Акрозайане.

Было летнее утро, начинало светать. Ночь была душной, и слуги оставили незадернутыми шторы в просторной опочивальне, чьи окна обращены на три стороны: на виднеющуюся на юге за озером Зайану, чьи башни, шпили и коньки крыш в этом полумраке казались не более материальными, чем небеса, на фоне которых они высились, а отражения их едва колыхались от ряби на безмятежной озерной глади; на поросший дубами, кедрами, кипарисами и земляничными деревьями остров Амбремерин, позади которого разливалось сияние заходящей серебристой луны; на восток, на покрытые виноградниками окрестности и на море у Бишфертсхеда. В этих покоях бесцвет-

315 Ср. название главы в «Анатомии меланхолии» Р. Бертона (1621): «Количество пищи как причина».
316 Rosa Mundorum (лат.) — «вселенская роза».

ный отсвет летней ночи, начинавшей отступать перед могуществом не взошедшего пока солнца, частью скрадывал, а частью подчеркивал формы тех или иных предметов: блестящих сфер из лунного камня и огненного опала, что бордюром диковинных фруктов опоясывали полог огромной кровати со столбами из цельного золота, построенной по задумке герцога и при помощи искусства доктора Вандерماста, светильников, бра и висячих канделябров из золота, серебра и хрусталя, картин, врезанных в панели дверей высоких гардеробов, книжных полок между окнами, что были забиты книгами, двух горевших вместо ночников по обе стороны от изголовья кровати курильниц из орихалка[317] филигранной работы, чье сияние смутно озаряло фриз с орлами, фениксами, химерами, сатирами, горгонами, крылатыми быками, козерогами с рыбьими хвостами, водяными ящерами и бабочками, вырезанными в виде горельефов из розового мрамора на переливчато-зеленом фоне. И с исходившим от курильниц ароматом смешивалось благоухание более простое, но в то же время более сладкое и волнующее: дыхание спящей леди.

Она лежала ничком, в невинности своей спящей красоты повернув голову вбок и подложив под нее согнутую в локте правую руку, а левую руку подсунув между нею и щекой. Она спала совершенно нагая, сбросив из-за ночной духоты простыни и одеяла, собравшиеся кучей на полу у кровати. Антея также спала на кровати, свернувшись калачиком в своем рысьем обличье у ног своей хозяйки.

Из садов под западным окном донеслась первая птичья песнь: маленький бестелесный мадригал пеночки, окончившийся нисходящей каденцией. Снова прозвучала она. И на третий раз в нотах песенки стало возможно разобрать человеческую речь: это Кампаспа пела свой утренний гимн Той, что властвует и над ночью, и над днем:

Пробудись, Госпожа!
Вот и ночь отступает,
Нетопырь засыпает,
И сыта уж сова.
Посветлело в полях,
Цветы ночи завяли,
Ворон с призраком стали
Бледной тенью в ветвях.

317 Легендарный сплав, вероятно, золота с медью или золота с бронзой.

Просыпается мир.
Волны в озере плещут,
Лепестки роз трепещут.
Пробудись, наш кумир![318]

При звуках этого пения и от прикосновения холодного носа рыси к своей ноге Фьоринда, тихо пробормотав что-то сонным голосом и все еще пребывая где-то между дремой и пробуждением, перевернулась на спину. С чувственностью распускающего кольца питона она потянулась всем своим расслабленным после сна телом, которое в этот миг обернулось источником света: морская гладь, засверкавшая меж поднимающихся век, Праксителева белизна ее принявших оттенок старой слоновой кости груди, горла, ног и гибких округлостей ее бедер, черное как мех пантеры одеяние тьмы, пылавшее всепожирающим пламенем, в котором черные волны струились одна за другой, затмевая все земные солнца. Ее юность в сочетании с изяществом и силой дикого зверя и голубиной томностью, что наполняли собой все это совершенство, лишенные теней и слабо светящиеся, обернулись той мукой и надменностью красоты, какую великие земные поэты и влюбленные, не удовлетворяясь земными ее заменами, напрягая зрение и чувства, тщились привлечь к себе с Олимпа, подлинного их жилища, где обитают они, не запачканные старением или неподвластными им узами и не служащие каким-либо иным целям, кроме своих собственных. Какое-то время (и были ли это минуты или столетия — вопрос, поиски ответа на который безуспешны) так она и лежала, Та самая, и реальность Ее присутствия здесь, в Вельвраз Себарме, была видима, осязаема, слышима, обоняема и ощутима на вкус.

Поднявшись, наконец, с золотого ложа, Она остановилась в рассеивающемся полумраке, рассматривая в высоком зеркале отражение своего лица и того полнолуния, вида которого не могут долго вынести и глаза Бога: свою бесконечную красоту, что в течение неизмеримой вечности служила путеводной звездой и рефреном отчаянного томления всех сердец. Она стояла там, познавая в себе божество, и все, что не было Ею, потухло, будто пламя задутой свечи: комната, привычные мезрийские окрестности, мягкость бархатного ковра под ее ногами — все обернулось бесформенными руинами и кануло в забвение.

318 Пер. А. Вироховского.

Вдруг под Ее ногами распростерлась неугасающая заря, утро жизни, что древнее всех миров: шафранно-желтая, окрасила она утесы и ледники бледным золотом, отбрасывая в расселины и на снеговые поля прозрачные лазурные тени, прохладная, как поднимающиеся с приходом дня ветры. Из-за вершины горы, на которой Она стояла, показалось солнце, и тень от горы протянулась на многие мили, покрыв собой позолоченные первыми лучами меньшие пики на западе, чьи ближние вершины купались в лимонном сиянии, а более отдаленные — в более бледных и воздушных оттенках, и так хребет за хребтом, до самого дальнего гребня, где на пенном морском побережье Пафоса занимался день. Далеко под Ней проплывали вытянувшиеся и похожие на борзых облака, а их вечно изменчивые тени ползли следом по холмам, взгорьям и глубоко врезавшимся в горы долинам. На фоне сияющей зари исполинской тенью высился Олимп, облаченный в темную как вино мантию загадочности, обрамленную тлевшим по краям малиновым пламенем. Антея и Кампаспа в своих подлинных обличьях нимф преклонили колени перед Ней на девственно чистом снегу. В глубинах, высоко над людскими жилищами (если люди уже появились или все еще существовали) взмыл в утренние небеса кречет, властелин ветров.

А Она, вековечная Афродита, быстроглазая, фиалколонная, смехолюбивая, медово-сладостная, дочь Зевса, Та, ради которой создано все на свете, заговорила:

— Восстаньте, миры сотворенные и разрушенные, и Мне поклонитесь.

Поклонитесь Мне, жены всех миров, мои облаченья, тени Мои в мутной воде. Я — ваша истина. Без даров Моих и света Моего в вас вы ничто.

О, мужи, короли и властители всех времен, герои, мудрецы, великие воины, отчаянные мореплаватели, творцы и созидатели, чьи умы и тела — подобия Его, что сотворил вас, сотворил Себя, и, поскольку без Меня «Бог» осталось бы просто словом, с самого начала подле Себя сотворил Меня, — восстаньте и поклонитесь мне. Восстаньте и, кто осмелится, возлюбите Меня. Но возлюбивший Меня, будь это даже сам Бог, сперва поцелует Мои ноги.

Несметные, будто пылинки в луче света, будто бессчетные волны смеющегося океана, обратились к Ней глаза из всех далей земных, небесных и морских, и пронесшийся ропот был подобен шелесту крыльев многотысячных скворечьих стай.

Она молвила:

— Взгляните (если взор ваш вынесет наготу ваших тайных помыслов) в огненное море Моих очей. Взгляните на уста Мои, кроваво-алые, что одним царственным поцелуем способны выпить душу из вашего тела и вернуть ее настолько пропитанную вкусом Моим, что отныне и до самой смерти будете вы искать Меня, не обретая никогда, но никогда окончательно и не утрачивая. Вплетенные в темноту Моих волос самоцветы — капли адского греческого огня. Легкое как мотылек касание Моей руки способно уничтожать миры и воскрешать из мертвых. Во Мне горькая сладость, могила, колыбель и брачное ложе всех противоположностей, во Вселенской Розе, Черной Лилии, Черном Пламени, что одним взглядом пронзает, обжигает и смешивает воедино дух и чувства. Во всех своих деяниях, во всех самых фантастичных мечтах узрите здесь свою путеводную звезду, тот центр, куда сходятся все нити. Я — Та, что изменяется, оставаясь собой. Множество обличий имею Я и множество нарядов, все тою же девой являясь возлюбленному Моему в черном или красном, в пиках или червах, в непорочности золотых цветов или в золоте ущербных утренних лун. Всему, что было, есть или будет, Я, одна лишь Я, есть причина, цель и последняя панацея. Тот, кто любит, но любит не Меня, любит Смерть. Кто осмелится возлюбить Меня, тот станет Моим, а Я — его, навеки, и, если бы это было возможно, то и после тоже.

Она замолкла, ужасающая, вознесшаяся над всеми мирами, затмившая все прочие светила, даже само солнце.

Позади Нее, на востоке, с противоположной от Пафоса стороны, прозвучал грохот лавины и камнепада. Взметнувшаяся мгла обволокла горную вершину, обрушив на нее ледяной дождь, молнии и грохочущую тьму. В этой пустоте, где нет часов, чтобы отмерять мгновения, время замерло и остановилось.

А потом мгла, рассеявшись, вдруг открыла взору Амбремерин и ясное утро. Фьоринда накинула на свои прекрасные плечи одеяние из воздушного черного шелка, расшитого золотыми, малиновыми и перламутровыми цветами. Две взиравшие на нее в благоговении нимфы все также стояли подле нее на коленях.

Часа через три, около семи утра, проезжавший по мемизонской дороге примерно в миле к северу от Зайаны канцлер заметил на холме ее, сидевшую верхом на белой лошадке, во французском чепце, травяно-зеленом костюме для верховой езды и с соколом на запястье. Увидев его, она начала неспешно спускаться вниз самой короткой дорогой, по крутому каменистому склону, отпустив поводья своей кобылы, чтобы та, будучи ловкой как кошка, сама выбирала путь среди переплетения ползучих рододендронов и волчеягодника и скрытых под ними валунов, пней и старых осыпей.

— Доброго утра тебе, милая сестрица, — произнес он, когда та приблизилась. — Я еду из Сестолы с посланием герцогу от его королевского высочества (да ниспошлют ему Боги вечную жизнь). Вам с ним велено явиться сегодня в Сестолу на ужин.

— Замечательно. Ты уже сказал его светлости?

— Еще нет. Я направлялся в Вельвраз Себарм, полагая застать его там.

— Довольно странная идея. Разве он живет не в Зайане?

— Ну, ведь ваша милость обретается в Вельвраз Себарме.

— Ты завтракал?

— Слегка перекусил.

— Я тоже. Давай позавтракаем вместе, прежде чем ты отправишься обратно в Акрозайану.

Они свернули с дороги и неторопливо двинулись тропинкой, что ведет в Вельвраз Себарм. Их утренние тени, все еще довольно длинные, скользили впереди. Над Зайанским озером поднималось марево, а все окрестности к западу золотились от утреннего солнца.

— Хотела бы посоветовать тебе, братец, — сказала она, — заниматься своей политикой и не совать нос в мои личные дела. У меня тоже есть свои принципы. Я давно уже уяснила, как и господин мой Барганакс (как ты, думаю, наверняка заметил) первейшую заповедь мудрости от ученого доктора: все хорошо в меру.

Некоторое время они ехали молча.

— Как тебе моя соколиха? Разве она не прелесть?

Лорд Бероальд небрежно глянул на птицу:

— Сойдет, чтобы охотиться на грызунов.

Услышав его кислый тон, она быстро взглянула на него своими раскосыми зелеными глазами.

— Твое лицо будто туча. В такое-то утро?

— Может, эта туча из Ререка.

— Просто клуб дыма. Гони его прочь.

— Сегодня соберется совет. По моим последним данным он продолжает стягивать силы к Лаймаку.

— А чего же иного ты ожидал?

— Ничего иного. Я лишь опасаюсь последствий. Пора с этим покончить.

Уголки губ леди дрогнули в подавленном смешке.

— Сохрани меня небеса от времен, когда всем станете заправлять ты и твои друзья. Думаю, ты уничтожишь все выдающееся на свете, если только сможешь, пока оно, не дай бог, не начало представлять опасность и не поранило тебе мизинчик.

— Я человек благоразумный.

— Бог свидетель, если бы этим все и ограничивалось, я бы, наверное, тебя возненавидела.

— В определенных кругах это теперь не диковина.

— В определенных кругах? Ох уж эти юридические экивоки! Это в каких же?

— В самых высочайших.

— Да, знаю, — сказала она. — Оттуда только и жди неприятностей, клянусь небесами.

— Пускай твое милое развращенное сердечко за это не тревожится. Волк себя проявит, вот посмотришь.

— Посмотрю и позабавлюсь.

Канцлер взглянул на нее с сардонической усмешкой.

— Ваша милость не всегда были столь же осмотрительны в устранении неудобств.

— Ты так считаешь?

— Как насчет твоего первого мужа? А насчет второго?

— Фи! — воскликнула она. — То было другое дело, там хоть причина была. Мелкие мерзавцы, таких вокруг что черники, вот им (с твоей любезной помощью, дорогой братец) поделом и досталось.

Он засмеялся:

— Хвали, да не перехваливай, госпожа моя. Когда ты разбиралась с Морвиллем, у меня ты помощи не просила.

Они подъехали к садам, где дорожка к замковым воротам вьется вдоль воды среди величавых золотоглазых маргариток с изогнутыми винно-пурпурными лепестками и жавшегося к земле розового очитка, на чьих похожих на блюдца головках пили нектар и грелись на солнце стайки бабочек. Фьоринда сказала:

— Если собака скалит зубы, это еще не обязательно означает, что она хочет укусить своего хозяина. Мне случалось наблюдать, как мой цепной пес рычит на что-то, чего я сама не могла ни увидеть, ни услышать, не то что почуять. И поскольку мой пес — хороший пес, а я хорошая хозяйка, пусть его рычит. Вполне вероятно, у него есть на то свои причины.

— Весьма убедительный довод. Однако если ему велят прекратить, а он все рычит, то в этом ничего хорошего нет.

— Ох, — промолвила она, презрительно качнув головой, — в эти тонкости я не вникала. Куда девалась вся твоя проницательность, братец? Разве тебе доводилось видеть, чтобы король не преуспел в чем-либо из своих начинаний? Мне ли тебе говорить, что у него достанет сил раздавить того, о ком мы говорим, будто назойливую блоху, если ему вздумается.

— Всем сердцем хочу, чтобы так он и сделал, — сказал канцлер.

— Ну так иди, скажи ему. Думаю, он из тебя повыбьет блох. С тем же успехом ты мог бы просить его раздавить меня!

Подъехав к замку, они увидели герцога Барганакса, сидевшего на мраморной скамье у ворот в беседке из ползучих роз. Их затейливо изогнутые лепестки были окрашены во все те неопределенные оттенки, что лежат меж бледно-желтым и ярко-алым, а запахом их был аромат самой любви. Он сидел, как сидит человек, всецело поглощенный пучинами времени и пространства, почесывая рысь под подбородком и потягивая гипокрас из серебряного кубка. Глаза его весело блеснули, когда он поднялся и, сняв шляпу, пожелал им доброго утра. Помогая ей спуститься с седла, он улучил возможность поприветствовать ее поцелуем в щеку, который она холодно приняла

с напускным высокомерием и капризностью и, когда он попытался вторично поцеловать ее в губы, проворно увернулась.

Спешившись, канцлер наблюдал за этой сценой с ироничным равнодушием.

— Удачная встреча, господин герцог, — сказал он, когда конюхи увели их лошадей. — По распоряжению его высочества мне надлежало поговорить с вашей светлостью, пригласив отужинать с ним сегодня в Сестоле: это будет прощальное пиршество перед их отъездом на север, в Риалмар. Вы сегодня, несомненно, будете на совете?

— Боюсь, что нет, господин мой.

— Как жаль. Если мы хотим чего-то добиться в этом деле, нам потребуется ваш искусный ум.

— Я высказал свои соображения королю и получил от него разрешение в этот раз не участвовать в совете. По правде говоря, у меня сегодня и без этого полно дел. Что же до ужина, прошу вас передать, я со всем почтением целую руки его высочества и охотно принимаю его приглашение.

— Так и сделаю.

— Странно то, — промолвила Фьоринда, — что я тоже приглашена.

Она уселась на скамью, будто грациозная лилия, что с каждым дуновением воздуха наполняет все вокруг своим благоуханием, излучая обольстительное и будоражащее чувства изящество в каждом по-кошачьему ленивом движении и притягивая к себе взор герцога.

— Что тут странного? — спросил он, взглянув на нее. — Я считал это само собой разумеющимся.

— Что привело вашу светлость сюда в этот утренний час.

— Безделье, — отозвался тот, пожав плечами. — Отсутствие более важных занятий. Да, и раз уж я вспомнил, у меня письма для вашей милости с поздравлениями с вашим двадцатым днем рождения, — с этими словами, повернувшись к столу у скамьи, на которой сидел, он вынул пергамент и вложил его в ее руку.

Она развернула его и принялась с любопытством просматривать, и нежный румянец начал медленно заливать горделивую белизну ее щек.

— Как щедро со стороны вашей светлости, — сказала она. — Глубоко признательна. Но все же я не могу это принять.

— Вы же не будете столь нелюбезны, чтобы вернуть мне мой подарок.

— Нет, в самом деле, я не приму его. Разве вы не помните, что сказал поэт?

Богач подарками скует
И сделает рабой.

Бероальд подхватил:

— Но много ль толку от свобод,
Коль кавалер скупой?[319]

Барганакс покраснел до кончиков ушей.

— К дьяволу ваши дурацкие стишки, — воскликнул он. — Я же дарю вам это от чистого сердца, из любви и дружбы. Так это и воспринимайте.

Она передала свиток своему брату, который прочел вслух:

— «*Акт дарения в пользу леди Фьоринды, получающей в неограниченную собственность замок Вельвраз Себарм и окрестные земли в королевском апанаже и герцогстве Зайана*». Что ж, это и впрямь царская щедрость.

— Хорошо, — промолвила леди, пригибая к себе, чтобы понюхать, цветок розы и наблюдая за герцогом из-под угольно-черной завесы опущенных ресниц. — Чтобы не обижать вашу светлость, я приму его. Дай-ка мне, братец… вот так. А теперь, — продолжала она, обращаясь к герцогу, — я вручаю его вам обратно с теми же почтением и любовью в знак моей преданности вашей светлости.

— Не злите меня! — крикнул тот, выхватывая пергамент и швыряя его, скомканный, на землю. — Это неслыханно! Стоит мне сделать прекрасной леди подарок, как его бросают мне в лицо, как будто это куча навоза или грязи.

— Дорогой мой господин, вы все переиначиваете, я совершенно не имела этого в виду. Не гневайтесь на меня, особенно сегодня. А перед завтраком это и вовсе нехорошо.

Мгновение он хмурился, а потом вдруг расхохотался.

— И нечего надо мной смеяться. Пойдемте, — сказала она, поднимаясь и вкладывая свою руку в его божественным жестом, который одновременно молил о прощении и великодушно даровал его.— Пойдемте, прогуляемся, пока накрывают на стол.

Когда они остались одни, она заговорила, глядя на унизанные драгоценностями пальцы своей покоившейся на его рукаве руки, что красотой была

319 Дж. Донн, «Идеальный предмет» (пер. Г. Кружкова).

подобна сонной белой лилии, но вместе с тем и была исполнена спящей угрозы; так руки зачастую выдают нравы и душевные черты их обладателя:

— Думаю, я с подозрительностью отношусь к серьезным и роскошным дарам. Не мелким подаркам вроде драгоценного камня, лошади, платья, книги — это как раз невинные безделицы, что лишь украшают собой любовь. А вот более серьезные вещи…

— О, моя мадонна, — промолвил Барганакс, — в вас гордыня архангела. Но что мне за дело? Наверное, даже если сам Бог предложит вам лен в небесах, вы и тогда не соизволите принять его.

— Но, — возразила она, и интонации ее голоса, пронизанного летом, ленивого, томного, приходились в такт с их шагами под сенью гранатовых деревьев, — разве мы с вами не отдали все? Тело и дух — все это вы отдали мне, а я вам уже почти год назад?

— Всем своим сердцем (хоть я и не уверен, стоит ли это говорить) отвечаю на это «да».

— Если говорить начистоту (а сейчас, быть может, как раз пришло время это сделать), я живу в этом доме, гуляю по его окрестностям и садам, радостно и беззаботно — и почему же, друг мой? Потому что они принадлежат вам, и, по этой самой причине, принадлежат и мне настолько, насколько это требуется. Ведь разве весь этот бескрайний мир, а также и небесные чертоги (если они существуют) не наши с вами? Не ваши, и не мои, но наши? Разве не выгравировано на кольце, что вы подарили мне, НМЕТЕРА — Наше? Единственное число женского рода — это я, я наша. Множественное среднего — все остальное, все это наше. И, принадлежа вам, Вельвраз Себарм тем милее мне, что в еще большей мере ваша, нежели он. Разве биение моей крови и мое дыхание не привязывают меня к вам бесконечно сильнее, нежели если бы мы двое имели одно тело, один дух, и были бы неразделимо едины? Ведь жизнь в одиночестве, взаперти, в обладании лишь собой, не несет в себе ни обладания, ни богатства, ни удивительного волшебства взаимного удовольствия и любви. Это скорее похоже на тюрьму.

Герцог не вымолвил ни слова; воцарившаяся тишина, казалось, повелевала хранить молчание, дабы чары не рассеялись.

— Но то, что уже даровано, — продолжала она, — и даровано (как и следует быть) с тем безрассудством, необдуманностью и свободой, с какой должен дароваться поцелуй… пытаться теперь связать все это бумагами

и печатями — в такое трудно поверить. Как будто бы вы подумали: «*Однажды так случится, что она уйдет к другому. Или выйдет так, что я найду (ведь я и сам в самом расцвете своей молодости и уже привык к разнообразию) другую возлюбленную. И…*»

— Довольно этих богохульств, — сказал герцог, взяв себя в руки, но еще словно сдерживая в себе волка. — Не гневите Бога.

— Нет уж, вы меня выслушаете. «*И поскольку я все еще беззаветно люблю ее*», — могли бы сказать вы, — «*подарю ей это роскошное поместье, подарю и больше, если потребуется, и пускай щедрость моя будет моей сводницей, пускай околдует ее, привяжет ее к моей постели*». Боже сохрани, неужели вы думаете скрепить нашу связь богатыми дарами?

— Хватит, ради Бога, — взмолился он. — Это все непотребные выдумки, дикая ложь, и в глубине души вам это известно. Зачем же вы мучаете меня?

И, стиснув зубы, он накрыл своей ладонью ее ладонь, что залогом ее всепроникающего присутствия покоилась на его локте, будто не желая отпускать ее.

Они неторопливо шагали, не произнося ни слова, лишь беззвучно шептались их умы, что общаются посредством прикосновения руки к руке. Потом Фьоринда сказала:

— Пора возвращаться. Мой уважаемый братец сочтет странным, что мы оставили его столь надолго в компании одних лишь накрывающих на стол слуг.

Когда они поворачивали назад, их глаза встретились в некоем наполовину радостно, наполовину неохотно принятом взаимно пакте вернувшегося согласия, как будто заметили друг в друге эту настороженность и сочли ее поводом для скрытого веселья. Герцог промолвил:

— Вы недавно говорили о знаке вашего почтения ко мне. Есть и более подходящий способ это доказать, если, конечно, вашей милости и в самом деле этого хочется.

— О, давайте не будем торговаться из-за доказательств.

— Память подсказывает мне, что я приехал сюда просить вас оказать мне честь, отужинав со мной.

— Сегодня?

— Я всей душой желал бы, чтобы это произошло именно сегодня, госпожа моя.

— Ну так смотрите, как фортуна исполняет ваши желания еще до того, как вы их выскажете. Мы ужинаем вместе в Сестоле.

— Это не совсем то, чего бы мне хотелось.

— Вашей светлости нелегко угодить.

— Что же тут особенного? Это еще одна наша общая черта.

Голова леди склонилась в ленивом созерцании своей похожей на лилию руки, что подобно греющейся в теплых солнечных лучах змее возлежала на его локте. Ее губы, шевелившиеся в некоем невысказанном, непризнанном, быть может, согласии, были словно смешанная с медом горечь. Под котарди, что облегало ее от шеи до бедер так же плотно, как перчатка руку, вздымались греческие прелести ее грудей, подобные безмятежно волнующемуся летнему морю или двум устроившимся под крышей голубям. Герцог заговорил:

— Дозволено ли поинтересоваться, где ваша милость намеревается сегодня провести ночь?

— Воистину, в постели, я надеюсь. А ваша светлость?

— На небесах — такова была моя отчаянная надежда. Это решать не мне.

Пальцы лежавшей на его локте руки едва заметно шевельнулись, словно прикосновение сильфа.

— Так что же? — спросил он.

— Не томите. Я не в настроении принимать решения.

Он тихо прошептал ей на ухо:

— Сегодня все, что не небеса, есть ад. Вы хотите, чтобы я ночевал в аду?

Обольстительный и насмешливый дух выглянул из уголков ее уст.

— Ужасно бестолковое замечание. Нет уж, я не в настроении ни соглашаться, ни отказываться. Прошу вас, не просите меня более.

Он остановился и замер, глядя на нее.

— Ваша милость, верно, дочь самого Сатаны из ада. Что ж, ничего не поделаешь, пойду.

— Надеюсь, не рассержены? — протянула она руку.

— Рассержен? Ваше тело и ваша красота столь давно околдовали меня, что я более неспособен найти удовлетворение, даже гневаясь на вас.

— Хорошо, давайте тогда примем подобающий вид перед окружающими и перед моим братом. Изобразите доброжелательность. Молю вашу светлость, поцелуйте мою руку, а то он удивится.

— Вы невозможны, — промолвил он.

Он поднес ее теплую руку к своим губам; она коснулась пальцем его ладони, а потом замерла. То создание все следило за ним из уголков ее губ, от его хитрости и насмешливости наполнялось слабостью тело, дурманились чувства и кружилась голова.

— Невозможны, — повторил он, глядя в ее широко раскрытые глаза, уже не улыбающиеся, спокойные, прикованные к его глазам, эти очи утра, и упиваясь беспрестанным рождением и перерождением сливающихся, сочетающихся и противоборствующих совершенств на ее полном удивительной как море и неуловимой красоты лице, чья темная притягательность все росла в лучах солнца. — О, ужасная, роковая женщина, — сказал он, — и почему я люблю вас?

— Не потому ли, — отозвалась она, и от приглушенной и ленивой музыки ее голоса, наполнявшей воздух вокруг него сладостью ее дыхания, его бушующие чувства запылали пламенем преисподней. — Не потому ли, что для вашей светлости, к кому все, кого бы вы ни пожелали, являются подобно спаниелям, любовь ко мне — единственная вещь на свете, которой вы не способны распоряжаться?

37. Завещание энергейи[320]

ВЛИЖЕ к вечеру того же дня приехавшие на совещание в Сестолу несколько раньше назначенного срока канцлер и граф Родер ожидали в просторной каменной галерее, что служила там вестибюлем, пока их соизволит принять король.

— Следует ли под этим понимать, что ей запрещено участвовать в совещании? — спросил граф.

— Это слишком сильно сказано.

— Прошу, объяснитесь.

— Пташка напела мне на ушко, что его высочество милостиво освобождает ее сегодня от необходимости присутствовать, причем по ее же просьбе.

— Это нам на пользу или во вред?

Лорд Бероальд пожал плечами.

320 Энергейя (др. греч. ἐνέργεια) — один из вариантов реализации способности по Аристотелю, примерно переводится как «деятельность».

— Вы полагаете, это не к добру? — спросил Родер.

— Я полагаю, не слишком важно, будет ли ее высочество присутствовать или нет. Однако я бы предпочел, чтобы она оставалась на севере. Тогда бы и мы сидели в Зайане, а не в этой каменной берлоге Сестолы, которая больше напоминает могилу, чем место обитания живых людей, — он окинул брезгливым взглядом высокие стрельчатые окна, чьи проемы, довольно большие и широкие изнутри, сужались кнаружи до щелей в высокой стене: это были скорее бойницы, чтобы обстреливать атакующих снаружи, нежели окна, чтобы освещать галерею.

— За прошедшие двенадцать месяцев мы уже привыкли к странным поступкам, — проговорил Родер.

Тонкие губы Бероальда под коротко подстриженными усами сжались, а линии ноздрей окаменели.

Родер продолжал:

— А известно ли вам наверняка, в какую сторону она склоняется в этом нынешнем вопросе?

— Нет. И не особо стремлюсь узнать. Странно, что меня спрашивает об этом ваша светлость, что куда больше посвящены в ее дела, нежели я был когда-либо.

— В последнее время она ведет себя со мной как-то необычно, — сказал граф. — Чересчур добра, улыбается мне, говорит ласковые слова. Я начинаю опасаться, что его высочество охотнее прислушивается к ней, нежели к нам.

— Этого опасаться ни к чему.

— Да? Что ж, так или иначе, я рад, что ее на этой встрече не будет. Боже упаси нас от женщин на наших военных советах; я никогда не умел спорить с женщиной. К тому же я не доверяю волчьим повадкам Парри. А волчица всегда была свирепее волка, она более неукротима и непредсказуема в своих действиях. Ваша светлость хмурится? Я что, что-то не так сказал?

— Слишком громко. У стен есть уши.

— Верно. Но обыкновенно считается, что уши эти — ваши, господин канцлер, — граф вытянул над головой руки со сжатыми кулаками, разогнул пальцы и зевнул. — Мой меч ржавеет в ножнах. Мне это не по душе. Что там слышно от ваших ищеек?

Бероальд похлопал по пачке депеш у себя подмышкой:

— Обо всем узнаете в свой срок, господин мой.

— Нет-нет, я и не ищу особых любезностей. Раз так, хорошо. Подождем, пока вы с ними разберетесь, — он метнул быстрый взгляд в лицо канцлера. — Мы с вами по-прежнему заодно? Я имею в виду, по основному вопросу?

— Разумеется.

— Полагаете, адмирал нас поддержит?

— У нас лишь одна цель, — ответил Бероальд. — У всех троих.

— Да, но важна и готовность действовать. Что толку целиться, если выстрела так и не последует? — потом после паузы он продолжил: — Я бы так хотел, чтобы теперь приехал герцог.

Бероальд искривил губы:

— Какой герцог?

— Не Зайанский.

— Я так и понял, — сухо произнес тот.

— Я ведь уже подробно рассказывал вашей светлости о наших беседах с герцогом Стиллисом в Риалмаре. Парня немного задело то, что о нем позабыли, когда на юге кипит этот котел.

— Давно уже стало ясно, — сказал канцлер, — эти двое тем лучше ладят, чем дальше друг от друга находятся. Как бы там ни было, сегодня никаких герцогов. Лорд Барганакс отпросился у короля.

— Рад это слышать.

— Госпожа герцогиня, — бросил Бероальд, — прибыла в Зайану сегодня.

— Стало быть, король будет ночевать там?

— Весьма вероятно.

— Ну вот и покутили после ужина, да? — промолвил граф, заскрежетав зубами. — Женщины. Все это из-за женщин. Если бы не они, у нас было бы куда меньше забот.

— Mala necessaria[321].

— Ох, если вы намерены сыпать юридическими терминами, я глух как камень.

— Я лишь указывал на следующее, господин мой: где были бы мы с вами без женщин, нас породивших?

Родер обернулся на донесшийся от порога звук:

321 Mala necessaria (лат.) — «необходимое зло».

— А вот и господин верховный адмирал.

Они повернулись ему навстречу. Он шел к ним по галерее, низко склонив голову, будто погруженный в свои мысли.

— Доброго вам вечера, — сказал он, подойдя, и его взгляд, чистый, словно ясный день, устремился сначала на канцлера, а затем на графа. — Сегодня мы, надеюсь, достигнем, наконец, какого-то решения в этом щекотливом и запутанном вопросе. А вы, господа, не придумали ли какого-нибудь нового способа его распутать?

— Раз уж относительно цели мы все заодно, — отозвался Бероальд, — найти средства не должно быть так уж трудно. Ваша светлость говорили об этом еще с его королевским высочеством?

— Ни разу с прошлого вечера, когда мы с вами виделись. Я весь день провел в море по делам флота. Что бы от нас ни потребовалось, с судами теперь полный порядок. А вы, граф?

— Мои люди столь замечательно подготовлены, — ответил тот, — что скоро начнут гнить изнутри, как перезрелый сыр, если им как можно скорее не представится возможность проявить свою доблесть.

— Я полагаю, вы доложите обо всем королю от лица всех нас, господин адмирал? — промолвил канцлер. — Его высочество лучше всего воспримет это из ваших уст. К тому же вы среди нас — primus inter pares[322]. И я надеюсь, у вас хватит решимости действовать. Необходимо выкорчевать этот куст крапивы, пока не стало слишком поздно.

— Да, да, — проговорил Иеронимий, теребя свою бороду. — В этом деле нам понадобится весь наш ум. Вместе с тем, глупо было бы забывать, что все сводится к политике короля, которую он проводит всю свою жизнь. Возможно, в этом единственном случае он и неправ, и если это так, то нашим долгом является сказать ему об этом в лицо. Но до сих пор, и в не менее важных вопросах, когда умудренные опытом люди считали, что он ошибается, он все переигрывал и выставлял их на посмешище, несмотря на все их старания. Так что нам придется как-то отыскать верный путь. И, имея советником короля, мы вполне способны это сделать.

Граф слушал его, и его шея раздулась и покраснела, как у индюка, также как налилось бунтарской краской и его лицо, где его не скрывали завитки черной бороды и волос. Горделивое и обветренное лицо лорда Бероальда

322 Primus inter pares (лат.) — «первый среди равных».

было еще более непроницаемо спокойно, чем прежде. Их взгляды встретились. В тот миг, когда адмирал замолчал, справа от них распахнулась дверь и из зала для совещаний появилась королева, такая же багровая как Родер, но с выражением лица столь же непроницаемым, как и у канцлера.

Даже теперь, когда для нее задули ветра старости, еще не со смертоносной, но уже с достаточной мощью, чтобы она убрала паруса и приготовилась плыть по воле волн и ветра, что, неторопливо набирая силу, гонит без разбора большие суда и хлипкие лодчонки к тем отвратительным безлесным берегам, откуда никто еще не выходил в море против этого ветра и этих волн: даже теперь, в это ноябрьское ненастье своих лет, давно утраченная юность и великолепие — неутрачиваемые, несокрушимые, неуничтожимые — продолжали жить в ней. Почти можно было поверить, глядя, как она стоит в льющихся из дверного проема позади нее лучах теплого вечернего солнца, что за последние несколько недель, после двадцати пяти лет изгнания, она вернула молодость своему телу, испив изобильного и чудесного волшебства мезрийских высокогорий, над которыми она так много лет назад воцарилась благодаря своей почти мужской воле. Все мечты и устремления ее отца воплотились здесь, в этой его любимой дочери, и печать той же самой холодной и непререкаемой безжалостности, еще более чистой и неприкрытой, чем у Эммия Парри, была в этот миг на ее устах.

Она взглянула в лицо графу, чей еле сдерживаемый гнев служил отражением, неясным, быть может, некоей бушующей в ней самой страсти; в лицо канцлеру, что своим каменным выражением весьма напоминало в этот миг ее собственное; наконец, в лицо верховному адмиралу, которое не отражало (из ее качеств) ничего. Они поклонились ей, а Родер, опустившись на колено, поцеловал ее руку.

— Король готов, — бросила она, будто обращаясь не к лордам, но к дворовым собакам. — Можете входить.

Король Мезенций ждал их в просторном увешанном шпалерами помещении. Сквозь распахнутые западные окна позади него лился солнечный свет. Повинуясь его жесту, лорды заняли места по другую сторону стола, лицом к нему: Иеронимий посередине, Бероальд справа, Родер слева. Они выложили свои бумаги. Больше в покоях никого не было. Стол перед королем был пуст, на нем не было ни пера, ни чернильницы, ни бумаги.

— Я созвал этот совет по вашей просьбе, — промолвил он. — Не бой-

тесь, высказывайте, что у вас на уме. Не сглаживайте углов и ничего не утаивайте. Дело, как я понимаю, касается Ререка.

Адмирал прочистил горло:

— Господин король, не стоит и говорить, что нами движет лишь один помысел и одна цель: оставаться и во сне и наяву верными и преданными слугами вашего высочества и по вашему велению и соизволению делать все (в пределах наших возможностей), чтобы обеспечить безопасность Тройственного Королевства и всеобщего благополучия в нем.

— И впрямь, не стоит об этом говорить, — сказал король. — Я это знаю. Так переходите же к делу, дорогой мой господин адмирал. Что там с Ререком?

Адмирал помедлил; так мог бы медлить на высоком обрыве перед прыжком пловец. Его пальцы теребили драгоценный камень королевского ордена гиппогрифа, что свисал на малиновой ленте с его шеи.

— Для меня, господин мой, — произнес он наконец, — столь же тягостно в некотором роде побуждать ваше высочество любезно уделить внимание этому делу (хоть я и считаю это насущно необходимым), сколь радостно было служить вам и разделять вашу судьбу с младых ногтей, наблюдать ваше беспримерное вознесение посредством мудрости и могущества к тому тройственному трону, который воздвигли для себя вы сами и равного которому не помнит история, так что даже в народе эти времена стали называть не иначе как Pax Mezentiana. И так уж приключилось, что я родился и воспитывался рядом с вами, имея честь пользоваться вашими мудрыми советами дольше, нежели кто-либо из доживших до наших дней моих ровесников, пусть даже они, я совершенно уверен (если не считать этого преимущества от бытности посвященным в ваши самые глубинные замыслы) — куда более достойные люди, чем я. Посему я буду осторожен… — тут канцлер заерзал в кресле, а склонившийся над бумагами Родер заслонил глаза ладонью, будто желая защитить из от солнечного сияния. — …Я буду, в некотором роде, осторожен в высказываниях, в особенности в этом вопросе, который касается…

Король улыбнулся:

— Ну же, благородный Иеронимий, мы ведь друзья. Я вас не съем. Вы ведете речь о том, что наместник — мой не столь уж дальний родич, и что я абсолютно сознательно и по причинам, вероятно, вполне очевидным для тех, кто посвящен в мои планы, как вам начинает казаться, слишком уж отпустил

его поводья. С этим понятно. Вы явились сюда не для того, чтобы сказать мне (или узнать от меня) об этом. Так что же дальше?

— Благодарю ваше высочество. Если быть кратким, то у господина канцлера есть донесения из различных не зависящих друг от друга проверенных и надежных источников о том, что (несмотря на ваше прямое предупреждение с требованием распустить свою армию) он стягивает силы к Лаймаку. Если вашему высочеству будет угодно взглянуть на доказательства, — тут он повернулся к канцлеру, который, поднявшись из-за стола, разложил на столе перед королем множество писем.

Но король отодвинул их в сторону.

— Мне об этом известно. Если бы они доносили иное, это была бы неправда. И что теперь? Вы хотели посоветовать мне принудить его к исполнению моего приказа?

— Во всяком случае, показать ему кнут.

Король окинул взглядом бумаги, а потом, медленно и задумчиво подтолкнув их через стол к Бероальду, покачал головой:

— Он ни за что не нападет на меня. Эти приготовления направлены не против меня.

— Если не против вашего высочества, — сказал Родер, — то против кого же еще?

— Против грядущего. Оно неведомо, и он благоразумно его опасается. Если он оглядится по сторонам, то обнаружит множество могущественных врагов.

— Это верно, господин король, — промолвил Бероальд, — и я со своей стороны не стал бы его за это упрекать. Можно сказать, лишь ваше высочество только и стоит между ним и всеми ими, мешая им объединиться и избавить мир от него. Злые языки даже говорят… — он замолчал, а потом спросил: — Будет ли вам угодно, чтобы я говорил напрямик?

— Более того, я приказываю.

— С глубочайшим почтением. Есть такие, кто бормочет, будто ваше высочество играет с огнем, который в конце концов спалит их жилища; они считают, что вам следует защищать их, а не позволять этому человеку жиреть, распоясываться и в свой срок пожрать нас всех. Они не забывают о чудовищных зверствах, учиненных им средь мала и велика, в том числе

среди невинных (чего никто и не отрицает), под предлогом подавления мятежа в Марке пять лет назад.

— А разве не надлежало его подавить? — спросил король. — Разве это не было его долгом? Вы же не ребенок, Бероальд. Вы там были. Мне ни к чему говорить вам, что за все время вашей жизни королевство ни разу не находилось в большей опасности, нежели когда мы с адмиралом и основной частью моих войск застряли в беспощадной и непредсказуемой стычке с Аккамой на дальнем севере, а Валеро, подчиняясь дьявольскому соблазну, и своей собственной злобной воле и амбициозным устремлениям, поднял чудовищный мятеж против моего господства и владычества. Чья еще сильная рука, как не одного лишь Парри, могла покарать этих злостных и вероломных смутьянов? Это послужило хорошим примером всем тем, кто впоследствии мог помышлять о подобном же злодеянии. Не пролив крови, победы не одержишь. И вам достанет дерзости усомниться в том, что я наградил его по праву?

— Господин король, вам известно, что я думаю по этому поводу, — ответил канцлер, — также как знаете вы и о моей любви и преданности.

— Но ведь вы думали, что я не вернусь из Середова Луга год назад?

— Я думал, что не вернемся ни ваше высочество, ни я сам. Однако нужно ли мне напоминать вам, что вы вопреки моей воле заставили меня дожидаться вас, в то время как сами отправились в это логово василисков в одиночестве?

— Но ведь это сработало?

— Сработало. По одной лишь причине: потому что (хвала небесам) вашему высочеству это оказалось под силу. Будь это кто-либо другой, наш ли современник или величайший герой с начала всех времен, — это была бы его верная смерть. И в душе, господин мой, вы знаете это лучше меня.

— По правде говоря, так оно и есть, дорогой Бероальд, — сказал король. — И, памятуя об этом, вы вполне можете доверять мне сейчас в этом намного менее опасном деле.

Воцарилась тишина. Иеронимий поймал взгляд короля.

— Я бы добавил лишь одно, — сказал он. — Ни один человек в Трех Королевствах не доверил бы ему и гроша, не будь здесь вашего высочества.

— Однако же я здесь, — отозвался король. — Вы спокойно можете оставить его мне.

Снова наступила тишина. Ее нарушил адмирал, по-собачьи преданными глазами глядя на своего повелителя и, быть может, находя уверенность в полунасмешливых искрах, что солнечными бликами на водной глади вспыхивали и гасли в глубинах той всепоглощающей, всепрощающей и самодостаточной убежденности, что взирала на него в ответ:

— Убереги нас от этого Бог, но мы подвели бы ваше высочество, промолчи мы, не имея храбрости добраться до сути.

— И суть эта..?

— В том, что все люди смертны.

Король рассмеялся. Это был смех олимпийского бога, от которого сам воздух в комнате стал пьянящим и свежим.

— Да ну, — промолвил он, — вы говорите так, будто не было предпринято никаких мер. Здесь, на юге — вы трое; Боденай и дюжина других, опытных полководцев и советников, помогают юному королю в Риалмаре; Эркель с Арамондом в северном Ререке; Барганакс в Зайане. Неужели все они в час испытаний окажутся растяпами и олухами, перессорившимися между собой? Разве флот беспомощен? Или армия, Родер?

— Когда надвигается шторм, а румпель в руках юнги, — сказал адмирал, — добра не жди. Тут нам понадобится все наше умение.

— Позвольте мне рассеять ваши сомнения, — сказал король. — Когда я уйду, королевство достанется не ватаге простофиль и бездельников, но настоящим мужчинам. Герцог Ашерийский, законный наследник, за ним присмотрит. Ему потребуется вся его мудрость, также как и ваша. Я ознакомил его со всеми деталями этим летом, перед тем как отправиться на юг.

Иеронимий проговорил:

— О герцоге Зайанском также нельзя забывать.

— У него есть его апанаж. Он не помышляет о том, чтобы замахнуться на нечто большее, чем то, что ему принадлежит. Вы можете доверять ему, как если бы он был моим более молодым «я»: он будет верен и предан своему младшему брату (постольку, поскольку у мальчика достанет мудрости и великодушия играть свою роль), а если Стиллис умрет, будет столь же верен и предан своей младшей сестре, которая станет тогда королевой. Позвольте мне также напомнить вам, что власть его простирается не только на земли, реки, озера и людей, но куда дальше. В военном лагере и в зале для совещаний обучал я его всем умениям, которыми должен обладать монарх, но в сердце

своем он поэт и художник. То, что для Эммия Парри было побочной темой в симфонии, для Барганакса — главная тема. Он рожден и вырос в Мезрии. Если его оставят в покое, то и он оставит в покое. Однако, — продолжал король Мезенций, глядя на них, — он мой сын, а потому человек, которого не стоит высмеивать и дразнить. Если потребуется, в нем есть все те качества, что позволят ему, если уж он единожды вступит на этот путь, одолеть любого, кто покусится на принадлежащее ему по праву… Итак? — промолвил он, наблюдая за тем, как они сидят перед ним с выражением лиц людей, чья ноша начинает казаться тяжелее, чем позволяют им нести их силы. — Не говорите мне, что вы не те, кем я вас считал.

Канцлер расправил грудь и решительно взглянул сначала на короля, потом на своих соратников, потом снова посмотрел на короля.

— Со всем смирением, — произнес он, — и, полагаю, что выражаю мысли этих лордов, так же как и свои мысли: ваше высочество не сказали нам ничего нового и лишь подкрепляете довод о том, что было бы благоразумно предпринять что-либо с целью ограничить могущество наместника. Если (Боже упаси) однажды нам выпадет в отсутствие вашего высочества взвалить на плечи этот мешок противоборствующих интересов, то это будет и впрямь тяжелая задача, хотя и не настолько тяжелая, чтобы мы попытались уклониться от нее или усомниться в своей способности (с помощью небес) исполнить ее так, как это угодно и как того ожидает от нас ваше высочество. Но если мы позволим наместнику и дальше укреплять свое могущество, устроившись в самой середине королевства, следя за каждой нашей размолвкой и будучи готовым в любой момент наброситься на нас, то окажемся ничем не лучше… — он осекся, встретившись с устремленным на него внимательным, задумчивым, взвешивающим взглядом короля, вскинул голову, подобно боевому коню, и сжал челюсти. — Что толку спорить дальше? — холодно промолвил он со сталью в голосе. — Я слишком много раз следовал за вашим высочеством в пасть к смерти, чтобы убояться этого.

Слушавший его король, безмятежный, отстраненный и совершенно спокойный, не шелохнулся. Лишь когда его серые в крапинку глаза будто случайно обратились на Бероальда, взгляд их был дружелюбным.

— Если дозволено будет спросить, — заговорил адмирал, — было ли все то, что ваше высочество соизволили изложить нам касательно его светлости герцога Зайанского, разъяснено герцогу Стиллису.

Король ответил:

— Да. Он удовлетворен. К тому же, он поклялся мне в том, что будет уважать права своего брата и чтить мою волю.

— А герцог Зайанский? — спросил Родер. — Он тоже поклялся?

— В этом не было нужды.

Лорды принялись собирать свои бумаги.

— Следует ли нам считать взвешенным решением вашего высочества, — спросил Бероальд, — ничего не предпринимать относительно Ререка?

— Он сохраняет за собой наместничество, — отозвался король. — Не более. Не менее. Возможно, мне и придется как-то одернуть его за то, что он собирает армию тайком. Господа Иеронимий и Родер, подготовьте к завтрашнему дню ваши предложения (и будьте готовы привести их в исполнение в кратчайшие сроки) по какой-нибудь демонстрации силы поблизости от Кессарея и Марки.

С этими словами он поднялся, больше похожий на мужчину в расцвете молодости, нежели на человека пятидесяти четырех лет.

— В отдаленном будущем, — произнес он, оборачиваясь к ним, — а именно, когда мое время истечет, я не предвижу с его стороны смертельной опасности, если только север и юг будут твердо придерживаться права наследования. Если они этого не сделают, это уже будет не мое дело, но дело того, кому достанет мужества справиться с ним. А пока вы занимайтесь своими делами, а я своими.

— Что вы обо всем этом думаете, господин канцлер? — спросил адмирал, когда они пересекали огромный четырехугольный двор крепости.

Лорд Бероальд ответил:

— Я думаю, что прилив, начавшийся год назад, достиг своей наивысшей точки. И, будь это обыкновенный человек, а не наш король, я бы решил, что он обречен.

— Мы и прежде проходили с ним меж сталкивающихся скал, — сказал адмирал, — и на каждом галсе его рискованный курс оказывался безопаснее, нежели нашептывали нам наши собственные страхи. Я не вижу иной мудрости, кроме как и сейчас поступить так же.

— Выбора нет. А вы, господин Родер?

— У нас нет выбора, — пробурчал тот в ответ. — Но ничего хорошего из этого не выйдет.

38. Крик вороны

ВАМЕТИВ из окна возвращающихся с совета лордов, королева Росма отправилась на поиски короля. Она обнаружила его сидящим в одиночестве в опустевшем зале, но не в своем кресле, а на каменном подоконнике. Он, по-видимому, был настолько погружен в свои мысли, что ни движением, ни взглядом не показал, будто заметил, как отворилась и затворилась дверь и как она застыла в ожидании. Чуть погодя, она подступила поближе:

— Господин мой, если позволите, я бы хотела переговорить с вами с глазу на глаз. Если сейчас неподходящее время, прошу, назначьте иное.

Король Мезенций обратил на нее свой взор и минуту разглядывал ее, как мог бы затерявшийся в безднах раздумий человек разглядывать любой попавшийся на глаза предмет, будь то стол, стул или тень в освещенной солнцем комнате.

— В другой раз, — сказала она. — Пусть, если так будет лучше. Полагая, что мысли вашего высочества заняты прошедшим советом, которого касается и это, я сочла случай подходящим. Но дело это может и подождать. Я лишь надеюсь, что ждать не придется слишком долго.

По-прежнему глядя на нее, он будто вернулся на землю. Его лицо прояснилось.

— Давайте сейчас, госпожа моя. Этот раз или другой — я в этом отношении подобен креслу цирюльника, которое подходит для любого зада. Однако же, — он усмехнулся ей, хотя и невесело, — мне кажется, я покуда не самая подходящая компания для порядочных и воспитанных леди, — он поднялся и с наигранным, театральным подобострастием склонился поцеловать ее руку. — Только не здесь. Если я не подышу перед ужином свежим воздухом после всего этого, то взорвусь. Пойдемте, я покатаю вас по заливу; поищем разнообразия пред лицом открытого моря, раз уж скудная суша им не отличается. Накиньте свою мантию, старая добрая подруга по опостылевшему ремеслу. Когда мы будем проплывать над морскими пучинами и лишь береговые птицы смогут подслушать нас, тогда все и выскажете; я вас не утоплю. Вижу, вы

пришли подготовленной. Нет, не для утопления, для разговора начистоту. Вы накрасились, чтобы не допустить предательства.

— Право, господин мой, не понимаю, о чем вы таком говорите. Какого еще предательства?

— Речь об иной краске, что так идет вашим щечкам. О румянце смущения.

Они спустились к прибрежным воротам. Перед ними в вечерней прохладе расстилался залив, гладкий и спокойный, будто утиный пруд. На востоке и юго-востоке утесы многочисленных островков и шхер, а также мысов, протянувшихся далеко в Сестольский Залив от приземистых иззубренных холмов Бишского Перешейка, золотыми стенами возвышались в сиянии садящегося солнца, а над каждым пляжем на всем даишском побережье под мирными безбрежными просторами безоблачных небес дожидались отлива тысячи чаек, кроншнепов, береговых коньков и куликов с алыми клювами. Королевские лодочники придерживали лодку у пристани, пока королева устраивалась на корме на подушке из серебряной ткани. Усевшись на банку посреди лодки лицом к ней, король взялся за весла, оттолкнулся и несколькими могучими взмахами вывел ту из густой тени крепости. Разогревшись, он снял свой камзол, бросил его себе за спину, на бак, закатал рукава своей белой батистовой рубашки и, принявшись грести медленно и неторопливо, направил суденышко на юг, к устью залива. Его взор был устремлен на Росму, а ее — на него.

В течение продолжительного времени ни один не произносил ни слова. Наконец королева нарушила тишину:

— Отчего ваше высочество так странно на меня смотрит?

Он развернул лодку вправо, так что солнце ударило ей прямо в глаза, а потом, осушив весла, наклонился, с некой усмешкой на лице наблюдая за ней. Волны шептались под носом лодки; их серебристое бормотание было поначалу отчетливо слышным после того всплеска от весла, а затем затихло, когда последние капли упали с лопастей в воду.

— Мне хотелось, — проговорил он, — чтобы вы сделали что-то сами, не по моей указке и не под моим управлением… что-нибудь, чего бы я не мог от вас предвидеть.

— Похоже, — промолвила она, — ваше высочество в последнее время

не в себе: размышляете о всякой чепухе, а ваши ответы на любой мой вопрос лишены какого бы-то ни было смысла.

— Возможно, раздумья и одолевают меня. Кто знает? Но неужели вы настолько неразумны, чтобы не понимать, что вы мое творение, моя марионетка, моя креатура? Что бы вы ни делали, что бы ни предпринимали, это происходит потому, что так захотел я. Вы думаете и действуете, потому что я так велел, а не потому что вам так хочется. Скажите, — спросил он после паузы, — разве не находите вы это скучным?

— И впрямь, до чего скучны эти речи вашего высочества, проистекающие, как я полагаю, от меланхолии и застоявшейся крови. Ни единого ответа на любую тему, одни отговорки.

— Попытайтесь же, дорогая Росма, хоть что-то сделать. Все равно, что, лишь бы это удивило меня, или причинило мне боль, или порадовало. Сгодится все, лишь бы это был ваш собственный поступок. Открою вам свое сердце, как и подобает любящим друг друга супругам: я до смерти устал взбираться на горы при помощи десятков веревок, натягиваемых десятками надежных людей. Меня тошнит от осознания: что бы я ни сделал, я ни за что не упаду.

Он сделал пару гребков, затем вновь позволил лодке дрейфовать по течению. Сплющенный и сияющий красный шар солнца уже коснулся вершин холмов на северо-западе. Начался отлив, и отовсюду доносились едва слышные крики птиц, ссорившихся и кормившихся на обнажившемся берегу. Над заливом поднялся свежий ветер. Королева поплотнее закуталась в свою мантию из бакланьих перьев. Она промолвила:

— Ваше высочество точно так же говорили с этими лордами и на сегодняшнем совете? Должно быть, это встревожило их так же, как и меня.

— Дурацкий вопрос, — отозвался он, разворачиваясь и начиная неторопливо грести обратно против ветра и течения. — О своем решении я говорил вам и раньше. То же самое я сказал и им.

— Утешили, нечего сказать. Этот слепой дрейф прямо на рифы в ререкском вопросе, эта дьявольская неосмотрительность по отношению к вашему сыну.

— К моему сыну? Какому из них?

— Я сказала, к вашему сыну. Ублюдков кличут иначе.

— Всегда восхищался утонченностью вашей речи, — произнес король. — Это так очаровательно. Какая, однако, жалость, что вы столь склонны

повторяться. Вы никогда не обманываете моих надежд: сколько ни подсовывай куриное яйцо под гусыню или индейку, все равно вылупится цыпленок. Неужто так сложно внести хоть какое-то разнообразие? Подыщите, что ли, какое-нибудь новое оскорбительное словечко для вашего (назовем его так) пасынка.

— Почему вы не разрешили Стиллису приехать на юг вместе с нами, оставив его вместо этого взаперти в Риалмаре? Это был бы наиболее подобающий, королевский, естественный поступок, в особенности в эти дни, когда мой кровожадный кузен не только угрожает нам, но (по причине странной безучастности, с какой вы наблюдаете за его тайными приготовлениями) едва дает себе труд скрывать свои угрозы. Вы запретили мне присутствовать на совете — какое скандальное обхождение со мной, что пока еще по праву королева Мезрии. А все потому, что вы упрямо стояли на своем пагубном замысле и вознамерились затолкать его им в глотки, притом, что они и не осмелились бы спорить или сомневаться; ведь вы знали, что, будь я там, я бы не проглотила это столь же покорно. Казалось бы, держи своего наследника под рукой, готового подхватить бразды правления, если по несчастной случайности (да уберегут нас от нее благие Небеса) с вашим высочеством приключится что-либо дурное.

Пока она говорила, король, казалось, вновь погрузился в свои размышления, работая веслами и наблюдая, как мог бы наблюдать с заоблачных высот Бог, как красноватое сияние заходящего солнца разливается по небосводу. Очнувшись от этого созерцания, он насмешливо отозвался:

— Это ваша страна. Если моему трону требуется наследник, почему бы им не оказаться вам? Вы не подвержены присущим вашему полу слабостям; вам это так же по силам, как и любому мужчине. Разве нет? Пожалуй, вы даже превосходите любого мужчину, разве только…

Словно подставив в конце этой неоконченной фразы ненавистное имя, Росма изменилась в лице, что, изборожденное морщинами и обветренное годами, но по-прежнему сиявшее все той же ничуть не увядшей жестокой красотой Тартара, приобрело теперь, в красном закатном свете, угрожающее и злобное выражение, будто было лицом королевы ада.

— Стиллис, — промолвил король Мезенций, продолжая заигрывать с ней, будто человек, наслаждающийся ощущением своего превосходства над прекрасным и опасным зверем, — Стиллис (и я скажу вам это прямо, на тот

случай, если вы ослеплены своей материнской любовью к нему) пока еще до этого не дорос. Его суждения чрезвычайно искажены тем фактом (и, думаю, научили его этому вы), что он презирает и считает ниже своего внимания всех, кроме себя самого. Королю так себя вести не пристало. Ваши мезрийские лорды горды и ревниво цепляются за свои привилегии. Очутись он, неоперившийся и неопытный, среди них, и…

Тут она прервала его, проговорив холодным и ровным голосом:

— Что ж, к чему тогда тянуть с лишением его права наследования? Готова предположить, на эту новую выходку никто и внимания не обратит.

— Что если я отложу его вступление в право наследования до тех пор, пока ему не исполнится двадцать пять? А покуда сделаю вас королевой? Регентшей? Для меня все едино. Что до остального мира, post me diluvium[323].

— Я знаю, — промолвила королева, — что скрывается за этими насмешками и пустословием. Вы и в самом деле вознамерились, хотя и не осмеливаетесь осуществить это в открытую, передать все своему ублюдку. Однако, — произнесла она голосом, дрожащим от медленно разгорающегося гнева, — берегитесь меня. Двадцать пять лет вы обращались со мной, как со своей невольницей, как с орудием. Но всему когда-нибудь приходит конец.

Король усмехнулся себе в бороду.

— Конец? Это широко распространенная, хотя и сомнительная, доктрина. Тем не менее, — сказал он, вдруг посерьезнев, так что пылавшие злобой глаза Росмы скрылись под ресницами, и она отвернулась в сторону, — одно я вам пообещаю. Когда я умру, королевство достанется сильнейшему. Если им станет Стиллис, если он подтвердит свои способности — хорошо. Но ни на каких иных условиях. Я создал это Тройственное Королевство, я сотворил его в одиночку, притом пребывало оно в куда большем разладе и неразберихе, нежели присущи гражданским войнам. Оно мое, и мне решать, как им распорядиться и кому передать. И я передам его в руки лишь тому человеку, который окажется способен принять его, владеть им и править им.

— Я все дивлюсь, что за бес вас попутал, — медленно проговорила она, снова взглянув ему в лицо. — Вы готовы совершить нечто такое, что принесет горести всему миру.

— Об этом не тревожьтесь, госпожа моя. Нелепо смотрится (я мог бы сказать, это не к лицу вам), когда вы изображаете сочувствие к бедам других.

323 Post me diluvium (лат.) — «после меня хоть потоп».

Вы в свое время совершили слишком много убийств, чтобы это звучало искренне. А замышляли еще больше, да только я вас останавливал. Я знаю, что делаю, да получше вашего.

— А я знаю, что делает этот ваш ублюдок, ведь это и все, на что он пригоден. Валяется в кровати своей потаскухи в Вельвраз Себарме.

— Его дела это его дела. Не ваши. Даже не мои, — ответил король, сузив глаза и пристально глядя на нее. — Но, в утешение вам будь сказано, я от всей души одобряю все, что он делает. По правде говоря, я, как и положено хорошему отцу, сам подготовил для него эту возможность.

Помолчав, он прибавил:

— Нынче вечером они с леди Фьориндой отужинают с нами в Сестоле.

Росма от возмущения втянула голову в плечи, будто готовая броситься гадюка.

— Тогда я останусь в своих покоях. Я не намерена сидеть за одним столом со шлюхой.

Он молча продолжил грести. Слева и позади него, над Сестолой, быстро сгущалась ночь. Слева по борту солнце уже скрылось в пылающих грудах кроваво-красных и стально-серых облаков. За кормой, над головой королевы, чье обращенное навстречу ночи лицо уже нельзя было различить в надвигавшихся сумерках, Антарес открывал свое сверкавшее зелеными искрами красное око в клочке ясного неба на юге. Ветер опять улегся. Устремив взор на эту недобрую звезду, король осушил весла, будто прислушиваясь к тишине.

Королева Росма вновь заговорила — спокойно, держа свое недовольство под контролем:

— Вы заблуждаетесь и в других вещах помимо этой. Например (если вернуться к тому насущному вопросу, который вы, по вашим словам, столь легко и бесшабашно разрешили на совете этим вечером), вы глубоко заблуждаетесь насчет Ререка.

Она замолчала в ожидании. Король ничего не ответил, неподвижно наблюдая за неистовым мерцанием сердца Скорпиона.

— Но, разумеется, все без толку, когда об этом говорю с вами я, — сказала она. — Вы никогда меня не слушаете.

Он задумчиво налег на весла, сделав один или два гребка наперекор все усиливавшемуся отливному течению, снова замер, потом взмахнул веслами

еще несколько раз, потом еще. К этому времени они находились всего в миле от Сестолы.

— Но я же весь внимание, — произнес он с все той же насмешливой и дразнящей издевкой. — В этом деле вы хотя бы что-то смыслите. Он ваш кузен, а в те дни, когда я вас еще не приструнил, вы отличались основательностью в отношении своих родичей Лебида и Белтрана. Надо признать, они были лишь свойственниками, тогда как он — Парри, одной с вами крови, а не просто ваше орудие, ваш любовник, каковыми являлись те. Ну же, признайтесь, вы хотите, чтобы я его убил? Или, что еще лучше, поручил эту почетную обязанность вам? Но я не желаю, чтобы он отправился вслед за прочими вашими головорезами. Меня он никогда не укусит снова. И мне он нравится. Так же, дорогая Росма, как нравитесь мне и вы. Или нравились, — добавил он со странной и непривычной ноткой печали или тоски в голосе.

— Но вы смертны, — сказала Росма. — А когда вы умрете, он вцепится в Стиллиса.

— Все мы смертны. До чего глубокая и пышущая новизной сентенция.

— Я думаю, — тихо ответила она, — что ваше высочество может быть и исключением. Будь вы созданы из обыкновенных плоти и крови, вы бы хоть немного да заботились о благополучии своего сына.

— Не забивайте этим себе голову. Все продумано.

— Вы невыносимы, — воскликнула она, снова давая волю своему гневу. — Вас охватила та же болезнь, что и моего отца: Мезрия.

— И что же? Разве не вы, госпожа моя, принесли мне столь богатое приданое?

— Я. Но кто бы мог подумать, что вы и его, и все прочее, передадите своему ублюдку.

— Оно досталось вам через кровь и насилие, — промолвил король. — Будьте же благоразумны. Я сдержал условия своей сделки с вами. Я вознес вас на такие высоты, о каких вы прежде и не мечтали: на трон Трех Королевств в Риалмаре. Не впадайте в неблагодарность.

— О, как чудовищно вы все извратили. Вы же сделали меня своим орудием, своей служанкой, своей собачонкой. Что мне проку в золотых цепях, когда сама я сижу в конуре, будто цепная собака?

— Вы забываете о преимуществах, что я вам обеспечил. Я позволял вам не пачкать руки кровью вот уже двадцать один год: с тех самых пор, когда

вы убили своего любовника Белтрана, от которого зачали двоих детей. Знайте также и то, что я их спас, когда вы, будто безжалостная матка, хотели пожрать их, едва они родились.

Все это он произнес, не шелохнув веслами. В тишине Росма перевела дух, а затем взволнованным голосом прошептала:

— Вы никогда мне об этом не говорили. Это ложь. Они мертвы.

— Они живы, моя королева. И знамениты. Вы с ними разговаривали. Но, будучи плохой матерью, вы не узнали своих собственных детенышей.

— Это ложь.

— Когда же я вам лгал? — сказал король. — Да и вы, дорогая моя и любимая волчица, следует отдать вам должное, никогда в своей жизни не лгали мне.

Будто по молчаливому соглашению ни слова более не было произнесено ими, пока они не достигли суши. Уже почти наступила ночь. Вереница коптивших вдоль причала факелов отсвечивала в неустанно колыхавшихся водах и на темной поверхности сестольского волнолома, у циклопического основания которого, вздымаясь и опадая, бурлили и плескались эти воды, миролюбивые в эту тихую летнюю ночь и будто погруженные в спокойные размышления о том, что способны при желании совершить моря и чему противостоят стены и скалы. Король спрыгнул на берег; его слуги придержали лодку, в то время как он подал руку королеве. Там, где неверное и дрожащее сияние, выбрасывая и втягивая обратно языки света, не касалось лиц или предметов, камней или поблескивающей черной воды, оно заставляло тьму казаться втрое темнее. Она легко выбралась из лодки и ненадолго замерла, будто статуя, отстраненно всматриваясь в сторону моря и не глядя на своего супруга. То ли из-за освещения, то ли по какой-то иной причине, она казалась странно взволнованной, несмотря на все свое спокойствие и величавость; ее настрой будто немного смягчился, словно бы она была Персефоной, в мрачной задумчивости, без каких-либо сожалений или надежд озиравшей свои печальные владения и ужасное древо ада[324]. Подойдя ближе и незаметно остановившись подле нее, король мог различить в ее глазах нечто, весьма напоминавшее слезы.

— Неплохой фон для драгоценности, — прошептал он ей на ухо. — Это еще ближний берег Стикса? Или мы уже на дальней стороне?

Росма молча вложила свою руку в его, и в сопровождении двенадцати

324 Возможно, имеется в виду заккум — в Коране адское дерево, растущее из «корня геены».

шедших впереди и позади них факельщиков, освещавших им путь, они направились вверх по вырубленным в скале ступеням, затем в замок и в личные покои короля.

— Я вхожу, — промолвила она, помедлив у порога.

Король бросил на нее взгляд, а затем отступил, чтобы дать ей пройти. Беззвучно ступая по богатому тканому ковру, она пересекла помещение и стала спиной к нему, смотрясь в зеркало при свете двух канделябров, стоявших на столе по обе стороны от нее.

— Скоро ужин, — сказала она. — Нам нужно переодеться, — но не шелохнулась.

Король промолвил:

— Мы понимали друг друга. Двадцать пять лет. Своего рода юбилей. Немногие супруги могут похвастать тем же. Потому ли это, что мы благоразумно и бережливо поддерживали наш союз монархов, но при этом не любили?

Спокойно и величаво застывшая у зеркала Росма ответила голосом удивительно мягким, почти нежным:

— Я так не думаю.

— Нет? — он уже сидел в кресле позади нее, стягивая сапоги.

— Я, — произнесла она, — любила по-настоящему.

— Да уж, Белтрана вы любили, охотно верю. И, думаю, никого более.

— «Никого более» — это неправда.

— Ваше первое дитя от него, — сказал король, — было, если говорить начистоту, плодом страсти. Второе, шестнадцать лет спустя, опять же было плодом вашей страсти, но также и вашей любви. А стало невыносимым взору чудом света, чудом всех миров, если бы только ваши волчьи глаза могли взирать на подобное великолепие.

Королева прикусила губу, так что из нее начала медленно сочиться кровь.

— Подобным же развлечениям, — проговорил он, — предавались двое наших с вами детей.

При этих словах у нее перехватило дыхание; потом воцарилась тишина. Король поднял голову. Но ее спина была обращена к нему, и он со своего места не мог видеть ее лица в зеркале. Сдавленным голосом она произнесла:

— Белтран любил меня. В тот второй раз я это поняла. Он любил меня.

— Да. Не повезло ему. Ибо вы пожрали его. Меня же вам не пожрать.

Не говоря ни слова, королева внезапно повернулась и рухнула перед ним на колени, уткнувшись лицом в его ноги.

— Я полюбила вас, — сказала она, — непоколебимого и недостижимого, с самого первого мига, когда мы повстречались в Зайане, любовью более безнадежной, более несчастной, нежели я когда-либо испытывала к Белтрану. Почему бы вам было не оставить меня в покое? Вы лишили меня всего: королевства, свободы, Амалии, единственного живого существа в целом свете, которое я ценила превыше себя самой. И я понимала: Стиллис был плодом вашей политики — или назовите это вашей ненавистной жалостью, Антиопа же — плодом вашей мимолетной, непостижимой, поздно зародившейся и вскоре угасшей любви.

Она горько разрыдалась, ужасно вскрикивая, будто попавший в ловушку и испытывающий смертельную муку зверь. Король сидел как каменный, глядя на нее сверху вниз: на ее склоненную шею, все еще прекрасную, все еще нетронутую заразой алчных лет; на ее все еще черные, будто воронье крыло, волосы с их слабо поблескивавшими в сложной прическе вьющимися локонами; на ее стройную спину и сильные плечи, что содрогались сейчас во всхлипываниях и плаче. Когда он поднял взор к потолочным балкам, куда не достигал свет свечей, вся погруженная в полумрак комната словно наполнилась благоуханием не родившихся еще в ее мозгу мыслей, скрытых, быть может, от ее разума бесформенной пеленой сомнения и страха.

Она поднялась, вытерла глаза, одним-двумя движениями привела перед зеркалом в порядок свои волосы, а затем повернулась к нему. Он также встал, при этом (столь высокой она была) лишь ненамного превосходя ростом ее.

— Наконец-то вы мне солгали, — сказал он. — Как смеете вы говорить о любви со мной, кому ведомы все ваши тайные помыслы, кто знает вас лучше, чем знаете себя вы сами, знает, что это великое слово — любовь — столь же неведомо вам, как грудному младенцу вино? Нет, Росма, я люблю и восхищаюсь вами за то, чем вы всегда являлись и являетесь, но не за украшение своего лица румянами любви, которой для вас не существует.

Она ответила ему едва слышным шепотом, когда он, как делал это прежде, как водится у друзей и соратников, взял ее за руку:

— Я не лгала.

А потом, как будто от прикосновения этого в сердце ее хлынула отрава, она отдернула руку и яростно воскликнула:

— И я скажу вам то, что вы и так знаете: что этот ваш ублюдок — единственное дитя от вашей настоящей любви. И за это, несмотря на мою любовь и страсть, что подобно зловонным сорнякам разрастаются все больше, сколько бы я их ни выпалывала, — за все это я ненавижу и презираю вас, и вашу шлюху Амалию, и Барганакса, это мерзкое отродье, которого вы (к вашему стыду, а также к моему, и к ее) ставите превыше своей жизни и чести. Проклинаю вас за это. И ее. И его.

39. Омега и альфа в Сестоле

НОЧЬ воцарилась над Сестолой: ночь летняя, и в то же время полнившаяся зловещим напряжением под стать прошлогодней июльской ночи, когда герцогиня устроила в Мемизоне для немногочисленных и избранных гостей рыбный ужин. Сдвинувшиеся по сравнению с тем разом на двухчасовой отрезок звезды мерцали в простиравшейся меж небесами и землей пелене дымки. Сиявшая на восточном небосклоне полная луна испускала усталое, неверное и водянистое свечение. Все вокруг замерло в ожидании собирающейся грозы.

Вернувшись в свои покои, королева Росма велела служанкам пошевеливаться и нарядить себя к ужину задолго до назначенного часа. Ее опочивальня выходила на западный конец портика, что тянется более чем на сто пятьдесят шагов вдоль стены крепости с ее южной, обращенной к океану, стороны. Она отпустила своих служанок и графиню Гетерасмену (ставшую уже камер-фрау) и, вероятно, желая подышать свежим воздухом после духоты собственных покоев и покоев короля, вышла прогуляться по мощеной дорожке вдоль портика. Его свод с обеих сторон — и возле стены, и со стороны моря — подпирают угловатые колонны, отстоящие друг от друга на три шага. Западная часть освещалась лишь свисавшими меж каждой парой внешних колонн светильниками, чьего света едва хватало, чтобы видеть, куда ступаешь. Но примерно посередине из открытых дверей пиршественных покоев веером расходилось сверкающее пятно света, а дальше незанавешенные окна зала проливали на дорожку сияющие полосы, чередующиеся с темными промежутками. Задумчивой и решительной поступью королева направилась к свету,

временами останавливаясь, затем продолжая двигаться дальше. Она была уже неподалеку от дверей, но при звуке шагов с другой стороны отпрянула в густую тень между стеной и колонной и затаилась там. Герцог Зайанский со своей возлюбленной, только что прибывшие в Сестолу и готовые к ужину, приближались с востока, то освещаемые целиком, то вновь исчезавшие в тени между окнами.

На леди Фьоринде поверх всего была накидка с капюшоном из дымчато-черного шелка, что при каждом ее шаге ложился все новыми волнами и складками, все новыми загадками и намеками на прелести и красоты, сами по себе невидимые. Будто изо всех сил стремясь следовать этому фугато, герцог следовал за нею в шаге позади. Она остановилась в пятне света перед дверями, менее чем в десяти футах от места, где укрылась Росма.

— Итак? — промолвила она, и от ее лилейно-медового голоса, пьянящего, будто нечаянная ласка, вихри взметнулись в теплых как кровь потаенных источниках чувств и бытия. — Теперь-то вы довольны, приведя меня, будто ручного зверя, в этот пустой пиршественный зал и столь же пустынную галерею? Мы явились слишком рано. Что ваша светлость намеревается делать теперь?

— Смотреть на вас, — смеясь, отозвался Барганакс. — Разговаривать с вами. Это единственное место, где мне представится шанс побыть с вами наедине.

— Что ж, вот я. А вот и мои уши, что внимательно вам внемлют.

С этими словами она откинула свой капюшон и, поворачивая голову сначала в одну сторону, а потом в другую, дала ему полюбоваться на себя в профиль. Ее волосы были уложены как и одиннадцать месяцев назад в Рейсме: зачесаны назад от пробора и тех завитков тоньше непряденного шелка, что украшали ее виски и касались гладкой кожи ее шеи за ушами. А на затылке они были собраны в толстые косы, двумя змеями сплетшиеся между собой, исполненные ночной терпкости и обратившегося тишиной грома, чудом ставшего видимым. Всю эту изысканную красоту, свернувшуюся на своей белой шее, явила она ему, а затем взглянула ему в глаза.

Обменяться вот так взглядами с этой леди означало утонуть в волнах, что смели все врата, отделяющие небо от земли, плоть от духа, и раствориться в Ней одной, в бушующем как буря и непроглядном как ночь спокойствии Ее, владычицы, дарительницы, дающей начало всему на свете. Той, что, когда все

уже даровано, дарует неутолимую жажду большего, даруя также и тот избыток, что утолит и ее, и в этом божественном акте дарения, бесконечно противоречивом и разнообразном, отдает свою многоцветную божественную сущность, преисполненную гордости под стать его гордости, что, даже поверженная наземь Ею, через это неистощимое изобилие даяния вечно восстает вновь. Словно Бог, воплотившийся в раскаленном докрасна камне, взирал Барганакс в эти таинственные будто море и невыносимые олимпийские очи, и вся его воля воспрянула и, подобно магниту, что указывает на полярную звезду, устремилась к ней. Подыскивая слова, будто во сне, он произнес:

— А что под этой накидкой?

Красота ее, соколом устремившаяся обратно к земле, ответила из ее уст:

— Вы весьма любопытны в том, что касается меня. Смотрите же, как я любезна.

Она сбросила накидку и предстала перед ним в обтягивающем корсаже и расходившейся от бедер книзу юбке из красного как куколь шелка: в том самом платье, которое она надела для него в ту первую ночь в Рейсме.

— Я получил свой ответ, — сказал он, медленно оглядывая ее с головы до ног в усыпанных изумрудами туфлях, а потом тем же путем и столь же медленно проследовав взглядом обратно к ее лицу.

Глаза Фьоринды, вновь заискрившиеся земным сиянием, вдруг остановились, внимательно глядя в его глаза. Ее губы, эти горько-сладостные алые слуги насмешек, стали серьезны: губы Афродиты Книдской. А потом словно некая неукротимая звезда взошла в ее глазах.

— Да уж, — промолвила она, — У этого платья есть одно весьма важное достоинство. Вам так не кажется?

— Достоинство?

— Оно ведь так легко снимается, не правда ли?

Опустившись одним коленом на мощеную дорожку, он склонился, чтобы подобрать ее упавшую накидку. Они были одни, и он вдруг обхватил руками ее, свою империю, свою вновь обретенную землю, и с минуту оставался в таком положении, слепо уткнувшись лицом с зажмуренными глазами, что призвали себе на помощь чувство куда более пронизывающее и пламенное, чем зрение, в ее складчатую юбку. Все это время она оставалась неподвижна, лишь едва заметно дрожа и едва заметно подаваясь. Когда герцог снова поднялся на ноги, она спрятала лицо в ладонях, лишь их безупречную белизну

и оставив на виду, также как и угольную черноту своих волос, и подобно пламени облекавшее ее платье.

— О, мадонна, почему вы смотрите на меня сквозь пальцы? — спросил он, раскрывая свои объятия.

Лилией, клонящейся к своему отражению в тихой воде, подошла она ближе — будто небесные глубины разверзлись, готовые обрушиться ливнем блаженства, — и еще ближе, пока ее груди не коснулись его возле сердца, а лицо ее не уткнулось ему в плечо.

— Разве вы еще не поняли, что я никогда ничего не обещаю? Прежде всего — вам. И этому, — произнесла она, в то время как он осыпал поцелуями ее шею и волосы, — есть, как я думаю, две весьма забавных причины, вдесятеро более забавные и бессмысленные, если рассматривать их вместе. Первая — потому что я знаю вас вдоль и поперек. А вторая, — тут она, резко втянув в себя воздух, повернула голову, подставив ему свои сладкие как нектар губы, не преминув дать ему отведать вкупе с близостью своего вначале нежно, а затем с все большей страстью льнущего к нему бессмертного и прекрасного тела, легкое напоминание об остроте своих зубов на грани между игрой и жестокостью. — А вторая — потому что мне иногда почти начинает казаться, что ничто не спасет меня, если вы однажды и в самом деле заставите меня влюбиться в вас.

Росма, из своего укромного уголка слушавшая и внимательно наблюдавшая за двумя этими возлюбленными, а также за тем, на что похожа их любовь, сказала себе: «Так стало быть, ты никогда ничего не обещаешь? Ну а я обещаю. И прежде всего — ему». Медленной и нетвердой походкой она незаметно вернулась в свои покои.

Сто футов в длину составляет пиршественный зал в Сестоле и сорок в ширину; в высоту он добрых двадцати футов от пола до карниза, а оттуда до украшенных прихотливой резьбой массивных потолочных балок из почерневшего от времени дуба — еще двадцать пять. На стенах из старого красноватого песчаника, необработанного, шероховатого на ощупь, глубокого холодного пурпурного оттенка тени, что отбрасывает на озаренный солнцем кирпич листва, висело всевозможное снаряжение: пики, мечи, кинжалы и ременные копья, булавы, боевые топоры, моргенштерны, кольчуги, шлемы и щиты, латы

и железные рукавицы. Что-то из этого сохранилось с незапамятных времен, а что-то было совсем новым, но все было сработано известными оружейными мастерами и украшено гравировкой и насечкой из золота и серебра. В западном крыле, под галереей для музыкантов, высокие двустворчатые двери выходили на юг, на портик. И они, и большие окна, расположенные через каждые шесть футов вдоль южной стены, были распахнуты настежь навстречу июньской ночи. Под галереей двери поменьше вели на кухни, в кладовые и буфетные, а также в помещения для слуг. Помост в восточном крыле был застелен вытканным из шерсти и шелка ковром, в основе и утке которого сверкали серебряные нити. Посреди него размещались два возвышавшихся над всем залом трона, перед каждым из которых стоял стол с яствами и напитками; чуть дальше, полукругом, по пять справа и слева, стояли кресла поменьше вместе со столами. На усыпанных соломой камнях пола перед помостом была расставлена дюжина длинных столов в два двойных ряда по три с просторным проходом между рядами, что тянулся вдоль всего зала. За столами повыше (помимо стоявших на помосте, где кресла покуда пустовали) уже собрались лорды, леди и дворяне, облаченные в праздничные одежды; наиболее видные из них размещались за четырьмя ближайшими к помосту столами, а за следующими четырьмя — мелкопоместное дворянство и прочие служащие. За столами пониже, что стояли ближе к дверям, были приготовлены места для всех остальных: с внешней, южной, стороны (чтобы обеспечить соблюдение приличий) для мужчин, а с северной — для женщин.

Ослепительно было сверкание драгоценностей и великолепие богатых шелков и многоцветного бархата в свете сотен светильников, что, свисая в четыре ряда на длинных бронзовых цепях с высоких потолочных балок, сплетали из своих лучей под темными сводами крыши шатер полупрозрачного сияния, под которым все было ярко освещено и хорошо видно. Лучи этих светивших сверху вниз светильников смешивались с более теплым и ласковым мерцанием сотен свечей, аккуратно расставленных в канделябрах, вырезанных из полированного хрусталя, по восемь канделябров на каждом столе.

Музыканты настроили свои инструменты, исполнили прелюдию и, когда разговоры утихли и гости поднялись со своих мест, все как один обернувшись на запад, в сторону дверей, заиграли старую мезрийскую каватину. Это была прекрасная, щемящая, исполненная тоски по дому мелодия, то взлетавшая, то затихавшая, то возвращавшаяся к своему началу, будто не желая

уходить, совсем как птенец коноплянки, что, усевшись рядом со своей матерью на заборе, машет крылышками, чтобы его покормили, а затем перепархивает через нее, чтобы пристроиться с другой стороны и, трепеща от вожделения, прижимается к ней все ближе, и так повторяется вновь и вновь. И всякий раз, когда эта мелодия подходила к своему завершению, она каким-нибудь затейливым образом изворачивалась и начинала свое кружение сначала, как если бы окончание служило лишь фоном или обрамлением все разворачивавшейся в ней бесконечной жизни, уже само начало которой было преисполнено печали от знания о будущих разлуках, а долгожданный конец все отступал, и с каждым его ложным приближением все явственнее звучало в ней коренящееся глубоко обещание возрождения и грядущей весны. Эта рождавшаяся в нежном плаче виол музыка отдавалась в ушах внимавших ей у края стола под окном возле помоста нимф Антеи и Кампаспы эхо и обертонами иной, божественной музыки: им вспоминался голос леди Фьоринды, по-олимпийски спокойный, притягательный, страстный превыше всякой страсти, и в то же время безупречно безмятежный. А под переменчивым течением этой дивной мелодии маршем вечности пульсировали в неизменном ритме ноты басовой виолы и теорбы.

И вот, в унисон с этим неспешным пиццикато струнных, за главными дверями послышался лязг кованых сапог, а потом в зал по двое вступили королевские гвардейцы. Это были отборные воины: широкогрудые, крепкие, свирепые на вид, ветераны аккамских войн, в шлемах и кольчугах из вороненого железа, в латных воротниках и поясных ремнях из черной бычьей кожи, усыпанных сверкающими медными заклепками. Они выстроились в две шеренги, спинами к столам, подняв копья в салюте и оставив между шеренгами свободный проход, по которому цепочкой проследовали десятеро трубачей в сверкающих серебром одеждах, и у бедра каждого была сияющая труба. Поднявшись на помост, они заняли места, по пятеро с каждой стороны, вдоль стен с севера и юга от главных тронов. Вслед за трубачами показалась пара десятков служанок в белом, в чьи распущенные волосы были вплетены гирлянды из переступня или плюща с ягодами и цветами жимолости. Некоторые из них разбрасывали по лежавшей на полу душистой соломе розовые лепестки, остальные же, неся с собою по небольшой серебряной чаше, по пути окунали в них пальцы и брызгали по сторонам приятно пахнущими благовониями. Те, что рассыпали розовые лепестки, перестали это делать, когда приблизи-

лись к помосту, и выстроились вдоль каждой из стен лицом к столам, спиной к трубачам. Разбрызгивательницы благовоний дважды обошли по кругу весь помост, встречаясь и расходясь в разные стороны в сложном ритме, подчинявшемся вплетенным в него нотам виол, пока весь тканый ковер, и в особенности та его часть, что была заключена в полукруге перед столами, не начал источать благоухание, как наполняют воздух своим острым и изысканным ароматом, когда по ним проходишь, заросли тимьяна и ромашки. И вот во всем своем величии появился король, и серебряные трубы, устремленные ввысь, в невидимые пространства под крышей, испустили одну за другой вереницы серебристых нот, обрушивавшихся подобно метеорам, мчавшихся подобно валькириям Всеотца среди озаренных лунным светом ажурных облачных процессий каватины, которая этими фанфарами не была ни прервана, ни заглушена, ни отодвинута в тень, но, вобрав их в себя, лишь окрепла и взвилась в своей кульминации.

Его камзол был из богатого бархата самой тонкой выделки, открывая взору, как если бы это была его кожа, игру его могучих мускулов при каждом движении; он был окрашен в теплый коричневый оттенок пронизанной солнцем воды в торфяном болоте с прорезями голубого сатина (отражение неба в этих водах), края которых были отделаны серебряной нитью. Гофрированный воротник вокруг его шеи и манжеты рукавов были шафранного цвета, туфли из бархатистой коричневой кожи украшало шитье золотой и серебряной нитью, а застежки на них были усыпаны желтыми алмазами. Каждое звено ожерелья из чистого золота с человеческую ладонь шириной на его шее было покрыто филигранью и искрилось драгоценными камнями: сапфирами и топазами, смарагдами, рубинами и опалами, бриллиантами и голубоватым жемчугом. Его пояс из кожи черной кобры был усеян крупными алмазами, складывавшимися в подобия звезд и молний, и скреплен пряжкой из бледного золота в форме замерших нос к носу двух гиппогрифов с расправленными крыльями, глаза которым заменяли рубины-кабошоны, а сотни крохотных камушков — топазы и огненные топазы, коричневые цирконы и все разновидности турмалина, — обозначали собою завитки их грив. На голове его сверкала корона старой Мезрии, украшенная сработанными из золота, яшмы, розового кварца, сардоникса и гагата подобиями маков, цветков и семенных коробочек ясенца, листьев мандрагоры и земляники, а также колючих плодов дурмана.

Однако вовсе не это нарядное облачение, а величие лица и осанки короля потрясали до глубины души всех собравшихся, этих лордов и леди, что наблюдали, как он входит в зал; величие, что нынче вечером уже словно не принадлежало этой земле, что застыло, сверкающее, в его, казавшихся пустыми, будто львиные, глазах, в которых более ужасало таившееся за их сиянием спокойствие, нежели само это непреодолимое сияние, и даже более, чем то неспешное всепоглощающее пламя, что опаляло глазные яблоки каждого, кто встречался с ним взглядом, как если бы взор короля был способен обнажить душу любых мужчины или женщины, на которых он смотрел, и вытащить ее, нагую и замерзшую, чтобы рассмотреть ее спереди, сзади, сверху, снизу, изнутри, в холодную пустоту между мирами.

Когда он проходил мимо, люди из его гвардии строились по двое и шли за ним следом, подняв копья в воинском приветствии. На помосте он остановился и повернулся, чтобы осмотреть зал, а солдаты, поднимаясь по ступенькам и кланяясь ему, разделились на две шеренги и проследовали мимо него, одни налево, другие направо, чтобы выстроиться вдоль восточной стены за тронами. Граф Родер, начальник гвардии, с головы до ног закованный в латы встал позади короля; темляк эфеса его меча свисал из ножен.

Следом вошла королева с короной на голове и в расшитой золотом мантии из узорчатого черного сатина, чей шлейф несли четверо маленьких негритят в зеленых шапочках и длинных ливреях из серебряной ткани. Король взял ее за руку и усадил на трон слева от себя. Затем почетные гости начали по двое выходить в середину зала, подниматься на помост, кланяться и по очереди занимать свои места.

Герцог уселся по правую руку от короля. Когда он говорил или улыбался, веселье новобрачного сквозило в нем, этот потаенный огонь, наполнявший утренней свежестью его лицо и гибкое сильное тело; он был прекрасен и в покое, и в движении, будто Гермес Праксителя. Далее разместился старый лорд Бекмар, седовласый и с раздвоенной бородой, обе половины которой ниспадали сужающейся спиралью переплетенных локонов; справа от Бекмара сидел лорд-канцлер Бероальд, за ним граф Медор, а далее, за последним столом по эту сторону — лорд Перантор. Как только Росма встречалась с его взглядом, пристально устремленным на нее, как если бы в зале больше никого не было, она тут же поспешно отводила глаза, словно от тяготившего ее неуместного напоминания о неумолимости времени, будто не веря, что этот разжиревший

и облысевший уже человек с двойным подбородком каким-то чудом и есть тот самый холеный придворный и сладкоречивый ухажер, что был у нее в последние годы ее единоличного царствования, лет двадцать пять или тридцать назад, лордом-гофмейстером Зайаны.

Антея с Кампаспой наблюдали за происходящим со своих мест за самым почетным столом со стороны королевы у самого помоста; рука ореады в непривычно покровительственном жесте обвилась вокруг талии дриады.

— Сестрица, утихомирь-ка то, что у тебя колотится там, под левой грудью. Иначе я не устою перед искушением тебя съесть.

— Теперь, когда грядут перемены, оно не утихомирится, сестра.

— Глупышка. Великие и ничтожные могут претерпевать перемены, появляться и исчезать. Мы же не меняемся. И никакие потрясения, охватывающие целые народы, не способны затронуть нас.

Кампаспа прижалась к ней покрепче, не сводя глаз с королевы.

— Ненавижу ее всем сердцем, — прошептала она. — Как если бы она питалась моей плотью.

— Это ее день, день тьмы и хмурого рассвета. Неужто ты боишься, мышка, воробушек? Мы и прежде знавали такие времена.

— Да. Много раз, с начала дней. Я вовсе не боюсь, милая сестра. Просто распушить свой мех и перья и подрагивать от холода — это все, что я могу поделать в эти ужасные ночи.

— Думаю, и они тоже рождены от молока нашей Матери, — промолвила ореада, оскалив зубы. — Смотри лучше туда, куда следует: на Нашу Леди. Разве не затмевает Она собой небеса и землю?

Их чистые взоры (хищные глаза ореады и глаза дриады, большие и кроткие, как у напуганной лани) обратились от Росмы, будто от темной бездны к пронизанной громами и ветрами темноте, к сердцу и тайному неописуемому истоку света и красоты, к раздирающей небеса грозе: туда, где, предпоследней за столом со стороны королевы, между Родером и Сельманом из Биша, сидела Темная Леди, и надежность ее присутствия позволила им вновь обрести свой беспокойный покой.

Справа от графа сидела графиня Гетерасмена, а справа от нее, рядом с королевой — лорд-адмирал Иеронимий.

Когда слуги внесли первую перемену блюд, а также всевозможные вина в огромных графинах и бутылях из серебра, хрусталя и золота, на помосте

и в остальной части зала завязалась оживленная беседа. Королева Росма, удивительно любезная и дружелюбная, заговорила:

— Вы в последнее время меня не навещали, господин адмирал. Мне недостает вашей компании. А уже завтра нам придется проститься, ведь я отбываю на север.

— Всех опечалит отъезд вашего высочества.

— Не всех. Сама я этому рада. Не завидую ни одному из тех, кому придется в эти дни остаться в Мезрии, и менее всего — инородцам. Слишком уж много ненависти и скрытого соперничества.

— Дома хорошо, — простодушно сказал он. — Но долг превыше всего.

Внимание Росмы переместилось с него на леди Фьоринду, так что адмирал имел возможность некоторое время незаметно наблюдать за ее лицом. Глядя на нее сейчас, можно было подумать, что ее ноша полегчала лет на двадцать, как будто бы свет свечей таил в себе волшебство, подобное живущему в глазах влюбленных, способное прогнать, лишить силы те ненастоящие года, что унесли ее за собой, отняв возможность любить и быть любимой.

— Иногда, — промолвила она, и непривычная тихая печаль прозвучала в ее голосе, — меня забавляет, как поворачивается наша жизнь. Родилась и выросла в Слибю, провела юность в Аргъянне, потом короновалась здесь, в Зайане, и столь долго распоряжалась здесь жизнями и смертями, что она теперь у меня в крови. Однако же теперь, лишь только вернувшись сюда, я уже тоскую по месту, которое менее других достойно называться моим домом: по Риалмару.

— Там находится престол вашего высочества. Неудивительно, что вы туда стремитесь.

Королева отпила из кубка, поставила его на стол и некоторое время сидела молча, вглядываясь в темное как кровь вино, словно в нем плавали воспоминания — или предвестья. Потом, улыбнувшись и оборачиваясь к нему, сказала:

— Думаю, вы также скучаете по северу.

Он не ответил, ковыряя в стоявшем перед ним блюде с креветками.

Она отложила вилку и взглянула на него.

— Ни от его высочества, ни от меня, — промолвила она, опираясь на подлокотник своего трона и наклоняясь к нему поближе, — не скрыть тяжести того бремени, что возложили мы на вас троих, пирующих здесь. Для вас,

хоть вы уже и много лет управляете Мезрией, она мало что значит, и нелегко вам бороться с обращенной против вас завистью.

Адмирал задумчиво покачал головой, а потом посмотрел королеве в лицо:

— Живи и дай жить другим. Только так.

— Взять, к примеру, этот недавний заговор против вашей персоны. Мы отлично понимаем, кто стоит за подобными злодеяниями.

— Ну, — промолвил адмирал, опуская глаза под ее взглядом, — если ваше высочество подразумевает тот случай на прошлой неделе, когда этот беспутный заморыш, явившись ко мне на аудиенцию, пытался заколоть меня кинжалом, то никакого заговора там не было. За этим по сути никто не стоял.

— Вы и впрямь так полагаете? Надеюсь, вы не просчитались в своих построениях.

— Просто личное недовольство одного лорда, который останется неназванным. Мы все равно скоро с ним помиримся. Вместе с тем, исполнитель был пойман с поличным и повешен.

— Что ж, пока неплохо, — сказала королева. — Но вам следует помнить, господин верховный комиссар, что в подобных делах за одними всегда стоят другие. Я прожила здесь немало и уже, по сути, нутром чувствую, как делаются дела в этой стране, и потому хотела бы, чтобы вы не спускали глаз с человека, о котором я думаю, но называть не стану. С того, кто (но это только между нами) может вполне справедливо (не от вас, так от ваших ближайших друзей), — тут она метнула украдкой не оставшийся незамеченным адмиралом взгляд на графа Родера, — опасаться ножа или испанской фиги[325].

— По правде говоря, — медленно произнес он после паузы, — я обеспокоен великодушными советами вашего высочества. И в наибольшей степени потому, что я, в некотором роде, не возьму в толк, о чем речь.

Не глядя на него, она тихо прошептала ему на ухо:

— Приходите ко мне завтра перед нашим отъездом; тогда говорить в открытую будет удобнее, нежели сейчас. Пока я пребывала здесь, я заметила в вас троих удивительную небрежность в отношении постоянной угрозы вашей безопасности, исходящей, как вы, я полагаю, даже не догадываетесь, из замка менее чем в десяти милях отсюда. Его королевское высочество

325 Имеется в виду отравленная фига, при помощи которой в Испании и Италии избавлялись от врагов. Ср. «Умри, проклятый! Фигу получай!» (У. Шекспир, «Генрих V»).

ни за что не допустит, также как и я, чтобы с вами случилось что-либо дурное. Довольно. Давайте веселиться. И все же, — промолвила она, взглянув мимо короля на герцога Барганакса и, быстро, будто завидев что-то непристойное, переведя взгляд на Иеронимия, чьи встревоженные глаза вопросительно уставились на нее, — приходите ко мне завтра.

Госпожа Антея произнесла на том лингва-франка, которым пользуются между собою полубоги и нимфы, и который для человека непостижим и непонятен, подобно треску льда, или шепоту ветра в листве, или кошачьему мяуканью, или птичьему щебету, или любым другим голосам лесов, вод и пустынных гор:

— Беседует она непринужденно, но ей явно всякий раз становится не по себе, когда она глядит на мою госпожу.

— Ты считаешь, — промолвила Кампаспа на том же наречии, — что на ум ей приходит птенчик, которого она выбросила из гнезда на верную смерть, а ты принесла сюда на юг в своей пасти лет двадцать назад по ее подсчетам?

— Ты все понимаешь не хуже моего.

— Но я просто не могу на нее смотреть. А если посмотрю, всякие мысли покидают меня. Да и рысьи глаза более проницательны, нежели глаза водяной крысы.

Антея осклабилась, незаметно наблюдая за королевой. Ее левая рука, украдкой соскользнув с нежной как цветок талии Кампаспы, ущипнула ее туда, где подобные вольности, пожалуй, наименее уместны, от чего та, глухо вскрикнув, сомкнула колени вместе.

— Она нутром чует, — сказала Антея, — что глядит сейчас на дитя от собственной плоти. И осознание это для нее горько как полынь, ведь в Ней она видит свою юность, которую утратила (даже не так, которой у нее и не было), такой, какой она могла бы быть; она же в своей неумеренности растратила все козыри, что фортуна и ее отец ей сдали, и теперь, все промотав, осталась голой и без гроша в кармане, если не считать ее ненависть ко всем подряд. Она видит красоту моей госпожи, весь ее блеск, мощь и великолепие, преисполненные звездной страсти. Восхищается моею госпожой, почти столь же сильно, как и тот, перед кем и лучшие мужи, нежели этот ее избалованный чван Стиллис, померкли бы, будто метеоры перед солнцем. И от этого превосходства, от этого испытываемого им блаженства опьяненного любовью — после милых поддразниваний и заигрываний моей госпожи, польстивших его

гордости нынче утром, — и обретшего (как королева, чую, смутно понимает сегодня по их взорам и музыке их голосов) этот мир, все миры, весь Олимп, в обладании Ею — от всего этого она вся исходит вонючей отравой. Вот увидишь, мышка моя, мы увидим блевотину еще до окончания ужина.

Так, за едой и питьем, сначала за простыми блюдами, а затем за более изысканными, а также за беседами, серьезными и не очень, и пролетало время. Бекмар, повеселев от доброго вина и гордясь своим местом за столом, что превосходило почетностью места канцлера и графа (как в знак уважения к его сединам, так и по политическим мотивам, дабы по причине присутствия королевы отдельно уважить и старинные мезрийские роды), неустанно делился воспоминаниями о событиях за последние сорок или пятьдесят лет, когда пиры в Сестоле были куда пышнее, королем был Каллий, а в зал тогда не допускалась ни одна женщина, кроме танцовщиц. Воспоминания эти словно раздули в нем потухшие угли, и некий блуждающий огонек блеснул в его тусклых глазах.

— Да, — промолвил он, — другие времена, другие нравы… Король Гальярт положил конец этим забавам, когда взошел на зайанский престол. Считалось, — скорбно добавил он, — что это произошло по воле королевы.

— В этом, — холодно произнес канцлер, — как мне всегда казалось, ее высочество проявили себя в те времена мезрийкой куда в большей степени, нежели наш собственный народ, мезрийцы по рождению. Симптомом упадка является то, как хорошо воспитанные и великолепно обученные дворяне обращают величайшее наслаждение рода людского в вульгарность, заставляя своих куртизанок отплясывать перед ними голышом, сами глазея на них у всех на виду.

— Я человек пожилой, — отозвался Бекмар. — Я считаю, что раньше было лучше.

— Лучше всего — мера, господин мой, она в конечном счете правит всем.

Тут, словно его собственные слова напомнили ему о том, что тревожило его более всего, канцлер устремил свой обеспокоенный под маской холодной иронии взгляд на короля. В нем же, беседовавшем сейчас со своим сыном, пылали (только горячее и ярче, чем тогда, год назад) те же самые безрассудство и необузданность, что и в тот раз, когда он отослал Бероальда обратно и отправился один, сам по себе, навстречу смертельной угрозе в Середов Луг,

затмевали собою великое небесное светило. Лорд Иеронимий, также наблюдавший за ним, вероятно, вспоминал о том всесокрушающем настрое, с которым король устремился по бушующим морям в разгар зимы на войну с Аккамой. И, лишь только одолев ее, вопреки всякому здравому смыслу тут же помог ей вновь стать на ноги.

Как мог бы обращаться к рвущейся родиться молнии в своих руках замерший в ожидании громовержец, король тихо сказал Росме:

— Не забывайте о моих словах. Сделайте что-нибудь. Все равно, что, лишь бы это был ваш собственный поступок.

Она мертвенно побледнела, затем покраснела, а потом, медленно подняв глаза на него, опустила взор и столь же медленно прошептала в ответ:

— Разве не так обычно молятся Богу: Не искушай меня, смертного?

— Но что за Бог бы это был, — ответил король низким голосом, будто сама бесприютная древняя Ночь говорила с ней, и насмешка ее не только достигала ее ушей, но разила прямо в душу, — Что за Бог бы это был, если бы стал прислушиваться к вашим молитвам?

Королева убрала руки под стол, положив их на колени. Потом она произнесла, спокойно, ровно и с мягкостью в голосе:

— Заклинаю вас, господин мой, не портите мой последний вечер в моей стране. Позвольте мне унести на север хорошие воспоминания. Не мучайте меня более загадками, ответить на которые я не могу и смысла в которых не вижу. Помните, если сможете: я люблю вас.

Король Мезенций взглянул в ее черные глаза; это был почти любящий взгляд с тенью смеха в нем, но без какой-либо насмешки; так, удовлетворенно, мог бы, наверное, Бог взирать на творение собственного разума. Она мрачно встретила этот взгляд, а затем склонила голову. На виду у всех собравшихся он поцеловал ее в лоб.

— Я сказал ему, — промолвил он, движением головы указав на Барганакса, — что я им доволен. Доволен, что он учится ходить без моей указки. Я вижу в нем мудрость.

— Я рада, — сказала она, по-прежнему пряча руки под столом. — Забудьте, дорогой господин мой, все, что я наговорила перед ужином. Наверное, меня одолела морская болезнь. На самом деле я ума не приложу, какой сварливый бес дернул меня за язык. По правде я так не думаю.

— Я все забуду, моя Росма. Уже забыл. Давайте же теперь развлечемся, будем вместе с вами читать мысли. Начнем с него, — и он обернулся на Барганакса, в этот момент вежливо прислушивавшегося к Бекмару, ударившемуся в свои нудные стариковские россказни. — Где блуждают сегодня его помыслы, как вы думаете?

Королева также посмотрела на него, на этот раз заставив себя не отворачиваться, и, увидев, как герцог, продолжая слушать, обменялся веселым взглядом в Фьориндой, ответила, скривив губы:

— По Монте Неро.

На золотых блюдах внесли фрукты: персики, финики, изюм, гранаты, зайанские апельсины, а в огромных золотых чашах — мелкую землянику со сливками. Король заговорил:

— Что же за сладкий голос споет нам, увенчав собою этот пир? Госпожа Кампаспа, не порадуете ли нас, если ваша повелительница разрешит?

Госпожа Фьоринда, величественные и ленивые эхо голоса которой донеслись шлейфом прилетевшего с Пафоса благоуханного ветерка, отозвалась:

— Воля вашего высочества, как в мелочах, так и в великих вещах, — наша воля. К тому же, мне также доставит удовольствие послушать, как поет моя фрейлина.

— Какую же песню ей спеть? Выбирайте.

— С любезного позволения вашего величества, я бы предпочла, чтобы сегодня за меня выбирал герцог Зайанский.

— Тогда спойте нам, — произнес герцог, обращаясь к Кампаспе, но не сводя ясного взгляда своих глаз с той, к кому они стремились, — ту самую песню, «Любовь моя, когда б не ты…». Будь моя воля, я бы сегодня иных и не слушал.

Поднявшись с места, будто какое-нибудь полевое создание, что в один миг здесь, а в другой уже пропало в вечернем или утреннем сумраке, прекрасная и подобная призраку в едва колеблющемся сиянии свечей, Кампаспа взяла свою лютню и запела. Легким и бестелесным было ее пение, будто последний вздох перед погружением в сон в сгущающихся сумерках безоблачного майского вечера. Подобен цвету алых роз, сворачивающих с уходом заката свои лепестки, был румянец, что медленно заливал ее щеки, пока она пела:

— Любовь моя, когда б не ты,
Я бы не вздумал просыпаться:
Легко ли отрываться
Для яви от ласкающей мечты?
Но твой приход — не пробужденье
От сна, а сбывшееся сновиденье;
Так неподдельна ты, что лишь представь
И тотчас образ обратится в явь.

Приди ж в мои объятья, сделай милость,
И да свершится все, что не доснилось.
Не шорохом, а блеском глаз
Я был разбужен, друг мой милый;
То — ангел светлокрылый,
Подумал я, сиянью удивясь;
Но, увидав, что ты читаешь
В душе моей и мысли проницаешь
(В чем ангелы не властны) и вольна
Сойти в мой сон, где ты царишь одна,
Уразумел я: это ты — со мною;
Безумец, кто вообразит иное!

Уверясь в близости твоей,
Опять томлюсь, ища ответа:
Уходишь? Ты ли это?
Любовь слаба, коль нет отваги в ней;
Она чадит, изделье праха,
От примеси стыда, тщеславья, страха.
Быть может (этой я надеждой жив),
Воспламенив мой жар и потушив,
Меня, как факел, держишь наготове?
Знай, я готов для смерти и любови[326].

326 Дж. Донн, «Сон» (пер. Г. Кружкова).

Ни звука не раздалось в огромном зале, пока она пела. Взгляды по большей части были обращены не на певицу, но на светильники, или в темные пространства за ними, где нельзя было различить ничего, кроме воспоминаний и желаний, мириадами мотыльков слетевшихся на звуки этого неземного пения, мгновений, столь же неуловимых, как жужжание жука в полумраке или шныряющая меж пучков травы полевка: вот они здесь, а вот их уже нет; движение юбки, обнажающее знакомую лодыжку, прикосновение знакомой руки, шорох шелков под полнящимся обещаниями звездным куполом летней ночи или тихий шум знакомого дыхания во сне: для каждого слушателя было в этом пении что-то свое. И каждое из этих несметных, бесконечно крохотных сердечных сокровищ в этом кружении дымных завитков или водоворотов при каждом своем появлении или исчезновении, казалось, занимало свое место, отступая, пожалуй, лишь перед самым бездонным из страхов, что все эти благостные метаморфозы когда-либо, под влиянием какой-либо недоброй силы, найдут свой конец. Герцог же слушал, не замечая ни одной из этих теней, и глядя лишь на Нее, в ком берет начало все прекрасное.

Заслушавшись, она чуть наклонилась над столом, правой рукой подперев подбородок. Ее левая рука с ленивой грацией покоилась на столе, поигрывая с непригубленным кубком золотого вина; на безымянном ее пальце в кольце Барганакса сверкал и лучился, отражая свет, огромный александрит, что меняет цвет в зависимости от освещения. Лицо ее было очень спокойно, блеск ее волос напоминал мерцание звезд в черном море в полночь. Глубокий вырез ее платья, когда она вот так наклонялась, частично открывал взору две луны-близнеца, два полнолуния в частном затмении, в своей античной пышности превосходившие луну небесную и заключавшие в согретом ими промежутке (как можно было прочесть в каждой непокорной олимпийской черточке ее лица) всю сладостность, всю остроту, все ужасы, ослепляющие чуства страсти, нежность горлиц, свет светлячков, мандрагоры, упрятанные в бархатные подушечки когти, львиные зубы; все манящее, все несокрушимое, все хранимое и лелеемое, все возвращения и примирения, подвиги и отдохновения, все бушующие и бессмертные стихии красоты и пылкой любви. И для тех глаз, что способны были видеть, чело Ее было подобно утренней звезде.

Взор ее был устремлен сейчас не на своего возлюбленного, но на великого короля, а Его — на Нее; этот быстрый обмен взглядами был неподвластен смертным чувствам, словно в этот временной миг, вместивший в себя все Их

бесконечное время, как необъятные просторы ландшафта и небесный свод отражает в себе капелька росы, Бог беседовал с Богиней. Он словно говорил: Дочь и Сестра, Мать и Возлюбленная Моя, Киферея, что вечно была со Мною от начала Моего пути, прежде чем начались труды Мои, что такое сотворила Ты почти год назад? Зачем заставила Ты Меня создать для Тебя тот поддельный мир?

И величественная, златовенчанная, прекрасная Афродита ответила: Потому что той ночью Мне это пришлось по душе. Но Я передумала. Не придавай этому значения, Отец Мой. Он уничтожен, забыт — нет, он исчез и неподвластен даже забвению, ибо как можно забыть то, что никогда по-настоящему не существовало?

Он сказал: Зло не в том, что было создано, но в том, что Я это создал. Создавая это, Я познал то, о чем доселе (по крайней мере, здесь, где быть значит творить) пребывал в счастливом неведении. Что проку быть Мною, когда всякое действие, всякий исток и исход любого действия, Моего ли, Твоего ли, во всем Нашем необъятном мире, осквернены, известны заранее до мельчайшей подробности? Этот мир, этот небесный чертог, испорчен и никчемен.

Она сказала: Для Меня нет. Меня все устраивает. Ибо Я (благодаря Тебе, что, как я начинаю думать, сидит по правую руку от Тебя в более мудром из Твоих обличий) по-прежнему нахожу этот подлинный мир миром, соответствующим Моей натуре. Также как и Твоей.

В его глазах, вопрошавших «Почему?», сквозило сомнение, что холоднее самой могилы.

Она сказала в ответ на это: Полагаю, потому что Мне довольно обладать всем этим миром, созерцая его весь, жаждая всего; все вбирать в Себя и видеть, что из этого есть благо. Ибо Я (даже когда тешусь разглядыванием Своего отражения в глазах Своего Возлюбленного, где нет ни изъянов, ни уз, ни оков) в этом всевидении ограничиваюсь совершенством, совершенной суммой всего совершенного, что во Мне обретает вечность. Я ограничиваюсь Всем тем, что Есть. Избегая тем самым (и подчиняясь Нашей общей мудрости, которой разве не обладали и Ты и Я с самого начала?) того, что находится за пределами Всего, того, чего Нет, и что (поскольку все, что Есть, — Благо, а все Благое — Есть) по этой причине не есть Благо.

Он сказал: Но Мы же спустились в этот ущербный и несчастный мир Твоей мимолетной прихоти. На миг. Чтобы узнать.

Она сказала: На миг длиной в жизнь. Да. Этого было довольно.

Он сказал: С той ночи в Мемизоне, когда Я впервые вкусил Своей беспредельной мощи, когда во Мне высвободилась эта неутолимая жажда познания, «довольно» стало для Меня пустым звуком.

Она сказала: Отец Наш, что смотришь с Иды, величайший и наиславнейший, что такое Ты говоришь? Опасные это слова, к тому же, думаю, отнюдь не Твои. И определенно не Мои. Что же дальше?

Он сказал: Мое старое как мир творение, Смерть.

Она сказала: И это все? О, Ты вновь вернул свет. Речи Твои породили во Мне странное чувство, которому Я не могу подобрать иного имени, нежели Страх.

Он сказал: Не будь так уверена. Эта жажда, что пожирает Меня, жажда познания и свершений, сжигает скорее, чем ее погасит то, что смертные называют Смертью. Прежде Я мог, миновав эти знакомые врата, пересечь Лету: разве Мы с Тобой не проделывали это снова и снова, бессчетное число раз, погружаясь в дурман забвения? А потом, уподобив Наш разум белому листу бумаги, наслаждались жизнью и свершениями в новых чертогах этого Олимпа. В нем множество чертогов. Но разве способны они исцелить душу, избавить от этого всеведения? Благодаря ему Я вижу их все, здесь и сейчас; куда ни отправься, что ни соверши — все едино в своей никчемности и тщетности.

Она сказала: Разве Я, о Отец Мой и Возлюбленный Мой, не знаю их также? Однако в знании Моем нет и следа от этого недуга, от этой тревоги.

Он сказал: Кому лучше знать, что Ты знаешь Все, как не Мне? Но Ты той благословенной натуры, что способна довольствоваться знанием и созерцанием, наслаждаться, не вмешиваясь, быть обожаемой, принадлежать кому-либо, ни о чем не заботиться. Это беззаботность той, что содержит в себе Все необходимое и достаточное. Я же по какой-то прихоти Моей натуры желаю пойти дальше.

Песня окончилась. В течение краткой паузы, пока собравшиеся еще были захвачены ее страстью, языком и образностью, король Мезенций все смотрел (также как и Барганакс, чей взгляд, впрочем — к счастью для него, — в отличие от отцовского, не погружался в самые глубины) на эту Темную Леди.

В сверкавших как море глазах смехолюбивой Афродиты, ставших сейчас нежнее глаз голубки, казавшихся королю глазами Амалии, только что лишившейся девственности в Акрозайане двадцать пять лет назад, а Барганаксу

— глазами Фьоринды, застыло знание, отстраненное, терпеливое и милосердное, что, простираясь за пределы бесконечности, породило в потаенных уголках разума за всемогущими, всевидящими глазами короля бесконечную жалость. Жалость к Росме, которая была способна ненавидеть, но не любить по-настоящему; к сидевшему здесь же Родеру, рядовому человеку, которого через год-два ждал плохой конец; к Стиллису, обреченному по причине своей опрометчивости и заносчивости так и не воспользоваться дарованным ему блистательным шансом; к адмиралу, доброму верному псу, чья преданность и неуверенность в себе и в собственных действиях не позволит ему обрести независимость и душевное спокойствие; к Бероальду, ослепленному своим скепсисом, рационализмом и иронией и не видящему подлинной природы Ее, своей сестры по крови, и короля, своего повелителя; к Гетерасмене, чей обыденный брак теперь согревали лишь воспоминания о ее гувернерстве; к Эммию Парри, кто в своем величии заботился о жалости других не более, чем растрачивал свою на них; к самому великому наместнику Ререка, не из-за какой-либо свойственной его совершенной натуре внутренней борьбы или страдания (каковых в ней и не было), но потому, что и Король, и Она прекрасно понимали, что значит быть этим человеком, который всю жизнь стремился одурачить весь свет, кабы не сдерживавшая его рука хозяина, — хотя сам наместник никогда не смог бы понять или ощутить Их любовь, как Они в некотором смысле понимали и ощущали его; жалость к ничтожествам, к остановкам, паузам и неразрешенным диссонансам, что столь важны для симфонии этого славного мира, таким как несчастные и неуклюжие мужья Фьоринды, или Валеро, или Актор, или трагично кончившие ничтожества из Середова Луга; к своей Амалии, которой этой ночью предстояло овдоветь и остаться наедине со своим материнством и мирной жизнью в Мемизоне; к королеве Статейре, что вот-вот должна была лишиться (сохранив о нем лишь воспоминания) своего материнства, а о настоящей, совершенной любви не имея даже воспоминаний, — лишь о поверхностной и мимолетной любви Мардана да о своей беспокойной, вспеоглощающей и так и не удовлетворенной страсти к Актору; к Вандермасту, общающемуся с Богом мыслителю, что был, тем не менее, изгнан (довольствуясь лишь сочувствием и воспоминаниями) из радостей и страстей молодости; к Антиопе, обреченной, подобно царственному цвету солнцецвета, на достижение трагичного эфемерного совершенства и трагичную же смерть; даже к Барганаксу с Лессингемом, из-за ограниченности их

существа, неспособности быть всецело Им самим; к этим обитавшим в лесах и горах нимфам, так и не сумевших сравниться с Богиней; к каждому мужчине, женщине, ребенку и живому созданию в Зимиамвии, потому что они являлись лишь орудиями, средствами и ингредиентами Его и Ее блаженного совершенства; даже к Ней, что и за всю вечность не смогла бы хоть на миг стать Им. Наконец, жалость к тому, что выглядывало из Ее глаз: к Его любви и Ее, переживавшей сейчас за самого Бога, душимого Своими же собственными всеведением и всемогуществом, сшибившимися в ужасной и опустошительной схватке, за Его одиночество здесь, где должен был быть Его дом, за то, что за недостатком того сомнения, что только и способно придать энергии всемогуществу в его деяниях, Он, зная слишком многое, потерпит неудачу.

И, невысказанный, ужас шевелился в этот обмене взглядами: не ужас неведомого, но ужас непознаваемого, невозможного, немыслимого.

И вот король Мезенций распорядился (в знак окончания празднеств) внести Чашу Памяти. Это был огромный кубок из горного хрусталя в форме яйца, стоявший на трех поддерживавших его ножках — ножках из чистого золота, одна в виде когтистой лапы орла, другая — в виде львиной лапы с выпущенными когтями, а третья — в виде копыта гиппогрифа; все они опирались на девятигранное основание из чеканного золота, украшенное рубинами, хризопразами, гиацинтами и жемчугом. Когда чашу внесли, она была пущена по кругу, начиная от наименее почетных столов к наиболее почетным, пока каждый человек во всем зале перед помостом не испил из нее по глотку. И каждый, в свою очередь, отпив из чаши, низко кланялся королю. Наполнив чашу заново темно-рубиновым рианским вином, виночерпий подал ее графу Родеру, который, как начальник гвардии, отведал из нее и собственноручно поднес ее королю Мезенцию. Тут все собравшиеся перед помостом поднялись со своих мест, а граф вернулся в свое кресло. Подняв кубок, король полюбовался вином на просвет, вдохнул его аромат, потом, оглядев присутствующих, сделал глубокий глоток и провозгласил зычным голосом, так, чтобы услышали все собравшиеся в пиршественном зале:

— Пора расходиться. Спокойной ночи, друзья мои. Наш чудесный пир окончен.

При этих словах все, кроме тех, что сидели на помосте, низко поклонились королю на прощание и удалились. Король между тем, вытерев край чаши своим носовым платком, поставил его, еще на три четверти полный, на стол перед королевой.

Та, в свою очередь, взяла его обеими руками, выпила за герцога Барганакса, как за следующего по знатности, вытерла кубок и перегнулась через стол короля, чтобы передать его направо, герцогу. Однако король, перехватив кубок, беспечно бросил:

— Нет уж, сегодня я хочу нарушить обычай. Раз уж это празднество прощальное, я тоже выпью за него на удачу.

Росма положила руку на его локоть.

— Прошу вас, господин мой, — промолвила она, улыбаясь, хотя лицо ее вдруг сделалось пепельным, — когда пьют по второму разу, прежде чем кубок обойдет по кругу всех, это приносит несчастье, а не удачу.

Король Мезенций просто взял кубок в другую руку:

— Ничего не бойтесь, госпожа моя. Сколько я себя помню, удача всегда была моей служанкой. В этой мелочи, как и в великих делах, я поступлю по-своему, без оглядки на какие-либо приметы.

Его взгляд все то время, пока он говорил, был устремлен в глаза леди Фьоринды, холодные, будто змеиные, или будто самоцветы, сверкающие ледяным зеленым огнем, говорившие Ему: Что это за ужасная, недопустимая и невообразимая прихоть? Ты подвергаешь Нас — и Себя, и Меня, и все то, что берет начало от Нас (или взяло, или возьмет в будущем) — смертельной опасности. Куда Ты намерен отправиться? Что намерен делать?

Он поднес кубок к губам. Росма дернулась, едва заметно, так, что лишь орлиный взор мог бы увидеть это; она будто готова была на виду у всех придворных выбить у него кубок, но его могучая левая рука мягко, но необоримо сомкнулась на ее руке, пригвоздив ее к столу. Он вновь поставил кубок, подальше от нее.

— Давайте закончим вечер наедине. Граф, пусть все покинут зал. Пусть уходят служанки и стихнет музыка. Выставьте за дверями стражу и не впускайте никого на портик.

Пока все это приводилось в исполнение, мезрийские лорды и леди Гетерасмена, повинуясь взглядам короля с королевой, пожелали им спокойной ночи и вышли. Когда они удалились, Росма взмолилась:

— Господин, заклинаю вас, ради всего на свете, прислушайтесь к моим глупым страхам. Это единственное, о чем я вас сегодня прошу, и ведь это для вас такой пустяк. На дважды испитой Чаше Памяти лежит проклятье. Каким бы глупым ни казалось воспринимать такую безделицу столь серьезно, о, не искушайте сегодня судьбу. Ради меня, господин мой. А если не ради меня, — она осеклась, а потом договорила, глянув на Барганакса, — то ради него.

В зале стало очень душно, хотя окна были распахнуты. Грянула давно собиравшаяся гроза; в сухом знойном воздухе, почти в зените, сверкнула яркая вспышка и прогремели оглушительные раскаты грома, а потом вновь воцарилась кромешная тьма, и рокот грома поглотила тишина. Барганакс быстро перевел взгляд с Росмы на короля, потом на Фьоринду, сидевшую неподвижно, словно статуя Афродиты, а потом обратно на короля.

— Господин мой и отец, — произнес он, — прошу, не пейте. Думаю, ее королевское высочество опасается каких-то козней. Лучше было бы послать за свежим вином. А это пускай унесут и исследуют, — и он схватился за кубок.

— Убери руку, — промолвил король. — Я приказываю.

Барганакс встретился с ним глазами, будто заколебался на мгновение между двумя неясно осознаваемыми противоречивыми порывами, и подчинился. Он отступил назад; его глаза пылали, а лицо побагровело как кровь. Ударив кулаком по столу перед собой, так что тарелки запрыгали и зазвенели, он яростно выкрикнул:

— И все же, я бы отдал свое герцогство, чтобы ваше высочество более отсюда не пили.

— Мне нет дела до того, что бы ты сделал, а что нет. Однако же ты, как и все прочие в трех королевствах, выполнишь мой приказ.

С этими словами король, взяв огромный кубок обеими руками, встряхнул его, глядя на вино и устроив в нем маленький водоворот. Внезапно, рассмеявшись в свою черную бороду, он сказал, обращаясь к герцогу:

— Загадочный напиток. Разве мы с нею уже не испили из этого самого бокала? Если бы что-либо с ним было не так, с нами обоими уже было бы покончено.

Королева Росма заговорила дрожащим голосом:

— Да-да, я и сама как будто начинаю ощущать что-то такое, какое-то послевкусие, какую-то навалившуюся вялость, что ли. Клянусь небесам, —

вдруг воскликнула она, — я обвиняю этого Родера. Он уготовил это для господина Барганакса.

Граф уставился на нее, словно изумленный бык.

— Бросьте, — промолвил король, — в вас говорит мать. Какое удивительное, незаслуженное, безмозглое обвинение против нашего верного и надежного слуги, — он глянул на Родера, чьи глаза были выпучены так, что, казалось, вот-вот выпадут из глазниц, а потом вновь повернулся к Росме. — Довольно баловства. Проклятие в дважды испитой чаше? Вы глубоко заблуждаетесь, госпожа моя. Это, даю вам свое королевское слово, настоящий нектар, — и, пока она сидела, не способная ни шевельнуться, ни заговорить под гнетом его взора, он отпил из кубка. — За ваши самые заветные желания, моя Росма. Которые даже тогда, когда вы наименее всего об этом подозревали, скакали в одной упряжи с моими.

Он вытер край чаши и поставил ее, полупустую, на стол возле нее; затем, пристально и со значением глядя на нее, хотя и без какой-либо угрозы, укора или обиды во взгляде, поднес свой носовой платок к пламени свечи. Когда тот как следует разгорелся, он бросил его догорать на столешницу из камня пантерон, что местами черен, местами зелен, а местами пурпурен, и, как говорят, наделяет человека храбростью, делая его неуязвимым. Эти слова отдавались в ушах королевы подобно эхо, все содеянное проносилось перед ее глазами, а во взоре короля сквозило понимание, и она сидела неподвижно.

Наконец, метнув взгляд на Барганакса, Бероальда, Фьоринду, Родера, Иеронимия и переведя его обратно на короля, она заговорила:

— Да. Что ж, так и есть. Это действительно нектар, — и, оттолкнув от себя стол, она поднялась на ноги и, по-прежнему глядя на него, схватила кубок. — Но я предназначала его для этого сына потаскухи, который называет себя герцогом Зайанским.

Стоя перед ними, она осушила кубок, не оставив ни капли, страшно вскрикнув повернулась и рухнула в полукруг перед столами, где и осталась лежать без движения, мертвая как камень.

Барганакс нарушил тишину:

— Благодарение Богу, что ваше высочество это не проглотили.

Король Мезенций бросил на него взгляд своих глаз: безмятежный, полный решимости, в котором, однако, невозможно было прочесть ничего, кроме доброжелательности, а потом, повернувшись к адмиралу и лорду Родеру, сказал:

— Возьмите тело королевы. Усадите ее на ее трон.

Когда те, словно в полусне, скорее как автоматы, нежели живые люди, выполнили его приказ, он несколько тяжеловато поднялся со своего трона и, сняв со своей головы корону Мезрии, водрузил ее на ее голову.

— Хочу полюбоваться на нее еще раз так, как это было, когда я впервые увидел ее. Все, кто любит меня, помните о величии ее и ее отца. Выбросьте из головы все, что, как вам кажется, она сделала неверно. Она за это заплатила, причем не как какой-нибудь хитроумный плут, и отнюдь не фальшивой монетой. Жестоким испытаниям подвергалась она и в конечном счете не посрамила своего имени дочери Парри. Немногим я с большим удовольствием пожму руку за тою ненавистной рекой.

Он взглянул на Фьоринду и увидел, что та не сводит глаз с Барганакса.

— Как видите, — промолвил король, снова садясь и разглядывая лицо Росмы, ничуть не искаженное и излучавшее умиротворенность и величие, не свойственные ей при жизни, — это не какая-нибудь омерзительная отрава, что обезображивает Божье творение и отправляет нас на ладье Харона, уподобив раздувшимся и лопнувшим грибам-дождевикам. Это была чистая смерть, достойная королевской персоны.

С запада налетел ветер, принеся шквалы дождя, а в исполинском брюхе тьмы беспрестанно бурчали близкие и далекие громы. Окна зала то и дело озарялись голубыми всполохами молний.

— Бероальд, — заговорил король, — вы человек храбрый и осмотрительный, притом мой друг. Тотчас же садитесь на лодку, затем в седло и скачите во весь опор в Зайану. Это кольцо, — тут он снял со своего большого пальца массивное кольцо в форме Червя, — передайте ее милости. Она поймет, что это означает. Скажите ей, что мне еще осталось жить несколько часов, но я устал как собака, и уже не в моих силах отвратить судьбу.

Словно взметнулись в них вслед за этими словами рогатые вспышки молний, и все, кроме одного лишь короля да леди Фьоринды, повскакали на ноги. В ошеломленной тишине герцог произнес:

— А как же противоядия, что ваше высочество всегда принимали?

— Если бы не они, я бы, как и она, испустил дух после первого же глотка. Взгляни на кольцо на ее пальце, сдвинь гнездо: видишь, оно пусто, если не считать крупиц зеленоватой пудры. Это был первый из ее свадебных подарков от ее тетушки, Лугии Парри, и против этого шедевра среди ядов, если его намочить и отправить в рот, бессильны все противоядия мира; они могут лишь дать отсрочку. Яд был на ее носовом платке.

— Пошлите за лекарями.

— Они ничего не смогут поделать. Отправляйтесь, канцлер, спешите же.

— Мне привезти ее превосходительство сюда?

— Нет. Даже если бы от этого зависело мое спасение, я ни за что не поставлю ее жизнь под угрозу в такую бурю. Но мне мучительно было бы умереть и так и не получить от нее напутствия. Отправляйтесь, Бероальд, и скорее назад. Спешите, спешите, спешите изо всех сил. Яд уже действует, ноги как ватные.

— Граф, — промолвил он, когда канцлер с каменным лицом торопливо зашагал прочь из зала, — принесите мне мои латы и тройную корону, а также мои парадные одежды. Королям не к лицу умирать, лежа на спине.

— И приведите лекарей, ради Бога, скорее, — воскликнул Барганакс вслед графу. — Валите все на меня, если его высочеству это придется не по нраву.

Через пять минут канцлер вышел в воды лимана в самый разгар бури; сам он сидел за румпелем, а двое моряков по очереди гребли и вычерпывали воду. Плыть нужно было всего милю, но они не преодолели и половины этого расстояния, когда ударившая в корму громадная волна затопила лодку, и им оставалось либо выплывать самостоятельно, либо тонуть. Благодаря силе и смелости, но в наибольшей степени (как казалось) благодаря некоему всеобъемлющему чувству долга, они достигли суши, хотя и на подветренном берегу, намного восточнее от предполагаемого места высадки, там, где море изобиловало острыми скалами и шхерами. Одного из моряков оглушило после удара о такой торчавший из воды подобно зубу риф и унесло волнами. Его товарищ добрался до земли, хоть и со сломанной ногой. Лорд Бероальд, покрытый синяками и ссадинами, выбрался на сушу чуть дальше к востоку и,

оставшись лишь в едва прикрывавших наготу промокших лохмотьях, то шел, то бежал, пока не достиг крохотной рыболовецкой деревеньки Лешмар. Здесь управляющий адмирала нашел для него сухую одежду и коня, а затем отправился по его велению за раненым моряком; и вот, чуть более чем через час после того, как он покинул пиршественный зал, канцлер въехал в Акрозайану.

— Умирает и ему уже ничем не помочь? — переспросила герцогиня, когда он обо всем рассказал. — Боже мой, смилуйся над этой мезрийской землей, смилуйся над своим любимым сыном, смилуйся над всеми нами. Вы принесли мне убийственные вести, благородный Бероальд. Ох, мне дурно.

И, бросившись на стоявшую меж окон большую обитую парчой софу, она разразилась безутешными рыданиями. Канцлер, никогда не видевший ее плачущей, отвернулся и, скрестив руки на груди и сжав губы, неподвижный как камень, стоял, глядя на ее портрет над каминной полкой, написанный Барганаксом пять лет назад. Так он и выжидал, пока эта буря чувств не схлынет.

Внезапно она встала и вытерла глаза.

Он обернулся:

— Мне было поручено передать королю слова вашего превосходительства.

— Слова? Вы возьмете с собой меня, господин мой. Вы, что же, еще не распорядились седлать моих лошадей?

— В лимане сегодня опасно. Его королевское высочество прямо сказал, что вам не следует рисковать.

— Прошу, позвоните в этот колокольчик.

Бероальд посмотрел на нее, и какая-то искра сверкнула в его холодных глазах. Он подошел к окну, отодвинул занавеси, распахнул створки. Ветер улегся. На западе, за Зайанским озером, прояснилось и светила луна. Он подошел к ней, стоявшей у камина, потянулся к витому шнуру из шелка медового оттенка и дернул за него.

— Герцогиня нынче выезжает в Сестолу, — сказал он горничной, — и берет с собой лишь одну служанку и чемодан. Лошади ее милости уже у Кремасмийских ворот, вместе с моими.

Амалия подала ему руку.

— Быть храбрым, — произнес он, целуя ее, — прекрасное качество. И прекраснее всего оно в женщине, ибо менее всего ей присуще.

Когда герцогиня, сопровождаемая несшим ее мантию канцлером, вошла в пиршественный зал, король Мезенций все еще сидел на своем троне, уже облаченный во все свои королевские одеяния и украшения. Рядом с ним сидели адмирал, граф Родер, герцог Барганакс и леди Фьоринда. Тело королевы унесли и возложили на смертный одр. Герцогиня, очень бледная, смотревшая на одного лишь короля, пересекла пустынный зал, почти как сомнамбула, но с серьезным лицом, походкой своей напоминая парусник, неслышно скользящий по вечерним волнам и подгоняемый легким бризом. Поднявшись на помост, она остановилась перед ним.

— Что ж, Амалия, вы все-таки пришли ко мне? Несмотря на мой прямой запрет?

— Как могла я поступить иначе?

— Не целуйте меня, любимая, а то я заражу вас. Сядьте здесь, где я могу вас видеть. Время истекает. Спасибо вам, Бероальд, и прощайте. Оставьте нас, вы уже получили мои распоряжения, и вы тоже, Иеронимий и Родер. И пускай Боги ведут вас за руку. И тебя тоже, сын мой, но только останься. Останьтесь и вы, милая Воительница.

Когда те скорбно удалились, герцог пододвинул кресло для своей матери, а справа от нее — еще одно для Фьоринды, сам же занял место слева от матери, лицом к королю.

Герцогиня наклонилась.

— Не целовать вас? — промолвила она. — О да, ведь тогда вы возьмете меня с собой. Как мне после стольких лет вынести эту темноту одной?

— Я, — произнес король, — вступаю во тьму, что до недавнего времени казалась немыслимой, во тьму кромешную, откуда, быть может, не будет возврата. Если сквозь нее существует путь, дорогая моя, любимая (и ни человек, ни Бог, пожалуй, не скажут нам, так ли это), вы поймете: я сделал это лишь, чтобы устроить для вас новые королевства. Покуда же утешьтесь тем, что это был Мой выбор. Ничья воля кроме Моей не заставит меня пройти через эти врата, отворив их навстречу триумфу — невообразимому и невиданному никем. Или же, — он помолчал, и словно пленка подернула его глаза, — или же навстречу Ничто.

Замерев в кресле между Барганаксом и Фьориндой, герцогиня слушала его, будто внимая некоему чудовищному покаянию, и не понимала его слов,

которым еще только предстояло наполниться, словно от прикосновения пламени к съежившейся плоти, ужасным смыслом.

— Я не понимаю, — дрожа, проговорила она. — Ваш выбор? Я никогда не забуду, что вы были моим возлюбленным. Я ни за что бы не подумала, что из всех людей на свете именно вы пожелаете причинить мне боль.

Минуту он выдерживал ее взгляд молча. Потом воскликнул:

— О, отведите глаза, Амалия, или ради вас я в этот последний час предам Себя, став кем-то меньшим, нежели надлежит Мне быть в соответствии с Моей подлинной натурой.

— Как это возможно? О, — разрыдалась она, — как такое возможно? — и она прикрыла рот рукой, прикусив зубами ладонь.

— Уведите ее, ради Бога, — проговорил король. — Я способен бороться со смертью, но не тогда, когда Мои руки связаны.

Никто не шелохнулся.

Герцогиня, бледная, но пришедшая в себя и решительно выпрямившаяся в кресле, промолвила:

— Прошу прощения, дорогой господин мой. Я справлюсь. Не стану напоследок капканом на вашем пути.

Но Темная Леди, чьи глаза были подобны глазам отгоняющей своих врагов львицы, заговорила, обращаясь к королю:

— Разве она не есть Я, хоть она об этом и не знает? И неужели Ты думаешь, я не узнаю Себя, и через Себя — Тебя? Для Нас с Тобой это детская забава, все это сотворение миров, также как детская забава — разрушить и уничтожить мир, или миллион миров. Но уничтожить (как вздумал поступить Ты в Своем неистовом и самопожирающем заблуждении) саму ткань Бытия, каковою являемся Мы с Тобой, — это представляется Мне величием, что, подобно чересчур раздутому мыльному пузырю, само по себе становится ничтожнее ничтожного.

— Умолкни, или Я сокрушу Тебя Своей молнией. Еще увидим, способен ли Бог умереть.

— Несомненно, способен. Разве не возможно для Него даже невозможное? Но, столь же несомненно и то, что Он не станет этого делать.

— Почему же?

— Ради Нее.

Герцогиня спрятала лицо меж грудей Фьоринды, как будто бы в ударах

сердца, нарушавших спокойствие этой сладостной как фиалка зачарованной ложбины, было увековечено ее собственное сердцебиение, служа последним якорем и ненадежной опорой в бездонном мире. Смежив веки, чтобы не видеть ее, король промолвил:

— Увидим.

— Если Ты исполнишь, что задумал, но просчитаешься, — произнесла леди, — Мы ничего уже не увидим. Ибо нечего будет видеть, как не будет и глаз, чтобы видеть это. Этим необдуманным шагом, рискнув и опорочив и Себя и Меня, Ты можешь (поскольку не существует оков, способных связать обезумевшее всемогущество) одним ударом покончить со Всем. Покончить настолько бесповоротно, что ни мертвой вселенной, ни мертвого Бога не останется, чтобы помнить о них или их забыть; будет лишь Ничто, которое невозможно ни назвать, ни помыслить, потому что нет в нем ни бытия, ни небытия, ни надежды, ни страха, ни времени, ни жизни, ни Бога, ни вечности (нет даже вечного ничто), ни истины, ни лжи, ни воспоминания, ни забвения; нет даже мокрого пятна или потухшего уголька, что могли бы послужить напоследок ключом к загадке: меня нет, меня никогда не было, меня никогда не будет.

Вместе с замирающей музыкой Ее сладкого как мед голоса время, пространство, судьба, красота словно угасли, как она и описала, и все смертные муки стали желанны перед этим ужасом пустоты.

— Это все равно, что отрицать себя, — произнесла герцогиня, повернув голову. — Зло, каковым и является полное Ничто, рассыпавшееся и распавшееся в своей ничтожности до такой степени, что не способно уже быть ничем.

Она содрогнулась и, выпрямившись, положила руку на колено Барганакса.

— Твой путь — это Мой путь, — прошептала она королю. — Истина же в том, что любовь не способна убить любовь.

— Для Бога, — проговорил король, — возможно все. И все, кроме одной лишь вещи, уже выполнено.

— Хорошо сказано, госпожа моя матушка, — промолвил герцог, положив свою руку на ее. — Что же до истины, не знаю. Да и мне все равно. Ибо что такое эти речи и рассуждение об истине, как не распахивание песка? Мне этим заниматься недосуг, когда сама бесконечность, само воплощение прекрасного, — тут он вновь взглянул на Фьоринду, — лежит передо мной, ожидая познания. Это единственная истина, которую я знаю, единственная истина,

которую я хоть во что-то ставлю. И если Бог существует (а я этого не знаю, да и не стремлюсь узнать), то Он никакой не Бог мне, если перестанет любить то, что люблю я.

Воцарилось долгое молчание. Барганакс с изяществом нежащегося меж сном и пробуждением леопарда бросал из-под опущенных век взгляд то на своего отца, то на Фьоринду. На ее лице, видимом ему в профиль, словно мелькали, видоизменяясь в собственном свете борющиеся противоположности, сердечная мука и сердечное исцеление, и прочие, куда более глубинные по натуре, образы, не почитаемые осознанно, но безумно боготворимые. Он видел, как ему уже доводилось в Мемизоне почти год назад, но не этим вечером, светлячков в ее волосах. Ее взор был устремлен на короля. Тот, сидя прямо на своем троне, с короной на голове, при параде и в латах, смотрел то на нее, то на нежную шею Амалии, на собранные черепаховым гребнем в чувственных переплетениях сверкающих завитков и локонов ее роскошные красно-золотые волосы (лицо она в этот миг снова спрятала на груди у Фьоринды), то на их обеих: на Даму Пик и Даму Червей. Вдруг, словно в зеркале, орлиный взгляд его серых в крапинку, еще не утративших остроту и не затуманившихся, глаз, встретился с взглядом его сына.

— Я оставляю тебе и прочим запутанный клубок дел, — сказал он. — И если бы захотел, я бы все распутал. Но, думаю, ты едва ли стал бы благодарить меня, если бы я все сделал загодя и оставил своих последователей без работы.

— Примите мою благодарность от меня, о, отец мой, — промолвил герцог. Он собирался было сказать что-то еще, но у него перехватило дыхание и ни одного слова не прозвучало.

Хоть была и середина лета, вокруг вдруг стало ужасно холодно. Наступила та глухая пора ночи, когда течение человеческой крови медленнее всего, тот час, когда люди чаще всего умирают. Здесь, в озаренном яркими лампами просторном и пустынном пиршественном зале не раздавалось ни звука, лишь еще не успокоившееся после бури море плескалось у стен, да дышали эти четверо, да тикали часы. Эти звуки дыхания и тиканья отмеряли собою ингредиенты тишины: внутреннюю пустоту, притупившийся от бессонной ночи рассудок, когда руки и ноги становятся бессильными, пальцы лишаются гибкости, а веки тяжелеют и обжигают. Они будто дожидались чего-то, что и само затаилось и ждало в ночи за окнами.

Наконец, король в третий раз сказал:

— Увидим.

Потом с каким-то тайным ликованием, вобравшим в себя всю ту мощь, что движет солнцем и прочими звездами, и вдруг вновь вернувшим герцогиню к действительности, произнес ее имя:

— Амалия.

И тут герцог Барганакс, посмотрев сперва на своего отца, а потом туда, куда смотрел тот, узрел великое чудо. Леди Фьоринда выпрямилась в полный рост; красное как куколь платье, ниспадавшее до Ее колен, казалось, приняло оттенок морской волны, окаймленной белизной, будто волны блаженного Пафоса; а на Ее челе и щеках, и во всем Ее явленном взору божественном теле, сияла красота, что ослепляет самих Богов. В огромном пиршественном зале Сестолы невозможно было различить ничего, помимо этой красоты; все прочее на бесконечное мгновение оказалось затмлено ею, как восходящее солнце затмевает звезды. Глядя на Нее, Барганакс понял, что видит то же, что и его Отец, только вечное утро это для глаз его Отца было облачено в алое пламя, а для его собственных — в собольи одеяния ночи, что для него была прекраснее всего на свете. И все то время, пока они так смотрели, лицо Ее (подобно тому, как поднесенный к лицу палец заслоняет вдали то одно дерево, то другое, в зависимости от того, правым или левым глазом смотреть) казалось лицом то Фьоринды, то Амалии.

А потом время и пространство возобновили свой бег над Сестолой, точно так же, как когда глаза, перестав рассматривать ландшафт и фокусируясь на поднятом пальце, опять видят его таким, какой он есть, знакомым и близким, плоть от плоти наблюдателя. И Темная Леди вновь сидела, изящная и вполне осязаемая, в своем кресле, облаченная в свое платье из алого шелка; а на сладостно вздымавшееся ложе ее груди вновь положила голову герцогиня Мемизонская, словно погрузившаяся в дремоту.

Барганакс тихо поднялся, подошел к королю и пристально посмотрел на него. Потом обернулся к тем двоим. Герцогиня подняла голову, встала, взглянула сначала на короля, потом, словно охваченная внезапным страхом, на своего сына, и узрела в его глазах новые глубины могущества и самодостаточности: новые, но и в то же время незапамятно древние.

— Наверное, я с самого начала это поняла, — очень тихо произнесла она. — Нас всегда было четверо. Быть может, даже больше, чем четверо.

Но во всем этом множестве всегда присутствует двойственность. И в двойственности этой чувства и дух почти сливаются воедино, но не настолько, чтобы нарушить единство души и сущности Бога, что един в двух лицах и двойствен в одном.

Барганакс взял ее за руку и поцеловал ее.

— Даже будь мы Богами (мой отец, да покоится он с миром, так и сказал, помните, за вашим рыбным ужином в прошлом июле): Даже будь мы Богами, лучше не знать. Что ж, слава Богу, я и не знаю. Только вот, — добавил он, обращаясь к стоявшей на расстоянии вытянутой руки Фьоринде, — полагаю, ваша милость знает.

В ее глазах, в бездонных небесах зеленого огня, и в серьезности, что оттеняла собой ее пылающие и несравненные губы — сладкие, манящие, зовущие к липовым рощам, в лабиринты любви, — замерло Горько-Сладостное чувство.

— Да, — промолвила она, — Я знаю — все или почти все. Полагаю, такой уж у меня склад ума; я способна примириться со знанием таких вещей, которые даже вам, человеку, довольствующемуся тем, кто он есть, едва ли оказалось бы под силу вынести.

— Пообещайте мне вот что, — сказал он, глядя в ее глаза, на ее губы, на светлячков в ее волосах. — Никогда не говорить мне.

— Это, — отозвалась леди, и в голосе ее прозвучало нечто, заставившее его чувствовать себя обретшим разом и утреннюю и вечернюю звезду с небес, — единственное обещание, которое я когда-либо дам вашей светлости. От всего сердца. И со всей любовью.

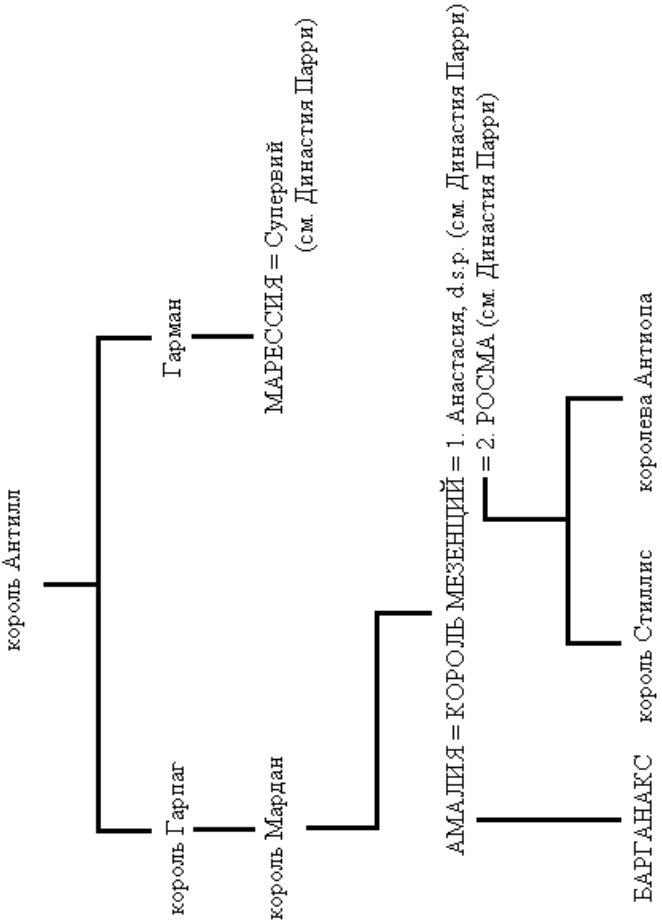
А потом она прибавила, не произнеся ни слова, но, вероятно, позволив Барганаксу смутно разглядеть в сверкающих кометами глубинах этих олимпийских глаз:

— Ради Эроса, служителя Моего, чей триумф Мы узрели сегодня.

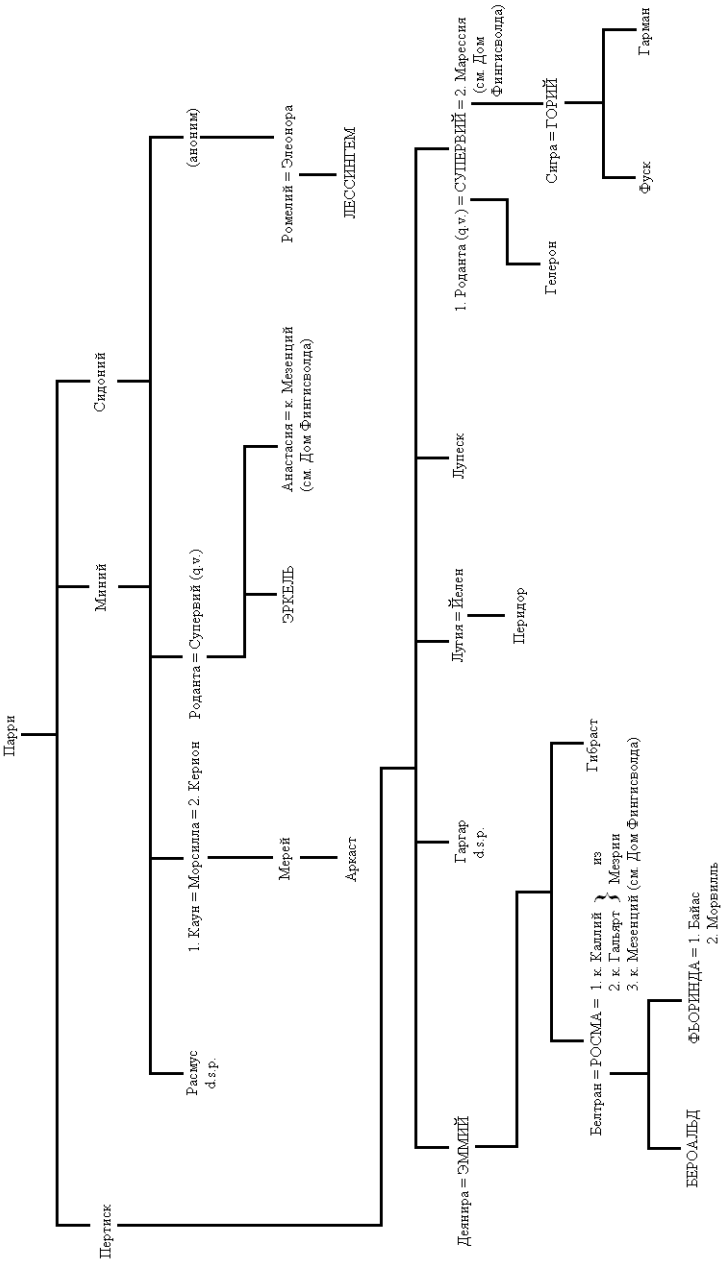
APHRODITE

Генеалогические таблицы

КОРОЛЕВСКИЙ ДОМ ФИНГИСВОЛДА



ДИНАСТИЯ ПАРРИ



Российская история ЭРЭ

Я узнал об Э.Р.Э. в 2008 году, читая роман «Страна смеха[327]». Неплохая вещь для дебюта, но совместившая в себе черты современного магреализма, которые мне не нравятся, и в первую очередь, приземленность. Тем не менее, по окончании романа в моей записной книжке появились две заметки — Джордж Макдональд «Лилит» и Эддисон «Уроборос». Роман «Лилит» к этому времени был худо-бедно переведен на русский[328] (позже удалось достать другое издание[329]), а с Эддисоном дела обстояли вовсе плохо. Перевода «Уробороса» не было (О. Колесников выложил фрагмент «Повелительницы...» в 2009 году), и ни одно издательство, судя по всему, издавать Э.Р.Э. не планировало.

Как признавался А. Вироховский, к тому, чтобы перевести «Уробороса», его подтолкнуло восклицание «я никогда не прочитаю этот роман!» на одном из форумов «Лаборатории фантастики». В итоге в 2011-м первый перевод самого известного романа Эддисона был не только подготовлен, но и выложен в свободный доступ. Позднее он послужил основой для малотиражки[330], а еще позже вместе с «Повелительницей...» вышел в серии «Клуб любителей фантастики»[331]. Одновременно с А. Вироховским за перевод Эддисона взялся переводчик, скрывшийся за псевдонимом Nebehr Gudahtt. Для текста романов был даже заведен отдельный блог. Так российскому читателю неожиданно стали доступны не только «Змей/Червь Уроборос» в двух переводах, но и вся «Зимиамвийская трилогия».

Среди западных читателей Эддисон пользуется неизменным уважением не только как предшественник Толкина. Отмечают его самобытный стиль и талант рассказчика. Затем мнения расходятся: кто-то оценивает выше «Уробороса», кто-то — «Зимиамвийскую трилогию» («...«Змей Уроборос», которого принято считать первой книгой эпопеи, — вещь довольно слабая и сюжетно связана с остальными частями не слишком тесно[332]...»).

Я читал романы в порядке их написания и издания: первым — «Уробороса», затем — «Владычицу...». Обе книги хороши, и, хотя они совершенно не похожи, в них присутствует особый дух, который ни с чем спутать невозможно. «Уроборос» — это, действительно, эпическое полотно, миф, соединяющий путешествия по невиданным краям и в царство мертвых, схватки армий, колдовство и встречи с божествами. «Владычица...» — это, действительно, исторический роман с минимальным фантастическим элементом, со множеством диалогов, с загадками и параллельными мирами.

Что же такое Э.Р.Э.? Чем он так интересен сегодня, когда мы уже знаем Толкина, Льюиса, Мартина, Сапковского и многих других?

Попытаюсь ответить, привлекая материал Профессора. «Властелин Колец» раскрывает, кроме прочего, в сражении людей с темным Мордором столкновение эпох. Речь орков выдает в них жителей полицейского государства, а сами орки не собираются

327 Кэрролл, Дж. Страна смеха. — М.: Эксмо, 2003. — Серия: Магический реализм. — 336 с.
328 Макдональд, Дж. Линдсей, Д. Лилит. Путешествие к Арктуру. — М.: АСТ, 2004. — Серия: Толкин. Предшественники
329 Макдональд, Дж. Лилит — Н.Новгород: Агапе, 2004 г. — Серия: Шотландская классика — 320 с.
330 Эддисон, Э.Р. Змей Уроборос — Издательство не указано, 2012 г. — Серия: Золотая рамка (продолжатели). — 560 с. — (Тираж 30 экз.)
331 Эддисон, Э.Р. Змей Уроборос. Повелительница Повелительниц. — М.: Международный центр фантастики, 2012. — Серия: Клуб любителей фантастики. — (Тираж 100 экз.)
332 Майкл Суэнвик «В традиции...» (In the tradition, 1994)

ополчениями, а массово производятся в катакомбах. Люди, сражающиеся со злом в романе, борются с тем, что несут новому миру промышленность и тоталитаризм. Особенно ярко «дивный» новый мир показан в финале: жандармский режим в Хоббитании. А эльфы и древнейшие из людей, хранящие верность старым временам, пропитанным легендами и вселенским содержанием, в конце уплывают, оставляют этот мир.

Э.Р.Э. — часть «прежнего» мира. В романах мы погружаемся в эпоху, когда «образованный человек был способен ощутить в тексте то единодушие с каким-нибудь античным автором, то полемику с ними, то пародию на них. Таким образом чтение превращалось в своеобразную беседу посвященных[333]». В контексте это означает вплетенность человека прошлого в насыщенную мифическую картину мира. Обилие цитат и аллюзий в романе превращает персонажей в живые воплощения героев, текст обретает глубину, и сам «воздух» романов пропитывается магическим содержанием.

Толкина укоряют за схематичность и условность созданных им отрицательных персонажей. Но Профессор именно это и должен быть отразить: нынешнее зло безлико, оно стыдливо прячется в серых застенках, тянет оттуда свои руки, сминает живые души, коверкает их жестокостью, мелочностью, гадливостью, корыстью. Злодеи прошлых эпох, как и великие герои, самозабвенны в своих делах и порывах. Я отмечал прежде эту особенность в отзыве на роман «Лилит». В еще большей мере она характерна для Э.Р.Э.

Здесь злодей творит «высокое» зло с гордо поднятой головой. Борьба добра и зла приобретает характер соревнования, после которого победитель и побежденный могут сидеть за одним столом и пить вино. Именно таковы персонажи Э.Р.Э. — они ни в коей мере не мелочны, они «выпуклы», они прекрасны. Хорошие или плохие они являются частью мифа, следовательно, — частью Божьего замысла. Впрочем, Э.Р.Э. не библеистичен, в чем-то он даже оказывается «язычником». Во главе здесь женское начало, оно — и Богиня-Мать, и уайльдова Красота, которая, как известно, стоит выше общественной этики и сама себе Этика. В том и состоит задача Э.Р.Э., с которой он справляется блестяще: оставаясь объективным наблюдателем, Творцом, он создает прекрасные, хотя и не бесспорные с точки зрения любой этики, характеры и образы. Он рассказывает *прекрасные* истории про героев, к которым невозможно примерять привычные мерки добра и зла, как нельзя их примерять, скажем, к греческим титанам или богам. Герои эти есть, и самим фактом вплетенности в мифическое полотно мира *заявляют* право на бытие.

Пожалуй, современный читатель истосковался именно по этому: по героям «высоких» помыслов и деяний, по возвращению содержания (наперекор пустоте, которая, в конце концов зазияла в прорехах капиталократии). Может быть, этим объясняется пристальный интерес современных читателей к магреализму и «дотолкиновской» фэнтези, к Макдональду, Э.Р.Э. и другим. Если же сравнивать Макдональда, написавшего более тридцати романов за 39 лет, и Эддисона, за 19 лет успевшего закончить четыре романа, то при всей любви к шотладскому сказочнику я предпочту Э.Р.Э.: у Макдональда есть книги лучшие, худшие, и вовсе «проходные», у Э.Р.Э. каждый роман значим.

Хочется выразить огромную благодарность переводчикам. Удивительно и прекрасно, что эти замечательные романы стали нам доступны, и, пожалуй, самую малость жаль: открытие уже состоялось, книги прочитаны, можем ли мы теперь ждать еще одного такого подарка?

Алексей Бойков, 2014 г.

---

333 Из предисловия А.Вироховского к «Змею Уроборосу»